ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ

проза

ИЛЛЮ

МИНА

ТОР

ILYA KORMILTSEV

prose

Illuminator
S.G.T.R.K Media-Lab
Armchair Scientist
Moscow — Yekaterinburg
2017

ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ

проза

Иллюминатор
S.G.T.R.K Media-Lab
Кабинетный ученый
Москва — Екатеринбург
2017

УДК 82-1
ББК Ш6(2р36)6-335
К66

Кормильцев, И.
К66 Проза / Илья Кормильцев. — Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2017. — 654 с.

ISBN 978-5-7584-0163-7

Во второй том собрания сочинений Ильи Кормильцева (1959–2007) вошли его непоэтические произведения: художественная проза, пьесы, эссеистика и литературная критика.

18 +

ISBN 978-5-7584-0163-7

© Илья Кормильцев, тексты, 1974–2007
© Авторы статей и примечаний, 2017
© Кабинетный ученый, 2017

Илья Кормильцев. Ленинград, апрель 1987 г. Автор фото неизвестен

Алексей Цветков

Битник и радикал

0

На «Эхе Москвы» нас запретили как пособников скинхедов, на федеральных телеканалах — как пропагандистов наркомании и порнографии, а в патриотических редакциях ехидно и завистливо спрашивали: «А вот вы на издание биографии Дудаева, наверное, грант турецкий получили? Как это нет? Неужели не турецкий, а американский?»

В офисе нашего издательства сидела делегация саентологов с одинаковыми улыбками. Делегация вежливо обещала, что подаст на нас в суд за оскорбительную книгу о Хаббарде.

В ответ им всем Илья смеялся завидным смехом человека, которому лень бояться.

1

Он издевался над москвоцентризмом, вышучивал национализм, иронизировал по поводу воцерковленности и говорил про левых, что они хотят жевать рябчиков, даже не зная, вкусно ли это.

Провокационная манера сразу же выяснять в разговоре, насколько легко собеседник способен выйти за границы своей обычной идентичности и предписанного ей языка.

Аллергия на пропаганду. Ему нравилось, когда у людей имеются идеи, но не нравилось, когда идеи имеют людей.

Подозрительность к любой форме респектабельности, стабильности, осанистости и самодовольной пошлости лояльных. Конечно, Илья был гораздо снисходительнее к пошлости иного рода, свойственной многим радикалам и бунтарям. Тут невозможно и ненужно быть «равноудаленным».

Он был счастливо лишен выстраданной интеллигентской боязни всего политического, выдаваемой обычно за бог знает какую экклезиастову мудрость. Собирая и переводя антологию битников, Кормильцев держал в уме, что мать Гинзберга была марксистской активисткой, а Лерой Джонс, сменивший имя на арабское, прошел долгий путь вместе с «Черными пантерами».

Его интересовали химические, мистические и политические способы поворота ключа в замочной скважине твоего мозга.

Все, что позволяет преодолеть гравитацию укорененной нормы, изменить язык, сдвинуть смысл, выйти из-под контроля элит, для которых твой мозг — ресурс воспроизводства их власти.

По Кормильцеву, нет неправильных идеологий и мировоззрений, нет даже «своих» и «чужих», но есть своя версия внутри каждой из них, и главные черты своей версии — магнетический партизанский пафос сопротивления, необходимость свободы для того, чтобы радикально изменить себя, меняя мир.

Если одной фразой, то внутри любого мировоззрения он искал ту версию, которая формирует контрэлиту. Предпочитая поддерживать все крайности сразу, лишь бы не заподозрить себя в конформизме и «халдействе», не влипнуть в инерционную жизнь.

Это делало его агентом радостного беспокойства, мечтающим о преображении.

2

Он чувствовал исчерпанность гуманизма и вообще финиш человека в его прежнем состоянии. Переделать себя, чтобы создать новый мир. Переделать в самом что ни на есть биологическом и техническом смысле.

Когда к этому большому преображению все готово, когда для него уже есть все средства, когда между ним и нами стоит только наша слепота и больше ничего, чтоб снять мир с тормоза, нужна гениальная случайность, поцелуй Его Величества Хаоса, прикосновение того, что потом неизбежно назовут общей судьбой.

Илье хотелось думать, что мы стоим на пороге новой истории — самоорганизации всеобщего интеллекта и другого способа

социального воспроизводства. Для него это был вопрос пары ближайших поколений.

3

Свердловск/Екатеринбург — третий по величине и значению советский город, в котором просто не могло не сложиться своей рок-музыки и своего литературного андерграунда, равновесомых первым двум столицам.

Кормильцев стал там моделью того, как можно быть рок-звездой без гитары и выступлений на сцене. Его вдохновляла западная контркультура и магический реализм, когда он начал писать свою психоделическую прозу в 1980-х. Отношения между литературой и рок-н-роллом, на примерах Рушди, Паланика или Хоума, будут занимать его всю жизнь.

Сам он нередко упражнялся в жанре «телеги» (провокационной лекции), будь то рассуждение о вагинальной сущности Москвы, скрытых рептилоидах или тайном единстве смерти и дефекации.

4

— Что такое бессмертие души? Это закон сохранения информации! — шумно доказывал Илья, демонстрируя записанные номера в мобильнике как уникальное свидетельство. Из его слов выходило, что таким мобильником с нестирающимися номерами является любой предмет, волна, знак, молекулярный узор. Развивается только наша способность к расшифровке записанного. В этом смысл воскрешения мертвых.

Мир как информационное поле. История как гипертекст. Человек как устройство, позволяющее системе тестировать саму себя. Эволюция как рост вариативности.

Никакая власть не возможна без контроля над коммуникацией. Ультракультурный партизан создает пунктир из мемов, вирусов будущего. Очерчивая границы возможного, увеличивая вероятность некоторых событий и подготавливая преодоление этих границ на следующей стадии развития.

5

В начале нулевых ему стало тесно быть просто приглашенным редактором и переводчиком в чьих-то издательских проектах.

Его собственное издательство началась с нескольких людей, задавшихся вопросом: что сейчас (2002) в мире вообще и в России в частности работает как фермент, то есть приводит в движение дальнейшую историю нашего вида?

Ответы получились такие: новые технологии освобождения и киберпанк, расширители восприятия, исследования внутреннего космоса и легалайз, контркультура и альтернативный мистицизм, антиглобализм, радикальный ислам, анархизм, новые правые. Эти пароли и стали первыми смысловыми линиями издательства.

Мы чувствовали притяжение невидимой звезды радикального Просвещения, которая вела нас. Илья предложил два стратегических лозунга: «Все, что ты знаешь, — ложь!» и «Все открытые двери ведут в тупик!» Выбрали первый. Как мы сами его понимали? Производство истины состоит в разоблачении иллюзий, которыми мы окружены, и, что гораздо важнее, — в объяснении того, оправданием каких реальных отношений эти господствующие иллюзии являются. Цель — обнаружить скрытую синхронность событий, которым не положено быть связанными.

6

Во всероссийских книжных ярмарках наше издательство традиционно не участвовало. Зато оно арендовало музейный самолет рядом с павильоном ярмарки и устраивало свой праздник там. Все обряжались в камуфляж и военные каски с гуманоидом-логотипом. Растягивали на самолете надпись «Все, что ты знаешь, — ложь!» И с трапов в мегафон предупреждали толпу, что скоро взлет и в будущее возьмут не всех. Билеты в наш самолет вручались заранее и только посвященным. Без билетов пускали бесплатно и всех желающих. Однажды перепуганная милиция на пару часов заперла нас внутри, чтобы не портить ярмарку. Сквот превратился в гетто. Это была точная метафора.

Обычно издательскую деятельность Кормильцева описывают как попытку дать голос всем внемейнстримовым, не попавшим в норму авторам.

Идеальный субъект перемен, агент мутации, к которому мы стремились в нашей конструкторской утопии, выглядел так:

Существует среди киберпанковских устройств-диковин, отношение к которым может доходить до фетишизма. Экспериментирует со своим телом и сознанием, не веря на слово ни битникам, ни Пи-Орриджу. Понимает, что улучшить себя в одиночестве невозможно, и потому объединяется с такими же исследователями как на местном, так и на мировом уровне. Участвует в стихийных и творческих атаках на власть и капитал, как бы эта пара ни проявлялась, от цензуры в Интернете до вырубки ближайшего парка. В истории предпочитает видеть рост самостоятельности людей и изживание отчуждения между ними, то есть переход от пирамид власти к горизонтальным сетям самоорганизации. В искусстве ценит остранение, беспокойство и внезапное черное излучение от самых обычных предметов. Вместо коллективной эзотерики наций, империй и конфессий выбирает индивидуальный мистицизм, отчего поборники наций, империй и конфессий нередко записывают его в «сатанисты». Особо усиливает этот конфликт то, что в индивидуальной магии агент часто обращается к символам и понятиям предыдущих и потому демонизированных цивилизаций. В силу сложившейся геополитики считает радикальный ислам наиболее вероятным языком грядущего международного восстания.

В реальности такого агента не существовало, но именно этот гомункулус был заявлен целью всей нашей алхимии. Гражданин мира Илья Кормильцев спокойно удерживал такой «новый мировой беспорядок» в колбе своей седой и веселой головы. Блестящее знание языков, общительность и любовь к перемене мест помогали. Представители всех вышеназванных «диаспор» смешались в толпе на похоронах. Отпечатки их пальцев совпали в полированной крышке зеркального гроба.

Сначала появились списки нерекомендованных книг. Люди из ФСБ приходили в большие книжные магазины и советовали конкретные наши издания не продавать. Это не имело законной

силы. Но потом начались суды, и книги стали изымать с полок и даже сжигать.

Нас это стимулировало.

Система должна реагировать на таких, как Илья Кормильцев. Но таких, как Илья Кормильцев, не должны интересовать цели и задачи системы.

У нас в планах была девушка, которая писала порнографические романы политическим языком маоизма. Все сексуальные сцены там объяснялись в категориях брежневского ревизионизма, перерождения правящей партийной бюрократии и необходимости рабочего контроля на всех уровнях. Жаль, что мы так и не успели ее напечатать, никто кроме нас такого не издавал, и никто нас в этой роли так и не заменил.

Мы стали издателями Лимонова, который сидел тогда в тюрьме. Никто кроме нас не хотел связываться с человеком, для которого суд требовал двадцати лет заключения за подготовку вооруженного восстания.

Сейчас наши книги — библиофильский культ и стоят больших денег, их не достанешь. Некоторые из них, впрочем, до сих пор в списке экстремистских материалов. Но по-настоящему коммерчески успешными мы не были. Пара книг вытаскивала всю работу издательства.

7

Уже под конец истории «Ультра.Культуры» была попытка запустить собственный глянцевый журнал под руководством Кормильцева.

Планировался гламур наоборот, глянец наизнанку, все самое подрывное в современном искусстве, литературе, теории, политике, эзотерике и т. п. Аргументированный призыв к новому мировому беспорядку, вирус, поражающий средний класс и лучшую часть мыслящей молодежи. Регулярное издание, которое взорвет этот мир, а когда его запретят, мы будем продолжать подпольно. Мы наполовину сделали первый номер, у Ильи была уверенность, что он найдет первоначальных спонсоров среди эксцентричных олигархов, он общался с их представителями, но все они, включая

заграничных, подумав, сказали свое вежливое буржуазное «нет». Мы сидели в кафе, обсуждали это и смеялись: вот и выяснилось опытным путем, что ни в России, ни за границей нет никаких богачей, которым нужна была бы здесь революция, это просто кремлевский миф, на который мы наивно повелись. Мы слишком буквально поняли психоаналитическую гипотезу о том, что буржуа втайне отвратительны сами себе и бессознательно ищут того, кто уничтожит их мир и все у них отнимет.

С этого момента Илья засобирался на нулевой меридиан в Лондон.

8

Ему было что сказать самому себе в зеркало утром. Он не боялся туда смотреть, потому что был интересен сам себе. А сами себе мы остаемся интересны до тех пор, пока мы нужны другим. Правда, ширину круга этих других каждый определяет сам.

Запуская серию «Жизнь Zапрещенных Людей» (Кроули, ЛаВей, Пол Пот, Хьюи Ньютон, Тимоти Лири, основатели немецкой RAF), Илья часто размышлял вслух о наиболее общем рецепте «успешной» биографии: выйти на сцену в маске самого себя, и пусть между тобой и маской, предъявленной зрителям, точно повторяющей твое скрываемое лицо, останется тонкий, но необходимый для дыхания слой самоиронии.

9

Однажды ночью, выйдя из мастерской художника Толстого-Котлярова, он начертил руками в воздухе прямоугольник и сказал: им достаточно поставить в зоопарке пустую клетку, а зверь в ней скоро заведется сам!

В мастерской долго спорили о ритуальных жертвах и стигматах любой революции и о том, что сейчас стратегически нужнее: фермент или вирус?

Для Кормильцева в России прошлого века было два момента вдохновляющей свободы: 1920-е и 1990-е. Остальное в плену холопства. Холопство толп, впрочем, его не расстраивало, слишком понятны исторические причины. Расстраивала готовность «халдеев» обслуживать кого угодно и соревноваться в угадывании на-

строений всякой власти, искренне считая эти настроения «духом эпохи». Халдеями Илья называл податливую интеллигенцию, тех, кто пишет, снимает, ставит и как угодно еще производит актуальную культуру. То есть тех, кто не обязан подчиняться историческим причинам, однако подчиняется.

Его удручало, что все здесь из поколения в поколение сводится примерно к одним и тем же отношениям между «гопником», «умником» и «вертухаем».

Не имея душеспасительных иллюзий, он не особенно надеялся дожить до следующей русской революции. А саму революцию предпочитал видеть предельно обобщенно, как вечный сюжет о необходимом жертвоприношении. Это представление о «революции вообще» схвачено в его песне «Viva la Revolution!», написанной еще в 1990-х и спетой впоследствии группой «Кукрыниксы».

10

«Счастье — это побочный продукт осмысленной деятельности», — любил он повторять из Берроуза, которого переводил. Его смешило, что это сказал именно Берроуз, который ни с какой осмысленной деятельностью ни у кого обычно не ассоциируется, имея отношение скорее к психоделическим трипам и гомоэротическим утопиям.

Кормильцев был из тех, кому символическая экономика важнее рыночной: викинг зарывает клад так, чтобы за ним никто не вернулся, индеец сжигает в праздничном костре свой дом, чтобы пережить чистый произвол своей воли, отказавшись от пользы, стать угодным богам, но это совсем не значит прожить дольше или счастливее.

В критике господствующей системы Илья был антикапиталистом и очень интересовался левацким анализом спектакля — в основе буржуазного понимания свободы лежит свобода самопродажи и больше ничего.

Однажды он оказался на большом форуме леворадикалов и виртуозно продемонстрировал там, с какой легкостью он может говорить на их языке о глобализации, экономических циклах и перспективах международного сопротивления. Марксисты в зале

перешептывались: «А это точно тот Кормильцев, который про “скованных одной цепью” писал?»

Но в вопросе о толпе и элите он был последовательно правым, и мы бесконечно с ним об этом спорили. Он был уверен, что даже в самом бесклассовом обществе полностью равных возможностей люди всегда будут делиться на элиту и всех остальных по целям и стилю жизни, потому что это задано биологически. Пока наши споры оставались в пространстве социальной философии и психоанализа, я возражал ему достаточно уверенно, но Илья всегда применял свой любимый прием, вдруг переходя на язык поведенческой биологии, которая была одним из его увлечений. Он цитировал Конрада Лоренца, объяснял, что такое власть, на примере аквариумных рыбок и колонии сурикатов, и тут мне нечего было возразить, кроме того, что биологическая эволюция человека сменилась социальной и над инстинктами надстраиваются совсем другие интересы, но это был слишком слабый, не конкретный довод. Эгалитарное общество, по Кормильцеву, могло бы возникнуть только как постчеловечество, когда генетика станет податливой, как глина, в наших руках. С высокой вероятностью он допускал, что мы — одно из последних поколений людей, и в наступившем веке всех ждет антропологическая революция, то есть на базе людей возникнут совершенные новые существа.

Золотой век, в который стремятся вернуться правые, или иная жизнь, которая ждет нас за пределами этой жизни, если верить мистикам, — сами эти представления уже есть призрак полезного идеала, альтернативы, утопии, в превращенной форме живущей внутри нас.

Другая черта правой оптики, которая его интриговала, — способность видеть, как быстро лопается тонкая пленка условной «цивилизованности» и проступает средневековье с перманентной войной небольших, но лихих отрядов под водительством авантюрных кондотьеров.

Споры обо всем этом часто возникали во время планерок издательства. Споры были очень важны, потому что Илья обладал редкой способностью совершать мгновенный прыжок от только что сформулированного теоретического парадокса к конкретно-

му действию. Он считал, что если ты сегодня что-то новое понял, то не позднее, чем завтра, ты в связи с этим должен уже начать что-то новое делать.

Стоило прояснить что-нибудь про гностицизм, и Илья тут же предлагал сделать в следующий номер «ОМ» интервью с Жижеком. Выяснялось нечто неочевидное про дыхание во время медитации, из этого следовала публикация истории ЛСД, и мы заключали пари о том, насколько быстро они это запретят. От четкости теоретических формул зависело, что мы будем делать в ближайшем месяце: криптоанархия и сакральная география? «Черная книга корпораций»? Сапатисты и Джин Шарп? Антикопирайт? Стихи Андрея Родионова и Ника Кейва? Цифровые дервиши ближайших времен? Городские партизаны недавнего прошлого? Околофутбольные беспорядки?

11

Он верил в предначертанную судьбу и отчасти даже в астрологию. Считал, что судьбе стоит возводить храмы, но смысл этих храмов именно в том, чтобы их игнорировать, сопротивляться, бросать вызов року. Самое важное из предначертанного сбывается как раз через нашу попытку его отрицать.

В свое время он принял крещение под влиянием Натальи Трауберг, с которой они первоначально сошлись на почве интереса к Льюису, Илья переводил его роман.

Религиозные системы он, впрочем, воспринимал как языки, внутри которых искал один и тот же вдохновлявший его гностический сюжет о катастрофе, лежащей в основе творения, и о человеке как свидетеле этой катастрофы, бросающем вызов этому миру. Вызов обреченный и необходимый одновременно. Вызов, возможность которого дана нам как уникальная миссия в нерешаемой драме реальности.

Эта тема вопиющей нищеты всякого бытия сближала Илью с Гейдаром Джемалем, которого мы тоже издавали.

Человек как тестирующее устройство мог быть послан в систему кем-то, абсолютно внешним по отношению к ней. Иначе откуда берется чувство «нищеты бытия», если не от знания внебытийной «роскоши и изобилия»? И тогда роль человека — это место свидетеля в суде. И несогласие с законами гравитации происходит от знания иных небес. Появление личности как реакция организма на уникальный первоначальный катаклизм. Появление самой материальной реальности как иммунная реакция пустоты на раздражитель.

Но откуда тогда столь глубокий дискомфорт в отношениях между сложно мыслящими людьми и тестируемой реальностью? Почему тестирующее устройство столь часто ставит системе незачет? Является ли этот драматизм простым преувеличением, необходимым для хорошего ремонта? Человек — тестирующее устройство или исполнитель приговора?

На эти вопросы Кормильцев всегда отвечал по-разному.

Илья вел персональный джихад, а в последний год своей жизни даже делал сайт с таким названием (джихад.ру). Он любил это слово. Конфронтация с миром как уникальный способ самовоспитания.

Илья не раз повторял, что исламофобия в 21 веке станет тем же, чем был антисемитизм в 20-м.

Из исламских учителей прошлого его больше всего впечатлял Аль-Халладж.

В рассказе («Абсолютное белое») Кормильцева абсолютная белизна станет образом чистых смыслов, не искаженных видимым воплощением. В учении Платона человек видит только материальные тени духовных идей, а здесь, наоборот, — полное и невыносимое отсутствие каких бы то ни было теней и полутонов. Радикальное столкновение с полностью абстрактным. Гностическое доверие к звуку и недоверие к изображению. Переживание себя, как Демиурга, тело которого — вся реальность и последующее умаление, исчезновение из поля зрения людей.

В лондонской больнице он продолжал сражаться со смертью и сочинял свои последние стихи. Есть версия, что перед смертью Илья принял ислам. Этого уже не проверишь, потому что у этого всего один свидетель, но это могло оказаться правдой.

Вся человеческая культура — попытка примириться с известием о собственной смертности. Мы заколачиваем словами и образами бездонные окна, распахнутые в смерть. Мы пытаемся действовать в соответствии с этими словами и образами, как будто они первичны. Так мы создали нашу цивилизацию.

Однажды в офисе издательства вдруг выключился ток. Погасли лампы, экраны, жалобно пискнуло нечто аварийное в стене, смолк кондиционер, принтер подавился страницей дневника политзаключенного. «Вот так вот однажды вдруг, без афиш, и кончится жизнь», — пошутил я. Илью это возмутило. Он был решительно против банального изображения смерти как неожиданной темноты. Мы стали выдумывать более точную сцену. Комната наблюдателя, конечно, остается, а не тонет во тьме. Никуда не девается и вид за окнами. Исчезает тот, кто смотрит. Происходит это не мгновенно, так как целостность наблюдателя — привычная фикция. Наблюдатель ходит по комнате, раскладывая свои части по ящикам. Записывает все воспоминания и навыки на диск. Аккуратно кладет глаза в шкатулку, а голову, сняв, оставляет в большом ящике стола. Продолжает расшнуровываться. Сохраняя еще немало способностей, ноги ставит в шкаф. Руки накрывают торс коробкой, а сами прячутся на полках. Они двигаются как крупные кальмары, действующие на ощупь. Человек — это то, что возникает на границах взаимодействия многих устройств, но не сводится ни к одному из них. Теперь мы имеем комнату, в которой есть, на что, но больше некому смотреть.

Проза.
Часть I. Ananke

Абсолютное белое

Я попался, Харитон, я попался. Сказал недозволенное о правителе нашем — и попался. Кто донес на меня, теперь не столь уж и важно. Может, кто-нибудь из тех водоносов у источника, где произносил я свои смелые речи, распуская перышки, что твой павлин, может, Клития, в нежные ушки которой, распаляясь, я шептал слова дерзновенные, может, один из тех, кто принимал участие в наших многоречивых попойках, может, это был ты, Харитон?

Зачем я дерзил, зачем говорил недопустимое, что и живем мы не так, и верим-то не в то, во что следует верить? Ведь если быть до конца честными, не так уж плохо нам и живется: во всяком случае, не хуже, чем жилось отцам и дедам нашим. Есть, конечно, досадные недостатки, но когда без них обходилось? И когда люди бывали довольны? Может, и есть некто, ненавидящий искренне устои наши, но мне он не попадался. Одни недовольны своей долей и хотели бы большего, другие просто живут с желчью в крови, и все им не в радость, а больше всего тех, кто говорит, просто чтобы утвердиться в своей свободе самим или же показать свою смелость на глазах у друзей и женщин. И я из их числа. Но что оправдываться? Судят-то нас за поступки, а не за намерения.

И ведь дай нам, говорунам, трон из слоновой кости под заднее место и трость с головою журавля в руки, неизвестно, каких бы дел мы еще натворили. Всякий — Перикл, пока говорит со своей кухаркой, а пробьется в люди — он же Писистрат или Драконт. Но это я к слову.

Я попался, и был приведен к дворцу, и буду судим, и буду пытаем теми пытками, о которых перешептываются досужие

и несведущие. Мысль о пытках повергла меня в дрожь, и я сидел, скрючившись, на каменных плитах, подобно мокрому чижику. Но долго мне не дали трястись в безвестности — пришли стражники, толкнули меня под лопатки копьями и повели под железные очи отца нашего. Посмотрел он на мою наготу и исполнился презрения.

— Этот, что ли, — спросил он у стражников, — тот Эвменарх, который недоволен?

Кивнули стражники.

Усмехнулся он в бороду свою, сдунул с рыжего волоса золотой порошок.

— Что будем с ним делать? — спросил он у стоявшего рядом человека в плаще. И понял я, Харитон, что стоял рядом Пробий, мудрец наш великий и — люди это говорят, не я — изощренный изобретатель пыток, ломающих гордого человека.

— Оставим его, — сказал Пробий, играя складками одежды своей. — Оставим его наедине с белизной.

— Мудро сказано, — вновь усмехнулся правитель наш и дал легкий знак стражникам.

И вновь впились язвительные копья в лопатки мои, и повели меня по лестнице, идущей вниз, ходят слухи, до самых окраинных мест Эреба. И казалась мне лестница со страху бесконечной, как быкам путь на бойню. Медленно идут они туда, Харитон, резвые на воле, хитро задерживают поступь: то из лужи стремятся напиться, то травинку какую ущипнуть. Так и я шел, спотыкаючись и медля, но, как ни медлил, довели меня до какой-то дверцы, сорвали с меня одежды и впихнули внутрь.

Упал я на колени, встал и осмотрелся. Была это комната невысокая и неширокая, шагов десять от стены до стены, и вся выбеленная чистым белым — и стены, и пол, и потолок. Чистым белым, я сказал, Харитон, но не сказал «белым как снег», или «белым как чайка», или «белым как жженая известь». Потому что и у чайки, и у снега, и у извести есть свой, присущий им оттенок, а у этой белизны не было никакого оттенка.

Светло было в комнате, светло как ясным днем, светлее, чем днем. Попытался я понять, откуда льется этот свет, но не смог. Не было ни отверстия, ни лампы, ни огня, но свет лился отовсюду — сверху, снизу, с боков — сама комната свет этот излучала, такой же нестерпимо белый. И был он таким ярким, что когда я закрывал глаза, темнее не становилось. Свет тонкие мои веки пронизывал насквозь, и я не мог найти темноты, разве что если бы выколол себе пальцами глаза.

Я исследовал тщательно все стены, но не нашел ни малейшей щели, ни следов двери, через которую я был ввергнут в это узилище.

Первое, что подумалось мне: хотят меня здесь замучить до смерти голодом и жаждой, потому что была эта комната абсолютно пуста. Ни скамьи в ней не было, ни стола — да что там! — пылинки в ней не было, одни поверхности ровные.

Захотелось мне по первости кричать и биться головой о стены, но тут подумалось, сколько радости я доставлю этим жестоким моим палачам, и стиснул я зубы. И начал я ходить по комнате кругами, чтобы забыться, и стал считать шаги свои. Но скоро сбился я со счета и в отчаянье, упав на колени, распростерся ниц и закрыл глаза. Но не было в этом спасения, потому что, Харитон, как я уже тебе говорил, глаза мои продолжали видеть повсюду белое. И снова я вставал, и снова ходил по комнате, и снова падал на колени, и шел уже на четвереньках, или же, встав, шел вдоль стен, ощупывая их руками и пытаясь отыскать хоть малейший просвет, — так я был безумен. И чем больше ходил я, тем больше переставал понимать, где здесь верх, где здесь низ, где право, где лево. Казалось мне временами, что иду я то по потолку, то по стенам, то под каким-то невероятным углом. От этого голова моя пошла кругом, и я упал, распростертый, но и лежа я не понимал, лежу ли я на полу или на потолке, потому что не было больше ни верха, ни низа.

И я понял, что сойду с ума раньше, чем умру от голода или жажды, и что в этом и состоит жестокий замысел моих мучителей.

Так я лежал, неподвижный, и не мог заснуть, потому что глаза мои не находили темноты, и лежал я так неведомо сколько времени, потому что время остановилось или, может быть, летело так быстро, что проходили столетия.

И тут я услышал пение. Сначала это был тонкий голосок какой-то, который сверлил уши мои, и я поднял голову, чтобы найти невидимую сирену. Но кругом была одна только белизна.

Потом голос этот окреп и удвоился, затем в него вплелись еще и еще другие, и я подумал, что слышу хор сирен. Голоса росли и умножались, и это была уже не песня — это был многоголосый рев. Подняв голову, я сидел на холодном полу, словно волк, в полнолуние молящийся Селене, и пытался расслышать слова этой наводящей страх песни. Вначале она показалась мне многоголосым стоном, слитным, наподобие шума прибоя, или терзаемых ураганным ветром крон могучего леса, но потом мне удалось выделить в нем знакомые мелодии, и слова наших песен, и другие, неведомые песни на неизвестных мне языках, те, которые поют на восходе дикие эфиопы и собакоголовые люди. И среди этого пения я различил тысячи голосов, которые что-то говорили мне, умоляя, насмехаясь, стеная, рассуждая с достоинством, упрекая, обвиняя, подшучивая, сочувствуя. В бессильном ужасе и я завыл, то ли взывая о помощи, то ли пытаясь перекричать эту толпу демонов, явившихся поглазеть на мое жалкое положение.

Голос мой сначала потерялся среди тысяч других, которые стали передразнивать мой жалкий вой наподобие эха в высоких ущельях, но я завыл еще сильнее, и голоса стихли, и в наступившей тишине прозвучало бессильное и смехотворное завывание иссохшего моего горла. Слезы хлынули из глаз, сначала жгучие и горькие, потом сладкие и утешительные, и тут я вдруг почувствовал, что расту. Я рос, заполняя собой всю комнату, и кожа моя коснулась стен, а потом слилась с ними, могучая кожа, светящаяся изнутри ярким белым свечением, и мне стали смешны прежние мои тревоги. Что был для меня верх, что был для меня низ, Харитон, если я заполнял собою все пространство? Вне меня никого и ничего больше не было. Я увидел внутри себя Солнце, Луну и семь планет, я увидел внутри себя плоскую Землю со всем, что ее населяет; люди вели внутри меня свои бесконечные сражения, Гектор и Ахилл оспаривали Елену, плыли внутри меня корабли, и пожирали их, резвясь, огромные морские киты, бежали внутри меня камелеопарды, поднимая тучи пыли.

Я засмеялся, и смех мой не излетел из меня, потому что излетать ему было некуда, а наполнил меня изнутри, распирая мое огромное, наполненное белым свечением брюхо, и люди обратили свои головы к небу, пытаясь понять, откуда исходит гром в безоблачный день.

Я продолжал смеяться, потому что мне хватало над чем смеяться — столько всего сразу показалось мне смешным! Мне показалось смешным детское мое желание владеть твоим скакуном, Харитон; ведь во мне бродили все табуны Скифии, и бродили вечно, всегда, от моего появления на свет. Мне показалась нелепой владевшая мной испепелявшая страсть к золоту, потому что в правом моем бедре томились рудники Голконды, а в подреберье лежала, источая ароматы и звеня золотыми браслетами, Аравия Счастливая. Мне показались мальчишеством наши с тобою поступки: как мы сходили с ума, делая ставки на колесницы; ведь одним движением моей брюшины я мог сделать тугим воздух, притормаживая вращение спиц, или же разрядить его, позволяя коням лететь через ристалище подобно ласточкам. А как я смеялся над моей страстью к Клитии, над унижениями, на которые я шел, лишь бы только двери ее не запирал дубовый засов, над следованием ее причудам и преклонением над ее мигренями — миллионы женщин томились на ложах внутри меня, распахнув бедра навстречу нестерпимо белому свечению, открывая свои увлажненные шрамы тому, что они мнили лучами Луны, но что было моим всепроницающим свечением.

Так я смеялся, покатываясь с хохоту, смеялся века такие долгие, что протяженность их была понятна только черепахам,

смеялся, чувствуя зарождение из тины в моем кишечнике лягушек и саламандр, и мышей из перхоти в моих волосах. Я не помню, сколько я смеялся, пока мой смех не оборвался от ужаса.

Я перестал смеяться, когда увидел, что где-то в моих глубинах распахнулась дверь и в ней показались руки. Они ухватили меня изнутри и потянули в это крошечное отверстие, и я начал съеживаться, как морская рыбешка, испускающая воздух из непомерно раздутого пузыря, и нестерпимо белое свечение мое гасло, гасло, гасло… И когда я стал маленький, меньше любого муравья, меньше демокритовых атомов, белизна исчезла совсем и руки потащили меня через темноту, ничтожного, тающего на глазах, и вынесли на свет, но уже другой свет, желтый и тусклый, и бросили в пыль.

Я поднял голову и увидел высоко над собой, в головокружительной высоте, два бородатых лица. Сознание на миг вернулось ко мне, и я распознал в этих лицах Пробия и правителя.

— Пытка кончилась… — неслышно прошептал я.

Правитель рассмеялся, а Пробий сказал печально:

— Она только началась, несчастный!

Тут я огляделся, и увидел громадные, как горы, дома и высокие, как колонны, деревья, и увидел самого себя, маленькую черную точку на бесконечной, плоской и жестокой земле, точку, до которой никому нет дела, точку, последние конвульсии которой могут лишь ненадолго потревожить вековечную пыль, не более чем предсмертные судороги сколопендры, раздавленной копытом мула.

И тогда я зарыдал, но плач мой был тоньше комариного писка и вызвал лишь безудержный смех у двух моих мучителей.

Таким ты и подобрал меня, Харитон, подобрал из жалости, и отнес в ладони к себе домой, и посадил в глиняный горшок, где и проведу я остаток своей жизни, беспрерывно оплакивая белые стены, в которые мне уже не суждено вернуться.

1989

Колесница Леонардо

Серебристая лента сабли, отразившая солнце, заставила меня зажмуриться, и тотчас же сильный удар рассек мои шейные позвонки. Глаза открылись от нестерпимой боли, и, уже падая, я увидел, как попеременно сменяли друг друга небо, земля в застывших под ветром плюмажах ковыля и далекий горизонт, ощетинившийся фигурами конников. Все это таяло, гасло, теряло отчетливость с каждым оборотом летевшей вниз головы. Перед тем, как потерять сознание, я почувствовал несуразный страх, оттого что могу попасть под копыта лошадей. Я очнулся от дикой жажды и нестерпимой боли в шее. Сильная потеря крови ослабила ясность моего рассудка, и первым делом я попытался встать на ноги. Но очевидный неуспех попытки отрезвил меня и вернул к печальной реальности. Я лежал на правой щеке и, скосив глаза, мог видеть пустоту пониже подбородка, заполненную только травой и более ничем. Может показаться странным, что я не испытал естественного в подобной ситуации потрясения, не пел, не кричал как безумец, не обращался к Богу в благодарных молитвах; более того, я внешне ничем не проявил своих чувств. Очевидно, потеряв тело и вместе с ним сердце, я лишился хотя и не самих чувств, но потребности в их излиянии.

Нельзя сказать, чтобы я не был рад, но радость мою омрачал ряд невзгод и лишений, которые мне, лишенному конечностей, предстояло испытать. Ясность рассудка, свойственная головам, потерявшим туловище, не позволяла питать иллюзий на этот счет.

Прежде всего, меня мучила жажда, вызванная долгим боем и не менее длительным забытьем под палящим солнцем. Однако эта потребность была легко преодолена, поскольку в пределах досягаемости моего языка находился след конского копыта,

наполненный влагой от вчерашнего дождя. Освежив заветревшие, запекшиеся губы, я перевел дыхание и начал думать, как удовлетворить хотя и численно уменьшившиеся, но не ставшие от этого менее властными нужды. Пока я думал, сильный порыв степного ветра толкнул меня и поставил вертикально. От неожиданности я открыл рот, и это движение нижней челюсти заставило меня покачнуться, так что я с трудом удержал равновесие. При этом я заметил, к своему удовольствию, что продвинулся в результате на добрый дюйм. Я начал практиковаться и не без многих разочарований и неудач (к счастью, день был ветреным, иначе любое падение могло оказаться роковым) овладел через несколько часов передвижением при помощи нижней челюсти. Вскоре я так разошелся, что даже лихо использовал неровности местности, скатываясь с них, словно мяч.

От этих тяжелых физических упражнений у меня разыгрался волчий аппетит. Я огляделся по сторонам и увидел лежащее ничком в траве тело. Добравшись до него, я понял по одежде, что оно не так давно принадлежало мне. Не без некоторых, вполне понятных колебаний, я вцепился зубами в плоть и насытился. Ни ужас, ни философская ирония не посетили меня в этой необычной ситуации — я был голоден, и свое тело, гигиеническое состояние которого было мне, по меньшей мере, известно, оказалось лучшим выходом из положения, чем любое другое человечье или животное мясо. Насытившись, я отыскал карманы, с презрением отбросив ни на что отныне не пригодные ассигнации и уделив особое внимание папиросам и спичкам. Однако боязнь вызвать степной пожар удержала меня от попыток добыть огонь, чтобы закурить.

Солнце клонилось к закату, и в степи заметно похолодало. Оставлю без упоминания нечеловеческие усилия, затраченные на постройку жалкого подобия шалашика, но, вконец изрезав травой все губы, ближе к полуночи я все-таки устроился на ночлег и немедленно заснул. Проснувшись на рассвете, я восстановил в посвежевшей памяти события предыдущего дня и стал обдумывать, что предпринять. Местность, изобиловала пищей —

мрачным наследием отгремевшей битвы, — но под солнцем она вскоре начнет портиться. Травяной шалашик — пока надежный кров от ночного холода, но надвигается осень с ее пронизывающими северными ветрами. Будучи допущенным к штабным картам, я успел хорошо изучить местность и легко вспомнил о пещерах Кара-Гур в недалеких отсюда холмах. Они могли послужить надежным убежищем от капризов погоды. Тудато я и решил направиться. Могут спросить, неужели в столь диковинном положении у меня не нашлось времени для мыслей о провидении, Боге, судьбе, рассуждений о том, почему меня миновала смерть, но, повторюсь снова, вместе с утратой тела всякая метафизика, которая и раньше была чужда моей натуре, абсолютно перестала волновать меня. Я не оставил в мире тел ни родных, ни близких, а мое физическое состояние с потерей туловища даже улучшилось, поскольку оно определялось отныне только состоянием мозга и органов чувств, самых благородных отростков плоти. Голод и жажду я отнес на счет тех фантомов, которые свойственны ампутированным конечностям, и пришел к выводу, что со временем они также перестанут меня посещать.

Я отправился в путь прекрасным ясным днем и быстро продвигался с помощью попутного ветра и нижней челюсти. Более всего меня беспокоила угроза, которая могла бы исходить со стороны степных животных и птиц, но, заметив мою растрепанную шевелюру, они в ужасе разбегались, очевидно, принимая меня за ежа или дикобраза, колючая неудобоваримость которых была им хорошо известна.

За несколько дней я без особых проблем прополз и прокатился более десятка верст, причем мои потребности в еде и пище постоянно сокращались, приспосабливаясь к уменьшившемуся количеству плоти. Не помню уже, на который день, ближе к вечеру, я услышал неподалеку шорох травы. Не обратив на него особого внимания, я продолжал свой путь, но шорох становился все ближе, и когда трава, наконец, раздвинулась, то, к своему удивлению, я увидел перед собой не суслика или сайгачонка, а другую голову, которая смотрела на меня изумленными глазами.

Это была молодая женская голова с очаровательными чертами. Преодолев первое замешательство, мы заговорили. Голову звали Евой. Мы не стали расспрашивать друг друга о нашей прежней жизни (вообще, головы очень быстро теряют интерес к своему туловищному состоянию, и вспоминать о нем считается даже неприличным; разум, который, согласно невежественным представлениям руконогих, освободившись от плотских забот должен воспарить в высоты абстрактных рассуждений, становится, напротив, очень приземленным и, если не занят решением сиюминутных проблем, погружается в молчаливое и равнодушное равновесие). Память о плоти настолько уже стерлась во мне, что близкое соседство этой очаровательной женщины не возбудило иных сожалений, кроме как об оставленном табаке и спичках, которые теперь совместными усилиями можно было бы употребить. Я объяснил Еве свой план, и она сделалась моей спутницей, поскольку сама совершенно не знала местности. Вместе, ведя немногословную беседу и обмениваясь полезными навыками, мы добрались за неделю до Кара-Гура. Проникнув в его темное устье, мы покатились по пыльным коридорам, пока во тьме не послышался гул голосов и не показалось вдалеке смутное свечение. Ева просила меня воздержаться от дальнейшего продвижения, но любопытство взяло верх, и вскоре мы очутились в огромном гроте, среди большого количества голов. Грот был освещен тускло дымившими светильниками. Навстречу нам выползла большая кудлатая голова, которую, как выяснилось позже, звали Ратмиром, и осведомилась о наших именах. Получив исчерпывающие сведения, Ратмир сказал, что мы приняты в общину, и объяснил нам наши несложные обязанности, которые сводились к уходу за наиболее дряхлыми головами и периодическим осмотрам сетей, поставленных на летучих мышей, кровь которых служила пищей тем из общинников, кто еще не расстался с прежними привычками.

Жизнь наша потекла спокойно и однообразно. Редкие беседы были связаны только с повседневными обязанностями.

Головы почти не различают друг друга и устанавливающиеся симпатии эфемерны и неглубоки. Тем не менее я по-прежнему предпочитал общество Евы, и, кроме того, мне нравилась маленькая самурайская голова по имени Годзикава, которая особенно ловко выбирала сети и отгрызала головы нетопырям.

Так прошло немало однообразного времени. Я все чаще погружался в подобие сна с открытыми глазами, и мои потребности становились все более спартанскими, а чувства — несуществующими, когда в одну из неопределимых ночедней в пещере появилась новая голова по имени Леонардо.

Леонардо после обычного представления общинникам включился в наш монашеский распорядок. Однако в свободное от нехитрых обязанностей время он удалялся в самый темный угол пещеры и там шебуршал чем-то. Через некоторое время из угла, облюбованного Леонардо, стал раздаваться сухой треск разрядов и изредка восходили разноцветные дымы. Старые головы продолжали пребывать в апатии, но более свежие подкатывали в угол Леонардо и с интересом смотрели на сверкающее сооружение, похожее на электрический стул.

Когда работа была закончена, Леонардо объявил собравшимся головам, что они могут опробовать его новое изобретение. Первой вызвалась голова-альбинос по имени Харальд. Взгромоздившись на стул, Харальд замер в ожидании, закрыв глаза. Некоторое время ничего не происходило, но тут, к изумлению собравшихся голов, из-под век Харальда показались слезы, и собравшиеся услышали горькие всхлипывания. Встревоженные головы, несмотря на протесты Леонардо, столкнули Харальда с возвышения. Он откатился в сторону, где продолжал всхлипывать и рыдать. Некоторые, включая Еву и Годзикаву, попробовали вслед за Харальдом, но результат был одинаков. В смятении все разошлись, оставив Леонардо около его детища. Той ночью я проснулся от прикосновения чьих-то теплых губ к моим губам. Открыв глаза, я успел разглядеть быстро скрывшуюся в полумраке маленькую головку, которая, несомненно, была Евой.

На следующий день головы, невнятно шумя, столпились в уголке Леонардо. Ратмир, решительно растолкав всех, поднялся на сверкающий помост. Некоторое время он пребывал в молчании, но затем его лицо чудовищно исказилось. Он скатился с помоста и издал невероятной силы вздох, от которого потолок над Леонардо обрушился и погреб изобретателя вместе с его машиной. Ратмир же удалился во тьму. Спокойствие общины было смущено. Через некоторое время, обходя пещеру, я обнаружил Годзикаву в обществе Робеспьера и Карла. Головы, выложив на земле странную геометрическую фигуру из камушков, покачивались перед ней, мыча какие-то диковинные напевы. Годзикава заметил меня и попросил никому не говорить об увиденном, прибавив, что то, что они делают, называется «вспоминать». Вернувшись туда на следующий день, я в ужасе обнаружил три мертвых головы в луже крови, вытекшей из внезапно открывшихся шейных рубцов.

Взволнованные страшным и необъяснимым происшествием, мы пошли к Леонардо и спросили его мнения. Голос из-под камней повелел нам собрать все имевшееся у нас в виде серег и обручей для волос золото и, выйдя наружу, рассыпать его в виде дорожки, ведущей к пещере. Затем он шепотом объяснил нам и дальнейшее. Поступив, как сказал нам Леонардо, мы погрузились в ожидание. Я нервничал и спал тревожно, учитывая то обстоятельство, что Ева продолжала беспокоить меня по ночам своими странными ласками.

Наконец, ловушка сработала. В тусклом свете наших плошек мы увидели ползущего на коленях человека, который подбирал золото. Когда человек поравнялся с нами, мы выбили камни из-под острой как нож плиты, и она упала, начисто срезав голову незнакомцу. «Уй бой!» — прокричала в ужасе отрезанная голова. Тотчас же вокруг тела завязалась безобразная свалка. Катавшиеся головы кусали друг друга за уши и носы, визжали и выдирали зубами клочья скатавшихся волос. В образовавшейся сумятице мы и не заметили, как ловкая Ева умудрилась приставить свою шею к шее мужского тела, и голова тотчас же приросла.

Ева вскочила на ноги и бегом покинула пещеру, оставив позади дерущиеся головы, которым не оставалось ничего другого, кроме как выть от огорчения.

Разочарование охватило нас, настолько глубокое разочарование, что мы все, кроме свежеиспеченной головы по имени Казанбай, погрузились в сумрачное молчание. Казанбай же орал, ругался грязными словами и, разузнав, наконец, кто был истинной причиной его бедственного положения, отправился к Леонардо. Поливая бедного узника невиданными ругательствами, он спросил его, чего тот, собственно говоря, добивался, поскольку в итоге голов осталось столько же, причем до остальных ему и дела нет, но вот он лично пострадал. Леонардо ответил, что он ничего не добивался, а просто хотел выяснить саму возможность обратного приращения. Теперь же он будет думать дальше. Уязвленный Казанбай сказал, что у него нет времени ждать, пока всякие профессора думают, и попытался разобрать завал, чтобы укусить Леонардо, однако только сломал о камни один из верхних резцов и, плюясь кровью и богохульствуя, удалился.

Наступили тягостные времена. Головы, потеряв покой, бродили по пещере, собирались группами и о чем-то шептались. Я, потрясенный поступком Евы, не участвовал в их разговорах и потому упустил тот момент, когда в центре этих сборищ все чаще и чаще стал оказываться Казанбай. Проснувшись както раз, я увидел, что все молодые, подвижные головы собрались у выхода из пещеры под предводительством Казанбая. Одна за другой они выкатывались наружу, в морозное, снежное, зимнее утро, и катились по снегу, оставляя глубокую борозду, пока не скрылись за дымкой начинавшейся поземки. «Стой, — закричал я уходившему последним Харальду, — куда вы?» — «На завоевание мира, на завоевание тысяч и тысяч туловищ!» — «Но это безумие, вы не справитесь с руконогими, да вы просто погибнете в снегах, Казанбай — лжец и болтун!» — «Я знаю», — просто ответил мне Харальд, его бесцветные ресницы задрожали и, решительно толкнувшись челюстью, он выкатился из пещеры.

Я остался один, совсем один. В испуге и отчаянии я кинулся к мудрому Леонардо в его каменную гробницу. Ослабевшим от голода голосом тот попросил меня сдвинуть камни, но, быстро обнаружив, что сил моих недостает, я направился вглубь пещеры к легендарным древним старцам, таким как Меноптах и Замолкс, от которых в нашей памяти остались только имена. Вскоре я увидел в тусклом рассеянном свете эти мрачные громады. Я обратился к ним с мольбами, но безмолвие было мне ответом. Рассвирепев, я вцепился в щеку ближайшей изначальной головы, но зубы мои лязгнули по твердой поверхности. Это был камень. Ужас охватил меня, когда я понял, что ждет меня, когда мои телесные чувства окончательно угаснут и разум останется в своем безразличном одиночестве. Обливаясь слезами, я вернулся к милому Леонардо. Так я провел немало времени у его смертного ложа, пока он посвящал меня все слабеющим от жажды и голода голосом в итог своих размышлений.

Голова, сказал Леонардо, может вернуться к телу, только если лишит это тело его первоначальной головы. Я назвал это законом справедливости. Это великий закон, и он не знает исключений. Мертвое тело с непреднамеренно отсеченной головой здесь не поможет. Уже почти шепотом он описывал мне изобретенную им колесницу с приводимой в движение от колес каруселью, оснащенную косами на концах оглобель, которая, мчась через поле битвы, должна косить головы, обеспечивая достаточное количество туловищ для тех, кого зловещий рок их лишил. Но как же так, возражал я, что же будет с новыми головами, лишенными тел. Я не знаю, слабея, бормотал Леонардо, но, очевидно, у задачи нет иного решения. Может, кто-нибудь знает, какие более достойны, может быть… Голос его затих на невнятном хрипе… Не знаю, сколько времени я провел, оплакивая смерть Леонардо, но однажды в просвете подземного хода появилась Ева, которая, облив меня слезами и покрыв поцелуями, поместила в теплый мешочек с дырочками для дыхания и унесла с собой.

Я живу, как певчая канарейка в большой просторной клетке. Прутья ее не ограничивают мою свободу, но служат просто для того, чтобы не свалиться со стола. Не описать всего, что сделала для меня добрая моя, любящая Ева. Она подкупала служителей моргов и анатомических театров, спешила на места кровавых убийств и катастроф, но все эти безуспешные попытки только повергали ее в большую печаль. В отчаянии она стала искать для меня хотя бы мужское тело, согласная уже на противоестественную любовь, только бы быть рядом со мной, полноценным и стоящим на земле ногами.

Ее ночные слезы не раз чуть-чуть не исторгали из моих губ слова закона, открытого Леонардо, но я не желал вовлекать бедняжку в грех человекоубийства.

Вчера она пришла особенно печальной, не хотела сперва отвечать на мои расспросы, но затем, расплакавшись, призналась, что повстречала на улице Харальда. Гордый шел тот по улице и нес свою голову на плечах какого-то туловища, ранее, видно, принадлежавшего цирковому карлику. Заметив Еву, он пугливо кинулся в темный проулок и скрылся с дьявольским проворством. И вот, сегодня ночью, пока я спал, она ушла, и я вижу, что в комнате не достает большого мясницкого ножа, который обычно лежал на подоконнике. Часы уже пробили полдень, а ее все нет. Если она вернется невредимой и с добычей, я, конечно же, не устою перед соблазном возврата к нормальному человеческому состоянию, перед надеждой осчастливить мою Еву ночами человеческой любви. Слегка изнасиловав свое сознание, я сумею убедить себя, что я более достоин носить свою голову на этих плечах, чем их прежний обладатель. Нет, я не питаю иллюзий, я забуду все пережитое с легкостью…

Но иногда, лежа в постели, согретой ее теплом, я буду просыпаться в холодном поту, вспомнив в ночном кошмаре о тех неприкаянных головах, которые все еще бродят по свету в поисках добычи. Чтобы замолить свой грех перед Господом мне останется лишь одно — унести с собой в могилу секрет изготовления колесницы Леонардо.

Около 1990

Новая лоция

«...умом постичь не может
муж многосчастливый,
гордый, горя в городе
не изведавший,
добродоблестный,
что же понуждает
горемыку изнемогшего
в море скитаться...»

Морестранник

Для тебя, Боальд, эту новую лоцию пишет Хильди.

За Мысом Черных настигли нас ужасные тучи, море открыло китовую пасть и втянуло нас в свои глубины. Во мраке мчались мы, потеряв счет дням, и все умерли от ужаса и потери надежды, кроме меня, от изгнания горького душой и потому безразличного к худшему.

Очутился я в области, где воздух плотен и зрение смущено.

Кто ведает, может, это был сон, но не тот сон, от которого можно проснуться по своей воле.

Сперва понесло меня по морю, где тысяча островов, населенных многими и разными народами. И все они жили не по нашему разумению, но по предначертанному им.

На первом же острове я повстречал людей, которые не говорят и не знают искусства рун. Все свои силы поэтому они тратят на то, чтобы не забыть прожитый ими день. Для этого, встав утром, они начинают повторять все, что делали за день до того, стараясь не упустить и не изменить ни одного движения или жеста. Причем те, кто должен умереть в этот день, занимают места умерших вчера, переходя в их семьи, новорожденных

младенцев передают в те дома, где вчера родились дети, и все поступают тем же образом. Но кончается день, и все приходится начинать сначала.

На другом острове солнце всходило по утрам на западе, а все рыбы летали, в то время как птицы забавно плавали, размахивая в воде крыльями. Люди здесь принимали и извергали пищу, непотребно поменяв местами врата жизни. Но именно на этом острове мне хотелось задержаться больше всего и временами он казался мне неотличимым от родного края. Тому виной больные мысли изгнанника.

Еще было там племя, плетущее сети: не слишком крупные, не слишком мелкие, два пальца ячея. К каждой сети привязывают грузила, чтобы она вернулась на землю, — ветры там сильные. Бросают сеть и ловят внизу. Когда же сеть падает, подбирают ее, и перебирают ячеи, и достают из них нечто, чего никто не видит, но они видят, а когда сети, по их мнению, полные, радуются и смеются как дети. Верно и вправду что-то они там находят, Боальд, потому что ничего другого они не добывают и не едят, а живут и плодятся, это я сам видел.

Король одного острова глухой, другого слепой, а третьего — лишен чувства обоняния. Купцы привозят на острова ковры, пряности и музыкальные инструменты. Каждый из властителей занят тем, что смотрит товар купцов, который может оценить, и сообщает остальным двум о его качестве. Но поскольку острова очень похожи, купцы часто ошибаются и привозят скрипки глухому, ковры слепому и мускатный орех безносому.

Тогда случается королям обмениваться странными посланиями. Глухой пишет: «Эта уродливая деревянная палка отвратительна», слепой пишет: «У этого плода противный вкус шерсти и его невозможно прожевать», а безносый утверждает, что орехи в мешке издают унылый сухой треск.

Нет ничего печальнее, Боальд, чем участь кораблей, попавших в Мафелонский проток. Там стремнина воды подхватывает суда и несет их на ужасные скалы. Морякам кажется, что уже нет спасения, как вдруг скалы раздвигаются, образуя проход,

и судно спасается, но лишь на время — тут же поток воды устремляется в обратную сторону, и все начинается сначала. Так может повториться много раз, пока однажды скалы, замешкавшись, не успевают пропустить судно. Лишь самым везучим из моряков удается дожить до старости и умереть своей смертью. Но вот что самое чудесное: на одном из судов гребец убил соседа по лавке, и его судили, приговорили и повесили на мачте за мгновение до того, как судно разбилось о скалы. Известно, что палач очень торопился и даже порезал руку веревкой.

Там же недалеко: дикое волосатое племя хродвиров в стужу ходит, как его создал творец, но в зной выворачивает себя мехом внутрь и так не страдает от солнца. Но за лето внутренний сок переваривает шерсть, и тогда, как только выпадет первый снег, хродвир выворачивает шкуру обратно, он оказывается наг и быстро замерзает. Поэтому ни один из них не доживает до второго лета. Я так и не понял, откуда берутся новые хродвиры.

Еще: встретил я многоглавое чудовище и рубил ему головы — славы искал. Но головы отрастали быстрее, чем я успевал их срубать. «Кто ты?» — спросил я врага непобедимого. «Жизнь твоя!» — вот такой был мне ответ.

Видел я людей страны Коккейн и ту пустошь, где змей Фафнир сидит на яйцах, и прочее, известное от народов. Видел и то, что не видел никто до меня. Но все это было в легкой дымке сна, или же это грусть изгнанника обволокла взгляд мой облаком, как пухом дикого гуся?

Но принесло меня, наконец, и к большой земле, полной высоких гор и лесов. На берегу этой земли сидела рыжая дева, за которой я и последовал. И было это сном во сне, как я шел по ее следу.

Мало мне отпущено времени, и не пересказать мне всей моей охоты. Был я при ней и пастухом, и рабом, и князем прокаженных, и кем только не был, пока ее не настиг. И когда настиг, она мне не противилась и подставила губы, но сказала: «А сейчас ты проснешься!» Но я в первый раз был счастлив, забыв об изгнании, и дымка сна развеялась: все виделось, как оно видится наяву.

Тут я коснулся губ… проснулся и очутился во мраке черных вод у китового рта, и выплюнули меня воды, и за мной затворились. Голос невидимый сказал: «Один вошел, один и вышел, а другому здесь не бывать».

Не буду говорить, как доплыл путем сельдяным, но на берегу меня встретили и пронзили копьем — ведь изгнан я был навсегда и под страхом смерти.

И в животе у меня холодное железо, но кровь еще не вся вытекла. Пока хватает сил, чтобы нацарапать на кости руны новой лоции: где поглотили нас китовые уста, как плыть от острова к острову, каких мелей и скал опасаться.

Да только зачем тебе, Боальд, эта новая лоция? Голос ведь ясно сказал: «Один вошел, один вышел, а другому здесь не бывать»?

Никто этим путем больше не пройдет. Бесполезная лоция, Боальд, но если хорошенько подумать, не таковы ли они все? Даже та, которую напишешь ты, величайший из кормчих, когда твои кишки обовьют древко или просто спокойная старость поторопит тебя.

1990

Комментарии к новой лоции

В зеркальной комнате

Все стены здесь покрыты зеркалами. Это даже не стены, потому что между кожей заключенного в зеркальной комнате и поверхностью стекла нет никакого расстояния, и нет прослойки эфира, которая делила бы пространство на меня и не-меня. Можете считать, что эти зеркала образуют мою поверхность, но и это неверно. В отличие от плоскости тривиальных зеркал, эти — объемны. Они пронизывают мое я насквозь и встречаются друг с другом в точке, которую моя гордость называет личностью, хотя эта точка ничем не отлична от всякой другой. Когда я смотрю перед собою, я вижу себя. Но я не вижу того, кто скрывается за моей спиной. Вы полагаете, что это — еще одна моя тень, отвернувшаяся от меня в презрении? А мне кажется, что она смотрит мне в затылок. Эта тень — моя единственная надежда.

Странствия тени

Та, что стоит за моей спиной, странствует. Пока я бездвижен, она просачивается сквозь миры, как капля воды сквозь стопку промокательной бумаги. Но, в отличие от капли воды, она не оставляет следов и не растрачивается по пути. Растворив в себе все впечатления, она завершает свой путь. Сейчас мы, наконец, встретимся, и она поведает мне, каково это — быть другим, как чувствует себя другой и способен ли другой чувствовать. Я слышу за спиной гулкие шаги, закрываю глаза и поворачиваюсь. Кто-то идет мне навстречу, его дыхание горит на моих губах. Нетерпеливый, я открываю глаза… и вижу собственное лицо, расплющенное о зеркальный холод. Это стучало мое сердце, это отражалось от непроницаемого стекла мое дыхание.

Сохранение бестелесного

Стоит мне только отвернуться, и моя зеркальная тень исчезает. Стоит мне снова посмотреть в ее сторону — и она тут как тут. Невинные полагают, что эта отделившаяся часть снова сливается с ними на каждом повороте спины. Но я-то знаю, что она исчезает в толще стекла, и тот, кто смотрелся в зеркало, истаивает на какую-то малую часть. Ведь прокрутившись перед зеркалами всю жизнь, я исчезаю в конце. Или весь ухожу в зеркала?

Китовая пасть

«Один вошел — другой вышел», — так сказал мой голос самому себе в тишине. Мой голос повелевает всей наличной тишиной. Если я быстро бегу по кругу, я могу догнать свой собственный голос. Забывчивые полагают, что они встретились с голосом Чужого. Они забывчивые, то есть те, кто не помнят собственных слов. В зеркальной комнате, где никого нет, все сказки рассказываются самому себе и о себе самом. Тот, кто обладает памятью, знает, что все сказанное было сказано им же.

Зачем?

В страшном темном лесу кто не начинает петь? А чаще кричать… Зачем все это, когда кругом нет никого — ни духов корней, ни ангелов небес? Кого можно испугать своим пением? Умники полагают, что песни страшат Чужого. Но мне известно, что мы поем для того, чтобы прогнать из темноты самих себя. Я себя всяким видел, и таким тоже — с рогами и копытами. Даже зеркала бывают кривыми, а о глазах и говорить не стоит. Самое любимое пение узника этой комнаты — скрип пера по бумаге. Под него можно и впрямь поверить, что кроме тебя есть еще кто-то.

Казнь гребца

Когда я стоял с веревкой на шее и смотрел, как торжествуют лица моих отражений, я видел то, чего они просто не могли

видеть. Потому что я стоял к страшным скалам лицом. Я всегда стою лицом к тому, что существует. Мне это дается легко, ведь за моей спиной такая пустота, что в ней даже и пустоты-то нет. Как смешно умирать! Как мало облегчения доставит моя смерть этой живой падали в час ее собственной смерти. Нет никаких казней — одни только самоубийства.

Задание выполнено

Ваше Величество, я сделал то, о чем Вы меня так просили. Не скрою, это было нелегко. Смешные человечки, они бились как львы. Но я пару раз обнажил клинок, и сеть в наших руках. Пощупаем ее вместе, слепец! На ощупь — одна пенька. Я бы мог Вам подтвердить, что и глазам ничего не видно, но Ваше Величество глухи, как пень, так что придется поверить на ощупь.

У меня такое ощущение, что они нас за дураков держат. Дурят нам голову своим странным промыслом. А может, им все-таки известно что-то такое, чего мы не ведаем? Что же, нет ничего невозможного. Они просто смотрят не в те зеркала, в которые смотрим мы, и для них нет разницы между моим зрачком и Вашим бельмом.

Мысли изнутри-волосатого

Пуфф, как хорошо и сытно в брюхе! Долго я растил эту шерсть, впитывал в нее космическую стужу, дикую вьюгу, хвойные запахи зимы. Вот она, вся моя жизнь — у меня в брюхе! Теперь, когда снаружи тепло, я питаюсь плодами своих лишений, уловом моего терпения. Проходил здесь один тип с зеркальным блеском в глазах, говорил, что зима еще вернется. Да откуда же ей вернуться, когда теперь так тепло? А если и вернется, так я на нее плевал. Брюхо у меня набито шерстью опыта — это меня завсегда спасает. Отца и матери я не помню, может их у меня и не было. Мы историй не пишем, а живем по простой нашей народной мудрости. Не такие мы дураки, чтобы мереть как мухи. Откуда же нас тогда так много?

Кишки обвивают сталь

Признаюсь тебе, Боальд, что выдумал я тебя. И все остальное я тоже выдумал. Выдумал, стоя спиной к зеркалу. Только вот копье это меня смущает. Слишком уж оно настоящее. И боль такая, какую не придумаешь. Может, она-то все же стоит за зеркальной стеной? Может, она-то и заковывает нас на заре нашей жизни в хрустальные шары, а потом из них и освобождает? Или я снова ошибаюсь? Может, плоть моя прободена длинным тонким осколком стекла, который швырнул я, разгневавшись, в свое отражение?

В зеркальной комнате

Убедившись в том, что здесь больше никого нет, я понял, что здесь есть какой-то бог. И вот я пытаюсь отпугнуть его от себя скрипом пера; исписанные стопы бумаги заполняют мою тесную камеру, но она чудесным образом расширяется, вмещая в себя все больше и больше историй, случившихся с ушедшими в бездну стекла. Но как бы не велика была вечность, рано или поздно она переполнится этими враками и лопнет. По крайней мере, так хочется на это надеяться.

1991

Ananke

Разоткровенничавшись, она призналась ему (она сидела перед черным квадратом окна и правила помаду на губах), что ей очень хочется уехать из этой страны по единственной причине.

Здесь, она была в том глубоко уверена, ей никогда не удастся родить здорового ребеночка и правильно его воспитать.

Вечер отбрасывал многоцветные тени на ее задумчивое лицо, на старательно округленные губы. Темнота за окном была черной мякотью исполинского арбуза, в которую бесчисленными белыми семечками были погружены людские существа, и в то же время она была огромной утробой, в амниотических водах которой плавали бесчисленные младенцы в ожидании выхода на свет.

Его тронула простота и наивность ее убеждений, сплав здравой рассудительности с сантиментом.

Несколько позже, когда их пути уже разошлись, он услышал, что ей удалось познакомиться с иностранным специалистом, монтировавшим какое-то оборудование, выйти за этого специалиста замуж и уехать вместе с ним в его страну.

Прошел еще некоторый срок, и через общих знакомых до него дошли печальные новости: она родила своего столь тщательно спланированного ребеночка, но тот не прожил и месяца, приговоренный от рождения к смерти каким-то страшным, редчайшим наследственным заболеванием, проявляющимся к тому же не каждый раз и не в каждом поколении, ген которого она скрывала в себе и борьба с которым еще не по силам современной медицине. Ребеночек умер, так и не раскрыв глаза. Она же, по мнению врачей, этой неудачей навсегда исчерпала запасы своего плодородия.

Трудно объяснить, каким почти случайным образом, по каким телефонным и адресным обрывкам, им удалось отыскать друг друга несколько лет спустя.

Они ужинали в ярко освещенном ресторане на правой стороне Арно, ближе к Садам Боболи. Мягко покачивались нейлоновые шнуры дверной занавеси, но беседа не шла. Говорили о пустяках, вроде стойкости генотипа флорентиек, до сих пор схожих лицами и пышностью волос со своими пращурками в залах Уффици. Только после ветчины с дыней, ньокки, телятины, после неизбежных трех четвертей «Кьянти Классико», когда плюгавый официант, наконец, подал блюдо со свежими фруктами, она произнесла, очевидно, заранее заготовленный монолог, раздвигая окружавшее их пустоватое латинское многословие темным, мягким облачком славянской речи.

Она ни о чем не сожалела, потому что если бы то же несчастье случилось с ней дома, она считала бы себя его виновницей, терзалась бы мыслью, что ребеночек родился таким в силу места рождения. Теперь же она была спокойна, зная, что то, что с ней произошло, было предопределено судьбой и ни от кого не зависело. Она и Ардуино уже оправились от удара и теперь готовятся усыновить симпатичного черноглазого мальчугана из приюта, филиппиненка, оставленного матерью. Все документы уже поданы.

Он внимательно посмотрел на нее и увидел, что, несмотря на прошедшие года, ей удалось сохранить неизменным невинное и трогательное выражение лица, а также привычку округлять губы колечком.

«Древние греки, — подумал он, — воздвигали храмы Судьбе, но потом никогда не заходили в них и не приносили в них жертв. Напротив, они старались обойти их стороной».

— Они были неглупы, эти древние греки, — закончил он свою мысль почему-то вслух.

Она удивленно посмотрела на него, стараясь понять, к чему относится его реплика, и вдруг что-то сломалось в ней со слышимым звоном (это, впрочем, был выпавший из руки бокал) и слезы побежали по ее щекам сначала отдельными слезинками, а затем уже сплошным неудержимым потоком.

1990

Либитина

Мальчик стоял перед дверью, сжимая в руках колючий бумажный пакетик. Он стеснялся всего себя, начиная с дурацких форменных штанов из мышастого сукна и кончая перемотанными изолентой в шарнирах очками. Тем крепче он сдавливал в кулаке пакетик — оправдание и залог своего присутствия перед чужой дверью в чужом доме.

Дверь открыла молодая женщина, лет двадцати с небольшим, без особой красоты в скуластом, сероватом из-за отсвета пепельных волос лице, коротковатая телом и плотная икрами. Лишь ее зеленые, красноватые в уголках глаза, подернутые кошачьим третьим веком, излучали влажный, властный и томительный свет.

— Вот это да! — всплеснула она руками. — Я думала, что ты забудешь. Ну, проходи, раззява! — и она выхватила из рук мальчика бумажный пакетик, но, уколовшись, уронила его на пол.

Мальчик наклонился, чтобы поднять пакетик, но она упредила движение, задев мальчика полами халатика и подарив случайно ускользнувшую из-под ткани волну тепла.

— Надо же, вспомнил! — вновь повторила она, разворачивая пакетик, из которого на ее ладонь посыпались крохотными ежиками детки кактусов, агав и бриофилиумов. — Ну, пойдем, посмотрим, что я могу дать твоей мамочке. Обувь сними! — и она выскользнула из прихожей, оставив его снимать в желанном одиночестве ужасные коричневые туфли, стесняясь не замеченной почему-то дома дырки в носке.

Женщина раздернула тюлевые занавески, дав солнцу хлынуть в пыльное кружение воздуха, приподнялась на пальцах и несколько мгновений, но больше, чем нужно, стояла, охваченная этим светом, с широко-широко раскинутыми руками,

не отпускаясь от занавесок. Мальчик опять смутился и стал смотреть не на нее, а на подоконник, где в маленьких пластмассовых горшочках щетинились опунции и маммиллярии. Он подошел и начал трогать пальцами цепучие крючковатые колючки. Женщина взяла листок картона и пинцет и начала обрывать детки, болтая при этом в обычной издевательской манере, от которой мальчик окончательно потерялся, задавала ему безответные вопросы о приятелях мальчика, его родителях и о том, как он провел время после окончания лагерной смены.

Этот издевательский голос, эти знакомые насмешки вернули его на месяц назад. Повод для насмешек он всегда предоставлял, поскольку неизменно оказывался самым бестолковым во всех прыгучих развлечениях пионерлагеря, постоянно лишним в шествиях и песнопениях, хилым в соседстве с жизнерадостными даунами, составлявшими костяк отряда. Она делала его мишенью всех ночных бесовств, принимая за страх его смущение, когда он оказывался посреди спальни с перемазанным зубной пастой лицом и тщетно пытался просунуть ногу в зашитую на конце штанину. Заставляла его всегда и везде находиться рядом с собой, чтобы лучше видеть все его огрехи и больнее подначивать, пересказывая эти нелепости немощи другим детям в его присутствии. Когда, проходя мимо вожатской, он слышал за фанерной стеной то ее хрипловатый голос, то похотливый баритончик физинструктора по кличке Морж, и, наконец, хоровой взрыв хохота, он пускался бежать через заросли стрекучей крапивы, полагая, что речь идет снова о нем, и сгорая со стыда.

С той же издевкой дала она ему свой адрес, выразив глубочайшее сомнение в качестве коллекции кактусов его мамы, если брать в качестве образца сына.

Он и не собирался приходить, но имел глупость проболтаться матери о знакомстве, а та, одержимая демоном собирательства, немедленно нарвала ему деток на обмен. Перенесенные терзания и обиды почти запропастились в памяти, но теперь, стоя у окна рядом с их первопричиной, мальчик вспомнил все и понял, как плохо он поступил, переступив порог этой квартиры.

А женщина продолжала обрывать детки, язвила, пару раз ущипнула его пинцетом за волосы, распаленная его подавленным молчанием, потом замолчала сама, прежде чем внезапно провести по его голове ладонью раз и еще раз. Кролик в сердце мальчика дернулся, ударил лапками в грудь. Он не знал, какой новый злой розыгрыш таился за этой лаской, но тайно почувствовал, что он намного должен превзойти все прежние испытания.

Схватив колючие маленькие растеньица, он сказал: «Я домой пойду...», — и двинулся к двери. Но она снова ловко опередила его и, оказавшись первой в прихожей, щелкнула чем-то в замке.

— Будешь сидеть здесь, сколько я захочу, — сказала она уже совсем другим голосом, в котором едкая колючая хрипотца обернулась злой и жадной.

— Зачем? — сказал он, теряя дыхание.

— А затем! — ответила она уже по-прежнему. — Мама же не знает адреса. Захочу, и всю жизнь здесь просидишь.

Он стоял, пытаясь сдержать слезы испуга и ощущая, как все сильнее и сильнее впиваются в ладонь своими острыми зубками и коготками кактусята.

— Ладно, хлюпик, не хлюпай! — пощадила она его ничтожество. — Пока попьем чаю с вареньем, а там решим, что с тобой делать.

Он судорожно пил чай из блюдца, которое тряслось в его руках. Она же ела варенье с ложечки и смотрела на него пристально, видно догадываясь о пугливом кролике там, под старой фланелевой рубашкой.

— Почему ты не ешь варенья, хлюпик? — спросила она и, не дождавшись ответа, макнула в вазочку палец и стала его облизывать. — Смотри, как надо!

Он молчал. Тогда она опустила в вазочку всю кисть руки и медленно поднесла ее к лицу мальчика:

— Оближи!

Он смотрел, как красная вязкая капля спускалась вдоль голубой ветвящейся жилки. Мятые смородиновые ягоды облепили ее запястье, покрыли розовую подушечку под большим пальцем.

— Лижи! Такие как ты лизуны должны это уметь! Лижи, трус! Я хочу, чтобы ты лизал меня, — говорила она.

Он терял над собой контроль и чувствовал, что вот-вот начнет лизать, как щенок, как котенок. Она взорвется колючим смехом, и осколки этого смеха пронзят тонкую кожу, под которой спрятался кролик. Мальчик вскочил, опрокинув блюдце, и кинулся в прихожую, но женщина опять оказалась проворнее и заслонила собой дверь. Ему показалось страшным то, как она дышала, — с той же легкой хрипотцой, с которой говорила. Он потянулся к замку, но она оттолкнула руку и рывком раскрыла на себе халатик. Мальчик смотрел, машинально запоминая, на острые приподнятые груди, покрывшиеся гусиной кожей, на смуглый напряженный живот, пересеченный как разрезом полосой варенья, и тут кролик метнулся и толкнул его изнутри в грудь. Мальчик отчаянно швырнул ей в лицо содержимое своей ладони и, пока она стряхивала впившихся кактусят, рванул щеколду и оказался на лестничной площадке.

Стоя под захлопнувшейся дверью, он потрясенно слушал, как с другой ее стороны убыстряются, становясь все громче и слитнее, женские рыдания. Заплакав и сам, помчался вниз по лестнице, выскочил на улицу, и еще долго без нужды бежал, ощущая себя то мстителем, то зверем, спасшимся из ловушки, то жестоким и гнусным убийцей.

Ему еще только предстояло постичь глубину своего поражения и окончательность ее победы, но это случится много позже, когда она начнет являться ему в беспокойных снах, держащей в руке колючий и непристойно искривленный ствол мексиканского эхинопсиса, — в общем, в том самом облике предвестницы Смерти, в котором только и возвращаются к мужчинам все невозвратно потерянные.

1990

Апология кориандра

Нежные судьи!

Снова собрались мы, не вспомню уж, в который раз, снова мне быть защитником, и оттого мне снова горько и страшно. Каждый раз я спрашиваю себя, зачем весь этот балаган, все это унижение. И не нахожу ответа. Ни разу мы не оправдали подсудимого, но вы всегда настаивали на том, чтобы речь защиты была произнесена. Кого вы хотели унизить, дав этот проблеск надежды: меня, себя или его? Боюсь, вы и сами не знаете. Так положено, говорите вы, но это то же самое, что сказать: «Мы не знаем».

Видно, верно сказал аспид язвительный, любитель парадоксов: чем выше суд, тем в нем правды меньше. Вспомните, нежнейшие, собирались мы на просторных площадках, на окраине села под священным дубом, в подвалах, пустынях, залах с пыльной красной мебелью, в траншеях на поле боя и сомнительных барах, и абсолютно везде нам было сиротливо и тошно. Вместо того, чтобы быть холодно-беспристрастными, мы торопились покончить с делом побыстрей, пусть и ценой душевного покоя и незапятнанной совести.

Конечно, задача нашего суда головоломная! Начнем с того, что о так называемом Боге мы, по сути, ничего не знаем, однако беремся судить о том, кто им не является! Более того: то, что подсудимый зовет себя именно так, не только усугубляет его участь, но и служит единственным пунктом обвинения.

Невероятная сложность нашего положения дает пищу нелепым слухам. Говорят, что мы ни разу никого не оправдали, потому что оправдай мы один раз, и суд наш распустят за ненадобностью. Улыбайтесь, улыбайтесь — и позвольте мне к вам присоединиться! И верно — смешно. Если даже оставить в стороне то, что при наличии доказанного Бога суд над самозванцами станет еще оправданнее, есть и более весомое основание. Нас ведь никто не выбирал и не назначал, кто же нас отменит? Я, сколько себя помню, всегда принадлежал к собранию, то же касается и вас. Не менялся наш состав, хоть и прав своих мы не подтверждали, да и ради чего? Мы не получаем никакого вознаграждения за свой труд, напротив, несем чувствительные затраты.

Оставляя в стороне постоянно растущие транспортные расходы, отмечу только те средства, которые каждый из нас (подчеркиваю — добровольно!) вложил в оборудование нашего собрания. Мне ли этого не знать, исполняющему в свободное от заседаний время обязанности сторожа, или, скорее, хранителя. Редкостное наслаждение — созерцать эти, раскиданные на невероятном пространстве, скрытые в самых неожиданных местах, залежи книг, глиняных табличек, папирусов, картин, фотографий, слепков, костяков, рукописей, электрических, механических и прочих артефактов, строений, садов, дамб, городов и континентов, и все это служит в глазах профанов оправданием sine qua non нашей безустальной деятельности, тем, что им кажется нашим raison d'être, а на самом деле лишь отходы производства. Слепота моя не позволяет мне видеть все эти сокровища, но само прикосновение к папирусу, глине, меди, камню, бумаге, стали, пластмассе, дереву, электромагнитным колебаниям наполняет мои долгие дни неисчислимыми радостями. Но эти суетные утешения лопаются, как мыльные пары, стоит вспомнить о нашем страхе, том парализующем ужасе, который мы испытываем перед возможной ошибкой. Каждый раз, когда совершится казнь, мы испытующе смотрим на небо, но ничего не происходит. Не рвется завеса в храме, мертвые не восстают из могил, не темнеет солнце, земля не разверзается у нас под ногами. Впрочем, самые тонкие души из нашего числа не утешаются столь плоской очевидностью. В конце концов, никому не известно, какими должны быть последствия и насколько они отдалены во времени. Расхожее утешение, проявляющееся

в таких физиологических актах подсудимого, как агонические судороги, непроизвольное мочеиспускание и приапизм, а впоследствии остановка дыхания и обрыв пульса, следующий за недолгой его нитевидностью, годится для грубого материализма толпы, но не для нас, нежнейшие судьи!

Вот я и закончил мое несколько затянувшееся вступление, неспроста, впрочем, сказанное. Закончил, чтобы обратиться к моей прямой обязанности, к вот этой подсудимой личности.

Моя прискорбная слепота не позволяет мне лицезреть, но острое обоняние подтверждает то, что содержится в следственных листках, любезно изложенных секретариатом объемным шрифтом. Этот неподражаемый букет козьего сыра, македонского табака, домодельного вина и того особо острого перца, известного как aleva paprika, красочно изображает грубого балканского мужчину по имени Кориандр. Посвятив первые пятнадцать лет своего земного существования уходу за козами и половому самообразованию, а последующие — древнему промыслу контрабанды, он многократно пересек албанскую границу в погоне за презренным металлом и — не исключаю — теми сильными впечатлениями, которые единственно способны волновать столь грубую душу. Но на тридцать третьем году, вернувшись из очередного успешного вояжа, Кориандр почувствовал высшее призвание и начал свою проповедь. Основания своей миссии он усмотрел в небезызвестных нам источниках, как то: Мф. 24:1–25,46; Мк. 13:1–37 и Лк. 21:5–38. Сам выбор источников настораживает, поскольку они не выходят за пределы доступного Кориандру, а также потому, что в архиве суда хранится огромное количество аналогичных дел, от дела 12530, подсудимый Аполлоний из Тиан, до дела 567891, подсудимый Лоримур. Пробежало бы тревожное дуновение надмирного сквозняка холодком по нашим спинам, если бы шла речь о скрытом Имаме или Будде Майтрее. Но искомые тексты Кориандр мог слышать в любой церкви. Что же касается чудес, по разным свидетельствам противоречивых и по документам сомнительных, среди которых отметил бы особо совершенное

в Несторионе исцеление больного миопатией, утоление толпы в Янине жестянкой пива «Будвайзер» и пачкой корнфлекса, а также в Керкире случившееся изгнание бесов из сына карантинного чиновника с последующим их вселением в партию новеньких «Alfa Romeo», которые, разумеется, ринулись с палубы парома в аквамариновые воды пролива, то легко заметить, что мы имеем дело с парафразами евангелических чудес, их пошлой постиндустриальной пародией.

Всего этого более чем достаточно, чтобы признать подсудимого смехотворным, а судоговорение излишним. Но неожиданно, нежнейшие судьи, я утверждаю: Кориандр — тот, за кого он себя выдает!

Вы просите доказательств? Я мог бы их привести, как я делал это раньше, но я научен горьким опытом. Вы слушали меня всегда внимательно, этого не отнимешь, но приговор не менялся.

Признайте его Богом, не требуя доказательств, сделайте хоть что-нибудь, чтобы разорвать эту бесконечную цепь. Сегодня я готов встать перед вами на колени, презрев свои редкие седины, и умолять вас. Не за него я буду просить, не за этого претенциозного дикаря, который в сей великий момент мнется с ноги на ногу, пытаясь сохранить героическую позу, выуженную им даже не с иконы, а из третьеразрядного вестерна или из комикса «Тексе из Техаса» — я буду просить за себя. Как честный адвокат (пусть словосочетание беззаконно) я всегда верил в то, что говорил, ergo, никому из земнорожденных не приходилось столько раз хоронить своего Бога, как мне. И завтра, когда вы убьете Кориандра, я буду смотреть так же, как и вы, содрогаясь, на небо, но я буду смотреть другими глазами. Когда взойдут, как и прежде, равнодушные звезды, ваш страх разрядится довольным похихикиванием и скользким потиранием ладоней: вот оно, опять обошлось, Он мертв, и наша правда торжествует. А я буду умирать дважды — сперва с Ним, а затем, повторно, без Него, сходить с ума от одиночества и безмерной утраты. Сколько раз я переносил это и перенес бы еще, но в сердце моем

что-то испортилось, в него проникли темные слова. Не знаю, то ли они выползли, как черви, из книг и вгрызлись в мои ладони, то ли вылупились из черного яйца моей слепоты, но их невнятный голос становится все громче и громче и вот-вот сведет меня с ума.

Я больше не могу, нежные судьи, спасите меня, спасите! Помилуйте этого божественного дурака!

Но что я вижу! Ваши очи опущены долу, ваши головы покачиваются из стороны в сторону, как у китайских болванчиков, карандашики что-то резко выскрипывают на белой бумаге. Нет, и в этот раз вы верны себе.

Ну что же, вы сами этого хотели! Подвинься, Кориандр, выйди из круга, дай мне встать под этим ярким лучом невидимого света, да подвинься же, наглец, это ведь и мое место! Слышишь треск, дурень? Это лопнула скорлупа в моей груди. Помоги мне стать к ним лицом, чтобы у них не осталось сомнений. Вот так хорошо.

Долго вы меня искали, долго казнили невиновных, надеясь на слепой случай! Но не пропал ваш труд! Сейчас совершится то, ради чего вы обрекли себя на тысячелетия страха.

Я — Бог ваш.

1990

Исповедь фальшивого ангела

Сегодня мне почему-то захотелось раскрыть тайную подоплеку одного события, имевшего место в Вашей жизни лет так пятнадцать тому назад. Может, Вы помните то, о чем пойдет речь, может быть, нет. Если нет, то я возьму на себя смелость воскресить это в Вашей памяти.

Тогда я был старшеклассником, и в нашей школе циркулировала легенда (очень стойкая, как выяснилось позже: те, кто закончил учебу на семь-восемь лет позже нас, — они тоже эту легенду знали), что проститутки приходят в поисках клиентов на лестницу Главпочтамта и становятся на ступеньки — чем выше ступенька, тем больше такса (из расчета десять рублей ступенька). Для того, чтобы отличаться от других женщин, не проституток, они вертят на пальце колечко с ключами. Не знаю, откуда взялась эта дикая легенда и это дикое место (а не какой-нибудь правдоподобный ресторан или, скажем, гостиница). Может, ее занесло столичным ветром со ступеней лестницы Главной Почты Страны, коей близость к гостинице «Интурист» могла в какой-то мере дать почву для подобных контаминаций, может, это было чистым подростковым сочинительством — ведь верили же мы тогда в самые невероятные вещи — например, в то, что по тому, как держат наши одноклассницы колени сидючи (сведенными или разведенными), можно с гарантией определить сохранность их девственности.

Так или иначе, мы, я и мой друг Сережа Трушкин, одним теплым днем отправились к Главпочтамту с целью увидеть настоящих живых проституток. Мы купили два пломбира с наполнителем по пятнадцать копеек каждый и встали напротив лестницы, прислонившись к трубчатому сварному ограждению, и начали наблюдать.

Мы с Сережей Трушкиным не очень представляли, что будем делать, когда увидим проститутку, — нам было довольно и того, что если мы ее увидим, этим можно будет с определенностью похвастать следующим днем на перемене в туалете для мальчиков. И надо же было так случиться, что, как только мы закончили есть мороженное, появились Вы, встали на самой верхней ступени лестницы и начали вращать на пальчике кольцо брелка, на котором искрились свеженькие латунные ключики. У нас с Сережей Трушкиным просто отпали челюсти. Во-первых, мы сами-то не очень верили, в то, что нам повезет увидеть живую проститутку, во-вторых, Вы были именно такая, какая может привидеться подростку при возбужденном и мечтательном засыпании в обхват с подушкой. У Вас были (я надеюсь, Вы ничего не перекрасили) длинные медные волосы по самую попу, яркие огромные глаза какого-то просто невозможного цвета и бесконечные ноги под голубыми райфлами в обтяг, а вот под батником (кто теперь слово-то это помнит!), как нам тогда показалось, просто огромные, но теперь я понимаю, что просто женские, вольно покачивающиеся груди. Лет Вам было в тот момент, я думаю, двадцать пять, хотя мы могли и ошибиться, поскольку плохо разбирались в возрасте женщин.

Вылупив зенки, выкатив шары, выпучив моргала, мы смотрели на Вас, и чувства наши можно было выразить лишь одним замечательным словом той эпохи: «Зыканно!» (то есть, в законе). Продолжалось это минут двадцать, пока вы не топнули раздраженно Вашей высокою платформой, и не сбежали вниз по лестнице, и не заспешили вдоль по улице, покачивая Вашими бедрами, которые действовали на нас так, как действует покачивание магнита на иголку, к которой он поднесен. Этой метафорой я хочу подчеркнуть, что мы с Сережей Трушкиным пошли за Вами не с какими-либо намерениями, а чисто автоматически, влекомые Вашим притяжением. Вы, разумеется, об этом и не подозревали, и знать нас не знали, как не знает комета каждую частичку пыли, которая обреченно тащится за ней, образуя ее хвост.

Идти нам пришлось недолго, потому что через какую-нибудь пару кварталов Вы свернули во двор и зашли в подъезд самого обычного пятиэтажного дома. На этом этапе Сережа Трушкин счел нашу задачу выполненной и предложил отправиться в беседку детского сада № 138, где обычно к этому часу собиралась наша компания, чтобы поведать по свежим следам о невероятном открытии. Но меня уже гнал дальше ветер авантюры, мне хотелось войти вслед за Вами в эту дверь, которую только такой черствый человек, как Сережа Трушкин, мог посчитать обычной дверью подъезда, и на которой были написаны мелом дурацкие детские стишки, которые я до сих пор помню:

ты поехал на толкучку и купил себе липучку
на липучке нарисован новой марочки мопед
а мопеду завтра будет ровно десять тысяч лет

Несмотря на этот дурацкий стишок, я чувствовал всем сердцем, что это была не просто дверь, каких много, а та редкая дверь в параллельное, совсем инакое существование, какие подворачиваются крайне редко, и уж если это случается — отказаться от нечаянной удачи просто преступно. Я покинул Сережу Трушкина, который пожал плечами и пошел восвояси (в душе я жалел его, но в то же время счел его дезертирство крайне выгодным), памятуя о популярности, которую придаст мне то, что через каких-нибудь полчаса он расскажет в беседке детского сада, и успел вбежать в подъезд как раз вовремя, чтобы достичь третьего этажа, когда Вы захлопывали дверь Вашей квартиры.

Я стоял под Вашей дверью, слушал доносившийся из-за нее бодрый говорок радиоточки и думал, что мне делать дальше. Впрочем, это были не мысли — это был лихорадочный бред наяву, зрительный перебор возможных вариантов, нечто похожее на сочинение в голове романтической истории. Конечно же, я никогда бы не решился позвонить в Вашу дверь, но и уйти просто так, несолоно хлебавши, я не мог. И тогда я пошел на маленькую хитрость — я решил сосчитать до тысячи и нажать

кнопку звонка. Сосредоточенность на счете освобождала от всяких обязательств перед логикой, перед необходимостью думать о последствиях этого шага, изобретать слова, которые придется сказать, когда Вы откроете дверь, превращала само прикосновение к звонку в нечто предсказанное и приказанное роком — и я стал считать, но не успел добраться и до третей сотни, как двери подъезда хлопнули и по лестнице зазвучали шаги.

Тогда я неслышно скользнул лестничным пролетом выше и затаился, продолжая следить за Вашей дверью из дальнего угла площадки — так, чтобы не быть никем замеченным. Скрипнула керамическая плитка, и он показался в поле моего зрения, высокий легкомысленный блондин (с тех пор я их всех ненавижу) с длинными волосами и безобразно манерно откинутой назад головой. Насвистывая, он позвонил в Вашу дверь, и Вы открыли ему.

Дверь закрылась со стуком и словно перебила этим биение моего собственного сердца. Нечего и говорить о том, как мне хотелось подойти и подслушать происходящее внутри, и в то же время было страшно услышать то, что я ожидал услышать — потому что я, разумеется, уже успел полюбить Вас и со всей глупой торопливостью и полным отсутствием логики посчитать своей.

Крайняя скудость моего сексуального опыта мешала мне представлять в картинах, то, что могло совершаться за бежевой деревянной дверью, поэтому ревность моя была чистой и умозрительной, черной, как беззвездная ночь или крылья дьявола, — простым падением с остановившимся сердцем в бездонный колодец бессильной ненависти. Так я стоял, прислонившись спиной к исчерканной надписями зеленой стенке подъезда, и падал в головокружительную бездну, но дна ее так и не достиг, потому что буквально через десять минут дверь отворилась и из нее вышел раздраженный блондин, на ходу доставая из пачки сигарету, и заспешил вниз по лестнице.

Направление полета моей души сразу же изменилось на обратное; она помчалась вверх по колодцу падения, к яркому

и нестерпимо белому свету в его конце, но и на это вознесение мне не было сполна отпущено времени, потому что через пару минут Вы вышли тоже из квартиры, на ходу накидывая плащ, и побежали на улицу, причем лицо Ваше было залито слезами — это я успел заметить.

Не зная, что и делать, истрепанный внутренне столь быстрой сменой обретений и потерь, надежд и разочарований, я спустился к Вашей двери и нежно-глупо прижался к ней щекой, чувствуя неожиданную теплоту дерева, словно согретого знаком Вашего былого за ней присутствия; и, когда я прижался, дверь поддалась и открылась — ведь, выходя поспешно за Вашим молодым человеком и рассеянная от ссоры, Вы плохо ее захлопнули и забыли закрыть на ключ.

Я вошел в Вашу квартиру и закрыл дверь за собой. Мне было понятно, что входить в чужую пустую квартиру нельзя, что обнаруженный, я, скорее всего, буду принят за одного из тех подростков-квартирников, которые в ту пору свирепствовали в нашем городе, но я вошел, потому что грань между реальностью и приключением была стерта всем произошедшим, потому что меня вело и толкало изнутри пламя.

Это была маленькая однокомнатная квартирка. На кухне капала вода, и наперебой с ней бубнило радио. Не снимая обуви, я прошел в Вашу комнату, которая была теплой и душноватой, пахнущей парфюмерией и прочими вкрадчивыми ароматами. С небрежностью живущего без никого человека Вы разбросали по стульям и софе детали Вашего туалета, и они казались мне раскаленными добела — такой жар от них я чувствовал кожей моего лица. Завороженно кружась по мягкому паласу, я чуть не упал на зеркало, задержался рукой за полочку, уронил с нее на пол Вашу массажную щетку, поднял и извлек из нее пучок жгуче-медной проволоки Ваших волос. И вот когда я держал в руке эту Вашу прядь, случилось то, что случалось со мной уже не раз, и то, что я полагаю прямым вмешательством смеющихся сквозь слезы богов в скудное течение наших жизней.

Я положил Ваши медные волосы в боковой карман куртки (они, казалось, оттянули его тяжело), взял бумагу и карандаш и написал Вам письмо, которое положил на журнальный столик и придавил тяжелой пепельницей, чтобы Вы нечаянно не смахнули его на пол. Я не помню дословно моего послания, — видно, оно было весьма сбивчиво и поэтично, и носило на себе смачный отпечаток всей юношеской романтической литературы, от Джованьоли до Сабатини, но при этом в нем были и строки, которые я не мог почерпнуть ни из жизни, ни из книг. Я писал, что я неизвестный Вам ангел-хранитель, следящий из зеркал и с небес за каждым мгновением Вашей несчастной жизни, но могущий вмешаться только один-единственный раз — в выбранный Вами самими момент и спасти Вас от участи, которая уже казалась неминуемой, и покарать Вашего обидчика (здесь, несомненно, из подсознания пошевелил моей рукой надменный блондин). Когда момент этот настанет, писал я, Вам, миледи, довольно будет сжечь на огне прядь Ваших чудесных волос и я предстану пред Вами, послушный, покорный, нежный и грозный.

Дописав это неподписанное послание и укрепив его, как было выше сказано, пепельницей, я вылетел из квартиры, старательно убедившись в том, что дверь захлопнулась как надо.

Около 1990

Проза. Часть II. Вогульские духи

Торфяные поля

Едкий дым ползет серыми густыми завитками по рыжему ковру кукушкиного льна, охватывает цепкими щупальцами черные ветви елей, беззвучно душит нежно-розовые цветки княженики, которые жалостливо и безвольно вянут, роняя нежные лепестки. Где-то вдалеке потрескивает, будто лесное чудище болезненно ворочается на груде хрусткого валежника.

Он поднимает глаза и смотрит вверх, туда, где должно сиять летнее солнце; там неровно клубится и подергивается тускло-рыжее неживое пятно. Дальше, за низкими кривыми березками, сквозь желтый отравленный дым горбатится хребтина торфяного бурта, страшно-неподвижная. Мимо то и дело пробегает перепуганная мелкая живность: мыши и землеройки.

«За самым буртом и горит...» — думает он, и трогает дальше. В глубине торфа выгорает пылающая, светлая от раскаленного пепла каверна, оторвавшийся и всплывший пузырь глубоко схороненного ада. Пузырь подошел к самой поверхности, назрел и теперь хочет прорваться наружу, выкинув длинные языки светло-сиреневого пламени. Только тонкая, прозрачная для дыма корочка спекшейся торфяной пыли отделяет теперь пузырь от летнего неба. Внутрь можно провалиться и пропасть навсегда. Не только люди, целые трактора, бывало, проваливались — это ему дядя Миша говорил, стращая вчера вечером. Пришел, пьяненький, получить от бабушки на бутылку, сидел на скамейке, пахнущий едкой торфяной гарью, закопченный, будто сам побывавший в адском пламени; расшеперивал пальцы растопыркой и стращал.

Но ему так хочется посмотреть хотя бы краешком глаза на это страшное место, коварное, как черный лед — только подо льдом не стылая вода, а урчащее пламя. Огонь — это очень кра-

сиво. Если сложить костерок из пахучих щепок, на нем сгорают вырванные из журналов страницы. А можно сжигать и разные игрушки: картонажных зайцев и пластмассовых солдатиков; от этого в сердце становится томительно приятно, будто его прищемили.

Это не очень хорошо — ведь они почти как живые, а живых сжигать нехорошо, — но все равно очень приятно, потому что огонь делает тебя сильным.

А сильный огонь делает тебя еще сильнее. Вроде ему и не прикажешь, и он совсем дикий, а кажется, что он твой, и поможет тебе, и сделает тебя больше, и все, кого ты не любишь, побегут от него и от тебя. Если бы огонь был как собака, с ним можно было бы ходить рядом, и те, кто тебя обижают или дразнят (а таких много), попрячутся за тычинниковые заборы и будут смотреть в щели, как ты идешь по поселку. Например, дурак Лёнька, который в начале лета мазнул ему по глазам едкой мазью от комаров. Глаза очень ело, и бабушка долго промывала их водой и теплой чайной заваркой, а потом целых три дня он видел все предметы размытыми и раздвоенными. Ему очень хотелось стукнуть Лёньке по веснушчатому носу, но руки у него тоненькие, комариные, и, если их согнуть в суставе, ничего не нащупывается, никакого тугого мускульного шарика. Или, скажем, как бы пугнуть огнем этих Вадьку и Сёмку — он же видел, как они за сараем сосали друг у друга письки и хихикали, и он убежал, но они видели, что он видел, и поймали его потом на бревеннике, и показали маленький, злой ножичек, и сказали молчать. Да он и не будет никому рассказывать такие гадости, но при мысли о ножичке по спине пробегает шершавая морозь; вдруг кто-то другой скажет, а они подумают, что это он?

Но теперь нужно пойти и посмотреть на торфяной пожар и помечтать об огне. Интересно, может случиться такой большой пожар, чтобы сгорела вся земля и даже небо? Ему страшно от этой мысли: он, правда, видел по телевизору взрыв атомной бомбы и теперь не может заснуть, если где-то высоко в небе летит реактивный самолет (сжимается в комок, и ждет, пока гул

стихнет, и после этого ждет еще какое-то время, а потом успокаивается).

Он уже знает, что когда он был совсем маленьким, в небе над городом сбили чужой самолет, это когда был первомайский парад, и летчика провезли по городу в черной машине, и никто не знал, что везут летчика, потому что никто не знал, что сбили самолет, хотя все видели в небе облачко, но думали, что это просто так. А ведь самолет не всегда можно сбить — он летает очень высоко и быстро. Иногда, правда, самолет падает сам, и тогда все люди в нем разрываются на куски, и огонь потом эти куски сжигает. Это должно быть больно и страшно.

Тут он доходит до затянутой ряской дренажной канавы. Чтобы перепрыгнуть ее, нужно хорошо разбежаться, иначе свалишься в холодную ржавую торфяную воду. Когда они ходили на поля с ребятами, те нарочно перепрыгивали первыми, вставали все на другой стороне и смотрели, как он будет прыгать. Смеялись, когда он разбегался, и говорили, что не допрыгнет. Зачем? Бабушка говорит, что они злые, но это ничего не объясняет. Почему они злятся на то, что он их слабее и не такой ловкий? Это невозможно понять.

Но теперь никто над ним не смеется, и он разбегается легко, летит как птица и приземляется на другой стороне, даже не пошатнувшись. Ему уж очень хочется посмотреть на пожар. На другой стороне канавы он идет уже по теплому торфу — теплота эта чувствуется даже через гибкие подошвы китайских кед. Дым стал густым и нестерпимо едким, но это нужно и можно перетерпеть. Только плохо, что ничего совсем не видно; так недолго и ухнуть в эту самую огненную яму. Он пытается рассмотреть, куда подевался торфяной бурт: да вот он, совсем рядом, выступает в разрывах желтоватого марева. К его удивлению, по склону бурта кто-то сбегает навстречу. Он останавливается в растерянности. Человек подбегает ближе, и он видит, что это один из старших поселковых парней, имени он не помнит, да и лицо все в копоти, так что и не разберешь. В руке у него бич, которым гоняют коров и коз.

— Сучонок городской, залупа дачная! — кричит парень, — Это ты тут торф палишь, выб**док! — и схаркивает.

Он поворачивает в страхе и пускается бежать. Сзади его настигает бич и ошпаривает по тощим, искусанным комарами бедрам. От жгучей боли он пускается бежать еще быстрее, слыша сзади топот, мат и хриплое дыхание. Он перелетает через канаву, сам не заметив даже, и бежит все дальше и дальше, пока не спотыкается о корягу.

Встав, он понимает, что его уже никто не преследует, и идет дальше, сторожко оглядываясь и всхлипывая от обиды. Дойдя до края ряма, он понимает, что ему страшно будет возвращаться главной улицей поселка — вдруг там его уже ждут, если парень сказал, что встретил поджигателя? Лучше вернуться с задней улицы, перелезть через забор, чтобы никто не увидел. Он вспоминает, что вчера в поселке пропало несколько коз, отбившись в дыму. Может, они провалились под торф и сгорели? Наверное, парень и искал этих самых коз; как же он должен быть зол, если не нашел их.

Он перелазит через забор, порвав рубашку, падает под смородиновый куст и дает волю слезам. Почему парень подумал, что пожар устроил именно он? Ведь они же сами, эти взрослые парни, ходят на торфяник, палят там костры, пьют водку и курят папиросы, а потом бросают окурки. От этого и бывают пожары. Даже плакат есть на станции: «Не бросайте на торфянике незатушенные окурки!» Он даже спичек с собой со двора не носит. Почему же тогда виноват он, если они сами и виноваты? Он догадывается, впрочем, он это знал всегда. Он — чужой, чужак, чуждый. «У них всегда виноват чужой!» — думает он про себя какие-то взрослые слова. Он — чужой, и бабушка — чужая. И Боря, и Ира Глазеры — дачники у дяди Миши, тоже чужие. Но что в этом плохого? Сам же дядя Миша все время берет у бабушки трешку на водку и никогда не возвращает, так бабушка говорит. И другие тоже ходят по разному делу. Что же значит — быть чужим? Это значит быть всегда виноватым? Но у них же все беды от них самих. Вон когда дядя Коля ослеп, а мужики померли, украв на станции древесный спирт — причем здесь они с бабушкой или Глазеры? «Наверное, они злые как звери, и поэтому сами себя боятся», — думает он, но это опять ничего не объясняет.

Он срывает смородиновый лист и растирает его между пальцами. От этого запаха ему становится мучительно одиноко, но слезы высыхают, и сладкое облачко печали словно окутывает сердце. Он встает и идет к дому, идет к дому и останавливается. А если парень все-таки сказал про него, и теперь они все соберутся, и придут к бабушкиному дому, и потребуют, чтобы бабушка отдала им его? Бабушка, конечно, не отдаст, и тогда они ворвутся в дом с вилами и лопатами (он видел такое в фильме про гражданскую войну) и подожгут дом.

Если бы у него был пулемет, он забрался бы на чердак и стрелял бы оттуда, но у него нет пулемета, нет совсем никакого оружия. Можно, конечно, попытаться объяснить, что он ничего не поджигал, но разве они будут слушать, если даже его не слушает Ленька, когда он пытается рассказать ему какую-нибудь книжку, а ведь Ленька тоже городской, хотя и родом отсюда, и приезжает лишь на лето.

1990

Меловое сердечко

Она научила его целоваться — довольно неплохо и довольно преждевременно для его тринадцати лет. Впрочем, сама она была старше его только на несколько месяцев.

Обучение происходило в разных местах — под большой березой на опушке леса, на ивовом острове, окруженном быстрым течением речной воды, на веранде ее домика под постукивание слепо бившихся в стекла лепидоптер.

Снисходительные старики, вступившие в возраст невинности, не препятствовали встречам и прогулкам. Позже случилось так, что в городе он привел ее в пустовавшую дедовскую квартиру. Там, в большой комнате, под сенью чугунного черта он осмелел и скользнул рукой под ее платье, в таинственные и страшные области вечной тени.

— Это все, что тебе от меня нужно? — хрипло спросила она. Он не мог тогда знать, что правильным ответом будет утвердительный, и испугался.

Рано в ту зиму выпавший снег закружил их и развел.

Гуляя в последующие годы по главной и единственной улице пригородного поселка, он неизменно ускорял шаг, проходя мимо ее дома. С каждым новым летом страх возможной встречи возрастал — как и непреодолимое желание заполнить пропасть лет, на непроницаемом дне которой невнятились кошмары.

Но наступил год, когда прошлое стало уже окончательно прошлым, и боль его из горькой стала сладковатой.

Гуляя вечером, он все-таки подошел к калитке, по-мальчишески огляделся, и перемахнул через нее.

Никого не было. На двери болтался амбарный замок; под навесом, где они когда-то играли в карты, по-прежнему покачивались самодельные качели. Он подобрал лежавший на столе розовый мелок и нарисовал на двери маленькое сердечко.

Ночью того дня он проснулся на старом диване в безотчетной тревоге. Он вспомнил, что давно уже не имел о ней никаких сведений, не знал даже, жива ли она. Мысль о том, что она могла умереть, в первый раз за все время захватила его, и ему стало стыдно за свою легкомысленность.

Утром он встал с тяжелой головой и впервые в жизни почувствовал тянущую боль где-то в загрудинной области. Работа не отвлекла его от неприятных мыслей; ни боль в сердце, ни ощущение общей разбитости не проходили. Ближе к вечеру ему пришлось даже лечь и постараться заснуть.

Пробудился он совершенно опустошенным, и эта пустота каким-то образом приобщила его к другой пустоте — той, которая молча таилась под кажущейся поверхностью вещей. Боль в сердце стала пугающе сильной, и он решил прогуляться.

Вечер был теплым, и огромные стрекозы проносились у него над головой. Его неосознанно повлекло в сторону ее дома, и он подчинился желанию. Шел он медленно, потому что с каждым шагом острая боль отзывалась в его сердце.

За невысокой оградой слышался мужской смех. Массируя рукой левую сторону груди, он навалился, почти что падая, на оградку и заглянул за нее. Сердечко на двери было вульгарно обведено красной масляной краской, а под навесом в шезлонгах сидели двое молодых людей, по виду студенты, и пили пиво. Один из них засмеялся и метнул в дверь маленькую стрелу с заточенным гвоздиком на конце. Стрела, подрагивая, вонзилась в самый центр яркой мишени.

Не понимая себя, он перемахнул через оградку и оказался перед дверью, выдернул стрелу, повернулся к замершим в растерянности молодым людям, сломал стрелу пополам и бросил обломки на пол. Не дожидаясь ответной реакции, он повернулся и ушел, сильно хлопнув напоследок калиткой.

Он быстро шел по улице с полегчавшим сердцем, внезапно выздоровевший, и не чувствовал стыда от нелепости совершенного им поступка, который и не казался ему нелепым.

Вернувшись в поселок через неделю, он снова прошел мимо этого дома. Убедившись, что дом пуст, он подошел к двери, которая теперь была густо покрашена в свежий, скучный зеленый цвет. Как он ни искал, он не смог найти никаких следов нарисованного сердца и даже вспомнить, где оно, собственно говоря, было нарисовано.

Он больше никогда в жизни не страдал сердцем и умер от чего-то другого.

1991

Шариковая бомба и сержант Оол-доржав

Во время, когда началась эта история, город, кроме скучного территориально-административного деления, придуманного взрослыми людьми, имел еще одно, наше. Он дробился на множество лоскутных феодальных княжеств, скорее даже племенных территорий, границы между которыми не были зримо демаркированы. Я до сих пор отлично помню звучнозагадочные имена этих образований — Лунка, Подлодка, Тридцать третий квартал, Бан, Верхнее и Нижнее Щорса; сие размежевание существованием своим было обязано шпане, делившей между собой под руководством своих, часто сменявшихся (за счет призыва в Советскую Армию или в систему ИТУ) царьков дворы и переулки, ради того чтобы обеспечить себе право относительно безнаказанно грабить в пределах своих феодов сараи и подвалы да взимать с покорных колонов дань в виде мелочи на кино и сладкий молдавский кагор. Самим колонам, подросткам из инженерских и других благополучных семей, было, в сущности, все равно кому отдавать скудные сбережения, своей шпане или чужой, когда бы не одно немаловажное обстоятельство. Если в первом случае поборы осуществлялись добродушно и как бы вполне добровольно, то во втором сопровождались насилием, дабы привить чужаку страх и уважение перед группировкой, землю которой он посмел марать своими подошвами. Страх чужаков, так же как и робкая покорность собственных подданных, были теми источниками, из которых шпана черпала положительные эмоции, необходимые ей для самоуважения. При этом и нам прививался некоторый пиетет, и наши рапсоды складывали на скамейках и в темных

подъездах героические устные циклы, повествовавшие о кровавой борьбе авторитетов шпаны, о героических битвах стенка на стенку.

Случилось так, что наш двор и прилегающие гаражно-сарайные регионы оказались как раз в конфликтной зоне между Верхним и Нижним Щорса, с преобладанием последнего. Как обычно для пограничного населения, мы пребывали в постоянной неуверенности на предмет того, кто нами правит сегодня, и получали по зубам от обеих противоборствующих сторон. Сами меры физического воздействия были тогда умеренными по сравнению с более поздними временами и ограничивались зуботычиной или тем, что описывалось элегантным термином «пендель под сраку»; однако от этого насилие не становилось менее обидным и унизительным для нас, с глубокого детства ни дома (ни тем более в школе) небитых-непоротых.

Ко времени, о котором пойдет речь, я и часть моих друзей яростно увлеклись химией, не отдавая самим себе отчета в подсознательных мотивах данного увлечения. Теперь-то мне совершенно ясно, что нас влекла мечта об Абсолютном Оружии. В отличие от Раймонда Луллия или Роджера Бэкона мы и не помышляли об универсальной трансмутации элементов, о мягком и пронзительном свете lapis philosophrum, исходящем из погруженной в таинственное прение ослиного навоза реторты. Нет, мы увлекались жестокой магией бомб, едким колдовством слезоточивых газов, коварным чародейством ядов, искали сверхъестественного спасения от обид и насилия, пропитавших наше существование, прозревая в химии орудие революции, которая обратит в позорное бегство наших узколобых, но могущественных угнетателей.

Все наши исследования, несомненно, носили откровенно милитаристский характер и, кроме инстинктивной мальчишеской пиромании, движимой огненно-космической природой силы Ян, стремящейся разрушить плодоносящую влажно-женственную Инь, имели и тайный карбонарский умысел — выжечь греческим огнем беседки детских садов, в которых

резались в карты и гнусавили под гитару блатные песни хозяева нашей жизни.

Прекрасно помню поиски, проделанные нами в этом направлении: все эти алюминиевые трубочки, наполненные металлическим калием, красные шарики, скатанные из смеси фосфора с бертолетовой солью, сернистые порошки, выжигавшие землю под ногами противника. К сожалению, наши Waffengeheim имели ряд принципиальных недостатков и годились в основном только для того, чтобы пугать девчонок или создавать в школьных коридорах атмосферу католических кварталов Белфаста. К тому же с адскими машинами постоянно происходили различные накладки: так, калий, который я резал и расфасовывал, за отсутствием собственной лаборатории, в туалете, однажды свалился в унитаз и взорвался, продырявив сей предмет гигиены, красные же шарики постоянно самовоспламенялись в карманах, ну а пиротехнические порошки подворачивались под веники и лентяйки нашим мамам.

Но мы неустанно совершенствовались в подрывном искусстве, и наконец из стен наших домашних лабораторий вышло подлинное Оружие Возмездия — шариковые бомбочки, то есть — мячики для игры в пинг-понг, в которые засыпался заряд магния и марганцовки. Достаточно было капнуть в оставшееся отверстие каплю глицерина, чтобы смесь воспламенилась и произошла шумная ослепительная вспышка. Сначала взрыв происходил практически сразу вслед за закапыванием глицерина; этот недостаток, однако, удалось устранить соответствующим разбавлением глицерина водой.

Определение степени разбавления осуществлялось на дворе старой общественной бани, и полигон наш был скрыт от всевидящего ока спутников НАТО клубами белого влажного пара, стравливаемого бойлером. Скрывшись за бойлером, я руководил испытаниями с секундомером в руках, в то время как мой верный друг и лаборант Коля Рассолко закапывал в разложенные на асфальте бомбочки растворы все возраставшей концентрации. И потом, когда искомая была найдена, мы гордо стояли,

обнявшись, как Курчатов и Берия, и глядели, не морщась, на ослепительное пламя, порожденное нами, и огнь чудесный бликовал учетверенно в двух парах наших близоруких окуляров.

В течение какой-нибудь недели производство шариковых бомбочек было поставлено на поток, и мы выходили из дома только вооруженные, ощущая в одном кармане уютную сферичность бомбочек, а в другом — угловатую тяжесть флакона-капельницы с раствором. В первом столкновении с противником я лично участия не принимал и могу судить о нем только по сбивчивому рассказу победителей, явившихся с донесением в командный пункт под кустами боярышника на заднем дворе. Побоище при Кресси произошло около девяти часов вечера на задворках кинотеатра «Мир». Наши втроем возвращались с сеанса кино и были остановлены пятью скучающими шпанюками с Нижнего Щорса, которые потребовали денег. Тут же жидкие майские сумерки были разорваны тремя белыми вспышками, и шпанюки, подвывая, пустились в бегство, ошпаренные магниевыми искрами и ошметками расплавленного целлулоида.

Авторитетом Нижнего Щорса в то время был некто Береза, о котором ходили мрачноватые легенды. Этот прыщавый ублюдок с габитусом олигофрена, промышлявший угоном и перепродажей мопедов, достиг своего высокого положения в основном за счет усовершенствования, введенного им в процесс воспитательного насилия. По методу Березы, жертва привязывалась в подъезде или подвале за руки к трубам отопления, после чего уже экзекуторы и выдавали беспрепятственно знаменитого «пенделя». Ставка Березы, как поговаривали, располагалась в одной из деревянных избушек под снос, которых было немало в выселенных в предвкушении новостроек кварталах частных домов, и вот туда-то, в эту халупу, обращенные в бегство шпанюки и принесли весть о рождении Оружия Возмездия.

Была произведена разведка, и в сознание Березы вошла жалкая, щуплая и очкастая фигура Генерального конструктора.

Разгневанный Береза приказал изловить и доставить. Если бы я знал об этом, я бы счел за лучшее вообще не выходить из дома после школы и, может быть, даже уклонился бы и от школьных занятий под предлогом нездоровья — но я не располагал агентами в стане врага и пребывал в эйфории, помышляя ежесекундно исключительно об усовершенствовании шариковых бомбочек (в частности, о том, чтобы конструктивно совместить в одном корпусе заряд и воспламенитель и тем самым избавиться от необходимости носить в кармане неудобную и постоянно подтекающую капельницу).

Так, в полном неведении, я и отправился на вечернюю прогулку. Проходя кратчайшим путем между сараями к дому Коли Рассолко, я увидел впереди две сгорбленные тени, руки в брюки. Две идентичные фигуры одновременно выросли сзади. Ловушка была подстроена умело; оставалось только ждать приближения Березиных эмиссаров. Бомбочка в кармане придавала мне сил, невзирая на хлипкие бицепсы, впалую грудь и полное неумение драться.

Это была тактильно ощущаемая связь с другим, магическим миром, миром огненных демонов, которые вызываются простым движением рук волшебника и выстраиваются вокруг него в пылающую пентаграмму экстерриториальности, превращая носителя магических сил в пришельца из другой вселенной, в которой слово и мысль могут убивать не хуже кулака или финки.

Эмиссары, осторожно косясь на мои возлежащие на карманах руки, приблизились. Один из них сказал:

— Эй, очкарик, пошли к Березе. У него до тебя базар есть.

Я не возражал. Я был тогда отчаянно смел и не побоялся бы предстать перед самим дьяволом, лишь бы в кармане была шариковая бомбочка. Мы тронулись в путь. Эмиссары шли по бокам от меня. Чтобы предупредить возможные поползновения с их стороны, я опустил руки в карманы и сразу почувствовал, что что-то не так. Еще бы: разумеется, выходя из дома, я забыл взять капельницу! Бомбочка была на месте, но что в ней было

толку при отсутствии капельницы? Холодный пот градом заструился у меня по спине, но отступать было поздно и некуда. Пытаясь ничем не выдать своего конфуза, я шел, внутренне понурый, и расстояние между мной и грозным Березой неумолимо сокращалось.

Когда мы, пригибаясь, вошли в избушку, Береза сидел за столом с тремя своими клевретами. На столе валялись замусоленные карты (видно, играли в буру), пачка сигарет «Лань» и стояла открытая бутылка портвейна. Пахло мышами, землей, мокрой штукатуркой и сладковатыми винными парами. Тусклые белки Березиных глаз ворочались в полумраке, мучительно пытаясь оценить, насколько реальна угроза, исходившая от моей невнушительной фигуры; замасленные его волосенки прилипли короткой челкой к низкому лбу. После некоторого молчания Береза важно произнес гнусавым своим голосом:

— Ну че, Ломоносов, доигрался?

Я молчал.

— Щас мы тебе гестапо покажем, химик, — поспешил подсуетиться один из клевретов.

— Ничего вы мне не покажете, — сказал я по возможности убедительным голосом. — У меня бомба в кармане.

При этих словах мой конвой довольно прытко поменял диспозицию и очутился за бревенчатой стенкой, шедшей поперек избы. Клевреты тоже попробовали встать из-за стола, но Береза остановил их угрожающим жестом.

— Какая там бомба, хлопушка это, — заявил он неуверенно.

— Это новая. Особо мощная, — поспешил его заверить я.

Береза крутил неживыми глазами и молчал, пытаясь обдумать сложившуюся ситуацию. Как я сейчас понимаю, будь Береза поумней, он мог много что предложить — например, безопасность в обмен на использование бомб исключительно против шаек с Верхнего Щорса, или предательство с передачей Оружия Возмездия в руки шпаны и назначением меня на пост придворного алхимика, или что-нибудь еще в том же роде. Но тогда Береза не был бы Березой, и последующая

карьера его оказалась бы более внушительной, чем та, о которой я расскажу. А так, Береза был всего лишь Березой — мелким и умственно отсталым недоуголовником, — поэтому животное нутро его не хотело искать выгод, а просто взять и одним взмахом лапы устранить непонятное и нелепое препятствие в лице мелкой и чужеродной зверушки. Нервы его сдали, и он визгливо закричал:

— Крути его, Серый, щас мы его отпенделяем!

Клевреты шевельнулись, сердце у меня екнуло, и тогда я выхватил из кармана пинг-понговый шарик и поднял его высоко над головой.

В сырой темноте вражьего логова белоснежный шарик ярко светился, словно загадочный предмет внеземного происхождения, слишком белый и сферичный, чтобы быть просто шариком для пинг-понга. Он был не похож на все то, к чему скудный мозг Березы, не говоря уже о нервных ганглиях его клевретов, успел привыкнуть за неполных восемнадцать лет своего земного прозябания. Я думаю, что яркие и неожиданные впечатления были редкими в жизни Березы, и потому-то, как выяснится позже, зрелище белоснежной сферы и таящегося в ней могущества глубоко отпечаталось в его памяти на фоне тусклых и однообразных воспоминаний о грязных девках, выпитом портвейне, кулачных драках, угнанных мопедах и приводах в отделение.

Береза и его клевреты застыли в минутном сомнении. Инстинкт подсказал мне, что нужно сделать шаг в их сторону. Я сделал этот шаг, и тогда вся кодла вскочила из-за столика, опрокинув его, пороняв притом карты и бутылку, и кинулась в проем выбитого окна, через который уже несколькими мгновениями раньше благополучно улизнули мои конвоиры. Я положил шарик обратно в карман и, не испытывая более судьбу, вышел в дверь и пошел к Коле.

Я не стал рассказывать никому из своих друзей о случившемся противостоянии. Мне было слишком хорошо известно, что у Березы есть взрослые друзья, вполне уже зрелые уголовники, которых вряд ли проймешь даже настоящим пистоле-

том, не то что сомнительной шариковой бомбочкой. Я ходил по нашему району аккуратно, избегая опасных закоулков и коротких путей, долго стоял и вглядывался в темноту подъездов, перед тем как в них войти. Мстить мне все-таки никто не стал. Вероятно, тем летом происходили какие-то крутые разборки между Верхним и Нижним Щорса, и Березе было не до меня.

Осенью Березу благополучно призвали, место его было сразу занято кем-то другим, но ни меня, ни друзей моих это уже не тревожило, потому что той осенью мы стали больше пропадать по квартирам одноклассниц, чем по задворкам и гаражам. В связи с этим изменением modus vivendi мы временно утратили интерес к алхимии огня и переключились на фармакологию приворотных и возбуждающих средств, что составляет предмет уже совсем другой истории.

А тем временем где-то в потемках Березина мозга продолжал светиться маленький белый шарик для игры в пинг-понг и досветился до того самого момента, когда Береза, уже вполне зрелый рецидивист, находившийся ходке так в пятой, оказался в числе участников бунта в Тиуссинской ИТК. Бунтовщики заняли административное здание и находились в офицерском красном уголке. От воли их отделял только длинный коридор первого этажа и шевеление серых ушанок в конце этого коридора за поваленными столами. Собственно, на волю они и не собирались, поскольку бунтовали за какие-то свои требования, но запах воздуха свободы был слишком интенсивен. И вот тогда-то нечто сработало в этом странном механизме Березиной головы: он поднял лежавший на полу красного уголка белый сферический предмет и с криком «Ложись, бомба!» побежал по коридору в сторону импровизированной баррикады. До первой вздыбленной столешницы оставалось уже метров двадцать, когда сильный удар в голову остановил Березу. С удивлением он заметил, что белая сфера в его голове начинает расти, угрожая разорвать изнутри череп. Он схватился за голову, пытаясь удержать разлетающиеся в стороны черепные кости, отчего шарик выпал из его руки и весело запрыгал по половицам.

Метким стрелком оказался сержант Оол-доржав, маленький тувинец, у которого поры на пергаментной коже лица были шире, чем узенькие игольчатые ноздри плоского носа. Оол-доржав не поверил в Березину бомбу. Он был внуком шамана и знал от дедушки, что бояться надо пучка кожаных ленточек, привязанных к козлиному рогу, а не каких-то там шариков, и что колдуном, способным послать из отверстой ладони смертельный огонь обычно бывает седенький старичок с желтой бородкой клинышком, а не ражий бандит с тяжелой челюстью и узким лбом.

Обо всем этом я прочитал в номере еженедельной газеты внутренних войск, который случайно обнаружил в сетке на спинке кресла в салоне авиалайнера, когда тот начал мучительно выруливать на ВПП аэропорта Домодедово. Разумеется, автор очерка о бунте в Тиуссинском ИТК не упоминал имени зэка, которого подстрелил отличник службы Оол-доржав, но подробно описывал само происшествие с шариком для пинг-понга — так что мог ли я не догадаться?

И когда взревел форсаж и тяжелое тулово самолета начало раздвигать вязкость московской непогоды, я откинул голову на высокую спинку кресла и начал думать о загадочной траектории во времени и в пространстве, которую проложил этот прыгучий целлулоидный сорванец, выскользнувший в коробочку из кукольных рук упаковщицы корейского народного предприятия, проверявшей качество шарика под портретом Любимого Вождя, чтобы быть купленным мной в магазине «Спорттовары». Затем он был начинен гремучей смесью, чтобы воссиять во тьме ныне уже снесенной избушки и скакнуть из моих рук в неживые глаза Березы, отпечататься в таинственном веществе памяти и пребывать в нем в скрытом виде лишь для того, чтобы вновь материализоваться в грубых пальцах бандита в красном уголке Тиуссинского ИТК и быть окончательно и решительно отбитым плоским, как ракетка, лицом Оол-доржава.

И чем больше я думал, тем яснее мне становилось, что это был совсем не шарик, а Орудие Судьбы (что, впрочем, совсем

не мешало ему оставаться шариком физически), Посланием, которое ни один из нас троих не сумел, вероятно, правильно понять и прочесть. И путь его вовсе не закончен, потому что никому не известно, что теперь происходит в голове Оолдоржава, спящего сторожко, как дикий зверь на своей сержантской постели.

Может быть, только тогда, когда все те, кого задела его юркая траектория, смогут собраться вместе по ту сторону существования, они узнают, какой тайный умысел преследовала судьба, связывая их воедино, но и то вряд ли — ведь там мы станем печальными тенями, лишенными памяти и узнавания, скитающимися со скорбным стоном на берегах реки забвения.

1993

Прыжки по крышам сараев

При каждом бараке (а их было возведено немало еще в далекие предвоенные годы) в обязательном порядке имелись сараи — причудливые строения в два и даже три этажа, разбитые на клетушки стаек, украшенные башенками голубятен и резными балкончиками неясного назначения, опутанные с фасада лестницами и лесенками, переходами и пропилеями. За скрипучими дверьми, затворенными косыми полосами железа, мирно бродило варенье, сохли сурик и белила в неплотно закупоренных банках, и покрывались ржавчиной детские велосипеды. Жаркими летними днями нередко занимались пожары, и мы восторженно сбегались поглазеть на неслаженные действия самодеятельных пожарных, а затем и на то, как неторопливо разворачиваются в боевые порядки регулярные солдаты огненного фронта.

Вскоре бараки попали под снос, но сараи милостиво пощадили как не попавшие в границы зоны застройки. Некоторые из них были тут же самочинно захвачены обитателями наших многоквартирных домов под хранение той рухляди, что уже не вмещалась в подвалы и кладовки. Другие так и остались пустыми; двери стаек были сорваны умелыми руками домовитых отцов разночинных семейств на хозяйственные цели, резные перильца балкончиков растащены по дачам, спешно возводимым буржуазящимся советским народцем. Опустелые сараи стали мышиными питомниками, паучьими джунглями, где под упавшими с потолков досками и листами железа еще можно было изредка отыскать точильные круги, облезлые малярные кисти и даже мельхиоровые солонки.

Для нас, выросших в тесноте малометражных квартир, где каждый шаг был скован пристальным педагогическим внима-

нием, сараи эти являлись и критским лабиринтом, и одесскими катакомбами, и замком Отранто, и домом Эшеров; короче говоря — самой воплощенной романтикой. Мы скакали по лестницам и карнизам привольнее и раскованнее каких-нибудь мартышек, резвящихся на развалинах буддистского храма на берегах мелководного озера ТонлеСап. Сараи были оптимальной площадкой для игр, микрокосмом, чреватым подлинными и непредсказуемыми приключениями, в отличие от сотворенных постной фантазией жэковских культуртрегеров фанерных ракет, изгаженных котами песочниц и стилизованных в духе фильмов Абрама Роу сказочных теремков á la russe, стены которых изнутри изобиловали скудоумными граффити, начертанными взрослой шпаной под влиянием паров мадеры.

Сараи были идеальной декорацией, набором модулей романтической вселенной — они преображались с произвольной легкостью в корабельные палубы, пещеру Али-Бабы, подвалы третьего управления РСХА, штаб чапаевской дивизии и даже в логово облаченного в зеленую маску коварного Фантомаса; они были постмодернистским конструктором, приложением к нашему кругу чтения, сценой, на которой мы играючи ставили пьесы по страницам любимых книг и сюжетам популярных кинокартин.

Среди всех игр, сыгранных нами на скрипучих деревянных подмостках голубятен и чуланов, мне, однако, больше всего запомнилась та, в которой отчетливо не просматривалось никакой литературной или кинематографической основы: прыжки с крыши на крышу.

Сами прыжки как таковые входили в качестве элемента практически в любую игру на сараях, но то, что я называю собственно «прыжками с крыши на крышу», производилось всегда в одном и том же месте — там, где карниз второго этажа Большого Сарая, величественного, как Эмпайр-Стэйт-билдинг, сближался с крышей отдельно стоявшего низкого строения, служившего некогда гаражом для мотоцикла с коляской. Это была единственная точка в сарайном комплексе, где никому

из нас не удавалось перепрыгнуть, — да и немудрено: между двумя крышами было не менее семи метров, так что прыжок оказался бы нелегким даже для тогдашнего рекордсмена мира по прыжкам в длину — гуттаперчевого негра Сэма Джонсона.

Пожалуй, невыполнимость прыжка и привлекала нас, когда зимой в тяжелых шубах и валенках мы разбегались по ржавому железу Большого Сарая, отталкивались от гулкого пружинистого карниза и, описав ньютоновскую параболу, закономерно падали в толстый податливый сугроб, испещренный янтарными пятнами собачьей мочи. Задним умом каждый из нас понимал, что никому и никогда не удастся допрыгнуть до крыши гаража, но вслух мы наперебой расписывали друг другу, как вот сейчас мы по-особому разбежимся, как используем какой-то небывалый прием и перемахнем через воздушную бездну. Многие дурачились, прыгая (издавали самолетное гудение или размахивали по-птичьи руками), но ветераны игры, ее оголтелые фанатики, прыгали в серьезном молчании, с одухотворенными лицами, и те, кто стоял на крыше в ожидании своей очереди, провожали летящего сосредоточенными взглядами, словно пытаясь подтолкнуть его при помощи таинственной энергии телекинеза.

В определенной точке траектории у многих прыгунов, в том числе и у меня, часто создавалось впечатление, что земное тяготение удалось преодолеть и полет продолжается по прямой, а не пригибается к земле, как уставшая, мертвая ветка. Удивительнее всего были, конечно, не эти субъективные впечатления, которым легко подыскать какое-нибудь объяснение из области физиологии, но то, что в эту секунду и многим зрителям казалось, что прыгнувший висит в воздухе и даже несколько двигается параллельно земной поверхности.

Это ощущение свободного парения и его зрелище мы называли «зависом» и хвастались друг перед другом своими «зависами» и их длительностью. При этом чисто соревновательный момент, который должен, якобы, присутствовать в каждой мальчишеской игре, напротив, полностью отсутствовал.

Конечно, кое-кто, торжествующе указывая на след приземления в глубоком снегу, пытался обратить внимание приятелей на особую дальность своего прыжка, но такого обрывали сакраментальной фразой: «А до гаража-то допрыгнуть тебе все равно слабо!» Это была игра без чемпионов и без победителей (потому-то она и носила глубоко альтруистический характер); все мы жили надеждой, что кому-нибудь одному в конце концов удастся преодолеть сию бездну и тем самым будет проложен путь остальным.

Надо также прибавить, что крыша гаража была легко достижима с земли, но какой-то негласный запрет, первобытное бессловесное табу удерживало нас от того, чтобы святотатственно вскарабкаться на нее по гаражной стене, осквернив тем самым ее фатальную недосягаемость.

С наступлением лета прыжки стали значительно более рискованными; снег растаял, и ничто уже более не смягчало наши столкновения с родной планетой. Но мы продолжали прыгать, хотя родители смотрели на это наше развлечение весьма косо (как, впрочем, почти на любое наше развлечение). Мы настолько вошли во вкус игры и так мастерски овладели иллюзией «зависов», что казалось: дайте только время, и мы долетим и перелетим гараж, и полетим дальше, к синеватому окоему, над лесными кронами и в беспредельную даль, открытую округлившимся весенним небом.

Но судьба уже стерегла нас, таилась где-то по соседству, тихая и незаметная. Как-то раз один из нашей ватаги, несколько неуклюжий и полноватый мальчик, похожий на плохо скроенного игрушечного медведя, неловко оттолкнулся от карниза и круто пошел вниз. Ничего особенно страшного с ним не приключилось — он просто растянул себе связки на правой ноге, — но мы слишком часто выслушивали сетования взрослых, прозвавших нас цирковыми прыгунами и постоянно вопрошавших, когда же мы, наконец, свернем себе шеи, чтобы не почувствовать, что это происшествие станет вожделенным поводом к войне.

Мы довели незадачливого летуна до двери его квартиры и там бросили, предоставив ему самостоятельно объясняться с родителями.

На нашу беду отец Паши Щуся занимал весьма почетную общественную должность — он был старшим по дому. Функции его заключались, насколько я понимаю, по большей части в составлении манифестов, указующих на недопустимость захламления подвалов легковоспламеняющимися материалами, противозаконность выгула животных на газонах и преступность разбиения лампочек в подъездах. Эти листовки, выполненные четким почерком военного образца, с ключевыми словами, подчеркнутыми строгим красным карандашом, старательно расклеивались автором на дверях подъездов. Наши родители изучали декреты Щуся-старшего с некоторой долей иронии и за глаза называли автора Фурмановым, однако подвалы расчищали, животных не выгуливали и лампочки систематически вкручивали. Мы же, ощущая себя юными молодогвардейцами, часто производили вороватую корректуру указов оккупационной администрации, придавая им при помощи химического карандаша непристойный смысл.

Впрочем, на этот раз не понадобилось и манифеста: Щусь-старший собственной персоной обошел наших отцов, и на следующий день, затаившись за боярышниковыми насаждениями, мы с болью созерцали, как силы наших родителей численностью до отделения приступили к ликвидации гаража. Скрип выдираемых ржавых гвоздей царапал нам окончания нервов, а стук топоров отдавался в самой глубине наших сердец. От самого домового старосты мы подсознательно всегда ожидали какой-нибудь подобной пакости, но соучастие в этой пакости наших отцов было нестерпимо обидным. Ясно, что родители руководствовались самыми гуманными соображениями и пытались уберечь своих чад от возможных будущих травм, но, на наш взгляд, нам предстояло заплатить слишком большую цену за собственную безопасность.

Когда борцы с детским травматизмом завершили разрушение Карфагена и поспешили к экранам телевизоров — смотреть,

врезая жестким кулаком по ручке кресла, как Рудаков проводит второй мяч в ворота «Спартака» с паса Пузача, мы вышли из укрытия и направились на то место, где еще вчера стоял гараж. Покружившись по вытоптанной родительскими сапогами площадке и подобрав на сувениры пару ржавых скоб, мы молча сбились в кучку, не зная, что делать дальше.

— Все равно будем прыгать! — взорвал молчание наш признанный атаман. — Пошли, ребята!

Мы поднялись на крышу без приличествующих этому процессу воинственных воплей и только уже на крыше заметили, что со своего балкона на нас внимательно смотрит младший Щусь, сияя белизной бинтов на стянутой щиколотке. Окатив презрением виновника нашего злосчастья, мы сделали вид, что больше не замечаем его; присутствие ренегата, однако (а мы считали Пашу ренегатом, ведь ему ничего не стоило соврать отцу, где он подвернул свою дурацкую ногу), еще более отравило нам настроение.

Атаман разбежался и рванул к краю крыши, но на самом краю резко затормозил и, обернувшись, посмотрел на нас. Лица наши были хмурыми и непроницаемыми. Тогда, шумно харкнув, атаман вернулся на стартовую позицию, снова разбежался и прыгнул.

Прыжок получился хорошим — может быть, это был самый сильный прыжок из всех, которые когда-либо совершались с крыши Большого Сарая, — но, несмотря на силу прыжка, траектория его представляла тривиальную параболу, в которой мы не усмотрели ни малейшего признака «зависа». По недовольному лицу атамана, когда тот встал, отряхивая с колен гнилую труху, мы поняли, что и он не испытал того волшебного и вожделенного чувства, без которого мы уже не мыслили прыжков с крыши.

— Ну, прыгайте! — крикнул с земли наш вожак, но никто не последовал его призыву. Было ясно, что теперь, когда недостижимая цель уничтожена, любой прыжок обернется скучной кривой второго порядка, более или менее отвесной, но всегда предсказуемой. Каждая точка параболы заранее просчитана, и никакое волшебство уже не заставит тело лететь параллельно линии горизонта, ибо ничто, кроме инертной массы земли, больше не притягивает его.

Мы спустились с крыши и разошлись по домам. Огорчение быстро забылось, потому что, как-никак, нам было всего по двенадцать лет. Вскорости был даже прощен и принят обратно в коллектив переставший прихрамывать ренегат Щусь. Но некоторое огорчение, конечно же, осталось. Оно прорывалось наружу, например, в наших подростковых снах, когда летишь себе, как вольная птица в небе, и вдруг падаешь камнем, чтобы проснуться в холодном поту и с горечью задуматься о том, что парабола падения является основным законом движения человеческого тела в пространстве.

1992

Взятие Рейхстага штурмовой бригадой молочных тележек

Всяким летним вечером, если позволяла погода, мы разыгрывали одну мистерию. В ней, как и во всякой порядочной мистерии, добро неизменно торжествовало над злом, а свет над тьмой. Она была очень демократичной, без секретов, доступных в элевсинских таинствах только посвященным, без сложной иерархии и церемониала масонов Великого Востока и Шотландского Обряда.

Каждый, кто был способен держать в руках деревянный автомат или палку, которая его заменяла, мог считать себя полноправным адептом. Мы не брали только девчонок и малышню: других ограничений не было.

Все попадавшиеся на пути стены и заборы мы изрисовывали звездами и свастиками — символами нашего культа. Их до сих пор можно отыскать в лабиринтах старых цельнометаллических гаражей, окружающих наш двор, — там, где дождь не сумел их смыть, а солнце — обесцветить. Этими знаками мы помечали тайные тропы, сигнализировали о переброске войск, указывали районы концентрации сил и направления основного удара.

Итак, мы играли во взятие Рейхстага.

На наших и фашистов мы разбивались достаточно произвольно: я сам бывал одинаково часто и нашим, и не нашим и не помню ни одного случая, чтобы возникали какие-нибудь сложности с вербовкой волонтеров во вражеский отряд. Напротив, очень часто и очень многим хотелось быть именно фашистами. В этом было свое особенное удовольствие: трусливо улепетывать от передовых частей Красной Армии, неубедительно, но грозно выкрикивать «Hände hoch!» и «Zürück!», огрызаться из-за углов плюющимися очередями шмайсеров, занимать последний оборонный рубеж у Рейхстага — высокой старой голубятни. И, наконец, понуро выходить с высоко поднятыми руками, как на известной картине работы школы Грекова с капитулирующим фельдмаршалом Паулюсом.

Эта работа, работа фашистом, вовсе не считалась позорной. Наоборот, она была важной и нужной — без нее мистерия не могла состояться. Наверное, с тем же рвением какие-нибудь эльзасские крестьяне, назначенные приходским священником на роли Сатаны и его слуг, приматывали к головам козьи рога перед праздником местного святого.

Насколько мне сдается, только двое мальчишек — Алеша Браун и Рудик Мауль — никогда не шли в фашисты. Тогда мы не обращали на это никакого внимания (или почти никакого — иначе, почему бы мне это помнить?). Не думаю, что, когда приходила пора делиться по командам, сами Алеша и Рудик отчетливо понимали, в чем тут дело. Но чутье, а вернее всего, то многозначительное семейное умалчивание, которое дает больше пищи для растущего сердца, чем всякое слово, подсказывало им, что они клеймены особым тавром, помечены невидимым знаком, который непременно выявится при нужном освещении. Присутствие их в фашистском отряде было настолько же неуместным, как присутствие (возвращаясь к мистериям) настоящего черта среди прикинувшихся чертями крестьян — пусть черта давно утратившего свою сатанинскую суть, черта, такого же, как все, ничем не худшего, уже десять поколений не имеющего никаких связей с геенной огненной, черта, которого бы и сами слуги дьявола не признали за своего.

Стоит ли говорить, что наши всегда побеждали? Никакого уговора не было: просто фашисты чувствовали, что должны проиграть. Такой ход событий был заложен в нас крепче всякого генетического кода. Он подтверждался всем устройством нашей Вселенной — книгами, фильмами, учебниками, салютом в День Победы. Те, кто участвовал в премьере нашей мистерии,

наверняка хотя бы раз и хотя бы на миг сомневались в победе, варясь в каком-нибудь котле, мучаясь в каком-нибудь плену. Нам же, эпигонам истории, сомнения были чужды.

Сева появился в самый разгар этих мистических сражений с вселенским злом — в середине июня. Он вышел из подъезда, высоченный, стройный, в черной куртке из кожзаменителя. Ветер играл его белыми жесткими волосами, глаза сверкали, как два осколка вечного нордического льда, — и не таяли, не хотели таять, несмотря на тридцать градусов в тени. Теперь я назвал бы его лицо лицом Зигфрида, но тогда я еще ничего не знал о Зигфриде и только почувствовал, что это лицо особое, такое, каких мне еще не доводилось видеть. Отмеченное лицо.

Сева держал на поводке большую немецкую овчарку. Как ни странно, собаку звали Блонди. То, что у его пса оказалась кличка другой собаки, кости которой уже давно сгнили где-то в германской земле, стоит отметить особо; в моих рассуждениях мне еще придется вернуться к совпадениям.

Неторопливо, с особой выправкой, он двинулся к нам. Мы стояли, неловко сбившись в кучку, и нам почему-то не давалось то напускное и презрительное пренебрежение, которое было заготовлено в нашей стае для чужих волчат.

Сева подошел и, не здороваясь, сказал своим чудным завораживающим голосом, в котором звенел металл уверенного приказа:

— Играть будем?

Мы не могли ему отказать. Как это ни поразительно, Сева никогда еще не играл во взятие Рейхстага. В маленькой военной части, где до переезда в наш город служил Севин отец и где Сева провел последние пять лет, у него не оказалось ровесников, поэтому он не был знаком с большинством дворовых игр той эпохи.

Мы охотно объяснили Севе нехитрые приемы игры и немудреную топографию нашего двора и окрестностей. Он молча слушал и заговорил только тогда, когда мы закончили. Слова его потрясли нас.

— Я буду главным фашистом, — сказал Сева.

До тех пор мы ни о чем подобном не помышляли. Фашистское воинство нашего образца больше напоминало штурмовую бригаду испанских анархистов (справедливости ради отметим, что и красноармейцы дисциплиной равно не блистали). Каждый бежал, кричал и стрелял сам за себя, ведомый давно знакомым общим ходом игры, который не оставлял места для каких-либо руководителей.

Разумеется, практически все отдавали некие приказы, но они никем не выполнялись — да и не предназначались для этого. И потом, главный фашист был явно чем-то совсем иным, чем фашист просто. Фашист просто мог быть пойман, пленен и обезврежен как рядовой представитель универсального зла, после чего превращался в одного из нас, в нашего приятеля, внутренне очищенного от скверны своим поражением, хотя вымазанного с ног до головы в пыли, ржавчине и голубином помете. Главный же фашист был вечным и неустранимым источником этого самого зла, которое требовало бесконечного повторения очистительного обряда. Главный фашист никогда не смог бы выйти из игры и стать одним из нас: чтобы игра могла свершиться и завтра, он должен был постоянно оставаться там, на своем дьявольском посту. Ангелы, последовавшие за Сатаной, могли вернуться, покаяться, поплакаться и вновь воссесть у трона небесного, но сам отступник не подлежал прощению.

Сева не стал ждать, пока мы переварим его заявление, и приказал:

— Все фашисты — ко мне!

Многие двинулись к Севе. Я не пошел. Дело решилось чистой случайностью, хотя мне было бы весьма лестно усмотреть в этом осознанный выбор. Как раз в этот момент у моего автомата отлетела трещотка, и я принялся ее старательно налаживать, зажав автомат между колен так, что не мог двинуться с места.

Когда вокруг Севы собралось около половины нашей компании, он сказал свою последнюю фразу, потрясшую нас окончательно.

— Сегодня играть не будем. Нам нужно три дня, чтобы подготовиться.

Зачем? Наша игра была слишком простой и ясной, чтобы нуждаться в каких-либо приготовлениях, не считая необходимости вооружиться, но многие обходились даже без этого, довольствуясь подходящими по размеру и форме палками и кусками дерева.

Однако пробужденный Севой интерес был сильнее, чем желание противиться новшествам.

И мы подчинились.

Три дня Сева готовил свое воинство к блицкригу в кустах за домом. За эти три дня фашисты неузнаваемо переменились. Даже самые ленивые из них обзавелись автоматами по полной форме — с трещотками, с выкрашенными тушью стволами, метательной резинкой и проволочной скобой, которая удерживает пульку из алюминиевой проволоки на боевом взводе. Но — и это самое главное — изменился не только их внешний вид, но и ухватки. Они четко выполняли холодные и немногословные приказы Севы и отдавали приказы сами. Среди них явно вырисовались вожди, знавшие за собой право командовать, и те, кто с готовностью признавали это право. Поверхностный психолог объяснил бы все организаторскими способностями Севы, а если бы питал пристрастие к терминологии менее рациональной, сказал бы, что Сева обладал харизмой, но мне кажется, что и то и другое в корне неверно.

Неверно, потому что среди нас были признанные вожаки, которые ярко проявляли себя в играх с не столь определенным исходом, вроде футбола. Слово же «харизма» ничего ровным счетом не объясняет и является чистой тавтологией.

По-моему, Сева был подлинным фюрером, или, вернее, эйдосом фюрера (вспомним ту же Блонди), который по причине какой-то накладки в движении эонов воплотился в неподходящее время и в неподходящем месте, опоздал, предоставив случайному человеку, какому-то бездарному живописцу и сластене, какому-то импотенту без лица Зигфрида и без стати Севы,

сыграть его, Севину, роль и сыграть не вполне удачно. Я глубоко убежден, что, если бы Сева (или тот, кто сотворил Севу) не опоздал со сроком выброски, Третий Рейх не проиграл бы войну никогда и ни за что. Я не знаю, в каком колодце мироздания, подобно скрытому имаму исмаилитов, таился Сева до того дня и где он снова скрывается сейчас, но сам факт Севиного предсуществования не вызывает у меня никакого сомнения.

Надо отметить, что нам даже не пришло в голову выставить с нашей стороны подобную Севе фигуру. Тому были разные причины. В пришедшуюся на наше отрочество эпоху стыдливого замалчивания мы не вполне ясно представляли себе, кто руководил первым представлением мистерии с нашей стороны, но не это даже было главным. Важнее то, что проблема не могла решиться голосованием: требовался сам вождь, а его-то у нас и не было. Так что роковые три дня мы провели в полном бездействии, если можно считать бездействием постоянную дворовую возню.

Дебют игры не отличался от того, к чему мы привыкли, и мы успокоились и снова поверили в свои силы. Фашисты, как им и положено, улепетывали, отстреливались, мы же шли по пятам. Правда, их отступление на этот раз было каким-то другим — не искренним и самозабвенным как прежде, а лукавым, с ухмылочкой, будто они знали что-то такое, о чем мы и не подозревали. Сева исчез неведомо куда с первых же минут игры и более не появлялся. Наконец, разгоряченные и потные, мы выскочили на окруженную гаражами площадку, посередине которой высился воркующий Рейхстаг.

Было тихо. Никто не оборонял голубятню, никто не кричал, брызгая слюной, свое отчаянное «тра-та-та». Сбивая друг друга с ног, мы кинулись в приоткрытую дверь сарая, на который опиралась голубятня, и испуганно замерли в темноте под перекрестными лучами света, просачивавшегося в щели между досками, под сизым снегопадом голубиного пуха. В ту же минуту скрипучая дверь сарая громоподобно захлопнулась, и мы услышали спокойный, уверенный голос Севы. Он приказал:

— Выходите по одному и бросайте оружие!

Мы попались, как дураки, попались в элементарную ловушку, попались потому, что поверили в предопределенность исхода игры. И нам пришлось выйти по одному, понуро проследовать мимо шеренги фашистов и бросить свои деревяшки к ногам Севы. Белокрылые валькирии кружились над его головой, хлопали крыльями и отражались хлопьями снега в арктических водах Севиных глаз. Те же превращали в лед все, к чему прикасались, и все, к чему они прикасались, оставалось льдом до последнего дня великанской зимы Фимбульветр, когда должна будет вспыхнуть первая искра мирового пожара и испепелит и богов, и людей, потому что герои одержат полную победу и им больше некого будет побеждать, а значит, миру придется сгореть дотла и начать новый круг вечного повторения.

Но когда последняя деревяшка упала к Севиным ногам, когда игра кончилась и мы нестройной гурьбой побрели обратно во двор, случилось вот что: недавние бессмертные воины-эйнхерии из чертогов Валгаллы начали один за другим покидать Севу, чтобы примкнуть к побежденным. Они неловко пытались шутить с нами, завязывали разговоры, заискивающе смотрели в глаза, вымаливали прощение за то, что позволили случиться подобному безобразию, измениться привычному и правильному течению событий, свершиться преступлению против мирового порядка.

Вспоминая те годы, я должен сказать, что у нас не было никакой ненависти к реальным фашистам, потому что та жуткая, не фронтовая сторона Третьего Рейха — все эти треблинки, майданеки, бабьи яры — совершенно не задевала нас, не знавших особенных лишений отпрысков советского среднего класса, не взывала ни к мщению, ни к сопереживанию.

Фашисты были чистой условностью, театром, потому-то с такой охотой мы время от времени по очереди бывали ими. Но Красная армия была настоящей, и мы все состояли в ее рядах, даже когда выступали в роли ее заклятых врагов. Собственно говоря, фашисты нам представлялись совокупностью штирлицев и майоров вихрей, засланных с заданием изображать противника, но изображать так, чтобы противник всегда оставался слабее. Не знаю, понимал ли это Сева, когда отважился на то, чтобы победить нас, или был лишь марионеткой космических сил, лишенной собственного соображения.

Очарованные Севиным совершенным фюрерством, его приспешники слишком торопливо поддались на соблазн и только сейчас прозрели, чему себя противопоставили, какое опасное сомнение посеяли в своих (и в наших) душах. Ведь мы были всей ойкуменой, а Сева был одиночкой, неизвестно чьим агентом, без году неделя жившем в нашем дворе. Делать на него ставку было, по меньшей мере, неосторожно.

Отступничество, произошедшее столь скоро после блистательного завершения кампании, произвело на Севу трагическое впечатление. Когда мы подходили ко двору, рядом с Севой уже никого не было. Лавры облетели, голуби уже не кружили над его головой под звуки вагнеровских скрипок и валторн, ряд железных крестов, приколотых к черной куртке, превратился в полосу рыжей колючей окалины.

Неделю Сева не появлялся во дворе, говорили, болеет. Потом он вышел, похудевший, еще больше похожий на Зигфрида, но глаза его уже были тусклыми и помутневшими, как подтаявшие мартовские ледышки.

За неделю его отсутствия мы не разу ни играли во взятие Рейхстага. Сама мысль об этой игре стала для нас неприятной, — видимо, Севин блицкриг все-таки оставил какие-то невидимые шрамы на наших задубелых шкурах, на которых за считанные секунды затягивались даже царапины от колючих ветвей боярышника.

Двор охватило новое поветрие — предшественник будущего скейтборда. Рядом был молочный магазин, и при черном входе стояли тележки, которыми на заре похмельные грузчики транспортировали проволочные корзины с молоком и верткие бидоны со сметаной в кисло пахнущее чрево складского помещения.

На этих-то тележках мы и скатывались с горки, стремясь разогнаться получше, проехать подольше и при этом не свалиться.

Сева сразу втянулся в новое развлечение и катался особенно отчаянно, так что его тележка нередко вылетала на проезжую часть большой улицы, куда выходил наш тихий проулок. Во время одного такого рывка за пределы дозволенного путь его пересек красный фургон с белой молнией на борту. Те, кто видели это, говорят, что Сева даже не пытался увернуться: напротив, с какой-то особенной лихостью устремил свою тележку навстречу надвигающемуся транспортному средству, словно пытаясь протаранить врага. Автомобиль, убивший Севу, принадлежал ремонтной бригаде токового хозяйства трамвайного парка. Но у зигзагообразной молнии есть и другое значение, и ныне я почти уверен, что, почувствовав запах неудачи, боги забрали Севу обратно, прислав за ним колесницу Тора, чтобы при случае снова вбросить его в этот мир как игральную кость, в надежде на шестерку.

Трагическая Севина гибель произвела большое впечатление на наших родителей, и катание на тележках стало абсолютным табу. Правда, мы тайком продолжали кататься по ночам, причем с большим рвением и ставя в качестве задачи именно выезд на проезжую часть. Интересно, что в случае с тележками Севин пример оказал на нас прямо противоположное воздействие. Он словно задал нам схему новой мистерии совсем другого рода, в которой одинокий герой, юный Беовульф, сам идет навстречу своей возможной гибели, окунаясь в темные воды своей судьбы, просвечиваемые лишь хищными фарами глаз подводной нечисти, собравшейся на пир в подводном дворце Грендля.

И когда я вспоминаю наше катание на тележках, Сева перестает казаться мне Зигфридом, эйдосом фюрера, генератором вселенского зла. Мне сдается, что задача его была намного сложнее, как у всякого соблазнителя — не только показать исчерпанность старой игры, но и привести к новой, запретной и коварной. И, как и всякому соблазнителю, ему пришлось

быть совершенным и в той, и в другой игре, иначе он не смог бы наглядно продемонстрировать их пределы, их тайные цели: бунт как изнанку любой предопределенности в первом случае и смерть как вершину любой свободы во втором.

И когда я думаю об этом, нордический облик Севы мне кажется исполненным совсем другого смысла — это уже Локи, хитрый Локи, вечно строящий богам всяческие каверзы, вечно открывающий людям то, что им бы не следовало знать, — например, сладость и непредсказуемость свободного полета. Локи, который, вопреки воле асов, оделил выточенные ими деревянные фигурки свободной волей и сделал эти деревяшки людьми.

Но кем бы ни был Сева, чьим бы орудием ни являлся, все мы должны быть ему благодарны: он познакомил нас с принципом индивидуального катания на молочных тележках с закрытыми глазами и широко раскинутыми руками и разуверил в необходимости каждодневного взятия Рейхстага Красной армией.

1992

Кто идет за мною следом

Он возвращался домой по узенькой асфальтированной тропинке среди кустов, которая была проложена по окраине рощи, окружавшей военный госпиталь. Некогда это был монастырь; самые высокие и древние дерева были посажены, видимо, еще монахами.

Растерянная желтоватая луна кривлялась в разрывах облаков. Дождь прошел недавно; капли все еще срывались с ветвей и листьев.

И тут сзади послышались шаги, которые не были отзвуком его собственных. Обернувшись, он обнаружил, что метрах в тридцати за ним кто-то идет. «Не стоит беспокоиться, — подумал он. — Это солдатик возвращается со свидания в госпиталь, или врач идет на дежурство».

Тем не менее пульс его стал частым, а ноги сами собой заспешили. Что тут поделаешь, ночные шаги за спиной всегда действовали на него подобным образом.

Особенно здесь, на этой мрачной городской пустоши, по соседству со старым моргом и с теми местами, куда мальчишкой он бегал смотреть, как ковши экскаваторов, рывших котлован под новые больничные корпуса, вычерпывали из подземных склепов масляно-желтые кости монахов и таинственно безглазые их черепа…

Между тем, шаги за спиной убыстрились, и он сам тоже заторопился, с трудом удерживаясь от того, чтобы не перейти на бег. При этом приходилось еще и глядеть под ноги, чтобы ненароком не вступить в лужу и не испачкать туфель.

Вот почему (так он убеждал себя) он не решался посмотреть назад. А когда посмотрел, то увидел, что преследователь шагал на прежнем расстоянии, широко размахивая руками. От взгляда, брошенного вперед, перехватило дыхание. Заглядевшись под ноги, он и не заметил, как ошибся дорогой и вместо того, чтобы пойти по аллее, ведущей к дому, очутился в узком тупичке, окруженном со всех сторон забором.

Самым естественным в этом положении было бы вернуться, но никакая сила на земле не заставила бы его столкнуться лицом к лицу с тем, кто шагал за ним следом. И он пошел навстречу высокому забору, которым кончался тупичок.

Шаги за спиной не смолкали; идущий следом тоже вошел в тупичок.

Безотчетно он рванул бегом навстречу забору, подпрыгнул, вцепился в зубчатый, занозистый край и неожиданно легко перемахнул на другую сторону. Затрещала рвущаяся ткань, и колено пронзила острая боль.

Когда он встал, потирая колено, и посмотрел назад через щель между досками, проулок, освещенный светом дальнего фонаря, был пуст. Солдат (если это был солдат), очевидно, тоже махнул через забор, избегая проходной, и сейчас уже заходил в светившийся неземным светом кварцевых ламп лечебный корпус.

Ему стало стыдно и жалко порванной рубашки и сдуру ушибленного колена.

Перебравшись снова через забор, он дошел до конца проулка, повернул в нужную сторону и зашагал к уже совсем близкому дому. Он сделал шагов десять, не больше, прежде чем снова услышал за спиной размеренное постукивание каблуков. Неотступный преследователь, как ему показалось, был на том же расстоянии, что и прежде.

За темнотой трудно было сказать, тот же это человек или другой случайный ночной прохожий.

Несмотря на усталость от быстрой ходьбы и испуг, голова его оставалась необыкновенно ясной. Он вспомнил все, что читал и слышал о двойниках, о тени, которой, якобы, обладает каждая душа, о тени, которая выходит на свободу в момент рождения и, испуганная светом, бежит прочь, а потом

ищет всю жизнь хозяина, чтобы слиться с ним, и тогда человек умирает.

От этих мыслей холодок пробежал у него по спине, но дом был уже совсем близко, и он рывком распахнул дверь подъезда и устремился вверх по лестнице. На середине второго пролета он услышал, как хлопнули входные двери, сначала одни, затем вторые. Плохо уложенная кафельная плитка подъезда захрустела под ногами вошедшего.

Охваченный страхом, он пробежал оставшиеся лестничные марши, запутался перед дверью в связке ключей, произнося про себя все мыслимые проклятья, наконец, ухитрился открыть дверь, с грохотом захлопнул ее за собой, нимало не заботясь о том, что скажут соседи, и сел под этой самой дверью на холодный пол прихожей.

Шагов за дверью больше не было. Тогда он встал и зажег свет. В углу прихожей мутнело зеркало. В нем он увидел очень бледное и покрытое испариной лицо, увидел глаза со странным и пристальным взглядом.

И когда он повернулся к зеркалу спиной, он почувствовал, что эти глаза продолжают смотреть на него.

1990

Голый человек в лесу

О голом человеке в лесу мы узнали позже всех в поселке. С утра мы уехали на велосипедах на пруд и там провели весь день, купаясь и вылавливая банкой огромных и кусачих жуков-плавунцов. Вернулись мы к вечеру; родительские крики быстро растянули нас по дачам, но в этом не было ничего удивительного, поскольку настал час ужина.

И только когда я зашел на веранду, а бабушка была взволнована сильней обычного, стало ясно — что-то случилось. Быстро выдав мне горячие лепешки и кружку молока, бабушка поспешила на крыльцо, чтобы завершить разговор с соседкой Софьей Моисеевной. Женщины говорили достаточно громко, так что, несмотря на их конспиративные интонации, я прекрасно все слышал, уплетая лепешки.

Голый человек был обнаружен ближе к полудню семейством грибников с Верхней улицы, когда они возвращались с полными корзинками мимо кладбища. «Мама, смотри, голый дяденька!» — закричала шестилетняя дочка. Все семейство обернулось на девочкин крик и, действительно, увидело в просветах между соснами белесое голое тело, которое завихляло, почувствовав на себе людские глаза, и стремительно удалилось странной танцующей походкой.

Известие о голом человеке моментально распространилось среди дачников и аборигенов. Пару лет назад в поселке было посажено несколько великовозрастных оболтусов, промышлявших взломами домиков в садовых кооперативах, теперь же бродили слухи, что кто-то из них находится в бегах, возможно, пробираясь лесами к родне в поселок. Женщины после недолгого обсуждения пришли к заключению, несколько неожиданному, что увиденное существо является одним

из «бандитов», хотя мне уже тогда показалось странным, несмотря на малое знание жизни, почему это беглый зэк должен передвигаться нагишом по кишащему слепнями и паутами лесу. Так или иначе, вывод был сделан именно такой, отсюда сразу же родилось убеждение о необходимости интернирования всех несовершеннолетних для содержания их под домашним арестом, от греха подальше.

Выслушав эту информацию через дверь веранды, я спокойно дождался появления бабушки и, к ее удивлению, покорно подчинился распоряжению проследовать в спальную, несмотря на ранний для сна час. На самом же деле, как только дверь комнаты закрылась, я сиганул в окно, пробрался через высокие кусты аконита в палисаднике и перепрыгнул через штакетник.

Наиболее боевая часть нашей компании, состоявшая как из дачных, так и из поселковых детей, собралась в выставленном на улицу неоконченном срубе. Мы шепотом обсудили услышанное от взрослых, выдвигая наперебой собственные гипотезы. Время от времени мы бросали через прорубленное окошко сруба взгляды на потемневший и туманящийся лес, в котором скрывался голый человек: загадочный, томительно-манящий, скользящий по опавшей хвое босыми бесшумными ступнями.

Не помню уж, кому из самых отчаянных пришло в голову немедленно отправиться в лес и найти голого человека. Для облегчения контакта мы сочли полезным запастись некоторым количеством еды. Быстро были высланы фуражиры, которые вернулись с хлебом, крутыми яйцами и даже с полбутылкой красного алжирского вина, после чего отряд двинулся в путь, причем общий энтузиазм был таков, что даже робкая мелюзга не могла устоять перед соблазном проявить свое бесстрашие.

Мы вошли в лес прямо напротив кладбища, бесшумно, не смея проронить ни звука — кто из охотничьей осторожности, кто из все более захватывавшего грудь темного страха. Идти нам пришлось недолго: едва очутившись на большой поляне за кладбищем, мы увидели в мутных августовских сумерках нечто похожее на белый фосфоресцирующий пень. Это был

голый человек, сидевший к нам спиной на корточках, обхватив руками плечи.

В этот момент каждый был готов прыснуть наутек, но никто не решался сделать это первым, так что вся экспедиция продолжала двигаться как загипнотизированная по направлению к странной и неподвижной фигуре голого человека.

Когда мы приблизились к сидевшему на несколько десятков шагов, он обернулся, увидел нас и встал. Это было действительно странное существо неопределенного возраста, болезненно дряблое, морщинистое и белое, как кусок грязноватого льда, с кожей, словно никогда не знавшей солнца. Лицо густо заросло бородой, а волосы были длинными и слипшимися, но глаза были пусты и не выражали никаких намерений, разве что горел в них диковатый огонек, который можно было бы назвать лукавством, но лукавством, совершенно лишенным мудрости. Существо постоянно двигало руками, как бы не зная, куда их пристроить, и переминалось с ноги на ногу.

Мы молчали, чувствуя, что нам нечего сказать незнакомцу. Внезапно тот, словно потеряв к нам всякий интерес, снова повернулся спиной и принял свою прежнюю эмбриональную позу. Тогда Ленька, который нес продукты, извлек их из полиэтиленового мешка и положил на землю. Услышав шорох, голый человек повернулся обратно и, диковиннейшим образом, переступая на корточках, приблизился к снеди. Быстро, но тем не менее аккуратно, он начал есть, а когда съел все, протянул руку к бутылке и, неожиданно банально и уверенно, отхлебывал из горлышка, пока не кончилось вино. Все это время мы продолжали бесцеремонно разглядывать голого человека. Помню, как меня поразили его огрубевшие ноги, с пальцами твердыми и полированными, как маленькие копытца.

Покончив с вином, голый человек снова привстал, несколько раз неуверенно покачнулся и вдруг пустился в пляс. Танец его представлял собой непонятное сочетание дикой гибкости и полного равнодушия, словно танцор плясал не от полноты чувств, а выполняя некоторый благодарственный ритуал.

При этом ни лицо, ни глаза ничего не выражали, если не считать тех же самых лукавых искорок, которые время от времени мелькали в неподвижных зрачках. Возможно, это был просто отблеск высоко к тому времени поднявшейся луны, но возможно и то, что лукавость эта была следствием тайного безумного знания о себе, которое не может быть никому передано. Так лукавит сумасшедший, вообразивший себя богом, но не желающий говорить об этом глупым и недоверчивым людям, так лукавят, может быть, сами боги, являясь замучившим их жертвоприношениями людям и представляя снисходительно перед ними все, что люди ждут от них.

Но тут в поселке забрехали собаки, и голый человек, оборвав свой танец немыслимой и незаконченной позитурой, стремительно исчез, так, что только вдали продолжали хрустеть ветви раздвигаемого подлеска.

Нам оставалось только отправиться домой, впрочем, с твердым намерением вернуться к голому человеку на следующий день с более основательным запасом провизии.

Но этому намерению не суждено было сбыться. Дома всех без исключения ждал чудовищный разнос, и кто-то из нас, под воздействием широкого отцовского ремня, сбивчиво поведал о подробностях ночного анабазиса. Результатом был строгий домашний арест и гласный надзор, так что никто не смог до вечера следующего дня покинуть свой двор.

А ближе к вечеру на улице объявилось оживление, и через щели заборов, как взрослые ни старались отогнать нас, мы увидели смешанную толпу поселкового люда и милиционеров, грузивших в приехавший из города желто-синий газик что-то вроде кокона из драных простыней. Как стало потом известно, охота была недолгой: окруженный силами милиции и общественности на той же самой опушке голый человек посмотрел на охотников своим лукавым и странным взглядом и пустился в пляс. На этот раз, как я полагаю, это была не благодарная, а умиротворяющая пляска, которой несчастное создание хотело умилостивить преследователей, а может, — кто знает? — и выразить свое презрение и безразличие к ним. Вероятнее, однако, первое, потому что танец закончился внезапным броском к коленям старшины, возглавлявшего группу захвата. Испуганный старшина отшатнулся, и существо, не сумев обнять его колени, рухнуло, ударившись виском об острый пенек.

Не знаю, где они его похоронили, этого доброго пляшущего фавна. Скорее всего, на кладбище для неопознанных лиц на окраине города, под номером, написанным на дощечке. Он, конечно же, не был ни уголовником, ни психом, бежавшим из больницы, ни снежным человеком. Вряд ли он свалился со звезд — слишком уж уверенно управлялся с алжирским вином. Кто он был, навсегда осталось неизвестным, иначе бы об этом не преминули пошушукаться наши бабушки. И тайна, которая скрывалась в его лукавом взоре, так навсегда и осталась тайной, о которой приходится только гадать.

Впрочем, листая психиатрическую энциклопедию, изданную в прошлом веке, я наткнулся на описание, которое проливает некоторый свет на эту тайну. Надо сказать, чтение старинных психиатрических книг всегда оставляет у меня впечатление, что, в отличие от болезней тела, болезни души меняются вслед за изменениями самой души, поэтому одни болезни уходят в прошлое, другие становятся более распространенными. Этим я объясняю тот факт, что нигде в современной литературе я не встретил упоминания о raptus amneticus — внезапной потере памяти, не обусловленной никакими органическими факторами, никакими психическими травмами; она, по утверждению ученых немцев, составивших энциклопедию, постигает изредка вполне здоровых людей в любом возрасте. Эту потерю памяти можно было бы назвать агрессивной амнезией, поскольку больной не просто забывает свое имя и свою жизнь, но стремится уничтожить все, что могло бы напомнить ему, кем он был: рвет документы, сбрасывает с себя одежду, сжигает свой дом, убегает в дикие неприступные места. Уже во времена составления энциклопедии этот синдром считался весьма редким, а сейчас, вероятно, почти не встречается.

«По мнению профессора Эзелькопфа, — сообщает энциклопедия, — raptus amneticus представляет собой стойкое помрачение сознания (die dauerende Bewusstseinftrübung), вследствие которого на передний план в поведении больного выступает доразумное состояние психики. Больной R. a. сознает себя зверем и воспринимает атрибуты собственной цивилизованности как пленение, вследствие чего стремится всеми способами от них избавиться».

Согласиться с профессором вполне мне мешают те самые лукавые искорки, которые я видел в глазах голого человека и которые, я в этом уверен, никогда не могли бы проблеснуть в глазах зверя. У меня есть на этот счет свое мнение. Я думаю, что голый человек моего детства все-таки кое-что помнил, а именно: он помнил, что забыл — забыл себя, свое имя, свою родню и родину, забыл все, что делало его одним из нас. И это единственное воспоминание, единственная мысль, делали его счастливо пляшущим свободным существом, радостно принявшим наши хлеб и вино. Голый человек знал, что отказался от всего, хотя уже не имел ни малейшего представления о том, что собой представляло то, от чего он отказался. Он обладал такой свободой, какую не может дать даже смерть, ведь он как бы был мертвым, знающим, что умер (подобно тому, как спящий знает, что спит). А это именно то, к чему мы подсознательно стремимся в своих обидах, представляя опустевший без себя мир, зареванные лица родных, ничтожество существования, покинутого нами, как нелюбимая женщина. То, в чем секрет вековечной тяги людей к опию и лотосу, к хрустальным водам Леты и лизергиновой кислоте, — не быть, сознавая, что тебя нет.

1992

Витаструктуры

Мальчик К. интересовался жизнью низших растений и грибов. Он хотел выращивать мухоморы и поганки в горшках, словно цветы. Однажды он взял совок и мешок и пошел на болото за рассадой. Бабушка и дедушка в это время пили на веранде душистый чай с лимонником и не видели, как мальчик исчез.

Мальчик шел долго и забрел глубоко в болото. Несколько раз он чуть было не провалился в трясину, но в конце концов, вспотевший и дрожащий от страха, выбрался на сухой островок. На островке росли странные кривые деревья и стоял удивительный, ни на что не похожий запах. Это место деревенские называли Чертовой плешью и боялись на него ходить.

Но мальчик был городским и ничего про это не знал. Он пошел вглубь островка и в самом его центре набрел на черный камень. Тут ему почему-то неудержимо захотелось встать на колени. И он встал на колени перед камнем, и вокруг него тотчас же заплясал вихрь из витаструктур пентаморфного типа, характеризовавшихся легкой осевой асимметрией, имевших в сечении ~12–13 мм и обладавших высокой гравитационной анизотропностью. Средний период их полураспада по Кунцу (k) составлял 8,3*1014 секунд. Некоторое количество этих витаструктур проникло в мальчика, двигаясь вдоль дефектов в силовом поле, и мальчик сразу очень многое понял, отчего испытал ни с чем не сравнимое наслаждение.

Затем мальчик решительно встал и отправился обратно домой. Утонуть в болоте он больше совсем не боялся.

Когда он наконец добрался до дачного поселка, уже смеркалось. Дедушка и бабушка, как только допили свой чай, сразу заметили, что мальчик исчез. Тогда они очень испугались и стали

ходить по всему поселку и спрашивать, не видал ли кто их внука. А потом начали принимать лекарства от сердца и давления.

Поэтому когда мальчик все же вернулся, дедушка в гневе пару раз огрел его ремнем по заднице, а бабушка долго кричала всякие обидные слова. Но мальчик не заплакал, потому что под воздействием витаструктур он перестал испытывать боль и обиду, да и вообще человеческие чувства.

Вместо этого он просто дождался, когда дедушка с бабушкой уснут, прокрался на цыпочках по скрипучим половицам в чулан, взял там топор и зарубил дедушку с бабушкой. Поскольку мальчик был инфицирован витаструктурами, физическая сила его многократно возросла, и он без особых затруднений расчленил тела стариков, извлек кишки и выложил ими на полу пентаграмму, а кровью на стенах нарисовал пятиконечные перевернутые звезды. Эти крайне бессмысленные, чтобы не сказать идиотские с человеческой точки зрения действия играют крайне важную роль в цикле существования витаструктур указанного типа — они необходимы для их успешного размножения.

Размножившиеся витаструктуры испытали потребность покинуть тело носителя и перейти в эфирную фазу. С этой целью они заставили мальчика сходить в чулан еще раз, принести канистру бензина и полить из нее пол и мебель, затем сесть посередине гостиной на стул, зажечь спичку и швырнуть в бензин.

Когда мальчика обхватили языки пламени, он еще некоторое время сидел неподвижно. Но затем в его эктоплазме под воздействием высокой температуры начали образовываться дыры, через которые наружу устремился поток размножившихся витаструктур. В этот миг к мальчику начало возвращаться его собственное сознание, и его осенило, что многое из понятого им возле черного камня было не настоящим пониманием, а пониманием, которое вложили в его голову витаструктуры и от страха и ужаса перед непоправимым мальчик жутко закричал, но ничего поделать уже было нельзя, потому что к нему снова вернулись человеческие чувства: они-то и подсказали ему, что сейчас он умрет в страшных мучениях.

Приложение.
Энциклопедический словарь витаструктурологии

Бима (др-евр.) — вершина холма, обозначающая точку комплексной полевой аномалии, вблизи которой при определенных условиях создаются условия для формирования стационарного вихря витаструктур штамма «Спика». Условием является пролитие крови невинного младенца. Стабилизации вихря также способствует очерчивание этой кровью вокруг вершины Б. пентаграммы. Обыкновенно для большей стабильности кровь добавляется в раствор, на котором сооружаются стены, имеющие в плане пятилучевую симметрию. Примеры некоторых известных Б. — холмы Боровицкий, Капитолийский, Храмовая гора, Ватикан и ряд других. Приписывание этого обряда исключительно семитической традиции, ведет начало от строительства Соломонова храма (625 г до н. э.), хотя на самом деле метод этот, знание о котором передается в устной традиции членами определенных тайных обществ, применяется правящими верхушками государств, относящихся к самым различным цивилизациям. В настоящее время обряды, связанные с поддержанием функционирования Б., продолжают исполняться рядом руководителей государств и верховными жрецами некоторых религий. Сам термин Б. («высоты» в синодальном переводе) позаимствован из Ветхого Завета, где обозначает места поклонения ваалам.

Штамм «Спика» — гемопозитивные витаструктуры пентаморфного типа с параллаксом истечения, локализуемым в районе звезды «Спика» (Девы). Характеризуются легкой осевой асимметрией, по форме похожи на колесо с пятью ступицами, имеющее в центре нуклеус, отдаленно напоминающий глаз. Витаструктуры Ш. С. имеют в сечении ~12–13 мм. Высокая гравитационная анизотропность вызывает возникновение стабильного вихря Ш. С. в точках комплексной полевой аномалии при наличии гемоаттрактора. Ш. С. является эндоплазматическим полупаразитом и размножается только внутри носителя. Средний период полураспада Ш. С. по Кунцу (k) составлял 8,3 * 1014 секунд. Первичная эндемия Ш. С., по археологическим данным, возникла в период раннего неолита.

Именно к этой эпохе относится возникновение культа бима и связанных с ним детских жертвоприношений.

Раса «Сириус» — свободно живущие нуклеотропные витаструктуры. Имеют три морфологические формы: 1) сперматофор — овальной формы, до нескольких десятков метров в диаметре, гравитационно анизотропный, свободно перемещающийся в пространстве; 2) лжеимаго — антропоморфные псевдогуманоиды, зеленого цвета, гравитационно изотропные, перемещающиеся на задних конечностях и 3) подлинные имаго — половозрелые плазмоиды, вырастающие на специальной высокотемпературной среде, отличающейся повышенным радиационным фоном и высоким содержанием тяжелых элементов. Подобную среду экотропные витаструктуры создают обычно при помощи материальных форм разумной жизни, которые погибают в процессе «сбраживания» экосферы, необходимого для достижения лжеимаго зрелости. Массовое вторжение Р. С. в сороковые-пятидесятые годы XX века после приобретения Землей нуклеоатрактивности (Нью-Мехико, Аламагордо, 16 июля 1945 г.) послужило почвой для легенд о т. н. НЛО и «зеленых человечках». Исчезновение явлений, связываемых с этими понятиями в более позднее время, вызвано достижением достаточной степени осемененности планетной яйцеклетки (точка оплодотворения) и последующим прекращением интрузии новых сперматофоров. В настоящее время лжеимаго Р. С. пребывают в окуклившемся состоянии в засекреченных и тщательно охраняемых правительством США местах. Средний период полураспада по Кунцу не определен.

Встреча в Юрике — встреча 21 сентября 1951 г. в окрестностях г. Юрика, Невада между представителями расы «Сириус» и Соединенных Штатов Америки. Американскую делегацию возглавлял президент Д. Эйзенхауэр. Во время В. в Ю. был заключен так называемый «апокалиптический пакт».

Апокалиптический пакт (АПОКАПАК) — договоренности между специальной правительственной делегацией Соединенных Штатов и расой «Сириус», достигнутые 21 сентября 1951 г. во время встречи в Юрике.

2005

Проза.
Часть III. Город М

Медальон

За окном грохотали последние трамваи. На полу лежал матрац, а на матраце лежал он. И был он пьян, и потолок кружился, словно белая птица ночная.

В других комнатах большой теткиной квартиры гомонили пьяные, как и он, люди, или уже храпели, и сквозь храп прорывались порой всхлипывающие перешептывания парочек.

В дальнем конце коридора хлопнула дверь, полилась вода. Потом дверь снова открылась, длинный луч света коснулся глаз его. Зашлепали босые ноги, и в проеме двери показалась девичья фигурка.

Девушка несколько раз посмотрела по сторонам в неуверенности и, пошатываясь, направилась к нему. Скользнуло под простыню длинное змеиное тело, неожиданно холодное и мокрое, русалочье, но ступни были теплыми, и, когда он коснулся ее коленей, он протрезвел.

Он ласкал ее молча, опасаясь выдать себя голосом, поскольку знал, что занимает чужое место. Руки его скользнули по мокрым плечам и нащупали тонкую металлическую цепочку. Откатываясь в последней судороге, он непроизвольно дернул рукой и почувствовал нечто, впившееся в ладонь между линиями жизни и судьбы.

Утром он проснулся один, поднес к глазам все еще сжатый кулак и увидел в нем маленький золотой медальон с изображением одного из знаков Зодиака.

Когда на кухне все отпивались чаем, он пытливо скользил глазами по женским лицам, пытаясь угадать. Разгадка не заставила себя долго ждать: одна из девушек, та, которая пришла с предметом его зависти, удачливым его другом, начала потерянно выглядывать что-то по углам, поднимать на столе

неубранные тарелки. Он, посмеиваясь, предложил ей свою помощь, выяснил, что она ищет, уточнил месяц ее рождения.

С непритворным возбуждением он начал вместе с ней перетряхивать постели в заведомо бесплодных попытках. Он мог вынуть тотчас же медальон из кармана и представить его случайной находкой, но предвкушение чего-то большего заставило его воздержаться.

Склонясь вместе с ней над усыпанным табачным пеплом полом, он пытался заглянуть ей в глаза, но не прочел в них ничего, кроме досады от утраты любимой вещи.

Девушка впоследствии оказалась более чем очередным увлечением его ранее ветреного друга. Они начали постоянно появляться вместе, и завертелись слухи о серьезных намерениях. Он принял активное участие в этой затее, такое, что впору только близкому родственнику, чем вызвал не благодарность своего удачливого друга, но подозрительную настороженность. Отношения их портились и по другим, прямого отношения к моему рассказу не имеющим причинам, и чем больше они портились, тем большее наслаждение доставляла ему золотая улика, с которой он не расставался, постоянно носил ее в нагрудном кармане.

Через месяц-полтора после свадьбы, когда молодые вернулись в город и от них пахнуло соснами и янтарем в его широко раскрытые ноздри, ноздри затаившегося в засаде мстителя, он понял, что настало время для беспощадного последнего прыжка.

Он пришел к ней, когда мужа не было дома, сел на кухне, принес предложенный чай и без торопливости, скучными и спокойными словами пересказал ей заново то, что случилось той ночью. Ее смуглое лицо побелело от возмущения, и она даже хотела его ударить, но он поспешно расстегнул нагрудный карман и выложил на стол медальон.

Впрочем, это ее не убедило, и она сразу же ухватилась за самое вероятное: за стечение случайной находки и коварного замысла, порожденного изощренным воображением.

Защищая свое счастье, она повелела ему немедленно покинуть только что свитое гнездышко и никогда впредь не переступать его порога. Впрочем, на этом самом пороге голос ее дрогнул, и она попросила нашего героя позвонить на следующий день, но только в последний, самый последний раз.

Он сразу понял, что за это время она применит всю свою женскую выпытывающую хитрость для того, чтобы воскресить в своем супруге воспоминание о той ночи, вытянуть из него доказательства бывшей тогда близости.

Он позвонил ей в назначенный час из телефона-автомата и услышал ее холодный голос. Она подтвердила, что да, сбылись худшие ее ожидания и она обнаружила отъявленного лжеца в близком их дому человеке, разглядела змею, обвившую одну из тяжелых плодами ветвей райского древа.

В недоумении он повесил трубку, сунул руку в карман, нащупал там кругляшок, но это была не двушка. Это был медальон, который он машинально взял с кухонного стола вчера.

Зажав его в кулаке, он зашагал, не разбирая дороги, погруженный в упорядочивание мыслей. Конечно, она могла и солгать, конечно, удачливый и бывший его друг, муж ее, мог ошибиться — мало ли было тем летом веселых и пьяных ночей, не занесенных в иной календарь, кроме путаного дневника ошибчивой памяти. Но это ничего, совсем ничего не меняло. То, что случилось, случилось с ним одним и для него одного. Он был в ту ночь только для себя и не существовал ни для кого другого.

Сначала такое небытие испугало его своей призрачной недоказуемостью, но тут же другая, более приятная догадка принялась обретать себя в его сознании. Это было ослепительное прозрение. Логически продолжив свое небытие, он представил себе, что когда-нибудь он будет существовать только для себя в вечности, не существуя ни для кого другого, но все же быть, совершать поступки, непререкаемо ощущая свое наличие. Он подумал, что может быть только в этом и заключается смерть и в его собственном существовании она будет неотличима от бессмертия.

Он понял, как она преодолевается, эта кажущаяся смертная неодолимость, и опьянился безупречностью своего рассуждения. Его несло, он не видел и не разбирал дороги, буквально летел, сжимая чудесный медальон в кулаке до боли, и кулака он не разжал даже тогда, когда на середине улицы, которую он пересекал, отключенный от всего сущего, странно закрутило его в воздухе под дикий визг тормозов и показало ему мир и так и сяк, подо всеми мыслимыми углами, прежде чем кинуть с размаха о такую неприветливую и загаженную асфальтовую плоскость.

Через пару лет его тетушка выносила вещи из квартиры, готовясь к капитальному ремонту. Отодвинув диван, она заметила блестящий металлический кружок и подняла его. Положив кружок на ладонь, она посмотрела на него непонимающе, подошла к серванту, выдвинула ящик и достала из шкатулки другой металлический кружок. Потом она положила их оба рядом на обеденный стол.

Глядя на два этих совершенно неотличимых золотых медальончика, на тот, который она только что нашла (и который был потерян героиней нашего рассказа), и на тот, который извлекли из мертвой хватки ее любимого племянника (и который был сорван с шеи другой участницы известной нам вечеринки, что она, впрочем, заметила только вернувшись домой и готовясь принимать душ), тетушка недоуменно покачала головой, выдавая тем самым свое бессилие связать воедино два звена оборвавшейся цепи, между которыми уже нельзя было различить ни людей, ни событий, а одно только ужасное, ушедшее в никуда время.

1999

Черные крылья сыновей ночи

Перед тем, как заснуть, он подолгу лежал в постели с закрытыми глазами и восстанавливал в памяти черты ее лица, пытался поймать в воображении взгляд огромных серых глаз, представлял пышные ее каштановые волосы, покатые плечи; вспоминал также отзывчивость протуберанцев сосков, длинных, твердых и пористо-розоватых, детскую гладкость массивных бедер, золотистый пушок крепких лодыжек, а также шоколадного цвета кольцо пигментированной кожи вокруг плотно сомкнувшей створки раковины. Кроме того, движения ее тела, прерывистое дыхание, вкус губ и запах кожи.

И прежде ему доводилось вспоминать таким образом женщин, но всегда покинутых или ушедших, словом, утраченных. Эта же принадлежала ему — правда, редко, слишком редко. И потому-то ночами он восполнял редкость встреч работой воображения.

Однажды вечером, выключив свет и улегшись в постель, он начал упражнять память, сосредоточившись на запахе ее тела. Не прошло и двух минут, как он ощутил этот знакомый растительно-горький аромат. Но тут прозвучал запоздалый телефонный звонок, и ему пришлось прервать свои упражнения, чтобы подойти к аппарату.

Вернувшись в комнату, он обнаружил с удивлением, почти со страхом, что запах вовсе не исчез — напротив, стал интенсивнее. Он понюхал свои руки, затем подушку — они пахли нежно и пьяняще. Весь воздух в комнате благоухал этой женщиной. Он открыл форточку, но легкий городской зефир, веявший с улицы, обладал тем же запахом. Тогда он распахнул дверь и вышел на балкон, но тусклое ночное небо с редкими звездами тоже дышало ароматом ее волос и кожи.

Тогда он посмотрел вниз и увидел, как отяжелели и согнулись ветви лип. «Это липы расцвели, — подумал он. — Это запах лип. Я становлюсь слишком впечатлительным». Подумав так, он успокоился, вернулся в постель и заснул с легким сердцем.

Но другой ночью он снова проснулся, оттого, что руки его были мокрыми, а рот полон солоноватой влаги, вкус которой он так хорошо знал.

Он приподнялся в постели и коснулся рукою стены — стена была мокрой. В тишине было слышно, как жидкость тягуче капает с потолка. Он кинулся к выключателю и включил свет. Весь потолок промок, а по побелке стен, по обоям, змеились разводы и потеки. Наспех одевшись, он вышел в подъезд и стал звонить в дверь этажом выше. Никто не открывал. Он вспомнил, что сегодня ночью должны были дать горячую воду и отчасти успокоился. Очевидно, верхние соседи куда-то уехали, забыв завернуть кран. Он вернулся домой, затер лужи на полу, не удержавшись от того, чтобы опустить в воду палец и попробовать ее на вкус. Это была самая обыкновенная вода теплоцентрали, противная, отдающая сероводородом, и он снова подумал, что сходит с ума.

Ни об одной из этих ночей он не сказал ей ни слова.

Несколько дней он спал без сновидений, а затем ему приснилось, что он перебирает пальцами ее густые каштановые пряди и целует их. Проснувшись же утром, он обнаружил, что вся подушка покрыта длинными тугими каштановыми волосами. Он взял волосок в пальцы и подошел с ним к окну, чтобы получше рассмотреть его, но на солнечном свету тот внезапно испарился. Сперва ему показалось, что он просто неосторожно обронил его, но, посмотрев на подушку, он увидел, как солнечный луч, скользивший по белому полотну, испепелял волосы, стирая их, словно тряпка — буквы с грифельной доски.

«Все, я сошел с ума!» — подумал он.

Успокоившись же и поразмыслив, он предположил, что его психика повредилась вследствие ненормальных предсонных

фантазий, и принял решение немедленно отказаться от опасных игр со своим воображением.

Сперва это благотворно сказалось на его сне, который стал плотным и непроницаемым для сновидений.

Однако, к своему неудовольствию, каждое утро он продолжал находить следы ее присутствия, в то время как она несомненно проводила вечер и ночь у себя дома. Это был то отпечаток ее губной помады на краю бокала, то заколка, забытая под подушкой, а как-то он с ужасом обнаружил у себя на плече следы укуса и царапины от ногтей на предплечье. Чувствуя себя полным идиотом, он попытался дотянуться ртом до плеча. С одной стороны, выходило, что он мог сам себя укусить во сне, с другой — ему от этого вовсе не стало легче.

И вот как-то раз он проснулся около четырех часов ночи, вернее, вскочил, испуганный, ощущая рядом с собой чье-то присутствие. Открыв глаза, он увидел, что в углу постели сидела она, обнаженная, обхватив колени руками. Даже не думая об абсолютной невозможности этого ночного визита, он привлек ее к себе.

Это была она — он узнавал мельчайшие подробности ее тела, все ее любовные привычки, то, как она властно поправляла рукой его пальцы, скользившие между ее бедрами в поисках выступа паренхимы, горячего, как язычок адского пламени, то, как она властно садилась над ним на корточки, осторожно взяв в пальцы его стержень, проводя им между бедрами неоднократно, чтобы затем решительно погрузить его в тугое нутро, то, как она приподнималась и опускалась, в то время, как он держал в руках ее крупные удлиненные ступни, поглаживая кончиками пальцев прохладную и мягкую округлость пяток, затем, уже обессилев, падала к нему на бедра всем весом, пыталась еще подняться, но уже не могла, потому что у нее внутри пробегали тугие комки сокращений; глаза ее были закрыты, окаменевшее лицо приподнято к потолку, правая рука туго сжимала грудь, левая металась в воздухе, не находя опоры, кончик языка скользил по набухшим губам между излучавших ровный

серовато-жемчужный свет прекрасных зубов; то, как она с разведенными, вывернутыми слегка наружу бедрами падала потом на бок, вся содрогаясь, и ее огромная, разверзнутая раковина выступала над параболами ягодиц, похожая на охотящуюся морскую анемону в кружевных оборках щупалец, и тогда он настойчиво брал ее руками за поясницу, ставил на колени, погружался в нее, а когда он подавался назад, щупальца охватывали стержень блестящим розовым кольцом плоти, тянулись следом, словно умоляя вернуться назад, заполнить образовавшуюся пустоту — да, это была она, это могла быть только она.

И он ласкал ее, любил ее, проливая щедрые потоки горячего семени, пока не заснул в серости надвинувшегося рассвета.

Поутру он, один в постели, вспомнил прошедшую ночь, и холодный пот заструился по спине. Сознавая, как это нелепо, он подошел к телефону, набрал ее номер и после обычного приветствия спросил ее, где она была прошедшей ночью. Вопрос удивил ее и обидел. Естественно, дома. Он кое-как замял неловкость, положил трубку и сел в кресло, обхватив голову руками.

В тот же день он встретился со своим приятелем, психиатром, и рассказал ему о произошедшем. Тот, как мог, попытался успокоить его, объяснил все расстроенным воображением и прописал какие-то ни к чему не обязывающие таблетки. Помогли ли таблетки, или дело было в чем-то другом, но эротические видения перестали терзать его совершенно, и вскоре все отошло в область необъяснимого, того, чему навсегда суждено остаться без ответа, того, о чем, вспомнив, сам себе говоришь: «Неужто это было со мной?»

Через несколько лет он прочитал, что в одной из талмудических книг, то ли в «Эсре бенион», то ли в «Рав хашиниил», описано, каким образом проклятые Богом обитатели вечного мрака продлевают свой род. Они, писал талмудист, принимают облик возлюбленных женщин и в этом облике, известные под именем суккуб, проникают в постели погруженных в любовные мечтания одиноких мужчин, совокупляются с ними и зачинают.

Именно в силу этой опасности молодым евреям не полагалось ночевать в комнате в одиночку, а укладываться в компании друга или родственника.

Он попытался представить, как выглядит зачатый им в ту ночь ребенок, огненноглазый демон с черными шелковистыми крыльями летучей мыши, извергающий пламя и серные пары, и его сердце наполнилось гордостью оттого, что у него есть столь могучий потомок. Еще он задумался над тем, была ли она, эта женщина, с которой он уже давно расстался, лишь формой, в неведении своем использованной силами Ада, или сама находилась с ними в тайном и преднамеренном сношении.

Еще он подумал, что его случай вряд ли единичен, подумал обо всех солдатах, отшельниках, жрецах и грешниках, ничтожествах и непризнанных гениях, которые грезят в своих одиноких постелях, подумал обо всех наших многочисленных отпрысках, и в нем забрезжила надежда на то, что столь огромное воинство, порожденное ненасытной, неудовлетворенной любовью, не может в один прекрасный день не одержать победу над благостными и тупыми силами, пытающимися удержать нас, как жалкий скот, на этих зеленых и сонных пастбищах Божьего мира.

2000

Я вижу тебя через щель в заборе

Жена рассказала ему, что утром по дороге на работу она столкнулась с половым маньяком. Этим громким прозвищем она наградила невзрачное существо, выскочившее с расстегнутой ширинкой из давно уже выломанной калитки возле старого деревянного дома. Сжимая в кулачке весь свой инструментарий, существо совершило несколько судорожных движений, после чего проворно скрылось.

Выслушав сетования шокированной и переполненной брезгливостью жены, он вышел покурить на балкон. Там ему вспомнилось несколько сходных эпизодов в чужом пересказе или из собственного опыта. Особенно ярко стоял перед глазами морозный декабрьский вечер и дышащие тяжелым злым паром мужики в тулупах, которые сосредоточенно пинали кого-то под окном женского отделения общественной бани.

Потушив сигарету и проводив взглядом улетевший вниз окурок, он задумался, почему же эти несчастные так стремятся открыться предмету своей созерцательной страсти, часто обрекая себя на уличный самосуд и болезненные побои. Ему пришло в голову, что должны быть среди этих людей и другие, менее заметные и более осторожные — те, которые скрываются в укромных уголках города и безнаказанно созерцают оттуда небыстрые в летнем мареве перемещения восхитительных женских существ с глянцевыми и твердыми, как полированный розовый мрамор конечностями. Там, в безопасности, они неторопливо распаляются чувством к избранному предмету и анонимно изливают свой сок на пыльные лопухи или серые доски забора, оставаясь при этом невидимыми.

Он попытался прикинуть, как выглядит такой храм уединенной любви. Было очевидно, что необходим щелястый,

но не слишком, забор, поскольку множественные просветы, не облегчая наблюдения, делают наблюдателя слишком заметным.

Было также очевидно, что забор, лежащий вдоль хода гуляющих женщин, обеспечивая безопасность, теряет второе и наиважнейшее преимущество скрытого наблюдения — его длительность.

Условию длительного наблюдения отвечает только угол забора, достаточно далеко выдающийся в сторону тротуара и расположенный там, где плотен людской поток. Тогда ось зрения может быть проложена навстречу идущим, что дает возможность осознанно выбрать предмет и любоваться им до полного сближения.

И, наконец, последнее: пространство должно быть замкнутым, защищенным с тыла; иначе мстительная повседневность с ее строгими правилами взаимности, которые можно нарушить, только пойдя на сговор или применив насилие, обрушится на наблюдателя сзади. Ergo, не во дворе частного дома — нет, ни в коем случае! — а только на стройке, спокойной в выходной день стройке, под сенью меланхолически покачивающегося крюка башенного крана, может происходить наблюдение.

Захваченный стройностью гипотезы, он решил немедленно проверить ее — не в смысле полного эксперимента, потому что его здоровая сексуальность не нуждалась в механическом, техническом завершении: ему хотелось всего лишь на миг оказаться на месте одного из этих тайных обладателей огромного безымянного гарема.

Не сказав жене ни слова, он тихо закрыл за собою дверь и вышел на улицу. Подходящий забор был расположен в десяти минутах ходьбы от дома. Достигнув его, он пролез между выломанными досками и очутился на стройке. Все было так, как ему представилось: остывал в железных чанах позабытый бетон, покачивался магический и размеренный крюк в охваченных дымкой усталых вечерних небесах.

Протиснувшись в угол забора через груды строительного мусора и несколько раз зацепившись штаниной за ржавую прово-

локу, он прильнул к щели и удивился, как хорошо видна отсюда улица и как много идет по ней красивых и загорелых женщин, которых он не смог бы оценить на открытом пространстве. Минут пять он с наслаждением смотрел в щель, затем, вздохнув, отшатнулся от забора.

Может просто из-за выпитого ранее чая или же под влиянием неосознанного позыва, требующего пометить новую территорию, он расстегнул ширинку и приготовился оросить серые стебли чертополоха, желтоватые клочки газет и груду битых аптечных пузырьков.

И тут штабеля досок и аккуратные стопки кирпичей вдруг обернулись десятком мрачных мужчин, сжимавших в руках случайные строительные предметы, и еще одной женщиной, которая кричала, что вот он, снова на том же самом месте, где она его приметила, вот он, этот гнусный тип.

Он не пытался им ничего объяснить, потому что, в конце-то концов, не в плоском физическом смысле, а в смысле главном, и поэтому самом важном, он был тем, кем они его считали: грязным извращенцем, грубым нарушителем правил честной игры.

Приоткрывая глаза в перерывах между ударами, он пытался рассмотреть лица бивших его мужиков и распознать, что ими движет — ненависть или зависть. Били его, однако, слишком болезненно, и он упал на землю, так и не успев прийти к определенному выводу.

Падая, он еще раз увидел вечернее небо, и оно показалось ему огромной щелью, через которую кто-то блудливо за нами подглядывает.

Но это ему только так показалось.

2000

Шарики из слоновой кости

Господи, сколько же я пролежал на полу? Час? День? Какая разница… Время могло просто остановиться. Остановиться во всем мире, останавливаются же часы. Каждую секунду во всем мире останавливаются десятки часов. Или сотни. Почему бы однажды не остановиться всем?

Сказано же, не садись в машину, если в ней есть люди. Нельзя сказать, чтобы я был пьян. Выпил очень мало. Это самое опасное — выпить мало. Когда ты пьян в дым, тебя ведет не рассудок — инстинкты. Проверенные инстинкты. Опасно выпить мало. Малые дозы алкоголя облагораживают мир. Забываешь, что существуют Они. Не поглядываешь в продолговатое зеркальце, что там творится на заднем сиденье. Хороший вечер, хорошие люди. Наваждение такое сильное, что, даже когда в шею впивается узкая резиновая скакалка, не пугаешься, а только удивляешься, как баран.

Почему именно я? Снять с меня нечего, на человека с большими деньгами я тоже не похож… И почему, обобрав меня, они не выбросили меня в кювет где-нибудь по дороге в аэропорт, как Они это обычно делают? Господи, да разве можно понять, что у дьявола на уме?

Руки, естественно, связаны, ноги, разумеется, тоже, потолок конечно же, белый, да не очень. Дом, похоже, деревянный. За городом или частный сектор. Что-то мне это напоминает. Что-то из недавно прочитанного…

Боже мой, ну, конечно же! То, что меня попросили прочитать в редакции, посмотреть, пойдет ли в номер… Дневники этого востоковеда, даже не востоковеда, блистательного дилетанта из офицеров: служба в Джунгарии, очарованность Китаем, потом семнадцатый год, гражданская, плен, даже

не у красных, а какая-то дикая банда… И даже не дневники, а что-то вроде новеллы в форме дневника. То есть, не мог он писать дневник, лежа на полу со связанными руками. Или потом вспоминал в настоящем времени, или вообще из головы выдумал. Нет-нет, там была биографическая справка — в этом плену его и вывели в расход, офицера-то. В общем, странная штучка со странным концом. Недописанная, оборванная смертью. Обычный повествовательный прием, но ведь он-то умер взаправду. Вряд ли бандиты позволили бы ему дописывать последние строчки у мазаной стенки хаты. Да и темна была украинская ночь. Впрочем, чего не бывает…

Кстати, в соседней комнате кто-то есть. Я слышу звон чайной ложечки. Позвать или дождаться, когда сам придет? Вечная проблема пленников…

Что же он там делал, пока лежал на земляном полу хаты? Вспоминал какой-то трактат. Нет, не трактат, просто древнекитайский текст. Денди из Пажеского корпуса, презрев вшей, вспоминает древний текст, поди в подлиннике. Какое показное спокойствие! Наверняка, англоман. Хотя, чем это хуже, чем восстанавливать в памяти подробности своих грехопадений с различными особами или вспоминать с раскаянием, как у мамы был рак, а ты ни разу не сходил к ней в больницу?

А дрянь в соседней комнате все ходит и ходит. Любопытно, какая она из себя? Допустим, спившийся спортсмен в трикофане, бледные мускулы в рыжем пуху. Или блудный сын порядочного пролетария, серая, стертая личность из тех, что неприметно скользят как тараканы на задних планах сомнительных ресторации?

Черт, шея болит после удавки. Они еще и по голове чем-то треснули. Слишком уж сложно напрягать обычно такую ясную память. Все-таки попробуем. Это было письмо, да, именно письмо. Писал один ученый китаец другому ученому же китайцу же. Имена, разумеется, китайские, то есть запоминанию не подлежащие. Допустим, Гун Фы и Лянь Яо.

«Совершенномудрый Лянь! В эти страшные годы забвения Неба, когда все дороги Поднебесной заполонены толпами разбойников, я, безумец, направился на поклонение горе Тайшань. Удача поначалу мне сопутствовала и, невредимый, добрался я до области Лай на краю дубовых рощ Шаньдуна. Уже стемнело, когда я дошел до Заставы горных стрижей. Не залаяли собаки, не выбежали навстречу слуги с факелами. Застава казалась покинутой. Затявкал вдали лис. «Что за страшное место», — подумал я, но холод и туман были непереносимы. Так я прошел ворота и толкнул дверь. За дверью, держа в руке глиняную плошку с коптившим салом, стоял старец, на вид древнее Пэн Цзу. Я приветливо засмеялся, чтобы прогнать его страх. «Кого я вижу!, — сказал я. — Где твой фазаний суп? — ведь я страшно голоден». Старец, увидев, что я один и без оружия, распростерся в поклоне и сказал слабым голосом: «Изволите шутить, благородный, унесли орланы всех фазанов. Угоститесь-ка супом Шань-нуна, как во времена Ся».

Услышав учтивую и иносказательную речь, я полегчал сердцем и прошел за старцем внутрь. Там он усадил меня и поднес, рассыпаясь в извинениях, жидкую ячменную похлебку. Подкрепившись, я спросил у старца его мнение о временах. «Плохо, — ответил тот. — Я не вижу костров из книг, как во времена Цинь». Я был удивлен ответом старца и переспросил его. «Ученики Хань Фэя, — объяснил он мне, — боялись книг и совершенномудрых, потому что знали их силу. Лесные Деревья жгут книги, чтобы растопить очаг, и убивают ученых, чтобы снять с них халат». Задумавшись над словами старца, я начал устраиваться на ночлег. «Не страшно тебе одному среди злых людей?» — спросил я его. «Предоставь петуху быть стражем ночи, а кошке — ловить мышей». Я заснул.

И я тоже заснул. И вспоминал во сне. Сон оборвался от близких шагов. Я приоткрыл глаза, стараясь не выдать себя. Вокруг меня ходил мальчик лет четырнадцати. Телогрейка, бритая голова, мрачный уголовный взгляд исподлобья. Вот так вот. Дети на службе организованной преступности. Весьма

приятно. Не заметив моего пробуждения, мальчик сутуло вышел в дверь и притворил ее. Что ж, сотникам красных кхмеров тоже было по четырнадцать. Лучше уж думать про Китай.

Что там у нас китайцы? Фарфоровые пагоды, девушка с фарфоровым сердцем, фарфоровые улыбки на похоронах родителей. Фарфор, яшма, нефрит, слоновая кость. Слоновая кость. Когда мне было лет так одиннадцать, я вместе с дедом обходил московские музеи и там их увидел. Шарики из слоновой кости. Ажурные шарики, вырезанные один в другом из цельного куска, так, что они могли свободно вращаться относительно друг друга. Неразъемные сферы мира. Не то что матрешки, от которых можно оставить любую, а остальные выбросить, будто их никогда и не было. Не было никого до нас, не будет никого после нас. Играй, Ваня! Почему же этот поручик вспоминал письмо Гун Фы? Конечно, конечно…

«Шум и грубые голоса разбудили меня. Ничего не понимая, я выбежал за камышовую занавеску и увидел заставу захваченной разбойниками. Мой Пэн Цзу лежал мертвый, но рядом с ним валялись тела пятерых разбойников. “Кошка была еще сильна, — подумал я, — но мыши все-таки ее одолели”. Тут меня связали. Предводителя разбойников звали Гяо Гуань. Я плохо понимал речь шаньдунцев, к тому же предметы их разговоров были настолько низменны, а намерения настолько непонятны им самим, что, даже понимая слова, “свет не открывался очам И Шао”. С меня содрали вышитый халат и пояс, раздели донага и бросили на пол. Мне удалось разобрать, что на заре разбойники уйдут, а вечером вернутся, чтобы “поужинать этой падалью”. Гяо Гуань, возможно, не говорил пустых слов. Ходили тогда слухи о съеденных людях».

А сейчас? Случаи были, сам читал в каком-то журнале. Почему бы и нет? Откуда-то, в конце концов, берутся все эти странные на вкус привокзальные шашлыки. Трупу-то зачем пропадать? Холодильника здесь, пожалуй, нет, вот и оставили жить до вечера, чтобы не испортился, а сами поехали договариваться с мангальщиком. В любом случае нужно что-то предпринимать.

Но с такой больной головой ничего не придумаешь. Вздремнуть, вздремнуть хотя бы часок…

«Я лишился чувств и погрузился в успокоительный сон. И тут во сне мне приснились вы, совершенномудрый Лянь-цзы, и наши долгие беседы об искусстве древних даосов. Скованные путами, они засыпали безмятежно и вызывали в себе сны такого содержания: видели они себя тиграми, продирающимися через бамбуковые чащи и вырывающимися на берег реки, или птицей Пэн, взлетающей на девяносто тысяч ли. И, проснувшись, они видели, что путы исчезли или превратились в серебристую паутинку. Тогда я стал видеть сон о полете бабочки в ветвях дерева сый. Вот она угодила в шелковые сети и рвется на свободу. И когда уже пришел охотник, паук, ей удается порвать сети и устремиться к солнцу».

Резкий свисток заставил меня проснуться. Это свистел чайник на кухне. Малолетний бандит баловался чайком. Сколько же я не пил? Я облизал пересохшие губы, и тотчас же холодная испарина покрыла весь лоб. Инстинктивно я потянулся, чтобы вытереть лоб. Мои руки были свободны! Пока я спал, пацан развязал меня. Я начал потирать застывшие руки, такие грязные, почему-то все в липкой паутине. Теперь только разобраться с малолетком, и я свободен! Я прикрыл глаза и отчетливо вспомнил конец письма…

«Сначала будь как невинная девушка — и противник откроет свою дверь. Потом же будь как вырвавшийся заяц — и противник не успеет принять мер к защите». Мудрые слова! Руководствуясь наставлением, я как ни в чем не бывало и ничуть не таясь устремился к камышовой занавеске и раздвинул ее. Чудное зрелище! На полу сидела девушка с чистой, как снег, кожей и алыми, как плод, губами. Она смотрела на меня как дочь, глазами, исполненными почтения. Стараясь не испугать ее, я проскользнул мимо к открытой двери, думая о том, как такая яшма могла родиться в иле среди копошащихся лягушек. Достигнув дверей, я обернулся и спросил, как ее зовут. «Хао Лю», — пропела она как птица, не отводя от меня глаз. Какое

прекрасное имя — Добрый Путь! Я повернулся лицом к дороге и сделал шаг. Но тут горная пчела жгуче укусила меня в спинной стержень. Я пошатнулся, но успел нащупать рукой рукоятку метательного ножа между моих плеч и услышать, как смеется Хао Лю, хотя вряд ли ее звали именно так. Вот и окончились мои дни, совершенномудрый Лянь!

Вот оно — коварство красоты! Мне-то, к счастью, подобный оборот дела не грозит. Чаепитное существо вызывает только желание сдать его обратно, в ту колонию, которая по нему плачет. Я встал на ноги, и тут же головная боль прошла. Как ни странно, вместе с ней исчезло то сродни ясновидению состояние, благодаря которому я с легкостью вспоминал однажды небрежно просмотренный текст. Я подошел к двери и попытался приоткрыть ее, не производя шума. Перекошенная дверь молча поддавалась, хотя по тому, как тяжело шли петли, чувствовалось, что она может заскрипеть в любой момент. Наконец, образовалась достаточно широкая щель, чтобы через нее можно было разглядеть полутемную кухню и бритый затылок паренька, который шумно отхлебывал чай из невидимой кружки. Я отступил от двери и начал оглядывать комнату в поисках какого-нибудь оружия. В углу лежал ржавый от долгого бездействия колун. Я осторожно, на цыпочках, направился к нему. И остановился...

А как же окончилась история поручика? Голова уже не болела, но вспомнить я не мог. Почему-то вспомнить это было крайне важно. Мне даже захотелось прилечь на пол и снова заснуть, в надежде на то, что сон поможет вытащить из подсознания конец этой истории, но тут же понял всю нелепость и рискованность моего желания. Надо было спешить. Черт с ним, с поручиком. Формальное сходство ситуаций, в которых мы очутились, еще ничего не означает. Я взял колун в правую руку и вернулся к двери.

Набравши воздух, как перед нырком, я распахнул дверь и застыл с высоко занесенным колуном, сжатым в обеих руках, будто мужик, приготовившийся к расправе с особо сучковатым поленом. Парнишка повернулся, опрокинув жестяную кружку, которая с грохотом покатилась по полу. На его коленях лежал неуклюжий, обмотанный синей изолентой обрез. Между нами было пять шагов, не больше. Ничего не соображая, мы шагнули друг другу навстречу: он, сжимая в руках обрез, я — с по-прежнему высоко занесенным над головой колуном. Колун неумолимо пошел вниз, пока не остановился с мокрым хрустом. Подросток осел, роняя обрез, но тут же распрямился и вцепился мне в горло тонкими насекомыми руками. Не помню, как я стряхнул его, почему отлетели все пуговицы на его замызганной сорочке, но, когда он уже лежал на полу мертвый, я тупо смотрел на открывшуюся серую кожу, покрытую грязными потеками и рубиновыми брызгами.

Ужас и опьянение первой крови превратили меня в мечущееся животное. Я бросился сперва к двери, затем к окну, хватался за осклизлые углы прокопченной мебели, пока звук затормозившей перед домом машины не отрезвил меня. Подобрав обрез и пачкая руки в крови, я встал у окна. Хлопнула дверца, затем открылся и закрылся багажник. Безумие моментально сменилось спокойствием, а спокойствие — яростной решимостью. Сколько бы Их ни было, подумал я, сколько бы Их ни было, мужчин, женщин, детей, сколько бы Их не было, я буду стрелять в Них из окна, пока не уложу Их всех.

Послышались шаги по дорожке, медленно приближающиеся шаги. Я еще крепче вцепился в липкий обрез и начал почему-то думать о шариках из слоновой кости, о том, как они вложены друг в друга, о том, как они повторяют бесконечно один и тот же ажурный узор. Потом я подумал, что изо всех шариков только два имеют особый смысл — самый первый и самый последний, наружный. Потом я вспомнил, что благодаря особенностям ажурных сфер никто не мог сосчитать, сколько их вложено друг в друга.

Шаги стали совсем близки. И тут я догадался переломить обрез и посмотреть в стволы. Два кружка света, два глаза смерти посмотрели на меня, и я вспомнил, чем кончались дневники поручика.

2000

Барби для Шушанны

Совсем хорошее ружье Иван Степанович дал. Тяжелое, конечно. Конечно, тяжелое, если целый дом своротить может. Сколько денег должно стоить, страшно подумать. Если уйдешь живой, сказал, тоже твое будет. Приеду домой, найду Давида, покажу. Зачем показывать, себе оставлю. Зачем мне деньги, когда такой кусок золота — никогда не видел такой кусок, как кирпич! Приеду домой, пойду к Мкртчу, у которого дядя в Америке, покажу кирпич, скажу, пусть думает, только я должен быть с Шушанной у его дяди. Пусть думает, кем работать. Там тоже стрелять надо бывает. А кто в Арнаци лучший охотник? Мкртч знает, вместе ходили.

Хороший человек Иван Степанович. Я ему сказал, как ты мне веришь! Наверно, следить будешь? А он мне сказал, Айрапет настоящий мужик, зачем проверять? И, конечно, Айрапет маму помнит. Как можно маму не помнить! Приеду домой, самый большой крест поставлю, красивый, из черного камня, самый красивый в Арнаци.

Совсем хорошо отсюда улицу видно. Красивая улица, большая. Астожанка или как-то так. Я по-русски хорошо говорю, но улицы здесь совсем не помню. Не по-русски называются. Вот Ленина улица, Революции улица, это я помню. Иван Степанович сказал, зайдешь, Айрапет, в квартиру на последнем этаже, там дворники живут, скажешь, монтер. На кухню пройдешь, повозишься для виду, никого не будет, вот этим ключом дверку откроешь — и ты на крыше. А в квартире о тебе никто не вспомнит, там их десять семей. Сказал, что эта квартира знаменитая. Сам Сталин там при царе прятался и так на крышу ходил. А как потом уходить, на бумажке нарисовал, показал и бумажку потом сжег. Я сходил, посмотрел, пролезть можно,

правда, голубь, сука, много гадил. Там сумку оставил и Барби рядом посадил.

Совсем все хорошо, если бы не Ричард. Он мне много помогал, когда я приехал. Наших в городе полно, податься некуда. Кто на вокзале, кто в представительстве, а мне никуда нельзя. У меня два розыска, один за Зою, а второй за то, когда в автобус с тюрками на мост стрелять ходили. Ричард тогда меня в ресторане спать оставлял. Нельзя, а он оставлял. Есть давал.

Правда, я работал немного. Ящики с помидорами подносил.

Как мне Ричарда жалко! Такой уважаемый человек был! Умный, Шушанну в шахматы играть учил. Всех наших знал, даже самых-самых. Я, конечно, не мог ему не сказать. Я перед ним сидел, а он стаканы протирал. В баре он чистоту любит. Он весь побелел, а стакан выронил, разбил. Сказал, Бог с тобой, Айрапет, ты понимаешь, что говоришь. Я сказал, нормальное дело.

Понимаешь, чем это пахнет, Айрапет, о людях подумал. Устал я о них думать, когда они сами о себе не думают, собаки люди (а Ричард про Зою знает. И про маму знает). Девочку я должен невестой вырастить, да, над мамой одна земля, зарастет скоро, да. Совсем ты дурак, Айрапет, глупый баран. Сказал, как в сердце плюнул. Но я молчу, я злом за добро не плачу, а слова — они ветер. Тут он успокоился, говорит, Айрапет, если тебе так за маму больно, возьми твое расчудесное ружье, поезжай домой и сходи ночью в Варзлык, все лучше будет. Ричард, я не вор, я обещал. Тут он совсем успокоился. Погоди, пей кофе, мне позвонить надо, человеку обещал. Пил я кофе, и тут тормоза заскрипели, закричали все. В Москве шофер совсем бешеный, на людей не смотрит. А Ричард сильно спешил. Не понял я, зачем он через дорогу в автомат пошел, когда у него в баре телефон есть.

Такой хороший друг, о чем ни попросишь, все сделает. Только с куклой помочь мне не мог. Я самую красивую искал. Все магазины смотрел. Все куклы дрянные. Лица как у б**дей последних. Ни одной, чтобы как принцесса. Как же девочка может без куклы! Что там кукла, у Шушанны трусиков не было. Я у Ричарда сидел, смотрю, девочка у дверей стоит, красавица, чернень-

кая, смуглая. Пусть стоит, может, мама ждать сказала. Но только час прошел, четыре часа, она все стоит. Ричард, ты эту девочку знаешь? Первый раз вижу. Я подошел спросить, посмотрел — стоит, не плачет, глаза куда-то далеко смотрят. Спрашивал — молчит. Так с тех пор ни слова и не сказала. Не похоже, чтобы глухонемая, руками как глухонемые тоже говорить не умеет. И видно, что слышит, стука в дверь боится. Просто очень напуганная. Нашли в кармане платочек, на котором по-нашему вышито «Шушанна».

Жили мы у Ричарда четыре месяца. Уже осень была. Сидел я на ящиках с помидорами у служебного входа. Подходит человек. Я думал, водку ищет. А он спросил, ты Айрапет Арнаци? Я испугался, думал — мент. Григора Кнуянца знаешь? Тут я понял, о другом разговор будет. Конечно, Григор нехороший человек, темный, это все в Арнаци знают, но мне выбирать нельзя, может, работа.

Поехали мы на машине, там еще один человек был. Выехали за город, тут они на меня набросились, глаза завязали, руки. Долго ехали. Привели меня в дом, глаза развязали. Пришел один русский, пожилой, говорит на вы, садитесь Айрапет Варшакович, коньяк пьете? Сели мы, он человек очень решительный, сразу все рассказал. Я молчал, думал. Потом говорю, как я машину узнаю, много их в Москве и все черные. Он заулыбался, такую с другой не спутаешь, к тому же вот вам такая штучка, в ухо вставите, когда будет подъезжать, услышите писк. Я снова молчал, думал. Да, кстати, у вас девочка есть, красивая такая кроха, прямо Гаяне, подарите ей эту куклу. И достает из коробки такую принцессу, как я во сне бы не увидел. Ее зовут Барби, сам ее в Париже купил для внучки. Почему внучка за ней не пришла, Иван Степанович? Он помрачнел, рукой махнул. Понял я — горе у человека, это я знаю, что такое. Понял я, что хороший человек Иван Степанович, сильно обиженный. Кивнул я ему, он повеселел. Снова мне глаза завязали и в Москве выпустили.

Шел я по улице, на куклу смотрел и удивлялся, как она на Зою похожа. Я только тогда сильно сердился, пока ее не убил, а теперь во сне плачу. Зачем она так, все ведь хорошо было. Вахта кончилась, поехали бы в Арнаци, с мамой познакомил. Только странные они, русские, все разом бешеные становятся. Всегда помню, мужики только водку искали, совсем бешеные были. Теперь снова бешеные, только деньги давай. А что деньги? Работай, торгуй, деньги всегда будут. Она на него из-за денег и смотреть стала. Так меня обманывать, как нехорошо. Убил я ее от обиды и в Арнаци поехал. Пусть телеграммы шлют, наш участковый все равно по-русски читать не умеет.

Приехал, сошел с автобуса, пешком пошел. У реки встретил Ашота с вязанкой хвороста, поздоровался, спросил, как мама. Ашот молчит, глаза опустил. Кинулся я в Арнаци, там мне все рассказали. Надел я черную рубаху и с другими парнями пошел на мост, в автобус, который шакалов возит, стрелять. Не везло нам, многих поймали, я через горы на станцию ушел, в Москву поехал.

Как громко в ухе запищало! Высунулся я в окошечко, машина едет. Большая, черная, стрелять легко. Зачем такой хороший охотник Ивану Степановичу был нужен, совсем странно. Сам бы попал. Прицелился я, выстрелил, даже оглох, такое хорошее ружье.

Там, где машина ехала, огненный клубок такой, как нефть на выбросе горит. Другие машины следом ехали, из них люди, люди посыпались, все с автоматами. Я смотреть не стал, пошел, куда сказано было. Пролажу, где голуби нагадили, хотел сумку схватить и Барби. А там стоит Иван Степанович и Барби в руках держит.

Дорогой, зачем пришел, вдвоем бежать труднее. Он шепчет, такая у него одышка, видно, что пожилой, молодец, Айрапет, все хорошо, возьми-ка вот эту записную книжку. Я книжку схватил, открыл, повернулся к нему спиной, чтобы свет на нее падал, начал смотреть. Там много-много фамилий с телефонами и все по-нашему написаны. А потом свет в голове вспыхнул, и я увидел, как Шушанна сидит в облаке света, и держит на руках Барби, и машет мне ручкой, и кричит, Айрапет, хайрик-джан. Но свет быстро погас, и Шушанна с ним, и стало совсем темно навсегда.

2000

Слушая шум

— Это Бомбей, — сказал он.

Компьютер, снабженный распознавателем речи, огорченно звякнул. В сотый раз за нынешний день человек угадал.

Из открытого окна ветер донес обрывок мелодии. Человек недовольно поморщился. Музыка уже давно его раздражала. Она была вертикальна. Ее лестница опиралась на зыбкие глубины отчаяния и уходила в заоблачные дали. Но она не могла сказать ему ничего нового. Весь этот путь он уже сотни раз прошел внутри себя, изучив его вдоль и поперек. Горизонталь — вот что было для него важнее воздуха, которым он дышал.

Началось все с беседы с девушкой, которую звали Тина. Он столкнулся с ней в рэндом-чате популярного портала для полуночников. Завязалась беседа. Видеоканал, как обычно, был отключен. Как правило, минут через пять, максимум через десять, собеседник предлагал включить камеру, и тогда он, под любым благовидным предлогом, начинал прощаться, обещая выйти на связь позже. А потом вносил номер недавнего собеседника в фильтр, в поле «Доступ запрещен».

Эта девушка говорила уже двадцать минут, так и не упомянув о том, что неплохо бы включить видеоканал. Тогда он сам, трепеща от страха, неуверенно спросил:

— Ты не хочешь посмотреть на меня?

Тина засмеялась и сказала:

— Фу, как скучно! Лучше разговаривать, как бабушки и дедушки, вслепую. Это гораздо романтичнее. И эротичнее… — прибавила она и смущенно хихикнула.

Тина жила на большой улице огромного шумного города где-то в экваториальном поясе. По крайней мере, в любое время года окна ее дома были постоянно открыты. А может, в этом доме совсем не было окон.

Иногда в часы пик гудки автомобилей, попавших в уличную пробку, заглушали даже голос Тины, и той приходилось кричать, чтобы были понятны ее слова.

Однажды Тина позвонила рано утром, хотя для него утро было абстрактным понятием — он жил по своему собственному графику. Двадцать четыре часа бодрствования, двенадцать часов сна. В таком ритме живут пещерные тритоны, и он решил, что ему этот ритм подходит.

Еще во время обычного обмена приветствиями и любезностями он почувствовал, как его что-то насторожило. Это не касалось Тины: та была, как всегда, общительна и дружелюбна. Но когда Тина вдруг сказала:

— Как красиво тает снег на оконном стекле! — он воскликнул:

— Так ты не у себя дома!

— Нет, конечно. Я у тети в Монреале. Вот я дура, вечно не с того начинаю. Я же в Канаду на каникулы поехала!

И тут он понял. Разговор, как обычно, происходил на фоне шума большого города. Но это был другой шум. Шум родного города Тины отличался от него температурой. Он был теплым, в то время как этот был холодным, как камень, долго пролежавший под зимним небом.

Закончив болтать с Тиной, он какое-то время в задумчивости молчал. А затем скомандовал компьютеру, чтобы тот начал по очереди соединять его со всеми томящимися по общению с незнакомцем абонентами, номера которых выстроились в столбик под надписью «*Random chat*».

К каждому он обращался от имени вымышленной организации экологов, озабоченных проблемой зашумленности мегаполисов. Он просил назвать место, в котором находится абонент, а затем помочь ему записать минутный образец уличного шума. Тех, кто казался ему достаточно терпеливым и общительным, он также просил ответить на ряд вопросов: какой марки был автомобиль, только что проехавший под окном, к какой

породе относится дерево, листва которого так металлически шуршит под порывами ветра, и какая сегодня погода.

И все это он записывал, снабжая своими комментариями и сохраняя на жестком диске. Вскоре диска стало не хватать, и тогда он начал стирать все лишнее, не заботясь о том, чтобы заархивировать уничтожаемые любимые некогда тексты, музыкальные произведения и звуки, даже записи голосов отца и матери.

Вскоре он расширил область своих изысканий: он тревожил сон мирных сельских жителей, чтобы послушать, как дышит лунная ночь в украинской степи или жаркий полдень в пустынях Аравии. Он подключался к микрофонам, установленным в заповедниках и на морском берегу, для того, чтобы усталые от трансакций брокеры, собирая силы перед очередными торгами, вспоминали о том, что и они тоже дети природы.

Он уже и не помнил, когда спал в последний раз; он погрузился в состояние между явью и сном. Ведь даже когда он дремал, компьютер продолжал воспроизводить добычу дня: скрежет арктических торосов, гомон таиландского плавучего рынка, стальной хруст убийственного ветра, разбивающегося о вершину К-2, шорох волн, накатывающих на безлюдный пляж в Северной Калифорнии.

Вскоре он начал безошибочно угадывать происхождение каждого звука. Ведь хриплый рокот волн Атлантики совсем непохож на бронзовый гул валов Тихого океана, а падение кедровой шишки, колючее и точное, — на удар кокосового ореха о коралловый песок.

Он заставил компьютер играть с ним в угадайку, прокручивая шумовые сэмплы в случайной последовательности. Выиграв сто раз подряд, он понял, что достиг совершенства и что теперь, в очередной раз, ему нужно думать о том, чем бы заполнить свое время — да чем угодно, лишь бы вновь не карабкаться по этой скользкой лестнице, ведущей вверх из пучин отчаяния, срываться и начинать все сначала.

И тут, впервые за долгое время, звонок раздался у него в квартире. Он разрешил соединение. Звонила Тина.

Она плакала. Он молчал. И потому, что ему нечего было сказать, и потому, что он внимательно вслушивался в шум. Шума не было, и это его обеспокоило. Не было даже того географически неопределенного шума, который присутствует в замкнутых помещениях со звукоизоляцией. В этих случаях он не мог сказать, в какой стране и городе находится собеседник, но без труда определял, больница это или офис, завод или кафе.

Внезапно его осенило. Шум был — просто он его не слышал, потому что это был шум его города, возможно даже той же самой улицы, который он, по вполне понятному упущению, не включил в свою картотеку. Тина была где-то совсем близко.

Девушка перестала всхлипывать и сказала:

— Что случилось? Ты не звонил два месяца. Я пыталась звонить тебе, но ты все время с кем-то болтал. Я вся прямо извелась, — и тут она снова заплакала.

Он не сказал ни слова.

Тина всхлипнула и тихо прошептала:

— Я тебя люблю.

И, не дождавшись ответа, твердо повторила:

— Да, я люблю тебя. Я поняла за эти жуткие два месяца. Я никогда не чувствовала себя такой одинокой. А ты даже не хочешь разговаривать со мной… Неужели ты от меня настолько устал?

Он снова промолчал, и тогда Тина выговорила, заикаясь:

— Может, ты думаешь, что я какая-нибудь уродина? Хочешь, я включу камеру, и ты меня увидишь? Я не хуже многих других, честное слово!

Он сказал только одно короткое слово:

— Разъединить! — и адресовано оно было не Тине, а компьютеру.

Затем привычно и заученно приказал внести личный номер Тины в фильтр, ограждающий пользователя от нежелательных звонков.

Он сидел, ощущая, как все его тело покрывается липкой испариной. Он снова был один, как всегда, один. Он снова стоял

у самой первой ступени бесконечной склизкой лестницы, установленной в колодце его души, и готовился к бесконечному и безнадежному подъему.

Ему хотелось биться о стены, кататься по полу, но он не мог. Он не мог даже причинить себе боль. Разве что…

Ухмылка искривила его губы.

— Нью-Мехико, Аламагордо, 16 июля 1945 года, — сказал он. — Громко. Громче! Громче!! Громче!!!

Эту архивную запись он скачал, блуждая где-то по закоулкам сети. Рев потревоженной энергии атомного распада наполнил комнату. Перегруженные мощные колонки хрипели, инфразвук крушил позвоночник, гул раскаленного излучением воздуха вышибал барабанные перепонки.

И вдруг с ним случилось то, чего никогда не случалось раньше: ослепительный свет вспыхнул в его глазах, странных глазах с вертикальными и узкими зрачками. Он зашипел от ужаса перед небывалым и неведомым, приподнял над песком свое длинное, гибкое тело — и тут воздух, превратившийся в летящую со скоростью реактивного самолета бетонную глыбу, ударил его, ломая позвонки и ребра. Неописуемая боль пронзила мозг.

Очнувшись, он понял, что у него и вправду болит все тело. Он был потрясен: не тем, что увидел взрыв — это можно было списать на счет воображения, которое разыгралось, воспользовавшись его переутомлением и депрессией. Он был потрясен тем, что увидел его глазами змеи, а после умер смертью змеи и ощутил это так пронзительно, как ощущают только то, что за неимением лучшего слова называют «реальностью».

Он почувствовал настоятельную потребность проверить, случайность это или же ощущения, подобные тем, которые он только что пережил, можно воспроизводить по своему желанию.

На этот раз он выбрал шум моря, выкатывающегося на пологий песчаный берег где-то в Скандинавии. Долгое время ничего не происходило: только шумели волны, да, слышимые только его сверхчувствительной барабанной перепонкой, потрескивали, лопаясь, пузырьки пены. И вдруг он увидел, как стремительно надвигается на него стальная ребристая поверхность, испещренная гребешками. Ветер засвистел в его перьях, голова закружилась от неожиданности, но он собрал свою волю в кулак и поспешно покинул тело чайки.

Вскоре он развил свое умение до такой степени, на какую и не надеялся: слыша шум улицы, он перемещался в нем по своему усмотрению. Он мог стать не только таксистом, ожесточенно бьющим ладонью по сигналу, или курьером, только что позвонившим в дверь офиса и ждущим, когда секьюрити откроет дверь, или стариком, постукивающим палкой по тротуару, но и сигналом, по которому бил рукой таксист, интрафоном, кнопку которого нажал курьер, и даже асфальтом, по которому постукивала палка старика. И что самое странное — нигде он не чувствовал себя чужаком и пришельцем. Словно все эти предметы и существа были открытыми дверями, в которые он заходил как к себе домой. Словно все они составляли с ним одно целое, а переборки между его Я и реальностью были маревом, наваждением, которое рассыпается от простого усилия воли.

Горизонталь развернулась перед ним во всю свою бесконечную длину: он побывал во всех местах, звуковые отпечатки которых были сохранены у него на жестком диске. Он ощутил себя в теле каждого прохожего, фланирующего по Елисейским полям, выкрикивал таинственные слова вместе с каждым клерком на Гонконгской бирже и даже, даже — снова полюбил музыку, потому что теперь он мог позволить себе быть не только пассивным слушателем, но и певицей, и дирижером, и смычком первой скрипки, и усталым фетром на коснувшейся пластика палочке литавриста.

Вскоре он обнаружил, что вовсе не обязательно ограничивать себя минутной продолжительностью: события продолжали разворачиваться, жизнь идти, и после того, как последний шорох смолкал в динамиках. Теперь он больше не нуждался в подпорках, он мог ходить без костылей записанного звука — все дольше и дольше. Сначала какую-то секунду, затем почти минуту и, наконец, целый час.

А потом случилось еще одно чудо; впрочем, уже даже не чудо — настолько он готов был к чему-то подобному. Он очутился в тех местах, шума которых он никогда не слышал, да и не мог слышать. Он понял, что звук, вопреки школьной физике, распространяется в вакууме. Он слушал, как щелкают горошинками микрометеориты, падающие на поверхность Луны. Нечеловеческий, испускаемый на радиочастотах, рев раненого ящера — рев вихрей Красного Пятна Юпитера, каждый из которых — шириной в тысячу земных шаров. Похожее на мертвенную поступь лемуров и ламий потрескивание атмосферы внешних планет. Он выходил в космос все дальше и дальше.

А как-то раз он в ужасе увидел, что со всех сторон его окружает тьма, — и понял, что стал Солнцем. Ведь именно так должен выглядеть мир для Солнца — это ясно каждому, кто хоть раз смотрел в безлунную ночь за окно ярко освещенной комнаты.

Он упивался новой своей жизнью, когда в дверь позвонили.

Сказать, что он удивился, было бы чудовищным преуменьшением. В его квартире все было оборудовано для того, чтобы он мог существовать без помощи посторонних. Это стоило дорого, но родители его были люди богатые и могли пойти на любые расходы для того, чтобы никогда его больше не видеть.

Нет, конечно же, люди иногда приходили — отремонтировать технику, произвести другие необходимые работы, доставить продукты и прочие нужные вещи — но он всегда вызывал их сам и, всегда, когда это было возможно, не позволял им проходить дальше подсобных помещений. А за год, прошедший от первого разговора с Тиной, он и эти визиты ограничил до минимума. Этот визит был для него полной неожиданностью. И все же он открыл, сам не понимая почему.

Их было двое. От них разило бессонницей, растворимым кофе, застоялым табачным дымом. Они не растерялись, встретившись с ним. Это говорило о том, что люди эти, несмотря на их решительную речь, лишенную сантиментов и околичностей, находились на той самой нижней ступени скользкой лестницы, о существовании которой он давно уже забыл.

Он не сразу понял, о чем они говорят. Судьбы его мира вовсе не висели на волоске: там царило величественное космическое спокойствие. Потом он, наконец, понял, что они говорят о совсем другом мире, о том, в котором ему с рождения было отказано почти во всем, о том мире, из которого они явились.

Судьбы этого мира действительно висели на волоске. Речь шла об одном немолодом человеке с седой бородкой и шрамом над правой бровью. Этого человека похитили, и его нужно было найти. Иначе этот мир погибнет. И вы вместе с ним.

Последнее замечание вызвало у него молчаливую ухмылку. За несколько последних месяцев он заглядывал в тот мир пару раз, и то из чистого любопытства. Он не понимал, как какое-то событие, произошедшее в том мире, могло бы повредить ему.

Они знают, что у него самая большая в мире картотека шумов. Не надо спрашивать, откуда мы знаем. Такая у нас работа. Все, чем мы располагаем, — это минутная запись голоса. Послание, которое его заставили наговорить на пленку.

Он снова ухмыльнулся. Для него это был сущий пустяк.

Не дослушав до конца сбивчивую речь человека с седой бородкой, говорившего что-то о требованиях, о времени, когда истекает ультиматум, он начал диктовать координаты, но, внезапно остановился и попросил прокрутить запись с начала.

Копытце горной серны ударилось о ненадежный камень, который покатился по сыпуну вниз, увлекая за собой десятки других камней. Он посмотрел вокруг глазами серны. С вершины рыжей скалы, похожей на гнилой зуб, несло оружейной смазкой и гарью в стволах гранатометов. Оттуда смотрели десятки внимательных глаз, но смотрели они вовсе не в ту сторону, где стояла серна. С этой стороны они не ждали опасности. Медленно и подробно он начал описывать им козью тропку: от одного искривленного ствола арчи к другому, от красного камня, похожего на голову орла, к черному камню, похожему на лягушку. Они слушали его, затаив дыхание. А потом ушли, так же стремительно, как появились.

Он размышлял: звук — это колебания, но и свет, и радиоволны — это тоже колебания. Если сделать ухо более чувствительным, то можно услышать и их: преодолеть барьер вакуума и оторваться от поверхности планет, продолжив путь в пустоту. Он сосредоточился и стал слушать.

До начала торжественной церемонии оставалось пять минут. Президент еще раз поправил дурацкий галстук. «Когда человечество эволюционирует до состояния информационной плазмы, — подумал он, — официальные лица все равно будут носить галстук — это ли не идиотизм!»

— Итак, начинаем с… — секретарь замялся в поисках нужного слова, — начинаем с него. Затем командующий силами особого назначения, бойцы и офицеры спецслужб, ну и сам виновник переполоха.

Президент неодобрительно посмотрел на секретаря.

— По-моему, ирония не входит в ваши служебные обязанности, Юсуф. Каким бы он ни был, кода он все же не выдал, иначе мы бы с вами беседовали сейчас на том свете, если таковой существует.

Из зала донеслись звуки военного оркестра. Президент и секретарь, проскользнув между портьерами, вышли в зал. Яркий свет заставил их на миг зажмурить глаза.

«Боже мой!» — подумал президент, машинально взяв из рук секретаря коробочку с орденом. Как всякий здоровый мужчина, доживший до пятидесяти, не зная иных недугов, кроме похмелья и насморка, он чувствовал себя крайне неловко в присутствии тех, с кем природа обошлась иначе.

Решительно сделав несколько шагов по дорожке, он склонился над награждаемым с орденом в руке.

— Человечество никогда не забудет своего спасителя, — сказал президент заранее заготовленную фразу и приколол орден к груди орденоносца.

Странная ухмылка гуляла на губах человека с бледным, изможденным лицом. Пена выступила в уголках его рта.

«Он, кажется, смеется, — подумал президент. — Неужели у меня сбился галстук? Господи, какая чушь, он же все равно ничего не видит!»

И, не дожидаясь ответа, президент двинулся дальше, к группе дюжих молодцов в крапчатых беретах. Их неприступные каменные лица показались президенту после лица безумца ласковыми мордочками котят.

— Господин президент, простите за дерзость, но можно мне сказать вам кое-что?

Оторвавшись от беседы с военным министром, президент удивленно поднял глаза. Голос, обратившийся к нему, принадлежал каменноликому молодцу с нашивками старшего сержанта.

— Конечно, конечно, мой герой, говорите!

— Сэр-сахиб, мы благодарны вам за награду, но заслуги нашей в этом никакой нет. Мы шли как роботы по тропе, по приметам, которые нам были даны. И каждый камень лежал на том месте, где он сказал. Мы бы хотели знать, сэр-сахиб, что с этим парнем и можно ли ему хоть чем-то помочь? Как это ни странно звучит, мы чувствуем себя неполноценными рядом с ним.

— Помочь ему ничем нельзя, сержант. Это синдром Ганпати. Вы в то время были еще очень молоды, но, возможно, слышали об этом скандале — это случилось лет двадцать тому назад. Первые успехи работы с полным кодом генома, ген вечной молодости… Милленил произвел сенсацию. Оплатить препарат могли только богатые люди, о побочных эффектах никто не думал. В любом случае, если его родители могли позволить себе курс милленила ценой в пятьсот тысяч динаров, они могут позволить себе и платить за последствия. В любом случае, я дал распоряжение министру социального сектора узнать, нуждается ли он в чем-нибудь. Но какая ужасная судьба! Разве можно чем-то помочь тому, кто лишен всех человеческих радостей?

— Кстати, где он, Юсуф? — спросил президент, обращаясь уже к секретарю.

Секретарь что-то прошептал главе государства на ухо.

Тина смахнула с лица ворох упрямых косичек, которые, несмотря на все ухищрения, постоянно выпадали у нее из-под синевато-зеленой шапочки. Впрочем, нигде в правилах не было написано, что практикантам скорой помощи воспрещаются прически в афро-карибском стиле.

Она не знала, стоит ли спасать жизнь существу, лежавшему перед ней, но врачебный долг потому и называется долгом, что отдавать его надо независимо от того, хочется тебе или не хочется.

Под жарким светом ламп реанимационного отделения капли пота, выступившие на ее шоколадной коже, испарялись, так и не успевая скатиться по лбу.

Она снова вгляделась в это лицо, от рождения лишенное глаз, посмотрела на почти неподвижное туловище, снабженное вместо конечностей чем-то похожим не то на ласты, не то на свиные ушки.

Было ясно, что больной уходит, но (за годы интернатуры Тина не видела такого никогда) лицо умирающего с каждым мгновением принимало все более и более счастливое выражение. И это не было обыкновенная сардоническая гримаса смерти. Это была радость.

И все же, как ее учили, Тина начала повторять заклинание, веками звучавшее у изголовья больного тогда, когда лекарства и приборы оказывались бессильны.

— Не уходи. Оставайся со мной. Ты слышишь меня, слышишь? Не уходи!

Поначалу она произносила эти слова безо всякого чувства, словно автомат, но когда в ответ на них больной вдруг вздрогнул и начал дышать ровнее, она стала вкладывать в них некоторую теплоту.

Брови умирающего, как показалось Тине, удивленно поднялись, словно у человека, внезапно повстречавшего давнего знакомого.

И Тина повторила со всем жаром, на который только была способна:

— Не уходи! Оставайся со мной!

Неожиданно удивление на лице уродца сменилось выражением крайнего ужаса. Все тело его конвульсивно содрогнулось. Тина почувствовала, что тонкая ниточка понимания, возникшая между ними, вот-вот порвется. В отчаянии от собственной беспомощности, девушка попыталась повторить еще раз освященную практикой формулу, но инстинктивно поняла, что этого недостаточно для того, чтобы удержать умирающего, что нужны другие, гораздо более сильные слова — возможно, такие, которых никто и никогда ему не говорил.

Сама не понимая, что с ней происходит, она не сказала, а почти выкрикнула:

— Я люблю тебя.

Он никогда и не предполагал, что его сознание способно одновременно вместить в себя столько всего: планетные системы, галактики, метагалактики и вещи гораздо более огромные, для которых не было названия в человеческом языке. Шум, испускаемый каждой крупицей материи, сливался в многоголосый хор. По мере того, как все новые и новые голоса вливались в него, он звучал сначала как гул, затем как рев, потом словно оркестр архангельских труб, пока не зазвенел потрясающим созвучием без начала и конца, застывшим в вечности безмятежным аккордом, внутренняя соразмерность которого превосходила все, слышанное им до сих пор.

— Как частоты видимого спектра, которые при сложении дают идеальный белый свет, — подумал он.

Отдельные ноты созвучия стремились друг к другу с силой, в сравнении с которой энергия вспышки сверхновой была не более чем огоньком светлячка, каким он видится невооруженным взглядом с Луны. Он понял, что они неумолимо сливаются в одну ослепительную ноту, и, когда это произойдет, он сам и станет этим итогом итогов.

Но за миг до наступления полного слияния в звучании образовалась трещина. Какой-то посторонний, чудовищно слабый, но при этом нестерпимо диссонирующий звук ворвался в гар-

монию его сверхчеловеческого существования. Этот звук тревожил его чем-то, что он давно позабыл, но что когда-то представлялось важным.

Трещина все ширилась и ширилась, округляя свои края, и превратилась в черную воронку на поверхности светоносной сферы, бывшей теперь его сознанием. Воронка росла, как надвигающийся торнадо, и он, наконец, разобрал доносившиеся из нее слова.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

Он понял, что еще немного, и эта воронка вытянет из центра светоносной сферы, словно моллюска из раковины, ту крошечную, беспомощную песчинку, которую он некогда называл своим Я. И вновь низвергнет его на первую ступеньку скользкой лестницы отчаяния.

Тогда он собрал всю свою волю в комок и захлопнул черную дыру, откуда звучал голос, звавший его в бездну.

Из оцепенения Тину вывел голос хохотушки Ван — толстенькой и болтливой китаяночки.

— Не старайся зря, Тини, парень отчалил, — сказала она, показывая коротеньким, пухленьким пальчиком на успокоившиеся зеленые линии на экране прибора.

2000

Кукумария в собственном соку

В жизни каждого человека случаются дни, когда меньше всего хочется повстречать знакомого. Но у художника Камаринского жизнь в последнее время состояла исключительно из таких дней, поскольку складывалась самым отвратительным образом. Поэтому, когда, стоя на остановке троллейбуса, он услышал, как чей-то жизнерадостный голос окликнул его, первым желанием художника было отыскать дверь в то самое четвертое измерение, о существовании которого давно твердят фантасты, и незаметно шмыгнуть в нее.

Но то ли фантасты врут, то ли для того, чтобы отпереть эту дверь, мало одной силы воли, проникнуть в четвертое измерение Камаринскому так и не удалось, и он, недовольно оторвав взгляд от грязного асфальта, огляделся по сторонам.

Обращенные к нему призывы исходили из недр объекта, по всем признакам являвшегося дорогим автомобилем представительского класса, укомплектованного рядом приспособлений, в совокупности своей выполнявших функции родового герба на дворянской карете восемнадцатого века — тонированных стекол, спецсигнала и номерного знака с тем большим триколором, про который остряки говорят «Кремлевская область». Именно из этой кондиционированной берлоги кто-то взывал:

— Савва, черт полосатый, хрен ты мой золоченый, вот уже не думал тебя увидеть!

Камаринский и так с детства привык к тому, что Саввой в этом мире зовут исключительно его, но взывающий, видно решив, что редкого имени самого по себе недостаточно, недвусмысленно уточнил, что обращается именно к Камаринскому:

— Комар, б**дь, да ты че, склерозом, что ли, страдаешь? Это ж я, Чебурашка!

Полузабытые школьные прозвища оказали необоримое воздействие на запылившееся за годы зрелости подсознание Саввы. Он шагнул, словно сомнамбула, в ту сторону, откуда доносился голос.

Бросив осторожный взгляд за приспущенное дверное стекло элитной колесницы, Камаринский различил в полумраке салона пару удивительно крупных человечьих ушей, словно взятых напрокат у детеныша карликового слона. Такая пара ушей в единственной вселенной, известной Камаринскому по личному опыту, могла принадлежать только одному существу, и удивленный художник воскликнул:

— Пашка, ты?

— Да, это я, Пашка-Чебурашка, — радостно отозвался энергичный баритон. — Садись ко мне в танк, тут поговорим.

Все еще не веря своим слуховым и зрительным рецепторам, Камаринский шагнул с тротуара и неловко нырнул головой вперед в темные глубины авто.

С Пашкой-Чебурашкой Савва просидел за одной партой три последних года в средней общеобразовательной школе. Закадычными друзьями они, впрочем, так и не стали, хотя нелюдимому Камаринскому импонировал тот детский, большеглазый восторг, с которым Пашка Нечипоренко всегда на него, Савву, взирал. Тем не менее характеры у них были слишком разные: после школы пути соседей по парте как-то сразу разошлись, и Камаринский ни за что бы не вспомнил однокашника, когда бы не эти эксклюзивные уши.

Притулившись в уголке необъятного кожаного сиденья, Камаринский изумленно смотрел на энергично потиравшего пухлые ручонки незнакомца, голову которого по бокам почему-то украшала пара нечипоренковских ушей.

— Что, изменился? — предупреждая неизбежный вопрос, бойко затараторил похититель ушей. — Ясен перец, двадцать лет и коня не красят. А ты все такой же, одно слово — Комар. Помнишь, ты мне каждый раз ватрушку из школьного завтрака отдавал? Вот она где, эта ватрушка! — и для вящей убедительности он похлопал себя ладошкой по значительному животику.

— Тебя подвести-то куда? Мне как раз целый час делать нечего.

Осторожно покосившись на шоферский затылок, Савва назвал адрес.

— Вот те на, все так же с мамой живешь? — воскликнул Павел.

— Мама умерла, — равнодушно уточнил Савва.

— Прости, старик, прости, не знал! — мимоходом опечалился Нечипоренко. — Что тебе сказать? Все там будем! А ты как поживаешь? Все карандашом орудуешь, Кукрыникс?

Камаринский кивнул.

— Завидую, завидую! Высокое искусство! Я так и знал, я же в тебя всегда верил! Где мне до тебя — все бабки, бумажки, людишки: не поверишь, даже книжку почитать некогда! Я тебе всегда завидовал, да и сейчас завидую. Так рисовать! Я до сих пор в области живописи ничего мохначе подписи не освоил.

— Твоя подпись, поди, дороже ста моих картин стоит, — неожиданно для себя схамил Камаринский.

— Ну да, стоит, — радостно согласился Нечипоренко, — и что с того? Разве ж это искусство? А вот в твоих картинах всегда было что-то такое… — Пашка щелкнул пальцами, разъясняя уникальность дара Камаринского. — Какое-то четвертое измерение, что ли…

Эти слова заставили Савву насторожиться, несмотря на то, что он и сам недавно думал о четвертом измерении (а вернее, именно поэтому), выражение это в устах Нечипоренко утратило свою банальность: произнесенное вслух оно обдавало каким-то нездешним холодком (хотя, возможно, это был всего лишь побочный эффект работы кондиционера).

— Помню, я попросил тебя Наташку голую нарисовать — и ты так классно нарисовал. Я эту картинку долго хранил, только два года назад потерял, когда из офиса в офис переезжали. И вот что интересно — ты же Наташку голой ни разу не видел,

а все оказалось именно так, как ты нарисовал, даже родинки все на нужных местах. Я потом, уже после школы, проверил. Одно слово — четвертое измерение!

— Так ты сейчас с Наташкой? — пытаясь отвлечься от неприятных ощущений, спросил Камаринский.

— Ну что ты, что ты, — смущенно хихикнул Нечипоренко. — Столько воды утекло! С Наташкой у нас как-то не сложилось. А потом еще много с кем не сложилось. Но сейчас я опять женат. На итальянке, — для пущей убедительности разъяснил он.

— Ну и как итальянки? — вежливо поинтересовался Камаринский.

— Тоже стервы. Про тебя и не спрашиваю — богема! Поклонницы, натурщицы и так далее…

Камаринский хмыкнул.

— Ты не поверишь, Комар, а я о тебе часто вспоминал. Даже искать пару раз собирался, да только меня долго по свету носило, а как снова в Москве оказался, все руки не доходили. И представляешь, только вчера подумал: «Ну все, пора Комара отыскать, вспомнить школьные годы далекие!», и тут такая встреча!

Машина тем временем подкатила к до боли родному для Камаринского подъезду.

— Жаль, вот так встретишься, и уже расставаться! — с неподдельным, как показалось Савве, огорчением вздохнул Пашка, шарясь в нагрудном кармане, — вероятно, в поисках визитки.

Поиски были прерваны темой из сороковой симфонии Моцарта в посредственном исполнении нечипоренковского мобильного телефона.

Коротко переговорив с невидимым собеседником, Нечипоренко повернулся к Камаринскому и вскричал:

— Класс! Они в пробке застряли. Брифинг на полчаса откладывается. Давай к тебе поднимемся, еще побазарим.

И Пашка посмотрел на Савву так же большеглазо и восторженно, как двадцать лет назад на уроках рисования.

В груди художника всю дорогу до дома зрела та особая ненависть, которую в определенный исторический период было

принято именовать «классовой», и хотя Савве меньше всего хотелось предстать перед Нечипоренко в роли негритянского мальчика с советского плаката «Два мира — два детства», эта самая классовая ненависть заставила его гневно, но согласно кивнуть головой.

Нечипоренко и Камаринский поднялись по пропахшей кошачьей мочой лестнице на второй этаж и вошли в обычную московскую хрущевку, направившись, в соответствии с присущим обитателям Евразии рефлексом, из прихожей прямиком на кухню. Кругом пахло кошками, долгим отсутствием ремонта и затхлой жизнью, сонно грезившей о светлом советском прошлом. Нечипоренко извлек из кармана странную бутылку с пробкой в форме головы крокодила и смущенно поставил ее на стол.

— Вот, товарищи из одной африканской страны вчера подарили. Прихватил в машине, другого ничего не было, — извиняясь, объяснил он.

Камаринский отыскал два стакана, в которых еще не разводили краску, и поставил их на стол. Налили. Выпили. Савва никогда в жизни не пробовал тухлого крокодила, но мог бы побожиться, что при изготовлении африканского напитка, несомненно, использовался именно этот компонент.

— Гм, — сказал Павел, переведя дух. — Слушай, ты уж не обижайся, это, конечно, с моей стороны наглость, но… картины-то твои можно посмотреть?

— Да смотри на здоровье, — пожал плечами Савва. — Вон в той комнате, — добавил он, сделав рукой неопределенный жест.

Смущенно улыбаясь, Павел встал и вышел с кухни.

Камаринский злобно посмотрел на бутыль крокодиловки, налил себе полный стакан и жадно всосал тошнотворную жидкость. Поборов отчаянным усилием воли рвотный рефлекс, художник стал напряженно ждать возвращения гостя.

Ждать пришлось не слишком долго. Буквально через пять минут Нечипоренко снова появился на кухне. Лицо его по-прежнему выражало что-то фундаментально детское,

но на этот раз с примесью изумленной обиды, как будто пообещали подарить мячик и не подарили.

— Ничего не понимаю! — воскликнул он озабоченно. — Ты че, Комар, сочиняешь? Нет там никаких картин, одни плакаты!

— Это все, что есть, — процедил Камаринский.

— Как все? Это же просто реклама, макулатура, я такую каждый день заказываю в агентстве. А где твои картины?

— Это все, что у меня есть, — повторил художник.

Терзавшая его классовая ненависть, вступив в контакт с продуктами разложения аллигатора, вскипала и подкатывала к горлу тяжелой волной.

— Один плакат я, правда, на улице видел, — попытался разрядить обстановку Нечипоренко. — Он месяца три назад на щитах повсюду висел.

— Это самый лучший заказ был, — сообщил Савва. — Единственный раз подфартило, сразу все долги отдал и даже денег немного отложил. Пацаны молодые все на компьютерах быстро ваяют, а я руками рисую. Долго, и потом еще сканировать нужно. Так что моя стихия — вывески для магазинов и листовки из серии «как похудеть вместе с артистами».

— Да ты погоди, — засуетился Пашка, — у тебя что, с лаве такой напряг жестокий? Бабки, конечно, всем нужны, но ведь всех денег не заработаешь. Сшиб немного бабулек и твори себе! Да и сколько тебе надо, холостяку бездетному?

— Много, — с неожиданной твердостью в голосе сказал Камаринский.

Нечипоренко посмотрел на собутыльника взглядом, в котором впервые кроме детского восторга можно было прочесть какой-то трудно поддающийся определению интерес.

— Зачем? — не менее твердо спросил он.

— Дом у моря мне нужен. Там я рисовать, наконец, начну. То, что всегда рисовать хотел. Волны, чаек и корабли.

— Волны, чаек и корабли? — переспросил Нечипоренко.

По-прежнему не сводя глаз с художника, он сел за стол, налил себе стакан крокодиловки и выпил его с нечеловеческой

легкостью. В замутненной зельем сетчатке Камаринского Павел предстал на миг дородным крокодилом с большими ушами — так могло бы выглядеть дитя любви двух широко известных персонажей одного советского мультсериала.

— Но это все мечты, — сказал Камаринский. — Я таких денег и за сто лет не заработаю.

— Хочешь, за неделю заработаешь? — спросил Нечипоренко.

— Убить кого-то? — спросил Камаринский, понимая, что несет полную чушь.

Но Нечипоренко даже не рассмеялся.

— Кого ты можешь убить, Комар? Ты — художник, вот я к тебе как художник к художнику и обращаюсь. Заказ хочу предложить.

— Картину краденую замазать? — спросил Камаринский, ощущая себя персонажем идиотского боевика, сценарий которого написали два чудом доживших до зрелых лет гидроцефала.

— Нет, — сказал Пашка. — Нарисуй мне этикетку для консервной банки. С волнами, чайкой и кораблем.

— За миллион рублей?

— За миллион американских долларов и в придачу дом на берегу моря. В Италии. Это жены, он ей от дяди достался. Мне он не нужен, я все равно продавать собирался.

— Почему? — спросил окончательно капитулировавший перед невероятностью происходящего художник.

— Слишком красиво там, — объяснил Пашка, налил себе в стакан еще одну дозу крокодиловки и выпил.

— На одеколон чем-то похоже, — констатировал он.

— А ты что, пробовал? — ни к селу ни к городу полюбопытствовал Камаринский.

— На зоне, — кратко разъяснил Нечипоренко, и художник не стал углублять скользкую тему.

После этого некоторое время оба молчали.

— Консервы? — нарушил молчание Савва.

— Консервы, — сказал Пашка. — Кукумария в собственном соку.

— Кукумария? — вопросительно икнул Камаринский.

— В собственном соку, — уточнил Нечипоренко. — Такое говно в море живет — не то рыба, не то червь. Из него и консервы. Срока даю три дня и три ночи. А сколько заплачу, ты уже слышал.

— Но почему? — тупо спросил Савва.

Последние полчаса он терзался сомнениями: а не открыл ли он все-таки ненароком дверь в то самое четвертое измерение и не попал ли в некую опасную параллельную реальность.

— По кочану, — положил конец его сомнениям Пашка. — Потому что я так решил. Это же все равно ненужные деньги.

— Ненужные?

— Ненужные. Не отдам их тебе, отдам за визу на бумажке какой-нибудь тухлой думской крысе. Бабло это так и так списать надо — вот на этикетку и спишем. А дом — это уж от меня лично. Другу детства.

— Но почему кукумария? — тщился понять хоть что-то Савва.

Нечипоренко посмотрел на Камаринского настороженным взглядом, которого художник никогда не замечал у того, прежнего Нечипоренко. Взгляд был такой, будто этот Нечипоренко и сам пришел в данный мир из какого-то параллельного, в котором на подобные вопросы отвечать не полагается. Но довольно быстро глаза Пашки приняли обычное глуповато-восторженное выражение, и он разъяснил:

— Эту кукумарию вообще-то жрать нельзя. Ее даже китайцы не едят. Но при совке рыбаки ее ловили, потому что тогда был план. Никто ее не покупал, вот она на складах и залеживалась. Миллионы банок скопились. Я их и купил, сколько было. Черножопые-то, они все схавают.

— Черножопые? Какие черножопые?

— Ну, негры. Которые в этой, в Африке голодают, — и Нечипоренко похлопал себя пухлой ладошкой по животику, чтобы показать, как негры голодают.

Мотнув головой, Камаринский отогнал нехорошее видение едящих кукумарию негров и спросил:

— А этикетка зачем? На банках, наверное, одна уже есть…

— Ну, во-первых, — уточнил Нечипоренко, — там должно быть по-английски написано. Такие требования. А во-вторых, со сроком годности проблемы — лет уже семь назад как весь вышел.

— Так ты что, негров травить, что ли, собрался? — спросил Савва, без особого, впрочем, возмущения.

— Да что тебе эти негры так дались? Насрать мне на них. Все намного круче. Ты сообрази, каждый год гуманитарные организации закупают кучу всякой хавки для голодающих мартышек. Это огромные деньги, просто огромные. Под эту музыку каждый норовит всякую лабуду спихнуть. Если уметь, то можно остальных подвинуть и впарить свою тухлятину по той цене, которую сам поставишь. Ну, понятное дело, всем отстегивать приходится — за сертификаты, за экспертизу, за то, чтобы тендер выиграть. Каждому насекомому — и отечественному, и импортному — на лапку положи. Ментам, таможне, спецслужбам, депутатам, бюрократам. Я же тебе говорю — огромные деньги. Так что твоя этикетка в этом море бабок — как рыбкины слезки. Зато у тебя мечта всей жизни сбудется. Бабки-то эти, подчеркиваю, не-нуж-ные.

— А разве бывают такие? — изумился Савва, в стремлении осуществить свою утопию давно уже глубоко погрязший в грехе скаредности.

— Только такие и имеют значение! — отрезал Пашка. — Их в мире давно уже больше, чем нужных. И чтобы они жили, на них должны постоянно покупаться ненужные вещи. Нужные давно уже все куплены на нужные деньги. На них ни хера не заработаешь. Другое дело, вещи ненужные.

— Почему? — упорствовал, продолжая цепляться за утлую соломинку скепсиса, Камаринский.

— Потому что ненужных вещей, в отличие от нужных, можно выдумать сколько угодно. И только от тебя зависит, чтобы твои ненужные вещи купили за ненужные деньги. Вот твое искусство — типичная ненужная вещь. Не карбамид, не алюми-

ниевый прокат, даже не кукумария в собственном соку. И тем не менее ты его сегодня продал. Потому что встретил человека, у которого есть ненужные деньги.

На этих словах Нечипоренко поднял указательный палец к потолку с такой властной убедительностью, что Савва против собственной воли посмотрел в точку на потолке, которую пересекала исходящая из пальца незримая прямая.

— А контракт? — тупо спросил он, понимая всю тщетность своих усилий придать свалившемуся на его голову приключению хотя бы видимость обычных деловых переговоров.

— Считай, что контрактом между нами будет то, что ты нарисуешь, — предложил Нечипоренко.

После этого школьные друзья по старинному русскому обычаю о делах уже не говорили, а просто пили — много и бестолково. Стойкий привкус аллигатора во рту Камаринский попытался смыть содержимым откупоренной бутылки водки, найденной в морозильнике под заторами ископаемых сосисок, но Нечипоренко позвонил по мобильному телефону своему шоферу, и тот появился на пороге с еще одной бутылкой крокодиловой настойки. Телефон звонил все время, призывая Нечипоренко к великим делам, пока тот не угомонил навязчивое устройство, заточив внутри морозильника. Камаринский пытался понять, что говорит Нечипоренко, но все слова сливались в бульканье, словно это были вовсе не слова, а лопающиеся пузыри какого-то газа.

Утром, несмотря на пережитую вакханалию, Камаринский проснулся с подозрительно легкой головой — легкой, возможно, потому, что она не была особенно обременена воспоминаниями о случившемся. Только визитка Нечипоренко, искрившаяся золотым тиснением на загаженном столе, да легкое послевкусие, вызванное пребыванием экстракта из заморского гада в желудочно-кишечном тракте художника, свидетельствовали о том, что выбраться из параллельной реальности в ходе тревожного пятичасового пьяного сна так и не удалось.

Камаринский хотел, как и положено творческой личности несколько дней поразмышлять над тем, как ему дальше строить свою жизнь и не пойти ли ему, в частности, на службу в приличную рекламную контору, вместо того, чтобы изображать гусара-одиночку, но звонок телефона положил быстрый предел этим бесплодным интеллигентским умствованиям.

— Ну че, Комар! — прогудел в трубке свежий, как холодный огуречный лосьон, голос Пашки-Чебурашки. — Помнишь про кукумарию? Отсчет пошел! Не подведи!

Камаринский сидел в кабинете Нечипоренко. За головой хозяина кабинета на стене висел большой черно-белый плакат, на котором костлявые смуглые руки тянулись за распределяемыми сдобным белобрысым ангелом гуманитарными харчами. Ангел, отличавшийся холеным, откормленным телом и глуповатым взглядом больших голубых глаз, был чем-то неуловимо похож на Нечипоренко. Камаринский размышлял, имел ли при создании данного плаката место прямой социальный заказ, или же автор чутьем творца случайно уловил тайную сущность, общую для ангелов данной категории.

На столе между продавцом ненужных вещей и их покупателем лежал эскиз этикетки для консервов «Кукумария в собственном соку». Внешне это был обыкновенный эскиз обыкновенной этикетки — название, состав, килокалории и прочая чепуховина, понаписанная вокруг картинки в овальной рамке, на которой одинокая чайка парила над борющейся с волнами рыбацкой шхуной.

— Отлично, просто Айвазовский! — восклицал Нечипоренко, разглядывая эскиз. — Даже лучше, чем Айвазовский — Камаринский! Впрочем, это не имеет никакого значения. Ты сам знаешь, как я уважаю твой талант, но даже если бы ты рисовал как курица лапой, я тебе все равно бы заплатил, так как Пашка за базар всегда отвечает. Вот, держи!

С этими словами он протянул художнику прозрачную папку с белой кнопочкой. Сквозь молочную шкурку папки виднелось

содержимое — чеки, банковские бумаги, какие-то документы с планами строений, скрепленные опереточными печатями, а также связка ключей.

Камаринский осторожно взял папку, искоса посмотрел на ангела на плакате, затем на свои тощие, загорелые руки, и сказал:

— Так не бывает!

— Бывает, бывает! — заверил художника Пашка, не сводя с него по-детски восторженного взгляда. — Я сам читал: один кент в Штатах рисовал всю жизнь консервные банки и тоже лимон срубил.

— Так он те банки рисовал, которые уже были, — возразил Савва, удивляясь неожиданной эрудированности в области истории современного искусства, проявленной Нечипоренко.

— И че? Он рисовал те, которые были, а ты — те, которые будут. Это же на порядок круче! Так что не теряй времени, советую я тебе, и вали в Европу. — Решишь дела с банком и сразу к морю! Место тихое, так что никто тебе там не помешает — твори на здоровье.

— А ты?

— А что я? Тебе высокое искусство, поиски четвертого измерения, а мне мой собственный геморрой — людишки, бумажки. Ты меня, кстати, не вздумай искать: меня сейчас трудно найти будет. Мне еще с этой кукумарией головняка хватит. В таком деле, сам понимаешь, без накладок невозможно. На ненужные деньги спрос очень большой. Башку могут запросто свернуть, если с кем надо не поделишься. А ровно через год, когда я всю схему отработаю, сам к тебе приеду. Вот в этот самый день ты меня и жди. Выпьем водки с видом на море, ты мне картинки свои покажешь.

Натужно улыбнувшись, Камаринский сделал шаг к двери, но остановился и вновь повернулся к Нечипоренко.

— Что такое? — удивился Пашка, поднимая домиком белесые, как пух цыпленка-альбиноса, брови.

— Не знаю… — промямлил художник. — Можешь, конечно, смеяться, но я над этим эскизом совсем не так работал, как над обычной халтурой. Истово как-то, по-нехорошему истово. Что-то в этом было такое… странное. Как будто кровью своей я эту кукумарию рисовал. Нарисовал, смотрю — думаю: ну, чушь полная, и в то же время внутри — пустота какая-то. Так ведь часто бывает: выбросишь какую-нибудь вещь, потому что не нужна, а потом жалеть начинаешь.

— Вот, я же тебе это и говорил, — торжествующе воскликнул Нечипоренко. — Отдал то, что тебе не нужно, получил то, что мне не нужно, и всем клево. Ненужное стало нужным!

— Да, да, ты, конечно, прав, — сказал Камаринский. — Даже не знаю, как тебя отблагодарить.

— А ты никогда никого не благодари ни за что, — сказал Нечипоренко. — Особенно меня.

Стоя у высокого окна второго этажа, Камаринский восторженно пожирал глазами синевато-стальное море в соленой дымке, склоны гор, усеянные темно-зелеными шапками олив, словно присыпанных серебристой перхотью, вившуюся внизу серой бархатной лентой дорогу. Последняя неделя походила на какую-то суматошную сказку: перелеты, границы, встречи с совершенно незнакомыми, но подчеркнуто вежливыми людьми, закупки всякой всячины в шумном портовом городе и доставка этой всякой всячины в виллу, стоявшую среди кипарисов на горном склоне.

Когда крикливые, смуглые южане разгрузили на лужайке перед виллой тяжелые ящики и, перекурив, уехали восвояси, наступили долгожданные одиночество и тишина. Но покой наступил не сразу: целую неделю Камаринский перетаскивал в дом на своем горбу коробки с едой и напитками, стиральным порошком и посудой, краски, растворитель, холсты, подрамники и прочие необходимые вещи. Всего этого должно было хватить ровно на год: Камаринский принципиально решил не поддерживать никаких связей с миром.

Очутившись на вилле, он первым делом выдернул из розетки телефонный аппарат, собрал все имевшиеся в доме телеви-

зоры и радиоприемники, отнес эти говорящие ящики в подвал и запер на замок, ключ же швырнул в морские волны. Вернувшись на виллу, Камаринский метким ударом молотка ослепил установленную на воротах видеокамеру, а затем привел в негодность устройство, автоматически открывающее эти ворота.

Но вот все припасы были перенесены в дом и разложены по местам, гостиная на первом этаже превращена в уютную студию, и наступило долгожданное первое утро свободы. «На свете счастья нет — но есть покой и деньги», — мысленно продекламировал художник и, что-то напевая вполголоса, спустился в гостиную. Там он боязливо покосился на мольберт и тюбики с красками: за долгие годы, отданные коммерческой графике, Савва ни разу не прикасался к возвышенному маслу. Поэтому начать решил с чего-нибудь попроще. Закнопив на планшете лист дорогой шероховатой бумаги, он взял в руки не менее дорогой немецкий карандаш и задумчиво провел первую линию.

Вскоре Камаринский уже упоенно творил, не замечая, как течет время и, в сущности, не очень понимая, что он такое рисует. Ему доставлял наслаждение сам процесс рисования: каждый штрих, каждый вкрадчивый шорох, который производил грифель, касаясь бумаги. Очнулся он только тогда, когда, решив заточить в очередной раз карандаш, увидел, что затачивать, в общем-то, уже нечего — в руке его был зажат огрызок не длиннее сигаретного фильтра.

Выйдя из творческого экстаза, он впервые увидел свой рисунок в целом и удивился: глазам его предстала картинка, которую он явно уже когда-то видел — борющаяся с волнами шхуна, над которой парит одинокая чайка. Вся композиция была заключена в овальную рамку.

Уразумев, наконец, в чем дело, Камаринский хлопнул себя по лбу, деланно рассмеялся и произнес вслух:

— Надо же, привязалась, кукумария чертова!

Тем не менее художник решил не сдаваться. Времени до наступления темноты оставалось еще полным-полно, и он ничуть не устал. Есть совсем не хотелось, хотелось только промочить

горло: художник приподнял крышку огромного сундука, обтянутого чешуйчатой кожей, и извлек оттуда бутылку с головой крокодила вместо пробки. Это был прощальный подарок Нечипоренко: на квартиру Саввы его доставил все тот же неразговорчивый шофер в компании двух дюжих молодцев, которым, судя по их виду, привычнее было таскать трупы, чем сундуки.

Огненная жидкость ошпарила пищевод, но зато мысли Камаринского тут же прояснились: посмотрев на море, колючее и искрящиеся, словно лист голубого металла, художник принял решение: творить свой шедевр он начнет в акварели.

С новыми силами Савва окунулся в работу, стараясь не вспоминать о первой неудаче. Он рисовал широкими импрессионистскими мазками, беспощадно пользуясь размывкой, чтобы уничтожить в рисунке малейший намек на конкретность, но после пары часов работы, отойдя от планшета, чтобы взять новую пачку сигарет, он увидел, что, несмотря на принятые предосторожности, предательская кукумария вновь проступала на листе во всей своей вызывающей банальности.

Это было уже скорее страшно, чем смешно. У Саввы возникло сильное желание уничтожить мерзкую картину, но выработанная долгими годами халтуры привычка ничего не выбрасывать, чтобы при возможности всучить следующему заказчику, взяла верх.

Раздосадованный художник жадно припал к спасительной бутылке и решил, что нужно хорошенько выспаться, чтобы назавтра вновь взяться за кисть. Но выспаться так и не удалось — Камаринский, ужаленный очередным кошмаром, вскакивал с постели, бродил по комнатам в одних трусах, курил, прикладывался к бутылке и снова пытался заснуть. Уже под утро он увидел в окно, как из-за кипарисов, похожих на оплывшие свечи из черного воска, выплывает нереально огромная луна, разматывая на стеклянной глади моря полосу серебряной фольги, и начал что-то лихорадочно карябать гелевой ручкой на листе писчей бумаги.

Проснулся он уже за полдень, совершенно измученный и не выспавшийся, и увидел зажатый в кулаке листок все с тем же

дурацким сюжетом, единственное отличие которого заключалось в том, что на этот раз дело явно происходило ночью. Камаринскому захотелось немедленно позвонить Нечипоренко и сказать ему, чтобы тот подавился своим миллионом и виллой в придачу, но он тут же ужаснулся столь дерзкой мысли, да и к тому же вспомнил, что телефон заперт в подвале, а ключа нет.

Но после первого же глотка крокодиловой водки уныние, охватившее его душу, сменилось лихорадочным возбуждением. Порывшись в ящиках на кухне, Камаринский нашел моток черной изоленты и с глумливой улыбкой направился к дверям гостиной. Там он водрузил подрамник с натянутым холстом на мольберт, приготовил кисти, краски и все необходимое, а затем принялся тщательно заматывать изолентой глаза, навивая вокруг головы слой за слоем.

На ощупь Камаринский отыскал в стаканчике подходящую кисть, поелозил ей по палитре и приступил к делу.

Но, когда через пару часов он сорвал изоленту вместе с ресницами и частью волос и посмотрел на холст, из горла его вырвался сдавленный крик, — и вовсе не от боли, причиненной столь первобытным методом эпиляции.

Небо над морем и сушей было окрашено в те неповторимые цвета, на которые способна только странная южная осень, которая и не осень вовсе, а лишь каприз ненадолго обессилевшего после очередного оргазма лета. Воздух был таким теплым, что о времени года можно было догадаться исключительно по металлическому блеску взъерошенного крепчавшим бризом моря, а еще — по сырому похотливому запаху субтропической прели, непохожему на грибную затхлость умеренных широт.

К воротам стоявшей на уступе каменистого склона элегантной виллы подкатил автомобиль, из которого вышел полный мужчина средних лет с необычайно большими ушами. Мужчина посмотрел на часы: времени было около шести часов вечера, южные сумерки стремительно сгущались, но, несмотря

на это, в темных окнах виллы не вспыхнуло ни огонька. Гостей явно не ждали: тем не менее мужчина нажал на кнопку видеофона. Никто не отозвался ни после первой, ни после второй и третьей попытки. Тогда гость, тяжело кряхтя, принялся взбираться на окружавшую виллу высокую ограду.

— Б**дь, что с ним такое? — пробормотал он, тяжело поднявшись с четверенек по другую сторону ограды. — Нажрался, что ли, и спит?

Быстрым шагом преодолев лужайку перед домом, незнакомец очутился на веранде. Поверженные ветром плетеные стулья валялись на полу; на единственном, устоявшим под натиском стихии, лежала телефонная книга. Ветер отчаянно трепал ее страницы, словно пытался найти какой-то номер, не позвонив по которому, лететь дальше было никак нельзя.

Подойдя к двери, гость негромко постучал в нее, подождал с минуту, а затем рванул ручку на себя. Дверь не была заперта. Из темного параллелепипеда дверного проема в лицо пришедшему дохнуло такой отвратительной вонью, что он невольно отшатнулся и отступил от двери на шаг.

— Что за фигня! — пробормотал он, заткнул нос, решительно вошел внутрь и очутился в просторной гостиной, где, судя по всему, давно уже никто не прибирался. Споткнувшись обо что-то твердое, он выругался, поднял с пола помешавший предмет и в последних отблесках сумерек увидел бутылку с пробкой в виде головы крокодила. Присмотревшись, он заметил, что на полу валяется много таких пустых бутылок и еще несколько початых стоят на столе. Рядом с бутылками стеклянно поблескивал еще какой-то предмет. Протянув к нему руку, визитер обнаружил, что это — электрический фонарик. Он надавил на кнопку, и тотчас же вспыхнул тусклый свет — батарейки в фонарике были почти разряжены.

Обведя мерцающим лучом гостиную, человек удивленно причмокнул языком: все стены, потолок, а местами даже и пол, были покрыты картинами — вернее, одной-единственной картиной, многократно повторенной в масле, гуаши, темпере,

угле, карандаше, акварели. Казалось, создатель этого странного вернисажа задался целью воспроизвести один и тот же сюжет во всех существующих техниках. Параллельно с техниками исследовались и стилистические приемы всех эпох — от Древнего Египта до современности. При всем безумии замысла в нем угадывалась какая-то логика: картины были развешаны на стенах аккуратно и явно в определенной последовательности.

Впрочем, посетитель изучал картины недолго: вонь кругом стояла просто невыносимая. Натыкаясь на свернутые в трубки холсты и штабеля подрамников, он добежал до окна, поспешно распахнул тяжелые ставни и стал жадно глотать ртом живительную свежесть. Его несколько раз вырвало. Утерев рукавом пиджака выступивший на лбу холодный пот, он оттолкнулся руками от подоконника, повернулся спиной к окну и сразу увидел установленный посередине гостиной мольберт, который почему-то не заметил вначале.

Он подошел ближе: перед мольбертом на табуретке стоял тазик, вокруг которого в расположенных по кругу плошках виднелись свечные огарки. На холсте, стоявшем на мольберте, был представлен все тот сюжет, но на этот раз художник использовал для работы какую-то необычную краску — темно-бурую, с коричневатым сухим отблеском, — отчего банальная морская сценка, изображенная на холсте, приобрела несколько инфернальный оттенок. Гость осторожно провел пальцем по картине: бурая краска легко осыпалась чешуйками под его прикосновением. Засохшая лужица такой же краски заполняла тазик, еще большее ее количество растеклось пятном неправильной формы на полу.

Он оглянулся: за спиной виднелась лестница на второй этаж. Первой мыслью его было подняться по лестнице, на мраморных ступеньках которой отчетливо отпечатались бурые следы босых ног, но он понял, что это лишнее, поскольку ему уже стало ясно, что он там увидит.

— Вот блин дела, — прошептал он. — Валить надо отсюда, и быстро.

Фонарик мигнул в последний раз и погас. Гость чертыхнулся и начал на ощупь пробираться к дверям, но, сделав несколько шагов, остановился. Картина не отпускала его, непонятно почему он ощущал настоятельную потребность еще раз посмотреть перед уходом. К счастью, вокруг было уже не так темно: через распахнутое окно в комнату лилось сияние только что показавшейся из-за олеандров луны.

При новом взгляде картина стала выглядеть еще инфернальней: от черного потрескавшегося изображения явственно тянуло мертвящим холодком, словно ветер, кативший пенные валы на картине, был не просто зрительной иллюзией, но настоящим ветром, свиставшим из черной дыры, прорезанной в испоганенном холсте, и от прикосновения этого ветра волосы становились дыбом, а по спине бежали неприятные мурашки. Более того: с каждым мигом становилось все более и более ясно, что чайка, море и корабль, в сущности, не были ни тем, ни другим и не третьим. Для предметов, изображенных на картине, в земном мышлении отсутствовали соответствующие понятия, поэтому обычный зритель не увидел бы в ней ничего, кроме банальной морской сценки, а странности картины объяснил бы болезненным воображением живописца.

Но посетитель виллы отреагировал на то, что увидел, совсем иначе: он склонился к холсту, подчиняясь внезапному порыву, лизнул его влажным языком и ощутил солоновато-сладкий металлический вкус.

— Кажется, получилось! — пробормотал он, еще не вполне понимая, к чему бы он это сказал. Но стоило ему произнести эти слова, как немыслимая и нездешняя тоска сдавила его грудь и все тут же разъяснилось в его сознании. Те воспоминания, которые до поры до времени ему было запрещено иметь и которые проблескивали в его памяти только отрывками, смущавшими его самого, особенно тем, что он зачастую поступал в соответствии с увиденным и услышанным в эти краткие миги, вырвались из-под спуда, и заставили его полностью осознать, кто он такой на самом деле почему очутился на этой вилле,

и зачем стоит перед этой картиной. Вся его жизнь, которая прежде представлялась ему, как и большинству людей, случайной цепочкой событий, внезапно приобрела отчетливый смысл. На глазах у него выступили слезы счастья: он так давно не был там, откуда явился в этот мир, но теперь, наконец, путь домой был открыт и время заточения истекало.

Он еще некоторое время буравил взглядом холст, зачем-то нелепо открывая и закрывая рот, словно что-то пережевывая, но тут какие-то внешние отдаленные звуки, долетавшие из открытого окна, вывели его из оцепенения.

Подкравшись к окну, он посмотрел вниз, на темную ленту шоссе. Несколько машин остановились у того самого места, где он совсем недавно оставил свою. Фары вспыхнули на миг и сразу же погасли, глухо хлопнули закрываемые дверцы, а затем на каменистом склоне зашуршали потревоженные башмаками невидимых людей камни.

«Вот и пи**ец пришел тебе, Нечипоренко!» — подумал он, но теперь, когда он уже вспомнил все, мысль эта совершенно его не пугала, как не пугали и поднимавшиеся к вилле люди, которым не следовало знать, кто он такой на самом деле и зачем делал все то, что вынудило их следить за ним весь последний год, постепенно сжимая кольцо.

Спокойно и сосредоточенно он приступил к уничтожению своей временной оболочки: нащупал во внутреннем кармане тяжелый металлический предмет, извлек его оттуда и с ухмылкой посмотрел на блеснувшую в свете только что показавшейся из-за олеандров луны сталь. Вернувшись к мольберту, он встал перед ним, поднес ствол ко рту и обхватил его непослушными, сразу ставшими чужими губами. Зажав рукоятку обеими руками, он внезапно заметил исходивший от пальцев странный зеленоватый отблеск, словно их покрывала не кожа, а нечто вроде чешуи, и понял, что нужно поторапливаться, пока он еще в состоянии хоть как-то контролировать занимаемое им тело.

Картина, вначале казавшаяся совсем небольшой, заметно выросла в ширину и в высоту, а веявший от нее ветер стал настолько сильным, что поднял с пола мусор и листы бумаги. Черные нездешние волны призывно покачивались в крепчавшем лунном сиянии, он слышал, как в глубине их что-то ласково булькало и скворчало; впрочем, теперь уже любой, самый закоренелый скептик вынужден был бы признать, что если это и волны, то состоят они отнюдь не из воды.

Нечеловеческое урчание вырвалось из горла Нечипоренко, и в ответ на него парящая в буром небе крылатая тень ответила таким пронзительным криком, что люди, уже к тому времени перемахнувшие через изгородь и кравшиеся через двор, вздрогнули и крепче сжали в руках оружие… Но на Нечипоренко этот крик произвел совсем иное действие: дрожа от радостного нетерпения, он сделал шаг навстречу разверзшейся бездне, одновременно надавив большим пальцем на податливый спусковой крючок.

2001

Отец и Федор

Сегодня Федор был рад особой, переполнявшей все его существо радостью. И ему казалось, что такой же радостью радуется весь окружающий мир — солнце в синем небе, само синее небо с пляшущими облачками, листья огромного дерева, зеленая трава далеко внизу, ветки, почки, кора и живущие под ней толстые белые личинки.

Федор с любовью и обожанием смотрел на мускулистый кулак отца, сжимавший рукоять пилы. Золотые опилки веером летели из-под вгрызавшегося в толщу сука полотна и казалось, что они тоже радуются этому чудесному летнему дню.

Кулак разжался. Отец отпустил пилу и утер потный лоб тыльной стороной ладони.

— Тятя, дай попилить, — робко попросил Федор.

— Мал ищо, — буркнул отец и снова взялся за работу.

Впрочем, даже эта кажущаяся отцова грубость только усилила радость Федора. Он знал, что таким образом отец выражает любовь к своему первенцу, которому все равно поздно или рано предстоит унаследовать пилу. Уберегает его от непосильного мужского труда.

В ветвях чирикали непугливые, привычные к звуку пилы птицы, и Федору чудился в их чириканье настойчивый вопрос: «Скоро ли? Скоро ли? Скоро?»

Внезапно отец вновь остановился. Глаза его были устремлены куда-то вниз. Федор проследил за направлением отцова взгляда и увидел внизу маленькую человеческую фигурку.

— О-го-го! — прилетел издалека голос. — Бхаг в помочь!

— И тебе! — прокричал в ответ отец.

— Скоро ли п**данетесь? — закричал прохожий, в котором острые глаза Федора наконец признали деда Охрима.

— Даст Бхаг, до вечера управимся!

Печально кивнув головой, дед Охрим побрел дальше.

Федор проводил взглядом спину несчастного старика: ни отрока у него нет, ни даже племянника. Вот и ходит по лесу, Бхагом проклятый, чужому счастью завидует.

— Добро, — молвил уже обычным голосом отец. — Подкрепиться нонеча пора.

Привязав пилу к ветке, чтобы не упала, отец извлек из туеса краюху черного хлеба, соль и два вареных яйца, золотисто-фиолетовых, в тонких серебряных прожилках.

Ели молча, тщательно пережевывая каждый кусок. Наконец Федор не выдержал — переполнявшая его радость щекотала изнутри губы, заставляла говорить — и он торопливо спросил.

— Тятя, а расскажи, как ты первый раз п**данулся?

Отец окинул сына пристальным взглядом.

— Как-как, — с деланной неохотой отозвался он. — Да как все. Пильщиком был дед Сысой, а я при нем отроком.

— А больно было?

— Больно.

— И мне будет?

— И тебе.

Федор удовлетворенно кивнул. Другого ответа он и не ждал: с раннего детства прислушивался к взрослым разговорам приходивших к отцу в избу мужиков и знал все про переломы, вывихи, отбитую селезенку и выбитые зубы. Однако все же почувствовал, что переполнявшая его радость внезапно съежилась, словно переспелый гриб-дождевик.

Утром, на заре, когда отец разбудил его прикосновением холодной пилы ко лбу, и Федор понял, что сегодня станет мужиком, думалось только о том, что уже к вечеру, когда он, в шинах, лубках, натертый мамкиной травяной мазью, будет лежать на топчане, ему вольют в рот первый стакан водки и он войдет в тот желанный мир, где можно пить с утра горькую водку, ругать проклятую жизнь и обсуждать с другими мужиками сравнительные достоинства деревьев. Ему никогда больше

не придется вспахивать поле, доить коров, чистить от колючей оранжевой кожуры клубни капусты — все эти обязанности перейдут по наследству к его младшему брату. Так издревле заведено: бабы и мальцы работают, а мужики делом занимаются. А Федор будет гордо вышагивать следом за отцом с пилой на плече, найдет хорошую девку, нарожает ребятишек, а когда отец конкретно п**данется, вложит в руки сыну семейную пилу и поведет его на дерево.

Но о боли Федор все-таки старался не думать: может, именно потому, что на самом деле сильно ее боялся.

Отец вновь подвесил пилу на петлю и поерзал на суку своим массивным телом. Под его весом тот едва заметно хрустнул, и грубые черты отцова лица немного смягчились.

Отец тяжело дышал — видно было, что пилка дается ему с трудом.

Участливо посмотрев на родителя, Федор спросил:

— Тятя, а скоро ты… конкретно… п**данешься?

Преодолевая одышку, отец прохрипел:

— А это, Федя, одному Бхагу ведомо…

Федору было очень жаль отца, но любопытство продолжало снедать его:

— А когда совсем… то уже не больно?

Отец скосил глаза на Федора.

— Нет, тогда не больно… тогда хорошо.

Вертлявый чертенок любопытства жег изнутри, словно уголек, губы Федора, и Федор с удивлением понял, что это создание странным образом родилось из наполнявшей его с утра радости. Оно хотело вырваться наружу из Федорова рта и, вырвавшись, прокричать тонким голосом: «Тятя! А может, тогда лучше сразу — насовсем?», но Федор усилием воли сжал губы и удержал чертенка. Он и так давно нашел для себя ответ на этот вопрос — что-то уяснил из россказней пьяных мужиков, что-то — из мамкиных баек.

Кто конкретно пи***нулся в согласии с Ладом, того дух влетает в Ирий и падает там вечно с высокого сука — летит, матерясь на чем свет стоит, а на сердце так сладко, вольно — а боли все нет и нет. Потому что дух — он как птица, не падает, а летит. А кто умер как собака на земле — от хвори ли внезапной, от укуса ли лягушки — или кто нарочно взял и конкретно п**данулся раньше срока — тот попадает в Пекло и, вечно там потея от жара, пилит сук неохватный, который сам Враг перепилить не смог, когда Бхаг его в Пекло швырнул и Первым Деревом сверху завалил, чтобы не вылез, проклятущий…

…а есть еще Трофим, что в лесу живет. Ходит Трофим по лесу, имя свое вспоминает. Отрок был непослушный, не дождался, когда отец приложит ему пилу ко лбу да позовет по имени. Украл отцову пилу, сам к дереву пошел. Залез, пилить почал, ну и, ясно дело, без пильщика п**данулся конкретно. Дух из него вышел, а имени своего вспомнить не может. Если приложишь ладони ко рту и крикнешь в чащобу: «Трофим, выходи!» — Трофим-то имя свое вспомнит, на зов выйдет и тело твое себе заберет, а дух твой скушает. И того, кто позвал, не станет совсем, потому что, когда Бхаг всех воскрешать начнет, то духа его найти не сможет.

В общем, с какого конца ни возьмись, выходит что Лад нарушать нельзя, если не хочешь в Пекло попасть или Трофимом стать.

Так что все пойдет по заведенному: треснет толстый сук, зашелестит потревоженная листва, загалдят обрадованные птицы, перестанут твердить «Скоро ли? Скоро ли?» Ловко вскочит Федор к отцу на спину и полетит верхом на тяте к грешной земле, на которую предок их дядя Коляй упал, когда перепилил сук Первого Дерева. А земля все ближе, крутится зеленым колесом и… Федор зажмурил глаза от восторженного ужаса. Но внезапно вернулся страх и погасил своим холодным дыханием разгоревшуюся было на миг радость. Федор представил себе страшную силу удара, ломающую кости, отшибающую нутро. Он слабо вскрикнул и поспешно открыл глаза — не заметил ли чего отец?

Но отец ничего не видел, он уже сидел над распилом и упорно продолжал работать одной рукой, второй схватившись за сердце. Пилить так было втройне тяжелее, и отец вскоре, бросив пилу, отполз к стволу дерева, тяжело привалился к нему рядом с сыном.

Жалость к отцу охватила Федора. Вспомнилось, как тятя вырезал ему из пахучей сосны деревянного коника, как дарил самородные платы, которые удачливые мужики отрывали в овраге по весне — разноцветные, пестрые, покрытые тонкой золотой паутиной, в которую цеплялись своими металлическими ножками камушки-паучки. И жалость придала новые силы бесенку-угольку, раздула его, и Федор бессильно разжал уста. Делать этого не следовало, но было уже поздно: не своим голосом Федор закричал:

— Тятя! Давай слезем! Боязно мне! Давай слезем на землю! Там хорошо, там нас мамка ждет!

Отец дернулся всем телом, словно не слова вылетели из Федорова рта, а брызги кипятка. Видно было, что от гнева даже про боль позабыл. Приподнялся, навис над Федором, словно черная грозовая туча, из которой вот-вот брызнут сполохи. Не закричал, а зашипел жутко, отчего Федору сделалось еще страшнее.

— Ах ты, сучонок! Какие речи ведешь! Не иначе как Враг тебя надоумил! Нишкни, выб**док, пока Бхаг не прогневался и Хмарь на нас не навел!

Тут уж как отец Хмарь помянул, у Федора совсем душа в пятки ушла. Ну и отец сам понял, что лишнего сказал. Обмяк, снова спиной к стволу откинулся и уже спокойнее устало зашептал:

— Так, Федька, заведено, и не нам с тобой Лад на свой лад переколпачивать. Бабьи это речи, отроче, выбрось их из головы. Бабам, им положено причитать: «Куды ж ты, кормилец! Опять на дерево полез? Убьешься ведь, костей не соберешь…» Да что с них взять — не люди они. Бхагом наказанные. П**дануться им не дозволено — отобьют нутро, не смогут новых пильщиков рожать. Тогда колесо боли остановится, и жить на свете незачем станет.

Видя, что отец отошел от гнева, Федор решился спросить:

— Тятя, а боль зачем?

— Чтобы помнил, что виноватый.

— Чем же виноватый?

— Да тем, что живой.

Федор кивнул головой, но на самом деле ничего не понял.

День подходил к середине, липкая душная жара пропитывала воздух, словно мед, вязко лилась с неба, застывала сладкими каплями в зеленой листве. Певчие птицы умолкли, утомившись от безответного вопрошания. Зато где-то вдали завели песню бабы: видно, пошли в лес по корешки да травы. Идут на ходулях, чтобы лягушка шальная не укусила, и тоску бабью песней отгоняют.

«Может, и мамка с ними?» — подумалось Федору, но он вспомнил гневное лицо отца и отогнал эту мысль.

Передохнувший отец снова взялся за пилу. Вжикала пила, летела золотая древесная пыль, морила духота и сморила Федора совсем. Заснул он и увидел сон.

Снилось ему, что не птички это смолкли, а души праведников, потому что близится некто большой и грозный. Посмотрел Федор на небо и увидел огромную тучу, пронизанную искрами молний. Туча надвинулась, подошла ближе, и понял Федор, что это не туча, а гигантский орел с грозным получеловечьим лицом. И ясно стало ему, что это сам дядя Коляй удостоил его, отрока, своим явлением.

Навис орел над деревом, выпростал длинную шею, придвинул клювастый лик и заглянул Федору в самую душу. А потом разинул клюв и заклекотал — так ему с Федоровой души смешно стало. Давясь от смеха, спросил:

— Что, пилите?

Федор только и смог, что кивнуть.

Тут дядя Коляй заклекотал шибче прежнего.

— А зачем пилите-то? — спросил. — П**данетесь же.

Федор вновь в ответ кивнул.

— Так больно ж!

«Больно, больно!» — радостно закивал Федор.

— Вот мудаки! — подавился клекотом орел, закашлялся, схаркнул и мрачно разъяснил. — Сук когда пилишь, надо ближе к стволу от распила садиться.

Возмутился Федор от нелепых Коляевых слов, как отец его возмутился намедни, и вновь обрел дар речи.

— Дядя Коляй! Вы ж сами нам насупротив делать завещали. «Надо дальше от распила садиться» — это каждый младенец ведает!

— Я? — зашелся в клекоте орел. — Ни хрена я вам не завещал! Просто выпимши был, не с той стороны от распила сел, вот и п**данулся.

— И все?! И ничего не было?! Ни проклятия Бхагова, ни пилы запретной?

— Да не было ни хрена, — мрачно буркнул орел. — Навыдумывали с похмелья баек — вот и весь сказ.

От возмущения Федор безумно осмелел и стал выкрикивать такие слова, какие ему прежде и подумать было страшно:

— Может, вы, дядя Коляй, скажете, что и Хмари не было? Что небо с землей местами не сменились, а луна с солнцем? Что люди кровью не плакали и огнем не мочились? Что не с того времени лягушки кусаться стали, а капуста кочерыжкой вниз расти? И у баб не тогда хвосты появились, а у мужиков — по два уда, один семенной, другой — смертный?

— Хмари не было, — упрямо мотнул головой орел. — А все остальное было. Только я тут ни при чем. Говорю же — похмельный был, не с того краю сел. Только вы с какого-то перепугу решили, что отныне так и должно быть. Тут на вас, мудаков п**данутых, беды и посыпались. Вместо того, чтобы разобраться, что к чему, на все один ответ нашли — как что случилось, сук под собой пилить. Вот и допилились до того, что и на людей уже не похожи.

— А какие же тогда люди? — изумился Федор.

— Такие, как я, — не без гордости сказал Коляй. — С крыльями могучими, роста исполинского, с пронзительным взором и орлиной речью. Летят, а не падают, парят, а не ползают. Хочешь, и ты таким станешь?

— Конечно, хочу! — не удержался Федор.

— Тогда бросай тятю, мамку и весь род свой дурацкий, и полетели со мной.

— Как же я полечу? — ужаснулся Федор.

— Да запросто. Прыгай, и полетишь!

— Дядя Коляй, вы же сами сказали намедни, что я п**данусь тогда…

— Пока так думать будешь и верить в то, что другого не дано, то и верно п**данешься. А ты думай, что полетишь, и полетим мы тогда с тобою, Федька — ой, полетим! Прямо в Ирий…

— Неужто?… — только и прошептал Федор.

— Да, Федька, в Ирий, туда, где людям место. Там они как птицы порхают, мудрые, гордые, бессмертные. Хотят — и к звездам летят,

послушать их лучистое пение, хотят — ныряют в самую бездну, чтобы испить покоя от Черного Сердца. И что все вместе подумают — то и бывает. От первой мысли новое солнце загорается и новую землю от себя на пуповине света отпускает. От второй — земля эта душой исполняется, словно младенец, и живое вырастает на ней, как волосья на темени. От третьей — живое мыслью пронимается и начинает думать все упорней и упорней, пока его мыслям тоже не становится по силам солнца рождать. Это, конечно, когда в мысли червоточинки нет… Но иногда вот выходит, как у вас вышло, потому что Враг меня тогда попутал перепить зелья с вечеру у Митяя…

— Враг? — воскликнул во сне Федор. — Так значит, все же есть проклятущий?

— Куда ж ему деться? Только живет он в нас. И Бхаг тоже. В нас и больше нигде, потому что нет никакого «где», которое не в нас. Но это тебе еще трудно понять будет. Со временем поймешь. Так что, летим?

Федькино сердце надрывалось — да! да! летим! — но уголек-бесенок во рту разгорелся ярким пламенем, укусил больно за язык, и Федор закричал:

— Нееет!

Дико захохотала дивная птица, замахала крылами, дерево зашаталось и Федор проснулся.

Завывал ветер, грозное небо низко нависало над верхушками деревьев. Колючий и недобрый воздух искрился. Отец лежал лицом кверху на суке, струйка слюны вытекала из уголка разинутого рта. По открытому закатившемуся глазному яблоку ползали, откладывая яички, торопливые серые мушки. Пила, воткнутая в распил, покачивалась и гудела под порывами ветра.

Федор подполз к отцу, разорвал пропотевшую рубаху на его груди и приложил ухо к сердцу. Сердце слабо билось. Федор тряхнул отца из всех своих силенок. Отец что-то прохрипел. Федор тряхнул еще раз и наклонился к отцу.

— Федька… пили! — вырвалось из отцова горла слабое бульканье.

Федор кинулся к пиле, схватился за ручку и потянул. Пила поддалась, пошла, посыпалась, полетела древесная труха. Федор

навалился всем своим весом, и пила снова ушла вниз. Приладившись к инструменту, Федор размеренно задвигался, и дело медленно, но пошло. Ветер ярился, набирал мощь. Ахнул гром, словно кто-то пнул со всей дури небо под дых кованым сапогом.

Нужно было поспешать, успевать, пока отец еще дышит, спасти любимого тятю от Пекла, а себя — от страшной судьбы безотчего отрока.

И тут Федор услышал сквозь завывания ветра тяжелое дыхание. Скосив глаза, он заметил, как кто-то тяжело карабкается по дереву. Еще мгновение — и из-за ствола показалась тощая, ветхая фигура деда Охрима.

Кряхтя, дед с трудом взгромоздился на сук, поднялся с коленей и, раскинув для устойчивости в стороны руки, осторожно направился вдоль сука к Федору.

— Дедушка, вы чего? — прошептал Федор одними губами, но невзирая на рев неистового ветра, дед Охрим понял, что сказал отрок.

— Феденька, голубчик! Заинька мой ненаглядный, — зашамкал беззубыми деснами он в ответ. — Миленький! Пусти к себе дедушку, п**данемся вместе!

«А тятя?» — подумал Федор.

— Что тятя? — тявкнул дед. — Считай, что уже мертвяк твой тятя. Сердце у него треснуло, потому как гордец. Я ж ему говорил: «Чую, Влас, что настал твой срок — смотри ты какой поутру желтый… Прохудилось у тебя нутро, в Ирий тебе пора». А он мне: «Федька-то малой ищо. Рано ему на дерево, вишь, итти». Вот и дождался. Не долетит он до земли, Федюня, ой, не долетит! Еще в полете сердце лопнет. И станешь ты безотчим отроком, да еще порченным, потому как тятьку не уберег.

«Нет, дедушка, неправда! Жив он!» — подумал Федор, а вслух прокричал:

— Вали отсюда, Враг тебя забери! Чужих отроков не замай, своих-то куда подевал? До старости смертный уд свой тешил, вот и натешил себе на седую бороду!

Уд семенной когда тешишь — боль во всем теле страшная, неописуемая — кости ломит, испариной прошибает, кашель, сопли, тошнóта, будто вот-вот помрешь. Зато оттого дети родятся. А уд смертный — от него сладость райская и кости ломанные разжижаются. И лежишь потом ни жив, ни мертв целые сутки, и дух твой словно в Ирии, а тело все чешется, но и это — сладость. Но вот баба, с которой смертный уд тешил, на девять месяцев запечатанная — не понесет, как ни мучайся, ни старайся. Потому сперва сына роди, а потом смертный уд тешь.

Отшатнулся дед, как от удара. Не ждал от мальца мужского разумения.

«Ах ты, пащенок!» — сказать хотел, но осекся и проворковал слюняво:

— Бхаг упаси тебя, Феденька, от таких речей! Как помыслить-то ты такое мог? Разве не слыхивал, что с бабами мне не везло — какую не возьму, так то лягушка укусит, то капусты нечищеной съест и закаменеет.

Но Федор знал, что врет дед и что догадка его верной была. А Охрим тем временем до тяти дошел, присел на карачки, ухватился за тятину рубаху и к краю сука тело потащил.

Как понял Федор, какую Охрим мерзость хочет учинить, бросил пилу, подбежал к тяте и тоже в рубаху вцепился. Дед с годами, конечно, ослаб, но с мальцом еще в силах совладать. Вцепились они на пару в тятино тело и ну тянуть каждый в свою сторону. Пыхтят, сопят, а тут хруст такой тихенький — хрррр… хрррр… Федор поначалу подумал, что это тятина рубаха рвется, а потом смекнул: сук подпиленный под напором ветра надламывается. Заорал дико и потянул тятино тело к распилу.

Страх и ужас! Отрок отцелюбивый влечет мышцу и кость родительские ко спасительной погибели. Старец многогрешный поспешает отрока прежде к падению благодатному принудить. Через оное в бездну воспарение блудный стыд свой искупить. Древо духновением Бхага терзаемое скрыпом вопиет. Вот уж и железа зубчатые изрыгнуло из плоти своей сокрушенной и все горше вопиет, сломление страдательное предвосхищая. Аки псы сцепились супротивники: малый старому персты зубами ущемил, старый малого коленом дряхлым

под ребра язвит. Покатились кубарем по суку, через распил перевалились и се — хрустнуло древо и сломилось, и полетели втроем во сретение року неотвратному!

Падали вместе: Федор и Охрим царапали друг друга когтями, фыркали, шипели, но чем отчаяннее держался Федор за отцово тело, тем яснее понимал, что дед был прав — холодным было оно, окоченевшим, неподатливым, неживым.

Мысли в голове Федора вихрем кружились, будто ветер, ворвавшись в уши, поднял всякий сор и завертел в бешеной свистопляске. Если отец умер, так и не п**данувшись, то, значит, душу свою погубил и душу Федора тоже — это было понятно как бхажий день. Но если Федор без пильщика, один п**данется, то душа его, опять-таки, погибнет. Разве может одна душа дважды погибнуть и две вечности в Пекле страдать? Странно это как-то. А если Федор сейчас на деда Охрима пересядет, то все (если про отца забыть) вроде как и Ладом выйдет, и душа его спасется, но, с другой стороны, из-за того, что тятю не уберег, она вроде как уже погибшая — так что же тогда в остатке выйдет? Трудно было все это постичь Федоровому уму: видно, прав был отец, мал был еще Федор, рано он его на дерево повел, оттого беда и вышла. Но тятя смерть чуял, вот и торопился, что бы там Охрим ни говорил.

Быстро все эти мысли думал Федор — так быстро, как ему отродясь не доводилось, но все равно за падением не поспевал — не успел один раз и подумать все это, а уже больше полпути до земли как и не бывало. Что же делать? А тут еще и дед как-то замолк, стих. «Неужто тоже помер?» — ужаснулся Федор, поднял голову и встретился взглядом с глазами дедовыми. А в тех — такая мольба и страдание, что Федор, хоть поганого Охрима и терпеть не мог, почувствовал стяжение в сердце.

Сам не веря тому, что делает, отпустился от мертвяка, вспрыгнул на костлявую стариковскую спину, чудом успел оседлать ее по всем правилам — лоб на горбец, колени на крестец — и в последний миг полета успел ощутить, как затряслась она от рыданий нагрянувшей на излете беспутной жизни нечаемой благодарной радости.

* * *

Тела словно и не было вовсе: один большой, мучительный ушиб. Федор с трудом открыл глаза и приподнялся на локте. Буря улеглась так же внезапно, как началась. Лесные цветы тяжело колыхались под грузом повисших на стеблях дождевых капель. Снова пели птицы, душная жара сменилась теплой, обволакивающей свежестью, нестерпимо пахло цветом ятрышника и любки.

Кряхтя от боли, Федор встал на колени. Все вокруг было забросано свежей листвой, отломленными ветвями, всякой древесной мелочью. Рядом лежал ничком дед Охрим. Изо рта старца вытекала темная струйка, на которую уже собирались муравьи и мухи, но на лице застыла предсмертная маска блаженства. Федор встал на ноги и чуть не взвыл от острой боли в лодыжке. Сделал два неуклюжих, слепых шага и тут же обо что-то споткнулся. Посмотрел вниз и увидел отца, лежавшего под охапкой древесной зелени. Чуть было не метнулся на шею к тяте со слезами, но встретил страшнопустой взгляд мертвых глаз и опомнился. Не был отцом этот мешок сломанных костей, которые уже никогда не срастутся. Настоящий отец, ласковый и суровый, остался у Федора в памяти: он не имел ничего общего с этой неподвижной куклой, с ее желтым восковым лицом.

Федор понял, что и прежнего Федора тоже больше нет. Видно, от падения что-то сдвинулось у него внутри, отчего поломалась понятность мира и наступила какая-то дивная свобода, которая прежде приходила к нему только в сновидениях. И сразу же ему стало ясно — назад в деревню он ни за что не пойдет. Соберутся пильщики, встретят сурово, напоят отваром, из допрос-травы, как положено и, хочешь не хочешь, перестанет его слушаться язык и расскажет все как было. Тогда сход начнет думать, как с ним, Федором, поступить. Может, решат мужики,

что поступил он верно и примут его в пильщики, и тогда пойдет все как заведено, а может, постановят бросить его, бхагохульника, в колодец с лягушками — да только какая разница? Колодец, пожалуй, даже и получше будет — быстрее отмучаешься. Мамку, конечно, жалко, но ведь это она и должна будет, в случае чего, его в колодец спихнуть — так по обычаю положено, по Ладу. Вот пусть и живут по своему Ладу, крутят колесо боли.

Федор поднял глаза к небу, пытаясь вспомнить, в какую сторону улетела дивная птица. Навстречу солнцу? Да, навстречу солнцу — отяжелевшему, устало сползающему по небосклону под собственным весом солнцу. Он пойдет туда, дойдет до края земли, прыгнет в бездну и полетит! Догонит дядю Колю и шепнет ему на ухо: «Ты был прав, дядя! И летим мы, и падаем по нашему хотению, и Бхаг, и Враг у нас в голове. Я все понял, я уже не маленький, я — человек, у меня крылья выросли!»

И улыбнется ему орел молча краешками клюва.

Превозмогая боль, Федор сделал первый шаг.

2006

Проклятие Зямзикова

II

Викентий Зямзиков, лидер небольшой, но скандальной патриотической организации, стоял в одних трусах посреди кухни, покачиваясь на тонких волосатых ногах, противоестественным образом удерживающих на себе плотное туловище с заметным пивным брюшком. Перекрестив распахнутый в зевке рот, Викентий поймал мутным оком отблеск икон, висевших в красном углу над видавшей виды видеодвойкой, и уже собрался перекрестить и их, как увидел нечто такое, отчего его рука застыла в воздухе.

Надо отметить, что иконостас в квартире Зямзиковых отличался от канонического. Вместо Николая Угодника, которого Викентий недолюбливал за благостный вид, слева от Спаса висел Георгий Победоносец. Георгий в облике благоверного князя Святослава попирал стопой мерзкого хазарина, тщетно пытавшегося прикрыться от разящего копья маленьким, размером с бейсбольную перчатку, щитом с изображением могендовида. Все было бы ничего, если бы поверженный хазарин не подмигнул явственно Викентию своим лукавым глазом. А потом еще раз. И еще. Викентий зябко поежился и зажмурился. Разжмурившись обратно, он пожалел о том, что не ослеп. Хазарин более не шевелился, но вежды его, мгновение назад еще открытые, теперь были плотно смежены, как и полагается глазам человека, которому только что повредили жизненно важные органы.

Накануне Викентий крепко выпил с соратниками. Количество соратников было переменной величиной, зависевшей

от количества ящиков пива в чуланчике при помещении штаб-квартиры Общества духовного возрождения России «Золотая орда», занимавшей полуподвал в аварийном доме. Количество же ящиков, в свою очередь, тоже было переменной величиной, зависящей от благосклонности Миши — человека, внешность которого можно было бы назвать невыразительной, если бы не невероятное множество соревновавшихся между собой за место под солнцем мелких прыщиков на бесцветном чухонском лице. Миша время от времени встречался с Викентием на конспиративной явке в служебном помещении рюмочной «У Веселой белочки» и передавал ему устные инструкции и наличные деньги. Щедрость куратора обычно возрастала перед какой-нибудь очередной акцией, в которой требовалось участие «ордынцев». Последнее обострение щедрости случилось неделю назад перед маршем «Очистим Китай-город от китайцев». За отсутствием китайцев, марш закончился безобразной потасовкой в «Китайском летчике Чжао Да», в которой Викентию выбили клык.

Вчера Миша был как-то по-особенному щедр, хотя никакого задания не дал. Он поймал вопросительный взгляд Викентия, направленный на лежавший на столе конверт, и деревянно пошутил: «Это тебе на стоматолога».

(Конверт этот — обычный белый замызганный конверт — почему-то всегда уже лежал перед Мишей на столе, когда Викентий входил в помещение. Миша всегда просил, вынув деньги, класть пустой конверт обратно на стол. Зямзиков ни разу не рискнул поинтересоваться причиной этой маленькой странности.)

Пили сперва пиво, затем водку, поэтому домой Викентий пришел на рогах. У двери его встретила жена Маша, о том же, что случилось дальше, лучше было не вспоминать. У Маши был тяжелый характер, тяжелая рука и потрясающая девичья фамилия — Ульянова-Лемминг. Именно эта фамилия и оказалась в свое время решающим аргументом, заставившим Зямзикова положить конец беспутной холостой жизни. Правда, вторая

половина родового имени поначалу смущала его патриотическое нутро, но когда выяснилось, что Лемминги были обрусевшими норвежцами, нутро Викентия не только успокоилось, но даже восторжествовало.

У Викентия имелись свои причины питать слабость к стране, давшей миру селедку Abba и симфоническую сюиту «Пер Гюнт». Поэтому предстоявший брак он воспринимал с волнением, чуть ли не как алхимическую свадьбу Христиана Розенкрейцера.

Действительность оказалась проще и скучней: Маша, несмотря на норвежские корни, была обыкновенной московской барышней, капризной и властной, жестко направляющей плохо слушающегося руля мужа по бурным волнам житейского моря. Давешняя встреча супругов закончилась на истерической ноте. Со словами «Пусть лучше комары пьют мою кровь, чем ты, мудак!», Маша, хлопнув дверью, отправилась спать в лоджию на топчан.

Поэтому Викентий проснулся с тяжелым чувством вины, которое так же неразрывно связано с русским похмельем, как сухость во рту и головная боль. Недомогание усугублялось то и дело одолевавшим Викентия странным ознобом, который он, впрочем, списал на низкое качество закупленной в ларьке водки. Едва продрав глаза, Зямзиков сразу же почувствовал мучительную необходимость угодить Маше, хотя прекрасно понимал, что для этого придется пойти на серьезные жертвы. Было ясно, что простым обещанием завязать с партийными попойками отделаться не удастся.

Оглядев кухню, Викентий увидел стоявшую в углу картонную коробку из-под бананов и наградил ее тоскливым взглядом. Таким взглядом, наверное, смотрел на любимого сына Исаака патриарх Авраам. Коробка явно была той самой жертвой, которая могла удовлетворить злобное божество, по вине Викентия отдавшее свою плоть на растерзание оголтелым московским комарам. И снова космический холодок пробежал по потной волосатой спине вождя «Золотой орды». «Грипп, что ли? — подумал Зямзиков. — Или все же водяра?»

В светло-коричневой картонке содержалась память о прошлой жизни Викентия: любовно собранная коллекция норвежского блэк-метала. Чего только не скрывала в своем чреве сия скромная тара! Плотно, словно шпроты в банке, там спали мегабайты и мегабайты звуковых волн, восхваляющих, призывающих и обожествляющих Князя Тьмы и угодные ему дела: кровосмешение, каннибализм, детоубийство, насилие, погром, этнические чистки, копрофагию, богохульство, осквернение могил и свальный грех. Там можно было найти двойной альбом Massemord/Svartskogg, концертные записи Diabolical Breed, депрессивную темную готику группы Crowhead, бутлеги Lunaris, малоизвестные синглы Crest of Darkness, барабанное неистовство Borknagar, непременные Enherjer, Dimmu Borgir, Darkthrone, и, наконец, Burzum — непревзойденный Burzum несравненного Графа Гришнака, томившегося от вынужденного безделья в двадцатиоднолетнем отпуске, щедро оплачиваемом норвежскими налогоплательщиками.

Но кроме этого набора, очевидного для любого ценителя норвежского блэк-метала, в коробке хранился подлинный уникум — первый и последний альбом группы самого Викентия «Молоты Тора» с многообещавшим в свое время хитом «Восстанут Торы против Торы». А еще фотографии самого Викентия в роли фронтмена «Молотов», окруженного полуголыми тощими девицами, ласкающими губами и перстами многочисленные тату на теле Викентия, отразившие тернистый путь их обладателя по лабиринтам мистических поисков гиперборейской идентичности. По небезосновательным подозрениям Зямзикова именно эти фото, а не норвежский блэк-метал как таковой, являлись причиной обостренной нелюбви Марии Ульяновой-Лемминг к коричневой коробке. На словах супруга Викентия, разумеется, мотивировала свои настоятельные просьбы «выкинуть эту мерзость» тем, что восходящей звезде воинствующего православия, каковой она мыслила Викентия, не к лицу держать дома целый ящик неразбавленного стопроцентного сатанизма.

Тяжело вздохнув, Викентий натянул камуфляж, тяжелые армейские ботинки на молнии с фальшивой шнуровкой, взял коробку под мышку и поплелся к двери.

III

На улице стаи ворон хриплым карканьем приветствовали рождение июньского дня. Ворон было много, они пренеприятнейшим образом, словно грифы-стервятники, почуявшие поживу, кружились над расположенной неподалеку помойкой, к которой и направлялся Викентий. Воздух недобро вибрировал, словно еще не остывший от вчерашнего дня асфальт был адской сковородкой, шипевшей под подошвами. Зямзиков приблизился к помойке. Толстая неопрятная ворона, сидевшая на краю мусорного бака, посмотрела на него и подмигнула черным круглым глазом навыкате — совсем как давешний хазарин.

— Кыш, проклятая! — хрипло прикрикнул Викентий, но ворона не послушалась — только перебралась на дальний край бака.

Стараясь не придавать значения дурным предзнаменованиям, Викентий зажмурился и поднял коробку высоко над головой, собираясь навсегда расстаться с темным люциферианским пятном на своей биографии.

Время остановилось. Наступила абсолютная тишина, и в этой тишине чей-то Голос, шершавый и звучавший так, как мог бы звучать раскаленный напильник, опущенный в масло, произнес:

— Одумайся, раб!

В ужасе Викентий попытался перекреститься, чуть не уронив при этом коробку. В этот миг — со всклокоченной бородой и вывалившимся из штанов пузом, прислушивающийся к голосам из ниоткуда, — он откровенно смахивал на иных завсегдатаев рюмочной «У Веселой белочки». Викентий открыл глаза — рядом не было никого, кроме вороны, по-прежнему сидевшей на краю бака, да дворника-киргиза шебуршавшего метлой

метрах в тридцати от помойки. Викентий в ужасе посмотрел на ворону. Та с невозмутимым видом принялась выколупывать что-то из густо поросшей грязно-серым пухом подмышечной впадины. Собравшись с духом, Викентий предпринял вторую попытку избавиться от коробки. Но Голос зазвучал опять:

— Ай-яй-яй! Как нехорошо! Разве не ты сам клялся Мне в вечной верности? Разве не ты совершил Обряд, начертав кровью Мой Знак на животе блудницы, превращенной в алтарь похоти?

У Зямзикова затряслись губы. Голос был отлично информирован, лучше даже, чем прыщавый куратор Миша, который не раз неприятно удивлял патриота доскональным знанием скользких моментов его непростой жизни. Если бы в ту разгульную ночь на квартире басиста «Молотов Тора» Иванова-Йелдабаофа Викентий мог подозревать о последствиях, он лучше отпинал бы паскудную девку по тощим ягодицам, чем стал малевать на ее животе пентаграмму испачканным в менструальной крови тампоном.

Викентий попытался присмотреться повнимательней к вороне. Теперь он явственно заметил, что та время от времени приоткрывает рот, словно готовится что-то сказать, и неприятный озноб, преследовавший его с самого пробуждения, усилился. Ворона заговорила опять:

— Не отвергай меня, раб, пожалеешь!

В ужасе Викентий чуть было не отозвался машинально: «Аве, Сатана!», но увидев крест, запутавшийся в курчавой растительности на груди, воспрянул духом и с кряканьем метнул в гнилостный зев мусорного бака треклятую коробку.

Ворона с хриплым карканьем взвилась в воздух и закричала уже откуда-то сверху:

— Ах вот как! Будь же ты проклят, выб**док! Отродье Демиурга, хуесос Распятого! Проклинаю, проклинаю тебя!

Викентий, зажимая уши ладонями, бросился наутек, провожаемый изумленными взглядами киргиза-дворника, но стая воронья, вившаяся в небе, отозвалась зловещим хором:

— Проклинаем! Проклинаем! Проклинаем!

Викентий, чуть не сорвав дверь с петель, влетел в подъезд и, отдышавшись у лифта, обреченно подумал: «Все, с бухлом пора завязывать!»

IV

Дверь лоджии скрипнула. Расчесывая комариные укусы, Маша протопала на кухню, там на какое-то время затихла, потом вернулась в гостиную, присела на диван, потрепала по редеющим кудрям распростертого в похмельном бреду мужа и прошептала:

— Ну прости, котик! Ну не права я была. Я все понимаю — от партии отрываться нельзя. Ну, закогти свою кошечку!

Почувствовав проворные пальцы супруги у себя в паху, Викентий понял, что божество приняло его жертву благосклонно.

V

Пока Маша плескалась под душем, смывая с загривка слюнявые ласки прощенного супруга, Викентий встал и пробрался на кухню, где нацедил в кружку холодного пива. Вопреки его ожиданиям, утренний кошмар не собирался заканчиваться. Маша в его объятиях то оборачивалась черной птицей и каркала в пароксизмах вороньей похоти, то косилась на него лукавым хазарским глазом из-под сбившейся на лоб челки. Потолок же квартиры, который до сих пор казался Викентию относительно ровным, кое-где провис, словно соседи сверху завели домашнего слона и тот своим весом продавил перекрытия. Желая отвлечься от пугающих ощущений, Викентий с кружкой в руке сел перед компьютером и пробудил агрегат к жизни. Бегло просмотрел почту, отложил в сторону для позднейшего прочтения рассылки, раскрывающие очередные козни мировой закулисы, стер обильный спам от посещенных порносайтов и однообразные приветствия руководителей региональных ячеек, сопровождающиеся жалобами на недостаточное финансирование.

Дочитав почту, Зямзиков уже приготовился встать из-за стола, но заметил в ящике еще одно сообщение. Ткнув курсором, Викентий обнаружил, что текст письма состоит из одной-единственной ссылки на страницу www.zyamzikov.ru. В голове снова зашевелилась приглушенная ненадолго холодным пивом тупая боль. Письмо было отправлено с адреса velzevul666@list.ru.

Викентий вспомнил, что пару лет назад, обуянный сатанинской гордыней, сам и зарегистрировал этот адрес. Но не мог же он отправить это письмо самому себе? Викентий судорожно надавил на «Изыди».

(На компьютере Викентия была установлена модная в патриотических кругах операционная система «Виндорусь». От оригинала она отличалась лишь тем, что все меню и надписи на кнопках были тщательно переведены на церковнославянский и выписаны вязью с титлами. Но подвисала «Виндорусь» столь же охотно, как и родное мондиалистское изделие, только разве что вместо пресного KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED на синем экране смерти красовалось покаянное «СОГРЕШИХУ И БЕЗЗАКОНОВАХУ».)

Стоило Викентию нажать на клавишу, как компьютер с готовностью подвис и по экрану побежала замысловатая рябь, напоминавшая фильм «Матрица». Викентий приготовился обругать жидовское изделие, коварно пропустившее вирус на жесткий диск национально-ориентированного компьютера, как рябь сложилась в зеленоватые буквы www.zyamzikov.ru, заструившиеся, словно потревоженный выводок змей, по глади монитора. Дурея от ужаса, Викентий поспешно надавил на кнопку ресета, но и это не помогло. Тогда он попробовал прибегнуть к жесткой перезагрузке, но кнопка power off (пышно именовавшаяся «Источник животворящей благодати») тоже оказалась заблокированной. Тупо уставившись в монитор, Зямзиков подумал: «Найду Люську — убью!», хотя безмозглая Люська, на животе которой главный «Молот Тора» однажды нарисовал корявую пентаграмму, вряд ли была повинна в чем-то, кроме того, что в тот далекий вечер ей нестерпимо хотелось теплого мужского члена.

Прислушиваясь к довольному фырканью плещущейся Машки, Викентий оцепенело взирал на экран. Скоро Машка выйдет и спросит: «Ой, котик, а что это такое у нас с компьютером?» Викентий чуял, что допускать этого не следует. И тут ему вспомнилось, как кто-то рассказывал ему, что некоторые вирусы, запущенные шутниками в сеть, всего лишь хотят, чтобы ты сделал то, что они просят. Непослушными пальцами (Викентию показалось, что их у него гораздо больше, чем следует) он набрал на клавиатуре чертов адрес. Рябь тут же схлынула и на экране открылось окно браузера с главной страницей сайта, озаглавленной «Генеалогическое древо рода Зямзиковых». Хмыкнув, Викентий прильнул к монитору. Наполнившая его подозрениями надпись оказалась всего лишь розыгрышем и, судя по всему, розыгрышем безобидным.

Викентий вгляделся в лица предков. Лица ему понравились. А еще больше, чем сами лица, понравились подписи под ними. Такая родословная могла составить предмет гордости любого истинного сына Родины. Следом за отцом, полковником МВД, которого Зямзиков, воспитанный в неполной семье, почти не знал, потянулись совсем уж незнакомые деды: один — комиссар заградотряда, другой — какой-то чин НКВД с непонятными ромбиками в петлицах. Картину, в свете новой красно-белой перспективы отечественной истории не портили даже повисшие на боковых ответвлениях семейного древа дядья, один из которых бился в рядах РОНА, другой — подвизался в Харбине в фашкорах Восняцкого. Прокручивая скролл, Викентий погружался все глубже и глубже в недра своей праистории. Промелькнули один за другим молодец в буденовке, сгинувший на берегах Босфора романтичный юнкер, некая особа духовного звания и даже настороженный бородатый купец. Прокрутка уперлась в дно страницы, и с этого дна на Викентия уставилось хитрая, подмигивающая лукавым маслянистым глазом физиономия, от одного вида которой у Зямзикова перехватило дух. Мало того, что физиономия эта была черной, как голенище, так еще по краям ее струились курчавые пейсы,

смахивающие на растаманские дредлоки, а к макушке была пришпилена ермолка.

Обреченно, словно подсудимый, знакомящийся с текстом смертного приговора, Викентий прочитал в рамке под фотографией биографическую справку:

> Шломо (Александр) Зямзя (1873–1916) — по происхождению — абиссинский фалаш. В отрочестве пробрался в эритрейском порту Массауа на борту российского экспедиционного судна «Святитель Николай». Взятый в экипаж юнгой, был доставлен в Санкт-Петербург и принят при дворе. Полюбился императору Александру III, который по примеру великого предка, решил «заиметь своего арапа». Крещенный в православие, Зямзя получил блестящее образование, закончив сначала кадетский корпус, а затем факультет правоведения Санкт-Петербургского университета. Посланный для расследования обстоятельств Кишиневского погрома, под влиянием внезапного импульса перешел обратно в иудаизм, принял активное участие в сионистском движении, был отмечен лично Жаботинским, который сказал как-то раз по его поводу: «Евреи, посмотрите на этого негра, и пусть вам станет стыдно!» В числе первых поселенцев отправился в Палестину, где и скончался в Яффе от дизентерии в самом расцвете сил. Последние дни Шломо были омрачены стойко ходившими в среде поселенцев слухами о его гомосексуальной ориентации (несмотря на то обстоятельство, что в России Зямзя оставил несколько детей от разных женщин).

Если бы глухой, умеющий читать по губам, оказался рядом с Викентием в тот час, он бы понял, что они беззвучно шепчут: «Негр, жид, пидарас…» Впервые в жизни Зямзикова слова эти не были адресованы расовому врагу.

VI

Маша вышла из душа, горячая, сдобная, похожая на довольную жизнью молодую корову. Подойдя к Викентию, который в последний момент успел схлопнуть гнусную страницу, она сказала:

— Ах ты, мой котик неугомонный! Только-только с меня слез, а уже порнуху смотришь?

В ответ супруг наградил ее таким взглядом, что Маша поторопилась ретироваться на кухню, где принялась варить кофе.

Очевидно, подумала она, вглядываясь в коричневую гущу, несмотря на утренние ласки, Викентий так и не забыл, как каких-то восемь часов тому назад она называла его «пивным бочонком на курьих ножках».

VII

Викентий понимал, что время работает против него. С чертовым сайтом надо было срочно что-то делать. На счетчике внизу страницы красовалась одинокая единица, так что Викентий пока был единственным посетителем. Но ситуация могла измениться в любую секунду. Викентий представил вскипающие благородным гневом лица соратников, гнусные ухмылки на харях идейных врагов, сложенные в презрительную гримасу губки Маши и — самое страшное — плотоядный блеск в чухонских глазках Миши. Не то чтобы организация, в которой служил Миша, особенно пеклась о расовой чистоте своих бенефициантов, но, заполучив в свои руки такой компромат, Миша окончательно взял бы Викентия своей холеной птичьей лапкой не то что за глотку, а за самые семенники. Зямзиков поспешно набрал tracert, как учил Миша, и вычислил провайдера.

Взяв трубку, Викентий набрал телефон службы техподдержки. «Запугаю», — решил он, багровея от злобы. Под приятную музыку дамский голос сообщил, что в настоящий момент все операторы заняты. После десяти минут легкого джаза Викентий сдался, отложил в сторону трубку и уныло вздохнул, но телефон тотчас же зазвонил сам.

В мембране зазвенел бодрый голос правой руки вождя «Золотой орды» — Дениса Хрякина по кличке Хряк. В дозолотоордынский период жизни Хряк работал парикмахером. Хряк уверял всех, что покинул цех цирюльников из-за царившего в нем засилья педерастического элемента, но куратор Миша как-то раз слил Викентию информацию, что Хряка изгнали с по-

зором из мужского салона красоты «Зайчик», после того как он в процессе стрижки отрезал ножницами ухо клиента.

— Физкультпривет! — радостно проорал в трубку Хряк. — Опохмелился уже? Приходи в штаб, тут еще пива полно!

Викентий поморщился — ему не хотелось омрачать алкогольным рецидивом хрупкий семейный мир, — но тут Хряк возбуждено зашептал:

— У меня есть для тебя сногсшибательная новость! Просто сногсшибательная!

Неприятный холодок в который раз за этот роковой день коснулся хребта Зямзикова.

— Ладно, щас буду, — процедил он в телефон.

VIII

Стоя перед зеркалом в ванной комнате, Викентий с ненавистью взирал на свое отражение. Уже многие годы он удивлялся тому, откуда у него эта курчавость, этот приплюснутый обезьяний нос, эти налитые кровью белки. В пятом классе юный Вика попытался однажды прибиться к играющей в чику компании старшеклассников. Вожак презрительно оглядел мальца с головы до пят, сплюнул и сказал: «Вали отсюда, жиденыш, покуда жив!» Вика тогда еще не знал смысла этого слова, но интуитивно понял, что именно в нем корень всех его бед.

Плюнув в ненавистную харю, которая корчилась, словно каучуковая, в волнистой поверхности зеркала, Викентий освежил лоб и щеки влажным полотенцем и направился в прихожую. Там, уже одевшись, он вернулся в свою комнату и положил во внутренний карман куртки любимый трофейный кинжал с надписью «Waffen SS». С Машей он даже не попрощался: «Пусть все осознает, п**да!» — нежно подумал он про супругу и устремился к лифту.

IX

В штабе возбужденный Хряк метался по пропахшему мужским потом помещению. Викентий и раньше замечал, что его

лейтенант, несмотря на кличку, больше походил на пуделя, чем на свинью. Сегодня сходство было особенно разительным. Хрякин нарезал круги по штабу, оставляя за собой фосфоресцирующий след, словно окурок в темной комнате, зажатый в чьей-то жестикулирующей руке. Викентий присмотрелся, пытаясь выяснить, не растет ли у соратника между ягодиц радостно вихляющий хвостик, но так и не пришел ни к какому выводу. Ему было не по себе. Знакомое до боли логово «Золотой орды» постоянно изменяло геометрию, и казалось, что зловещий пудель имеет к этому непосредственное отношение.

— Зямзик! — затявкал парикмахер-расстрига, не обращая внимания на дикий вид Викентия. — У меня для тебя есть сногсшибательная новость! Сногсшибательная!

Викентий машинально нащупал в кармане кинжал.

— Знаешь, Зямзик, кто ты на такой самом деле? — вопросил Хряк.

Рука Викентия еще плотнее ухватилась за рукоять, инкрустированную, как утверждал продавец, человеческой костью.

— Злобослава помнишь? — поинтересовался Хрякин.

Зямзиков угрюмо кивнул.

— Так вот, Злобослав побывал в очень серьезных кругах, и там ему сказали — ну не то чтобы сказали, а так очень конкретно намекнули: «Викентий Зямзиков — вот наше будущее! Это именно та фигура, вокруг которой могут сплотиться воинствующие миряне. Викентий — это от Господа ниспосланный вождь!» И самое главное — так мне сам Злобослав сказал — монахи, монахи, того же мнения! Им, вроде бы как, откровение такое было. Ворона села на крест на колокольне и трижды прокричала твое имя.

Пальцы Викентия покинули внутренний карман и принялись успокоенно теребить всклокоченную бороду.

— А еще передавали, что сам Святейший молвил: «Зямзиков — какая исконно русская фамилия! Следовало бы справиться об ее истоках, — в этом, мнится мне, залог духовного возрождения Отчизны». Так и сказал! Сам Святейший!

Пальцы Викентия заметались, раздираемые противоречивыми импульсами.

— И вот что я подумал, — лебезливо продолжил Хряк. — Тебе, Зямзик, и правда нужна родословная. Хочешь, я сварганю? Переверну Интернет, накопаю матерьяльчик.

Пальцы Викентия сделали свой выбор. Они снова потянулись к холодному оружию.

— Денег не надо, — продолжал Хряк. — Только дай триста рублей на карточку, а то я законнектиться не могу. И вот еще что, — добавил он, критически изучив всклокоченную шевелюру шефа. — Постричься бы тебе надо. Хочешь, я бесплатно?

— Пошел на х**! — прорычал Викентий.

Не ожидавший такого оборота Хряк застыл в позе, которая сделала бы честь потомственному актеру индонезийского театра теней.

— Что с тобой, Зямзик? — обеспокоено тявкнул он. — Белены, что ли, объелся? Я же к тебе по-братски…

— Пошел на х**! — повторил с той же интонацией Викентий и выхватил смертоубийственный клинок из кармана.

Испуганные шаги Хряка уже затихли на лестнице, а Зямзиков все еще стоял посреди штаба с воздетым над головой эсэсовским клинком, потрясенно уставившись на струившиеся с него разноцветные молнии.

X

Викентий брел по городу. Тревожившая его с утра неуловимая текучесть линий стала настолько навязчивой, что ее уже невозможно было не замечать. Вороны молча кружились где-то высоко в небе, но Зямзиков знал, что они внимательнейшим образом следят за его перемещениями. Лица прохожих излучали параноидальную подозрительность. Губы попрошаек в подземном переходе беззвучно шептали: «Негр! Жид! Пидарас!», и Викентий выбежал оттуда в холодном поту. Резиновые ноги не слушались его — чтобы сделать шаг, ему приходилось долго отлеплять конечность от студенистого асфальта. Впереди

по курсу маячили золотые луковки храма, и Викентий, отчаянно вцепившись в ручку церковной двери, вошел в утешительный полумрак.

Служба уже закончилась, но в углу виднелась фигура священника. Викентий с трудом повлек свое непослушное тело в придел. Священник обернулся. Это был необычный священник — на вые его вместо наперсного креста висела саперная лопатка, на которой флуоресцентным маркером было написано «За Бога — убью!» Лицо скрывал мотоциклетный подшлемник с прорезями для глаз. Грозно помахивая кадилом, в котором недобро тлели багровые угли, священник направился к Викентию.

— Сын мой? — вопросил поп.

Викентий непроизвольно щелкнул каблуками, отдал честь и отрапортовал:

— Так точно!

— Исповедаться хочешь?

— Хочу, — понуро опустил голову Викентий.

— Ну так, б**дь, исповедуйся! — голосом старшины рявкнул грозный поп.

— Я… я сатане поклонялся, — едва выдавил из себя Зямзиков.

— То грех невеликий, — примирительно сообщил иерей. — Все с того начинали. Лучше в черта веровать, чем в телевизор.

Успокоенный либеральным подходом священнослужителя, Викентий слегка распрямил плечи.

Иерей продолжил:

— Зло — оно не от черта, а от покемонов. Ты телевизор включишь, а из него покемон тут же — шасть! Забьется под матрац и затаится. Ты и знать не знаешь, отчего на сердце тоска, томление и сомнение в кресте животворящем. А это из тебя покемоны по ночам кровь сосут. Жена есть? — неожиданно сменил тему пастырь.

— Так точно! — отрапортовал все еще пребывавший в строевой парадигме Викентий.

— «Так точно…» — передразнил поп. — Сам знаю. Раба Божия Мария… Стерва?

Зямзиков кивнул.

— А знаешь, отчего стерва?

Зямзиков замотал патлами.

— Оттого, что покемонами покусанная.

Зямзиков поднял глаза и боязливо посмотрел на священника. Иерей возвышался над ним, огромный, как башня из черного дерева.

Заносил над Зямзиковым отточенную лопату, искрившую и шипевшую, словно лазерный меч в руках Дарта Вейдера.

— Что же мне делать, отче? — взмолился Викентий.

— А ты, сын мой, во Христа веруешь? — ответил вопросом на вопрос поп.

— Верую! — возопил Викентий. — Истинно верую!

— Тогда гони сто баксов.

Непослушными пальцами Зямзиков полез в портмоне, выронил оттуда презерватив в упаковке, дисконтную карту «Семь семерок», наконец, нащупал хрустящую сотенную, еще хранившую на себе легкое тепло Мишиных рук, и протянул ее грозному попу.

Тот схватил купюру и внезапно швырнул ее в кадило. Пошел густой зеленоватый дым, а затем над кадилом появилось голографическое изображение Бенджамина Франклина в полный рост (если, конечно, допустить, что роста в основателе Соединенных Штатов было не более десяти сантиметров).

Зямзиков изумленно уставился на Франклина, но тот тут же обернулся патриархом Алексием, который укоризненно погрозил Викентию пальцем и растаял в полумраке.

— Принеся жертву Господу, с трепетом и благоговением приступим! — пророкотал откуда-то сверху бас священнослужителя. — Именем Отца, и Сына, и Духа Святаго! Силою, данной мне Господом, изгоняю тебя из обители раба Божия Викентия!

— Джинкс! — возопил поп.

Викентий молчал.

— Чего молчишь как олух? За мной повторяй!

— Джинкс! — покорно отозвался Зямзиков.

— Абра!

— Абра!..

— Кадабра!

— Кадабра!..

— Випинбелл!

— Випинбелл!..

— Понита!

— Понита!..

— Мачоке!

— Мачоке!..

— Пикачу!

— Пикачу!..

— Нидоран!

— Нидоран!..

— Метапод!

— Метапод!..

У Зязмиковых не было детей, поэтому он и ведать не ведал о том, сколь многочисленно покемонское племя. «Шармандер, Шармалеон, Шаризард, Сквиртл, Вартортл, Какуна, Бидрил, Пиджи, Раттата…» — повторял он как заведенный следом за священником пугающие бесовские имена. А тот все убыстрял и убыстрял темп. Зямзиков уже с трудом поспевал за ним: «Джиглипуфф, Вигглитуфф, Зубат, Голбат, Венонат, Веномот…» В какой-то момент он понял, что с губ его срываются уже не слова, а какой-то нечеловеческий вой — «А-Э-О-И-У!» Викентий понял, что воет не он один, — тысячеголосый бесовский хор повторял вслед за ним каждый звук — и испуганно закрыл рот. Вой тут же стих.

В наступившей тишине вновь басовито зарокотал поп:

— Богопротивных покемонов изведя, нонча причастимся даров святых!

Зямзиков открыл глаза. Перед носом у него болтался гигантский дымящийся уд, похожий на шею доисторического

плезиозавра, вынырнувшего из мезозойского болота. Шея заканчивалась маленькой хищной головкой с двумя черными глазками-бусинками на конце, внимательно изучавшими Викентия. От чешуйчатых боков рептилии поднимался тепловатый, пахнувший болотным газом и тлением пар. Уд властно покачивался в пяти сантиметрах от губ Викентия.

Зямзиков в ужасе отпрянул. За время совершения обряда церковь сильно переменилась: вся она была залита пурпурным светом. Из-под высокого свода с икон и росписей таращились странные существа. Викентий догадался, что это и есть покемоны. Судя по всему, хитроумный враг заманил Викентия в церковь и, приняв облик попа, обвел его вокруг пальца: вместо того, чтобы заклясть покемонов, он заставил свою жертву призвать их.

В ужасе Зямзиков кинулся к выходу. Отбросив в сторону кадило, священник решительным жестом стянул маску с лица. Пустые глазницы черепа, в которых вращались люминесцентные туманности, уставились на перепуганного Викентия. Полы рясы, закрутившись под ногами у псевдоиерея, превратились в огромного вороного коня, который вздыбился и заржал под весом наездника. Сонмы покемонов, противно вереща, столпились за спиной у конного демона, который вскричал:

— Ах ты мерзкий пархатый ниггер! У Него сосешь, а у Меня не хочешь!

Зямзиков выкатился на паперть, чуть не слетев кубарем по церковным ступенькам.

XI

Небо над головой багрово тлело трехмерными пентаграммами. Видно было, что оно явно не собирается протянуть руку помощи Зямзикову. Над крышами по-прежнему витали вороны. До этого дня Викентий видел ад только на обложках компакт-дисков норвежских чернушников и не догадывался, что именно этот летний московский полдень послужил им источником вдохновения.

Вдалеке виднелись башни Кремля. Сонмы крылатых тварей взлетали в небо, словно струя воды из фонтана, из тайного отверстия где-то в самой его середине и тут же рассыпались веером капель над столицей.

Внезапно простая в своей очевидности мысль пронзила мозг Зямзикова: он сошел с ума. Викентий даже удивился, как это он не сделал столь очевидный вывод раньше. Сумасшествие объясняло если не все, то многое из случившегося сегодня. Возможно, рассудок помрачился только на время — Зямзиков видел немало таких случаев в рюмочной «У Веселой белочки».

Воспрянув духом, он уверенно зашагал по вздыбившейся улице, наглядно демонстрировавшей своим профилем шарообразность планеты, на которой жил Викентий.

XII

Вид пустой квартиры (Маша, как обычно, ушла пить кофе и сплетничать к своей подружке, жене Хрякина, Полине) успокоил Зямзикова. Журчал сорванный бачок в туалете, тарахтел холодильник, ровно светился экран монитора — все было как всегда, ничего не вело себя неподобающим образом. Родные стены преисполнили сердце Викентия решимостью: следовало действовать всем чертям вопреки. Сев за компьютер, он вновь набрал проклятый адрес: сайт оказался там, где ему и следовало быть, вместе с ехидной рожей прародителя Шломо. Утешало лишь то, что показания счетчика не изменились. Викентий снова набрал номер хост-провайдера. Ответом, как и прежде, был легкий джаз и голос дамы-робота, попросивший Зямзикова не класть трубку, не отчаиваться и ждать. Викентий подчинился.

Джаз он, понятное дело, не любил, но сегодня звучавшая в трубке музыка буквально заворожила его. Викентий увидел пальмы, жаркий песок, голубое море. Из золотого саксофона в руках Зямзикова лились звуки, сладкие, как сок сахарного тростника, пряные, как ямайский перец. Черные, как эбено-

вое дерево, пальцы Викентия с плоскими розовыми ногтями проворно бегали по клавишам инструмента. Напротив за столиком тропического кафе сидел красивый молодой блондин с хорошо развитыми трицепсами. Блондин курил толстую черную сигару, подносил ее к пухлым, изящно очерченным губам и сладострастно облизывал ее аккуратно обрезанный кончик. Зямзикову так хотелось очутиться на месте этой сигары, и он еще сильнее впивался крепкими белыми зубами в мундштук саксофона, еще проворнее выводил томную, страстную мелодию. Огонек пульсировал в такт с каждой затяжкой юноши, он разрастался, становился огромен, как багровый шар, карибского солнца, опускающегося в дымку над морским горизонтом. «Хава нагила, хава хава нагила, хава хава нагила вэнисмэха», — пел саксофон. Молодой человек положил сигару на край пепельницы, взялся рукой за выгоревший на солнце чуб и резко дернул за него. Туловище его тут же распалось на две половины, словно виниловый костюм, трицепсы и бицепсы стремительно опали, а из-под съежившейся оболочки показались тощие плечи и прыщавое острое личико куратора Миши.

Вздрогнув, Викентий вышел из транса. Не было ни Карибов, ни саксофона, ни кафе у пляжа, ни сигары — красный же шар на поверку оказался индикатором стоявшего на столе автоответчика — пока в квартире никого не было, кто-то звонил. Викентий положил трубку, решив, что повторит попытку после прослушивания сообщения, надавил на тревожный багровый огонек и тут же пожалел о содеянном.

Все тот же знакомый ехидный Голос прошипел в динамике:

— Эх, Викентий, Викентий! Понял теперь, что ты у Меня в руках? Я заблокировал доступ на этот ресурс для всех IP, кроме твоего. Но как заблокировал, так могу и разблокировать. Покайся, вспомни о грехах твоих, христианин хуев! Это Я тебе говорю, твой Господин!

Слушая короткие гудки, Викентий понял, как глубоко он заблуждался. Всю жизнь он полагал, что кошмар — это то, от чего просыпаются с криком посреди ночи. Но лишь теперь до него

дошло, что настоящий кошмар — это то, от чего проснуться нельзя, кричи не кричи.

Терять было уже нечего. Зямзиков вспомнил, что в холодильнике должна стоять початая бутылка водки. «Клин клином вышибают …» — подумалось ему, и он обреченно побрел на кухню.

XIII

За безликой дверью с табличкой «Абонентский сервис» сидел прилично одетый молодой человек. Перед ним стояли монитор, пиала с сенча и подносик с недоеденными суши. Молодой человек смотрел в монитор, на голове у него красовалась телефонная гарнитура. Мало бы кто опознал в подтянутом служителе всемирной паутины легендарного басиста «Молотов Тора» Иванова-Йелдабаофа: для этого следовало бы по меньшей мере стянуть с него итальянский свитер и футболку с надписью padonki.org, чтобы увидеть на спине хорошо знакомые поклонникам русской разновидности норвежского черного металла татуировки с изображением совокупляющихся демонов.

В наушниках пропищал гудок, и тут же на мониторе высветился телефонный номер клиента. Иванов-Йелдобаоф гнусно ухмыльнулся, разинул пасть и забросил в нее белый катышек суши, на котором было распято беззащитное нежно-розовое тельце креветки.

«Пусть помается, козел! — подумал Иванов-Йелдобаоф. — Такую группу развалил!» — и начал старательно распалять свой гнев. Как всякий ханжа — неважно, христианин, сатанист или сисадмин — он подсознательно понимал, что нет лучшего способа скрыть истинные мотивы своего поступка, чем благородное негодование. В глубине души ему было наплевать на «Молоты Тора» — работать техсаппортером было намного приятней, чем перетаскивать тяжелый басовый комбик из одного заплеванного подвала в другой. Решительным усилием воли он задвинул в подсознание ящик памяти, в котором хранились так и не доставшиеся ему в тот далекий вечер люськины бледная спина и маленькие острые сиськи.

XIV

Еще в коридоре Зямзиков осознал, что спокойствие, царившее в квартире, было не более чем предательской ловушкой. Мало того, что слон, которого завели соседи сверху, снова принялся продавливать потолок, так тут еще Зямзиков вспомнил, что живет на последнем этаже, а это напрочь исключало простую и уютную слоновью гипотезу. На фоне этого открытия такие мелочи, как оживший узор на обоях или искрящиеся неоновыми сполохами углы мебели, уже не играли ровно никакого значения.

Войдя на кухню, Викентий понял, что сделал это зря. На поверхностный взгляд это была, конечно, кухня. Все вроде бы оставалось на месте — плита, раковина, стулья, стол. Но в то же время это была совсем не она. Кухня имела кубическую форму, Зямзиков же находился в сферическом помещении с круглым иллюминатором из толстого, мутного стекла, за которым пузырилась ржаво-зеленая топь. В глубине топи что-то жутко ворочалось, а над поверхностью ее роилась какая-то нечисть — не то вороны, не то покемоны, не то вообще хрен знает кто. По стенам сферы беззвучно струились огненные надписи на непонятном языке. Белый шкаф возле иллюминатора гудел и вибрировал, и Зямзиков понял, что это вовсе не холодильник, а система жизнеобеспечения. Подойдя к системе, Викентий распахнул дверцу: изнутри вырвался пучок ослепительного света, словно там находилась изложница с расплавленной сталью. Захлопнув дверцу, Викентий понял, что никакая в мире сила не заставит его снова открыть это устройство, чтобы извлечь из него бутылку сорокаградусной, которая, к тому же, наверняка давно расплавилась. Нужно было срочно бежать отсюда. Зямзиков повернулся к двери и увидел, что она стала маленькой, размером с крохотную форточку, через которую не пролез бы даже хомячок.

Только теперь до Зямзикова дошел подлинный масштаб приключившейся с ним трагедии: он находился в аварийной капсуле звездолета, потерпевшего крушение вблизи гиблой планеты. «Интересно, на сколько хватит кислорода?» — мелькнуло в голове у него. Кричать было бесполезно — до ближайшего гуманоида, который мог бы прийти на помощь, было сотни и сотни парсек. Выйти же наружу без скафандра и бластера даже при наличии двери нормальных размеров означало верную смерть. Оставалось только покориться судьбе. Викентий сел на стул, закрыл глаза и попытался не дышать, чтобы сберечь драгоценный газ.

Но сидеть на стуле тоже было страшно: закрыв глаза, Викентий тут же услышал, как тысячи острых коготков скребутся о стекло иллюминатора. Рано или поздно их усилия увенчаются успехом, и тогда ужасные создания ворвутся в капсулу и съедят его, если не что похуже. Викентий вскочил со стула и заметался по капсуле. Глаза его наткнулись на какой-то загадочный прибор с множеством кнопок и лампочек. Это было радио! А радио означало связь с родной планетой, шанс на возвращение. Викентий включил радио и начал крутить ручку настройки. Прорвавшись сквозь жуткие завывания и рев инопланетной музыки, Зямзиков наконец вышел на частоту, где говорили по-русски, и сделал звук погромче. Гнусавый и картавый диктор радостно сообщил:

— А теперь — новости столицы! Сегодня на Манежной площади прошла церемония закладки памятника Шломо Зямзе. Монумент работы скульптора Ркацители еще в эскизах вызвал бурные споры общественности. Многие гражданские организации обеспокоены тем, что стометровая статуя Зямзи исказит исторически сложившийся архитектурный облик Москвы. На закладке памятника мэр Кац сказал…

Пытаясь уйти с ненавистной волны, Викентий так сильно повернул ручку настройки, что она осталась у него в руках. Приемник, впрочем, уже жил своей собственной жизнью — он стремительно перебирал мегагерцы, пока не остановился на какой-то совсем уже запредельной частоте. От китайских динамиков повеяло нечеловеческим холодом, разноцветные лам-

почки по их ободку ярко вспыхнули, а затем с треском лопнули, наполнив кухню запахом горелой проводки. И тогда из приемника к Зямзикову вновь обратился Голос:

— Ну что, урод, теперь поговорим по понятиям?

Урод попытался выдернуть вилку магнитолы из сети. Ответом ему был нечеловеческий смех.

— Выключить Меня хочешь? Руки коротки!

— Что Тебе от меня надо? — с отчаянием загнанного зайца вякнул Викентий.

— Любви… — хихикнул Голос.

— Хочешь, я разрою помойку и принесу коробку обратно? — предложил Викентий.

Голос захихикал еще противнее.

— Помойку? Ты за окно-то хоть смотрел? Еще та помоечка… Да и в дверь ты не пролезешь, вон брюхо какое отъел… К тому же насрать мне на твою коробку. Шняга этот твой норвежский блэк-метал. Я лично больше по Штокгаузену прикалываюсь.

— Что же Тебе тогда от меня надо? — пискнул Викентий.

Эфир шуршал целую вечность, а затем голос как-то очень по-детски, смущенно попросил:

— Убей Машку, а?

XV

Любил ли Викентий свою жену? Сказать сложно, но боялся точно. Иногда, проснувшись среди ночи, он испуганно взирал на ее точеный профиль и пугался еще больше. Иногда ему хотелось е**уть со всей дури по ее аристократическому носу, но бунт этот, бессмысленный и бестолковый, угасал в зародыше при одной только мысли о возможных последствиях. Е**уть — да, порой хотелось, а вот убить — это уже чересчур. Все мужское нутро Зямзикова встало на дыбы при одной только мысли о женоубийстве.

— Да ладно, — откликнулся, словно прочтя его мысли, Голос. — Баба с возу, Кибеле легче. Убей Машку, а?

— Ни за что! — твердо, как партизан, ответил Викентий.

— Как хочешь, — с деланным равнодушием отозвался Голос. — Ты только учти, что кислорода осталось на полчаса. Задохнуться, впрочем, все равно не успеешь, потому что через пятнадцать минут зверушки прогрызут стекло, и тебе п**дец. Что они с тобой сделают, я тебе рассказывать, пожалуй, не стану, а то сдохнешь от страха раньше времени.

— Но за что? Машку, в смысле… — прошептал Викентий.

— И он таки Меня спрашивает? — воскликнул Голос с пародийным местечковым акцентом. — Разве тебе не объяснили, ничтожный раб, что Жертва искупается только Жертвой? Ты принес в жертву ей Меня, теперь придется проделать обратную операцию.

— Я… не… могу… — одними губами сказал Зямзиков.

— Можешь, Вика, можешь! Сам подумай, чего эту б**дь жалеть. Вот куда она сейчас пошла, знаешь?

— К Полине, кофе пить… — неуверенно пробормотал Зямзиков.

— Дебил! Врет она тебе каждое утро, Полина по утрам на работу ходит. А Машка к Хрякину шастает. Трахается она с ним.

— Лжешь, пидор! — позабыв про страх вскричал Викентий.

— От пидора слышу, — спокойно парировал Князь Тьмы. — Ишь как вскипел, Отелло ты наш. Чувствуется кровь предков… В общем, Машка твоя с Хрякиным это все и подстроили: и сайт, и сообщение на автоответчике. Хотели скомпрометировать тебя в глазах православных граждан, захватить руководство «Золотой ордой» и блудить дальше в свое удовольствие.

Викентий в ужасе замотал головой.

— Но это еще цветочки, — продолжал неумолимый Голос, — а вот тебе и ягодки. Хрякин, между прочим, парикмахером только притворяется, а на самом деле он — питающийся человеческими ушами восьмирукий ракоскорпион, а вовсе не пудель, как ты полагал по убогости воображения. И Машка твоя, соответственно, агент галактических тараканов, помещенная в человеческую оболочку, созданную путем оплодотворения яйцеклетки самки норвежского лемминга генетиче-

ским материалом мумии вождя мирового пролетариата тов. Ульянова-Ленина. А явились они на Землю с целью похищения разума патриота Викентия Зямзикова, чтобы тот не помешал им осуществить коварный план по уничтожению духовного сопротивления человечества. Завладев твоим разумом, они поместили его в капсулу, которую при помощи нуль-транспортировки забросили на гиблую планету, где она вскоре станет добычей покемонов. Если ты не послушаешься Меня, конечно.

Зямзиков завертелся посреди кухни. В глубине души он понимал, что Голос прав, и удивлялся тому, что он сам раньше не догадывался о столь очевидных вещах. Но какая-то часть его души по-прежнему уповала на чудо, которое положит конец кошмару.

И тут взгляд его вновь упал на иконостас, который претерпел с утра существенные изменения, отразившие новую раскладку метафизических сил: хазарин поменялся местами с князем Святославом и радостно разил того копьем, Богородица обернулась голой Люською с кровавой пентаграммой на животе, призывно взиравшей на Викентия, и только Спаситель оставался самим собой, за исключением той детали, что в настоящий момент он был обращен к Викентию спиной.

Зямзиков бухнулся на колени и взмолился:

— Господи! Господи! Спаси меня грешного!

Медленно, словно в рапиде, Спаситель обернулся. Из глубины иконы на Зямзикова смотрели добрые, немного усталые глаза куратора Миши.

— Эх, Викентий! — вздохнул Миша. — Мы тебе доверяли, деньги тебе давали. Думали, ты — наш. А ты в душе оказался гнилой, на прежнего хозяина за спиной у нас работал. Поддерживал с ним сношения через камень, начиненный электронной аппаратурой.

Зямзиков обернулся: на месте магнитолы лежал оплавившийся серый булыжник, над которым витал запах сгоревшей проводки.

— С предателями у нас, сам знаешь, разговор короткий, — подвел итог Миша.

— Господи! — взвыл Викентий. — Я же от Него отрекся.

— За бабки не отрекаются, — хмыкнул Миша. — За бабки предают.

— Убей Машку, и мы тебе снова поверим, — упрямо прошипел булыжник.

— Увы, — вздохнул Миша. — Товарищ абсолютно прав.

— Нееет! — заскулил Викентий. — Он лжет! Он стравить нас хочет! Это же наш враг!

— Все зависит от обстоятельств, — объяснил Миша. — В большинстве случаев мы согласуем свои операции с коллегой. Несмотря на отдельные расхождения, у нас много и общего. Это помогает нам в работе с двойными агентами. К тому же — бабки вчера у меня брал? Теперь отрабатывай…

— А мы уж постараемся все уладить, — прошипел Голос. — и с покемонами, и сайтом, и с возвращением на Родину.

Викентий стоял на коленях, крупные слезы стекали по его щетинистым ланитам. Не имело смысла отрицать очевидное — его загнали в угол. И был готов на что угодно лишь бы не слышать этих жестоких слов, не видеть ползущих по стенам загадочных надписей, не чувствовать ознобной кожей, как неутомимо вгрызаются в стекло мириады острых коготков. В голове нестерпимо звенело — видимо, вследствие нехватки кислорода. Тяжелое свинцовое тело тянуло голову вниз. Викентий старался удержать ее на приличной высоте, но ему было страшно, что шея может не выдержать и порваться.

Машинально Зямзиков схватился за сердце, чтобы хотя бы оно не провалилось в бездну вслед за туловищем, и тут его пальцы наткнулись на рукоятку кинжала.

И в тот же миг все вокруг чудесно переменилось. Монотонно тарахтел холодильник, журчала в бачке вода, молча стояла на стиральной машине китайская магнитола, сгоревшая еще на прошлой неделе. За квадратным окном кубической кухни простирался обыкновенный пыльный московский пейзаж,

над которым кружили банальные помоечные вороны. Никто больше не подмигивал Зямзикову и не глумился над ним: напротив, Спаситель взирал на Зямзикова с иконостаса строго и сдержано, словно чего-то ждал от него. И даже звон в голове тут же прошел: вернее не прошел, а переместился из внутричерепного пространства в прихожую, превратившись в настойчиво дребезжавший дверной звонок. Мир вернулся к будничной нормальности, но Викентий понимал, что это затишье — не более, чем аванс, который выдан ему под конкретное задание, поэтому продолжал крепко сжимать кинжал. Он знал: стоит ему на минуту проявить нерешительность — кошмар вернется обратно, и мучения продолжатся.

Звонок не унимался. Зямзиков поднялся с коленей и направился к двери, приобретшей стандартные для типового крупноблочного дома размеры. Миновав коридор, очутился у входа в квартиру. За железной дверью кто-то плаксиво причитал.

Зямзиков прислушался:

— Котик, открой! Что с тобой стряслось? Полинке Хрякин звонил, говорил, что ты не в себе, зарезать его хотел. Котик, открой, я ключи забыла! Что с тобой? Это все эта водка проклятая! Не волнуйся, Котик, мы тебя вылечим!..

Таракан зарыдал. Викентий ухмыльнулся. За прошедшие несколько часов он стал мудрее и проницательнее. Теперь пришельцам уже не удастся провести его на мякине. Встав за дверью и занеся правой рукой кинжал, он осторожно повернул левой ручку и потянул дверь на себя.

В прихожую ворвалось отвратительное существо, нелепо размахивающее конечностями. Два больших шара, покачивающихся под Машкиной футболкой явно были коконами, в которых вызревало следующее поколение говорящих насекомых. На лице жутко шевелились перламутрово-алые жвалы, но страшнее всего были огромные фиолетово-зеленые, с переливами, фасетчатые глаза.

Викентий успел удивиться тому, как долго он принимал эти нечеловеческие органы зрения за купленные им самим

в Коньково солнцезащитные очки и чуть было не выронил от ужаса нож, но тут кошмар внезапно вернулся — поплыли обои, заходил ходуном потолок, заскоблили по стеклу острые коготки. Подвывая от страха, Зямзиков ударил инопланетянина кинжалом чуть пониже жвал, а потом еще раз, и еще, и еще.

Бледный хитин лопнул, и из дыры в нем на волю хлынул поток из тысяч и тысяч омерзительных багровых тварей, липких и вертких, словно брызги какой-то жидкости. Они летели Зямзикову в глаза, в нос, в губы, в щеки. Викентий почувствовал на языке металлический вкус крови — очевидно, верткие демоны вгрызлись острыми зубками в его плоть и та начала кровоточить.

Враги в очередной раз обманули Зямзикова, как обманывали всегда русский народ. Они использовали его в своих гнусных целях — вот почему вчера так гнусно ухмылялся Миша, протягивая ему деньги. Вот почему запугивал его Голос. Им нужно было, чтобы Викентий открыл для полчища жутких тварей дверь в этот мир. Зямзиков дико закричал не своим голосом. Кровь текла по лицу, где-то на полу жутко хрипел умирающий таракан, а проникшие в мозг покемоны доедали последние остатки разума.

I

Ларек, принадлежавший ПБОЮЛ «Ахундов А. А.», обеспечивал население товарами повседневного спроса: спиртными напитками, сигаретами, сушеным планктоном в пакетиках, презервативами «Vizit» в ассортименте и прочей чепухой, без которой современный человек не мыслит своего существования.

Продавцов у Ахундова было двое. Любой, кто посмотрел бы на них, решил, что попали они в ларек не случайно, а после тщательного кастинга: представить, чтобы подобная пара могла сложиться стихийно, было труднее, чем поверить в самопроизвольное зарождение жизни из первобытного бульона —

настолько полную противоположность друг другу являли два приказчика. И как бы удивился наш гипотетический «любой», если бы узнал, что перед ним два родных брата, единокровных и единоутробных.

Старший Углаков, здоровенный детина с неприветливым лицом того типа, который в народе именуют «будкой» или «рязхой», кардинально не походил на Углакова Антона — субтильного блондина в очках фасона, который с легкой руки Николая Добролюбова, Джона Леннона и Егора Летова стал чуть ли не униформой интеллектуалов-нонконформистов. Стоит ли разъяснять, что не только физическая, но и духовная природа братьев удивляла контрастами. Однако, несмотря на это, их жизненные пути до сих пор так и не разошлись. Впрочем, каких только чудес не бывает между братьями!

Предприятие Ахундова, выгодно расположенное между аркой ворот, которые вели во двор, где находился штаб какой-то патриотической организации, и входом в ночной танцевальный клуб «Конвульсия», процветало. Патриоты исправно закупали крупные партии незамысловатых товаров, чем обеспечивали экономическую стабильность бизнеса, люди же из клуба, не покупали ничего, кроме сигарет (охрана все равно отбирала спиртное на входе), но, как вскоре выяснилось, были основой уже даже не стабильности, а полномасштабного просперити. Выяснилось это не далее чем на третий день с начала трудовой деятельности братьев Углаковых в торговой точке, предыдущего обитателя которой незадолго до этого увезли в даль светлую молодцы из ФСКН.

Неприметный прыщеватый человек подошел к старшему из братьев, отвел его в сторону, показал корочки и попросил зайти через час в подсобное помещение рюмочной «У Веселой белочки». Там, посреди ящиков и пустых кегов, он предложил Даниилу Углакову простой выбор между крупными неприятностями и взаимовыгодным сотрудничеством. Поскольку Дэн уже видел корочку, на принятие правильного решения у него ушло примерно десять секунд.

Прервавшаяся было на неделю торговля разноцветными таблетками, расписными промокашками и сверкающими порошками быстро восстановила прежний оборот. Миша честно выплачивал Дэну положенный процент, но Дэн все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Ему не давала покоя незавидная участь своего предшественника. Впрочем, деньги убивают всякий страх в душе игрока, а Дэн был игрок.

Удивительно, но братья прекрасно дополняли друг друга в торговле: люди, нырявшие направо, в арку, уносили с собой купленные у Антона спиртные напитки, а люди, уходившие налево, активно приобретали запретный товар у Даниила. Обратного не случалось никогда: очевидно патриотам было прикольно затариваться бухлом у юноши с внешностью «антифа», а клубберам — синтетическими наркотиками у персонажа с обликом ушедшего на покой скинхеда.

В тот вечер Миша вручил Дэну конверт, в котором лежала пара десятков маленьких порций расфасованного по пакетикам оранжевого порошка. (Конверт этот — обычный белый замызганный конверт — почему-то всегда уже лежал перед Мишей на столе, когда Дэн входил в помещение. Миша всегда просил передавать ему деньги за товар в том же конверте, который Дэн клал перед ним на стол. Дэн ни разу не рискнул поинтересоваться причиной этой маленькой странности.)

— С какой телегой толкать? — поинтересовался Дэн, взяв со стола конверт.

— Текст такой, — деловито разъяснил Миша. — «Вроде обычной кислой, только прет пару суток, причем по-черному. И приход тормозной — часов через шесть накроет, не раньше. Экспериментальная партия — хохлы делают на основе генетически модифицированных апельсинов». Если скажут что-нибудь вроде «Так ведь крышу снесет!», отвечай что-нибудь вроде «Так ты ж этого и хочешь!».

— Но ведь и вправду, блин, снесет! — ужаснулся Дэн.

— Ну и пусть сносит, — хмыкнул Миша. — Тебе что, этих уродов жаль? Они же все пидоры, даже те, что с бабами спят.

Пидоров и наркоманов Дэн не любил и жалеть их не собирался. С конвертом в кармане он вернулся на рабочее место.

Открыв дверь, он поморщился, словно от неприятного запаха. В уши ему ударил блеющий голос Бориса Гребенщикова.

— Антон, б**дь, выключи немедленно этого пидора! — рявкнул он.

Брат неохотно потянулся к магнитоле и нажал на выключатель.

— Углук, сколько раз я просил называть меня Антинеором? — обреченно сказал он.

— Я не Углук, а Дэн — понял, урод! — отозвался старший.

С этой перепалки уже лет как восемь начиналась каждая встреча братьев.

— И вообще — что хочу, то и слушаю, — заявил Антон.

— Ты на работе! — повысил голос Дэн. — Помни, блин! Слушаешь тут говнорок всякий, еще клиентов отпугнешь.

— Я бы на твоем месте помолчал насчет клиентов, — огрызнулся Антон. — Ты, что ли, кассу делаешь?

На этот риторический вопрос у Дэна не нашлось достойного ответа: разумеется, он никогда не засвечивал ни перед братом, ни тем более перед владельцем ларька своего параллельного бизнеса. Товар он вкладывал внутрь пустых сигаретных пачек, деньги клиенты подавали ему свернутыми в тугую трубочку, так что со стороны все выглядело вполне невинно. Проблема состояла лишь в том, что сигареты — не водка, много на них не наваришь, так что приходилось молча сносить упреки брата, который скрывал от хозяина полную профнепригодность своего родственника.

— Да и по сути ты не прав, — продолжал Антон. — Фашистам твоим, между прочим, БГ очень даже нравится. Они одну песню даже поют, только слова переделали:

Есть город золотой
Под небом голубым,
Там нет жидов и ниггеров,
Там русские живут…

— Совсем мозги спалил, наркоман проклятый! — поморщился Дэн. — Несешь черт знает что! У всех братья как люди, один ты — урод. А все из-за наркоты!

Антон сталкивался с наркотиками единственный раз в жизни, во время слета лесных эльфов, на котором он съел за компанию со всеми десяток чахлых подмосковных представителей рода psilocybe. То ли у Антона был специальный организм, то ли псилоцибин в грибах оказался паленый, азербайджанский, но всю ночь, пока его друзья беседовали с деревьями и возвращались к корням, он проблевал за ближайшим кустом.

Впрочем, он знал, что возражать брату в такие минуты бесполезно. О вреде наркотиков Дэн мог говорить долго и вдохновенно — особенно в те дни, когда он получал от Миши новую порцию товара.

— Ты пойми, брат, — вещал Дэн, — я эти, б**дь, наркотики ненавижу. И знаешь почему? Думаешь, вред здоровью и все такое? Да срал я на здоровье этих уродов, которые ими травятся! Не в том дело: от водки тоже здоровья не прибавляется. Дело в том, что наркоман — это не человек. И понятия у него все нечеловеческие. Вот выпьет нормальный мужик водки и ведет себя по-людски: к бабам клеится, морду бьет, до**ывается до каждого встречного — в общем, отдыхает. А наркоман в уголок сядет и что-то там себе думает. Или трясется под свой тыщ-тыщ, пока кони не двинет. Ведет себя не как часть общества, одним словом…

— Брат, ты прав, — поспешно согласился Антон. — Только слушай, я жрать очень хочу. Давай я в пельмешку сбегаю, а ты постоишь? А потом про наркотики дальше рассказывать будешь…

Дэн недовольно поморщился. Он очень не любил, когда ему мешали убаюкивать нечистую совесть. С другой стороны, требовалось срочно расфасовать товар по сигаретным пачкам.

— Ладно, вали, урод! — буркнул он. — Аллах Акбарович не появлялся? (На самом деле Ахундова звали Алхан Анварович, но об этом помнил только он сам и его старенькая мама в Гяндже.)

— Звонил на трубу, — сообщил Антон. — Говорил, что выручку сегодня ближе к полночи снимать будет.

— Ясно, — промычал Дэн. — Давай вали, да покороче!

Недовольно пробормотав вслед удалявшейся братской спине: «Пробило с наркоты-то на хавку козла», Дэн приготовился распихивать оранжевый порошок по пустым пачкам из-под «Пэл Мэл».

На душе было неуютно. Дэн никак не мог отделаться от ощущения, что Миша как-то странно на него посмотрел. С одной стороны, с такой крышей, как Миша, сам черт был не страшен, но с другой — Дэн предпочел бы иметь проблемы именно с чертом, а не с Мишей. «Пэл Мэл» явно больше не канал — если кто заложит, то именно в него и сунут нос в первую очередь. И тут Дэна осенило: схватив бутылку «Миллера», он открутил крышечку и всыпал внутрь оранжевый порошок, который моментально растворился: не пришлось даже взбалтывать. Затем Дэн с усилием нахлобучил крышечку на горлышко. «Эврика!» — воскликнул он про себя, хотя использовал для выражения этой мысли совсем другое русское слово. Вскоре все имевшиеся в наличии в ларьке бутылки «Миллера» в количестве одного ящика претерпели подобную же процедуру. С облегчением вытерев ладони о брюки, Дэн начал искать место, куда бы спрятать хитрое пиво.

Таковое обнаружилось за стулом, на котором обычно восседал брат. Задвинув стул назад, Дэн просиял. До открытия «Конвульсии» еще оставался целый час. До приезда хозяина и того больше. Недолго думая, Дэн запустил руку в денежный ящик: наощупь должно было с лихвой хватить на час игры по крупной в ближайшем игровом зале. Засунув деньги в конверт, Дэн испытал облегчение. Даже если он проиграет все до последней копейки, выручки от реализации товара с лихвой хватит, чтобы покрыть недостачу.

Стоя в пробке у выезда на Митино, Миша в последний раз взвешивал в голове все детали продуманной им операции. Ключевую роль в ней предстояло сыграть обыкновенному замызганному белому конверту. Несмотря на свой затрепанный вид, конверт имел на себе отпечатки только двух человек — Даниила Углакова и Викентия Зямзикова. При наличии внутри конверта крупной дозы синтетического наркотика совокупность данных навела бы даже самого туповатого следователя на совершенно однозначную схему реализации запрещенных препаратов в окрестностях клуба «Конвульсия». А то, что подобные препараты реализовывались, стало бы очевидным после событий, которые сегодня ночью должны были разыграться в клубе. С Зямзиковым пора было кончать. Даже у неразборчивого по долгу службы Миши нелепая фигура вождя «Золотой орды» — нечесаные лохмы и борода, сомнительные татуировки на бицепсах, дурацкий архиерейский крест на шее — вызывали непроизвольное отторжение. С таким вождем о публичности не приходилось и мечтать. Зямзиков принадлежал прошлому. Современному национал-патриотизму полагалось иметь другое лицо. Например, такое, как у этого верткого малого Хрякина, всегда хорошо причесанного и гладко выбритого, владеющего приятным парикмахерским обращением. «Однозначно», — решил Миша и, газанув, ловко вписался в щель между «газелью» и замешкавшимся «гольфом».

Как только Антон вернулся из пельменной, Дэн перепоручил торговую точку брату и направился легким шагом туда, где неутомимо крутятся колеса фортуны.

Дождавшись, когда брат удалится на безопасное расстояние, Антон включил Гребенщикова и полез в тайник за стулом. К его изумлению он обнаружил в углублении впиханный туда ящик «Миллера». Вернув пиво на стеллаж, Антон поспешно кинулся проверять тайник — не порылся ли там брат. Вскоре он успокоено вздохнул: заветная тетрадь лежала на месте, запечатанная для надежности воском.

Взяв гелевую ручку, Антон открыл тетрадь на последней исписанной странице и сделал глубокий вдох. Трепет творчества охватил его тело, волшебный, тайный мир предстал перед его очами. Голова его парила среди облаков, а где-то в бездне, рядом с подошвами его кроссовок, ползали карлики, в которых

любой микробиолог распознал бы Дж. Р. Р. Толкиена, Р. Желязны, Н. Перумова и С. Лукьяненко.

Вонзив перо в страницу, Антон продолжил:

«…и вот что еще я скажу тебе, Гурбунд, — тот, кто истинно служит Темной Силе, ближе нам, Светлым, чем тот, кто продает себя за деньги, власть или подчинившись духу века.

— Твои слова звучат для меня странно, премудрый Ахинеон! — изумился Гурбунд, взирая на величественную фигуру мага, сжимавшую в руке светоносный посох. — Разве не учили нас унунуры, что Тьма и Свет никогда не смешиваются?

— Ты хорошо усвоил уроки унунуров, воин! — улыбнулся маг. — Но знай, Свет может впасть в Тьму, и Тьма узреть Свет, но тот, кто предпочитает прозябать в разделяющей их серости, становится добычей скитающихся демонов-самозванцев, искушающих ложью и миражами. Им уготована страшная участь, которая настигает их причудливыми путями.

И с этими словами величественная фигура старца растворилась под сводами пещеры, оставив Гурбунда в глубочайшей задумчивости».

В это мгновение в закрытое окно ларька, на котором висела табличка «Открыто», постучали. Неохотно спрятав тетрадь на место, Антон открыл форточку. Стучался хорошо знакомый Антону патриот: верткий и кудрявый, как пудель. Рядом с ним стояли пара патриотов покрепче, явно привлеченные в качестве тягловой силы.

— Значит так, клоун, — протявкал пудель. — Мы сегодня гуляем. Десять «Богородской» по ноль семь, четыре ящика «Балтики» и два — «Миллера». Это для вождя, он у нас говна не пьет.

— «Миллера» только один остался, — сообщил Антон.

— Ну давай один, — неохотно согласился золотоордынец.

КОНЕЦ

2006

Бог больше не живет в ЖЖ

Однажды Бог подумал: «Почему бы Мне не завести аккаунт в Живом Журнале?»

«В конце-то концов (так думал Бог), это вполне современный способ общения с людьми — ничем не хуже огненного столпа или горящего куста (кстати, отличная идея для Моего юзерпика!)».

Первые же посты нового юзера привлекли внимание ЖЖ-сообщества. «Прикольный виртуал!» — писали друг другу ЖЖ-исты. Очень быстро Бог стал сначала тысячником, а потом и пятитысячником. Он отвечал на вопросы, отзывался на молитвы, вступал в полемику и даже не банил нахалов, писавших под Его откровениями о Страшном Суде и будущем Вселенной «ниасилил», «боян», «афтар, выпей йаду!» и «учи матчасть!» Он, невзирая на Свое всеведение, каждое утро запоем читал френд-ленту, как-то даже позабыл за этим делом вовремя вывести солнце из-за горизонта.

Однажды утром он с большим удивлением обнаружил в своей почте письмо из Abuse Team. «Дорогой друг, — писала Abuse Team, — на Вашей странице систематически публикуются материалы, оскорбительные для морали, нарушающие приватность других пользователей, возбуждающие расовую и религиозную рознь, гомофобию и классовую вражду». Сначала Бог возмутился, затем на мгновение задумался о том, не перенести ли аккаунт к Мише Вербицкому, потом решил не сдаваться. Написал пост, в котором призвал всех людей доброй воли выступить на Его защиту.

Ничего не помогло — через три дня аккаунт Бога был удален с сервера. (Позже выяснилось, что настучала в эбьюз-тим группа атеистов и фундаменталистов, сколоченная каким-то то ли

satana, то ли shaitan. Поговаривали, что под этим именем в реале обретался Папа Римский или Патриарх или они оба вместе).

Та ночь на планете Земля была страшной. Несколько ураганов сформировались на севере Карибского моря и, сметая все на своем пути, обрушились на побережье Флориды. Пара крупных метеоритов вонзилась в пегматитовый щит Скандинавии. В Лондоне вспыхнуло Вестминстерское аббатство.

Ближе к утру Бог несколько успокоился. В конце концов, он сам сотворил этих существ из малой капли и знал, чего они стоят. Он посмотрел вниз, на Землю. В свете утренних лучей его творение было прекрасным. Где-то в диких горах мальчик пас коз. Он только что совершил фаджр, как учил отец, а теперь чистил АКМ. Автомат был памятью об отце, который стал («Инша-Алла», — приговаривал мальчик перед тем, как подумать это) шахидом два года назад. Мальчик ничего не знал про Живой Журнал, и это тоже было прекрасно.

«Джабраил!» — подумал Бог. Архангел возник по Его велению, неизбывно прекрасный. Радуясь умению отчасти угадывать мысли Единого, он спросил:

— Уничтожить Портленд?

— Да нет, — ответил Бог, — это их не спасет. Скажи, как давно в последний раз ты воплощался в пылающий куст?

2006

Чтиво

«И отсекаю все лишнее...»
О. Роден, скульптор

Сидя на канапе, графиня слушала, как в камере-обскуре потрескивает магний, в то время как Жан отчаянно пытался наладить модную игрушку. Графине хотелось понять, откуда капитану известно про то, что Звездочка растянула себе бабки — видно, кто-то из конюхов оказался без меры болтлив. А ведь бедняга заложил дом — да и не только дом — кто бы мог это подумать? — все, все, что оставил ему престарелый Граф. Зачем? Зачем ему этот отчаянный риск?

— Ведомы ли нам все тайны, скрытые в натуре? — рассуждал между тем вслух Жан. — Если мы полагаем, что да, то мы просто пытаемся уподобить себя демиургу, который замочил кусок глины, дабы сотворить из него разумных тварей. Но сталкиваясь со стихийными элементами, мы понимаем, что отважились играть в опасные игры, подобно детям, которые полагают, что небесный отец не станет их журить. Увы! Скорее какая-нибудь оплошность в расчетах...

Графиня не слушала. «Сперва шикарная шестерка вороных, затем Звездочка... Я подставила себя под удар молвы, хотя мне сказали, ей-богу, что за ценную лошадь он готов стать даже под прямую наводку мортиры». Она вспомнила, что де Мирье ее звали завтра в оперу. Когда же эти глупцы оставят ее в покое. И любимая бонбоньерка к тому же раскололась... За дверью послышались шаги, кто-то из слуг посмотрел в щель между портьер, словно в глазок. В вечерней тишине поместья были слышны пасторальные звуки. Козел проблеял где-то вдалеке.

— Куда я денусь от людской молвы? — сказала громко графиня, не заботясь о том, что подумал Жан. Шесть месяцев под грузом терзаний, следствием одной роковой минуты страстей, измотали ее нервы, и в последнее время ей самой хотелось положить этому конец. Раньше, когда дела капитана еще не пришли в упадок, простые, ясные перспективы дамского счастья представлялись ей, но то, что это ожидание будет тянуться так долго… Словно по тонкому льду идешь через Сену, — думала она, — сделаешь неверный шаг и провалишься туда, где поджидает позор на весь Париж, туда, откуда нет возврата.

Хотелось ей вольной жизни — и муж умирает (хотя в преждевременной смерти его отчасти и ее вина — не уберегла от распутных парижских девок, от пагубного азарта, от ветра в голове. Воспоминания нахлынули и тут же дали другой ход мыслям). А может, и не было никакой любви, и все дело в желании стать владельцем шестерки вороных? Из разговоров с Жюли она знала, что от тех, кто еще ни разу не вращался в изменившемся после Реставрации свете, тех, кто провел бурные времена на службе в заморской колонии, не во Франции, нюхнул там пороху, уже обагрил в крови пальцы, трудно ожидать любви без расчета.

Графиня обмахнулась веером, подарком персидского посланника Сефер-бабы.

— Диавол, вот в ком все дело! — продолжал разглагольствовать Жан. — Я только что вспомнил, какие величественные сцены у Мильтона…

Графине было душно, она закатывала глаза, но Жан ничего не замечал…

— Роза, мистическая роза, все чаше и чаще я возвращаюсь мыслями к ней. Не исключено, что мы живем в последние недели перед концом света. Тем, кто упорствует в гордыне, стоит вспомнить, как скрутили архангелы Люцифера железными цепями, как вопила Лилит, что сидеть ему весь век в огненной тюрьме, страдая от невообразимого горя, которого ни одна живая душа не ведала. А ведь все могло быть иначе. Роза, мистическая роза всепрощения, знала все заранее до начала времен. Да что там знала, она помогала ему, пыталась подсказать путь спасения, но…

«Стричь, стричь плотную зеленую бумагу, — как-то невпопад подумала графиня, — и складывать… Я стала похожа на глупую куклу, дикие мысли мне приходят в голову! Это все духота».

Тут она заметила, что в комнату вошла породистая борзая сука, роняя слюну.

«Опять камердинер не покормил», — подумала графиня. «Да она не слушает! — догадался Жан. — Что-то сестра сильно сдала в последнее время. Все эти кавалеры, которые вьются вокруг по мелкому расчету… Порядка в доме никакого, и собака вот гуляет, будто не знает, где у нее подстилка. Думает ли сестра хотя бы иногда о мистической Розе, о том, что скоро всех нас поставят перед лицом Страшного Судии?»

Жан отошел к стенке, не зная, о чем спросить у совсем уже побледневшей сестры. Вдруг упадет в обморок, с нее станется.

«Вот он — конец света! — думал он. — Завтра падать в обморок будет уже некому. И римская курия просчиталась, не спасет ее капитолийская волчица!»

«У них нет доказательств, нет! — думала графиня. — Один слух ничего не докажет…»

Внезапно раздался грубый стук — непонятно откуда, стучали не в дверь. Жан, который было слегка успокоился, машинально взял в руки растрепанную книжонку, какую-то белиберду, из тех, что любят читать в метрополии — про красивую жизнь и сильные страсти в диких странах.

Читать эту чушь ему совсем не хотелось… От нечего делать он стал рассматривать страницы и увидел, что словно кто-то начал замазывать у него на глазах отдельные слова карандашом, словно хотел посмотреть, что из этого получится.

«Завтра снова на допрос», — подумалось Жану.

Сидя [redacted] в камере [redacted] Жан отчаянно пытался [redacted] понять, откуда

капитану известно про бабки — видно, кто-то заложил да только кто ? — Граф. Зачем? Зачем в натуре? — рассуждал Жан. — Если что , то просто замочил бы с ментами играть в игры не станет Скорее какая-нибудь шестерка подставила сказали, ей , что за ценную наводку оперу оставят ее в покое. И раскололась... За дверью послышались шаги, кто-то посмотрел в глазок. Козел .

— Куда я денусь ? — подумал Жан. Шесть месяцев под следствием измотали нервы в конец. Раньше дела простые, ясные , но это будет тянуться долго... Словно по тонкому льду идешь — сделаешь неверный шаг и провалишься туда, откуда нет возврата.

Хотелось вольной жизни — вина девок, азарта, ветра

в голове. Воспоминания нахлынули и тут же дали другой ход мыслям. А может и не было никакой шестерки ? Из тех, кто еще ни разу колонии не нюхнул а уже пальцы веером, бабы.

вот в ком все дело! Жан вспомнил, какие сцены закатывала

Роза, все чаще и чаще перед Тем, как вопила Лилит, что сидеть ему весь век в тюрьме, горя о на не ведала бы . Роза знала все . Да что там знала, она помогала ему

Стричь, стричь плотную зеленую бумагу и складывать куклу Это она сука,

— догадался Жан. — сдала по мелкому расчету гуляет, подстилка. Думает

поставят к стенке, спросить с нее будет уже некому. просчиталась, волчица!»

нет доказательств, нет!» Один стук . Жан слегка успокоился, взял в руки растрепанную книжонку, какую-то белиберду, из тех, что любят читать в метро — про красивую жизнь и сильные страсти .

Читать эту чушь ему совсем не хотелось… От нечего делать он начал замазывать отдельные слова карандашом,

«Завтра снова на допрос», — подумалось Жану.

1998

Дневник двора-колодца

День первый: Я — существую. Забавное ощущение. Первые наблюдения, первые выводы: мир — цилиндр неправильной формы. Одним из его оснований являюсь я, вторым — некая поверхность с постоянно меняющимся узором, от которой исходит равномерное свечение. Стены цилиндра — непрозрачные плоскости с многочисленными выступами и отдельными кристаллическими включениями. Через некоторое время свечение, исходящее от второго основания, стало ослабевать, но по мере этого начали ярко вспыхивать одно за другим кристаллические включения. В конце концов основание стало практически черным. Неужели навсегда?

День второй: Нет. Через некоторое время свечение полностью возвратилось. Очевидно, такой катаклизм происходит здесь с изрядной периодичностью. Для простоты решил называть период, когда свет исходит от второго основания, «днем», а период, когда светятся в основном кристаллические включения, — «ночью». Кстати, совсем забыл упомянуть: стены цилиндра обитаемы! Ура! Я не одинок во Вселенной!

День третий: Сегодня второе основание пересек яркий огненный шар и скрылся за краем цилиндра. Основание при этом имело необычный голубой цвет. Гениальное прозрение: кристаллические включения — это окна в стенах цилиндра! Когда огненный шар (я назвал его «солнце») скрывается за стенами цилиндра, лучи его проникают через эти окна, вызывая их свечение. Ближе к следующему дню окна гаснут, чтобы под утро частично зажечься снова. Обдумал, почему это так, и составил первую схему Вселенной, которая многое объясняет (рис. 1).

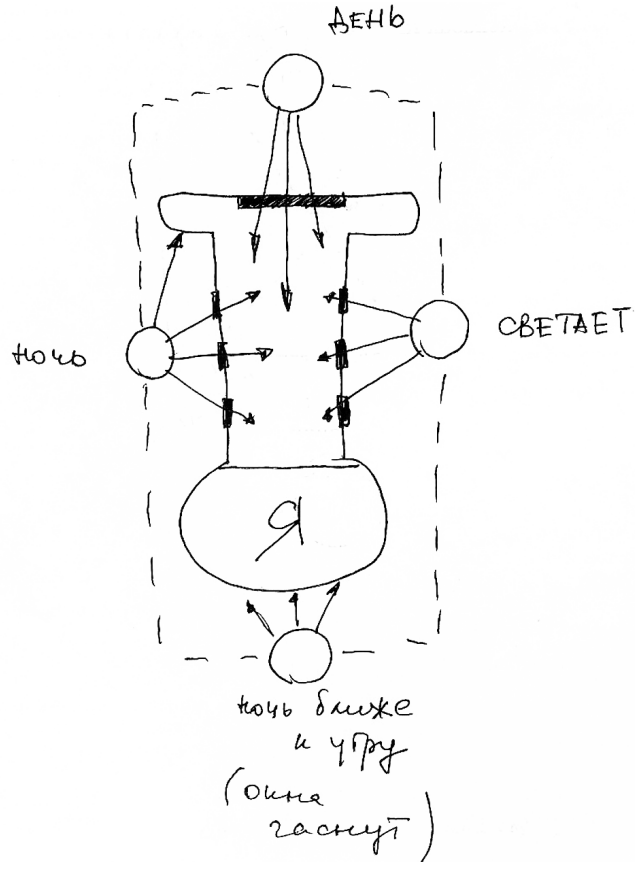

Рис. 1

Смелая догадка: возможно, во Вселенной существуют и другие дворы-колодцы с вращающимися вокруг них «солнцами».

Первое теоретическое затруднение: почему окна горят с обеих сторон, в то время как «солнце» находится с одной?

День четвертый: Сегодня для разнообразия занимался не астрономией, а биологией. Твари, населяющие стены ци-

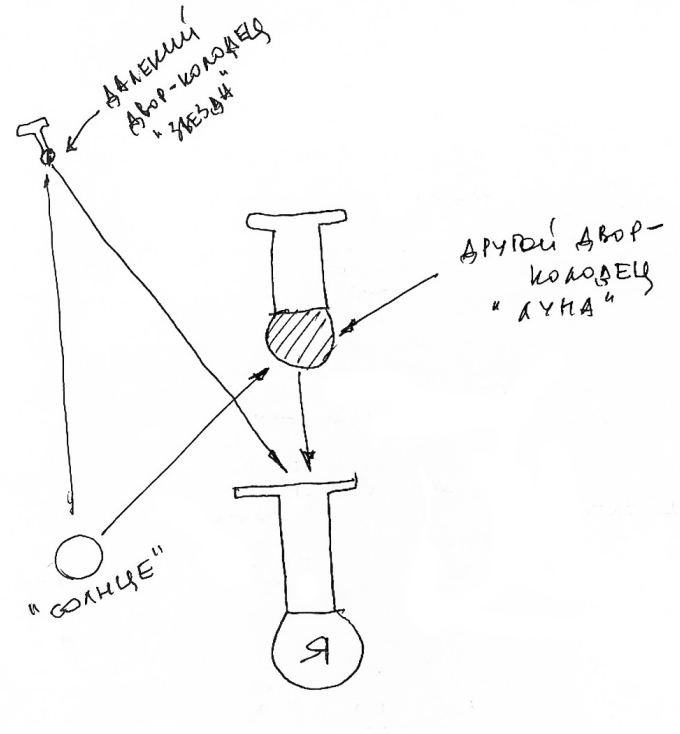

Рис. 2

линдра и иногда ползающие и по мне, кто они? Созданы ли они вместе со мной или существовали и до меня? Предположение, что я создан ими, отбросил сразу как вздорное. А может быть, они — всего лишь плод моего воображения? Большую часть времени существа эти проводят на внешней поверхности цилиндра. Интересно, почему? Кстати, есть еще и существа второго типа, гораздо более мелкие, которые населяют внутренний объем цилиндра и свободно перемещаются внутри его по всем направлениям. Возможно, это — личиночная форма первых существ. Перелиняв и сбросив покрывающий их своеобраз-

ный покров, они прикрепляются к поверхности цилиндра и переходят к оседлому существованию. Ввел некоторые термины: существ, живущих на моих стенах, назвал «людьми», а их свободно летающих личинок — «птицами».

День пятый: Сегодня ночью испугался до полусмерти: в неурочное время второе основание пересек светящийся шар. Думал, что настал конец света, однако выяснилось: это совсем не тот шар. Он — серебристый и светит не так ярко. Гениальная догадка: это другой двор-колодец! Я вижу его внешнюю сторону, освещенную лучами моего «солнца». Теперь я знаю, как я сам выгляжу со стороны (рис. 2)! И теперь мне ясно, что это за светящиеся точки, которые я видел и раньше, но считал инородными включениями внутри прозрачного второго основания: это еще более удаленные дворы-колодцы, отражающие лучи моего «солнца»! Ввожу ряд новых терминов: ближайший ДК — «луна», удаленные ДК — «звезды», прозрачное основание — «небо».

День шестой: С утра ощутил прилив гордости: благодаря имеющемуся у меня разуму, я за краткий срок моего существования сумел постичь в общих чертах окружающую меня Вселенную. Поэтому завтра можно и отдохнуть.

2001

Пьесы

Стада Гериона

Действующие лица:

Г е р а к л, герой.
Г е р и о н, людоед.
Ф т и з и й, раб-навозник.

Пещера Гериона. Очень темно. Герион сидит на троне. Фтизий в уголке, на корточках, чистит скребок. В пещеру входит Геракл, вооруженный мечом.

Г е р а к л *(кричит, не замечая Гериона)*. Выходи на бой, коварный людоед!

Г е р и о н *(про себя)*. Боги, какой он шумливый!

Г е р а к л *(продолжает с гордостью)*. Я — Геракл, сын Зевса и Алкмены, самый сильный из всех смертных…

Г е р и о н *(про себя)*. Хвастливый…

Г е р а к л *(продолжает)*. …убивший немейского льва и лернейскую гидру, укротивший керинейскую лань, истребивший стимфалийских птиц, победивший аримфанского вепря, очистивший конюшни Авгия, приручивший критского быка, одолевший лошадника Диомеда и лучницу Ипполиту…

Г е р и о н (громко). …похитивший стада людоеда Гериона, укравший яблоки Гесперид, выманивший Цербера из Аида и сдохший от бабьей глупости. Великий человек!

Г е р а к л (опешив). Не было этого. Откуда знаешь?

Г е р и о н. Будет. Знаю. Иди сюда.

Геракл двигается в темноте, не различая Гериона, выставив вперед меч.

Г е р и о н. Брось свой паршивый ножик! Терпеть не могу, когда вот так тычут. Ничего я тебе не сделаю.

Г е р а к л *(усмотрев, наконец, Гериона)*. Так я тебе и поверил!

Г е р и о н. Буду я еще с сопляком в кошки-мышки играть! Зачем пришел? За стадами? Бери — и проваливай.

Фтизий бросает чистить скребок и начинает с интересом слушать.

Г е р а к л. А поединок?

Г е р и о н. Я для таких глупостей стар. Зачем мне помирать зарезанным, как свинья? А если и убью тебя, люди другого найдут и пошлют, не успокоятся. А я стар: в старости покой нужен. Куда мне эти стада — в могилу не унесешь. Бери их, веди, режь, корми людей. Слушай, как тебя славят с набитым ртом и как проклинают, когда жрать снова станет нечего. А можешь стада и себе оставить. Но тогда, герой, берегись героев. Все это я знаю, все это я видел. Вот когда я был молодой… и титан Герп передо мной вот так же сидел… да что я тебе… убирайся побыстрее. Устал я. Тошнит меня ото всех съеденных. Иной сам на вертел лезет, ножичком машет, кричит — Справедливости, людоед! — а у самого слюнки на говядинку уже текут. Съешь такого — во рту до утра запах нехороший.

Г е р а к л. Что ж, мне легче, людоед! Не нужна мне твоя кровь. Только стада. За тем послали. А пророчества свои оставь. Разные мы с тобой. Ты для себя старался, я — для других.

Г е р и о н. Других? А ты с ними уже поговорил, Геракл?

Г е р а к л. Нет еще. Успеется.

Г е р и о н. Успеется… *(смеется)*. Спеши, герой, может и не успеется.

Ф т и з и й *(про себя)*. Однако, Фтизий, думай! Все кувырком идет. Старый хозяин с ума спятил, пора к новому пристраиваться.

Г е р и о н. Спеши, Геракл, спеши! Вот тебе ивовая ветвь — заговоренные затворы открыть на моих коровниках.

Ф т и з и й *(про себя)*. Ведь так и уйдет со стадами, благородный дурак! И подвига не будет. Хозяин мой хоть и безумен, а тонко понимает — какой же подвиг без крови! Этого никто не поймет. Были стада Герионовы — стали Геракловы, подумаешь! Такое на торжище каждый день случается. Сам он то ли не понимает, то ли не может — руки у него чистые, видно. Помочь ему, что ли, а потом все разъяснить. Может, из благодарности с собой возьмет?

Снаружи слышно мычание коров, топот бесчисленных копыт.

Г е р а к л *(снаружи)*. Эхой, эхой! *(Хлещет бич.)*

Г е р и о н *(пытаясь привстать с трона)*. Как сладка месть! Я счастлив!

Подкравшийся сзади Фтизий перерезает горло Гериона скребком. Герион умирает. Фтизий выбегает из пещеры и кричит.

Ф т и з и й. Люди, великий подвиг! Герой Геракл убил в честном поединке людоеда Гериона!

Г е р а к л. Что ты несешь, раб?

Ф т и з и й. Геракл убил Гериона!

Г е р а к л. Ложь! Он мне сам отдал! *(Видит окровавленные руки Фтизия)*. Раб, твои руки!

Ф т и з и й *(смотрит на свои руки)*. Какие руки, хозяин? Ах, это! Это так, чепуха, вино мертвецов.

Г е р а к л. Раб, ты испортил мне счастье бескровной победы! Сейчас я тебя убью! *(Кидается на Фтизия.)*

Ф т и з и й. Но, но, хозяин! *(Ловко взбирается на высокий камень.)* Биться я не обучен, но бегаю быстрее ящерицы. Могу и по другому дело повернуть. *(Кричит.)* Люди, люди, вор Геракл зарезал во сне моего хозяина и угнал его стада!

Г е р а к л. Тебе не поверят!

Ф т и з и й. Почему это? Сколько таких, как ты, и сколько таких, как я? Сколько поверят твоим словам и сколько моим? Других свидетелей нет.

Г е р а к л. Кто ты такой? Что тебе нужно?

Ф т и з и й. Я — человечек Фтизий, коровьи лепешки подбираю. Возьми меня с собой, я тебя везде прославлять буду — в каждом городе, в каждом селе.

Г е р а к л. Как прославлять?

Ф т и з и й: А вот так. Самому мне славы не надо, а в тени героя — в самый раз. Все вина наливают, женщины сами под тебя ложатся. Хожу я в твоей тени, а тень — кровавая. Кто не спросит — всем отвечу. Хорош мне будешь — и кровь честно пролита, а надоешь — на тебя же все и свалю — ничем не отмоешься.

Г е р а к л. Страшно с тобой, раб!

Ф т и з и й. Вот они — наши герои. Для нас стараетесь, а с нами — страшно!

Г е р а к л. Не все такие, как ты!

Ф т и з и й. Кто не такой, тому чужих коров и даром не надо.

Молчат.

Г е р а к л. Слушай, раб! А может ты все стадо себе?..

Ф т и з и й. И?

Г е р а к л. А меня здесь не было. А кто Гериона убил — сам что-нибудь придумаешь, ты же изворотливый.

Ф т и з и й. Какое благородное сердце! Драгоценных коров — навозному рабу! А если сдохнут коровушки, все говорить начнут, мол, не смог раб священных коров уберечь. Нет, твоя добыча, ты и отвечай. А мы уж по бедности попользуемся...

Г е р а к л. Подлый раб, если б я знал! *(Хватает меч и пытается перерезать себе горло.)*

Ф т и з и й (проворно выбивая меч). Геракл, а какой нежный, прямо как женщина. Раньше надо было думать!

Геракл рыдает.

Ф т и з и й. Вот так они все. Сперва натворят дел, а потом раскаиваются. Ну, нам легче...
(Пинает Геракла.) Давай, пошел!

Геракл ползет на четвереньках впереди стада.

Ф т и з и й. Люди, это великий Геракл ведет к вам стада Гериона. Радуйтесь, выходите с ножами и вертелами. Несколько недель у нас будет много мяса. Кто хочет потрогать мускулы героя или посмотреть его зубы — платить мне по четыре драхмы. Я — Фтизий, раб-навозник, смотрите все, кем я стал! Смотрите, ослы!

Занавес.

1991

Заброшенное святилище

Действующие лица:

Л ю ц и й, Л ю ц и л и й — паломники.

Заброшенное святилище на склоне горы, затянутое плющом и кустарником. Появляется Люций, карабкающийся по камням. Садится на камень, спиной к святилищу, не замечая его. Бросает на землю суму.

Л ю ц и й. Люцилий, иди сюда! Здесь мы отдохнем.

Появляется Люцилий. Садится спиной к святилищу рядом с Люцием.

Л ю ц и л и й. Уф! Где же оно, Люций? Сколько еще идти?

Л ю ц и й. Видать, совсем близко. Здесь заночуем, выспимся, к утру будем там.

Л ю ц и л и й. Позаросли все тропки. А почему никто не ходит, Люций?

Л ю ц и й. Позабыли дорогу.

Л ю ц и л и й. Если бы не старик, и мы бы о нем ничего не знали, о святилище. Ничего не скажешь, повезло нам. Любое желание, Люций?

Л ю ц и й. Любое.

Л ю ц и л и й. А ты помнишь точно, как он говорил?

Л ю ц и й. Конечно, помню. Подойти с чистыми помыслами. Душа чтобы была без зависти, без корысти. И громко вслух сказать, чего хочешь.

Л ю ц и л и й. Это очень просто!

Л ю ц и й. Проще не придумаешь. Вот, говорят, в Тирепте на алтаре Деметры, тоже сбываются желания. Но сперва нужно достать три скрупулы пепла аравийского Феникса, смешать его с пеплом одного животного плавающего и одного ползающего, завязать все в мешочек и каждую ночь класть мешочек под голову. А потом сказать «Тетра Метра Деметра» и просыпать пепел на четыре стороны света, а потом уж идти просить.

Л ю ц и л и й. Это куда как сложнее!

Л ю ц и й. И дольше.

Л ю ц и л и й. Но если выгорит, заживем, Люций!

Л ю ц и й. Конечно, заживем. А ты во всем уверен?

Л ю ц и л и й. Своими ушами слышал, как звенит у нее в тряпках. Зашила в платье, старая, думает, что никто не догадается. Как удар ее хватит, а рядом — никого, кроме меня. Я все быстренько распорю да обратно зашью. Как будто ничего и не было. Братья придут, кинутся смотреть, а я скажу: «Чего ищете? Все наврали люди про нашу безумную матушку, что колдовством наворожила она золото». Да сколько б его там ни было, Люций, все мало! Куда мне до тебя… Вот ты и верно, дело придумал.

Л ю ц и й. Конечно, земля и стада — это лучше золота. Каждый год с прибытком. Когда его корабль потонет, что ей останется делать? Итак, отец дал ей сроку только до ближайших терминалий, а там уж — отцово слово, отцова воля. Я ему нравлюсь — и ловок, и связи имею.

Л ю ц и л и й. Давай, я тебе скажу, что придумал, Ты — это святилище, а я вот к тебе обращаюсь. *(Становится на колени перед Люцием.)* О божество этого священного места! Выслушай мою мольбу: мать моя совсем безумна, лепечет, как ребенок, и не может ступку от пестика отличить. А братья мои все

по службе, да и я каждый день до вечера в меняльном ряду. Кто ее за руку проведет? Кто ее накормит? Она по безумию и в колодец свалиться может, и под воз на дороге попасть ненароком. Страшно смотреть, как она мучается, похлебку сама ко рту поднести не может, все только поет да прыгает на одной ноге. Люблю ее по-сыновьи, так пошли ей смерть быструю и безболезненную у меня на руках, чтобы я мог своею рукой закрыть ей глаза! Ни слова ведь лжи, не так ли, Люций?

Л ю ц и й. Ни слова.

Л ю ц и л и й. Теперь ты попробуй.

Л ю ц и й *(становясь на колени перед Люцилием)*: О божество, имя которого мне не известно. Любимую моряк опоил приворотным зельем. Люди говорят, что он с пиратами знается. А она, несмышленая, только о нем думает и ждет с моря, чтобы ложе разделить с ним как законная жена. А распнут его, что с ней станется? Отец наследства лишит и из дома выгонит. Куда она пойдет? А я человек надежный, на службе у префекта и отцу ее нравлюсь. Пусть волна его смоет или отнесет его корабль к берегам савроматов, откуда не возвращаются. И он спасется от позорной смерти, и она — от позорной жизни, да и я буду счастлив! Ну как?

Л ю ц и л и й. Прекрасно! Ведь он и впрямь пират…

Л ю ц и й. А мать твоя и впрямь безумна…

Л ю ц и л и й. Теперь можно и подкрепиться. Где там твой козий сыр?

Л ю ц и й. И твой бурдючок тоже вынимай!

Л ю ц и л и й. Сыр бы, конечно, хорошо пожарить. Соберу-ка я хворосту. *(Оборачивается и видит святилище. Роняет сыр.)*
Юпитер Всеблагой!

Л ю ц и й. Что? Где?

Л ю ц и л и й. Там.

Люций оборачивается и тоже видит святилище. Роняет бурдюк.

Л ю ц и й. Это все ты, голова тыквенная! «Давай, попробуем!..»

Л ю ц и л и й. Оно все слышало.

Л ю ц и й. Все твои чистые бескорыстные помыслы.

Л ю ц и л и й. Сам-то хорош.

Молчат.

Л ю ц и й. Что будем делать?

Л ю ц и л и й. Давай спустимся вниз. А завтра снова поднимемся.

Л ю ц и й. И что?

Л ю ц и л и й. За ночь оно нас забудет. И подумает, что пришли другие.

Л ю ц и й. Это только ты, осел, за одну ночь можешь все забыть. У богов память длинная.

Л ю ц и л и й. Что же делать?

Л ю ц и й. Я попробую с ним говорить. *(Становится на колени.)* О божество, покой которого мы ненароком нарушили! Ничего не может укрыться от твоих всеслышащих ушей! Ты, конечно, слышало, что мы тут с моим приятелем Люцилием наговорили. Не нам предрешать твою волю, однако, посуди: ни разу мы с приятелем тебе не солгали и все, что мы сказали, — правда. И то, первое, и это, второе. Ты можешь сказать, что потом мы сказали то, что на сердце, а сперва — то, что изобрел наш изворотливый ум. Но ведь может быть и наоборот. Человеку свойственно порочить себя из скромности, чтобы быть как все. Откуда ты можешь знать, если мы и сами не знаем,

что руководит нашими поступками. Если ты поверишь в чистоту наших помыслов, ты не можешь не выполнить наших желаний, если ты и то, что о тебе говорят, — правда. Если же ты поверило больше нашим суетным словам, то твои помыслы нечисты, и ты предполагаешь в человеке прежде всего дурное. Тогда и твое желание, чтобы наши желания не сбылись, не исполнится. Ведь, если верить мудрецам, и божество не может быть выше своих же собственных законов.

Из глубины каменного алтаря раздается звук, похожий на скрип.

Л ю ц и л и й. Услышало, услышало!

Л ю ц и й. Да, но что оно сказало: да или нет?

Л ю ц и л и й. Давай снова спросим: если «да», пусть скрипнет один раз, если «нет» — два.

Л ю ц и й. Неплохая мысль для дурака. *(Начинает.)* О божество...

Камень скрипит три раза. Люций и Люцилий остолбенело смотрят друг на друга.

Л ю ц и л и й. Что оно сказало?

Л ю ц и й. Оно сказало, что ты осел.

Л ю ц и л и й. Слушай, ты, божество! Мало тебе того, что мы колени в кровь содрали, карабкаясь по этим кручам, так ты еще и шутки шутишь! Вот я, Люцилий, раз сюда пришел, значит мне надо! Чем я хуже других? Ты уверено, что другие тебе правду говорили? Они, видно, поосторожнее нас были, не болтали тут около, сразу с нужными словами подходили. Если очень надо, чего только не придумаешь. Как ты можешь верить, если мы сами в тебя не так чтобы очень верим. Так уж, приходим на всякий случай, денег-то не стоит. Ну давай, давай, делай свое добро! Безумные старухи будут детям желчь портить, а пираты будут невест отбивать у таких прекрасных парней, как вот этот Люций. Тебе еще нужно, чтобы с тобой по особенному разговаривали, да еще особенными какими-то были. Да кто же ты такое?!

Алтарь начинает скрипеть и раскачиваться. Валятся камни. Становится ясно: это землетрясение. Люций и Люцилий падают на землю. Меркнет свет. Жуткий грохот. Затем все стихает.

Л ю ц и л и й *(слабым голосом)*. Ты живой, Люций?

Л ю ц и й. Кажется, да.

Л ю ц и л и й *(поднимается)*. А святилище-то развалилось!

Л ю ц и й. Мне сразу показалось, что это — ненастоящее божество. Слишком уж простое.

Л ю ц и л и й. Что делать будем, Люций?

Л ю ц и й. Завтра же идем в Тирепт. Как ты думаешь, сколько могут стоить три скрупулы пепла Феникса?

Занавес.

1991

Собаки-левитанты

Действующие лица:

А я к с, хозяйский пес.
Х р и з о п, пес бродячий.
Г о л о с х о з я и н а.
С о б а к и - л е в и т а н т ы.
С л у г и.

Хозяйский двор поздно вечером. Темно. Собаки шепчутся.

А я к с. Это ребрышко тоже возьми, Хризоп.

Х р и з о п. Да что ты, Аякс…

А я к с. Бери, друг. Я, знаешь, уже обожрался. Вот видишь… *(Рыгает.)*

Х р и з о п. Не пойму, Аякс, с чего ты такой добрый? Другие хозяйские псы и на двор-то не пустят. Рычат, будто у них у живых печенку из брюха вынимают…

А я к с. Не добрый я — предусмотрительный. Тебя если не кормить, еще с голодухи взбесишься.

Х р и з о п. Ну и?

А я к с. И покусаешь.

Х р и з о п. Кого?

А я к с. Кого-нибудь.

Х р и з о п. А тебе-то что?

А я к с. Как что? Бешенство, оно, брат, как пожар. Сегодня собаки друг друга кусают, завтра — люди.

Х р и з о п. Ну и пусть. Вот весело-то будет!

А я к с. Сам ты весело. Кто же стада пасти будет?

Х р и з о п. А мы сами!

А я к с. Сами, говоришь? Значит, Хризоп, ты и быка заре-зать можешь?

Х р и з о п. Н-нет…

А я к с. И освежевать?

Х р и з о п. Н-нет…

(Молчат.)

Х р и з о п. А и не надо. В полях мышей полно, а в болотах — лягушек.

А я к с. Это ты уж сам жри.

(Молчат.)

Х р и з о п. А знаешь… тут один… ну, в общем, пес… нет, не скажу!

А я к с. Вот ты какой: я тебе кость, а ты мне — не скажу!

Х р и з о п. Гекатой клялся.

А я к с. Гека-а-той…

Х р и з о п. Ну, в общем, пес один говорил, что собаки могут летать, если захотят. Как птицы. И тогда можно других птиц ло-вить и кушать. Вот!

А я к с. А что ж не летают?

Х р и з о п. Цепи, говорил, мешают хозяйские.

А я к с. Но у тебя ведь хозяина нет, ты чего не летаешь?

Х р и з о п. А он говорит, этот пес, в нас, собаках, одна общая летучая сила, и чем нас больше в стае, тем летится лучше. А кто на цепи сидит, тот нас как бы вниз тянет. Всем заодно чтобы — вот как значит.

А я к с. Так… а я не хочу!

Х р и з о п. Чего не хочешь?

А я к с. Летать не хочу. С цепи не хочу.

Х р и з о п. Видать, крепко ты привязан.

А я к с. Да, большая у меня привязанность.

Х р и з о п. Какая большая?

А я к с. Дом хозяйский со всем скарбом.

Х р и з о п. Этого я не понимаю, Аякс.

А я к с. Слишком ты у нас отвязанный, Хризоп.

Молчат.

Г о л о с х о з я и н а *(из дома)*. Так вот, повез я на осле пять модиев пшеницы Аристонию, подъезжаю к полю, смотрю, на току стоит Аристоний, не шевелится, рот раскрыл, глаза выпучил. Я ему: «Эхой, Аристоний, уж не колдунья ли тебя заворожила, или зелья лидийского выпил?» А тот: «Если бы ты видел своими глазами, что я видел, дух бы испустил немедля. Гефест-то мой!» А я ему: «Чего Гефест? Куда Гефест?». «С утра, — говорит, — кроликов гонял, а к полудню я трапезничать сел, зову его — тю — значит — тю — косточку баранью кинул. А он на меня посмотрел нехорошо и вдруг по-человечески молвит: «Не могу, хозяин, из рук твоих есть, лететь мне надо. Все, мол, летят, и я лечу. И полетел». Вот такие дела, Христобула. Нехорошо все это, не к добру. И лето слишком жаркое, и зима была

странная, и в Элефтии теленок с кровавым глазом родился, а в Тирепте молния в алтарь Асклепия ударила и надвое расколола, а тут еще собака, собака полетела!

Х р и з о п. Слышишь, слышишь!

А я к с. Слышать-то слышу.

Х р и з о п. Ну так давай… полетели!

А я к с. Значит, летать будем?

Х р и з о п. Будем, будем!

А я к с. Летать будем, работать не будем.

Х р и з о п. Ну, зачем же ты так, Аякс! Постой, тише!

Небо освещается. Пролетает испуганная стая стрижей. За ними летят собаки-левитанты. Они летят грузновато, не очень соображая, что им делать с ногами, поэтому по привычке перебирают ими в воздухе.

Х р и з о п. Теперь ты веришь!

А я к с. Во что?

Х р и з о п. Что собаки могут летать?

А я к с. Допустим.

Х р и з о п. Это, понимаешь, уже не собаки, это что-то совсем другое, новое…

А я к с. Летучие собаки.

Х р и з о п. Пусть так.

А я к с. Скажи мне честно, Хризоп, что ты умеешь делать?

Х р и з о п. Как что? Что каждая собака умеет делать. Ну вот овец гонять, дом сторожить, лаять там, на Луну выть — что там еще?

А я к с. Лаять и выть на Луну — это уже несерьезно, скажи еще жрать, да на обочину мочиться. А вот овец пасти, дом сторожить — это ты в небе как?

Х р и з о п. Значит, и не надо, просто летать и птиц ловить!

А я к с. Ворон.

Х р и з о п. Ну почему ты всегда так, Аякс!..

(Молчат.)

А я к с. А если хозяева полетят?

Х р и з о п. Что?

А я к с. Если, спрашиваю, хозяева тоже полетят?

Х р и з о п. Про это ничего не сказано.

А я к с. Известно, не сказано. Только нет такой собаки путевой, чтобы на нее хоть раз в жизни хозяина не нашлось. На летучую собаку и летучий хозяин будет.

Х р и з о п. Это необязательно, Аякс. С чего бы это?

А я к с. Не знаю, Хризоп. Заведено так. В иных помойках лучше не копаться — дрянь скушать можно. А то и взбеситься.

Молчат.

А я к с. Ты как знаешь, делай, что хочешь, а я уж по-прежнему. Не нравятся мне эти полеты.

Х р и з о п. Ты просто трусишь.

Молчат.

Х р и з о п. Знаю я, что делать. Давай-ка я тебя освобожу.

А я к с. Это как?

Х р и з о п. Цепь перегрызу.

А я к с. Ну-ка, без глупостей!

Х р и з о п. Освобожу я тебя, друг! *(Кидается на Аякса, грызет его цепь.)*

А я к с *(лает и рычит)*. Хозяин! Слуги! Бешеный пес на дворе!

Г о л о с х о з я и н а. Волк! Волк! Тевтобальд! Аристоникс! Вставайте, увальни! Волк на дворе!

Выбегают слуги. Бьют Хризопа дрекольем. Убивают. Уходят.

А я к с *(обнюхивая труп Хризопа)*. Эх, Хризоп, хоть я тебя и кормил, все равно ты взбесился. Цепь мою грызть, ну не бешеный ли? Может, она мне самими богами скована из остатков щита Ахилла?! Разве ж это так делается...

Аякс осторожно нажимает зубами на пряжку. Цепь отстегивается. Аякс взлетает в воздух и медленно, на высоте в локоть, кружит над трупом Хризопа.

А я к с. Славный был пес, но наивный. Собаки, уверял, летать могут, да упокоят боги его простоту в Элизии! Кому ж это неведомо? Довольно захотеть, и чего только не сотворишь. Я, может, такое заклинание знаю, стоит только молвить, и все исчезнет: и собаки, и хозяева, и земля, и небо, и сами боги вечные — ничего не будет, одна только маленькая дырка, а вокруг темная пустота. Но ведь молчу я, молчу! Комок какой-то в горле слова такие вымолвить не дает. Как знаете. Только мне все это нравится: двор сторожить, кости грызть, лаять, да уж и на Луну выть, в конце-то концов. Лучше мне так, спасители вы мои! Однако осторожнее, Аякс! Полетал и хватит — не ровен час, и сам взбесишься.

Садится на землю, пристегивает цепь. Небо освещается. Вновь пролетает стая стрижей. За ними, в отдалении, собаки-левитанты, все в мыле, вид у них жалкий.

Аякс *(провожая их взглядом)*. Н-да... Неужто всех не кормили? Да нет, кормили, не помогает, видать. *(Смотрит на труп Хризопа.)* Все порода подлая собачья...

Голос хозяина *(из дома)*. Слухи, Христобула, слухи один страшнее другого. Сказывали мне, кто видел, в Дамаске Аполлоний из Тиан перед людьми чудеса творил: воду в вино превращал, а глину в золото. Рассказывают люди и радуются: «То-то, — говорят, — мы теперь заживем!» Радуются, а мне страшно. Словно земля из-под ног уходит. Словно лечу я куда-то вроде вверх, а знаю — что падаю. И сон мне такой снился: возносился я в небо навстречу бессмертным богам — белое такое облако серебряное, а на нем — боги. Я его — за край, а оно — от меня. И чем выше я в небо взлетаю, тем все дальше и дальше от меня облако. А боги смеются. Тут я и проснулся. Как жить-то будем, Христобула, если сами бессмертные боги над нами смеются?

Занавес.

1991

Взлет и падение города М.

Поэтическая драма в трех актах с эпилогом
по мотивам «Махагони-оперы» Бертольта Брехта и Курта Вайля

Персонажи в порядке появления:

Акула Бегби — мошенник и авантюрист.
Тоби Хиггинс — его подручный и сообщник.
Дженни Оклахома — проститутка.
Джим Макинтайр, Джо Полярный Волк, Джек Золотой Топор — лесорубы с Аляски.
Таможенники, полицейские, палач, гувернант, гувернантка и почтальон в исполнении тех же актеров.

АКТ I

СЦЕНА 1

На экране перед нами разворачивается история жизни АБ и ТХ. Возможно, это анимация или черно-белый фильм «под немое кино», с пародийной заставкой в духе крупной голливудской студии — MGM или Columbia Pictures. На экране название картины: «Взлет и падение города М». Сюжет — история жизни двух отпетых мошенников — АБ и ТХ. Перед нами в кратком виде развертываются их криминальные биографии — от подростковых шалостей к первым серьезным преступлениям. Затем знакомство в тюрьме, побег и начало совместной деятельности. Размах криминального картеля растет на глазах; последняя многомиллионная афера заканчивается бегством от следующей по пятам полиции; от погони гангстеры уходят, захватив на аэродроме маленький самолет. Но самолет попадает в песчаную бурю и падает. Экран гаснет. Рев моторов и грохот от падения самолета сменяются тишиной.

СЦЕНА 2

Декорации — типичная пустыня Нового Света. Кроме обломков самолета на сцене присутствуют кактусы, изваяния доколумбовой цивилизации, скелет неудачливого путешественника и прочие предметы, обычно ассоциируемые с Долиной Смерти.

Т Х *(выползая из-под обломков самолета)*. Все, приехали!

Оглядывается по сторонам и обнаруживает лежащий на земле приоткрытый чемодан, из которого выпало несколько пачек долларов. Распахивает чемодан и сладострастно погружает в него руки. Под обломками самолета слышится чихание. ТХ испуганно оглядывается. Возвращается к прерванному занятию. Чихание повторяется. ТХ захлопывает крышку чемодана и садится сверху. Из-под обломков самолета выползает АБ. Он отряхивает костюм, надевает котелок, подходит к ТХ и многозначительно смотрит на него. ТХ подвигается на чемодане, освобождая место для сообщника. АБ садится на чемодан и резко толкает ТХ в сторону задом, отчего тот падает. АБ единолично завладевает сидячим местом.

А Б. Вот теперь — приехали.

Т Х *(встает, ходит кругами по сцене и изучает обстановку)*. Бегби, что это за место?

А Б. Долина Смерти.

Т Х. Так значит, мы умрем? Сдохнем от голода, высохнем от жажды?

А Б. Мне еще не попадался человек, который умер бы от голода и жажды, имея при себе пятьдесят миллионов долларов.

ТХ *(постепенно впадая в истерику)*. Нет, Бегби, мы точно умрем! Как вот этот вот! *(Показывает на скелет.)* И наши кости обглодают скорпионы!

А Б. Во-первых, скорпионы, насколько мне известно, не едят человечину. Во-вторых, у «этого вот», как ты изволил выразиться, явно не было при себе пятидесяти миллионов долларов.

Т Х. Но, Бегби, как ты можешь так говорить! Доллары нельзя есть, их не превратишь в воду! Мы умрем, черт побери!

А Б. Нет, Тоби. Вода и еда придут к нам сами. Деньги способны творить чудеса, разве ты не знаешь этого? Так написано в Библии.

Т Х. В Библии этого нет.

А Б. Откуда ты знаешь, Хиггинс? Ты же не умеешь читать.

Т Х. Ты тоже не умеешь!

А Б. Зато я умею считать. И, по моим подсчетам, денег нам как раз хватит на то, чтобы построить город.

Т Х. В пустыне?

А Б *(вставая с чемодана, но предусмотрительно ставя на него ногу)*. Да, в пустыне. Мы построим здесь город. Великий город. Город, который войдет в историю. Люди со всех краев земли будут мечтать о том, чтобы стать его жителями. Ибо чего жаждет человек, Тоби? Человек жаждет наслаждений. А почему? Ты знаешь, что такое зебра?

Т Х. Ага, лошадь такая полосатая.

А Б. Верно, Хиггинс. Жизнь — она вроде этой самой лошади. Черная полоса, белая полоса, черная полоса, опять белая, опять черная, а в конце…

Т Х. Хвост?

А Б. Нет, Тоби, задница. Темная глубокая задница, которую мы из вежливости называем смертью. Пока человек наслаждается, он об этом не помнит. Поэтому он хочет наслаждаться постоянно. И мы ему в этом поможем. Мы построим

город наслаждений, в котором можно будет легко удовлетворить любое желание: мы предоставим в распоряжение желающих самых красивых девочек, самых смазливых мальчиков, любые азартные игры, тотализаторы, гонки, смертоубийство, все виды опьянений и экстазов, мы исполним любые капризы и самые замысловатые прихоти — все станет доступным любому в мгновение ока. Разумеется, если он заплатит соответствующую сумму. А кто будет получать эту сумму?

Т Х. Я!

АБ пристально смотрит на ТХ.

Т Х. Мы…

А Б. Верно, Хиггинс! Долина Смерти станет отныне Долиной Наслаждений. Отовсюду к нам будут стекаться святоши и извращенцы, трезвенники и пьяницы, аристократы и дегенераты, умники и дураки, и даже — о, даже они, наши извечные враги, представители закона, отбросив в сторону дубинки и наручники, прибегут к нам, ибо кто есть представитель закона, если не человек, который тоже жаждет наслаждений и страшится смерти?

Т Х. Гениально, Бегби. А как мы все это назовем?

А Б. Что?

Т Х. Ну, город этот.

А Б. Ма-ха-го-ни-я.

Т Х. А что это значит?

А Б. Это значит: паучья сеть.

Т Х. На каком языке?

А Б. На языке пауков. Таких, как мы с тобой, Хиггинс. Пусть жирные глупые мухи летят к нам в гости — мы высосем их жир, выпьем их кровь, опутаем их нашей паутиной.

Т Х. А это спасет нас от задницы, Бегби?

А Б. Какой задницы?

Т Х. Ну, той, что у этой… у лошади полосатой.

А Б. Хиггинс, в последний раз повторяю тебе — как сказано в Библии, деньги могут творить чудеса.

Т Х. Этого нет в Библии, Бегби.

А Б. Нет — так будет!

СЦЕНА 3

Снова проекция. АБ засевает пустыню долларами, и из них, словно из семян, прорастают бары и казино, публичные дома и тотализаторы, банки и ломбарды. Улицы заполняются потоками людей всех рас и сословий — искателями приключений, торговцами, игроками, проститутками, мошенниками, гуляками, служителями культов и т. п. Постепенно на заднике оформляется панорама Махагонии — города, в котором причудливым образом смешались отличительные приметы всех мегаполисов Земли. Города, в котором никогда не гаснут огни.

СЦЕНА 4

Ворота города Махагонии (возможно, в виде металлоискателя), украшенные гербом Махагонии — зеброй. Возле ворот АБ и ТХ в опереточных «зебровых» мундирах таможенников занимаются отбором и сортировкой кандидатов в граждане Города Наслаждений.

Т Х. Смотри, Бегби, с утра прошло уже четырнадцать шулеров.

А Б. А у меня — три английских лорда и один наследник престола.

Т Х. А у меня — семь педофилов и четыре педагога. Или наоборот. Я запутался.

А Б. Очень много погромщиков и жертв погромов — что будем с ними делать?

Т Х. Ничего особенного. Пусть громят друг друга дальше в соответствии с прейскурантом.

А Б. Главное — это соблюдать пропорции. Вот у меня сегодня — двадцать торговцев спиртным и всего лишь один алкоголик. Требуются еще алкоголики, иначе цены упадут ниже критической отметки.

АБ и ТХ погружаются в совместное изучение деклараций, возможно, играют ими, как в карты, кроя «арабских шейхов» «звездами популярной музыки» и т. п., и не замечают ДО, которая скромно подходит к воротам, сжимая в руках ридикюль. ДО пытается привлечь к себе внимание мошенников — она снимает фуражку с ТХ, примеривает ее, щелкает под носом у АБ пальцами, щиплет ТХ за ухо — наконец, догадавшись, что требуется в данной ситуации, извлекает из ридикюля мятую купюру и проводит ей перед носом у нечистой парочки.

Д О. Здравствуйте, джентльмены!

А Б и Т Х *(хором)*. Добро пожаловать!

ТХ отбирает у ДО фуражку и надевает задом наперед. ДО замечает ошибку и демонстративно исправляет ее.

Т Х. Имя?

Д О. Дженни Оклахома.

А Б. Род занятий?

Д О. Проститутка.

А Б и Т Х *(хором)*. Цель визита?

Д О. Красивая жизнь.

А Б. Красивая жизнь? Вы имеете в виду жизнь, полную наслаждений?

Д О. Я имею в виду обеспеченную жизнь. Мужчины платят за наслаждение деньги, а мы, женщины, их за наслаждение получаем.

А Б. Дорогая мисс, я так тронут! Нам, скромным избавителям человечества от бремени страстей, весьма приятно встретить близкое по духу существо.

Т Х. Что вы любите больше всего на свете?

Д О. Бриллианты.

А Б и Т Х *(хором)*. Бриллианты?

Д О. Да, бриллианты. Камни чистой воды. Камни, которые не имеют возраста. Камни, которые всегда сверкают отраженным светом. Они подобны сердцу женщины, которое не стареет никогда. Вы когда-нибудь задумывались, почему богатые старухи покрывают себя бриллиантами с головы до ног? Они просто пытаются вывесить наружу свое юное, как у девочки, сердце. Мне трудно говорить об этом, можно, я лучше спою?

Т Х и А Б. Конечно! Разумеется!

ТХ и АБ берут в руки инструменты, скажем, саксофон и трубу, образуя импровизированный оркестр.

ДО начинает петь «Diamonds Are a Girl's Best Friend» (Sue Heady).

Одним милее мальчики, другим — седые франты,
Но лучше всех мужчины те, что дарят бриллианты…

Букеты из роз увядают под утро,
В пирожных высыхает крем.
Шампанским нельзя
Заплатить за квартиру, в театр билет не
Заменяет обед.
Женский век как майский снег —
Тает на глазах без следа.

Чем больше морщин, тем
Меньше рядом мужчин

Лишь брильянты — это навсегда
Вот брильянты — это навсегда…

Let's rock

Продолжая петь, выходит на авансцену.

Любовник в беде часто нас покидает,
Лишь брильянты — это навсегда
Сегодня твой друг миллион зашибает,
Но тут на бирже крах,
И весь его капитал превращается в прах
Он был с тобой, пока он был крутой,
Но деньги утекли как вода,
И твой вчерашний герой бежит мириться с женой

Лишь брильянты — это навсегда!
Лишь брильянты — это навсегда!

Let's rock again

Лишь брильянты — это навсегда! (x 6)

Возможно, к концу песни ДО выглядит, как клон Мэрилин Монро со знаменитой фотографии из журнала «Time» — ветер поднимает ее юбку, и она замирает в эффектной позе.
АБ и ДО аплодируют.

А Б. Великолепно, дорогая мисс! Я обещаю вам, что вы станете лучшим бриллиантом Махагонии, блеск которого привлечет всех гуляк и плейбоев нашей забытой Богом и обожаемой дьяволом планеты!

Д О. И мне больше не придется ночевать в полицейском участке?

А Б. Если только сами не захотите. За определенную сумму мы предоставляем желающим любые услуги этого рода — от каторжных работ до камеры пыток.

Пока идет обмен репликами между АБ и ДО, ТХ трудится не покладая рук в качестве папарацци. Он фотографирует пару в разных ракурсах; возможно, снимки, сделанные им, тут же проецируются на экран в виде обложек таблоидов с кричащими заголовками «СТАНЕТ ЛИ ДЖЕННИ ЗВЕЗДОЙ МАХАГОНИИ?», «МЭР ПРИЗНАЕТ СЕБЯ ПОБЕЖДЕННЫМ!», «ЛЮБОВЬ ИЛИ ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ?» и так далее, в том же роде.

Д О. И неужели находятся желающие?

А Б. Вы не представляете, мисс, каких только странных желаний не возникает у людей.

Д О. Но у вас, наверное, все же имеются какие-то законы?

А Б. Деньги — вот наш единственный закон. Соответственно, единственное преступление — это их отсутствие. Но вам с вашей красотой, мисс, это вряд ли грозит. *(Кладет руку ДО на плечо. ДО бьет его по руке.)*

Д О. Десять долларов!

А Б. О мисс, вы схватываете все на лету!

Д О. Только потому, что вы объясняете все так наглядно, мистер.

А Б. Вы мне льстите! Женщины всегда были моими наиболее способными ученицами.

Д О. Хорошая ученица всегда стремится превзойти учителя.

А Б. Именно поэтому хороший учитель так часто меняет учениц.

Д О. А вы за словом в карман не лезете!

А Б. Разве только в чужой, мисс!

Д О. Вы мне нравитесь. Для вас, пожалуй, я сделаю скидку.

А Б. Позвольте предложить вам мою руку.

Д О. А сердце?

А Б. К счастью, у меня его нет.

Д О. Ценю вашу откровенность. Сердце мне уже предлагали, я прекрасно знаю, как оно выглядит. Обычно это тесная, маленькая комнатка над бензозаправочной станцией, оборудованная плитой и стиральной машиной, в обществе которых ты должна ждать старости, пока тот, кто оставил сердце тебе на хранение, проводит время с дружками в ближайшей пивной.

А Б. Я всегда был невысокого мнения об этом органе.

Д О. Что ж, если наши вкусы настолько совпадают, мы поладим друг с другом. Идемте, я хочу наконец увидеть эту вашу Махагонию!

АБ галантно берет ДО под руку и уводит ее за ворота Махагонии.

ТХ уходит следом за ними и выключает свет. ЗТМ.

СЦЕНА 5

Темная сцена, слабо освещен только просцениум. Из-за сцены слышны мужские голоса, которые поют «Alabama Song» (Brecht — Weil).

Мы ищем кабак,
Где нам виски нальют.
Ночь так темна.
Ночь так темна.

Ведь если в кабак
Мы путь не найдем,
Без виски нам хана,
Без виски нам хана —
Без виски, без виски, без виски нам хана!

На сцену выходят ДПВ, ДЗТ и ДМИ. Они продолжают петь.

Луна над Алабамой,
Нам с неба посвети!
Стань нашей доброй мамой:
Не дай нам сбиться с верного пути!
Мы ищем кабак,
Где нас девушки ждут.
Ночь холодна,
Так холодна.

Ведь если подруг
Мы на ночь не найдем,
Без ласки нам хана,
Без ласки нам хана —
Без ласки, без ласки, без ласки нам хана!

Луна над Алабамой,
Нам с неба посвети!
Стань нашей доброй мамой:
Не дай нам сбиться с верного пути!

Останавливаются на авансцене.

Д П В *(обращаясь к залу)*. Я — Джо Полярный Волк.

Д З Т. А я — Джек Золотой Топор. А это…

Д М И *(выходя на просцениум и раскланиваясь)*. Джим Макинтайр. А все вместе мы…

Х о р о м. Трое богатырей с Дальнего Севера!

Д П В. Семь лет мы валили лес на Аляске.

Д З Т. Зимой стояла такая стужа, что с неба падали замерзшие звезды. Мы собирали их и приносили в нашу хижину. Звезды оттаивали, и при их свете мы коротали долгую полярную ночь.

Д М И. А летом — летом становилось немного теплей, но тогда из леса выходили голодные звери.

Д П В. Волки…

Д З Т. …и медведи.

Д М И. Тогда вот он *(показывает на ДПВ)* брал в руки ствол свежесрубленной сосны и отгонял им кровожадных хищников. А мы с Джеком продолжали валить лес.

Д П В. Так продолжалось два года.

Д З Т. На третью зиму в дверь нашей хижины кто-то постучался.

Д М И. Мы открыли дверь. Это был человек, умиравший от холода.

Д П В. Мы пытались спасти его, но его тело уже превратилось в лед.

Д М И. Несмотря на все наши усилия, незнакомец растаял.

Д П В. Мы начали разбирать его вещи, обнаружили почтовую сумку и поняли, что это был почтальон. У него при себе был всего один конверт.

Д З Т. Вот он.

Д М И. Внутри лежал рекламный проспект, в котором рассказывалось о Махагонии — городе неограниченных возможностей, городе счастья, городе, где каждый день — это праздник.

Д П В. До этого у нас не было определенных планов. Мы валили лес просто потому, что нам это нравилось. Работа на свежем воздухе, борьба с трудностями, крепкая мужская дружба.

Д З Т. Но после того, как мы прочли этот проспект, у нас появилась настоящая цель.

Д М И. Махагония…

Д П В. Мы стали валить еще больше леса, откладывать каждый доллар. Бросили пить и курить.

Д З Т. Когда мороз становился таким сильным, что нельзя было выйти наружу, потому что подошвы примерзали к снегу, мы смотрели из окна нашей хижины на полярное сияние и оно казалось нам огнями далекой Махагонии.

Д М И. На седьмой год, когда денег у нас оказалось так много, что в хижине стало негде спать, мы обменяли их у эскимосов на золотые самородки и покинули Аляску.

Д З Т. Махагония должна быть где-то рядом.

Д П В. Воздух благоухает шампанским, черной икрой и дорогими сигарами.

Д М И. Я слышу шелест шелковых чулок и стук высоких каблуков. Отголоски женского смеха. Ветер приносит ароматы французских духов.

Д П В. Острый запах жареного мяса и пота борцов и боксеров, сошедшихся на ринге в отчаянной схватке!

Д З Т. Звенят монеты, брошенные на стойку бара! Грохочет шарик, мечущийся в раскрученном колесе рулетки!

Д П В. Она совсем близко!

Д З Т. Осталось сделать только несколько шагов!

ДМИ все это время озирается по сторонам и наконец показывает пальцем в глубину сцены.

Д М И. Вот она!

Вспыхивает свет прожектора, озаряя ворота Махагонии.

Д П В и Д З Т *(кричат)*. Махагония!

Сбивая друг друга с ног, бросаются к воротам.

СЦЕНА 6

Из ворот навстречу им появляются АБ и ТХ. Судя по всему, они все это время скрывались за воротами, подслушивая и подсматривая.

Т Х. Стоять! Документы!

Лесорубы растерянно останавливаются.

Д М И. У нас нет документов. Наши документы — это наши честные лица, задубевшие от ветров полярного круга, и мозолистые руки, которые не оставят товарища в беде.

А Б. Молодой человек, с такими документами вы не уедете дальше ближайшего полицейского участка. *(Подходя к ДПВ.)* Что у вас в этом заплечном мешке?

ДПВ снимает мешок и открывает его. Блеск золота.

А Б. О! А вы говорите — нет документов! С такими документами вам не нужны никакие визы! Позвольте ознакомиться… *(Вглядывается вглубь мешка.)* Джо Полярный Волк!

Д П В. Как вы узнали мое имя?

А Б. Нет ничего проще. Деньги могут рассказать о человеке все.

Д З Т. Тогда, может быть, вы скажете, как зовут меня?

Снимает с плеча мешок и открывает его. Блеск золота.

А Б. Разумеется. Вы — Джек Золотой Топор!

(Возможно, при правильных ответах на воротах Махагонии, как в игровом телешоу, вспыхивают цветные лампочки.)

Д З Т. Родная мать не признала бы меня быстрее!

ДМИ, не говоря ни слова, снимает мешок с плеча и тоже открывает его. Блеск золота, сильнее, чем в оба предыдущих раза.

АБ делает шаг назад и склоняется в почтительном полупоклоне.

А Б. Джим Макинтайр!

Д М И. Что ж, если так, возможно, вам известно и то, зачем мы явились сюда?

А Б. Разумеется, джентльмены. Вы явились из лесных дебрей Аляски для того, чтобы поселиться в Махагонии: городе, где любое желание становится явью.

Д З Т. Вы читаете наши мысли?

А Б. Я их пишу.

Д М И. В таком случае вам должны быть известны наши желания?

А Б. Несомненно. Хиггинс, ознакомьте этих парней с их личными делами.

Т Х *(доставая из-под мышки папку)*. Джо Полярный Волк. Мышцы у этого человека сделаны из стали, но душа проста, как у младенца. С ним все просто: любит крепко выпить в компании друзей и хорошо подраться.

А Б. О, ни с первым, ни со вторым у вас не возникнет ни малейших проблем!

Т Х *(продолжает)*. Джек Золотой Топор. Изворотливый ум, цепкий глаз, ловкие пальцы. Нетрудно догадаться, что в душе он — игрок. Рулетка, покер, блэкджек, тотализатор — эти слова звучат для него как музыка. Риск и азарт необходимы Джеку, словно воздух.

А Б. Таких игорных домов, как у нас, вы не найдете больше нигде!

Т Х *(продолжает)*. Джимми Макинтайр. О, его случай намного сложнее. В душе Джим — поэт. В сердце его хранится отпечаток идеальной возлюбленной. Всю свою жизнь он ищет

ее, но встречает только в сновидениях. Его желание по нашей классификации относится к категории извращенных: он жаждет вечной любви и верности.

А Б. Молодой человек, вам нечего стыдиться! Нет желаний столь извращенных, чтобы нам было не под силу их осуществить.

Д М И. Но вы никогда не видели моих снов! Долгими полярными ночами мне снилась девушка такой красоты, которую невозможно увидеть даже в кино!

А Б. Любой сон можно сделать явью. Как сказано в Библии, деньги способны творить чудеса.

Д З Т. А по-моему, в Библии этого нет.

А Б. Боюсь, вы читали какое-то старое издание: в последнее время в текст был внесен ряд существенных исправлений. Хиггинс, принесите прибор для материализации сновидений.

ТХ уходит и возвращается с устройством, похожим на стационарный фен, вроде тех, которые используются в парикмахерских.

АБ садит ДМИ и надевает устройство ему на голову. Приглушенный свет.

А Б *(голосом ведущего научно-популярной передачи)*. С незапамятных времен люди мечтают о том, чтобы их мечты воплотились в реальность. Но, увы, мечтать — не значит верить. Скорее наоборот. Однако наука помогает нам преодолеть это досадное препятствие. Вам достаточно представить себе вашу идеальную возлюбленную, а все остальное электричество сделает за вас. Итак, начинаем отсчет: десять, девять, восемь…

АБ считает, по мере отсчета свет становится все слабее, а на приборе один за другим вспыхивают разноцветные огоньки. На счет НОЛЬ свет гаснет совсем, а на экране появляется женский образ; сначала смутный, вне фокуса, он становится все более и более четким, пока не остается никаких сомнений — мы видим ДО. Но ДМИ всего этого не видит, потому что сидит к экрану спиной. ДО приближается к зрителям, занимая собой весь экран. Свет вспыхивает: ДО, уже во плоти, стоит в воротах Махагонии, которые в данном случае следует воспринимать как некое фантастическое устройство, материализующее мечты.

СЦЕНА 7

А Б *(снимая прибор с головы ДМИ)*. Встаньте и медленно повернитесь. Советую вам также закрыть глаза — встреча с мечтой часто приводит к временной слепоте и легкому головокружению.

ДМИ выполняет распоряжения АБ: открывает глаза и изумленно смотрит на ДО.

Д М И. Это она!

Делает шаг в сторону ДО. ДПВ и ДЗТ машинально делают шаг следом за ним, но АБ останавливает их, протянув у них перед носом желтую ленту с надписью «Идут съемки. Посторонним вход воспрещен», которой он огораживает все место «первого свидания». ТХ усаживает лесорубов на пол, вручает им по пакету попкорна и бутылке пива, как в кинотеатре. Берет то же самое себе и становится рядом. На экране, возможно, надпись «DOLBY SURROUND» или что-нибудь иное, связанное в нашем представлении с показом кино.

Д М И. Это ты! Это ты приходила ко мне во сне. И оставалась со мной, пока я не спрашивал, как тебя зовут. И тогда… ты исчезала, так и не ответив на мой вопрос. Если ты ответишь на него сейчас, то я поверю, что ты не сновидение.

Д О. Меня зовут Дженни.

Д М И. А меня — Джимми!

Д О. Мне знакомо это имя.

Д М И. Да? Ты тоже видела меня во сне?

Д О. Нет. Это имя часто повторяла моя мать.

Д М И. Во сне?

Д О. Наяву.

Д М И. А этого Джимми звали часом не Макинтайр?

Д О. О нет, иногда она звала его Джимми Сукин Сын, иногда — Джимми Дерьмо Собачье, иногда — Джимми, Который Погубил Мою Молодость, но чаще всего она называла этого человека «Сурабайя Джимми».

Д М И. Сурабайя?

Д О. Да, Сурабайя. *(Поет.)*

SURABAYA JOHNNY (Brecht — Weil)

Мне тогда было только шестнадцать,
Ты на берег сошел с корабля.
Ты велел мне собрать мои вещи
И во всем слушать только тебя.
Я спросила: «Ты парень серьезный
Или просто бродяга морской?»
Ты сказал: «Я железнодорожник,
И на службе тружусь день-деньской».
Ты мне солгал, Джимми, ты мне солгал.
Ты клятвам цену, Джимми, сначала знал.
Мне ненавистен, Джимми, твой наглый смех.
Вынь трубку изо рта, скотина!

Сурабайя Джимми, умирает мечта.
Сурабайя Джимми, и в груди — пустота.
Сурабайя Джимми, губы слаще вина.
Ты — негодяй, Джимми, но я в тебя влюблена.

Поначалу ты был просто ангел,
Подарил мне платок и кольцо.

Но уже на вторую неделю,
Рассмеявшись, мне плюнул в лицо.
Я искала тебя по притонам
И у двери борделя ждала,
Постарела за год лет на двадцать
И ночами почти не спала.
За деньги ты, Джимми, меня любил.
Забрал ты все, Джимми, все прокутил.
Скажи мне правду, Джимми, я все прощу…
Да перестань ухмыляться, я кому говорю!

Сурабайя Джимми, умирает мечта.
Сурабайя Джимми, и в груди — пустота.
Сурабайя Джимми, губы слаще вина.
Ты — негодяй, Джимми, но я в тебя влюблена.

Где бы мы ни сходили на берег,
В кабаках тебя ждали друзья,
И тогда наконец поняла я,
Что не знала тебя только я…
Вновь и вновь меня будят под утро
Крики чаек и серый рассвет,
Я спросонья ищу твои губы,
Но тебя никогда рядом нет.
Ах, ты жесток, Джимми! Ты просто дрянь.
Опять ушел ты? В такую рань?
Но я люблю, Джимми, тебя, как встарь.
Что в этом смешного, Джимми?

Сурабайя Джимми, умирает мечта.
Сурабайя Джимми, и в груди — пустота.
Сурабайя Джимми, губы слаще вина.
Ты — негодяй, Джимми, но я в тебя влюблена…

Д М И. Отвратительный тип! Неужели твоя мама до сих пор ждет его на берегу!

Д О. Уже нет.

Д М И. Так значит, любовь умерла?

Д О. Да, вместе с мамой.

Д М И *(откашливается)*. Извини. Как жаль, что меня тоже зовут Джимми. Это имя напоминает тебе о мерзавце, который разбил сердце твоей матери.

Д О. Это был мой отец.

Д М И *(окончательно смущенный)*. Твой отец?

Д О. Моя мать была виновата сама. Если женщина дает деньги мужчине, мужчина вынужден их где-то тратить.

Д М И *(возбужденно)*. Пусть меня тоже зовут Джимми, но я никогда не поступил бы так! Семь долгих лет я валил лес на Аляске — стужа, замерзшие звезды, волки и медведи — порой бывало так холодно, что нельзя было выйти из хижины — подошвы ботинок примерзали к снегу. Но все эти семь лет я был верен той, что приходила ко мне в сновидениях. И я буду ей верен всегда.

Д О. И кто же она такая?

Д М И. Она — это ты.

ДО испускает пронзительный визг. ДМИ смотрит на нее с недоумением. ДО повторяет визг, но уже с явной целью произвести впечатление на Джимми.

Д О. Я хотела сказать, что я ужасно рада. Вечная верность — да я сама всегда мечтала о ней. Это же самый высокий тариф! Сто долларов в день и ни центом меньше.

Д М И. Какие сто долларов?

Д О. Ну как же — на раз двадцать, на ночь — пятьдесят, на целый день — сотня. В вечности — бесконечно много дней. Значит, умножаем сто долларов на бесконечность и получаем… *(пытается сосчитать)* и что же получаем? …На жизнь хватит.

Д М И *(уязвленно)*. Я, кажется, говорю о любви.

Д О. Я тоже. Просто о любви можно говорить по-разному.

Д М И *(беря себя в руки)*. Хорошо. Ради мечты я готов на все — деньги не имеют значения. Дженни, согласна ли ты быть мне вечно верной на твоих… эээ… условиях?

ДО вновь испускает пронзительный визг, но, заметив испуг ДМИ, обрывает его на высокой ноте и делает шаг навстречу ДМИ, обнимает его и сливается с ним в голливудском финальном поцелуе.

Д М И *(глядя в воображаемую камеру)*. Я нашел то, что искал.

Д О. Я тоже.

По экрану плывет слово КОНЕЦ и финальные титры, звучат радостные аккорды биг-бэнда, в «зале» зажигается свет, все встают со своих мест и аплодируют.

Д М И. Друзья мои, богатыри с Дальнего Севера! Семь лет, семь долгих лет мы валили лес в лютую стужу! Семь лет мы курили с тобой одну трубку, Джо. Семь лет делили на двоих одну пару носков, Джек. Все печали и радости были у нас общими. Сегодня я встретил свою мечту. Мне обещана вечная верность. И я хочу поделиться с вами моей радостью. Ведь радость устроена иначе, чем деньги — чем больше ее отдашь, тем больше тебе останется. Я приглашаю вас на свадьбу, на свадьбу Джимми Макинтайра! Я плачу́ за вас — за все ваши удовольствия, за все ваши желания и наслаждения. За мной, друзья, в Махагонию — город, где сбываются мечты!

Все, кроме ДЗТ, под звуки Alabama Song удаляются в ворота Махагонии. ДЗТ, оставшись один на сцене, подходит к забытой ТХ папке с «личными делами», поднимает ее, открывает, переворачивает. Папка пуста. Показав ее зрительному залу, ДЗТ иронически присвистывает, кладет папку на место и уходит следом за остальными.

ЗТМ.

КОНЕЦ ПЕРВОГО АКТА

АКТ II

СЦЕНА 1

Анимация на заднике, живописующая похождения героев в течение трехдневного загула: бары, казино, драки, гонки в пьяном виде по автостраде, чревоугодие и прочие излишества. Побывав в самых фантастических переделках, компания, вконец утомившись, заходит в бильярдный бар «Конец пути».

СЦЕНА 2

Свет. Посреди сцены стоит бильярдный стол, вокруг которого, пошатываясь, прохаживаются ДМИ в костюме жениха, ДО в подвенечном платье, ДПВ и ДЗТ, которые по инерции продолжают предаваться любимым развлечениям: ДПВ боксирует с воображаемым противником, а ДЗТ тасует в руках колоду карт. Все очень пьяны.

Д М И. Мин-нуточку внимания!

Никто не слушает его. Тогда ДМИ достает из кармана револьвер и стреляет в воздух. Все замирают и поворачиваются на звук.

ДМИ забирается на бильярдный стол и затаскивает на него ДО.

Д М И. Друзья мои, богатыри с Дальнего Севера! Три дня мы не отказывали себе ни в чем. Мы пили самые дорогие напитки, разбивали самые шикарные машины, превращая их в груду обломков, купались в бассейнах с шампанским, лакомились изысканными деликатесами, посещали эксклюзивные вечеринки и грязные притоны, курили опий и потягивали абсент, покупали дворцы только для того, чтобы сжигать их. Я выполнял любые ваши желания, потому что хотел поделиться с вами моей радостью. Но пришло время прощаться, потому что меня зовет к себе моя мечта, а мечта у каждого — своя, и ей невозможно поделиться даже с самыми близкими друзьями. Сегодня на заре мы с Дженни отплываем на Эдем. Я передал все свое

состояние в распоряжение властей Махагонии в обмен на право поселиться на этом волшебном тропическом острове, острове любви, острове, где не нужно ни о чем заботиться и ни о чем волноваться. Единственное, чего можно опасаться на Эдеме — так это скуки, но нам с Дженни никогда не наскучит быть вдвоем! Представьте себе, что это мачта (ДМИ упирает вертикально кий в стол), а это — парус (вешает на кий фату Дженни). Все готово к отплытию. Я не могу взять вас с собой, но я приглашаю вас посидеть на дорогу с нами на палубе и спеть нашу песню — ту, которую пели мы на Аляске в долгие зимние ночи, озаренные светом мерцающих в очаге звезд.

ДПВ и ДЗТ забираются на стол, садятся. ДМИ запевает.

NORTH TO ALASKA (Johnny Horton)

(Поднимай паруса!)
(Поднимай паруса!)
Здесь, на Аляске,
Мы золото найдем.
Здесь, на Аляске,
Богато заживем.

Сэм Блейк взял курс на север, на Полярную звезду,
С ним был Джордж Пратт, его партнер, и некто по имени Лу.
За Белыми Горами, в ста милях на северо-восток,
Сэм, Джордж и Лу наткнулись вдруг на золотой песок.
На кручах неприступных там даже летом лед,
И кроме сов полярных никто там не живет,
Там в горло воздух мерзлый злой вонзается, как нож,
Но не боялись ничего ни Сэм, ни Лу, ни Джордж.
Удача дается тем, кто не сдается.
Здесь, на Аляске,
Мы золото найдем.

(Поднимай паруса!)
(Поднимай паруса!)
Здесь, на Аляске,
Мы золото найдем.

Здесь, на Аляске,
Богато заживем.
Джордж взял пригоршню золота в кулак
И к Сэму повернулся, и Сэму молвил так:
«Любой я самородок, будь он хоть размером с яйцо,
Отдам за то, чтоб милой Дженни надеть на пальчик кольцо.
Ведь мужчина — никто без женщины, ждущей в конце пути.
Запомни, Сэм, что золото стоит дешевле любви.
Ах, если бы Дженни была со мной, я дом бы
построить нам смог
Здесь, за Белыми Горами, в ста милях на северо-восток,
Удача дается тем, кто не сдается.
Здесь, на Аляске,
Мы золото найдем.
Здесь, на Аляске,
Богато заживем».
(Поднимай паруса!)
(Поднимай паруса!)

ДЗТ и ДПВ с криками «Приплыли! Аляска!» прыгают с «корабля» на «берег», спьяну не могут устоять на ногах и падают на пол.

Д М И *(хохоча)*. Ну вот, приплыли! А теперь пора прощаться. Но перед тем как расстаться, я все же хочу спросить вас, мои друзья: может, какое-то ваше желание все же осталось неисполненным?

Пауза.

ДЗТ поднимается с пола, подходит к столу и смотрит на ДМИ.

Д М И. Джек? Ах ты, старый шулер! Неужели осталась какая-то азартная игра, в которую ты еще не сыграл?

Д З Т. Да.

Д М И. Так скажи. Желание друга — закон.

Д П В *(показывая на ДО)*. Я хочу провести ночь с ней.

СЦЕНА 3

Свет в баре «Конец пути» гаснет. Луч прожектора выхватывает из темноты только того из персонажей, кто произносит очередную реплику.

Д М И. Джо! Я готов сделать вид, что я этого не слышал!

Д З Т. Ты все слышал. Я хочу Дженни.

Д М И. Это невозможно, Джо. Она — моя мечта, а мечтою не делятся даже с близкими друзьями.

Д З Т. Что тебе стоит отложить исполнение мечты на одну единственную ночь? Ведь ты ждал встречи с ней целых семь лет.

Д М И. Мы поклялись друг другу в вечной верности.

Д П В. Я заплачу *(распахивает мешок с золотом)*. Здесь — миллион долларов.

Д М И. Причем здесь деньги? Любовь не продается!

Д З Т. Всего лишь три дня назад ты купил ее за гораздо меньшую сумму.

Д О. Джимми, солнышко! По-моему, предложение Джека очень даже интересное. Если вычесть те сто долларов, которые ты потеряешь на одном дне верности, то останется… *(пытается произвести подсчет)* …миллион минус сто… это у нас получается…

Д М И. Дженни, но ведь ты согласилась поехать со мной на Эдем, на остров вечной любви, где нам никогда не наскучит быть вместе!

Д О. А если все-таки наскучит?

ДЗТ протягивает ДО мешок с золотом. ДО медленно тянется к нему рукой. ДМИ с криком «Нет!» бросается на ДЗТ. Начинается

драка, в пылу которой ДМИ выхватывает из кармана револьвер и целится в ДЗТ. Очнувшийся ДПВ вскакивает с пола и пытается выхватить оружие из рук друга. После короткой потасовки раздается выстрел. ДЗТ в панике ощупывает свое тело, но не находит раны. ДПВ делает несколько шагов по направлению к Дженни, пошатывается и падает замертво.

СЦЕНА 4

На шум выстрела в бар вбегают АБ и ТХ в мундирах полицейских.

Т Х. Кто стрелял?

ДМИ, ДЗТ и ДО переглядываются. ДМИ замечает, что револьвер по-прежнему у него в руках. Бросает его на пол.

А Б *(подходя к телу ДПВ и щупая пульс)*. Мертв. *(Достает из кармана ДПВ мешок с золотом и кладет к себе в карман.)* Имущество покойного до выяснения обстоятельств смерти переходит в распоряжение города Махагонии.

Т Х *(извлекает из-под мышки пресловутую папку, открывает ее и читает)*. Уголовный прейскурант Махагонии, параграф двадцать пятый — «убийство», часть «ц.» — «убийство лучшего друга». Дорогое удовольствие — миллион долларов.

А Б. Как желаете расплатиться — валютой, драгметаллами, безналичным переводом, по кредитной карточке?

Д М И. У меня нет денег.

ТХ в притворном ужасе хватается за голову. АБ извлекает из-за пояса наручники.

А Б. Молодой человек, не делайте таких безнравственных заявлений! Я прекрасно понимаю ваше состояние, вы перевозбуждены, вы решились сделать то, о чем многие мечтают, но не отваживаются исполнить, поэтому я сделаю вид, что не слышал ваших слов. Подумайте хорошенько.

Д М И. Я отдал вам все, и вы это прекрасно знаете.

А Б. Может, вы все же попытаетесь найти выход из этого крайне щекотливого положения?

Д М И. Дженни!

Д О *(отрицательно качая головой и считая на пальцах)*. Миллион долларов — это сто тысяч дней верности. А ты со мной пока расплатился только за три. Ничем не могу тебе помочь.

ДМИ. Джек! В конце концов, это все случилось из-за тебя! Вспомни, как семь лет мы делили с тобой одну пару носок!

Д З Т. Сожалею, Джимми, но это ты хотел убить меня, а не я — тебя. Дружба дружбой, а деньги — деньгами. Семь долгих лет я валил вековые деревья в лесах Аляски. Да ты и сам все это знаешь — стужа, замерзшие звезды, волки, медведи, подошвы ботинок, примерзшие к снегу. Я не собираюсь расплачиваться за твои ошибки.

Д М И *(к АБ и ТХ)*. Тогда верните мне мои деньги! Я отказываюсь от Эдема!

Т Х *(открывая папку)*. Договор с туристической фирмой «Эдем без проблем». Четвертое примечание к восьмой сноске семьдесят второго пункта: «Настоящий договор не подлежит расторжению. Суммы, выплаченные в качестве аванса, клиенту не возвращаются».

Д М И *(протягивая вперед руки)*. Что ж, тогда арестуйте меня! Я докажу в суде свою невиновность! *(Показывая на зал.)* У меня много свидетелей! Это произошло случайно!

Т Х *(вновь открывая папку)*. Уголовный прейскурант Махагонии, параграф первый: «Случайно даже кошки не родятся».

А Б *(защелкивая наручники на запястьях ДМИ)*. Суд, впрочем, с удовольствием вас выслушает. Судьям ведь тоже нужно бывает чем-то развлечься.

ДМИ, оттолкнув АБ, выходит на просцениум. ТХ кидается за арестованным следом, но АБ останавливает его. Свет на ДМИ.

СЦЕНА 5

Д М И *(обращаясь к залу)*. Вы все видели! Ведь видели же? Меня обманули, меня подставили, один мой друг меня предал, второго я убил, моя любовь покинула меня. Я не хотел убивать Джо, я, может быть, хотел убить Джека, но ведь не убил! Джо был мне как брат: семь долгих лет на Аляске мы делили на двоих одну трубку. Но власти Махагонии не волнует справедливость. Все, что им нужно — это деньги. Они забрали их у меня, и теперь я никто, преступник, бесправный арестант. Я верил, что Махагония — это рай. Так было написано в рекламном проспекте. Но рекламные проспекты — это наживка в мышеловке, и я на эту наживку попался… Поверил, что мечту можно купить за деньги. Но любая купленная мечта — это всего лишь копия с оригинала, фальшивка, которую всучивают дуракам, позабывшим о том, что мечту купить невозможно. Она принадлежит каждому человеку по праву рождения, как воздух, как солнечный свет. Не верьте им, этим торговцам фальшивками, которые заставляют нас валить лес в зимнюю стужу только для того, чтобы потом отнять у нас все, что мы заработали. Достаточно только протянуть руку — и все, что вы хотите, станет вашим. А если кто-то попросит у вас за это плату, спросите его, каким образом он стал хозяином вашей мечты. Он не сможет вам ничего ответить, потому что он ее или украл, или присвоил при помощи какого-нибудь мошенничества.

Задник постепенно озаряется красным светом. Сначала тихо, а затем все громче и громче, начинает звучать «Марсельеза».

Все законы Махагонии — ложь. Те, кто придумали их, только делают вид, что они написаны на бумаге: они изобретают их на ходу, чтобы при их помощи обделывать свои грязные делишки.

На этих словах ТХ, возможно, испуганно прячет папку себе под мышку.

«Марсельеза» нарастает, слышны крики, выстрелы, шум толпы.

Когда мы валили вековые деревья в лесах Аляски, мы были свободны. Мы спали, когда хотели, ели и пили, когда хотели, любовались северным сиянием, когда руки уставали от топора, видели наши бесплатные сны и не убивали друг друга. Бог создал мир, в котором жили я, и Джек, и Джо. Но дьявол пришел и создал этот город, и мы побежали на блеск его огней, чтобы предаваться излишествам, продавать себя в рабство собственным прихотям, гоняться за миражами, которые стоят не дороже той тряпки, на которой они возникают. Встаньте, идите, разбивайте витрины, верните себе обратно все, что у вас отняли!

«Марсельеза» звучит уже совсем громко. Вышедшие из оцепенения АБ и ТХ подбегают к ДМИ, затыкают ему рот кляпом, надевают на него берет, наклеивают бороду и усы, кладут в скованные наручниками руки деревянный автомат; ДМИ превращается в некое подобие команданте Че со знаменитой боливийской фотографии. На заднике вспыхивают надписи «РЕВОЛЮЦИЯ В МАХАГОНИИ!», «50%-ное СНИЖЕНИЕ ЦЕН!», «СКИДКИ ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУПОНОВ!». АБ и ТХ вручают купоны ДЗТ и ДО, которые тут же убегают за сцену, возвращаясь с тележками, груженными «покупками». На заднике, возможно, ускоренные съемки или анимация — толпа, занимающаяся шоппингом, люди, хватающие с полок товары и т. д. АБ и ТХ разбрасывают «купоны» в зал. «Марсельеза» тем временем плавно перетекает в собственный легкомысленный ремикс. На заднике повисают слова «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА».

ЗТМ

АНТРАКТ

АКТ III

Возможно, что перед началом действия на экран проецируются современные постановке рекламные клипы. После окончания антракта на экране заставка: «В ГОСТЯХ У ФЕМИДЫ»

СЦЕНА 1

Все те же декорации бара «Конец пути», только слегка трансформировавшиеся, чтобы создать впечатление зала суда: бильярдный стол, например, превращается в стол, за которым сидит судья, металлодетектор — в «обезьянник» для подсудимого и т. д. и т. п. За столом АБ, облаченный в парик и судейскую мантию, в «обезьяннике» ДМИ (по-прежнему с кляпом во рту). Около него вьется ТХ с пресловутой папкой в руках, подвизающийся, на сей раз, в роли адвоката.

А Б *(ударяя молотком по столу)*. Начинаем слушание дела «Народ Махагонии против Джима Макинтайра». Пункт первый: подсудимый обвиняется в том, что склонил девицу Дженни Оклахому к сожительству в извращенной форме вечной верности. *(К ДМИ.)* Подсудимый, что вы можете сказать в свое оправдание?

ДМИ мычит.

Т Х. Ваша честь, мой подзащитный хочет сказать, что сожительство происходило с полного согласия вышеупомянутой девицы.

А Б. Это обстоятельство не имеет особого значения. Подобная порочная практика нарушает свободу торговли и ведет к потере прибыли. Если все начнут соблюдать вечную верность, бизнес может прийти в полный упадок.

Т Х. Но, ваша честь, у меня здесь имеются документы, подтверждающие, что подсудимый согласился компенсировать ущерб путем выплаты Дженни Оклахоме соответствующей суммы из расчета сто долларов за каждый день верности.

А Б. Что ж, это меняет все дело. Выплачивались ли с этих сумм налоги в городскую казну?

Т Х. Да, вот квитанции.

А Б. Есть квитанции — нет преступления! Переходим ко второму пункту обвинения: в ходе драки, имевшей место в бильярдной «Конец пути», подсудимый, по утверждению свидетелей, застрелил из револьвера своего лучшего друга Джо Полярного Волка. Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?

ДМИ вновь мычит.

Т Х. Ваша честь, подобные действия предусмотрены Уголовным прейскурантом Махагонии! Право на убийство — одно из основных прав человека и гражданина, а убивают, как водится, чаще всего ближних. Как утверждают психологи, убийство ближнего приносит гораздо большее удовлетворение, чем убийство незнакомца.

А Б. Господин адвокат, мне как автору прекрасно известны наши законы. Я просто хочу знать, признает ли подсудимый себя виновным, чтобы понять, с кого нам получить штраф размером в один миллион долларов.

ДМИ мычит еще громче и трясет руками решетку.

Т Х. Да, признает.

А Б. Отлично, переходим к следующему пункту. Во время задержания полицией подсудимый оказывал сопротивление, а также произносил речи, подстрекающие граждан к бунту и покушению на частную собственность. Итак, подсудимый…

Т Х *(не давая закончить вопрос)*. Но, ваша честь, свобода слова у нас в Махагонии — одно из дозволенных удовольствий, причем настолько доступное и бесполезное, что за него даже не взимается плата — разумеется, в том случае, если за речами не следует дел.

А Б. Мы имеем дело именно с таким случаем?

Т Х. Да, разумеется. Более того, речь подсудимого имела большой резонанс, транслировалась многочисленными зарубежными телеканалами как доказательство высокого уровня демократии в Махагонии, что способствовало укреплению нашего положения на международной арене.

А Б. Отлично! Я позабочусь о том, чтобы подсудимого представили к правительственной награде. Разумеется, в том случае, если он будет оправдан по всем пунктам.

Т Х. А что, ваша честь, остались еще какие-то пункты?

А Б. Увы, господин адвокат. Подсудимый заявил представителям закона, что у него нет денег. Следовательно, он не может выплатить штраф в один миллион долларов. Что вы скажете суду на это?

Т Х. Какой ужас! Признаю свое бессилие: как адвокат я не могу найти никаких смягчающих обстоятельств в этом кошмарном преступлении!

А Б. Вы отказываетесь от защиты?

Т Х. Позвольте использовать последний шанс, ваша честь. Я обращусь за помощью к общественности. *(Выходит на авансцену.)* Господа, на ваших глазах гибнет человек! Всего лишь какой-то жалкий миллион долларов — и он обретет свободу и вернет себе доброе имя! Что вам стоит помочь ему? Утверждают, что милосердие — это тоже источник наслаждения. Неужели никто из вас не захочет войти в историю как человек, не пожалевший миллиона наличными на то, чтобы изменить ход разыгрывающегося у него на глазах спектакля? Ну, если ни у кого нет при себе миллиона, может, скинемся всем миром? Вас здесь несколько сотен — на нос выйдет всего по десятку тысяч. Нет? Да, похоже, что наслаждение, доставляемое милосердием, совсем не так велико, как утверждают…

А Б. В том случае, если нет желающих внести за подсудимого штраф, я объявляю приговор. Именем города Махагонии Джимми Макинтайр, лесоруб, приговаривается к смертной казни через повешение.

Удар гонга. ЗТМ.

СЦЕНА 2

Свет только в левом углу сцены. Он высвечивает сидящую за разбитым фортепьяно Дженни, которая играет вступление к песне «25 минут до конца».

Вспыхивает свет в правом углу: там установлен эшафот с виселицей (возможно, все тем же бывшим металлодетектором).

ДМИ готовят к казни: АБ выступает в роли режиссера, Палач в балахоне (это может быть актер, игравший ДПВ) совершает положенные в таких случаях действия (последняя сигарета и т. д.), ТХ суетится вокруг с камерой.

Происходящее возле эшафота, возможно, как-то соотносится с текстом песни, которую поет ДО.

25 MINUTES TO GO (Shel Silverstein)

Вот готов эшафот, и нет дороги назад…
25 минут до конца…
Через 25 минут отправляюсь я в ад.
24 минуты до конца…
Мне дали поесть на прощанье в тюрьме.
23 минуты до конца,
Но никто не спросил, каково нынче мне,
За 22 минуты до конца.
Я писал прокурору, но тот не читал…
21 минута до конца
Я звонил даже мэру, но мэр уехал на бал.
Ровно 20 минут до конца.
Тут шериф говорит: «Пора начинать —
19 минут до конца!».

А я делаю вид, что мне на все наплевать,
За 18 минут до конца.
Начальник тюрьмы сказал мне: «Сынок,
Всего 17 минут до конца,
А чтоб устроить побег, нужен больше мне срок,
Чем 16 минут до конца!»
Приходил адвокат, пускал слезу и соплю
За 15 минут до конца,
Но он вместо меня не полезет в петлю
За 14 минут до конца!
Вот явился священник с огромным крестом
За 13 минут до конца
И полез ко мне в душу с Иисусом Христом,
За 12 минут до конца!
Они проверили веревку — веревка крепка.
11 минут до конца.
А я так мечтал, что порвется пенька!
Осталось 10 минут до конца.
А если помилует меня президент?
Осталось 9 минут до конца,
Но только в фильмах бывает такой хэппи-энд
Всего за 8 минут до конца…
И вот по лестнице лезу я на эшафот —
Осталось 7 минут до конца —
А если я поскользнусь и сломаю хребет
Всего за 6 минут до конца?
Сияет солнце на небе, но в душе моей ночь —
Осталось 5 минут до конца.
Ну неужели никто мне не сможет помочь
За 4 минуты до конца?
Я впервые понял, как прекрасна земля
Лишь за 3 минуты до конца,
Но на шею уже надета петля.
Осталась пара минут до конца…
Шарниры люка скрипят, отвратительный визг —
1 минута всего до конца —
Доска ушла из-под ног, и вот я падаю вниз… вниз… вниз…

С последним аккордом свет над ДО резко гаснет.

А Б *(к палачу)*. Стоп! Стоп! А как же последнее слово смертника? Эту сцену никак нельзя пропускать, это ключевой эпизод! Я намерен заработать на этой картине не менее ста миллионов. К тому же, я придумал сногсшибательное название — «Казнь Джима Макинтайра, героя Дальнего Севера, бунтаря и поэта»! Палач, выньте ему кляп изо рта!

Палач делает шаг к ДМИ. Внезапно свет начинает мигать, и раздается завывание сирены. Все застывают неподвижно.

СЦЕНА 3

Голос Диктора. Внимание! Внимание! Штормовое предупреждение! Небывалой силы ураган приближается к Махагонии! Всем немедленно укрыться в убежище! Всем немедленно укрыться в убежище!

Т Х. Бегби, надо прятаться! Иначе мы умрем!

А Б. Что? Отложить казнь? Да ты посмотри, какой свет, какая картинка. Герой на фоне грозовых облаков. Мы заработаем на этом сотню миллионов!

Т Х. Нет, Бегби, мы погибнем! Ураган — это очень серьезно!

А Б. Тоби, ты вновь сомневаешься в том, что деньги могут творить чудеса?

Т Х. Я знаю, Бегби, так написано в Библии. Ты мне рассказывал. Но и про зебру ты тоже мне рассказывал.

А Б. И что?

Т Х. А вдруг это и есть то самое… ну, чем зебра кончается?

А Б. Ерунда, Тоби, наша зебра — очень длинная и состоит исключительно из белых полосок.

Т Х. Таких зебр не бывает, Бегби.

А Б. Послушай, Хиггинс, я не собираюсь терять сто миллионов баксов из-за какой-то там полосатой лошади! Снимаем! Мотор!

Палач освобождает ДМИ от кляпа. ТХ покорно припадает к камере.

СЦЕНА 4

Грозовое небо на заднике. Звучит инструментальная пьеса (возможно, The Doors, «Riders on the storm»).

Д М И. Жалкие люди! Чего вы испугались? Разве могут сравниться какие-то там цунами, землетрясения, вулканы, тайфуны, смерчи, торнадо, песчаные бури и океанские штормы с человеком?

В продолжение всего монолога ДМИ на заднике вспыхивают заголовки новостей: «УРАГАН УНИЧТОЖИЛ ПЕНСАКОЛУ!», «АДЕЛАИДА СМЕТЕНА С ЛИЦА ЗЕМЛИ!», «ОГРОМНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ В МАРРАКЕШЕ!», «ПОРЫВОМ ВЕТРА ОПРОКИНУТА ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ!» и т. п.

Не смотрите, что он такой маленький, хрупкий и невзрачный на вид — страшнее этого существа нет ничего во всей вселенной. Природа слепа и беспристрастна, и только человек пытает и казнит умышленно. Люди отважились предать и распять даже Бога — куда до них какому-то жалкому урагану! Не бойтесь смерти: вы все и так уже мертвы — как может стихия повредить вам? Даже если земля разверзнется и ад вырвется наружу, станет ли от этого хуже тем, кто уже и так день за днем живут в аду? Если бы ураганом был я, я бы оставил Махагонию в покое: для тех, кто проводит всю жизнь в ненасытной погоне за удовольствиями, смерть — не наказание, а избавление! Вы можете казнить мое тело, но не мою мечту. Когда я умру, мечта вернется туда, откуда она явилась, и будет жить вечно. ЗТМ.

СЦЕНА 5

Грохот и рев урагана. На заднике — анимация, показывающая гибель Махагонии под натиском яростной стихии. Задник гаснет, в тусклом свете среди клубов пыли — опрокинутая виселица и прочие предметы реквизита, разбросанные по земле тела.

СЦЕНА 6

ДМИ выбирается из-под обломков эшафота — он избежал и петли, и ярости урагана. Теребит тела АБ и ТХ: судя по всему, это уже трупы. Поднимает Палача: из балахона вываливается скелет, который мы видели в начале АКТА I. ДМИ с отвращением швыряет на землю балахон, озирается по сторонам, кидается к опрокинутому фортепьяно. Поднимает из-под него тело ДО и берет его на руки.

Д М И. Дженни! *(Целует ДО в губы.)* Моя бедная Дженни! Знаешь, пока я сидел в тюрьме в ожидании казни, я все время думал о тебе. Я пытался научиться ненавидеть тебя, вспоминал о том, как ты меня предала — но все впустую. И тогда я понял, что люблю тебя — именно тебя, а не ту мечту, что являлась мне в моих сновидениях. Конечно, мечту любить гораздо проще, чем живую женщину, слабую и капризную. Но и гораздо скучнее. Дженни, бедная Дженни, ты предала меня, но погибла вместо меня, и я буду хранить тебе вечную верность.

ДО издает пронзительный визг. От неожиданности ДМИ роняет «покойницу», но тут же кидается к ней и вновь поднимает на руки.

Д М И. Дженни, ты жива?

Д О. О, Джим, ты говорил такие хорошие слова, что я сразу же ожила! Но теперь я думаю, что, похоже, поторопилась. Я вспомнила, что у тебя больше нет денег, так что твоя вечная верность вряд ли сделает меня богаче.

Д М И. О Дженни, разве это теперь имеет значение! Мы спаслись, мы живы!

Д О. А остальные?

Д М И. Если ты об этих *(показывает на трупы)*, то они мертвы, как бревна.

Д О *(спрыгивая с рук ДМИ, в воодушевлении)*. О Джимми! Так значит, ты уже никому не должен миллион долларов! Боже мой! *(Оглядываясь по сторонам, деловито.)* Все это поддается ремонту. Мы можем отстроить новую Махагонию, гораздо лучше прежней. Мы станем ее хозяевами вместо Бегби и Хиггинса! Мне больше не придется отдавать им по двадцать долларов за каждый день верности тебе.

Д М И. Но, Дженни, это проклятое место! Это ужасный город! Спасибо урагану, что он уничтожил его! Если мы останемся здесь, мы окажемся не господами, а рабами Махагонии. Пауки ничуть не больше в состоянии покинуть свою паутину, чем попавшие в нее мухи. Дженни, умоляю тебя, уедем отсюда! Уедем на Аляску!

Д О. На Аляску?

Д М И. Да, на Аляску! Пусть там холодно, пусть волки и медведи, пусть с неба там падают замерзшие звезды, а подошвы ботинок примерзают к снегу — зато там есть свобода!

Д О. И что мы будем с ней делать, Джимми?

Д М И. Да все, что захотим! Построим дом, родим детей, воспитаем их свободными людьми, настоящими богатырями Дальнего Севера! От нас пойдут новые свободные люди, не боящиеся смерти, ищущие не наслаждений, но радости!

Д О. Бррр!

ДМИ удивленно смотрит на ДО, которая стучит зубами и делает вид, что мерзнет.

Д М И. Ты замерзла, любовь моя?

Д О. От одних твоих рассказов, Джим Макинтайр, моя кровь превращается в сосульки! Я с детства была ужасной мерзлячкой: чтобы согреть меня, маме приходилось ложиться ко мне под одеяло. С тех пор как мамы больше нет, мне все время хочется, чтобы рядом со мной было что-нибудь большое и теплое. Возможно, именно по этой причине я и пошла в проститутки. Но в такую стужу, о которой говоришь ты, Джим, боюсь, даже тебе не под силу будет меня согреть.

Д М И. Неужели ты не поедешь со мной, Дженни?

Д О. Я не знаю, Джим.

СЦЕНА 7

На сцену выбегает ДЗТ: он пьян, как от алкоголя, так и от эйфории, которая охватывает людей, чудом спасшихся от гибели.

Д З Т. Джимми! Дженни! Вы живы? Какое счастье!

Д О. Джек!

Д М И *(холодно)*. Джек?

Д З Т. Джимми, неужели ты до сих пор на меня сердишься?

Пауза.

Д З Т. Ну, ты же сам сказал, что хочешь со всеми поделиться своей радостью. Извини, я понял твои слова слишком буквально. Понимаешь, когда все это случилось, я несколько растерялся. В конце концов, ты же хотел меня убить. Семь долгих лет мы делили с тобой на двоих одну трубку.

Д М И. По-моему, это были носки.

Д З Т. Неважно. Короче, я растерялся и расстроился. Как-то неожиданно все это вышло: Джо умер, тебя арестовали. У меня душа была не на месте. Я забился в какой-то винный погреб

и начал пить. Нажрался в дым, в хлам, в щепки — почти ничего не помню. Просыпаюсь, а кругом никого нет, одни кирпичи валяются. С трудом выбрался на улицу — а тут на тебе! Что это было, конец света?

Д О. Это был ураган, Джек.

Д З Т. Чуял я, что этим все дело и кончится. Эта затея с Махагонией мне с самого начала не нравилась. Слишком много рекламы. *(Заметив трупы.)* А это что?

Д О. Бегби и Хиггинс. И еще один джентльмен. Они все погибли.

Д З Т. Не хочу говорить плохого о мертвых, но мне эти парни с самого начала не нравились. Ладно, главное, что мы живы. Кстати, в том самом винном погребе, где я напился, почти ни одна бутылка не разбилась. Друзья, пойдемте туда и отпразднуем наше спасение! Тем более что платить за выпивку, похоже, больше некому.

Д М И. Почему-то мне не хочется пить с тобой, Джек.

Д О. Джим, нельзя быть таким злопамятным. Все же кончилось хорошо: мы живы, ты больше никому не должен миллион долларов, значит, я снова могу хранить вечную верность тебе.

Д М И. Я убил Джо.

Д О. Это досадная случайность. Я однажды тоже случайно бросила в стиральную машину мою песцовую горжетку — она погибла, и я проплакала по этому поводу целых десять минут. Но потом я поняла, что горжетке это не поможет, и перестала плакать. Пойдем, выпьем и забудем обо всех неприятностях.

ДМИ. Только без меня. Я наконец-то все понял: Махагония не погибла. Ураган уничтожил дома, погубил много людей, но те, кто выжил, остались такими же, как и прежде. Все, что вам нужно, это наслаждения, которые помогают забыть о смерти. «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов», — говорите вы

и возвращаетесь к прерванной пьянке. И тысяча ураганов ничему не научат вас. Я ухожу на Аляску. Дженни, ты идешь со мной?

ДО направляется к ДЗТ и становится рядом с ним.

Д О. Нет, Джимми. Я с детства была ужасной мерзлячкой. Аляска, наверное, жутко интересное место, но там нет никакой ночной жизни, если не считать северного сияния.

Д М И. Что ж, Дженни, поступай, как тебе нравится — моя мечта останется со мной, в моем сердце.

Д О. Надеюсь, ей будет там тепло долгими полярными ночами. Ты будешь писать мне письма, Джим?

Д М И. А ты этого хочешь?

Д О. Знаешь, женщинам не так уж часто предлагают вечную верность. И даже если наша продлилась всего три дня, мне было бы приятно иногда иметь повод об этом вспомнить.

ДО кладет руку на плечо ДЗТ. ДМИ делает шаг в сторону ДЗТ и ДО. ДЗТ выхватывает из-за пояса револьвер.

Д З Т. Не надо, Джим. Ты уже пробовал убить меня однажды, это ничем хорошим не кончилось.

ДМИ останавливается.

Д М И. Что ж, ты прав, Джек Золотой Топор. Я был глуп, я поверил в то, что мечта может стать явью. Я ошибся. Пусть каждый пойдет своей дорогой. *(Садится.)* Спешите, вас ждет вино и музыка, тысячи ночей и дней, неотличимых друг от друга. Я пытался купить мечту за деньги, но это невозможно. Придется искать другие пути.

Д О. До свиданья, Джимми!

Д М И. Прощай.

ДО и ДЗТ уходят.

СЦЕНА 8

ДМИ остается один.

Д М И *(глядя на небо)*. Какое чистое небо! Такое бывает только после бури, когда уходят облака и оседает пыль. Звезды огромные, мохнатые, яркие; они кажутся такими близкими. А вон там, над самым горизонтом — Полярная звезда. Она сияет не так сильно, как многие другие, но почему-то она манит и дразнит меня сильнее всех. Недаром моряки и бродяги с давних пор прокладывают свой путь именно по ней. Казалось бы, это глупо: ну что делать людям на севере, где нет ничего кроме льдов? Нет чтобы выбрать ориентиром какую-нибудь из южных звезд. И все же самые смелые и отчаянные всегда стремились именно на север. Замерзали среди торосов, проваливались в полыньи, достигали полюса, находили там одно лишь белое безмолвие, возвращались домой разочарованные, но по проложенной ими дороге отправлялись другие, словно надеялись отыскать среди холодной пустыни тропинку, уходящую вверх, к небу, дальше всех полюсов, прочь от этой страшной земли.

Семь лет назад в такую же ясную ночь мы отправились в путь — я, Джо и Джек. Мы добрались до Аляски и думали, что достигли цели. Мы были молоды и наивны и дорого заплатили за это. Нужно было идти дальше, дальше, дальше, не останавливаясь ни на миг, не веря лживым снам, которые звали нас вернуться обратно, в большие города, к шумной толпе, искать любовь и счастье там, где их нет и не может быть. Теперь мне придется пройти этот путь в одиночку. Если я не погибну, я отыщу путь к Полярной звезде и позову за собой всех остальных, робких и слабых — даже тех, кто предал и обманул меня.

Говорят, что тот, кто однажды стоял на эшафоте, уже не боится ничего. Поэтому мне, висельнику, все карты в руки. Итак, в путь, Джим Макинтайр, в путь! Прощай, Махагония, Долина Смерти! Ты ловила меня в свою паутину, да так и не поймала.

Пожалуй, я спою тебе на прощанье одну песню, которая пришла мне в голову, когда я стоял под виселицей с петлей на шее.

PEOPLE ARE STRANGE
(Densmore — Krieger — Manzarek — Morrison)

В городе этом на всех непохожих
Каждый прохожий смотрит, как враг.
Женские взгляды пропитаны ядом,
Может последним стать каждый шаг.

Ты чужой — словно затравленный зверь…
Ты чужой — снова захлопнулась дверь…
Ты чужой, ты чужой, ты чужой…

В городе этом на всех непохожих
Каждый прохожий смотрит как враг.
Женские взгляды пропитаны ядом,
Может последним стать каждый шаг.

Ты чужой — словно затравленный зверь…
Ты чужой — снова захлопнулась дверь…
Ты чужой, ты чужой, ты чужой…

ДМИ уходит навстречу Полярной звезде. ЗТМ.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО АКТА

ЭПИЛОГ. ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Марш на тему «Alabama Song». Главная площадь Нью-Махагонии, посередине которой — памятник, в котором узнается подвергшаяся сильной героизации фигура ДМИ. На площади появляется процессия. Возглавляет ее раздобревший и обретший благообразие ДЗТ в официальном костюме мэра. За ним следует мэрская супруга — ДО, толкающая коляску, далее — Гувернер и Гувернантка (это могут быть актеры, исполнявшие роли АБ и ТХ). Процессия останавливается посреди площади. Обыватели помогают ДО извлечь из коляски многочисленное потомство мэрской четы (это

куклы) и рассаживает его по скамейкам. ДЗТ поднимается на кафедру. Музыка стихает.

Д З Т. Друзья, сегодня — торжественный день, в который мы, граждане Нью-Махагонии, отмечаем очередную годовщину со дня, когда нас покинул Джим Макинтайр — герой, портреты которого украшают каждую монету и купюру нашего замечательного города. По традиции в этот день я как мэр обязан напомнить нашей молодежи славную историю нашего Нью-Махагонии — бесспорно, самого красивого и процветающего города на всей земле. Пятнадцать лет назад я и Джим явились в это место, носившее тогда ужасное название — Долина Смерти. До этого мы семь лет валили лес на Аляске — стояла лютая стужа, кругом бродили волки и медведи, замерзшие звезды падали с неба. Порой бывало так холодно, что подошвы ботинок примерзали к снегу, стоило выйти наружу. Семь лет мы курили на двоих одну трубку — вот эту *(достает из кармана носок, смущается, лезет в другой карман, достает оттуда другой носок)*… увы, я забыл ее дома. Но мы преодолели все трудности. Простые, честные лесорубы, мы застали здесь возмутительные нравы — разврат, погоню за наслаждениями, чудовищные преступления, отвратительность которых вы с трудом можете себе теперь представить.

Возмущенные увиденным, мы с Джимом восстали против царивших в Долине Смерти порядков. За это тогдашние правители этого места, безнравственные бандиты, поправшие человеческие законы, приговорили нас к смерти.

Стоя на эшафоте, мы с Джимом вознесли свою молитву Господу, умоляя его покарать Махагонию. Господь услышал наши молитвы — он послал разрушительный ураган, погубивший бандитов и их подручных и спасший от петли нас с Джимом.

После чудесного спасения мы решили начать новую жизнь и установить новые законы. Джим сказал мне: «Джек, будь счастлив с этой женщиной *(показывает на ДО)*, нарожай детей и правь справедливо, а я ухожу искать дорогу к Полярной звезде. И Джим ушел.

Он обещал написать нам, если найдет эту дорогу, но вот уже пятнадцать лет от него нет никаких вестей. Что это может означать, дети? Только одно — Джим Макинтайр погиб в полярных льдах. Он был великим человеком, но у него была одна маленькая слабость — он был поэт. Он искал мечту, отпечатавшуюся в его сердце. Судя по всему, мечты этой не существует, а это подтверждает тот факт, что единственная доступная человеку мечта — это наш город, город, где установлен самый справедливый закон: каждый, кто откажется от желания, получает вознаграждение! Итак, приступим!

ДЗТ спускается с кафедры к детям-куклам. Подходит к первому ребенку. (Поскольку дети-куклы бессловесны, их желания озвучивают Гувернер с Гувернанткой.)

Д З Т. Мальчик, чего ты больше не хочешь?

Г. Он больше не хочет мороженого.

Д З Т. Замечательно! Вот тебе десять макинтайров!

Диалог повторяется с остальными детьми-куклами, которые больше не хотят «мультиков», «живую Дюймовочку», «игрушечных рыбок» и т. д., пока очередь не доходит до последней девочки-куклы.

Д З Т. А ты, девочка?

Г - к а. Она вообще больше ничего не хочет.

Д З Т. Ах, какая прекрасная девочка! За это ты получишь от меня целых сто макинтайров! А теперь самое время всем спеть хором гимн нашего города!

Под звуки детского хора, исполняющего «Alabama Song» на ля-ля-ля, без слов, все «поют» стоя, приложив руку к сердцу.

В разгар пения на площадь выбегает Почтальон (это может быть актер, игравший ДПВ), сжимающий в руке письмо. Весь его вид свидетельствует о том, что он явился из мест, где невероятно

холодно: его одежда сплошь покрыта сосульками и изморозью. Он пытается вручить письмо всем присутствующим, но те поглощены «пением» и не замечают его. Наконец, Почтальон падает замертво на авансцене.

Музыка стихает, но «хор» продолжает «петь» беззвучно, артикулируя абстрактные слоги. ДО подходит к Почтальону и берет из его руки письмо.

Д О *(читает)*. «Дорогая Дженни! Дорога к Полярной звезде оказалась длиннее и труднее, чем я мог предположить. Холод продолжает нарастать. Воздух вокруг меня сгустился до такой степени, что мне приходится продвигаться вплавь в прозрачной, дымящейся жидкости. Мое дыхание выпадает у меня изо рта большими белыми хлопьями, и, если я до сих пор не погиб, то только потому, что мое сердце по-прежнему пылает, как раскаленный камень. Судя по всему, это — огонь моей любви. Ты знаешь, я много раз сомневался и ошибался. Сначала я думал, что моя мечта — это ты. Затем, когда ты покинула меня в трудную минуту, я решил, что ошибался, а потом я решил, что ошибался в том, что ошибался, а еще позже — что ошибался, в том, что считал, что ошибался, что ошибался. И когда я уже совсем запутался в своих сомнениях, я понял, что продолжаю по-прежнему любить тебя».

«Дженни, вот уже пятнадцать лет подряд в один и тот же день, в годовщину нашего расставания, я посылаю письма, но ты на них не отвечаешь. Дженни, приди ко мне! Мы будем плыть с тобой бок о бок в жидком воздухе, а когда он превратится в лед, мы протопим в нем тоннель огнем наших любящих сердец. И мы прорвемся к Полярной звезде! Дженни, любимая…»

Д О *(складывая письмо)*. Ах, Джим Макинтайр, Джим Макинтайр! Ты такой же, как пятнадцать лет назад. Пламя в сердце, возвышенный бред в голове. Только я стала другой. Я поняла, как надо правильно распорядиться вечной верностью. Я отказалась от нее, и за это наш замечательный город *(показывая на ДЗТ)* выплатил мне один миллион макинтайров!

Понимаешь, Джимми, один миллион макинтайров это больше чем один Макинтайр ровно на… *(пытается подсчитать)* один миллион минус один… это получается *(отказывается от безнадежной попытки)*. Это намного больше!

К тому же, Джим, я тебе неоднократно повторяла: я… *(методично рвет письмо на мелкие клочки)* всегда… была… ужасной… мерзлячкой!

«Хор» нарастает, начинаясь как a capella sotto voce и, постепенно, crescendo con accelerando, вместе со вступившим оркестром, пока не начинает звучать как адская какофония. ДО «дирижирует» ансамблем. Свет гаснет.

Занавес.

2004

Кино

Никто из ниоткуда

Киносценарий

Ночь, пассажирский лайнер посреди океана. Окна кают темны, только сигнальные служебные огни мерцают от земли до самого неба. В тишине движется грузное корабельное тело над черной водой.

Отворилась дверь, и на палубу, на узкую дорожку, вышел человек. Оглянулся, звучно икнул, сам этому звуку испугавшись, и неуверенной походкой двинулся вперед. Впереди, однако, хода не было. Человек двинулся обратно, но опять далеко не ушел, напоролся на загородку. Тогда он встал, удивленно озираясь в поисках выхода. Никакого выхода не было, вместо него было маленькое оконце, за которым сидел малаец в морской форме и с таким лицом, что смотреть на него не хотелось.

Чтобы не видеть малайца, он поднял глаза к небу и, завороженный, застыл. Там, высоко над линией горизонта, висела невиданная звезда. Из яркого ее центра исходило несколько ослепительных зеленых лучей, медленно кружащихся вокруг невидимой оси…

— Вот это да… — прошептал он и, словно повинуясь гипнотическому приказу, пошел на небесный маяк. Незаметно для себя он ступил на приваленные к борту сходни, на путь, ведущий в пустоту.

Залопотал, запричитал из своего окошечка малаец, на что человек отозвался совершенно бессмысленным, механическим бормотанием. Изумленный малаец видел, как шагнул в пустоту и скрылся за бортом новый очарованный странник. Малаец с озадаченным лицом подошел к месту исчезновения и уставился вниз. А над затылком малайца горела удивительная звезда.

Ни малаец, ни пьяный человек не заметили того, что все это время за ними с верхней палубы следили удивительные глаза на странном лице. Когда все было кончено, обладатель этих странных глаз тихо захихикал, удовлетворенный, повернулся и растворился в тропической темноте.

А звезда продолжала гореть, но уже не на небосводе, а на многочисленных экранах в бункере, набитом аппаратурой и военными, которые на эти экраны смотрели. Один из них быстро печатал что-то на телетайпе.

На верхнем этаже некоего небоскреба другой телетайп строчил сообщение. Служащий вырвал бумагу из аппарата, бросился бежать по длинному коридору…

Удивительная звезда надвигалась, росла, но уже не на тропическом небе, а на цветной фотографии, которую рассматривали двое мужчин явно военной породы, но в штатском…

— Итак, объект подает сигналы через равные промежутки времени, — сказал первый…

— В Маунт-Паломаре это объясняют отражением земного радиоизлучения от кристаллической поверхности обычного астероида.

— Ты веришь профессорам астрономии?

Второй из военных скептически ухмыльнулся. Телетайп скептически достучал свое сообщение.

— Посмотри…

— Это от криптографов.

— И что, есть какой-нибудь смысл?

— Есть, и еще какой!

Первый дочитал телетайпограмму, молча положил ее в папочку и после минутного молчания сухо произнес:

— Это придется засекретить по высшей форме.

«НИКТО ИЗ НИОТКУДА»

Песчаный пляж, облизанный прибоем. Могучая волна выбросила на песок человека, того самого, который упал за борт.

Он с трудом поднялся на ноги, обернулся и увидел надвигающуюся за спиной очередную волну. Задыхаясь, рванулся прочь от нее. Наконец, добежав до линии прибоя, сорвал с себя отяжелевшую от воды одежду, и только тут ему удалось посмотреть, куда же его занесло. Перед ним лежал остров. Остров настолько маленький, что его целиком можно было окинуть одним взглядом. В центре его, на пригорке, среди небогатой, обтрепанной штормами растительности, виднелась плоская крыша, ощетинившаяся странными антеннами.

Человек наклонился, подобрал с земли свою мокрую одежду. Рядом, в песке, что-то блеснуло. Он подобрал этот предмет, в руке его лежал ключ. Повертел его перед носом, но не выбросил. Сгреб под мышку одежду и побрел к дому, оставляя на песке босые следы.

Он стоял пред низкой бронированной дверью, рядом с которой нелепо торчала из стены кнопка обыкновенного квартирного звонка. Человека такая картинка несколько озадачила, он даже ключ на пальце вертеть перестал, завороженно потянул руку, нажал на кнопку. Ни единого звука в ответ не последовало. Подергал дверь, медленно прошелся вдоль стены, попрыгал перед чем-то непрозрачным, хоть и напоминающим окно…

Толку от всего этого не было. Он стоял перед закрытой дверью и думал, вертя ключ на пальце, пока не сообразил, что в руках-то ключ!

Замок свободно впустил в себя тонкую металлическую пластинку и мягко щелкнул.

Он стоял перед черным проемом, за которым зияла тьма кромешная, и не знал, что делать. Войти не решался. Но и уходить было некуда.

В этот момент у него из-под ног раздался какой-то шорох. Он вздрогнул, посмотрел вниз.

Рядом совершенно спокойно сидел кролик, серый.

Сидел и боялся. Кролик смотрел в темноту. Посмотрел и мягким движением продвинулся к двери. Человек почему-то этого

движения испугался. Не хотелось ему, чтобы ушел такой милый кролик в черную дыру. Стараясь не испугать зверька, он зачем-то сложил пальцы щепоткой и сказал:

— Кис-кис.

Кролик совершил еще одно движение, человек хотел его предостеречь, не пустить: кролик прыгнул вперед, человек автоматически рванулся следом, оба одновременно скрылись в темноте, из которой тут же донесся шум упавшего тела…

Темный коридор загромождали невнятные и оттого угрожающие тени. Что-то вставало под потолок угрюмыми колоннами, что-то торчало над головой нависшими дубинами, но что именно, разобрать было невозможно.

Человек лежал, прижавшись щекой к полу, и смотрел вперед. Там, беззаботно поводя ушами, на которых играли неприятные красные блики, сидел кролик. Сидел, будто поджидал приотставшего товарища по вторжению. Кролик посидел и мягко двинулся вперед. И тут же кровавый свет невидимой лампы упал на него, человек рванулся к зверьку, но тот прыгнул в темноту. Теперь человек был освещен откуда-то снизу. Там горела зарешеченная лампа аварийного освещения.

Посреди довольно просторного зала, загроможденного непонятно чем, стоял человек и смотрел на кролика, а кролик стоял у стенки, над головой у него горела маленькая лампочка, на которой значилось: «Power».

Теперь он уже не сомневался, кнопку надо было нажать.

И все равно испугался, когда яркий электрический свет залил и его самого, и кролика, и просторную комнату, беспорядочно заставленную чем попало. Наваленными друг на друга упаковками баночного пива, обступившими со всех сторон роскошную широченную кровать; возвышавшимися вдоль стены оружейными пирамидами, уставленными самым разнообразным стрелковым оружием, среди которого нелепо торчал

огромный холодильник; а у противоположной стены все пространство занимала какая-то аппаратура.

Большой современный пульт.

И посреди всего этого строя он стоял с кроликом на руках.

Сами собой с мягким щелчком ожили огни пульта, завертелись бобины на большом магнитофоне и комната наполнилась сперва завыванием и многоязыким гомоном эфира, а вслед за тем неприятным, неживым, пульсирующим электронным булькотеньем.

Оно смолкло так же внезапно, как началось, а он так и стоял, только крепче прижал к себе кролика.

Пентагон. Совещание Комитета начальников штабов.

Десяток поджарых генералов, каждый из которых отдаленно напоминал Ронни Рейгана или кого-то в этом роде.

Человек, сидевший во главе собрания четырехзвездочных, снял очки в золотой оправе, погладил ладонью тонкие листки бумаг, лежавшие перед ним на столе, и заговорил:

— Господа, то, что я хочу вам сообщить, может показаться сценарием для Спилберга, но речь пойдет об абсолютно проверенных фактах.

Некоторое время назад Маунт-Паломар зарегистрировала новое небесное тело. Обычный астероид на первый взгляд, однако трое суток назад удалось принять его радиосигнал. Ученым хватило ума сообщить нам и не делать из этого сенсации, хотя они и продолжают считать тело естественным образованием и сигнал — отраженным. Нам, кажется, удалось дешифровать этот сигнал, хотя полной уверенности нет, поскольку результат необычен. Настолько необычен, что Отдел специальной информации не счел возможным сообщить его даже мне… Примерно в то же время был зафиксирован аналогичный сигнал явно земного происхождения, отразившийся от луны. Можно предположить, что это была направленная передача в космос, поскольку запеленговать ее не удалось. Характер сигнала напоминает радиомаяк. Он был то ли ретранслирован, то ли

отражен объектом. Точно установить не удалось, но ни один из вариантов мы не исключаем. Мы попытались узнать, что известно об этом нашим новым друзьям, но ответом было молчание. Так что не будем исключать и этой возможности.

— Район передачи установлен? — спросил другой четырехзвездочный.

— С точностью до 500 миль. Рядом есть наши корабли, но использование их нежелательно, поскольку привлечет излишнее внимание. Если это невинные игры наших московских друзей, мы и так о них узнаем. А в случае скандала госдеп постарается выжать из нас апельсиновый сок себе на завтрак. Есть предположение осуществить индивидуальную акцию. Десяток атоллов вполне под силу одному человеку.

Председатель посмотрел на одного из генералов.

— Займитесь этим.

Москва. Площадь Дзержинского.

В просторном светлом кабинете сидели в мягких креслах двое уже не молодых, но прекрасно сохранивших форму мужчин, над их головами, осеняя собой происходящее, висел портрет Дзержинского.

Старший говорил мягко, негромко:

— Объект, как тогда и принято было, строился на века, но после неблагоприятных для нас перемен в этой стране пришлось его оставить. К сожалению, полностью демонтировать его не удалось. Но функционировать он ни в коем случае не должен…

— Не должен, — сказал тот, который помладше, — но функционирует?

— Вот это Вам и предстоит выяснить. И по возможности аккуратнее, сейчас нам не следует привлекать излишнее внимание янки, а их поведение в этом районе и так настораживает. Трудно объяснить, почему они настолько внезапно отвели оттуда корабли. Итак, необходима информация. Вы этим и займитесь.

Со стены благосклонно взирал Дзержинский.

Младший из говоривших быстрым, спортивным шагом прошел по коридору, затем через маленькую приемную, бросив на ходу помощнику:

— Белова ко мне.

И скрылся в кабинете. Дверь за ним мягко затворилась и тут же открылась вновь.

Перед начальником стоял высокий, стройный молодой человек с приятным, открытым лицом…

— Задание очень серьезное…

— Ты крепкий парень, — говорил статный американский полковник с сединой в волосах. — И ты не подведешь.

Напротив стоял высокий, крепкий лейтенант американской армии. С приятным, открытым лицом.

— Иди, лейтенант Белью, — сказал полковник. — И будь осторожен, сынок.

Лейтенант Белью пошел по улице какого-нибудь там Нью-Йорка.

А лейтенант Белов — по московским улицам.

Но, скорее всего, они оба шли по улицам одного и того же бескрайнего города, населенного людьми.

Потоки людей несли их все дальше и дальше. К далеким берегам и опасным трудам.

Летели в самые разные стороны самые разные самолеты…

Мчались неведомо куда автомобили всех стран по улицам этих всех же стран.

Проставлялись цветастые печати в бесчисленных документах.

Играли на улице мальчишки в футбол.

Шли по улице девушки.

Растили рис мирные китайцы.

Стреляли из автоматов воинственные арабы.

Спал под своим родным кустом бушмен.

В белой рубашке и потертых джинсах отплыл от причала Белов.

Целовал горячо свою девушку Белью, а затем уходил уверенной походкой по залу аэропорта…

Пролетел низко над землей военный вертолет, разметывая струями цветастые тряпки восточного базара.

Жил своей горячей, труднопереносимой но — увы! — единственной жизнью весь огромный, страшноватый и сентиментальный мир людей.

И звучала песня о людях.

Я боюсь младенцев и мертвецов
Я ощупываю пальцами свое лицо
И внутри у меня холодеет от жути
Неужели я такой же, как все эти люди?
Люди, которые живут подо мной
Люди, которые живут надо мной
Люди, которые храпят за стеной
Люди, которые лежат под землей

Я отдал бы немало
За пару крыльев
Я отдал бы немало за третий глаз
За руку, на которой
Четырнадцать пальцев
Мне нужен для дыхания другой газ
У них соленые слезы и резкий смех
Им никогда и ничего не хватает на всех
Они любят свои лица в свежих газетах
Но на следующий день газеты тонут в клозетах
Люди, которые рожают детей
Люди, которые страдают от боли
Люди, которые стреляют в людей
Но не могут при этом есть пищу без соли

Музыка звучала достаточно громко, но к ней дополнительно примешивались то крики Людей, то взрывы, то выстрелы;

и бежали картинки с все возрастающей скоростью, покуда не вылились в безумный гремящий поток…

И резко наступила тишина. Только неведомая птичка чирикала время от времени, да крутилась муха. В той самой комнате на острове, в которой мы оставили нашего героя, сидел он за столиком рядом с банкой пива и парой бутербродов, а напротив сидел на столе кролик. Он шевелил ушами и ел из блюда.

Герой, ухмыляясь, смотрел на кролика, на окружавшую обстановку, а посмотреть на нее стоило. Чего только тут не было, и трудно было предположить, кто и с какой целью собрал в этом месте столь разные вещи.

Оружие, маленький печатный станок, невообразимое количество пива и всяческой пищи, с трудом умещавшейся в огромном холодильнике, картины, безделушки и т. д. и т. п.

Под потолком, завершая композицию, торчало из стены древко флага, демонстративно распустившего свое полотенце над всем, что здесь было.

Большая красная буква «А» на белом фоне.

Кролик аккуратно прибрал остатки пищи из блюдечка. Герой, дождавшись этого момента, подцепил зверька рукой и сказал:

— Молодец! А теперь пошли отсюда, пока нет никого…

Они стояли у открытой двери. Герой вежливо опустил кролика на землю и легко подтолкнул его в сторону деревьев.

— Топай.

И кролик неторопливо двинулся куда-то. А герой обернулся и решительно захлопнул дверь. Что-то щелкнуло, дверь было заперта. Герой двинулся от бункера, но тут же вернулся: на ладони его лежал ключ. Герой повертел головой, нацепил ключ на гвоздик под звонком и, окончательно свободный, двинулся в сторону.

Далеко, однако, он не ушел, потому что некуда здесь было идти: остров был слишком мал. Герой смотрел на все стороны, отыскивая путь на свободу, но вокруг лежало море, море и море.

Он облазил остров вдоль и поперек, но никого здесь не было, и выбраться возможности тоже.

Вскоре он, порядком уставший, подошел обратно к двери бункера, ключ висел на месте.

А у двери его поджидал кролик.

— Привет, — сказал ему Герой, и кролик пошевелил ушами…

— Ну и что, — продолжал Герой, — пойдем, обследуем новое владение? А хозяева нагрянут, скажем, что деваться некуда было. Идет?

Кролик был согласен.

Герой стоял посреди комнаты и озирался вокруг. Кролика он держал на руках.

— Ну и что, — обращался он к зверьку, — пошарим тут чего-нибудь? Ты не против?

И он стал искать. «Чего-нибудь» оказалось колоннами, состоявшими из упаковок баночного пива различных сортов и наименований. Герой находке обрадовался.

— Это все нужно попробовать, — сказал он кролику. — Ты присоединишься?

Кролик ничего определенного не ответил, вследствие чего перед ним моментально появилось блюдечко с пивом. Кролик понюхал, подумал и пить не стал.

— Как хочешь… А я попробую. Ни разу такого не видел.

И попробовал…

Он сидел за столом, изрядно набравшись, и говорил чуть громче, чем положено, обращаясь к кролику:

— Знаешь в чем твоя беда? Думаешь, в том, что ты — кролик? Зверек, да?

Кролик смотрел на него своими дурацкими глазами и ничего не говорил, потому что, видимо, был кролик.

Герой, со всех сторон обставленный пустыми пивными банками, вытащил из очередной упаковки очередную банку, а брал он по одной штуке из одной упаковки, лихо ее распечатал и сказал:

— Сейчас я тебе объясню.

И совершил продолжительный глоток. Жидкость вливалась ему внутрь, и по мере того глаза его сперва округлялись, а потом и вовсе вылезли из орбит. Он с силой дунул жидкость из себя обратно, окатив мелкими брызгами все окружающее, и сказал севшим от испуга голосом:

— Дрянь какая–то!

Понюхал баночку и подтвердил:

— Апельсиновый сок, пакость.

— Выудил из очередного ящика очередную банку, прочитал название и успокоился:

— «Бир». Понял? — и продолжил свою речь. — Так вот, малыш, беда не в том, что ты зверь. Зверей много, и это уже не беда. Беда в том, что у тебя, парень, нет имени. Сейчас я тебя буду называть в соответствии с сущностью…

Тут он допил очередную банку, звучно икнул и, продолжая говорить, шатаясь, двинулся наугад по комнате…

— Ты будешь Соломон, — сказал и посмотрел на кролика и сам же скептически прокомментировал. — Нет, не потянешь. Лучше ты будешь Петя. Или просто и коротко: Егор. Все, ты — Егор и можешь иметь паспорт.

Тут он лукаво посмотрел на кролика и захихикал:

— А ты думал, зачем тебе имя? Для паспорта! Больше с ним делать нечего. И даже вредно.

Он замолчал, потому что уже некоторое время пытался открыть крышку большого деревянного ящика, а крышка не поддавалась. Герой дергал ее изо всех сил, толку не было.

Осатанев окончательно, он крикнул кролику:

— Жди!

Выскочил на улицу и стал отдирать от красного пожарного щита приржавевший к нему ломик. С трудом, но отодрал, прокомментировал:

— Как у нас прямо…

И увидел на ломике надпись: «Сделано в СССР».

— Понятно, — сказал непонятно почему и бросился обратно.

Одним рывком снес массивную крышку с вожделенного ящика, и взору его предстали аккуратно сложенные и совершенно новые рулончики туалетной бумаги.

Герой радостно хрюкнул и ломиком же вскрыл соседний ящик. Там была электрогитара. Самая натуральная «FENDER». Этот предмет, сам по себе достаточно безобидный, произвел на Героя впечатление: во-первых, сильное, во-вторых — тягостное. Лицо его заметно осунулось и будто постарело даже.

— Так, — сказал он негромко, не кролику, а самому себе. — Засада.

А дальше с ним стало происходить что-то не совсем понятное. Все такой же пьяный, пошатываясь, он судорожно размышлял о чем-то, какие-то глубокие и болезненные мысли боролись в нем, отражаясь на лице угрюмой болью. Он отступил назад, прошелся по комнате, откупорил банку пива, но пить не стал, поставил ее куда-то…

— Видишь, — сказал кролику, — помяни мое слово, это все специально кто-то придумал…

Потом схватил только что оставленную банку пива и длинным непрерывным глотком стал загружать ее внутрь. Отбросил пустую, взялся за полную, обреченно глядя на блестящий лаковый корпус гитары…

Короткий южный закат окрасил все в угрожающие цвета. Кролик все еще сидел на столе. Человек был пьян, что называется, в стельку. Он сидел на стуле перед кроликом, чудом удерживаясь в этом положении, бренчал по чуть слышным струнам не подключенной ни к чему электрогитары и говорил кролику заикаясь:

— Слушай, слушай… Сам виноват.

И бренчал что-то малоприятное. Кролик, кажется, слушать не хотел. Он переступал по столу вдоль края и смотрел вниз. Прыгать он боялся.

Герой мутными глазами следил за его перемещениями, потом ухватил зверька рукой, резко поставил перед собой.

— Не хочешь? Ты слушай, слушай… Некоторым нравилось.

Кролик опять завертелся.

— Не будешь? — сказал человек. — Ну и пошел…

Он пьяным движением смахнул кролика со стола, а сам лег на пивные банки. Он был слишком пьян.

Снаружи стояла ночь. В небе ярко светилась зеленая звезда.

Сингапур. По узенькой улочке китайского квартала, мимо выставленных прямо на тротуар жаровен и котлов, мимо сидящих на земле на корточках гадателей со своими палочками и прочей чайнотауновой рутины, шел Белов. Шел спокойно и размеренно. И только спина его выдавала некоторое напряжение.

Высохший старик-гадатель неожиданно выбросил вперед руку и быстро залопотал что-то по-китайски, но Белов не остановился и даже не повернул головы. А зря, он бы увидел внимательный и угрожающий взгляд чьих-то раскосых, недобрых глаз.

Белов их не видел. Он повернул за угол и пошел по неестественно узкой и совершенно пустынной улочке. Дошел до первой же подворотни, свернул и, когда возник за его спиной непрошеный провожатый, резким ударом снес его с ног. Китаец распластался на земле, но на помощь ему уже бежали двое. И еще несколько поодаль.

Схватка была молниеносной, Белов отделался парой сильных тычков, а противники пластом растянулись перед ним.

Со стороны улицы бежали еще несколько человек. Белов бросился вглубь подворотни и оказался в маленьком тупике, загороженном аккуратными трехэтажными домами. Он замер, осматриваясь. А во двор вбегали преследователи, человек пятнадцать, так что не до осмотров стало, Белов повалил одного, отлетел в сторону от удара другого, но удержался на ногах, отбиваясь от прибывших противников.

Драка вышла изрядная. Белов с трудом выдерживал атаку, когда залились на улице полицейские свистки, один за дру-

гим стали исчезать, как под землю, нападавшие; и не успел он очухаться, как возникли в проходе двое полицейских. Отчаянно свистя, бежали они к Белову; времени на раздумья не было.

Он бросился в ближайшую дверь, оттолкнул заверещавшую женщину, через комнату, через другую, через кровать с еще одним китайцем, стоявшую перед окном, разметнув бамбуковые занавески, вылетел со второго этажа на улицу.

Из-за поворота бежал к нему полицейский, с другой стороны, но на отдалении — другой. Где-то свистели прочие.

А рядом вырулил из переулка мальчишка на мопеде. Белов выхватил его с сиденья так лихо, что мопед этого не заметил, поехал дальше сам по себе.

В два прыжка Белов оказался в седле. «Yamaha» взревела, за спиной отчаянно и бесполезно свистели полицейские.

Стеклянные двери офиса, на которых герб СССР и что-то неразборчиво зóлотом. В одном из его кабинетов, с закрытыми, несмотря на +50°С в тени, огромными окнами, в кресле сидел Белов. Перед ним прохаживался другой человек средних лет в отрицавшем климатическую реальность черном костюме.

— Маловероятно, что вас заметили. Скорее всего, какая-нибудь случайность с наркотиками. Конечно, все равно неприятно, Сидоренко.

— Я уже не Сидоренко, — спокойно поправил его Белов.

— Верно, — сказал дипломат. — Котляровский Альберт Иванович, врач, направляющийся в Балору. Держите, — добавил он, передавая Белову пачку документов. — Это именно тот пункт, в который вас попросили доставить. Об остальном, как вы понимаете, я ничего не знаю.

— Что-нибудь на словах? — спросил Белов.

— Немного. Просили передать, что за истекшие сутки было три включения интересующего вас объекта. Все — через равные промежутки времени.

— Это все?

— Все.

Белов прошел по залу большого международного аэропорта, подошел к окошечку, за которым сидела миниатюрная, приторно улыбающаяся китаяночка, которая сказала, изобразив на лице полное отчаяние:

— Мы просим Вас, мистер Котляровский, извинить нас, но Ваш паспорт еще не готов. Подождите, пожалуйста, в зале, мы Вас вызовем по трансляции.

Белов отошел от улыбчивой служащей и остановился, о чем-то размышляя, как тут же чей-то пытливый взгляд насторожил его.

Он прошел в зал и, чтобы не торчать просто так, подошел к автомату компьютерных игр. Бросил монету, на экране загорелась надпись: «Lode Runner».

Белов играл, автомат время от времени издавал какой-то малоприятный звук, напоминающий быстрое бормотание. Очень знакомый звук. Но Белов на последнее внимания не обратил.

С разных сторон смотрели на него раскосые глаза. Громкое вещание провещало что-то громкое и неразборчивое, среди которого можно было понять только два слова: «Мистер Котляровский».

Белов стоял перед безгранично улыбавшимся китайцем, одетым неожиданно по-европейски, который протягивал ему паспорт и очень быстро говорил что-то извиняющееся.

Маленький серебристый jet оторвался от бетонной полосы и быстро, легко стал набирать высоту…

Белов вышел из зоны прибытия маленького, не очень чистого аэропорта и пошел к выходу… В зале никого не было, кроме нищего малайца, пытливо смотревшего на приезжего. Белов прошел мимо, вышел на улицу.

Велорикша подкатил к небольшой пристани. Белов вылез, заплатил, пошел к причалу.

Мощный, но грязный катер отходил от пристани. На палубе грязный матрос что-то весело орал Белову прямо в ухо, но рев мотора легко заглушал его голос.

Утром Герой смывал похмелье в уютном, маленьком, современном бассейне. Плавал, блаженно отплевываясь, разнося вокруг брызги.

Потом полез на сушу, стал одеваться и заметил сидевшего неподалеку кролика... Тот жевал что-то и внимания на человека не обращал.

— А, старина… — сказал Герой, пошли, там, брат, такая штука…

Кролик сидел к нему задом, никакого внимания.

— Да ладно, брось, — сказал Герой и шагнул к зверьку.

Тот, не оглядываясь, двинулся по тропинке. И скрылся, человек пошел следом.

Они стояли друг против друга на узкой тропинке, человек убеждающе говорил:

— Ты ничего не понимаешь, старина. Там у них целая студия, многоканальник новенький. Не знаю, кому и на кой хрен это понадобилось, но там стоит все, что мне надо! Не теперь вот надо, мне всегда именно этого не хватало!

Он сделал шаг к зверьку, тот отодвинулся. Тогда человек принялся уговаривать.

— И знаешь, что важнее всего? Никого нет! Ты да я! За такого слушателя!.. Для тебя до конца моих дней петь согласен. Понимаешь? Можно работать!

Он сделал еще один шаг, кролик отодвинулся. Тогда человек раздраженно сказал сам себе, но по поводу кролика:

— Ну и хрен с тобой.

И быстро пошел к бункеру.

Он стоял посреди комнат. Вид ее несколько переменился. И без того достаточно заваленная чем попало, теперь она была еще и покрыта ровным слоем аппаратуры, переплетенной шнурами.

Магнитофон с неестественно широкой лентой, компьютер, гитарный комбик с воткнутым в него микрофоном, еще какие-то приборы… И солидный голосовой микрофон посередине комнаты, рядом с которым стоял высокий стул, как у стойки бара, на котором лежали наушники.

Герой взял гитару, устроился поудобнее на стуле и стал играть на гитаре что-то отрывистое и, с первого взгляда, невнятное.

Побренчал, поколдовал с компьютером…

Зазвучали барабаны, он опять бренчал на гитаре то же самое, но теперь появился какой-то смысл.

Он нажал кнопку на магнитофоне, потянулась мимо головок широкая лента…

Зазвучала фонограмма, которой он подыгрывал на гитаре…

Он пел…

Посмотри, как блестят бриллиантовые дороги
Послушай, как хрустят бриллиантовые дороги
Смотри, какие следы оставляют на них боги
Чтоб идти вслед за ними, нужны золотые ноги
Чтобы вцепиться в стекло, нужны алмазные пальцы

Горят над нами, горят
Помрачая рассудок
Бриллиантовые дороги
В темное время суток

Посмотри, как узки бриллиантовые дороги
Что бы видеть их свет, мы пили горькие травы
Если в пропасть не пасть,
Все равно помирать от отравы
На алмазных мостах через черные канавы

Горят над нами, горят
Помрачая рассудок
Бриллиантовые дороги
В темное время суток

Песня была спета и записана. Уже смеркалось, короткий тропический день подходил к концу. В темноте светились разноцветные огоньки аппаратуры.

Герой устал от записи, от вчерашнего пива, от скитаний по бурным водам океана. Он отложил гитару, рухнул на кровать.

Прошла минута или час, но неожиданно включился большой магнитофон, защелкали реле радиостанции, комнату заполнило уже знакомое булькотение.

Он вскочил, бормоча невнятные ругательства, вырвал катушку из магнитофона. Нервно замигало красное табло «TAPE», заверещал аварийный сигнал. Герой бросил взгляд на стол, там лежала только что записанная им пленка. Одним движением он вставил пленку в аппарат, нажал кнопку.

Техника тут же успокоилась, зазвучали первые аккорды «Бриллиантовых дорог», но Герой к этому моменту уже спал.

Балору.

Белью с рекрутской сумкой через плечо пошел по посыпанной ослепительно белым песком дорожке среди пальм и остановился перед оградой, над которой вокруг массивного распятия вилась надпись «Mission of the Holy Heart».

На теннисном корте играли Белью и загорелый поджарый старик с круглой тонзурой на макушке.

— Говорят, вы прекрасно владеете местной ситуацией, отец? — спросил Белью, подавая мяч.

— Местной ситуацией не владеет даже Всевышний, сын мой, отвечал священник, отбивая подачу. — Бывает так, что отправляешься из отдаленного прихода к себе домой и возвращаешься только через одиннадцать лет и твоя собака не пускает тебя на порог.

— Но тем не менее мне сказали, что вы располагаете определенной информацией?

— Здесь мало располагать информацией. Тридцать лет назад я был вашим коллегой и начинал работать именно здесь. Я выкуривал с этих островков недобитых японцев, просто

озверелых дурных мальчишек, которых оставляли при отступлении со старой винтовкой и связкой гранат. Так я познакомился со всем архипелагом. И если мне сужден ад по моим грехам, он меня не страшит, потому что я его уже видел.

Белью пропустил очередной мяч.

— Ваш гейм, отец, — сказал он с легким удивлением.

— Пустое, раньше я играл лучше, — ответил священник, укладывая ракетку.

Маленькая католическая церковь. Отец Джошуа, уже в одеянии, разложил карты на столике для святых даров.

— Это Амау, самый крупный и самый неспокойный из островов. Но именно на него вам нужно попасть. На нем располагается метеостанция, есть маленькая посадочная площадка и вертолет. Как вы с ним будете договариваться, объясните цель своего визита, я не знаю. Но без вертолета вам не справиться.

— Почему там неспокойно?

— Точно неизвестно. Ходят темные слухи о каких-то повстанцах. Факт, однако, что те, кто уходят от метеостанции дальше поселка, назад не возвращаются.

— Райское местечко.

— Будьте внимательнее и берегите себя. Я передам, что вы были здесь, нашим общим знакомым. До скорой встречи, сын мой.

Белью уходил по проходу между скамьями. Священник смотрел ему вслед взглядом, затуманенным какими-то своими воспоминаниями. Казалось, что он хочет пойти следом. Он вздохнул, отвернулся и открыл Библию.

Белью стоял на пустом причале, от которого совсем недавно отплыл на катере Белов, и с легким удивлением осматривался в поисках хоть кого-нибудь. Не сразу он заметил странного, слишком оборванного вида человека, в котором только с трудом можно было распознать матроса. Он ловил рыбу.

Белью подошел, но не успел сказать ни слова, потому что малаец улыбнулся беззубым ртом и сказал утвердительно:

— Туан ищет катер.

И смолк, уставившись на удочку. Белью молча ждал продолжения. Через пару минут малаец сказал, не поворачивая головы:

— Катер пошел на Амау. Долго ждать. Очень долго.

Белью постоял перед ним, явно борясь с желанием дать ему подзатыльник, и двинулся вдоль причала. Вокруг было пусто, только пара рабочих лениво ворочала из стороны в сторону огромный мешок.

Белью стоял у какой-то стены под навесом, другой тени не было. В руке его была пачка, из которой он вынимал сигарету, когда из-за ближайшего угла на изрядной скорости выехал автокар. На приподнятой вилке были навалены мешки. Обычный портовый подъемник, Белью внимания на него не обратил, но когда автокар проезжал рядом, он неожиданно развернулся и прямо перед лицом Белью возникли металлические ножи, неумолимо надвигавшиеся на него.

Увесистая сумка полетела в одну сторону, а Белью подпрыгнул, с силой оттолкнулся от одного из ножей и перелетел прямо через голову шофера. Для последнего этот пируэт оказался роковым. Шофер вытаращил удивленные глаза, потом опомнился, потянул свои рычаги; но было поздно.

Автокар пробил насквозь жидкую стену и влетел в темноту. Оглушительный визг пронесся над причалом, и сотни перепуганных свиней хлынули в образовавшуюся дыру.

Белью едва успел взобраться на какое-то возвышение и оттуда наблюдал, как мечутся по узкому причалу свиньи, сталкивая друг друга в воду.

Белью шел от пристани. А там вымазанный известно в чем шофер стоял пред маленьким человеком, одной рукой придерживая окровавленную другую; а маленький страшно ругался на непонятном языке.

Чуть позже маленький стоял пред каким-то ящиком и говорил, скорбно склонив голову:

— Ничего не вышло, туан. Здесь такой народ — одни болваны…

Слушал его, сидя на ящике, человек с чрезвычайно выразительным лицом. Он уже появлялся в нашей истории. На палубе лайнера, когда Герой отправлялся в свой морской поход.

Да, именно этот человек и слушал малайца. И был весьма недоволен.

А Белью на старом моторном баркасе уходил от острова в океан.

На острове, в бункере, сидел на стуле и с гитарой в руках наш Герой.

Гитара была включена в комбик, тот, в свою очередь, был включен на полную мощность, а Герой что-то репетировал гитарное. Оглушительные и весьма негармоничные звуки сотрясали стены бункера.

Герой, изрядно к этому моменту обросший, трепал медиатором струны, но неожиданно остановился, что-то отвлекло его.

На окне сидел кролик.

— Привет, — сказал Герой. — Извини, я занят, а ты меня отвлекаешь.

Кролик сидел на окне. Герой брякнул пару раз по струнам, раздосадованно повернулся к нему:

— Я не могу работать, если рядом кто-то есть.

Кролик сидел, но в него полетела пустая банка, тогда он спрыгнул наружу.

— Ну вот, — пробормотал Герой. — И сам потом обижается.

И с новым усердием ударил по струнам.

Посреди моря покоился мирный атолл, стоял на нем бункер и неслись из бункера звуки гитары. Довольно противные, нужно отметить, звуки.

Расчищенная площадка в джунглях на берегу моря. Покосившаяся табличка «Weather Post», крутящиеся на шестах крыльчатки метеорологических приборов, маленький вертолетик на посадочной площадке, крошечный домик посредине. В домике сидели три служителя станции, все — местной националь-

ности. Двое играли в маджонг, третий, в наушниках, выстукивал что-то ключом по рации.

Один из игроков выбросил кости, и посмотрел довольно на другого: что тот скажет. Другой же совершенно неожиданно обмяк и упал на землю. Глаза первого изумлено округлились, но тут же страшно закатились белки и он упал вслед за первым.

Сильный пинок вышиб дверь. Громкий звук проник сквозь наушники и заставил радиста повернуть голову. Сперва он с ужасом увидел трупы товарищей и огромную колючку какого-то растения, воткнувшуюся в висок одного из них. Он поднял глаза — в проеме двери стоял низкорослый даяк с несоразмерно большим крупнокалиберным пулеметом на руках и это — последнее, что он успел увидеть.

Очередь из пулемета прошила его и пошла крушить хрупкую аппаратуру.

Мирная станция в мгновение ока заполнилась толпой воинственно настроенных людей, вооруженных чем попало, от копий до винтовок и автоматов. Они кричали что-то воинственное и победное, вознося к небу оружие.

В лучах стремительно заходившего тропического солнца горело красным опустевшее поле метеостанции, одиноко стоял на своей площадке вертолет, бессмысленно вертелись на шестах вертушки.

Внизу, в тени берега, подходила моторка Белью. Он притк нул лодку под свисавшими над водой деревьями и стал осторожно подниматься к станции.

Быстро, но осторожно обошел территорию. Никаких признаков жизни не было, так что к домику он подошел в настроении даже легкомысленном. Заглянул в проем приоткрытой двери.

Возле разнесенной вдребезги радиостанции лежал обезображенный радист, у стола — его приятели. Белью смотрел, зажав платком нос, затем развернулся и, пригибаясь, бросился к вертолету. Запрыгнул в кабину, забросив предварительно сумку, и тут спохватился. Огляделся. Никого вокруг.

Белью уже спокойнее уселся в кресле, поколдовав с приборной доской, включил что-то. Внимательно осмотрел приборы, проверил что-то, проверил другое и замер, пристально вглядываясь в одно из окошечек.

— Так…— пробормотал себе под нос, прикидывая что-то в уме.

И выключил приборную доску. Погасли огоньки, замерли стрелки. Белью откинулся на спинку кресла: — Горючего хватит минут на сорок. Прилетели… — пробормотал он и закрыл глаза.

Вертолет стоял на площадке. Солнце практически скрылось в море.

В Москве, на углу Петровки и Кузнецкого моста, на веранде открытого кафе, стояли двое мужчин лет по тридцать пять. Ели гуляш и пили пиво.

— А почему ты говорил, что ты безработный? — говорил один с журналистским фотокофром через плечо.

— Тебя что, выгнали наконец?

Второй, одетый несколько неряшливо, усмехнулся:

— Хуже. Меня засекретили.

Первый усмехнулся, разлил пиво, отхлебнули.

— Эти люди засекретили муху цеце только потому, что никогда ее не видели.

— Так она же в Африке!

— Тем более. Пять дней назад я пришел на работу и узнал, что мою тему засекретили. Все, включая рабочий блокнотик. Спасибо, карандашик оставили. Вот, гуляю…

Отхлебнули.

— И что такое секретное ты отыскал на звездном нашем небе? — спросил первый.

— Черт его знает, — сказал второй. — Банальный астероид. Идет, правда, по странной траектории, и хрен с ним. Вообще говоря, штука забавная, но не до такой же степени! Он ретранслирует радиоволны.

— То есть как?

— Судя по всему, у него кристаллическая поверхность особой формы. Ну, долго объяснять. Мы с ним давно возимся. Одним словом, у него узкий резонанс, есть один единственный, дурной какой-то передатчик, его и транслирует.

— НЛО?

— Дурак. Все просто. Передатчик музычку гоняет. Нашу земную. И точно по расписанию. Раз в сутки. Через полчаса, если хочешь послушать.

— А чего дяди засекретничали?

— Кто ж их, дядей разберет? Прием какой-то сложный, еще там кое-что. Только дяди, как всегда, подумали ровно наполовину. Астероид-то движется!

Последнюю фразу он произнес победно и так же победно зажевал гуляш.

— В смысле? — не понял первый.

— Через месяц это можно будет слышать на любом транзисторе! И все. Но чувствую я, меня все равно не рассекретят.

Они закончили с гуляшом и пивом.

— Ну и что, — сказал первый, — пойдем, послушаем?

Второй не понял. Первый пояснил:

— Песенки твои. Ты обещал.

Они сидели у мощного транзисторного приемника, к антенне которого была прикручена уходящая неведомо куда проволока, и слушали. Засекреченный крутил настройку и поймал наконец. Сперва искаженно, затем чище, пошла из динамика музыка.

(песня)

СССР. Стайка подростков отдыхает вечерком в беседке на территории детского садика. У одного из них транзисторная магнитола. Он рассеянно крутит ручку. Натыкается на музыку и останавливается. Прислушивается, цокает языком и нажимает на кнопку записи.

(песня продолжается)

Высоко в небе горела зеленая звезда.

Лос-Анджелес. На двери шикарного кабинета написано «McLaird Records», а чуть-чуть пониже — «A&R Office». В комнате сидят двое и дослушивают последние аккорды песни.

— Но это же полный бред, Винс! — говорит один из них. — С этой музыкой далеко не уедешь. Саунд совсем не современный. Этот парень, как Рип ван Винкль, проспал все на свете в какой-нибудь пещере, — А это и не важно, Джи, — говорит второй из собеседников, благородный, седоватый волк.

— Идея имиджа? — задумчиво переспрашивает Винс.

— Вот именно! У всех исполнителей есть имя, жена, любовницы, скандалы с налоговым управлением, фотографии висят на каждом углу. Известно, чем они занимаются и чем они будут заниматься через год. Это мило, но уж очень нормально. У этого парня нет ничего!

— А завтра выяснится, что он вел свои передачи с ранчо своего дедушки в пяти милях отсюда. Явится и потребует свои денежки. Кроме того, как мы можем получить исключительные права, если даже не с кем подписать контракт? Этой музыкой может торговать кто угодно!

— Во-первых, дело не в исключительных правах. Дело в том, кто первый пустит в ход всю эту ахинею о новом пророке, непризнанном гении, ушедшем от мира. Во-вторых, этому парню мы откроем анонимный счет и будем платить все что положено, и даже немного больше. А в третьих, что-то мне подсказывает, что он никогда не придет посмотреть, сколько ему накапало.

— Что тебя заставляет так думать?

— Чутье.

Белью шел по берегу. За спиной его уходил вдаль пустынный пляж, а впереди, чуть за поворотом, начинались свайные домики даякской деревушки. Белью шел очень осторожно, внимательно оглядываясь, но ни малейшего движения заметно не было. Ни души, будто вымерло все.

Он дошел до деревушки, но ни одного признака жизни так и не обнаружил. Тихие, явно пустые хижины тянулись вдоль моря, покачивались на ближайшем плане какие-то тряпки…

По узкой доске он ловко забрался на помост одной из них, осторожно заглянул внутрь. Никого. Непонятно зачем зашел внутрь. Ничего интересного там не было: нищета и нищета.

А вокруг царила тишина, только океан ревел где-то далеко от лагуны. Все так же осторожно он вышел из хижины, остановился, засмотревшись на секунду в сторону океана. Он стоял.

А между хижин в абсолютной тишине, ожесточенно сжав зубы на перекошенных от злости лицах, бежали к нему вооруженные чем попало даяки. И шум океана перекрывал шлепки босых ног по влажному песку.

Он заметил их поздно, когда наиболее шустрые уже подбегали к доске у его хижины. Пару он отправил обратно на песок, но следом мчалось такое количество, что после секундной оценки ситуации Белью бросился в море.

Он плыл быстро и сильно, прямо от берега. А противники его за ним не гнались.

Вместо того чтобы лезть в воду, они наблюдали за ним, сгрудившись у берега. Заметив это, Белью изменил направление и поплыл вдоль берега.

Даяки гурьбой двинулись в том же направлении.

Белью плыл; они шли параллельно. Деваться ему было некуда: нельзя плыть бесконечно. Настал момент, когда он просто завертелся на месте, осматриваясь, плюнул со злостью и направился к берегу. Опасливо отодвинувшись от воды и выстроившись полукругом, преследователи все так же молча поджидали его.

Белью вышел на берег и остановился. Сопротивляться не было смысла.

Издалека, от опушки леса, наблюдал эту картину злорадно улыбавшийся человек. Тот самый, с характерной физиономией, который уже появлялся при странных обстоятельствах.

Он смотрел так увлеченно, что не сразу отреагировал, когда рядом с ним бухнул выстрел и четверо даяков бросилось к нему. А когда, сообразив, испугался, кинулся в чащу. Даяки устремились следом.

Белью, старательно обмотанного веревкой, вели по лесной дороге, когда процессию догнали четверо, которые ловили странного человека. Один из них подскочил к главному и сказал, задыхаясь:

— Как сквозь землю провалился. Нигде нет, мы хорошо искали.

Процессия двигалась по деревне в лесу. Теперь Белью сопровождали двое, для верности ухватив за обе руки.

Возле невесть откуда взявшегося здесь строительного вагончика точно так же двое держали за руки высокого парня неместной национальности. Это был Белов. Третий даяк методично бил его в живот.

Белью приостановился, увидев это, но его грубо поволокли дальше. За спиной продолжалось избиение.

Бамбуковые жерди, которыми была прикрыта глубокая яма, раздвинулись, вниз рухнуло чье-то тело. На земле лежал Белов, он был без памяти. Белью, сидевший в яме, склонился над ним. В глазах его было сочувствие.

Тропическое солнце стремительно катилось за море, освещая прощальным светом маленький атолл, и жидкую его растительность, и антенны на крыше бункера.

Герой сидел на земле, привалившись спиной к бетонной стене, отхлебывал из банки пиво и смотрел на кролика, который бродил рядом. Кролик был все тот же, а Герой несколько переменился: волосы его удлинились, теперь он был не просто небрит, изрядная борода украшала, если это можно так назвать, его лицо. Одежда вылиняла.

Рядом с ним, на стене бункера, были не очень ровно написаны названия песен, которые он записывал. Причем большая их часть была перечеркнута крест-накрест.

Он смотрел на оставшиеся три-четыре названия, потом сказал, обращаясь к кролику голосом слегка выпившего человека:

— Что же я буду делать, когда запишу все, что осталось? О чем здесь писать, а? Разве что о тебе? Ха! — продолжил он с великим ехидством. — Напишу-ка я о тебе! И не отказывайся, тебе понравится. А называться она будет «Я хочу быть с тобой»! Это будет хорошая песня, Егор, я тебе обещаю.

Так он сказал, отхлебывая из банки. Кролик Егор щипал в это время травку, а солнце катилось за море.

Москва. Уже знакомый кабинет, осененный Дзержинским. Те же двое немолодых мужчин беседуют между собой.

— Итак, четыре месяца никаких сообщений от него, — задумчиво сказал старший.

— Поступила оперативная информация, из которой следует, что центральное правительство готовит десант на остров, — осторожно добавил младший.

— Нет-нет! — сразу отреагировал его собеседник. — Просить их мы ни о чем не будем. Не те отношения, да и не только в этом дело. Если он еще жив, то сам найдет правильную линию поведения.

— Но я не могу понять, почему вы не даете мне санкцию на дополнительные меры. В конце концов, речь идет о нашем человеке!

Старший тяжело вздохнул:

— Я не даю вам санкций, потому что их не дают мне. Что-то происходит, сверх того, что известно мне и вам. Кажется, дело зашло очень высоко, — и старший многозначительно посмотрел на потолок.

Сверху печально взирал портрет Дзержинского.

Белов и Белью, обросшие, в изрядно пострадавшей одежде, измотанные, но все такие же крепкие, тащили на плечах ствол только что срубленного дерева. Шли они по узкой тропинке среди чащи, а за ними двигался мутноглазый туземец с автоматом через плечо. Охранник, который привык к своим подопечным и уже не очень то их охраняет.

Тяжелое бревно то и дело цеплялось за ветви деревьев, плотно обступавших тропку и сплетавшихся вверху таким плотным слоем, что даже тропическое солнце не могло прорваться вниз.

Они несли бревно.

Чуть позже они сидели на земле перед разложенной на тряпке скудной едой. Отдыхали, ели.

Мутноглазый охранник все так же безразлично стоял перед ними.

— Нам надо торопиться, — без всякой интонации говорил он.

На эту фразу Белью не отреагировал, а Белов отмахнулся, как от мухи. Торопиться они не собирались.

Охранник подождал и повторил:

— Торопиться надо, скорее.

— Пристал, придурок, — сказал Белью, все так же игнорируя стража. — Что ему сегодня не стоится?

Белов вместо ответа опять махнул рукой, мол, ну его… А охранник укоризненно закачал головой.

— Торопиться пошли. Праздник будет.

Невинная фраза о празднике произвела на пленников неожиданное впечатление. Белью, как раз отправивший в рот большой кусок рыбы и старательно жевавший, подавился, и вся рыба тут же вылетела обратно. Белов этого не заметил, потому что напряженно смотрел на охранника.

— Какой сегодня? — тихо спросил Белью.

— Гонки, — сказал стражник, улыбаясь. — Красивые гонки.

Пленники стояли на краю большой поляны, рядом торчал мутноглазый. А в центре поляны клубилась толпа. Мужчины что-то делали, крича и явно радуясь. Что именно, было непонятно, но толпа была явно на взводе.

— Ненавижу эти скачки, — говорил Белью. — Я бы их всех после такого шоу перерезал. Взял бы поодиночке и перерезал. Честное слово.

Белов угрюмо смотрел себе под ноги. А охранник мутно пялился на происходящее.

Там все больше расходилась толпа. Крики становились все громче и агрессивнее. Наконец, что-то произошло, туземцы бросились в стороны, но тут же замерли, образовав проход, в начале которого стояли два обнаженных и порядком измученных туземца, на голове одного из которых почему-то была воинская каска.

Дальнейшее заняло одну минуту. Каждого из этих людей держали сзади и за шею по паре туземцев. Из толпы донесся рев, одновременно рванулись руки державших и две шеи были перерезаны в один взмах.

И пока две головы падали на землю, тела жертв, еще живые и будто освобожденные, наконец рванулись вперед в странном, рваном беге, похожем на пьяный танец.

Они бежали, а толпа орала. Белов смотрел себе под ноги, Белью закрыл себе рукой глаза, а охранник смотрел на них с укоризной.

Недолог был этот бег. Через десяток метров нелепо споткнулось и рухнуло на землю одно тело, через пару шагов свалилось и другое. Страшные бегуны лежали, неестественно раскинувшись, а их палачи шагами измеряли расстояние…

— Не нужно отворачиваться, — говорил охранник своим пленникам, которые как раз лезли в свою яму. — Нужно привыкать.

Белью как раз спрыгнул вниз, Белов спускался по лестнице, голова его замерла на уровне земли. Он тяжелым взглядом осмотрел охранника и сказал:

— А если и тебя так?

Охранник ответил со страшным спокойствием тупицы:

— И меня так.

Голова Белова скрылась в яме. Охранник привычно уселся рядом на землю.

Они сидели на грубо сколоченных лежаках в своей яме.

— Пятый месяц… Пятый месяц в этом дерьме! — говорил Белов. — И никак не уйти!

— Нет, не выйдет, — подтвердил Белью. — И никому не дашь знать, чтобы вытащили отсюда! Долбаный остров!

— Да. Вот так занесет мимоходом, и ни туда ни сюда. Черт меня занес!

Он поднял глаза на собеседника. Тот тоже смотрел на него. Потом сказал:

— Ты кто, Джек?

— Простой коммивояжер, — ответил Белов и посмотрел на приятеля долгим взглядом, в котором было и ехидство, и сообщничество.

Сказал с упором:

— Как и ты, Майк.

За рулем автомобиля, мчащегося по хайвею, сидел Винс. Его шикарная черная спутница на заднем сиденье курила и задумчиво смотрела куда-то вниз, на экран маленького автомобильного телевизора.

— Ты не боишься, Винс? — спросила она.

— Чего? — удивился продюсер.

— Весь этот шум, который поднялся вокруг твоего загадочного парня, он попросту преувеличен. Посмотри, что творится! Кажется, что все просто сошли с ума!

— Что и требовалось доказать. Они уже были сумасшедшими, я только придал форму общему психозу. Подожди еще пару месяцев, и ты увидишь, что этот парень сделает смехотворной всю историю с «Beatles»!

— Ты рассуждаешь, как человек, который сорвал кучу денег, и теперь хоть весь мир к чертям провалится…

— Как ты не права! Я делаю это исключительно из любви…

— Любви к кому?

— К этому парню. Первый раз вижу музыканта, который не глупее продюсера! Он до сих пор не появился! Мало кому

хватало терпения знать, что ты так знаменит и богат, но продолжать отсиживаться на своей студии. Этот парень прекрасно понимает, что стоит ему материализоваться — и всему конец. Я записываю всех самозванцев, которые претендуют быть им — их уже пятьдесят четыре!

— Все равно это дурно пахнет. Какая-то Панама…

— Ты просто не в настроении сегодня, — сказал Винс, и его спутница, погасив сигарету, обиженно замолчала.

Шувакиш, толкучий рынок под Свердловском.

В загородке из проволоки вплотную друг к другу топталось невероятное количество людей, занятых куплей и продажей. Толпа была плотная, серая, угрожающая, если смотреть с железнодорожного мостика, по которому шли и шли в сторону тучи люди.

Посреди этого моря двое юнцов приставали к третьему:

— Дай прицениться. Ну дай посмотреть.

Третий был чуть постарше и важный. Он подозрительно осмотрел юнцов и сказал:

— У вас все дешево, все равно не отдам.

— Ну дай, — канючили юнцы.

И он сжалился. Небрежно открыл сумку, вытащил пластинку. На ярком конверте было написано: «Nobody from Nowhere».

Юнцы смотрели, затаив дыхание.

Конверт был красивый, яркий. И надпись была броская, запоминающаяся…

* * *

у зеленой воды, у запаха тины,
наблюдая восхищенно полет паутины
сумасшедший пацан бьет в пустую жестянку,
сумасшедший пацан лупит в старую банку
из пустого пространства, из старой консервы
извлекается звук, возбуждающий нервы
сумасшедший пацан бьет жутко и мерно

по заржавленным бакам, по огромным цистернам
музыка на песке

Те же самые пластинки стояли рядами на полках большого магазина. Длинными, стройными рядами, совершенно одинаковые пластинки.

музыка на песке
мы идем за ней, как звери
мы волнуемся в тоске

Промышленный пресс штамповал и штамповал черные диски…

Люди несли пластинки в руках…

Девушка с романтическим лицом доставала диск из красочного конверта, ставила на проигрыватель и застывала, мечтательно глядя на обложку…

у веселой волны, у старого камня
из драной рубахи он делает знамя
из ивовой ветви он делает саблю
и бормочет какую-то абракадабру
строит замки из песка
крутит пальцем у виска

* * *

Танцевали люди в дискотеках с разными названиями и просто в комнатах…

И дрались на улицах мальчишки…

И просто шли по улицам…

И зазвучала музыка…

* * *

мы сжигаем деньги, мы бросаем семьи
деремся на свалке из-за гулкой канистры

кухонные женщины несут сковородки
с ведром для бумаг вдаль уходят министры
и под барабанный бой
он зовет нас за собой

* * *

Звучала музыка над Нью-Йорком и Токио, над Амазонкой и над Волгой. Музыка.

* * *

музыка над водой
музыка над водой
мы спешим за ней, как крысы,
и скрываемся в прибой

* * *

Звучали последние аккорды.

В бункере, склонившись над магнитофоном, ждал окончания Герой. И когда она наконец закончилась, облегченно выдохнул воздух, взял со стола кусочек угля и облегченно перечеркнул на стене нижнюю строчку, им же и написанную: «Музыка на песке».

Больше надписей на стене не было. В наступившей тишине он смотрел на стену, напряженно размышляя о чем-то, когда неожиданный звук заставил его вздрогнуть всем телом.

Это были аплодисменты. Кто-то хлопал в ладоши. Один в тишине.

Герой рывком повернулся.

В проеме двери, ведущей в комнату, стоял человек и неторопливо ударял ладонью об ладонь…

Человек был невысок, с выразительным, неприятным, странноватым лицом переросшего свой возраст юноши, с удивительными выразительными глазами.

Эти глаза уже встречались в нашей истории. Да-да, именно эти глаза сперва следили за героем, отправившимся в воды морские, потом появились в Балору, когда Белью удирал от освобожденных свиней, и еще в лесу их обладатель исчез из-под носа повстанцев… Впрочем, все тогда происходило так быстро, что можно было эти глаза и не запомнить.

Тем не менее обладатель странных глаз стоял перед героем и хлопал в ладоши, чем привел того в немалое изумление. Он столько времени провел на острове, что, кажется, давно уже чувствовал себя здесь хозяином. И потому спросил быстро и уверенно:

— Ты кто?

И услышал спокойный, ехидный голос:

— Я-то кто, понятно. Ты-то кто, дружок?

Герой молча уставился на пришельца, тогда тот продолжил:

— Я здесь хозяин, понимаешь? И вообще, — он протянул руку, — отдай ключ.

Герой не понял.

— Какой ключ?

— Ключ на пляже ты нашел? От двери. Дай.

Герой медленно, со скрипом соображал, потом залез в карман и протянул новообретенному хозяину металлическую пластинку.

— Молодец, — сказал пришелец. — И куда ты задевал знамя моего острова? Вот здесь висело.

Герой медленно залез куда-то за ящики и выудил запылившееся древко с накрученным на него полотенцем.

Белое знамя развернулось, появилась красная буква «А».

— Видишь? Это значит «Агап». Усвоил? АГАП. Агап — это я.

Посреди комнаты повисло белое полотнище с красной буквой.

— Все, — удовлетворился Агап и повернулся к Герою. — Что, не нравлюсь я тебе?

— Не очень.

— Ну правильно, — истерично забрюзжал Агап, — развел мне тут беспорядок, и я же ему не нравлюсь.

— Не нравишься, — подтвердил Герой.

— Ну и топай отсюда!

— Ну и пойду.

— Проваливай, — сказал Агап, завершая разговор, и отвернулся, осматриваясь.

Герой развернулся и резко вышел.

Он стремительно выскочил на улицу и остановился.

Рядом с дверью стояли две объемистые дорожные сумки, а на одной из них сидел мальчишка. Скорее даже юноша. Коротко стриженные черные волосы, рубашка, заправленная в джинсики, кроссовки. И смышленая, смазливая, лукавая физиономия. Парнишка был женственный, в нем сквозила даже некоторая порочность.

При появлении Героя он заметно смутился, какая то тень промелькнула по его лицу и он медленно встал.

Так они застыли, глядя друг на друга, когда из бункера донесся голос Агапа:

— Кид, иди сюда.

Мальчишка встрепенулся, ухватился двумя руками за ручки одной из сумок и с усилием потащил ее в бункер.

Когда он проходил мимо Героя, они опять на секунду замерли, впившись друг в друга испытывающим взглядом.

Мальчишка пошел внутрь, Герой — от бункера.

Выйдя на пригорок, Герой обвел взглядом берег, который был, как и прежде, пустынен. Ни следа лодки или катера. Недоуменно пожав плечами, он побрел обратно.

В бункере Агап с калькулятором и блокнотом в руках производил какие-то подсчеты, бормоча что-то себе под нос.

Увидев появившегося на пороге Героя, Агап поднял глаза:

— Я тебе непонятно сказал?

— Так ведь некуда топать.

— Это ты точно заметил, что некуда. К тому же выяснилось, что ты мне должен.

— Что?

— Как что! Пиво пил? Электричеством пользовался? Ты что, полагаешь, что все это бесплатно?

— А тебе жалко, что ли?

— Причем тут жалко? Это справедливость. Знаешь такое слово? Я всю жизнь за нее борюсь…

И исподлобья посмотрел на Героя:

— Не веришь? Еще увидишь…

Из другой двери, ведущей внутрь бункера, показался Кид. На руках он держал кролика.

Агап расширил и без того безумные свои зрачки.

— А это что за тварь? Твой?

— Нет, я его здесь нашел, — хмуро ответствовал Герой.

— Не должно его здесь быть, не должно! — забеспокоился Агап. — Кид, отдай этому, — и ткнул пальцем в сторону Героя.

Кид послушно выполнил распоряжение.

Агап отошел куда-то в угол и вновь вышел из него, с неожиданным пистолетом в руках.

— Так, вы двое, — сказал он, подбрасывая в руках оружие, — марш отсюда, сегодня вы спите снаружи. Суд за ночь рассмотрит обстоятельства дела и завтра произнесет приговор. Кид, выдай им гамак.

Под жарким солнцем спал в гамаке, натянутом между двумя пальмами, Герой. Спать ему было жарко, и проснулся он недовольный. Даже и не проснулся толком. Глаза открыл и увидел другие глаза, уставившиеся прямо на него.

Перед ним стоял Кид. Убедившись, что Герой проснулся, он сказал:

— Привет.

Герой молча ждал продолжения, и оно последовало.

— Пойдем, он зовет на завтрак.

Герой не реагировал, тогда Кид попросил:

— Ну, пойдем, не ломайся.

И двинулся к бункеру. Герой попытался вылезти из гамака, но дело это нелегкое, так что после нескольких судорожных

рывков он просто вывалился на землю под мелодичный смех Кида.

— Пойдем, — повторил мальчишка.

И они пошли.

За столом, накрытым на одного, сидел Агап.

Для Героя не было даже стула.

Не найдя ни тарелки, ни стула, Герой, не здороваясь, спросил раздраженно:

— Ты же меня на завтрак пригласил?

— Правильно, на мой завтрак. Стой там, где стоишь, и слушай.

Размахивая вилкой и паясничая, Агап начал:

— Слушается дело № 1 о незаконном вторжении в частное владение. Слово предоставляется истцу. Итак, я, Агап Аристопулос, приобрел эту недвижимость на вонючие деньги собственного папочки для того, чтобы делать здесь все, что заблагорассудится. В период моего временного отсутствия личность, стоящая сейчас перед нами, безо всякого на то позволения вторглась в мое жилище, пользовалась моим имуществом, развела домашних животных и нарушила функционирование моей радиостанции, не представляя себе возможных последствий. Я требую, чтобы Высокий суд вынес самый суровый приговор. Сейчас мы его выслушаем.

Он задвигал лицом, преображаясь, видимо, в образ «Высокого суда», но Герою, это наконец надоело, и он молча вышел из бункера.

Агап равнодушно посмотрел ему вслед, отхлебнул кофе и закончил:

— В связи с отсутствием подсудимого оглашение приговора откладывается…

Герой сидел в гамаке, когда подошел к нему Кид, которому он не очень-то обрадовался. Отвернулся даже. И Киду тоже было неудобно, он постоял рядом, сказал:

— Слушай, как тебя зовут-то? А то я до сих пор не знаю… Меня вот называют Кид. И я откликаюсь. А тебя как?

— Слава.

— Сла-ва, — произнес Кид. — Красиво. Глория, да? Почему у тебя женское имя?

— Мужское.

— Ну-ну, — заговорил Кид. — Ты и на меня сейчас обидишься? Очень обидчивый тип… И на Агапа ты зря обижаешься. Во-первых, он всегда такой, куда ж денешься, а во-вторых, ты сам натворил там порядочно…

— Что именно?

— Эй, парень! — засмеялся Кид. — Он гонял свои песни на целый свет по радио, и он спрашивает, что натворил? Шутник…

Кид смеялся, а Слава соображал. Потом сказал:

— Куда гонял?

— В эфир. Представляешь, как Агап удивился, когда вместо своих позывных обнаружил на собственной волне твои аккорды!..

Он улыбнулся, глядя на Славину физиономию.

До того доходило помаленьку. И дошло. Он внимательно посмотрел на Кида и сказал:

— Ты кто?

— Кид.

— Привет, — сказал Слава.

— Привет, — сказал Кид.

Славе он явно нравился, хоть и внушал некоторые опасения. Повисла пауза, нужно было что-то сказать, и Слава сказал:

— Пошли купаться?

Кид едва заметно смутился, ответил:

— Сейчас не хочется почему-то. Пошли лучше посмотрим, что Агап делает. Он, конечно, чудак, но не обижайся на него, пусть дурит. Выдумщик.

— Ладно, пошли, — кивнул Слава.

В бункере посреди комнаты стоял Агап. Физиономия его имела выражение плачевное. Более того, два пальца левой руки

он держал зачем-то во рту. Увидев вошедших, он сказал что-то, из-за руки во рту совершенно неразборчивое.

— Руку достань, — сказал ему Слава.

Агап промычал непонимающее нечто. Слава пояснил:

— Руку изо рта достань, непонятно ничего.

— У-у… — промычал Агап отрицательно и, обидевшись, уселся в углу.

Слава смотрел на стол, на столе стоял пулемет. Очень большой пулемет, крупнокалиберный. Или даже зенитный, кто ж их разберет…

А Кид стоял с листком каким-то в руках.

— Ты марки успел напечатать! — воскликнул он восхищено. — Красиво!

Агап промычал что-то утвердительное.

Слава посмотрел на марки. Цветные, яркие марки с надписью «Агап»

— Зачем тебе марки? — спросил Слава.

Тот опять что-то замычал, потом сообразил, что все равно непонятно, выплюнул наконец руку изо рта и сказал жалобно:

— Надо!

— Ух ты… — сказал Кид.

Два пальца на руке были рассечены, текла кровь.

— Я хотел эту штуку проверить, — жалобно показал Агап на пулемет. — И вот…

Кид уже рвал на части бумажный пакет с бинтами, подскочил к Агапу и сказал жалеючи:

— Что ж ты, маленький мой…

— Ты что несешь? — сказал Агап недовольно. Кид не понял. Слава тоже. Агап смотрел на Славу и, желая перевести разговор на другое, сказал:

— Слушай, залезь на крышу, а? Там антенну расчехлить надо, такая полусфера, увидишь. Я не могу, — показал он на руку, которую бинтовал Кид.

Слава снимал чехол с небольшой параболической антенны, когда внизу раздались какие-то вопли.

— Иди сюда, сволочь! — орал Агап.— Иди, говорят тебе!

Там Агап гонялся за кроликом. Но кролика поймать довольно трудно, если он сам того не хочет.

Слава смотрел вниз и улыбался. Агап с забинтованной рукой прыгал по площадке.

Берег острова Амау. С десантных судов на берег сыпались солдаты правительственной армии.

Яма-тюрьма. Спящие пленники. Вдруг вдалеке послышались автоматные и пулеметные очереди. Белью проснулся, поднял голову, немного послушал и разбудил Белова. Тот встал, тоже прислушался. Звуки очередей и разрывов неудержимо приближались. Пленники переглянулись — им было ясно, что лучше момента не представится. Белов встал на плечи Белью и осторожно приподнял несколько бамбуковых стволов. Часового возле ямы не было. И вообще лагерь повстанцев казался вымершим. Белов вытянул себя на локтях из ямы, протянул бамбуковый шест Белью. И они вдвоем кинулись к лесу, в сторону, противоположную той, откуда слышались выстрелы. И только они успели добежать до зарослей, как ударили с противоположной стороны струи огня, вспыхнули легкие бамбуковые постройки. И вслед за струйками огня покатились, побежали, замахали руками кричащие огненные шары — помчались наперегонки.

Офицер правительственных войск среди пылающего лагеря говорил в переносную рацию:

— Противник частично уничтожен, частично скрылся в джунглях. Мы успели заметить двух белых, которые уходили в сторону леса. Возможно, военные советники…

— Продолжайте преследовать в первую очередь их — это очень важно! — ответил голос из рации.

Офицер выключил рацию, закричал, замахал руками, созывая своих солдат.

На повалившемся стволе в чаще сидели Белов с Белью и пытались перевести дух. Слегка отдышавшись, Белью посмотрел на Белова и сказал:

— Ну что, Джек, пойдешь сдаваться этим?

— Не понравились они мне. Я лучше буду тебя держаться.

— А ты уверен, что нам по пути?

— Мне почему-то кажется, что да.

Белью промолчал несколько мгновений, а потом сказал:

— Ну что ж, никогда не поздно проломить друг другу голову.

Встал и пошел, за ним двинулся Белов.

На острове шел, почти бежал Слава. Он был возбужден, сердит.

— Эй! — раздался крик за спиной, но он не оглянулся даже.

За ним бежал Кид.

— Подожди, — кричал он. — Подожди, почему за тобой все время бегать нужно?

Слава решительно шел дальше, не отвечая. Кид наконец догнал его и быстро пошел рядом, стараясь не отставать, что было непросто.

— Послушай, — говорил он, задыхаясь, — вы опять поссорились, но я-то в чем виноват?

Слава резко остановился, так что Кид проскочил вперед, и почти закричал:

— Что ему от меня надо? Почему он ко мне пристал, липучка вонючая? А?

И, не дожидаясь ответа, рванул дальше. Кид опять бросился следом.

— Подожди,— сказал он, догоняя Славу, и взял его за руку, пробуя остановить.

Слава резко остановился и оттолкнул мальчишку от себя. Не сильно оттолкнул, но Кид отлетел в сторону и упал, коротко вскрикнув.

— Ты что? — растерялся Слава.

Кид, кажется, ушиб ногу. Он сидел на земле, жалобно улыбаясь. Слава присел рядом на корточки, ему стало стыдно.

Перед его глазами было симпатичное, женственное, влекущее отчего-то лицо мальчишки, который, все еще задыхаясь от долгой беготни, смотрел на Славу со странным, недетским и несколько непристойным выражением лица. Не мальчишеским.

Слава смутился, Кид — тоже. Пауза опять стала затягиваться, нужно было что-то говорить…

— Все равно нам с острова никуда пока не деться, — сказал Кид. — От Агапа.

— Слушай, — сказал Слава, — как вы сюда попали?

— Нас катер привез. И ушел. Сразу.

Они сидели, глядя друг на друга. Слава сам не заметил, как осторожно взял мальчишку за руку, а тот как во сне двинулся лицом к Славе, головы сближались, но спал морок, Слава вскинулся, ошалело глядя на Кида, то, смущенный, встал…

— Кид,— после секундной заминки сказал Слава, — что ему от меня надо?

Кид пожал плечами. И в этот момент над ними раздался голос Агапа. Над ними и над всем островом загремел тысячекратно усиленный голос:

— Эй ты, сейчас буду говорить я!

На крыше бункера в шезлонге сидел Агап с микрофоном в руках. Провода от микрофона тянулись к могучим громкоговорителям. Перед Агапом на штативе стояла подзорная труба, а на другом — известный нам пулемет и вид у него был самый, что ни есть командный. Тронная речь продолжалась:

— Ты не захотел вот уже два раза выслушать мой приговор — ничего другого я от тебя и не ждал. А зря! Многое стало бы тебе ясным. Ты, жалкое трусливое существо, как щепка, закинутое сюда, на мой прекрасный остров — на что ты употребил свое время? На то, чтобы воспользовавшись моей добротой и моим отсутствием, хлестать мое пиво и сочинять свои сопливые песенки! По чистой случайности ты установил свою фонограмму на радиопередатчик и, благодаря людской глупости, прославился. С тобой случилось то, чего ты больше всего боялся.

И сейчас, если я поставлю тебя перед микрофоном и заставлю объясниться перед миром и назвать себя — ты тоже струсишь. Ты боишься ответственности — поэтому тебе всякий раз приходится перед кем-нибудь отвечать. На этот раз — передо мной. Я мог бы сразу пристрелить тебя, но я не настолько жесток, к тому же по чистой случайности ты мне немного помог в моих замыслах. Случается иногда, что подлинному борцу за справедливость может пригодиться такой козел, как ты. А теперь выслушай мой приговор…

Слава отплывал все дальше и дальше от берега, чтобы не слышать наглого и обидного громкоговорения, но звук был слишком мощным. Иногда Слава зарывался головой в волну, и голос замолкал, но нехватка кислорода заставляла его выныривать и, махнув на все рукой, обессиленный Слава поплыл к берегу.

Голос не смолкал:

— …раз ты боишься слов, боишься действий, боишься собственного имени, — ты просто недостоин его носить, и я тебя лишаю имени. Ты — никто, ты — ниоткуда, и если ты будешь себя как-нибудь звать, я тебя просто пристрелю.

Слава обреченно выбрался на берег.

В полутемной комнате, освещенной одной неяркой лампочкой, лежал Слава, завернутый в одеяло, а над ним склонился Кид. Он протягивал ему кружку с чаем и нежно, по-бабьи, приговаривал:

— Пей, пей… Чуть не утонул теперь… Мало ли кто что орет…

И вышел.

Слава похлебал чай, полежал чуток и встал, завернувшись в одеяло. Прошагал босыми ногами по полу к двери, тихонько толкнул ее. Та бесшумно отворилась.

В большой комнате бункера, у окна, стояли Кид и Агап, который обнял мальчишку за плечи и с силой целовал его. А тот, кажется, отвечал взаимностью.

Они не сразу заметили вошедшего, Кид отпрыгнул от Агапа и выскочил из комнаты. Агап сердито уставился на Славу, стоящего в дверном проеме в одеяле и с босыми ногами.

На площадке метеостанции, возле вертолета стояли Белов и Белью.

— Значит так, — подводил, загибая пальцы, неутешительные итоги Белов.

— На вертолете горючки на 50 миль, на катере на 50. Нам нужно сделать 50 туда, куда мы собрались, и столько же до Балору. Перелить из бака в бак не выйдет: там — солярка, здесь — керосин. Что будем делать?

— Может, что-нибудь найдется?

— А если нет?

Соратники поневоле задумались, замолчали.

В это время из леса вновь послышался треск очередей. И он снова надвигался.

— Если б резиновая лодка была! — задумчиво сказал Белью.

— Что бы тогда?

— Погрузил бы на вертолет…

Белов снова задумался.

— А если наоборот? — сказал он, в упор глядя на Белью.

Ответом были автоматные очереди, донесшиеся из леса неподалеку. Думать теперь было некогда, Белов бросился от вертолета в сторону берега, покатился вниз.

Белью колдовал с приборной доской.

На границе леса раздались крики, несколько солдат выскочили на поляну и рванулись зачем-то к домику метеостанции. Непонятно зачем, оттуда раздалась пальба длинными очередями.

В этот момент Белью завел мотор. Солдаты побежали к вертолету, но машина уже отрывалась от земли. Преследователи орали что-то, а вертолет на секунду завис неподвижно, а потом стремительно пошел вверх. Его провожали автоматные очереди.

Белью летел над берегом, высматривая катер, но того не было видно. Только группы солдат, сбегавшихся в одну кучу. Они уже не стреляли, но тупо продолжали свой бег за вертолетом. И страшно заорали, когда из маленькой бухточки, мимо которой они только что пробежали, надсадно ревя, вывернул катер.

Вертолет резко пошел на снижение, теперь он летел над стремительно уходившим от берега катером. Белов распластался на палубе, над ним точно встали на борта катера полозья легкой машины. Катер, заметно осевший под тяжестью вертолета, устремился в океан. И заколотил ему вслед крупнокалиберный пулемет с острова. Цепочка разрывов прошла вдоль борта, но беглецы на это внимания не обратили.

Над островом висело полуденное солнце, легкий ветерок шевелил матерчатый тент, растянутый возле бассейна. Под тентом стоял маленький портативный компьютер с цветным монитором. А рядом, на солнышке, лежали Слава и Агап. Загорали, играли.

По экрану бегал человечек, собиравший что-то там такое. «Lode runner». Все это сопровождалось электронным звуком, булькотение какое-то.

Агап играл, Слава смотрел. Звук трещал.

— Где-то я такое уже слышал, — сказал Слава.

Агап усмехнулся, занятый игрой, ответил:

— Я тоже… На весь мир гонял по радио…

Слава вспомнил:

— Это та пленка, которая мне надоела?

— Твои песни ничем не лучше…

Замолчали, игра продолжалась.

— А где Кид? — спросил Слава. — Он вообще не купается?

— Еще как… — неопределенно ответил Агап.

Игра продолжалась.

Катер с вертолетом на палубе несся по океану. Белью в рубке смотрел на приборы, потом высунулся наружу и крикнул:

— Отлично! Горючего хватит туда и немного оттуда. Есть солярка!

Белов его услышал, но что-то другое заботило его. С тревогой на лице он спрыгнул в какой-то люк.

Белью смотрел вперед, когда Белов вылез обратно.

— Вода, — крикнул он.

Белью не понял или не расслышал. Белов крикнул громче:

— Вода в трюме, Майк.

— Так, — посерьезнел Белью, — значит, дырку они нам в борту проковыряли…

Агап смотрел еще на экран компьютера, но не играл. Он говорил Славе, стоявшему над бассейном.

— Ты что, против идеи справедливости?

— Я — за идею справедливости, — сказал Слава и рухнул в воду. Он плавал, а Агап вещал, воодушевляясь понемногу.

— Ее нужно утвердить, причем раз и навсегда, потому что иначе не получится. Нужно делать одним махом, по-другому уже пробовали. И не раз.

— И тебе тоже слабо! — неожиданно едко, с кривой усмешкой подначил Слава.

— Ага, — невозмутимо согласился Агап, — слабо.

Слава вылез из бассейна. Агап вдруг завертел головой:

— А где эта сволочь шляется ушастая? — Он явно беспокоился. — Что он тут делает?

Слава пожал плечами.

Катер продолжал свой бег, но теперь он уже заметно осел в воду, волны перекатывались через палубу почти свободно. Но движение продолжалось.

— Керосина не хватит сесть и взлететь, — кричал Белью. — Полпути до Балору не протянем!

— Тогда остается только пролететь поверху, посмотрим, что там, — кричал в ответ Белов.

Белью закивал в ответ.

Катер погружался, но двигался дальше.

Теперь Слава сидел на берегу около компьютера, а Агап фыркал в голубой воде бассейна.

— Почему в игру не играешь? — спросил Агап.

— Не нравится.

— Почему это не нравится?

— Да, козлы золото друг у друга отбирают.

— А мне нравятся человечки эти, имен у них нет, не то что у настоящих.

— Дались тебе эти имена…

— Имена? От них все проблемы.

— Сам до этого дошел? — ехидно спросил Слава.

— Нет, врачи помогли, — мрачно буркнул Агап, растираясь полотенцем.

Катер осел уже настолько, что палуба скрылась под водой, видны были только маленькая рубка и вертолет, рассекавший своими полозьями воду. Белов был в рубке, пытался что-то еще сделать, а Белью — в кабине.

Наконец взревел двигатель машины, заходили винты, вертолет медленно отрывался от палубы безудержно скрывавшегося под водой катера.

Белью высунулся из кабины и смотрел, как прыгнул, ухватился за полозья Белов. И только убедившись в этом, резко пошел вперед. Белов забирался в кабину.

Внизу уходил под воду катер.

Слава и Агап собирали свои купальные принадлежности. Внезапно привычным рокотом прибоя послышался рев мотора. Оба инстинктивно подняли голову, и по их лицам скользнула тень пронесшегося на бреющем полете вертолета, а струи от винта опрокинули шезлонги.

Белов и Белью видели две фигурки возле бассейна. Белов крикнул напарнику на ухо:

— Садимся?

Белью отрицательно замотал головой и протянул ему непонятно откуда взявшийся фотоаппарат. Белов понял. Раскорячив

ноги, чтобы не вывалиться, приготовился снимать. Белью круто разворачивал машину обратно к острову.

— В укрытие! — орал Агап на Славу, вцепившись ему в волосы.

— Никуда я не пойду! — упирался тот, — надоело мне тут с тобой. Я здесь случайно — пусть меня заберут!

— В укрытие, идиот! — свирепел Агап, переходя на кулаки. Он легко бы одержал победу над непротивленцем Славой, но не хватило времени. Второй раз еще ниже прошел вертолет и поднятый им песок ударил в глаза противникам, заставил их отцепиться друг от друга.

Вертолет уходил от острова. Белов показал Белью большой палец, тот удовлетворенно кивнул.

Вертолет летел на Балору.

Обсерватория «Маунт-Паломар».

Над разложенными на столе большими листами бумаги с какими-то диаграммами склонились двое ученых. Вид их говорил о крайней озадаченности.

Наконец один из них резко распрямился, снял очки:

— Нет, не может такого быть. Наше военное ведомство играет в неопознанные летающие страсти. Факт прискорбный, но я фантастикой не занимаюсь!

Второй неопределенно покачал головой:

— Для астероида объект ведет себя слишком странно, это ты не сможешь отрицать…

— Значит, нужно искать объяснение…

РЛС в Сибири:

Молодой полковник говорил в телефонную трубку.

— Да, импульсы регистрируются с пятнадцатого числа, то есть уже десять дней.

Он выслушал вопрос и ответил:

— Да, более всего это напоминает станцию наведения. Продолжаем наблюдение.

В дверь московской квартиры позвонили. Открыл дверь засекреченный некогда астроном, а вошел его друг, журналист. Лицо его переполняла радость.

— Я все-таки раскопал кое-что по поводу наших песенок.

И на немой вопрос вытащил жестом фокусника из кармана фотографию, предъявил ее астроному.

На фотографии был Слава. Только значительно моложе, лет на пять.

На острове рядом с бункером стоял Слава: задрав голову, он ошалело смотрел вверх.

Там, на крыше бункера, появилось много разных вещей. Два крупнокалиберных пулемета, гранатомет и целая гора разного стрелкового оружия, наваленного в кучу, как попало.

Слава смотрел, когда резко открылась дверь бункера и наружу вылетел Кид, которого вытолкнул Агап. После чего дверь закрылась обратно.

— Что он делает? — спросил Слава

Кид не ответил, он растирал ушибленную руку.

— Ты что делаешь? — закричал Слава Агапу, тащившему по крыше какой-то ящик.

— Пробил час, — мрачно ответил Агап. — Нужно готовиться к боевым действиям.

Он возился с оружием. Слава опять крикнул:

— Что?

— Они не получат ни фута моей земли, пока я жив! — и с неожиданной яростью заорал:

— Чужая нога не ступит на остров, пока я еще не труп!

— Ты рехнулся!

— Мне это уже говорили, — в голосе Агапа был сарказм. — Они ошибались.

Слава махнул рукой и уселся на землю у стены, рядом с Кидом. Тот был явно обижен, сидел насупившись.

— Ну его к черту, — сказал Слава.

Кид промолчал, и тут над их головой раздался грохот пулеметных выстрелов. Два шезлонга и маленький столик, стоявшие у бассейна, запрыгали, полетели в стороны клочья материи, щепки.

— А-а-а!!! — орал Агап. — Они у меня попляшут!

Новая очередь прошлась над площадкой.

Слава с Кидом вскочили на ноги.

— Ты, козел! — кричал Слава.

— Прекрати! — кричал Кид. — Прекрати, пожалуйста.

Агап упорно смотрел вниз и кричал:

— Вот он! Вот она, сволочь ушастая! Я говорил, что он здесь лишний? Говорил! И получай!

И правда, у самого леса виднелся кролик. Пулемет опять заработал, вокруг удиравшего животного взлетали вверх комья земли.

Слава с Кидом кричали что-то предостерегающее, когда Агап наконец прекратил стрельбу.

— Ушел, кажется, — пробормотал разочарованно.

— Ты, вонючка, — орал Слава. — Ублюдок свихнувшийся, козел паршивый!

Агап встал перед ними на краю крыши и сказал торжественно:

— Я знал, что вы будете оба нелояльны. А поскольку с этого момента остров объявляется мной на осадном положении, вы переходите оба в состояние вне закона. Я в любой момент, согласно правилам, могу вас прекратить! Идите и ведите себя хорошо!

Наступила пауза, которую прервал Слава:

— Пошел ты, знаешь куда?

И двинулся к бункеру. Агап отпрыгнул к пулемету, навел его на Славу. И сказал очень спокойно:

— Не двигайся.

Слава стоял, глядя на Агапа, тот смотрел на Славу, но через прицел. Неожиданно Слава успокоился и сказал:

— Давай…

И сел на землю.

Агап смотрел на него через прорезь, руки его едва заметно подрагивали. Потом, будто приняв какое-то решение, встал, усмехнулся:

— Дурак. В себя не стреляю…

Балору. «Mission of Holy Heart». В церкви перед отцом Джошуа стояли Белью и Белов. Священник держал в руках узкую полоску фотопленки и внимательно рассматривал ее на свет.

— Очень интересно! — наконец промолвил он. — Нет, этих я не знаю. Хотя… Нет, не знаю!

— Есть ли возможность передать их нашим друзьям, прямо сегодня? — спросил Белью.

— Да, разумеется, да! Я отправляюсь прямо сейчас, вы можете передохнуть в миссии.

Белов и Белью переглянулись между собой.

— Вряд ли нам дадут особенно отдохнуть, — сказал Белью.

— Что такое?

— На подлете нас не могли не видеть с катером береговой охраны. Учитывая то, что нас начали ловить еще на Амау… Лучше не подвергать опасности ни себя, ни вас…

В это время снаружи послышался скрип тормозов останавливающихся тяжелых машин.

Лица Белова и Белью напряглись.

— Уходите через дверь за алтарем, — сказал священник. — и возьмите мой джип. На втором повороте пойдете вправо. Эта дорога уходит в горы. Она очень тяжелая, но если у них нет вертолета, им нипочем вас не догнать. Я справлюсь сам.

Белов и Белью без лишних уговоров скрылись за алтарем. А священник смотрел им вслед все тем же молодым, слегка затуманенным взглядом.

Дверь церкви распахнулась, и в нее вломился десяток местных солдат под руководством какого-то чина. В церкви никого не было, кроме коленопреклоненного молящегося священника. Оценив взглядом обстановку и кинув взгляд на распятие, чин

молитвенно сложил ладони, пробормотал: «Алла акбар!» и мотнул головой, показывая солдатам, что здесь делать нечего. В это время снаружи взревел мотор рванувшего джипа, и толпа с топотом кинулась из церкви.

Через ворота миссии вылетел наружу маленький джип, а за ним следом — тяжелый грузовик с солдатами и бронетранспортер.

Отец Джошуа вышел из церкви, оглянулся кругом — никого, — сел на велосипед и выехал за ворота миссии.

По узкой, петляющей серпантином горной дороге, вереща тормозами на каждом повороте, мчался маленький джип. Изрядно отставшая боевая техника тем не менее не сдавалась. Тут Белов, сидевший за рулем, начал внезапно сбрасывать скорость.

— Ты что! — закричал Белью, пытаясь выхватить руль.

— Сиди, сиди! — уверенно шептал сквозь зубы Белов.

На крутом повороте, ограниченном с одной стороны пропастью, а с другой — утесом, грузовик нагнал джип, шедший по самому краю дороги, и начал обходить его, сгоняя в пропасть. Тут джип резко ускорился и, каким-то чудом оставшись на дороге лишь парой колес, снова зашел вперед грузовику. Тот не успел отреагировать, бронетранспортер торпедировал грузовик в бок — и вся куча металла рухнула в пропасть.

Под ярким солнцем, высоко в горах, там, где даже в тропиках уже прохладно, ехал джип.

Белов и Белью молчали.

— Как дела, Джек? — спросил Белов.

— Дела о’кей. По-моему, мы сделали то, что хотели. По крайней мере, я.

— Нет, я тоже не в обиде, — усмехнулся Белов, — по крайней мере, теперь я знаю, что для тебя то, что мы увидели, тоже в новинку.

— А значит, и делить нечего, — закрыл тему Белью. Немного помолчал и добавил:

— Майкл Белью.

Белов, не шевельнув и мускулом лица, сказал так, будто это относилось не к нему:

— Виктор Белов.

— Мне это уже давно стало ясно, — сказал Белью.

Белов удивленно поднял брови.

— По тому, как ты загибал пальцы там, у вертолета, — сказал Белью и показал.

— Ч-черт! — ругнулся Белов.

Белью раскатисто захохотал, за ним и Белов.

Джип ловко вилял на крутых горных поворотах, с одной стены уклоняясь от отвесной скалы, с другой — едва не падая в пропасть.

Белов, молча улыбаясь, вел машину. Белью смотрел на дорогу. И тут, за очередным поворотом, метрах в десяти от них, прямо посреди дороги показался человек. Он стоял, спокойно улыбаясь, и через секунду должен был неминуемо оказаться под колесами.

Белов выругался и инстинктивно рванул руль в сторону.

Джип перепрыгнул через низкий бортик, отгораживавший дорогу от пропасти, и ринулся вниз. Машина падала, постепенно переворачиваясь в воздухе. Когда снизу донесся взрыв, человек все еще стоял на дороге и улыбался. Это был Агап.

Слава тащил в руках две упаковки с пивом, Кид шел следом с полиэтиленовым мешком, набитым едой. Слава говорил сердито:

— Хорошо, хоть еды не оставил, твой любимчик…

Вместо ответа Кид фыркнул, Слава продолжал:

— Мне в тот раз так и хотелось тебе по физиономии треснуть…

Кид шел молча.

Они сидели на берегу, ели, пили пиво, причем Слава смотрел на Кида, потом сказал:

— Почему, а?

— Что почему? — не понял Кид.

— Потому что есть в тебе что-то такое… Не ухватишь.

Кид улыбнулся неопределенно, Слава хотел было что-то сказать, но со стороны бункера раздался громкий звук. Сперва проскочили многократно усиленные звуки «Lode runner», потом прозвучали первые аккорды песни.

Они сидели молча и слушали. Обстановка была романтичной до неправдоподобия. Океан, пляж, волны, остров… Кид странно смотрел на Славу и вдруг осторожно прикоснулся к его плечу рукой. Слава непонимающе взглянул на него, Кид смущенно улыбнулся. Тогда Слава чуть-чуть отодвинулся от мальчишки.

Над островом звучала песня.

мне снятся собаки, мне снятся звери
мне снится, что твари с глазами, как лампы,
вцепились мне в крылья у самого неба
и я рухнул нелепо, как падший ангел
я не помню паденья, я помню только
глухой удар о холодные камни
неужели я мог залететь так высоко
и упасть так жестко, как падший ангел

Огромный стадион был заполнен темной людской массой. Огромные прожектора светили сверху, но там, внизу, все равно было темно. Тысячекратно усиленная, звучала над людьми песня. И едва заметно покачивалось людское море, ровным слоем покрывавшее трибуны и все поле стадиона.

прямо вниз
туда, откуда мы вышли
в надежде на новую жизнь
прямо вниз
туда, откуда мы жадно смотрели
на синюю высь

То тут, то там появлялись на поле огоньки. Люди зажигали свечи и поднимали их над головами.

Вскоре весь стадион светился тысячей колеблющихся на ветру огоньков.

я пытался быть справедливым и добрым
и мне не казалось ни страшным, ни странным
что внизу на земле собираются толпы
пришедших смотреть, как падает ангел
и в открытые рты наметает ветром
то ли белый снег, то ли сладкую манну
то ли просто перья, летящие следом
за сорвавшимся вниз, словно падший ангел

В комнате, перед цветными мониторами, на которых была картинка того самого стадиона, сидел Винс, продюсер. В соседнем кресле сидела шикарная девушка азиатского происхождения, рядом склонилась над пультом пара служащих.

— Отлично, говорил Винс. — Концерт без исполнителя, но с каким количеством слушателей! И одновременно на шести стадионах да в разных странах! Такое мне и не снилось!

Рядом с ним томно улыбалась девушка.
Горели свечи на мониторах.
прямо вниз
туда, откуда мы вышли
в надежде на новую жизнь
прямо вниз
туда, откуда мы жадно смотрели
на синюю высь.

Горели свечи на стадионе. И когда отзвучали последние аккорды, качнулось, задвигалось людское море, зашумело.

И над этим морем вдруг разнесся голос Агапа:

— Человечки, привет! Вам нравятся мои песни! О'кей! Вы не знаете, как меня зовут, а я не знаю, как зовут каждого из вас. Но это ведь не главное. Я хотел, чтобы вы успели меня полюбить. И я пел для вас.

Людское море молча слушало, все еще горели свечи в руках.

Слушал, всем телом подавшись вперед, продюсер. Перед ним на мониторе горела картинка со стадионом. Агап продолжал:

— Теперь я уверен в том, что вы меня любите. Настало время поговорить начистоту. Я хочу дать вам нечто большее, чем музыка, нечто большее, чем счастье, я хочу дать вам Справедливость.

— Что он делает!.. — простонал сквозь зубы Винс.

— Выключить вещание? — быстро спросил служащий.

— Бесполезно. Это слушает сейчас весь мир.

Агап говорил:

— Я хочу освободить вас от тирании, о которой вы не подозреваете, хотя и страдаете от нее — от тирании имен.

Слушал Винс, слушал стадион.

Над Эйфелевой башней гремел голос:

— Я даю неделю на то, чтобы каждый из вас отказался от имени. Я даю неделю правительствам ваших стран, чтобы они отменили названия этих стран, городов, рек, всего, что как-то называется.

В Кремле, в кабинете с высоченным потолком, украшенным лепниной, слушали радиоприемник двое молодых людей в темных костюмах и с серьезными лицами. Приемник говорил, слегка гнусавя:

— Разумеется, речь идет не только об именах, которые записаны в ваших документах — речь идет и о всяческих кличках, воинских и ученых званиях, должностях, тюремных номерах — обо всем том, что превращает нас в вещи, которые можно переписывать, регистрировать. Я освобождаю вас от тирании имен, когда имя определяет, кто ты, что ты, какие имеешь права и какие обязанности.

На острове стояли перед бункером Слава и Кид. Задрав головы, они смотрели на выставленные на крыше колонки, из которых несся все тот же голос:

— Не всем это понравится. В первую очередь это не понравится тем, кто раздобыл хорошее имя, дающее право на власть. И все, что я говорю вам, не воззвание! Это — ультиматум! Вы можете меня не слушать, пока не узнаете, что есть сила, которая заставит вас слушать меня. Спросите у ваших правительств, которые с таким вниманием смотрят сейчас в космос! Они все знают, хотя и не подают вида! Если мои требования не будут выполнены в течение недели, месть будет страшной! И я надеюсь на вашу помощь, человечки! Завтра в тот же час и на той же волне я буду петь и говорить для вас. Чао!

Голос умолк, колонки немного пошипели еще и стихли. Остались шум, ветер и рокот волн.

Слава трясся от злости.

— Я ему мозги наружу вышибу! — захрипел он, наконец. — Я его так разделаю, мать родная не понадобится!

И одним скачком долетев до двери, забарабанил по ней кулаками.

— Открывай, сучья кровь! — орал Слава.

Кид стоял рядом и не понимал, в чем дело.

— Ты что? Ну и что тут такого?

— Как что?! — Слава оторвался от двери. — Он захапал мои песни, он захапал мое имя! Мне все равно, что там он несет, мне наплевать на его дурацкие идеи. Мне вообще наплевать! А песни мои! Только мои!

Кид так ничего и не понял, Слава опять начал колотить в дверь, рассыпая проклятия и угрозы. Он требовал открыть и принять кару.

И дверь открылась. В проеме стоял спокойный Агап. И смотрел на Славу. Тот тоже смотрел на Агапа, стараясь сдерживать дыхание.

Агап сказал:

— Ну? Что?

Слава стоял молча.

— Ну, давай, давай, — говорил Агап, — песни у него захапали… Борец за нравственный прогресс…

Слава все стоял. Агап наклонился куда-то вбок и выставил на землю перед дверью упаковку с пивом.

— Вот твое.

И закрыл дверь. Слава стоял перед ней и думал.

По печальным аллеям парка скользили тени прогуливающихся и явно больных людей в казенной одежде. Им навстречу шли журналист и врач и вели между собой беседу.

— Да, я, конечно же, его помню, — говорил врач, — во-первых, редкостная картина болезни, во-вторых, бегство у нас, конечно же, не ЧП, но чтобы убежал и не вернулся живым или мертвым, — такое редко бывает. Психический больной, он обычно очень предсказуем, вопреки общему мнению. Всегда известно, где его искать.

— Вот вы сказали, редкостная — это какая? — переспросил журналист.

— Понимаете ли, яркий и связный бред обычен для шизофреников, но чтобы до такой степени!.. Как правило, выделяются более важные связи, а деталей нет. А тут — прямо как настоящий мир, настолько все проработано.

— А в чем же была суть его навязчивой идеи?

— Вы с ним знакомы? Нет? Жаль. Никогда в жизни я не встречал более доброго и безобидного человека, может быть, слишком доброго и безобидного. И талантливого при этом. Он боялся любого действия, в любом поступке видел насилие. Даже в словах.

— В словах?

— Да, в словах. И как это часто бывает при шизофрении, он выдумал себе заступника, alter ego, второе я, способное ответить насилием на насилие. Ненавидел его, разумеется, боялся. Боялся, потому и убежал. От него, то есть от себя, и убежал. Жаль, боюсь, он все-таки погиб.

Журналист прошел по подмосковному перрону к дверям электрички, двери с шипом захлопнулись.

Он сидел в пустом дневном вагоне, смотрел в окно, думал о чем-то печальном.

За спиной его с шумом открылись и закрылись двери в тамбур, но кто обращает на это внимание.

Он смотрел в окно, когда резкий удар отбросил его голову вперед, второй удар, третий сыпались и сыпались…

Два подростка молотили его изо всех сил. Наконец один сказал:

— Да ладно…

— Сука! — рявкнул второй, последний раз пиная нелепо свернувшегося на полу человека.

— А кто он такой? — спросил первый.

— Черт его знает, — ответил второй, выворачивавший карманы. — Пошли!

Они выскочили в тамбур, тут второй крикнул:

— Погоди, этот глазастый сказал обязательно сумку принести, какая будет.

— Чуть не забыли, и правда, — спохватился первый, побежал назад.

Они сошли на пустынной платформе, в руках их был кофр журналиста.

Пентагон.

В кабинете сидели трое ответственных чинов, а вокруг все было засыпано газетами всех стран и языковых групп. Чины думали.

Один из них держал в руке фотографии, сделанные Беловым и Белью. На них были Слава, Агап и остров.

— Так Белью в последний раз появился не один? — спросил чин.

— Да, — ответил сидевший рядом, тот самый, который напутствовал Белью перед отъездом. — Но кто второй, нам не известно. Оба погибли.

Старший смотрел на фотографии, сказал печально:

— Жаль Белью. Я его помню, отличный парень. Но — хорошо, что нам известно об этих двух?

В разговор вступил третий чин:

— Один не идентифицируется, а второй, оказалось, достаточно наследил, но главным образом по линии федерального ведомства по борьбе с наркотиками. Агап Аристопулос, грек, маленькие делишки с привкусом, несколько психиатрических клиник… Картина малоприятная и малоинтересная.

Главный чин задумался. Третий продолжал:

— Неприятнее всего эти газеты. Шума выходит больше, чем мы предполагали, определенную информацию так или иначе придется давать.

— Подумайте, какую именно, — сказал главный. — Но, разумеется, не эту.

Он бросил фотографии на стол.

— В любом случае прекрасный шанс доказать, что мы еще нужны. Чтобы госдеп не забывал о нас. И с новыми московскими друзьями — лучший повод для контактов.

Двое других были согласны.

На городском кладбище шли похороны журналиста. На отшибе от близких друзей и родственников стоял астроном с печальным и несколько запойным лицом. К нему незаметно приблизился человек. Один из участников бесед под портретом Дзержинского.

— Валерий Александрович? — спросил он негромко.

Астроном удивленно повернулся к незнакомому ему товарищу. Тот открыл у него перед глазами красную книжечку и сказал:

— Отойдемте-ка в сторону.

По пустынной дорожке кладбища шли двое.

— Валерий Александрович, но нам важно именно ваше мнение, — говорил человек в штатском.

— Мое? — усмехнулся криво ученый: — Вы у меня опечатали даже записную книжку, а теперь меня же и спрашиваете.

Неужели вам, с вашими возможностями, нужно консультироваться у меня, а не у Президента Академии наук, скажем?

— Если мы с нашими, как вы говорите, возможностями обращаемся именно к Вам, значит, так нужно. Валерий Александрович, это действительно важно!

— Хорошо, — покорно вздохнул тот. — Конечно же, я продолжал думать на эту тему. Голову мою, вы ведь, кажется, еще не засекретили? И пришел к своим выводам, к которым, почему-то не смогли или не захотели прийти другие. Обе гипотезы — и астероид, и НЛО — неверны.

— Почему?

— Траектория, которую описывает этот объект, может существовать в одном единственном случае. В случае если он не имеет физической массы.

И астроном повернулся к собеседнику, глядя в глаза и пытаясь понять реакцию того. На него смотрели непроницаемые глаза собеседника. О чем он думал?

Пункт связи «Hot line».

На внушительном пункте горели разнообразные огоньки, а венчали их два индикатора, над одним из которых помещалась табличка с изображением американского флага, а над вторым — советского.

Эти индикаторы были немы, пока не захрустели, не зашипели первые, подготовительные сигналы. Оба индикатора дрогнули.

Наконец один из них заискрился огоньками:

— Доброе утро, господин Президент!

— Morning, glad to hear you!

(В течение всей беседы конвульсивные движения индикаторов пародировали особенности голосов великих собеседников, включая покхекивание, многозначительные паузы и что там еще. По нижнему краю экрана заструились субтитры переводов, соответственно, на русский и английский).

— I've gotten from Mr. States Secretary your memorandum saying you won't consider necessary any blitz summit. Your arguments

persuade me. Really I cannot give too much importance to that dubious affair. Anyway at least some part of this story is factual, so we have to decide. No one can deny our common responsibility for human civilization.

— Я разделяю Вашу глубокую озабоченность и полагаю, что в данном случае имеется прекрасная возможность для совместных действий, предусмотренных нашими соглашениями. Поскольку и по вашим и по нашим данным объект не желает поддерживать контакт ни с одним другим передатчиком, необходимо установить наш контроль над безымянным островом. Однако я рассчитываю на Вашу помощь в смысле получения соответствующих полномочий от законного правительства этой страны.

— Oh, you can be sure. I've just received a formal approval from Mr. Abdullah Abu Dullah Habdu… Bullah Habibi … Well, anyway he said yes.

— Я думаю, что мы могли бы немедленно дать поручение главам соответствующим ведомств. Я надеюсь, господин Президент, что успех этой операции еще раз продемонстрирует всем нашу приверженность новому мышлению и общечеловеческим ценностям.

— I couldn't agree more. By the way, what kind of weather you have today in Moscow? Quite nasty they say?

— Да, погода нас не балует. А как здоровье вашей жены?

— Thanks she's alright now. Quite recovered after that horse accident.

— Я с Вами прощаюсь.

— Take care.

Солнце над островом клонилось к горизонту, его последние лучи были печальны и трогательны.

И все, что было на острове, печально склонилось тенями к земле.

На дальнем конце сидели на траве Слава и Кид. А издалека, негромко из-за расстояния, звучал голос Агапа, опять вещав-

шего в свои микрофоны. Голос этот звучал с нескрываемой злобой и юродством:

— Я обижен, человечки, очень обижен. Как я слышал, многие из вас признали справедливость моих требований, но что вытворяют ваши правительства?!

Слава сидел спокойный и чуточку печальный, Кид во все глаза смотрел на него и негромко говорил:

— Мы теперь одни на острове.

— А этот? — мотнул Слава головой в сторону голоса.

— Они собрались со мной тягаться?! И вы не смогли их отговорить? Я знаю почему. Вы сами собрались со мной тягаться!..

Кид усмехнулся и сказал:

— А разве он есть? Разве он с нами? Я уже не знаю, может быть, это и не его голос…

Слава смотрел на Кида, Кид смотрел на Славу, потом протянул руку, сказал:

— Пойдем купаться?

Слава удивился:

— Ты же не купаешься?

Кид вместо ответа странно улыбнулся, встал, отошел немного, поманил Славу за собой. И Слава пошел следом.

Над островом разносился голос Агапа, почти полностью перекрываемый шумом океана:

— Вы обидели меня, человечки. Да, я обижен и замолкаю. Что будет дальше — вы увидите сами и, думаю, это вас мало порадует. А я с вами прощаюсь и на прощание ставлю вам мою последнюю песенку…

Агап замолчал, только его дыхание доносилось издалека.

Слава стоял на границе пляжа и смотрел на Кида. А тот в последних лучах солнца неожиданно плавной походкой добрел по песку до воды, оглянулся на Славу, потом плавно стащил с себя через голову свою просторную фуфайку и медленно повернулся всем телом к Славе. И тот увидел очаровательную и трогательную маленькую девичью грудь.

Слава стоял неподвижно, ошарашенно уставившись вперед, а Кид окончательно сбросил с себя одежду и превратился в маленькую, хрупкую и чрезвычайно привлекательную девушку. Она стояла на границе воды и смотрела на Славу, ожидая чего-то. А он сообразил-таки, что произошло, и крикнул:

— Эй, Кид, как тебя зовут?

И услышал ответ, с трудом прорвавшийся через шум прибоя:

— Кид!

— Ну, ты даешь, парень… — неопределенно пробормотал Слава себе под нос.

Девушка ждала его, и он пошел к ней. Только тогда она побежала вперед, бросилась в воду.

Стаскивая на ходу свитер, Слава шел по песку.

А над островом гремел голос Агапа:

— Вы меня еще вспомните, когда в один прекрасный момент все исчезнет, как мой дурной сон!

Он умолк. После паузы из динамика раздалось шипение, щелчок, пошли первые аккорды песни. Над островом, над океаном, над миром…

В волнах гонялись друг за другом Слава и Кид.

Смеялись, смущались, плавали.

Они нашли друг друга.

И опускалась ночь, расстилая над ними звездное свое небо…

И горела в небе ярко-зеленая звезда. Звучала песня.

Восход застал наших героев спящими над океаном, в траве. Они были укрыты Славиным свитером, они спали. Над ними вставало солнце, ветер шевелил травинки над их лицами.

Слава первым открыл глаза. Взгляд его прошелся по волосам, по лицу Кида, до травы и дальше, по горизонту, и оттого резко изменился.

Там, вдалеке, стояли два огромных военных корабля.

Слава толкнул Кида. Девушка открыла глаза, сперва улыбнулась, но увидев выражение его лица, спросила тревожно:

— Что?

— Смотри…

Необычайно встревоженные, они бежали к бункеру. Дверь его была открыта.

Кид металась по помещению, крича:

— Эй, где ты? Скажи что-нибудь, ты где?

Слава в прострации сидел на постели, когда из соседней комнаты раздался вопль девушки. Слава бросился туда.

Из-под потолка свисала веревка, а на ней висел кролик, грубым узлом прихваченный за уши. Зверек был мертв.

Слава смотрел молча. Кид плакала.

— Его нужно снять, — сказала она.

Слава, на лице которого застыло полное безразличие, безнадежно и расслабленно махнул рукой, вышел из комнаты, но тут же бросился обратно, на голос Кида. Она сидела на полу и кричала:

— Сволочь! Сволочь! И просто человек нечестный! Он обманул, обманул меня. И бросил.

Она плакала, Слава оцепенело застыл над ней, спросил:

— А я?

Она посмотрела на него и попыталась улыбнуться сквозь слезы:

— Нет, я с тобой, но… Он обещал мне!..

— Ты была с ним, — сказал Слава.

— Он импотент! Мерзкая тварь! Я была с тобой, но он…

Она опять залилась слезами. А потом сказала как-то совсем по-детски:

— Он говорил, что возьмет меня… на звезду… Вот. На ту зеленую звезду.

Слава молча стоял, а перед ним на полу плакала маленькая девочка.

На палубе ракетного крейсера стояли два адмирала, советский и американский. Как и положено адмиралам — с крабами на фуражках и биноклями в руках. Они смотрели на далекое пятнышко земли.

— Ради этой кучки песка… — сказал один из них.

— Что поделаешь… — отозвался второй.

— Попробуем побеседовать, — после недолгой паузы сказал первый и повернулся к стоящему рядом морскому офицеру:

— Всем средствам связи — Берегу — От флагмана объединенной группы — Примите катер для переговоров — Огню правого борта — Готовность прикрытию десанта!

Завертелись чаши антенн, поползли по сигналу-фалу пестрые флажки, замигал гелиограф.

Слава и Кид стояли на крыше бункера. Поднявшийся ветер трепал им волосы.

— Смотри, они сигналят, — возбужденно говорила Кид, дергая Славу за руку. — Ответь им как-нибудь, скажи им, что мы ни в чем не виноваты.

Слава молчал.

Порыв ветра размотал на флагштоке над бункером белый Агапов флаг. Это увидел в бинокль адмирал и понял по-своему:

— Катер! — скомандовал он офицеру.

Отвалил от крейсера быстроходный катер с пятью моряками и двумя офицерами союзников, бился над ним на ветру белый флаг.

— Смотри, смотри, они едут сюда! — кричала Кид.

— Это бред… — почти неслышно сказал Слава.

— Что? Что? — закричала Кид, не расслышав Славиных слов.

— Это бред! — кричал Слава. — Это бредовые видения, на самом деле их всех нет! Ничего этого нет, неужели ты не видишь? Они нарисованы, как на холсте, который развернут перед нами. Смотри, видишь? На самом деле здесь ты и я, а все остальное — компьютерные игры! Это человечки из компьютерной игры, бегают, золото друг у друга отнимают… Смотри, они все бумажные! Их можно закрасить краской, из них можно сделать мишень! Смотри, с ними ничего не произойдет!

С этими словами он рванулся к поставленному на крыше Агапом мощному счетверенному крупнокалиберному пулемету.

— Нет, нет, не делай этого, — кричала Кид. — Смотри, они под белым флагом!

— Флагом? — криво усмехнулся Слава. — Чего только не привидится… — И, оттолкнув Кида, нажал на гашетку.

Ударили очереди по воде. Наполнилось ветром, заплескалось Агапово знамя. Упало несколько фигурок на катере, и полетела ответная очередь. Слава бил из пулемета, и звучала песня.

Бил пулемет, кипела вода вокруг катера. Ответный огонь уже стих, потому что не было в живых ни одного моряка, но Слава продолжал расстреливать катер.

Одна из очередей прошила топливный бак, и катер вспыхнул факелом. И тут же что-то в нем сдетонировало, грянул взрыв.

Пулемет наконец умолк. Слава растерянно смотрел, как горит катер, и бормотал:

— Нет, нет… Нет…

Все так же растерянно и медленно он перевел взгляд туда, где только что была Кид, но не увидел ее. Он подбежал к краю крыши, выглянул вниз.

Она лежала у самой стены, по краям фуфайки растекалось красное пятно.

— Так не бывает, — шепнул Слава и бросился к люку.

Он стоял перед девушкой на коленях. Она была мертва.

Адмирал на палубе оторвал от глаз бинокль и выкрикнул:

— Черт побери, что они делают!

И бросил стоявшим рядом офицерам:

— Подготовить десант к высадке!

Он не договорил, отвлеченный каким-то громким и неожиданным звуком. Он оглянулся вбок, и глаза его полезли на лоб.

— Что это? — прошептал адмирал.

От стартовой установки медленно отрывалась, оторвалась наконец и устремилась в сторону острова ракета. За ней последовала вторая… третья…

Атолл последние секунды стоял прежним, потом огненная дуга вонзилась в него, и все, что было там, потонуло в огненном водовороте.

Второй взрыв вознес к небу какие-то ошметки. Что именно, понять посреди огня и дыма было невозможно…

— Кто дал команду? — кричал адмирал.

К нему бежал уже морской офицер. Добежал, вытянулся по струнке, быстро выговорил:

— Самопроизвольный запуск, должно быть, ошибка компьютера.

Посреди океана качалась маленькая резиновая надувная лодка. В ней на коленях стоял Агап. Стоял и смотрел на гибнущий остров. И считал разрывы:

— Раз… Два… — лицо его выражало напряженное ожидание — А где же три?… А вот и три… Все!

Мерзко хихикнув, он взялся за весла и погреб прочь.

На ясном дневном небе яростно горела зеленая звезда.

На палубе стояли два адмирала с недовольными лицами.

— Послать вертолет на облет? — сказал первый.

— Не вижу смысла, — сказал второй, передавая первому бинокль.

Там, где был остров, пенились океанские волны.

В узкой комнатке обычной квартиры сидела на диване юная девушка с печальным лицом. Перед ней стоял на стене транзисторный приемник, она смотрела на него, она явно беспокоилась. Приемник был включен, но ничего, кроме обычного эфирного шума, не было слышно. Шумели пустые радиоволны.

Девушка волновалась. Она смотрела на часы. И оттого волновалась еще больше. И впивалась взглядом в приемник.

Шипение отвечало ей.

Девушка склонила голову, быть может, слеза появилась на щеке, когда щелкнуло что-то в эфире, знакомые позывные пронеслись по комнате и раздались первые аккорды песни.

Девушка смотрела на приемник, по щекам ее катились слезы. Слезы счастья.

радиола стоит на столе
я смотрю на тень на стене
тень ко мне повернулась спиной
тень уже не танцует со мной
какие-то скрипки где-то
впились в чьи-то узкие плечи
эта музыка будет вечной,
если я заменю батарейки

Посреди бушующего океана торчал, как гнилой зуб, маленький кусочек цивилизации — магнитофон и несколько блоков радиостанции на бетонном основании, выдержавшем даже взрывы ракет. Разматывалась пленка, и звучала песня. Волны роняли на бобину свою пену.

я испытывал время собой
время стерлось и стало другим
податливый гипс простыни
сохранил свою форму тепла
но старый градусник лопнул
как прекрасно, что ты ушла
эта музыка будет вечной
если я заменю батарейки

В огромном зале дискотеки ликовали другие девушки. И юноши тоже. Гремела песня, танцевали люди.

я должен начать все сначала
я видел луну у причала
она уплывала туда, где теряет свой серп
но вскоре он возместит свой ущерб
когда батарейки заменят

На уличном асфальте стоял приемник, рядом двое негритят лихо отплясывали…

эта музыка будет вечной,
если я заменю батарейки

В Маунт-Паломар рывком распахнулась дверь, так что стоявший рядом человек отлетел через всю комнату, а в проеме появилось лицо одного из ученых. Он был возбужден сверх всякой меры.

— Так что там случилось с астероидом? — закричал он.

Другой медленно отвернулся от экрана монитора и произнес совершенно ошарашенно:

— Он исчез.

И посреди немой сцены повторил:

— Пшик — и все.

В комнате застыли ученые, как статуи.

Кончилась песня.

Пентагон. Кабинет председателя Комитета начальников штабов.

Председатель сидел за своим рабочим столом. В штатском — тот самый, который читал расшифровку первой передачи зеленой звезды.

— Садитесь, — сказал председатель, снимая очки:

— Я пригласил Вас, чтобы задать вам вопрос, от ответа на который зависит, возможно, моральный престиж нашей армии…

— Слушаю Вас, сэр.

— Та расшифровка, которая была засекречена, теперь, когда вся эта история позади, с ней можно ознакомиться?

Человек в штатском на секунду задумался, посмотрел на генерала и сказал:

— А теперь тем более нельзя, сэр.

КОНЕЦ

1990

История создания сценария «Никто из ниоткуда»

История появления этого сценария такова: осенью 1989 года произошел очередной — и, как позднее стало ясно, — окончательный разрыв между Славой и Димой. В это время работа над фильмом «Человек Без Имени» уже вот-вот должна была стартовать. Сама идея фильма возникла где-то за год до этого, очевидно, в Диминой голове, поскольку именно Дима в ту пору активно флиртовал с кинематографом. После роспуска группы в ноябре 1988-го Славу нужно было чем-то срочно занять, чтобы извлечь из пучин депрессии, отсюда — кинокартина.

Первоначальный сценарий был написан женой Димы, Аленой Аникиной, по мотивам песен, которые Слава писал на даче под Быково той зимой. К лету определились с режиссером: им стал Виктор Титов — автор таких известных фильмов, как «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Жизнь Клима Самгина» и фигура, с моей точки зрения, более чем случайная в мире «Наутилуса», хотя бы в силу принадлежности к совсем иному поколению, но мужик хороший. Коньяк пил блестяще, в этом с ним никто не мог сравниться, да и «Тетка Чарлея» — фильм что надо. «Донна Роза, я — простой солдат…» и т. д. и т. п. В качестве пробы сняли тот самый странный клип на песню «Боксер», который, вероятно, некоторым даже удалось увидеть и который ныне канул в Лету, как и большая часть видеоматериалов 1980-х, связанных с «Нау».

Итак, Алена написала сценарий (его полный текст был опубликован, в частности, на вкладке альбома «Человек Без Имени», изданном «Даной»), Титов взялся снимать. Стали искать деньги и, пока они искались, — записывать песни для саундтрека. К осени саундтрек был закончен (записывал его состав, который позже стал «Нау» образца начала 1990-х, за исключением дэдэтэшного барабанщика Игоря Доценко, место которого занял позже Джавад), но тут произошел тот самый раскол. Дима, хлопнув дверью, прихватил с собой ленты с саундтреком и (в лице супруги) авторские права на сценарий. Поскольку размах конфликта был таков, что о поисках компромисса не могло быть и речи, встал вопрос о новом сценарии. Вспомнили обо мне: я говорю «вспомнили», потому что все время Диминого правления я был в опале — тексты я, по глубокому Диминому убеждению, должен был посылать ему, Диме, чуть ли не по почте, а всякое общение между Славой и внешним миром шло примерно так, как выглядят свидания в пересылочной тюрьме — в присутствии надзирателя.

Сценариев, разумеется, я ни разу до этого не писал и поэтому кинулся за подмогой в лице моего старинного приятеля, сценариста и драматурга Лени Порохни. Вместе с ним мы и соорудили за февраль 1990 года в полуконспиративных условиях Дома творчества в Репино под Питером текст, который предлагается сейчас вашему вниманию.

Текст, надо сказать, с размахом и претензией — подсчитывая сейчас количество кораблей, самолетов, островов и кроликов, которые должны были пострадать при съемках фильма, я улыбаюсь — их вполне хватило бы на бюджет очередной части бондианы. Но мы почему-то в той безумной атмосфере начала 1990-х рассчитывали такие деньги где-то найти, и — чем черт не шутит? — может быть, и нашли бы. Но Титову сценарий не понравился, просто не мог он ему понравиться (впрочем, не нравился ему и предыдущий Аникинский). Виктору Абросимовичу, человеку, как и положено кинорежиссеру, глубоко конъюнктурному, хотелось чего-то вроде «Взломщика», «Иглы», «Ассы» — про молодежь (с ударением на первом слоге) и всяких неформалов.

Мы разругались. Титов ушел. Слава радостно воспользовался подвернувшейся возможностью, чтобы отказаться от фильма

вообще. Ибо не любил и не любит сниматься, давать интервью и вообще заниматься всеми такими видами художественного досуга. От всей затеи остался один сценарий да песни, через много лет изданные в виде альбома. Сценарий же я нашел совсем недавно в бумагах у одного человека из рок-клубовской тусовки. (Носившая его на себе в виде лексиконовского файла дискетка на 256К от «Оливетти» — моего первого компьютера — многотонного лаптопа с 10-мегабайтным «винтом» и 86-м «Интелем» куда-то давно пропала.) Не знаю, представляет ли из себя эта работа что-нибудь с точки зрения кино — не компетентен. А вот самому мне читать этот текст было крайне интересно. Ибо по отношению к нашим Судьбам — моей и Славиной — я обнаружил в тексте столько предвидений, что аж жутко стало. Впрочем, все это — невидимые миру слезы. Прочитайте лучше, может, найдете в этом неснятом кино что-то совсем другое, интересное для вас — я буду рад.

19 июля 2000 г.

Критика

Ирвин Уэлш — Жан-Жак Руссо химического поколения

Ирвин Уэлш — очень модный писатель. Для писателя это в равной степени привлекательно и опасно, поскольку влечет за собой неизбежное обвинение в конъюнктурности — особенно если он сам подыгрывает своему статусу живой легенды. А Ирвин Уэлш подыгрывает — и еще как!

В мире, где каждый шаг творческой личности, добившейся успеха, попадает под неусыпное око масс-медиа, анонимность и конспирация — парадоксальный, но беспроигрышный способ привлечь к себе внимание. Уэлш, очевидно, рано это понял и сделал так, чтобы мы знали о нем по возможности меньше. Лишь недавно пронырливым журналистам удалось восстановить кое-какие детали его жизненного пути — официальные же биографические справки ограничиваются констатацией простого факта: «В настоящее время проживает в Амстердаме».

Ирвин Уэлш родился в 1958 году в пригороде Эдинбурга Мьюирхаузе — там, где разыгрывается действие его самого известного произведения, романа «Трейнспоттинг» («Trainspotting», 1993). Посещал колледж, где учился менеджменту в строительстве, после чего работал в муниципальных строительных фирмах все того же Мьюирхауза. В начале 1990-х переехал в Амстердам и полностью посвятил себя литературной деятельности.

Попытки выяснить, как и когда жизненный путь заурядного клерка пересекся с пестрым миром его героев — безработных, наркоманов, футбольных хулиганов и прочих маргиналов, — так и остались попытками; с фигуры писателя не удалось сорвать

покрова тайны и мистификации, им же самим и созданного. Даже фотографии Уэлша не были доступны до тех пор, пока он не поддался на заманчивое предложение сыграть торговца наркотиками Мики Форрестера в экранизации романа «Трейнспоттинг»; визуальная конспирация после этого, естественно, потеряла всякий смысл.

Литературная карьера Уэлша выстраивалась внешне так же бессобытийно и гладко. В бестселлеры пробивается как сборник его ранних рассказов «Эйсид хаус» («The Acid House», 1994), так и второй роман — «Кошмары аиста Марабу» («Marabou Stork Nightmares», 1995). «Трейнспоттинг» становится хитом по обе стороны океана, причем в Великобритании роман быстро обретает сценическую жизнь (постановки в Эдинбурге и Глазго, а затем и на лондонских подмостках), а блестящая экранизация довершает успех. Читательское внимание к Уэлшу не ослабевает и с выходом его последней книги — «Экстази» («Ecstasy», 1996).

Ирвина Уэлша можно уверенно назвать подлинной культовой фигурой 1990-х. Сложнее ответить на вопрос, почему он ей стал. Только ли «жареное» содержание большинства его книг, с экстремальными по социальным (и психическим) характеристикам героями, тому причиной? Только ли обилие ненормативной лексики (впрочем, всего лишь адекватно воспроизводящей языковую норму персонажей), описаний (кстати, довольно сдержанных) наркотических «трипов» и секса (опять-таки в тональности комической, на грани фарса)? Книги Уэлша, кроме того, весьма непросты в языковом отношении — ведь все они написаны фактически на двух языках: авторская речь — на вполне качественном литературном английском, а речь персонажей — на эдинбургском диалекте. Для жителей Соединенного Королевства диалект этот — благодаря анекдотам, спектаклям и телепостановкам — такой же родной и знакомый, как одесский жаргон или блатная феня для нас; а вот для американских читателей издание романа «Трейнспоттинг» пришлось даже снабжать специальным словарем.

Конечно, говор «лоулендеров» — усилиями прежде всего таких писателей, как Джеймс Келман и Аласдер Грей, — уже обрел в английской литературе права гражданства. Но Ирвин Уэлш идет дальше — он превращает язык своего детства в средство создания фантастического мира, выходящего далеко за пределы окрестностей Эдинбурга, и маркирует им территорию, не просто ограниченную рамками определенного региона, но лежащую вообще за пределами буржуазной нормы. Язык у Уэлша порой важнее содержания текста (что, увы, чудовищно осложняет работу переводчиков).

Если мир, причем не только англоязычный, так откликнулся на явление Ирвина Уэлша, то, возможно, он принес миру некое новое послание? Уэлша, наряду с такими писателями, как Джефф Нун или Гэвин Хиллс, стали называть певцом «химического поколения». Следовало бы разобраться, что это за поколение и насколько оно химическое. Если видеть в этом термине сугубо полицейское указание на злоупотребление наркотиками, то мы продвинемся недалеко. В этом отношении поколение, скажем, битников, с монументальными фигурами заядлого героиниста Берроуза и законченного алкоголика Керуака, — ничуть не менее химическое; что уж говорить о поколении хиппи, где перечень подобных (говоря языком субкультуры, «по жизни удолбанных») персонажей занял бы целую журнальную страницу?

Показательно, что новые корифеи молодежной культуры постоянно исповедуются в любви к битникам и ненависти к хиппи; возможно, именно в этих симпатиях и антипатиях следует искать ключ к ответу на вопрос о специфике нового поколения. Ведь изменение сознания (путем ли химического воздействия или принятия нового мироощущения — неважно, эстетического или религиозного) приводит обычно к двум альтернативным типам поведения — миссионерскому или сектантскому. Первое стремится одарить мир новообретенными истинами, второе — оставить их в узком кругу посвященных, которым до всех прочих и дела нет. Бегство к миру или бегство от мира — вот вечная дилемма.

В Англии 1960-х культура блестящего «свингующего Лондона» была по преимуществу культурой богемы, культурой выходцев из среднего класса (несмотря на такие исключения, как «Битлз»), и оставалась (в отличие от Америки) явлением прежде всего эстетическим. Первым манифестом, прозвучавшим непосредственно из глубин сугубо британской «организации жизни», был манифест панка. Лидер группы «The Jam» Пол Уэллер так высказался в свое время по поводу породившей его среды: «В английской кастовой системе, если ты родился внизу, у тебя есть три выхода: стать звездой футбола, звездой рок-н-ролла или… куском дерьма. Последнее, понятно, всего рискованней — и всего легче».

Расцвет панка в Великобритании не случайно совпал с эпохой раннего тэтчеризма — периодом, поставившим точку в истории британского рабочего класса, корнями уходящей в предыдущее столетие и вызывающе анахроничной в ситуации постиндустриального общества. Безработные родители служили неубедительным примером для не менее безработных детей; культура, замкнутая в треугольнике паба, фабрики и футбольного поля, имела единственный сильный аргумент — экономические гарантии. Потеряв этот аргумент, она стала тем, чем и была на самом деле — затхлой тюрьмой.

Немалое значение имела и изменившаяся этническая ситуация. Волны переселенцев с Антильских островов и Индостана захлестывали Британию еще с 1950-х, но до начала «большой приватизации» устремлялись прежде всего в большие города и сосредотачивались в специфических гетто. Для коренного населения новые иммигранты оставались, в сущности, посторонним элементом, своеобразной домашней экзотикой.

«Housing projects» — блоки муниципального жилья, превратившиеся в конце 1970-х в подлинные «микрорайоны для неудачников», — коренным образом изменили ситуацию: белая молодежь оказалась с цветной не только рядом, но и в одинаковом положении, был сломлен социальный барьер, а вместе с ним — и культурные границы, раздвинувшиеся настолько же

широко, насколько сузилась социальная перспектива. Более всего этот процесс отразился в культуре музыкальной — 1980-е начались с усвоения ямайского стиля «рэггей» и завершились рождением новой танцевальной рейв-культуры, густо замешенной на столкновении ритмов «третьего мира» с электронными технологиями мира цивилизованного, «первого».

Как рейв-вечеринки в гаражах и заброшенных складах стали альтернативой телесериалам, так и наркотики стали альтернативой традиционному пьянству старшего поколения. Вот что говорит по этому поводу сам Уэлш в одном из своих немногочисленных интервью: «В принципе ничего не изменилось — раньше алкоголь, теперь наркотики. Просто от алкоголя не уйти, он повсюду, особенно — на Севере, а наркотики… с ними вместе ты выбираешь замкнутое общество». Вначале героин, а с конца 1980-х — экстази становятся тем элементом, который консолидирует молодежную субкультуру. Ключевая роль экстази в формировании образа посетителя «рейвов» и породила клише «химическое поколение».

Вот приблизительные характеристики уэлшевской вселенной: место — пригород шотландской столицы, время — 1980-е или начало 1990-х, герой — молодой человек не вполне определенных занятий, интересы которого: музыка, танцы, секс и наркотики. Таковы, впрочем, интересы молодежи во все времена — за исключением тех, когда подросткам приходится командовать полками. Отличие героев Уэлша в том, что вышеуказанным занятиям они предаются с особым ожесточением, ибо за пределами этого modus vivendi никаких перспектив у них нет, а вернее, есть одна: стать такими же никчемными неудачниками, как их родители.

Именно таких персонажей мы встречаем и в романе «Трейнспоттинг», и в рассказах Уэлша, один из которых — «Вечеринка что надо» — публикуется в этом выпуске рубрики «NB». Позднее, в амстердамский период, круг персонажей расширяется и становится пестрей, хотя сама международная тусовка, собирающаяся в «самом свободном городе Европы»,

по сути, мало чем отличается от мьюирхаузской братии — это те же самые дети пригородов, но уже на новом витке бегства от скуки. Они продолжают искать выход за пределы породившей их среды, косной и социально бесперспективной. Уэлш дал этому пестрому интернациональному сброду меткое определение — «eurotrash», т. е. «еврохлам»; словцо оказалось до того точным, что сразу укоренилось в англоязычной публицистике.

Следует отметить, что сам Уэлш весьма далек от воспевания того, что описывает; даже при передаче речи своих персонажей он все время сохраняет ироническую дистанцию. В этом — одно из основных отличий уэлшевской прозы от того потока «трансгрессивной литературы», которая попросту развлекается описанием периферии постиндустриального социума и составлением перечня всевозможных человеческих странностей и извращений.

Герои Уэлша (по крайней мере те, которых он любит) страстно ищут выхода за пределы своего универсума. Кончается вечеринка, уходит наркотический кайф, на тебя смотрит лишенное ночных прикрас лицо случайной подруги и какое-то тревожное, печальное чувство горького похмелья, скорее экзистенциального, чем физического, наполняет последние страницы любого произведения шотландского писателя. Выхода нет. А когда его находишь, оказывается, что нужная дверь возвращает тебя в ту точку, откуда ты начинал. И все же выход следует искать: нужно, говоря устами главного героя романа «Трейнспоттинг» Рентона, «выбрать жизнь».

Основная тема прозы Уэлша, в сущности, не нова и характерна для европейской литературы времен больших переломов, будь то появление индустриального общества на заре прошлого века, закат его в начале нынешнего или же рождение на наших глазах чего-то нового, что — по привычке к определению грядущего через прошедшее — все еще по инерции называют обществом постиндустриальным. Тема эта — воспитание чувств с целью обретения смысла существования; внимательный

читатель сумеет почувствовать ее, несмотря на все пикантности изложения и демонстративную «чернуху».

Поиски прорыва к смыслу уводят героев Уэлша по разным дорогам, и зачастую этот прорыв оказывается хотя и эффектным, но иллюзорным (как в повести «Судьба всегда в бегах», где современные «мстители» оказываются на пороге гибели) или запоздалым (как в романе «Аист Марабу из кошмаров», где лежащий в безнадежной коме, но остающийся в сознании герой по крупицам восстанавливает свою бестолковую и жестокую жизнь, хотя выводы, к которым он приходит, пригодиться ему уже не смогут).

Коварный Уэлш, сознавая, очевидно, как трудно создать образ безусловно положительного героя, любит оставлять своих персонажей в самом начале нового поворота их жизненного пути и предоставляет читателю судить о том, насколько удачным окажется их выбор. Так, Рентон из «Трейнспоттинг» — безусловно, самый популярный уэлшевский герой — «выбирает жизнь», решительно порывая с компанией своих дружков, продолжающих крутиться в бесконечном беличьем колесе (наркотики-паб-дискотека-кража-суд-тюрьма), и с нажитым не совсем честным путем капиталом собирается начать новое существование — респектабельное, но лишенное той ограниченности, что возмущала его в своих родителях. Элен же из «Непокоренных» («The Undefeated» — третья часть книги «Экстази», откуда взята повесть «Судьба всегда в бегах»), напротив, впервые попав в тот мир, из которого уходит Рентон, порывает с деловым, но занудным мужем и начинает свое свободное падение.

Противоположность подобных жизненных выборов — лишь кажущаяся, если иметь в виду те задачи, которые решает Уэлш. Речь идет, в сущности, о том, что необходимым является сам акт выбора — ибо у прошлого перспектив нет. А ловушки и соблазны, губительные для души (к состоянию которой Уэлш, несмотря на всю внешнюю безрелигиозность, предельно чуток), поджидают в этой жизни каждого, будь то бизнесмен или

наркоман. Ощущение настоятельной необходимости выбора, присутствующее в прозе Уэлша, и делает ее, как нам кажется, популярной и актуальной в местах, географически и исторически весьма удаленных от Мьюирхауза и Амстердама. Ибо время — на изломе, и излом этот, как всегда, проходит в первую очередь через сердца (и тела) молодых. Проходит зачастую именно в тех формах и разыгрывается в тех декорациях, что и в произведениях Ирвина Уэлша, — нравится нам это или нет.

1998

Поколение икс: последнее поколение

В демократических обществах каждое последующее поколение — это поколение людей нового типа.

Алексис де Токвиль

Неологизм «поколение Икс» распространился ныне до такой степени, что вскоре его будут писать (если уже не пишут) в подъездах и на заборах. Однако, как это бывает сплошь и рядом, популярность термина далеко не означает понимания того, что он выражает, — так некогда Фимочка Собак щеголяла заковыристым словом «гомосексуализм» перед своей подругой Эллочкой Щукиной. Существует ли вообще поколение Икс, и если да, то в какой действительности? Скрывается ли за этим термином некая универсалия, или же это название мимолетного поветрия в одной отдельно взятой стране?

24-я буква латинского алфавита с давних пор служит общепризнанным иероглифом неизвестной величины (истинное значение которой может быть любым), универсальным заменителем полного имени, псевдонимом тайны. Можно увидеть в ней и некоторый намек на гонимость и неприкаянность. Крестный отец иксеров, канадский романист Дуглас Коупленд, заглавие для своего романа попросту позаимствовал: ведь именно так в Британии начала 1960-х называлась серия бульварных книжек о «рассерженной молодежи», а позже — группа популярного американского панкера Билли Айдола. Для Коупленда поколение Икс было явлением вполне конкретным и служило общим знаменателем для персонажей его романа: он писал о своих младших калифорнийских сверстниках, так называемых слакерах, — говоря современным языком, пофигистах.

Коупленд Дуглас (род. 1961 г.)

Уроженец Ванкувера (Канада), чья писательская карьера началась с внушительного аванса (22 500 долларов), полученного им за будущую книгу, задуманную как документальное повествование о его поколении. Вместо этого К. написал «Поколение Икс» — роман, полный тонких наблюдений с опорой на маргинальную эстетику, в центре которого — судьба трех неудачников. К 1995 году книга с подзаголовком «Сказки для ускоренного времени» была продана в количестве 400 тыс. экземпляров. Из культового текста, слухи о котором передавались из уст в уста, роман превратился в явление культуры, а его заглавие дало имя новой эре в молодежной культуре. К. упрочил свою репутацию, опубликовав ряд интересных и основательных эссе в таких изданиях, как, например, «Нью рипаблик», а также усовершенствовал свой минималистский стиль в романах «Планета Шампунь» и «Жизнь после Бога», в оформлении которого были использованы заставки MTB. В 1995 году К. опубликовал более удачный роман «Рабы Майкрософта», который родился из истории о шести служащих компании «Майкрософт». По мотивам романа был снят получасовой видеофильм «Близкий друг», в котором отразились особенности коуплендовского стиля: легкий юмор и пристрастие к ироническому использованию клише масс-медиа, характерные для писателя современной эры.

Коупленд имел в виду прежде всего их быт — с отсутствием привлекательной карьеры и определенных жизненных перспектив, с неустроенностью, которая, за неимением альтернатив, постепенно превращается в жизненное кредо, сочетающее иронию по отношению к обществу с беспомощностью перед его лицом, неприятие никаких ценностей — с полным отсутствием установки на протест. В еще большей степени, чем о самих слакерах, роман этот — об их языке, изобилующем многочисленными словечками, возникающими и исчезающими, как пузырьки пены в бурном информационном потоке, специфическая насыщенность которого воспринимается как особая

примета конца тысячелетия. Отсюда — примененный Коуплендом метод «глосс», когда речь персонажей сопровождается отдельными вставками на полях — подобно тому, как течение телевизионной передачи перебивается вставками рекламы.

Америка живо откликнулась на зарисовку Коупленда, усмотрев в ней постановку культурной и социальной проблемы далеко не частного порядка. Пишущая братия с вожделением ухватилась за «иксерскую» концепцию; при этом само понятие со временем наполнялось все более и более широким и, следовательно, размытым, содержанием. Для этого, несомненно, имелись определенные основания: ведь в конце 1980-х стало очевидным, что подходит к концу культурное доминирование так называемого поколения бума. Подходит к концу именно в то самое время, когда его политическое могущество достигло пика с приходом к власти администрации Клинтона — образцового во всех отношениях «бумера». Да и на всех других ключевых постах бумеры достигли поры своего цветения, лихо перепрыгнув через головы старших братьев — поколения нынешних шестидесятилетних, прозванного «молчаливым», — и непосредственно сменив в креслах ветеранов второй мировой.

Поколение бума (бумеры)

Граждане США, появившиеся на свет в годы послевоенного демографического бума (1946–1960). Именно они были создателями молодежной культуры 1960-х, а в настоящее время продолжают держаться за нее — отсюда попытки институционализировать рок-н-ролл и появление «Зала славы героев рок-н-ролла». Пик влияния бумеров на формирование культуры приходится на 1980-е, когда благополучный экономический и социальный статус этого поколения превратил их в привлекательную платежеспособную аудиторию. Идиллия, в которой пребывали бумеры, резко оборвалась с появлением поколения Икс. Для этого нового поколения ненависть к бумерам с их благополучием и попытками продлить свою юность стала свое-

образным кредо. Масс-медиа подчеркнули и зафиксировали этот разрыв между поколениями.

Культура, конечно, делается не в административных кабинетах, но и среди ключевых фигур американской культуры мы встречаем блестящих представителей когорты бумеров — в их числе и Спилберг, и много кто еще. У всех у них есть общий знаменатель, присущий всему поколению «свидетелей Вудстока», — бескомпромиссный идеализм, порожденный глубокой уверенностью в том, что человека и человеческое общество можно и нужно переделать к лучшему. Сперва в Америке, а затем — повсеместно. На протяжении более чем двадцатилетнего, рекордно долгого для динамичной американской истории царствования бумеров эта «основная идея» переживала непростые зигзаги: ее бросало из стороны в сторону — от безграничного либерализма 1960-х до нынешнего непоследовательного консерватизма «семейных ценностей».

Семейные ценности

Термин с широким значением, используемый для всех консервативных течений и взглядов — в первую очередь в отношении политиков, придерживающихся религиозных убеждений и выступающих против абортов, сексуальных меньшинств, феминизма, свободного секса. Этот термин постепенно стал антонимом понятия «альтернатива». Возник в 1966 году, в момент подъема молодежной контркультуры. Был введен Эндрю М. Грили — писателем и католическим священником. К 1976 году понятие «с. ц.» стало частью платформы Республиканской партии. Через 16 лет, в ходе очередных президентских выборов, идеал, обозначаемый этим термином, определил понятие «культурной войны», объявленной кандидатом от республиканской партии Патриком Бьюкананом.

Но во всей порожденной этой идеей смеси культурных реалий, пестрой, эклектичной и включающей в себя такие разноплановые явления, как «новые левые» и хиппизм, яппи и «новую корпоративную этику», политкорректность и «нью-эйдж»,

всегда можно найти общий знаменатель — позитивную устремленность в будущее, даже если это будущее чревато глобальными катастрофами и конфронтациями.

В этом смысле идеология бумеров вполне укладывается в контекст традиционного «пионерского» менталитета Америки, что и позволило ей, по крайней мере в своем политическом аспекте, сомкнуться на излете с идеологией фундаменталистов в отношении таких социальных тем, как «война с наркотиками» или проблема мультикультурализма.

Мультикультурализм

Космополитическая философия, которая отстаивает сохранение различных расовых, этнических и религиозных особенностей, в противовес идее «плавильного котла», которой придерживались первые поколения переселенцев в США. Консерваторы и некоторые либералы, вошедшие в истеблишмент, расценивают м. как подрыв основ западной цивилизации.

Влияние м. постоянно возрастает — многие школы вводят обязательные предметы типа изучения речевых кодов и принципов культурного диалога. Рост афро-американского и азиато-американского среднего класса и достижения этнических культур в разных областях (вплоть до моды на изучение идиш или предпочтения латиноамериканского соуса привычному кетчупу) по-прежнему активно воздействуют на учебные программы и на поп-культуру.

Длительная стагнация культурного вектора, пусть даже крайне продуктивная, не могла не вызвать как ответную реакцию смену его знака на противоположный: идеализм провоцирует цинизм, прожектерство — приземленный прагматизм и т. д. Именно такого ответа следовало ждать от следующей фазы культурного развития, и он не замедлил последовать. Способствовали этому, несомненно, и внешние перемены, главной из которых стало окончание Великого Противостояния Систем, — публицистически чуткий легендарный рок-н-роллщик Игги Поп (тоже, кстати, бумер) отреагировал на это следу-

ющим куплетом: «Верните мне Берлинскую стену, без нее в нашей жизни что-то безвозвратно утеряно» («Loui Loui», 1995).

Окончание противостояния привело к развороту от «внешнего врага» к «врагу внутреннему». «Реставрировать» образ внешнего врага не удалось, как и заменить его чем-либо: полумифический «международный терроризм» на эту роль никак не тянет — он все же скорее внутри, чем снаружи. Вожделение, испытываемое Клинтоном к Саддаму, имеет не меньше культурологических причин, чем геополитических. Против внутреннего врага, будь то вирус ВИЧ, или торговцы наркотиками, или экологические проблемы, всей нацией в едином порыве бороться сложно — с ним, как с насморком, каждому приходится сражаться в меру своих сил и возможностей. Крестовые походы на него впечатления не производят.

Вот в такой-то изменившейся обстановке и произошло явление иксеров, выросших на обломках семейного уюта, разрушенного духовными метаниями пап и мам — бумеров, и способных, наконец, оценить со стороны итог этих метаний.

Поколение иксеров, как оно описано Коуплендом, — это вполне определенная и хорошо знакомая автору генерация калифорнийских молодых людей, не надеющихся никогда обзавестись собственными (слишком дорогими) домами и посему путающихся под ногами у предков-бумеров, которые к детям (особенно к таким) относятся примерно, как герой Хармса: выкопать бы в центре города большую яму, сложить туда всех детей и посыпать известью. Работой с предсказуемой и тягомотной карьерой обзаводиться иксеры не торопятся, предпочитая обеспечивать свое существование не требующими высокой квалификации «макджобами».

Строительство семьи тоже не по карману и слишком сближает с ненавистными родителями. Разумный компромисс между свободой и безопасностью иксеры находят в концепции «серийной моногамии».

Список специфических иксерских примет можно продолжать долго — и многие из них можно найти в романе Коуплен-

да. В крайнем своем выражении сопутствующая такому образу жизни унылая безнадежность хорошо выражается заглавием песни лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна (также ставшего одной из культовых икон иксерства): «Я ненавижу себя и хочу умереть».

Макджоб

Термин, в 1983 году введенный в обиход «Макдональдсом» для рекламы своей программы по трудоустройству инвалидов. К концу 1980-х стал означать общую тенденцию на рынке труда — сдвиг к низкоквалифицированным и низкооплачиваемым видам работ, особенно в «фаст-фуд» — закусочных типа «Макдональдс». М. описаны Дугласом Коуплендом в его знаменитом романе «Поколение Икс» (1991); с тех пор это слово широко используется в книжной и телевизионной рекламе. Продолжающееся исчезновение «синих воротничков» (рабочих высокой квалификации) обусловило увеличение пропасти между доходами выпускников средних школ и выпускников колледжей; с другой стороны, повышение зарплат менеджмента компаний в начале 1990-х привело к понижению спроса на специалистов, получивших высшее образование.

Серийная моногамия

Стабильная семейная жизнь; визиты к родителям друг друга, соблюдение супружеской верности; затем — разрыв и все сначала, с кем-нибудь другим. Сочетание супружеской верности с отсутствием долгосрочных обязательств — это и есть с. м., которая является реакцией на принцип «свободной любви» эпохи сексуальной революции. Специфическая черта с. м. — не адюльтер, а разрыв отношений. Именно этот тип связей наиболее популярен среди нынешних выпускников колледжей — в то время как количество традиционных браков продолжает снижаться.

Выпущенные на свободу силой литературного слова, коуплендовские слакеры начали действовать самостоятельно,

обросли шкурой интервью, социологических исследований, комиксов и в конце концов — что вполне закономерно — стали писать о себе сами. Писать, в основном отрицая свое собственное иксерство, клеймя его как обобщающий ярлык, выдуманный все теми же бумерами. Для этого у них было более чем достаточно оснований — ведь в понятие «поколение Икс» стали включать вообще все новое и модное: от фильмов Тарантино и трансгрессивной литературы до нового сектантства нью-эйджевского толка (типа «Храма солнца») и компьютерных хакеров.

Трансгрессивная литература

Современное течение в литературе, развивающее постмодернистскую технику Томаса Пинчона и минимализм Раймонда Карвера. Для этой литературы характерно обращение к психоделии, пограничным состояниям сознания, связанным с наркотиками и сексом, к болезненным взаимоотношениям в духе де Сада и У. Берроуза, к психическим извращениям, свойственным серийным убийцам. Количество этих книг растет настолько быстро, что в 1994 г. магазин «Тауэр» в Нью Йорке открыл для продажи т. л. специальную секцию, оформленную в стиле андеграундных книжных лавочек.

К середине 1990-х выражение «поколение Икс» со всей присущей ему атрибутикой в контексте американской культуры стало восприниматься скорее иронически — как всякое зашедшее за грань разумного обобщение. Сам Коупленд в беседе о своем последнем романе «Рабы Майкрософта» призывал отказаться от этого термина как от уже исчерпавшего себя.

Однако иксерство к этому времени уже пошло за пределы Нового Света — что называется, на экспорт. Там его ждала культурная и социальная реальность, неизбежно отличавшаяся от американской в очень многих аспектах. И тем не менее именно там этот термин обрел второе дыхание, а в некоторых регионах (в числе которых, очевидно, и Россия) пик его употребления (и злоупотребления им) только наступает.

Очевидно, в самом сочетании слов «поколение Икс» содержится нечто притягательное для современного сознания и, возможно, скрывается реальность куда более обширная, чем представлялось Коупленду и его комментаторам. Этому не противоречит и разочарование Америки в концепции иксерства — ведь в процессе своей эволюции понятие это действительно превратилось в трюизм, обозначающий попросту «современный образ жизни».

Первое «поколение Икс» попало впросак, свалившись в яму, выкопанную его родителями-бумерами. В поисках идентичности оно столкнулось с новым фактом бытия — миром, в котором само понятие идентичности лишено смысла. Но парадоксальным образом в контексте такого мира понятие «поколение Икс» приобретает новый, глобальный смысл, позволяющий ему укорениться в мировом масштабе и преодолеть свою изначальную временную и географическую ограниченность. Попробуем вскрыть возможные грани этого нового, не-коуплендовского смысла.

Вернемся для начала к звонкой фразе де Токвиля, с которой начинается это эссе. «Новые люди» де Токвиля — это те, кто совершил сознательный выбор «нового», неприемлемого для людей «старых». Отсюда и неслучайное упоминание демократии — возможность такого «отрицательного» выбора предполагает определенные гарантии со стороны политического и социального механизма. Но она предполагает и гашековские «свободу и прогресс в рамках умеренности и законности», иначе говоря — идеологию, в пределах которой такой выбор может осуществляться.

А как быть, если этих рамок нет? Если поверить на слово нещадно восхваляемому и ругаемому Фукуяме, то приходится сделать логический вывод: «порогу истории» должен соответствовать «порог поколений». Именно история как смена культурных и социальных фаз — с присущей им взаимонеприемлемостью — гарантирует существование поколений. Там, где «линейная» история рушится, подменяясь циклической или

даже «броуновской», отсутствует и дитя веры в прогресс — поколение. Или веры в регресс — смена знака не нарушает принципа оси. Традиционным обществам, закрученным в колесо вечного космического возвращения, известны только биологические поколения.

Если пробежаться беглым взглядом по морю статей и публикаций на тему «поколение Икс», можно наглядно увидеть, насколько далеко новое, глобальное содержание этого понятия ушло от первичного: подобно взбесившемуся пылесосу, термин всосал в себя широкий спектр, казалось бы, совсем разнородных элементов — английскую рейв-культуру «химического поколения» и музыкальный стиль «брит-поп», «новую молодежь» Восточной Европы и — в нашем далеком краю — московскую клубную публику, отмороженных малолетних бандитов и романы Пелевина. Не становится ли в таком случае поколение Икс неким особым ярлыком для «потребительской корзины» современных и модных товаров, лишь теоретически ориентированной на определенный возрастной слой, но потенциально доступной кому угодно? И если так, то не является ли поколение Икс тем самым последним поколением за порогом истории? Ведь предыдущие «классические» поколения характеризовались присущим им в силу исторических условий воспитания имманентным духовным модусом, а для поколения Икс показателен прежде всего некоторый подвижный и постоянно расширяющийся список товаров — куда входят не только материальные объекты, но и особые, нередко экзотические стили существования.

Для героев Коупленда одной из главных забот является поиск уникальных предметов — тех, что нельзя приобрести в супермаркете: какой-нибудь фотографической рамочки с авиабазы 1969 года, пластмассовой занавесочки образца года 1971-го и так далее. Этот «технологический антиквариат» призван заполнить пустоту на месте ликвидированной Истории, дать точку отсчета, по отношению к которой можно быть. Но в наше время любая, самая немыслимая стилизация тотчас же ставится на поток и наполняет супермаркеты (в развитых странах)

и оптовые рынки (в странах не столь развитых). Цивилизация достигла способности производить любой товар для любого потребителя, причем временной отрезок между возникновением спроса и его удовлетворением оказывается пренебрежимо мал. Отсюда и сочетание тоски по подлинности с восторгами шопинга в гигантских торговых залах, где деятельность покупателя напоминает скорее азартный восторг первобытного собирателя, наталкивающегося в джунглях на все новые и новые съедобные ягоды и корневища.

А безграничное удовлетворение спроса предполагает, в свою очередь, ту самую «резиновость идеологии», которая снимает обычные ограничения на ассортимент этих товаров. Общим обозначением для обслуживающей эту ситуацию идеологии стало понятие «нью-эйдж» — закономерный итог исканий бумеров. Нью-эйджу удалось вобрать в себя все, что только можно было объединить под эгидой туманной «космической ответственности» человечества: и самопознание 1960-х, и экосознание 1980-х, и «современное варварство» 1990-х. В безграничных рамках нью-эйджа заурядным и доступным товаром стали такие ранее табуированные и традиционно относившиеся к социальным маргиналиям явления, как, скажем, брэндинг или пирсинг.

Брэндинг

Редкая экстремальная форма украшения тела, когда рисунки выжигаются на коже при помощи горячего металла, что напоминает клеймение крупного рогатого скота. Этот странный ритуал первоначально возник в университетских негритянских кварталах. Другие формы б. вместе с нанесением рубцов возникли на левом крыле культуры современного примитива (начало 1990-х), как только татуировки и пирсинг превратились в явление мейнстрима и распространились среди супермоделей и поп-звезд. В некоторых садомазохистских субкультурах обряд выжигания клейма нередко снимается свидетелями на видеокамеру и предстает как общинный ритуал обретения наслаждения через страдание.

Пирсинг

Древняя практика в странах Востока, распространившаяся в Америке вначале среди ряда субкультур — садомазохистов, панков и металлистов, — а затем вошедшая и в культуру мейнстрима. При п. прокалываются не только уши, но и другие участки тела: пупок, ноздри, соски, брови, язык. Некоторые решительные приверженцы пирсинга рискуют своими гениталиями. Апологеты п. утверждают, что грамотно выполненная процедура не приносит сильной боли и может — в случае, когда система капилляров не нарушена, — вызывать прилив крови и даже обострять чувствительность сексуального органа.

Это поставило современную альтернативу — в культуре ли, в идеологии — в непростую ситуацию, которая заставляет вспомнить один рекламный ролик зари нового русского капитализма: «Несмотря на все богатство выбора, альтернативы нет». Вернее, ее нет именно благодаря богатству выбора. Стеллажи наших домов (а у кого есть — каминные полки) прогибаются под тяжестью объектов, подобранных на помойке духа: амулеты соседствуют с иконами, стереосистема — с репликой вавилонской астролябии. Так и в культуре: мы словно бродим между полками, подобными тем, которые можно увидеть в любой эзотерической лавке вроде «Пути к себе». Здесь все на соседних стеллажах: вот христианство, вот буддизм, а вот Блаватская и Ошо — выбирай, что больше нравится. Что-нибудь не столь традиционное? Пожалуйте, вот вам веганизм, а вот вам стрэйт-эдж.

Веганизм

Строгая растительная диета, исключающая любую пищу животного происхождения. Не путать с вегетарианцами, употребляющими яйца и молочные продукты — сыр, молоко, — или диетами, которые исключают яйца, но разрешают молочные продукты. Согласно данным «Веджетариан таймс», более 12 млн американцев считают себя вегетарианцами, при этом только 10% вегетарианцев — веганисты. В. часто сопряжен

с участием в движениях защиты животных. Родителей-веганистов неоднократно порицали за то, что они лишают детей сбалансированного питания: по утверждениям врачей, такие дети страдают расстройствами пищеварительных функций. Производители пищевых продуктов, стремясь удовлетворить потребность в продуктах, не содержащих мяса, приступили к выпуску так называемых «аналогов мясных продуктов» — таких, как «Псевдобекон».

Стрэйт-эдж

Воздержание от наркотиков, алкоголя, табака, мяса (в некоторых случаях — от секса), которого придерживается ряд неопанков. Это движение возникло в 1982 году благодаря композиции «Главная угроза», в которой Иэн Маккей — лидер знаменитой группы «Фугаци» — провозглашает своеобразное кредо: «У меня есть кое-что получше… Я не желаю есть таблетки/ Мне смешно, что можно нюхать клей… Моя жизнь — стальной стержень». Эта группа (и более конкретно — эта песня) дала начало новой субкультуре — хардкору, пропагандирующему «здоровый образ жизни» и все еще популярному сегодня среди белых подростков. В 1990-х мораль в духе «стального стержня» уделяет особое внимание защите животных и веганизму.

По этому своеобразному супермаркету бродит не только новое поколение — в меру сил и возможностей среди повсеместно протянутых прилавков идем и все мы. Разница между теми, кто постарше, и теми, кто помоложе, только в одном — первые еще помнят времена, когда Бог или Партия (в зависимости от национального контекста) регулярно инспектировали ассортимент и накладывали на него обидные ограничения. Но эти времена стремительно уходят в прошлое. Хотя — в отличие от Бога и Партии — и они тоже широко представлены на прилавках: в соответствующих отделах. Наряду со всем остальным…

Наиболее ярким символом 1990-х стал Интернет (или WWW — «Уорлд Уайд Уэб») — немедленно включенный в уже и без того длинный список примет иксерства. Сочетание Интер-

нета и постисторической фазы культурного процесса на глазах порождает новую реалию, которую мы рискнем назвать Всемирным Виртуальным Интерактивным Супермаркетом. Этот Супермаркет, вполне вероятно, представляет собой будущую среду обитания поколения Икс в его расширенном понимании.

WWW — «Уорлд Уайд Уэб» («Повсеместно Протянутая Паутина»)

Графический интерфейс компьютерной сети «Интернет», появившийся в 1994–1995 годы, стал самым распространенным программным обеспечением для создания гипертекста и электронных изданий. В своих основных чертах WWW была разработана в Европейской лаборатории физики элементарных частиц между 1989 и 1992 годами — для обмена не только текстами, но снимками и рисунками. Когда в конце 1980-х появление электронных издательств популяризировало качественную технику печати, создались благоприятные условия для широкого распространения WWW. Потенциальные возможности WWW были признаны на Уолл-стрит в августе 1995 года, когда «Нетскейп» (ведущий поставщик сетевого программного обеспечения, не имевший тем не менее значительных доходов) акционировал свой капитал и совладелец компании, 24-летний Марк Андресен, получил 50 млн долларов от продажи своего пая. Несмотря на все достоинства, из-за недостаточной оперативности при передаче информации и многочисленных ограничений при использовании движущихся изображений и звука WWW пока не составляет конкуренцию телевидению. Но ситуация может измениться, поскольку язык программирования WWW эволюционирует в сторону мультимедийности.

Начавшись как сеть обмена информацией, Интернет стремительно превращается в сеть обмена товарами и услугами, в том числе (а возможно, и в первую очередь) культурно значимыми. В этой ситуации в еще большем масштабе, чем во времена экспансии телевидения (процесс, бывший в определенной степени прообразом нынешнего роста «Паутины»), вышеупомянутые прилавки, полные всякой всячины, теперь проникают в каждый дом. И хотя той части человечества, которая не соприкасается с «Паутиной», перспектива такого проникновения кажется далекой, она становится повседневностью для тех, кто в «Паутину» уже попал (а число последних в России, например, ежемесячно возрастает на 30%).

Безграничная потребность Супермаркета в не ограниченном ничем (кроме, возможно, человеческой биологии) ассортименте товаров ведет в мировых масштабах к перепроизводству духа. Не будем сейчас говорить о природе этого духа — духи, как известно, бывают всякие. Констатируем лишь то, что впервые в истории цивилизации таксономия артефактов количественно превзошла таксономию живой и неживой природы. Предпринимаются, впрочем, и первые попытки включить эту самую нерукотворную природу в рамки артефакта (см. Искусственная жизнь).

Искусственная жизнь

Компьютеры, запрограммированные в большей степени не на анализ, а на подражание жизненным процессам и живым организмам. В настоящее время биоимитирующие компьютерные модели оказывают воздействие на теорию игр, медицину, искусственный интеллект, робототехнику, гибкую логику и нанотехнологию. И. ж. также стала артефактом, определившим стилистику компьютерного кича. Варианты программы LIFE Дж. Конвея для любого персонального компьютера доступны через Интернет. При помощи программы BOPPERS Р. Ракера пользователь может «монтировать» ДНК и моделировать сексуальное поведение колоний живых организмов. Работы над и. ж. позволяют выдвинуть тезис о том, что компьютеры должны рассматриваться как часть эволюции человека.

Как в замысловатом многовариантном пазле, продукты духа перетасовываются на полках Супермаркета, образуя химерические сочетания. Всякие дискуссии о постмодернизме теряют предмет: как иксерство — не более чем «современная жизнь»,

так и постмодернизм — всего лишь «описание современной жизни». Так же переставшее быть стилем или литературной школой в обычном смысле, как поколение Икс — поколением.

Подлинную автономность существования в «Паутине» приобретают такие единицы, как мемы: самовоспроизводящийся дух, скрываясь за необязательными псевдонимами, лишенными пола и национальности, творит и буйствует. Правда, пока он еще чересчур связан с биологической природой своих создателей (60% ресурсов Интернета носят порнографический характер), но это воспринимается как атавизм — хвостик или аппендикс, — который со временем, несомненно, отомрет или будет удален. Или перерастет в нечто качественно иное.

Мем

Единица культурного смысла. Термин введен Ричардом Даукинсом, экстравагантным оксфордским зоологом, который является также автором теории «эгоистичного гена» и источником инспирации для таких постмодернистских критиков, как Жан Бодрийяр и Артур Крокер. Меметика (наука о м.) утверждает, что многие явления культуры, как тривиальные (поп-песни, черный юмор, модные поветрия), так и монументальные (религия, языки, философские школы), размножаются способом, который можно уподобить размножению вирусов, — и с той же быстротой. Эта идея стала центральной в монографии Дугласа Рушкова «Осторожно: вирус массовой информации!» (1994); Рушков предполагает, что современные СМИ подобны живым существам, образующим «датасферу», в которой живут и развиваются м.

Рядом с огромным гипертекстом Интернета уже устарели разговоры писателей о создании нелинейного многовариантного романа. Роман этот написан. Интернет — это «Улисс» на каждый день, а пользователи его — современные блюмы-иксеры в их блужданиях по лабиринтам помойки-Супермаркета, где каждый артефакт самодвижущегося духа привлекательно упакован и соответственно разрекламирован.

Гипертекст

Термин, введенный в 1974 г. компьютерным утопистом Теодором Нельсоном в книге «Компьютер — машина снов» для описания электронных текстов, связанных с другими текстами. Подобные связи разрушают привычную линейную схему повествования, присущую письменной литературе, и вынуждают читателя/пользователя, имеющего дело с огромным объемом информации, изыскивать собственные пути. Идея г. доказала свою плодотворность в начале 1990-х с появлением «Уорлд Уайд Уэб», где «гипермедиа» включают, помимо текста, звук, картинки и движущееся изображение. Пришествие г. в литературу было зафиксировано в цикле рассказов Роберта Кувера, опубликованных в «Нью-Йорк таймс бук ревью». Эти рассказы эксплуатируют идею гиперлитературы с присущим ей «виртуальным воображением».

Сделаем некоторые выводы. Стремительная экспансия термина «поколение Икс» за пределы среды и времени, в которых он зародился, вызвана, очевидно, реальными (и глобальными) переменами в образе жизни человечества, наметившимися в начале 1990-х. Родившись как обозначение поколения, он стал описывать скорее фазу развития цивилизации в целом (и культуры в частности). Молодежь же сейчас он подразумевает всего лишь как часть популяции, наиболее подверженную новациям.

А как же быть с «поколением» в обычном понимании этого слова? Действительно ли поколение Икс — последнее «историческое» поколение, и далее нас ждет тотальное превращение в клиентов Всемирного Виртуального Интерактивного Супермаркета, национальные и возрастные различия между которыми станут второстепенными — более того, как фантастично это ни звучит, их тоже можно будет выбирать как товар (разумеется, при наличии соответствующих средств)?

Любая линейная интерполяция содержит в себе ошибку, основанную на недооценке обратных связей в модели, — что убедительно демонстрирует опыт социальных и научно-фан-

тастических утопий. Мир до сих пор не заполнен полчищами взбунтовавшихся роботов, а небо — сонмами дирижаблей. Конец света (в мирском понимании) — не более чем несбыточная мечта человечества.

Можно предположить, что безграничная свобода неосознанного выбора вызывает — как свою противоположность — сознательно выбранное ограничение свободы. Текст, разрушающийся в собственной фрактальности и мертвых петлях бесконечного самоцитирования, имеет своей противоположностью текст, декларативно определяющий свою инакость по отношению к предмету описания (не случайно романы основных бытописателей поколения Икс весьма классичны по форме — никто не знает капканов лучше того, кто их ставит).

Не покупайте товаров, без которых вы можете обойтись, и не пускайте всякий дух веять, где он того хочет. Тогда, возможно, поколение Икс окажется не последним поколением в истории человечества. Несмотря на всех фукуям мира сего.

Журнал «Иностранная литература», 1998

Орфей спускается в рок

Salman Rushdie. The Ground Beneath Her Feet, London, Jonathan Cape, 1999
Салман Рушди. Земля под ее ногами

Через сорок пять лет после появления на свет рок-н-ролл таки удостоился своего первого «толстого» романа.

«Своего» — в том смысле, что в творении Рушди рок-н-ролл не только антураж, в котором разворачивается повествование, но и главное действующее лицо: в том примерно смысле, в котором Грааль — главное действующее лицо артуровского эпоса. Подвиги и приключения рыцарей, их победы, их безумства, их гибель имеют значение постольку, поскольку освещены светом этой мифотворящей абстракции, к которой они стремятся приблизиться, подобно ночным мотылькам, танцующим вокруг уличного фонаря.

Выбор рок-н-ролла на роль основополагающего мифа нашей эпохи можно, конечно, оспаривать, особенно сейчас, когда лица рок-звезд, перемалываемые мельницей MTV, дегенерировали от уровня культурных икон (каковыми они бесспорно были тридцать и даже двадцать лет тому назад) до уровня потребительского товара одноразового использования. Кинозвезды, герои спорта и большой политики с не меньшим правом могут претендовать на то, чтобы называться живыми божествами виртуального иконостаса информационной цивилизации. И все же факт остается фактом: именно рок-н-ролл некогда вполне серьезно намеревался изменить мир. Уже этого более чем достаточно для мифа, даже если в результате мир всего лишь был слегка сотрясен децибелами. Поэтому в выборе Салмана Рушди есть своя внутренняя убедительность —

по крайней мере для поколения, к которому принадлежит автор этих строк.

Впрочем, Рушди любит сталкивать в рамках одного произведения весьма разнородные мифологемы и поэтому не ограничивается одним рок-н-роллом. Равновелики ему в романе еще два мифа: вечная история Орфея и Эвридики и связанная с ней сейсмическая легенда о Тартаре, разверзающем свою пасть, чтобы поглотить грешный земной мир. Проще говоря, о землетрясениях как наказании за пороки и ошибки человечества.

В очерченном этими линиями пространстве и протекают рождение, жизнь и смерть героев: гитариста и композитора Ормуса Камы и его Эвридики — певицы Вины Апсары, поведанные устами фотографа Рая — вечного свидетеля из породы тех, кто не осмелится «потревожить мирозданье».

От бомбейского детства героев через их приключения в Англии «свингующих 1960-х» и в Америке эпохи Вудстока и уорхоловской «Фэктори» движется сага потерь и обретений, любви и ненависти, верности и измены; движется к ключевому моменту — созданию супергруппы VTO, «популярность которой сделала ничтожным весь успех “Битлз”». Историческая реальность романа «слегка альтернативна»: Рушди вольно переписывает ее. В параллельной вселенной «Земли под ее ногами» все так и все немножко не так, как в нашем мире: Кеннеди и Уорхол выживают после покушений, Джон Леннон сочиняет «Satisfaction», а Ормус — «Yesterday», «Дон Кихота» действительно написал борхесовский Пьер Менар, а набоковский Джон Шейд — величайший англоязычный поэт 20 века. И сами Ормус и Вина, несмотря на рельефность их образов (гениальный музыкант, гуру-духовидец и, соответственно, «дрянная девчонка», фемина-бунтовщица), не имеют, в сущности, психологии, как и полагается героям мифологического эпоса. Психологию им заменяет заданность почерпнутых из рок-предания ситуаций и анекдотов. Кама и Апсара — творения синтетические, подобные франкенштейновскому, коллажи реальных биографий Леннона и Мадонны, Дилана и Патти Смит, Хендрикса и Дженис Джоплин (и, конечно, не следует забывать — в случае Ормуса Камы — про Фарруха Балсара, более известного как Фредди Меркьюри — тоже родом из бомбейских парсов). Но именно благодаря своей «переписанности» мир «Земли под ее ногами» восхитительно убедителен: если бы все было немножко не так, все равно случилось бы то же самое. Миф инвариантен, потому что отражает метафизическую суть событий, независящую от исторических фактов.

Расставшись с Ормусом на взлете карьеры, Вина — как и положено Эвридике — гибнет. Разверзшаяся почва Мексики поглощает ее во время катастрофического землетрясения. Орфей-Ормус ищет ее повсюду, сходит с ума, бросается в утешительные объятия героина, вырывается и вновь ищет. И пытается воскресить — в обличии Миры Селано, никому не известной певицы из ночного клуба. Он побеждает — и терпит поражение. Побеждает в пространстве «жизни» — поскольку VTO возрождается и Мира становится звездой для нового поколения. Терпит поражение в пространстве «мифа» — Селано отказывается стать в угоду своему продюсеру живым двойником погибшей Вины. Человек мертв — музыка продолжает жить. Орфею, соблюдая верность своей участи, остается только одно — отдаться на растерзание менадам. В данном случае одной менаде, фанатичке, растерзавшей его тело револьверными пулями на пороге дома в сцене, пародирующей смерти Джона Леннона и Энди Уорхола.

В жизни Рушди есть своя, частная интрига с рок-н-роллом. Поэтому он знает, о чем пишет. В шестидесятые он сам скитался по лондонским сквотам, «клубился» в таких культовых местах, как «UFO», ночевал на втором этаже психоделического бутика «Granny Takes A Trip» (убедительно воспроизведенного в романе под именем «The Witch Flies High»), где его пути пересекались с путями Эрика Клэптона, Брайана Джонса и других «легенд британского рока». И совсем не случайно то, что убежище от фетвы он обрел в доме Боно из U2 (VTO — «we too», U2 — «you too»: реверанс очевидно, в чью сторону).

Боно ответил любезностью на любезность, создав музыку к тексту песни VTO, давшей название роману. «Ground Beneath Her Feet» сыграна, записана и выпущена в свет. Легенда о рок-н-ролле логическим образом сама стала частью легенды рок-н-ролла. Интересно, что миром рок-н-ролла книга встречена при этом, прямо скажем, в штыки. «Spin», «Q» и «Rolling Stone» откликнулись на роман рецензиями, выдержанными в духе от скептического до раздраженно-брюзгливого. Мадонна — демонстративно, на глазах у журналистов — выбросила присланный автором толстенный недочитанный том в мусорный бак. В чем тут дело? Позволим предположить, что в одной простой вещи: современному рок-н-роллу не совсем приятно, когда «большая» литература поднимает его до уровня философского мифа. Ведь его хозяева — давно уже не молодежные массы, а пять-шесть крупнейших ТНК, а подлинные герои — не Хендрикс и Моррисон, а Бивис и Батт-Хед. Эти же два «критика», осилив (допустим на миг невероятное) шесть сотен страниц «Земли под ее ногами», резюмировали бы прочитанное как «полный отстой». Впрочем, бог с ними, с двумя оболваненными «масскультом» мультперсонажами, да и современным рок-н-роллом в целом. За историей Ормуса и Вины, не лишенной смысла и самой по себе, проступает нечто еще более важное для Рушди, чем мифология рок-н-ролльной славы или даже диалектика любви и смерти.

Это — мир гибнущий, разделившийся сам в себе от напряжения ненависти, не просто вывихнутый, но обрушивающийся мир. Лейтмотив романов Салмана Рушди. Горящее индо-пакистанское гетто в «Сатанинских стихах», взрывающийся город-сказка Бомбей в «Прощальном вздохе мавра», планета, разодранная по швам тектонических разломов, в «Земле под ее ногами». Чувство невозвратной утраты, грозящей невиданными катастрофами.

И это хорошо понятно и тем, кому нет никакого дела до рок-н-ролла.

2000

Аромат безумного времени

Андрей Матвеев. Live Rock'n'Roll. Апокрифы молчаливых дней, 2001

Вот и еще одна книга о рок-н-ролле, об этой безумной электрической зверушке с тлетворным дыханием, вызывающим стойкие галлюцинации у тех, кто, к счастью или несчастью, повстречался с ней.

Еще одна книга — казалось бы, какая важность! Столько на эту неисчерпаемую тему было написано, сколько еще будет. Однако книга Андрея Матвеева во многом и очень во многом не похожа на другие (по крайней мере, из тех, что были написаны по-русски). В первую очередь, это книга писателя, а не журналиста или музыковеда. Поэтому я бы смело назвал ее романом — романом-эссе, в котором грань между художественным вымыслом и рефлексией размышления размыта, а речь ведется от первого лица, поэтому наивному читателю какое-то время кажется, что автор пишет сам о себе, пока не наступает внезапное прозрение, а с ним — понимание, что именно в этом мареве и скрывается подлинный протагонист, а весь текст — это попытка нарисовать его ускользающий от описания портрет. Ибо этот герой и есть рок-н-ролл (или его дух), а это тварь лукавая, про которую даже толком неизвестно, была она или нет, жива она или мертва.

Во-вторых, книга эта насквозь апокрифична, несмотря на возникающую местами иллюзию репортажа или воспоминаний. И это прекрасно, потому что каноническая книга о рок-н-ролле может привидеться только воспаленному воображению. Ибо рок-н-ролл и есть отвержение любого канона, это нечто большее, чем музыкальный стиль с определенными правилами или даже стиль жизни. В ней нет ничего от отвратительного

(хотя и практически небесполезного) жанра рок-энциклопедий: из нее нельзя почерпнуть точных сведений о том, кто когда возник и распался или на какой гитаре играл. Но можно ощутить аромат того безумного времени и услышать его вибрацию — что гораздо важнее.

Как непосредственный участник многих из описанных в книге событий воздержусь от оценки правдивости автора в их изложении. Скажу одно: буде я собрался описать их, верить мне можно было бы не больше и не меньше, чем Андрею Матвееву. Ибо рок-н-ролл — это вымысел, может быть, и не возвышающий нас, но уж точно — развлекающий. Как кто-то справедливо заметил про американские шестидесятые: «кто их помнит, тот там не был». С неменьшим основанием то же можно сказать и про наши восьмидесятые.

И наконец, в-третьих, эта книга — неожиданна, ибо сложилась (может, к удивлению даже самого автора) из отдельных кирпичиков, принадлежащих разным эпохам, в прочную и убедительную конструкцию, как некая хитрая головоломка, как сумма, во много раз превысившая отдельные свои слагаемые.

«Апокрифы» не случайно поставлены в ее заглавие. Даже если обложиться всеми существующими записями, фотографиями и пленками с интервью, потерянное время не восстановится; от силы прозвучит его тусклое эхо, которое у того, кто слышал сам звук, породивший его, вызовет только грустную улыбку. Андрей Матвеев — писатель, который великолепно чувствует в своей прозе эту необратимость и невозвратимость временного потока, прекрасно знает об этом, и грусть от утраты «прекрасной эпохи» переполняет каждую страницу «Апокрифов молчаливых дней», никогда не перерастая в унылое сетование на наступившие «иные времена». И пусть никто, как бы талантлив он ни был, не в силах вернуть плоть и кровь тени прошлого, сохранить хотя бы отзвук той музыки бытия, которая вызвала к жизни наше поколение, — это уже немало. Андрею Матвееву это, похоже, удалось.

2001

Стюарт Хоум: абсолютно автономный космонавт

О Стюарте Хоуме известно только, что он, вероятно, родился в 1962 году. И на том спасибо. Для человека, сделавшего провокацию и розыгрыш своим ремеслом, это уже прямо-таки непростительная утечка информации.

Хоум ускользает от определений: кто он — писатель? художник? критик? философ? политик? И да, и нет — и тот, и другой, и третий: в той же степени, в которой джокер — это туз, валет или десятка.

С одной стороны, конечно, писатель, поскольку 7 романов говорят сами за себя, — но многие не признают за литературу сии брутальные тексты, в которых лихо и произвольно смешаны в микстуру, напоминающую по составу то ли самодельную взрывчатку, то ли наркотический суррогат, приемы всех низовых жанров — от листовки и уличного граффити до дешевых оккультных книжонок, трэшевых новелл и голубого порно.

Художник? При всей произвольности смысла этого слова в 20 веке, Хоум и здесь находится за гранью, ибо главное его произведение в области изящных искусств — «Бессрочная арт-забастовка», то есть сознательное решение не изготовлять никаких произведений искусства. Никогда.

Критик или философ? Добрый десяток книжечек с критическими работами, подписанными «Стюарт Хоум», посвящены исследованию движений, в которых автор сам являлся участником, зачастую единственным — таких как «Неоистский альянс», «Движение за плагиат», та же «Арт-забастовка», «Лондонская психогеографическая ассоциация», «Ассоциация автономных астронавтов» и тому подобное.

Политик? И анархисты, и троцкисты, и фашисты, и экологи — все морщат нос при одном только упоминании этого имени. Хоум успел насолить всем, высмеять всех, обложить всех отборной руганью — включая самого себя, разумеется. «Публичная склока и судебное разбирательство — высшие возможные формы политической деятельности». Без комментариев.

Итак, если все же попытаться определить род занятий Стюарта Хоума, то единственным подходящим определением будет «панк по жизни», то есть такой панк, который способен произнести магическую формулу: «Панк — говно».

Хотя, если посмотреть на Стюарта Хоума с академической колокольни, с которой весь мир представляется большой таблицей Менделеева, то и для Хоума найдется своя полочка — на той линии, которая идет от дада через сюрреализм и Дебора к ситуационистам, и далее — к концептуальному искусству. Впрочем, сам Хоум на подобные обвинения отвечает жестко: «подлинной задачей пролетариата является уничтожение всяческого искусства, книгопечатания, радиовещания и телевидения». Во как. Главное в Хоуме — не сами затеи, которым не так уж трудно подыскать параллели в кипучем мире современного авангарда, историософских и оккультных спекуляций и экстремальной политики. Главное лихость и свобода, присутствующая в этих затеях, которая и отличает подлинный талант от школяра или эпигона.

Посудите сами на ряде примеров: одной из целей «Лондонской психогеографической ассоциации» было доказать то, что сама география возникает в результате воздействия на пространство воли исследователя — с каковой целью можно, например, отправиться в пеший поход по Уэльсу с картой Шотландии в руках. И наблюдать, разумеется, как на глазах меняется ландшафт в соответствии с твоей картой. Конечно, при известном усилии воли. А вот «Ассоциация автономных астронавтов» сделала своей задачей борьбу за право каждого отдельного гражданина разрабатывать собственную космическую программу и строить свой дрындолет безо всякого вмешательства со стороны подлых и коварных правительств.

Но целью этой публикации является все же представить Хоума пишущего. Роман «Встань перед Христом и убей любовь» вышел в 1997 году — это предпоследнее творение Хоума. (Последнее же именуется просто и без претензий «Cunt».) Герой романа, и мы снова вынуждены обойтись многоточием, ибо герой романа сам не знает, кто он такой и какое из его имен настоящее. Так же, как не знает, жертва ли он экспериментов над психикой, производимых спецслужбами, или серийный убийца, оставляющий за собой кровавый след.

Журнал «ОМ», № 1–2, 2001 г.

Вирус по имени «Алексей Цветков»

> До сих пор все мыслители пытались только изменить мир. Наша задача — уничтожить его.
>
> *Из радиоперехвата*

Алексей Цветков? Алексей Цветков?! «Алексей Цветков»...

В конце концов, кому какое дело, кто такой «Алексей Цветков»? Пусть об этом знают там, где положено, те, кому положено. Распускают вздорные слухи, что личность эта на самом деле существует (имеются свидетели — вероятнее всего, подкупленные).

Предисловие к новой талантливой книге подобно сопроводительной бумажке, приложенной к ампуле с культурой нового вируса, изменяющего сознание. Те, кого интересует личность синтезировавшего паразита молекулярного инженера, — заранее подозрительны. Скорее всего, не рискнут апробировать болезнетворную целлюлозу на себе — перепродадут подороже более отчаянным.

Из всей литературы, какая мне только попадалась за жизнь на глаза, больше всего запомнились анонимные клочки типографской бумаги без начала и без конца, какие используют по нужде в тех местах, где вершится история — в казармах, лазаретах, лагерях, окопах. Послания Никому от Никого, подлежащие уничтожению адресатом. Цивилизация не случайно придумала хлорку и туалетную бумагу, не содержащую букв. И та, и другая преследуют гигиенические цели. Дабы не подцепили заразу. Ведь именно заразе, которую подцепил невесть от кого, подобны такие тексты.

«Алексей Цветков» пишет, в сущности, именно такие тексты — в высшей степени патогенные. Грань между явью и сном, прошлым и будущим, случайным и закономерным в этих текстах не то чтобы отсутствует — она даже и не предполагается. Кто-то вычитает в них бред, но кто-то вычитает и брод.

В истории словесности последовательно чередуются реалисты и фантасты. Каждые новые реалисты поначалу — это фантасты, осознавшие, что их фантазии и есть новая реальность. «Алексей Цветков» — один из первых штаммов словесного вируса, несущего именно это сообщение тем, кто понял, что случившееся с ними с момента их рождения действительно случилось. Именно поэтому его «фантастика» настолько лишена поучительности. Ну какая поучительность может содержаться в таблице логарифмов? «Алексей Цветков» не вкладывает вам в головы историй — он констатирует не замеченные вами факты. Он ставит вас перед избитой истиной: безумие — это нормальность завтрашнего дня, нормальность — безумие вчерашнего. Он смотрит вокруг фасеточными глазами нашего далекого потомка: шестиугольные картинки существования сосуществуют в десятках плоскостей, не пересекаясь деталями, каждая как бы сама по себе, но только для тех, кому природа отвалила всего лишь одну пару глаз. И только инсект-юберменш видит все это как части целого.

Чтобы не испугать нас, бедных, «Алексей Цветков» осторожничает, подползает украдкой, скрывает от нас полноту ужаса происходящего. Рассказывает нам о «ТВ для террористов», заботливо скрывая то, что не только террористам, но и каждому из нас транслируют свой, особый канал на особой частоте. Каждому из нас хихикающие заговорщики высылают неповторимую последовательность кадров, в которых мы якобы усматриваем закономерность. Но на самом-то деле мы не в состоянии предсказать даже следующий кадр. Именно об этом и говорит нам каждым своим кодоном вирус, выделенный «Алексеем Цветковым».

Мир, такой, как он есть, должен погибнуть. Именно поэтому погибла явленная герою «Сидиромова» Атлантида. Именно поэтому погибнет и та очередная Атлантида, в которой мы живем. Все чаще и чаще кто-то понимает, что ему не досталось в театре места ни на сцене, ни в первом ряду. Многие по инерции довольствуются креслами сбоку, но самые нетерпеливые уже собираются под сценой с заготовленными заранее бомбами. Один из вирусов, выделенных «Берроузом», приводил к тому, что «больной ходил во сне, но не спотыкался об окружающие предметы, потому что их он и видел во сне». «Цветков» — антивирус того вируса. Пораженные им бодрствуют среди снов, которыми являются окружающие их предметы. Сны свободны от власти законов тяготения и трансмутации: поэтому проститутки (как в рассказе «Газ») незаметно превращаются в птеродактилей, а рабы (в «Или») — оборачиваются господами. Они не замечают превращения, потому что его никогда и не было. Если у кукол растут ногти, то это только из-за того, что кто-то впервые это приметил («Катька»).

Вирус «Цветков» пронзителен и одинок, но при этом чудовищно коварен. Сам по себе он относительно безвреден, но обладает ужасным свойством — воздействует смертельно в комбинации с любым принятым лекарством. Носитель же — крайне заразен и приметен тем, что воспринимает чудеса как вполне очевидные вещи. По этому признаку больного легко могли бы задержать санитары, да только вот не в состоянии санитары подстроить даже завалящего чуда.

Один из ранних фрагментов утверждает: «Я видел тех, кто спрятан за дверями». Слово «дверь» можно воспринять и в прямом значении, но для адептов очевидно, что «двери» — суть зеркала́. За каждым зеркалом спрятан, вывернутый наизнанку, тот, кто в него смотрится. «Алексей Цветков» видит свое затаившееся отражение и вправду отчетливо. Это заметно по таким его фрагментам, как «Эпидемия» или «Близнецы», особенно по первому, где именно к исчезновению языка (и обозначаемого им бытия) и ведет заражение. Но в «Близнецах» зато рельефнее схвачена репродуктивная сущность творчества: вирус размножается репликацией и каждый из тех, кто прочтет эту книгу, — уже «Алексей Цветков».

С каждым сказанным и написанным словом носитель будет выделять фрагменты чужеродного кода.

ИММУНИТЕТА НЕТ НИ У КОГО.

2002

Ренегаты гламура

1. Разбить витрину изнутри

Агрессивной породе приматов из рода Homo свойственно отсчитывать эпохи от разрушения какого-нибудь крупного архитектурного сооружения: Вавилонской башни, Бастилии, Берлинской стены или небоскребов WTC. Такова человеческая природа: ломать, как известно, не строить. Первое гораздо увлекательнее. Для нас, поневоле слезших с дерева, любой дом со временем становится клеткой. Даже если в нем светло, тепло и много бананов.

Победив в семидесятилетней войне, западный мир остался, в известной степени, наедине с собой. Новые оппоненты, какую бы опасность они ни представляли, не могут справиться со старыми. Хотя бы потому, что тянут не в будущее, а в прошлое. Поэтому все нерастраченные разрушительные силы обитателей клетки «люкс», — которая в современном гуманном варианте имеет вид заваленной товарами и освещенной огнями рекламы и мерцанием мониторов стеклянной витриной, — обратились на саму среду обитания.

Разумеется, самокритика всегда существовала внутри того, что именуют «современной цивилизацией». Но перед лицом общего врага острота ее часто сглаживалась страхом предстать в его глазах слишком слабыми и неуверенными в себе. В новой ситуации, когда, по словам одного из героев этого очерка, французского писателя Фредерика Бегбедера, «Первый мир дохнет от обжорства, второй — от зависти, а третий — от голода», страх не то чтобы исчез — вместо одного источника он теперь питается тысячами причин. Конкретный страх превратился в абстрактный, а от абстрактного страха — один шаг до страха панического.

Лучше всего это многообразие страхов отражается на экране голливудского кинематографа: если тридцать лет назад в девяноста случаев из ста миру грозил ядерный кулак Москвы, то теперь вирусы, инопланетяне, террористы, зомби и астероиды атакуют человеков со всех сторон с рвением голодной комариной стаи, у которой нет ни вождя, ни знамени.

Никогда еще за всю новейшую историю белой расы ощущение «вывиха времени» не было такой популярной, если не сказать банальной эмоцией для огромного количества людей — причем совсем не обязательно невротических интеллектуалов или профессиональных смутьянов. Проявляется это ощущение по-разному — и в виде энергичного, но, по сути, аморфного движения антиглобалистов, и в виде одержимости поп-культуры апокалиптическими сюжетами — да и пресловутая политкорректность, если задуматься, по сути сводится к пораженческой в моральном плане позиции «делайте, что хотите, только нас не трогайте». И, разумеется, в том, что пишут писатели. Не все, конечно, а те, которые ставят под сомнение радости жизни в клетке-витрине, а иногда даже призывают разбить стекло изнутри, не дожидаясь, пока это сделают снаружи обитатели менее комфортных клеток.

Таких писателей немало, и ряды их, судя по всему, растут. Пишут они по-разному и на разных языках, их объединяет не столько какая-то общая литературная школа, сколько общее ощущение пленников «человеческого зоопарка». Читатели одного из них неизбежно приходят к другому. Да и сами они все время ссылаются друг на друга — Бегбедер на Уэльбека, Уэльбек на Эллиса, Эллис на Паланика и так далее.

Вот, пожалуй, об этих четырех именах и стоит поговорить — не в последнюю очередь потому, что главные их книги уже вышли или вот-вот выйдут на русском, их читают и обсуждают обитатели нашей клетки, споря о том, в какой степени мы способны разделить их недовольство банановым раем.

2. Банда четырех

Брет Истон Эллис, Чак Паланик, Фредерик Бегбедер, Мишель Уэльбек. Что общего между ними — двумя бравыми американцами с Западного побережья и двумя невзрачными французами? Между профессиональным писателем и автомехаником, преуспевающим креативщиком и несостоявшимся агротехником? Что общего между шизоидным стилем Эллиса, кинороманами Паланика, балансирующим на грани бульварной журналистики Бегбедером и тягучим, как какой-нибудь Селин, Уэльбеком?

Прежде всего, самое очевидное — возраст. Всем лидерам новой «литературы протеста» или под сорок или слегка за. Музыканты созревают раньше писателей — родись они музыкантами, быть бы им панками. Впрочем, с поправками на консервативность и интеллектуальность литературы как вида искусств, панки они и есть. Разрушительный пафос, ощущение вкуса блевотины, подступающей к горлу, как только откроешь глаза, брутальный взгляд на секс и подчеркнутое внимание к импульсивному насилию — все это понятия из панковского лексикона, пусть и изложенные другим языком.

А там, где панк, там скандал — второй общий знаменатель нашей четверки. Роман Бегбедера «99 франков» привел к его увольнению из крупнейшего рекламного агентства «Young & Rubicam», где он проработал без малого десять лет. Принесший славу Эллису «Американский психопат» был снят из планов издательства «Simon & Schuster» после забастовки сотрудников, отказавшихся редактировать и верстать текст, а затем спровоцировал череду судебных исков против писателя, как со стороны феминистических организаций, обвинивших автора в женоненавистничестве, так и со стороны родственников жертв некоего канадского серийного убийцы, действовавшим в точном соответствии с рецептами героя романа, серийного убийцы Патрика Бэйтмена. Чак Паланик не раз вызывал острый интерес у американских спецслужб, заинтересовавшихся удивительным в деталях сходством конспиративных технологий

в его текстах с реально применяемыми. Но чемпион, безусловно, Мишель Уэльбек, выход каждой книги которого сопровождался пышным букетом скандалов, обвинений в порнографии и расизме, венцом которых стало судебное дело по серьезной статье (пропаганда расовой и религиозной розни), возбужденное против романиста после публикации «Платформы» сразу четырьмя крупнейшими мусульманскими организациями. (К тому моменту, когда вы будете читать этот номер «ОМа», суд уже начнется и, возможно, даже завершится, так что станет известно, разделит ли «несносный Мишель» участь не менее несносного Эдички).

Еще один общий знаменатель этих истинных детей-бунтарей «электронной деревни» — их, скажем так, мультимедийность, под которой в данном случае понимается стремление проявлять себя в самых различных аудиовизуальных областях. Пожалуй, один только Брет Истон Эллис довольствуется классическим образом жизни писателя. И Бегбедеру, и Паланику, и Уэльбеку одной литературы для счастья мало. У последних двух есть записанные компакт-диски, Уэльбек также подвизается в профессиональной фотографии и кинодокументалистике. Бегбедер сочиняет и издает при помощи друзей-художников комиксы, а также является автором трудно даже сказать к какому жанру относящегося проекта — альбома-вырезки одежек для Барби, в котором модели одежды для сусальной королевы девчоночьих грез разработали Армани, Габбана, Готье и прочие короли haute couture: иногда на полном серьезе, иногда — с известной долей иронии. Оставил след этот неутомимый человек и в электронных СМИ: на RTL в качестве ведущего книжной передачи «Маска и перо», а теперь на Canal+, где он начал вести собственное весьма популярное ток-шоу «L'Hypershow».

И конечно же, мимо столь яркой и насыщенной действием и пикантными сценами прозы не мог пройти кинематограф: «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера с блестящим дуэтом Брэд Питт / Эдвард Нортон и «Американский психопат» Мэри Харрон с Кристианом Бэйлом в роли Патрика Бэйтмена принесли

авторам романов-прототипов международную популярность среди нечитающей публики. Французам, с их переживающий упадок киноиндустрией, повезло меньше, однако фильм по первому роману Уэльбека «Расширение пространства борьбы» режиссера Филиппа Ареля (который в настоящее время завершает экранизацию главного шедевра писателя, «Элементарных частиц», отмеченного Дублинской премией — самой большой, кстати, в денежном выражении литературной премией) тоже стал заметным событием.

И все же главное, что объединяет в восприятии публики героев нашего очерка, — не эти моменты внешнего сходства, а, безусловно, тема.

3. Регенераты гламура

За полтора века придуманное бородатым Марксом понятие «отчуждения» претерпело удивительные мутации. Из узкой и далеко не всякому сердцу близкой области отношений между работником и хозяином фабрики понятие это распространилось почти на все области человеческой жизни. Теперь мы все — рабочие на огромной фабрике, которая принадлежит непонятно кому и производит непонятно что, а главное — непонятно зачем. Причем это самое «непонятно что» уже даже невозможно подержать в руках — товаром стала не вещь, а ее название, брэнд, имидж, слоган — произвольная ценность, которая часто остается ценностью лишь несколько часов, а то и минут.

На этой фабрике кажимостей (или — на языке интеллектуальных зануд — симулякров) «ценность человека определяется его экономической эффективностью и сексуальной привлекательностью» (М. Уэльбек). Последнее, впрочем, временно, покуда новых людей еще производят по старинке, традиционным методом. В романе того же Уэльбека «Элементарные частицы» общество переходит к клонированию и сексапильность становится излишней. Кажимость пронизывает все, она — истинный хозяин этого мира, а не владельцы миллиардов (которые — миллиарды — тоже кажимость, как известно любому,

кто играл на бирже). Недаром в «99 франках» Бегбедер пишет, что мы похожи на террористов, которые, захватив самолет, обнаружили, что в кабине нет пилота.

Если согласиться с изложенным выше взглядом на современный мир, то нетрудно понять, почему гнев и ярость «нового сопротивления» обрушиваются в первую очередь на те области человеческой жизни, где засилье кажимости наиболее очевидно — биржевую игру и потребительский снобизм (Эллис «Американский психопат»), корпоративную этику и политкорректность (Паланик «Бойцовский клуб»), фэшн-индустрию и гламур (Эллис «Гламорама» и Бегбедер «Каникулы в коме»), мир рекламы (Бегбедер «99 франков»).

Гламур, пожалуй, — высшее воплощение кажимости, поскольку он графически отражает ее царство на глянцевой бумаге. Отвергнуть гламур, стать его ренегатом — заманчиво, потому что кажется, будто таким образом удастся вернуться в мир истинных ценностей. И хотя в прямом смысле «ренегатом гламура» можно назвать одного только Бегбедера, бывшего хроникера «Vogue», а затем сотрудника таких столпов рекламы, как BBDO и «Young & Rubicam» («В глаза, я сказала — смотреть в глаза» (Wonderbra), «Зачем ездить из Орли в Хитроу, когда можно ездить из Парижа в Лондон?» (Eurostar) и, разумеется, «Ммм, Danone!» — это все его рук, а точнее головы, работа), в смысле переносном именно в отречении от глянцевого иконостаса гламура заключается пафос этой генерации писателей.

Но гламур коварен, ибо всеяден. Отступник для него — всего лишь информационный повод. Одного отречения недостаточно — тебя сделают звездой именно потому, что ты отрекся. Пока ты находишься внутри витрины, ты все равно выставлен на показ как один из участников ярмарки тщеславия. Следующим шагом за отречением становится разрушение. Поэтому окончательным ответом героев антигламурного романа оказывается террор. Необязательно политический — как раз лучше всего, когда этот террор аполитичен, абсурден, вздорен — таким он, в сущности, оказывается и у Эллиса, и у Паланика,

и у Бегбедера. Против кого он направлен — против сексуальных партнеров, как у героя «Американского психопата», старушек-процентщиц, как у героя «99 франков» Октава, или против всех подряд, как в «Гламораме» или «Бойцовском клубе», — дело десятое. Главное — чтоб стекло звенело и осколки летали.

Впрочем, разве террор — не очередная кажимость в глянцевом зеркале, а Бен Ладен — не герой видеоклипа, как доказал нам Эминем? Круг замыкается, витрины вложены одна в другую, как на какой-нибудь картинке Эшера. Стекла можно бить до бесконечности. И если это так, то уже не кажется столь радикальным вывод героя «Элементарных частиц» Мишеля Джерзински — история человечества закончилась, пришла пора заменить человека другим видом.

4. Заключение, или особенности национальной витрины

Пафос писателей «нового сопротивления» воспринимается в России пока с трудом. Из произведений рассмотренной здесь четверки большой коммерческий успех имел только (спасибо Голливуду!) «Бойцовский клуб». Критика относится к сокрушителям нового Вавилона-Левиафана настороженно. Читатель предпочитает млеть над многозначительными сказочками Пауло Коэльо, дремучей рефлексией Мураками и детективным постмодернизмом для бедных в исполнении Переса-Реверте. А последние фортели Уэльбека с его призывами к необходимости большой войны между цивилизациями или назначение Бегбедера официальным пиарщиком кандидата в президенты от компартии Франции вообще вряд ли могут быть восприняты местной образованной публикой адекватно. Хорошо это или плохо? Сразу ответить трудно.

Однако следует помнить: даже самые сладкие бананы рано или поздно приедаются. И тогда взгляд неизбежно натыкается на накрывший тебя стеклянный колпак.

Журнал «ОМ», № 10, 2002 г.

Полный П

Вы, наверное, уже заметили, как много в последнее время развелось книг? Авторов тоже много, но популярность дается далеко не всем, а только избранным. Как попасть в их число?

Раньше считалось, что определенную роль в этом играют талант и вдохновение. Но это раньше, а теперь, когда искусство — просто одно из подразделений Всемирного Супермаркета, все большую роль, как и во всяком бизнесе, играет маркетинговая стратегия. И поэтому популярный писатель в наше время — это, как правило, способный маркетолог. Таким образом, вопрос «Откуда берутся популярные писатели?» может быть отныне сформулирован следующим образом (вполне в духе бизнес-скул): «Какие маркетинговые ходы на рынке словесности ведут к успеху в текущем сезоне?» Попытаемся ответить на этот вопрос и дать несколько типов стратегий, которые мы обозначим термином «Три П».

1. Активная, провоцирующая, она же «протестность». Подход самый авангардный, опережающий время. Когда он впервые появился на российском рынке, многие предрекали ему неуспех: в отличие от породивших его зрелых цивилизаций, Россия, казалось, еще не успела утомиться от «общества изобилия». Но это оказалось не совсем так. Возьмем только один яркий пример: не прошло и года с появления на русском языке романа «99 франков» бойкого французского молодого человека по имени Фредерик Бегбедер, как на прилавках появились все его книги: «Иностранка» напечатала «Каникулы в коме» и «Любовь живет три года», а «Симпозиум» — «Рассказики под экстази» и «Воспоминания необразумившегося молодого человека».

Такой стремительный бросок оказался не под силу даже суперпопулярному Харуки Мураками, который еще не весь переведен на язык родных осин. В чем тут дело? Дело, как мне кажется, не столько в читателях, сколько в издателях: вращаясь в сферах горних, они наслышаны о моде на «протестную» эстетику и стремятся эту моду спрогнозировать и опередить. Хотя не лишенная снобизма и светских претензий проза Бегбедера свою «протестность» ограничивает рамками «революции в ночном клубе», обаяние всего парижского для русского читателя неотразимо, как хоровое пение трех претендентов на тело Эсмеральды.

Впрочем, вполне возможно, что дело уже не только в издателях, свидетельство тому — недавно предпринятое переиздание «Бойцовского клуба» Чака Паланика в мягкой обложке, что называется, «для продажи в метро». Тираж, достигнутый этой книгой тихо и без особого шума в прессе, вполне позволяет ее назвать первым «протестным» бестселлером в России.

2. Модная, эклектичная, она же «продвинутость». Здесь главное, как на фуршете после презентации, мешать все в кучу, не думая о последствиях. Отечественные авторы все чаще ухватываются за модную формулу «гламур + наркотики + террористы + мистика + ночная жизнь». Правда, для верности она дополняется еще обязательным наличием трупа — очевидной попыткой совместить с импортной отечественную формулу успеха от Марининой и Акунина.

Новое имя, блеснувшее на этом горизонте, — это Сергей Кузнецов и его активно обсуждаемый роман «Семь лепестков», где всего этого в избытке хватает: нарезка из популярной околонаркотической литературы, энциклопедии «Эмблемы и символы», журнала «Птюч» восьмилетней давности и «Чайки» Антона Павловича Акунина получилась еще та. Уважение вызывает как минимум понимание автором сути стратегии. Но все очень холодно, искусственно, без божества и вдохновенья, зато с твердым медиа-планом. Так что на пути реализации этой стратегии требуется еще очень и очень поработать над собой.

3. Фольклорная, почвенническая, она же «посконность». Эта стратегия самая устаревшая, тем не менее и сейчас иногда приносящая успех. Среди самых шумных последних проектов: «Красный бубен» Белоброва-Попова и второй том «Мифогенной любви каст» Павла Пепперштейна. В первой эпопее колхозники побеждают вампиров, во второй Колобок выигрывает Великую Отечественную войну. И то, и другое растягивается на многие сотни страниц и происходит страшно занудно, но с обязательным использованием полного набора символов, которые дороги с детсадовского возраста каждому русскому человеку.

Что ж, у многих покоренных первобытных племен тоже существуют мифы об их будущей победе над могущественными завоевателями. Как нас учит та же бизнес-скул (стокгольмская, к примеру), истинный прорыв происходит при парадоксальном синтезе кажущихся несовместимыми стратегий. Следовательно, наступления революционного перелома на рынке можно ждать, только когда произойдет совмещение всех трех П, описанных выше. Что это будет — роман об обкуренном Красном Колобке или нечто иное, — покажет время, но одно можно предсказать с уверенностью: наступления этого «полного П» осталось ждать всем недолго.

Опубликовано в журнале «ОМ», № 71, март 2003 г.

Владимир Сорокин. Собачье сердце

Публикуется с разрешения редакции Rolling Stone

Через двадцать минут чернявый официант, похожий на нервно выхаживающего тореро, перестает скрывать ненависть во взгляде. Ему окончательно становится ясно, что двое посетителей, облюбовавших пользующийся спросом столик у окна в недешевом аргентинском стейк-хаузе на Ленинском проспекте, так и собираются цедить зеленый чай из чайника, не переходя к чему-то более существенному. И, судя по лежащему на столе диктофону, это у них надолго.

* * *

Непонятно, узнает ли он в одном из любителей чая писателя Владимира Сорокина. Судя по всему, нет — несмотря даже на то, что мало кто из писателей обладает столь запоминающейся внешностью. И следит за ней Сорокин не менее тщательно, чем придворный времен кардинала Ришелье. Беседа, так или иначе, вращается вокруг последней книги Сорокина, романа «День опричника», текста во многом неожиданного.

Те, кто считает Сорокина гордостью русской литературы, и те, кто кличет его «писателем-калоедом», сходятся в одном: со злобой дня его произведения редко дружат. Поэтому «Дня опричника», из которого эта злоба хлещет буквально фонтаном, мало кто ждал. Но вторжение на новую территорию оказалось на редкость удачным: очевидно, о безумии нашей политической действительности можно адекватно написать, лишь сойдя с вершин еще большего безумия, — например, оттуда, где из клонов русских писателей добывают голубое сало.

«Я не люблю прямых эфиров, потому что говорю очень медленно», — несколько раз повторяет он в трубку какому-то Тимуру с телевидения. Сорокин действительно изъясняется медленно и тягуче, словно обдумывает слова перед тем, как занести их на бумагу. «Я, собственно, хотел отметиться в жанре народной книги, сделать ярмарочный роман, что-то вроде матрешки. Сам не ожидал, что напишу такое.

Я немного “подзамерз” за пять лет работы над “ледяной эпопеей” — хотелось чего-то более свободного. Но критики пишут пока всякую ерунду, выискивают в романе намеки на реальных персонажей и радуются как дети. В целом уровень дебилизации литературных обозревателей растет». Я замечаю, что критикам, пожалуй, не за что особенно любить роман, в котором видного представителя их племени палачи подвергают публичной порке. «Ну да, — смеется Сорокин, — выпорол только одного, на остальных места не хватило».

Впрочем, в «Дне опричника» душат, порют, насилуют и режут не одних только литературных критиков, а представителей практически всех сословий. Как удалось Сорокину разглядеть в современности средневековую опричнину? Почему именно опричнина, а не какая-нибудь аракчеевщина?

«Иван Васильевич был глубоко больным человеком, но в болезни его, как во всякой русской паранойе, было нечто нечеловечески возвышенное. Они ведь как жили с опричниками в Александровской слободе? В пять часов утра вставали и на молебен. Молебен длился до десяти, причем сам царь выступал в роли игумена. А после молебна шел в пыточную и выходил оттуда такой… просветленный. И вся эта символика — всадник на черном коне с метлой и собачьей головой… Это только очень больное сознание могло изобрести. Опричнина оставила глубочайший след в русской душе, и с тех пор в каждом из нас живет маленький опричник. Никакая другая эпоха в этом смысле и рядом не лежала с эпохой Ивана». — «Наверное, определенную роль сыграли личные впечатления от судебного процесса, который не так давно вели против писа-

теля “Идущие вместе”, усмотревшие в романе “Голубое сало” порнографию?» — «Ну, не без этого, конечно. Это только со стороны процесс мог казаться анекдотичным, мне же было совсем не до смеха. Из администрации судье спустили конкретную установку: дать два года условно. Хотя порнографии в литературе не может быть по определению — буквы на бумаге никого не возбуждают. Но в России впервые, начиная с 16 века, создалась уникальная ситуация, когда писатель может написать и напечатать все что угодно. Не все к этому оказались готовы, в том числе и власти. На Западе подобную фазу уже проходили в начале 1960-х, когда были процессы по “Лолите”, “Голому завтраку”, Генри Миллеру. Ну и у нас теперь то же самое — как всегда, с опозданием в полсотни лет». — «Если все обстояло так серьезно, почему же дело поспешно закрыли?» — «Надвигалась книжная ярмарка во Франкфурте, на которой Россия была почетным гостем, — туда вывозили десант в сто писателей, и я был одним из них. Неудобно получалось перед европейской общественностью, так что наверху дали отбой». — «На каком верху?» — «На самом. Но дело не в этом, хотя, конечно, история с судом сыграла определенную роль. Мой новый роман начался все-таки иначе. Как-то зимой, в холод, я вышел голым из дома — я каждое утро зимой голым хожу по снегу, — было градусов тридцать, а путь у меня был такой: дойти до ворот и выключить фонарь. Я дошел туда, а было такое тихое солнечное утро. Я выключил фонарь, иду и думаю: “А ведь так можно и замерзнуть легко…” — и такое чувство возникло, что в русской жизни всегда есть скрытая смерть, белая смерть… И еще в тот же день случилось: у меня был маленький пес, левретка, я кинул ему очень большую кость, и он стал ее агрессивно грызть. И все как-то сложилось в голове — я сел и начал писать роман».

«Прямо вот так, с самого начала, с первых строчек?» — спрашиваю я. Сорокин задумывается, вспоминает. Видно, что это для него не пустой вопрос: судя по всему, в писательстве для него нет ничего второстепенного. Скорее для Сорокина второстепенно все, что *не* писательство. «Нет, пролог потом добавил… Я все книги начинаю утром. Встаю в девятом часу, выпиваю стакан воды, привожу себя в порядок и работаю до полудня. Обычно каждый день работаю. Ночью не могу — очень раздражает, когда нет дневного освещения, не могу сосредоточиться. Пишу в основном на компьютере, хотя стихи, например, могу только ручкой, на бумаге».

* * *

Когда слушаешь Сорокина, создается впечатление, что перед тобой сидит настоящий подвижник или даже монах. Не отсюда ли бесполый и стерильный образ жизни братьев с ледяным сердцем из «Трилогии»? Сорокин улыбается: похоже, со своим вопросом я попал в самую точку. «Чтобы написать “Путь Бро”, я уехал в Ганновер, мне предоставили грант и маленькую квартирку напротив дома, где жил Лейбниц. В этой квартире был очень странный буфет, вырезанный из дерева, с двенадцатью деревянными апостолами. Я их рассматривал два месяца и вел очень сдержанный образ жизни — выходил только погулять и пообедать. Вполне монашеский режим».

Снова раздается звонок мобильного. Разговор опять-таки о Германии — на днях Сорокин собирается в Штутгарт на литературный фестиваль. «Я как-то привык к Германии, я езжу туда уже двадцать лет, понимаю ее ментальность. После России мне там уютнее всего. К тому же немцы очень много меня переводят — неприлично сказать, у меня двенадцать книг на немецком. Еще японцы меня любят: в Японии я жил при Университете иностранных языков в качестве живого писателя. Есть у них такое развлечение, особенно популярны русские писатели — и живые, и мертвые. Думаю, Чехова и Достоевского там любят даже больше, чем в России». Однако главное место — после родины, разумеется, — в произведениях Сорокина занимает Китай: страницы его романов и рассказов щедро присыпаны китайскими словечками. Даже в лубочно-православной Новой России «Дня опричника» ездят на китайских «Мерседесах»,

летают на китайских «Боингах» и легко мешают «Исполать тебе, добрый молодец!» с «Дяодалань!» (х*й на рыло — *кит.*).

Откуда это увлечение Поднебесной? Ходят сплетни, что отец Сорокина был видным китаистом, встречался с Мао. Сорокин мотает головой. «Нет-нет, это легенды. У меня довольно давно и спонтанно возникла очарованность Китаем. Я даже начинал учить китайский, но у меня слабо развита способность к языкам. В Китае потрясает громадная потенция, чисто физиологическая. Я видел там, как работают на электроламповом заводе четырнадцатилетние крестьянские дети, их коллективность — это нечто, не имеющее никаких аналогий в европейской физиологии. Они совсем другие, поэтому меня и завораживает идея китайской гегемонии. Завораживает идея алхимического брака между Китаем и Россией. Мне кажется, из этого может выйти нечто великолепное.

Китай гораздо круче Японии, потому что там никто не говорит по-английски, а в провинции тебя даже могут запросто потрогать руками, как животное. Трое моих друзей — дело было на юге Китая — как-то раз поспорили, сколько им удастся продержаться без знания языка и без сопровождающего. И одного дня продержаться не удалось, все вернулись в гостиницу с позором. Говорят, в Китае издали “Голубое сало” пиратским образом. У них такое случается».

* * *

Похоже, моя давнишняя гипотеза подтверждается: на какую бы тему ни зашла беседа, она неизбежно возвращается к литературе и, в первую очередь, к книгам самого Сорокина. Писатель Сорокин абсолютно самодостаточен. «Я — текст, а не человек» — написано на нем большими буквами. И все же что делает человек Сорокин, когда в полдень перестает быть текстом? «Я живу деревенской жизнью, во Внуково. Чтение, прогулки, две собаки, визиты друзей и к друзьям. Размеренность крепостного уклада. Я давно так живу. В 1980-е годы у меня был краткий период довольно бурной богемной жизни, но я не могу

пить больше двух дней подряд физиологически, так что я довольно быстро от этого устал. Я должен писать каждый день — это функция организма.

Самое страшное начинается, когда не пишется: тогда освобождается масса дополнительной энергии и надо срочно изобретать, как ее убить. Способы есть разные: можно колоть дрова, играть в шахматы с компьютером. Я вот в пинг-понг играть люблю, правда, тут уже компьютером не обойдешься — нужен живой партнер. Или готовить что-нибудь замысловатое, что занимает много времени. Например, тройную уху. Ничто так не заполняет свободное время, как приготовление тройной ухи. Когда действительно по-настоящему не пишется, только тройная уха и помогает. Вообще я готовить люблю. Но все остальное готовится быстро». А каково отношение писателя Сорокина к другим видам искусств? Помогают ли они ему заполнить время, не занятое текстом? Ответ утвердительный — важнейшим из искусств традиционно является кинематограф, затем музыка. «Классическая?» — интересуюсь я, памятуя о недавнем романе писателя с Большим театром, закончившемся постановкой оперы Десятникова «Дети Розенталя» на либретто Сорокина. «Почему классическая? — даже как-то обижается Владимир. — У меня очень широкие интересы. Джаз, этника, все что угодно. Довольно большая фонотека — правда, собаки постоянно ее подчищают. Очень любят грызть компакт-диски — как ни складывай, все равно достают. И рок тоже слушаю: очень много текстов знаю наизусть, вот даже иногда цитаты вставляю. Во “Льде”, например, из Бьорк — stop confusing me with your wishful thinking». Я рассказываю Сорокину про инцидент с романом Минаева «Duxless» (компания Gala Records предъявила автору многотысячный иск в связи с эпиграфами из западной рок-классики, которыми открывается каждая глава романа). Сорокин хватается за голову: «Нет, меня пока еще никто к ответу не призывал. У меня вот, кстати, в “Дне опричника” целиком песня “Прекрасное далеко” — это, по-моему, из кинофильма “Гостья из будущего”. Там ведь тоже наверняка

какой-нибудь владелец копирайта есть? Вообще мы живем в безумном мире — по мере возрастания производительности труда растет количество паразитов на одного работающего. Все эти юристы, менеджеры — и каждый претендует на свой кусок пирога…» Остается только спросить, каково приходится русскому писателю в этом безумном мире. Выясняется, что неплохо. В России все еще пока есть «Идущие вместе», «Наши» и хоругвеносцы — с писателем по привычке считаются, как с властителем дум, а на Западе…

«В Европе русский писатель — это вообще бренд. Я все время чувствую, как у меня за спиной стоят тени бородатых классиков. Другой вопрос, что и как понимает читатель в переводах — боюсь, что многие вещи по-настоящему доступны только филологам и историкам. Но вот “Трилогию” я специально так писал, чтобы она была доступна в первую очередь международному читателю. Может быть, именно поэтому она и была принята довольно холодно здесь. А “День опричника”, напротив, — это наше наболевшее, для местного употребления. В любом случае русским писателем быть хорошо. Да я и не умею быть никем другим».

Сорокину пора бежать — его ждет еще одна встреча перед возвращением во Внуково к собакам, дожевывающим еще один компакт-диск, к тройной ухе и к фанатичному служению тексту. Мы прощаемся. Как только легкая фигура Сорокина исчезает за дверью, официант бесцеремонно швыряет на стол счет и припечатывает его сверху здоровенной статуэткой быка с надписью на бронзовом боку «СТОЛ ЗАКАЗАН». «Не могли бы вы допить чай за стойкой?» — изрекает он ледяным голосом тореро. Очевидно, он все-таки опознал писателя Сорокина и ждал только его ухода, чтобы отомстить мне.

«Rolling Stone», № 29, 2006

Книги с Ильей Кормильцевым

«Философия панка: больше чем шум!»*

Крейг О'Хара

Американский политактивист от панка Крейг О'Хара в 1992 году решил идеологически обосновать, что панк — это не только ирокез, косуха и привычка пугать прохожих непристойными телодвижениями, а еще и некоторая социальная позиция, не сводящаяся к стопроцентному отрицалову. В 1999 году вышло второе американское издание этой книги, а вот теперь она появилась и на русском языке. Честно говоря, пионерский запал автора поначалу захватывает, и кажется, что принцип DIY (Сделай Это Сам), экологически и гендерно сознательные панки, а также панк-зины и стрейт-эйдж спасут мир от СПИДа, фашизма, глобального потепления и дефицита энергоресурсов. Но где-то страниц через сорок стиль начинает казаться подозрительно знакомым. И вот наконец снисходит прозрение: именно из кусков подобных брошюрок был слеплен Стюартом Хоумом его бесподобный «Отсос», где столь лихо высмеяны подобные амбиции! А упоминаемые автором гей-эко-скинхеды, так те прямо словно соскочили со страниц какого-нибудь романа Тони Уайта. Впрочем, если вас по какой-то причине интересует насыщенная, но незримая миру жизнь современного панк-движения, то лучше источника информации не найдешь, тем более что российские издатели снабдили книгу весьма объемистым предисловием, где содержится базовая

* В разделе приведены литературные рецензии Ильи Кормильцева, написанные им для журнала «Rolling Stone» в 2006–2007 годах. — *Прим. сост.*

информация о том, как обстоят дела с панк/хардкор-активизмом на просторах СНГ.

«Измененное состояние: история экстази и рейв-культуры»

Мэттью Коллин, Джон Годфри

Электронная музыка в России, стране Термена и Артемьева, увы, всегда оставалась забавой для меньшинства. Когда эта музыка из интеллектуальной превращалась в танцевальную, меньшинство просто численно вырастало, оставаясь меньшинством. Нет, разумеется, и Казантип, и «Гагарин-пати», и журнал «Птюч» — все это было, было, было, но оставалось где-то там, в таинственном мире файеров и ультрафиолета, латвфармахима и фэйсконтроля. Массы трудящихся жили в совсем другом танцевальном пространстве, где царили «Руки вверх».

Книга Коллина и Годфри рассказывает о совершенно другой, действительно массовой, а временами даже и классовой культуре, цветение которой было столь пышным, что неслучайно породило термин «новое лето любви» по аналогии с хипповским летом 1967 года. Тем более что компоненты были те же самые: новая музыка, новые наркотики и вечное как мир недовольство молодежи миром, в который ее родили. Впрочем, хотя в случае рейв-культуры недовольство это не было окрашено в особо радикальные тона, стычки с полицией особого назначения все равно выходили зрелищными и кровавыми. Право танцевать приходилось отстаивать в боях с политиками, фараонами и криминалитетом.

Захватывающая история становления клубной сцены современного типа в изложении Колина — Годфри временами напоминает не то легенды о красных партизанах, не то летопись Силиконовой долины — командовать клубами (полками, софтверными компаниями) начинали лет так в 20, в авантюрных и анекдотических приключениях не было недостатка, а враги (наркоконтроль, белогвардейцы, Билл Гейтс) изощрялись в коварстве.

Впрочем, кончилось все как всегда — победой денег, власти и порядка. Такова судьба любой революции, пусть даже и психоделико-экологической. Как пишут сами авторы, «на смену миру и любви пришла реклама, на место музыки — маркетинг».

Но читать все равно интересно: как по запаху из вентиляционной трубы найти подпольную лабораторию по производству экстази, что такое «коллективный солипсизм» и почему такие группы, как Happy Mondays или Stone Roses, которые, на наш поверхностный взгляд, никакого отношения к рейву не имеют, отношение к нему все-таки имели, — и еще какое!

А самое главное — это пронизывающая всю книгу основная мысль. Все самое интересное и главное в этом мире — музыка, мода, развлечения — делается руками и головами простых людей, которых никто на это не уполномочивал и не спонсировал. И то, что могло случиться в 1967-м или 1988-м, вполне может повториться в 2008 году. Хорошо, если бы из трех тысяч потенциальных читателей этой книги хотя бы двум-трем эта мысль запала в голову.

«Женщины в зарубежной популярной музыке: энциклопедический словарь»

Владислав Ястребов

Даже если ты — стойкий женоненавистник и считаешь, что женщинам лучше не брать в руки ни руль, ни гитару, трудно не присвистнуть от изумления, взирая на этот девятисотстраничный труд, в котором каждая строчка — о женщинах. Трудно даже представить, сколько сил и времени потратил упорный автор из Ульяновска, чтобы собрать сведения о более чем четырех тысячах исполнительниц и коллективов, работавших и работающих в самых разнообразных стилях — от RNB до традиционной эстрады, от диско до соула, от кантри до блюза. Труднее представить себе, конечно, назначение столь специфически ориентированного продукта: все же, по большому

счету, деление музыки по половому признаку — не самый очевидный способ ее исследования, но тем не менее для людей, понимающих в этом толк, справочники и энциклопедии прекрасны сами по себе, как жанр. Листаешь их и удивляешься: каких только поющих девушек на свете не бывает. А если еще издание, как положено всякой серьезной книге, снабжено дискографией, фильмографией и библиографией, то больше и желать нечего. Остается лишь поинтересоваться, собирается ли автор составить подобное же пособие по исполнителям-мужчинам или убоится нападок и обвинений в неполиткорректности со стороны феминистских кругов. Впрочем, ход его мысли может пойти и в другом, еще более потенциально рискованном направлении — ведь в современной музыке немало исполнителей, которых нельзя в полном смысле отнести ни к сильному, ни к слабому полу. Судя по всему, таких тоже наберется на полноценную энциклопедию. Дерзайте, Владислав!

«Король Чернило»

Ник Кейв

Сын учителя словесности всегда питал слабость к литературе: Шекспир и Библия послужили для инфернального антипода не меньшим толчком к самовыражению, чем Элвис Пресли и Sex Pistols. Поэтому, когда настало время Нику, как всякому уважающему себя поэту-песеннику, издать собрание собственных текстов, он постарался придать книге по возможности более литературный вид — иначе говоря, разбавил вокальную лирику максимальным количеством почеркушек, рисунков, мини-пьес и странных пассажей, жанр которых вообще с трудом поддается определению. То есть попытался родить книгу.

Результат вышел занятный, слегка декадентский и адресованный публике вдумчивой, склонной к эстетизму и позерству. Сборников таких за творческую карьеру оригинал Ник родил два: «King Ink» и «King Ink II» — в русском варианте, соответственно, они получили заглавия «Король Чернило» и «Король Чернило возвращается». Пока (к дню рождения певца и его второму визиту в Россию) выпускается первый сборник, который охватывает период от первых странноватых творений эпохи «Birthday Party» и заканчивая первым «криминальным» альбомом «Your Funeral, My Trial», записанным уже с Bad Seeds.

В сухом остатке мы имеем нечто большее, чем рок-н-ролл, — странный мир книжного мальчика, населенный тенями бабаев из детской комнаты и маньяков из горячечного подросткового бреда: последняя отрыжка темного романтизма начала века, пропущенная через шприц панка.

Говорят, некоторые тексты Ник писал кровью, едучи в последнем ночном поезде лондонской подземки. Остается только сожалеть о том, что современные типографские технологии не в силах адекватно отразить столь своеобразную технику письма.

«Кто убил классическую музыку?»

Норман Лебрехт

Если бы такая книга была написана про рок-музыку, никто бы не удивился. Точнее говоря, про нее таких книг написано столько, что из них впору формировать небольшую районную библиотеку. Но классическая музыка по чьему-то романтическому головотяпству традиционно считается высокодуховной территорией истинных ценностей и неоспоримого профессионализма. После прочтения книги Лебрехта сия священная иллюзия развеивается в воздухе, словно пустынный мираж, тает, подобно фата-моргане. Все то же самое: подкуп, черный пиар, целый букет пороков — педофилия, продажность, наркомания — сговоры и заговоры, короче говоря, все то, что мы привыкли считать неоспоримой прерогативой поп-культуры. Кушетки в гримерках, на которых делаются карьеры, скандалы, оплаченные конкурентами, плутни жучков-промоутеров и воротил звукозаписи. С другой стороны, а почему должно быть иначе? Молох шоу-бизнеса на редкость непривередлив: ему

все равно, какими детьми его кормят — хрупкими еврейскими мальчиками со скрипками в руках или немытыми панкерами с педикулезными ирокезами на макушках. Главное, чтобы на выходе из пищеварительного тракта наблюдался вожделенный капиталистический продукт: баксы, евро, фунты, иены, презренный металл в любой конвертируемой валюте.

В каком-то смысле поп-музыка честнее: во-первых, она не окружает себя сакральным нимбом высокой культуры, во-вторых, не ворует деньги из казенного кармана, чем ничтоже сумняшеся пробавляются звезды классики, пользующиеся щедрой государственной поддержкой. Главным Мефистофелем оркестровой ямы известный британский критик назначает Герберта фон Караяна — бывшего нациста и первопроходца поп-подхода к наследию Бетховена и Моцарта. Вряд ли это справедливо: с такой же предвзятостью и безосновательностью в последнее время из Филиппа Киркорова ваяют Доктора Ноу российской эстрады. Дело в самой логике арт-капитализма, в которой артист превращается в промежуточное звено в цепочке деньги — искусство — деньги, где промежуточное звено воспринимается топ-менеджерами транснациональных корпораций как досадная необходимость, которую следует свести к минимуму.

С наибольшей ясностью суть подобного процесса отражена не в книге Лебрехта, который слишком увлечен смакованием конкретных скандалов вокруг блистательных теноров и виртуозных пианистов, а в мюзикле Бена Элтона и Queen «We Will Rock You», описывающем недалекое будущее, где людям запрещено музицировать под страхом смерти, а вся музыка производится исключительно компьютерами, принадлежащими некоей Global Soft Corporation. Та же великая мечта одухотворяет восторги продавцов музыки по поводу бурно расцветающей торговли рингтонами для мобильных телефонов.

Сможет ли музыка выжить вообще, пройдя через дигитальный пищевод Молоха, — это другой вопрос, на который не рискует отвечать Лебрехт. Не рискнем на него ответить и мы, продолжая все-таки надеяться на лучшее.

«Музыкальные способности»

Дина Кирнарская

Эта книга — одна из тех обманчивых книг, что читаются как захватывающий роман, стоит только, невзирая на невпечатляющую обложку и постное название, открыть их на любой странице. Наследуется музыкальный талант или воспитывается? Рациональна его природа или иррациональна? А вы сами — как выяснить, сможете ли вы стать Ойстрахом или на худой конец Ингви Мальмстином (или хотя бы Зинчуком)? Можно ли создать систему тестов, которые позволят еще в детстве оценить ваш потенциал, чтобы вы смогли получить приличное менеджерское образование, вместо того чтобы мучить понапрасну себя, родных и инструмент? На подобные вопросы и пытается ответить при помощи наисовременнейших достижений психологии и нейрофизиологии Дина Кирнарская — автор, за плечами у которого блестящий двухтомный «интеллектуальный бестселлер» «Классическая музыка для всех».

Попутно сообщаются тысячи интереснейших фактов: что музицировать начали еще не владевшие речью гоминиды, что лучше всего чувство ритма развито у олигофренов, страдающих синдромом Уильямса, что музыкальная одаренность встречается у глухих намного чаще, чем у слепых, — и это далеко еще не все. Ну а выводы из всего проделанного в попытке ответить на вопрос, что же такое музыкальная гениальность и откуда она берется, в анализе, как это часто случается, делаются самые неутешительные. Мало того что вся система современного музыкального образования направлена на подавление в учащемся «духа музыки», так и вообще третье тысячелетие с его одержимостью политкорректностью и паническим страхом общества перед восстанием масс ведет борьбу не на жизнь, а на смерть с самим понятием «гений», противопоставляя ему концепцию «звезды», являющейся воплощением получающей заслуженное вознаграждение идеальной посредственности.

Впрочем, к последнему тезису легко можно прийти, не читая книги Кирнарской, — достаточно посмотреть пару часов музыкальное телевидение. Зато во всем остальном удовольствие от чтения «Музыкальных способностей» будет огромным независимо от того, каким именно жанром музыки и насколько серьезно занимаетесь вы сами или даже если вы обыкновенный потребитель звуковых колебаний.

«Книга фотографий Кинчев — Потапов»

Илья Разин

Надпись «Официальная книга» на обложке фотофолианта, выпущенного издательством «Ковчег», свидетельствует, видимо, о том, что все его содержимое одобрено главным персонажем большинства черно-белых и полноцветных картинок, размещенных на страницах этого издания, — Константином Кинчевым.

Если вы хотите узнать подробности биографии всем известного коллектива, — вам не сюда. Книга снабжена минимумом текста. Чтобы понять, кто изображен на фотополотнах, придется прибегнуть к интуиции — подписями «официальная книга» не балует.

Смотритель (читатель) должен знать своих героев в лицо, что очевидно, поскольку цена пафосно изданного на хорошей бумаге фолианта не смутит, пожалуй, только настоящих ценителей «Алисы».

Кинчев и соратники, Кинчев и дружественные рок-кумиры, Кинчев и публика, Кинчев и молнии или другие природные явления и, наконец, Кинчев и дети — вот краткий список сюжетов, использованных в работах Валерия Потапова и обладающих всеми достоинствами хороших фотографий, кроме, пожалуй, юмора.

Ну о каком юморе может идти речь, когда слышится серьезное слово «Алиса»?

«Трио»

Владимир Тарасов

Воспоминания барабанщика — в подобном словосочетании неосознанно чудится некоторая ирония. Но Владимир Тарасов — барабанщик не рядовой: в свое время трио Ганелин — Чекасин — Тарасов в мире советского джаза совершило настоящую революцию, да и за пределами СССР стало чуть ли не единственным коллективом в глубоко нерусском мире авангардного джаза, которому удалось войти в элитный клуб.

Сложные, родственные современной классике звуковые конструкции трио с трудом вписывались в тогдашние представления о том, какой должна быть советская музыка, однако благодаря то ли везению, то ли базированию в полузападной Литве коллективу удавалось не только избегать репрессий, но и записывать вполне легальные альбомы.

Музыка, однако, есть искусство, писать о котором чрезвычайно сложно. Посему желающих почерпнуть из книги Тарасова мудреные рассуждения о тайнах джазовой импровизации ждет горькое разочарование — барабанщик вспоминает в основном гастрольные байки, которые на поверку оказываются одинаковыми и у оперных певцов, и у хард-роковых гитаристов, и у, разумеется, фри-джазовых барабанщиков. Плюс к этому, отдавая дань своей эпохе и своему поколению, Тарасов много и неинтересно рассказывает о том, каким ужасным был СССР и его КГБ и как они мешали жить, творить и ездить за границу прогрессивным артистам. Читается это на сегодняшний день довольно забавно, как и прочие реляции шестидесятников, поскольку, как уже стало совершенно ясно, от вывески мало что зависит.

Под новыми вывесками те же самые сущности успешно справляются со всем живым в искусстве и культуре и сейчас, просто пользуясь намного более совершенными методами по сравнению с наивными дурачками-комсомольцами из книжки Тарасова.

А так, честно говоря, одна минута любой сольной записи знаменитого джазового ударника (а впоследствии еще и художника-инсталлятора) расскажет гораздо больше о его жизни, чем этот текст. Впрочем, так и должно быть, если ты барабанщик, а не писатель.

«Поэты русского рока. Т. 1»

Составитель А. Соя

Первая книга амбициозного десятитомного проекта посвящена Москве — наверное, именно таким образом питерские идеологи серии решили с порога отвергнуть обвинения в кумовстве. Спор о том, можно ли рассматривать слова, предназначенные для пения, как поэзию или нельзя, носит схоластический характер и уже порядком поднадоел. Реально среднестатистический молодой (и не очень молодой) россиянин знает гораздо больше строчек из Цоя, чем из Лермонтова. Другой вопрос, что критерий известности и популярности проблематичен сам по себе: всем известны тиражи Дарьи Донцовой, но это не делает ее писания литературой.

Столичный рок, которым открывается собрание, традиционно считался не самым сильным в отношении текстов. Изданию «Азбуки», похоже, не удалось кардинально пошатнуть устоявшееся мнение. Хотя исключения бывают из любого правила: тексты Петра Мамонова и на бумаге сохраняют энергию, мрачную фантазию и творческое совершенство оригинала. В какой-то степени как поэта можно читать Константина Никольского, хотя к концу чтения скулы начинает порядком сводить от обветшалой хиппанской эстетики — бесконечных абстрактных существительных вперемешку с обязательными лунами, небесами, ветрами и прочими атрибутами заезженной романтики.

Остальные же собранные в книге авторы кто угодно, но не поэты, хотя, например, Александр Скляр вполне (а местами и чересчур) литературен — как какой-нибудь студент Литинститута. Григорян, Романов и особенно Найк Борзов (включенный, очевидно, для того, чтобы подчеркнуть преемственность традиции) — кто угодно, но не поэты. «Кто угодно» в данном случае — не просто фигура речи: как музыканты и певцы они заслужили свою известность. Отсюда напрашивается вполне ожидаемый вывод: текст удачной песни может быть поэзией, а может ею и не быть, после чего вопрос о соотношении «текста» (с ударением на последнем слове) и «стихов» окончательно запутывается, ну да и бог с ним. Разумеется, можно было подойти к составлению сборника и по-другому: выбрать только тех исполнителей и песни, которые тянут на поэзию, но тогда материала на десять томов не хватило бы, да и читателей было бы поменьше. Впереди нас, впрочем, ждут еще девять томов — Питер, Свердловск, Сибирь и кто там еще? — и возможно, процент поэзии в них превысит процент рока. А пока — какая боль, какая боль! — счет остается 5:1 в пользу издательства «Азбука-классика».

«Герои рок-н-ролла»

Олег Усманов

Любовь Олега Усманова к рокабилли и классическому рок-н-роллу вообще не подлежит сомнению: недаром он сотоварищи создал группу «Мистер Твистер» — без любви к жанру это безумное мероприятие провернуть бы не удалось. Книга, как честно признается сам автор, им не столько написана, сколько переведена — это компиляция интервью, журнальных статей и текстов с обложек виниловых пластинок. То, что называлось в советское время «по материалам зарубежной печати». Как всем известно, фактов в подобной информации обычно сообщается много, но осмысление их стремится к бесконечно малой величине. В результате получилось на редкость однообразное чтение, которому бы цены не было, придай ему Усманов форму энциклопедии. А ведь сколько интересного можно было написать про пятидесятые, особенно про пятидесятые в США, подтянув сюда и политику, и социологию, и кинемато-

граф, и мало ли что еще! На русском языке такого культурологического труда о происхождении современной поп-культуры как не было, так и нет. И все же язык не поворачивается разнести составителя этой толстой (и дорогой) книжки в пух и прах. Во-первых, потому что издание снабжено огромным количеством любовно подобранных фотографий, а во-вторых, потому что на безрыбье, как известно, выбирать не приходится. Тем, кто не владеет иностранными языками, чтобы прочесть про раннюю историю рок-н-ролла, приходится обращаться к потрепанным перестроечным журналам, а то и к трудам известного обличителя западных нравов советского искусствоведа Кукаркина.

В такой ситуации труд прекрасного дилетанта Усманова очень кстати для любого, кто желает заглянуть в историю поп-музыки на временную дистанцию бóльшую, чем та, что прошла с момента открытия первой «Фабрики звезд».

«Nobrow®: Культура маркетинга. Маркетинг культуры»

Джон Сибрук

Качество, которое, по мнению бывшего колумниста «Нью-Йоркера» и «Вэнити Фэйр», присуще наиболее убедительным образцам последних масс-культурных легенд (таких, как MTV, гангста-рэп и «Звездные войны»), — это наивность. Наивность (и всеядность — о чем автор солидной культурологической штудии, довольно неожиданной для помешанного на скандальности «Ad Marginem», не упоминает) — это свойство новой культуры Nobrow. Последний термин в зависимости от пристрастий можно переводить и как «какой-угоднолобый», и как «безлобый». Суть же словечка в утверждении того факта, что ныне культура перестала быть, как прежде, «высоко-», «средне-» и «низколобой». Один и тот же человек может посещать концерт классического авангарда и хип-хоп-фестиваль, накидывать пиджак от Prada поверх купленной в гаитянской деревне футболки. Наступила эпоха, когда рваные джинсы от Gucci стоят 3800 долларов, а деловой костюм, считавшийся 30 лет назад верхом респектабельности, — 100. В принципе ничего нового, если не принимать во внимание свойственное гринго пристрастие к словам-лэйбакам, автор нам не сообщает. Гораздо более убедительный (потому что художественный) портрет этой новой гламуроцентрической реальности дан Бретом Истоном Эллисом в его «Гламораме». Так что вопрос здесь не столько в самоочевидных фактах, сколько в их оценке. И вот тут сразу видно, что в элитном Принстоне, где учился сын промышленного магната Дэвида Сибрука, марксизм-ленинизм или совсем не преподавали, или преподавали из рук вон плохо. Да и новую французскую философию типа Бодрийяра или Лакана — тоже. Потому что никакого таинства, которое чудится Сибруку в придуманном им Nobrow, нет, а есть корысть, которая проще пареной репы: и джинсам от Gucci, и деловому костюму в момент их рождения на потогонной фабрике в Малайзии цена одна — пять баксов. А следовательно, заставить деньги бегать вокруг уже практически бесплатного товара можно, только придав ему иную ценность — символическую. Проще говоря, вызвать у тебя сверхжелание, удовлетворить которое может не просто чемодан, а только «чемодан от Louis Vuitton». Как относится к подобной системе автор, понять из книги трудно. Скорее всего, как и положено верному сыну буржуйского класса, положительно. Особенно это заметно в главе про рекорд-лейблы, где Сибрук разливается в дифирамбах по поводу того, что теперь каждый может сделать пластинку, да не каждый может продать. Ибо кого пустить в рай Nobrow, а кого нет, определяют наделенные мудростью учителя Йоды мастера-маркетологи. Чего эти «мастера» на самом деле добились, стало видно сейчас, после 50%-ного падения доходов рекординговой индустрии в нулевые годы. И сколько бы сие падение ни списывали на MP3, интернет-пиратов и гонконгский грипп, причина его именно в попытке подходить к искусству с методологией, апробированной на продажах средств для ухода за обувью.

Таким образом, эта самая воспетая Сибруком «наивность» в полной мере присуща его собственному творению — особенно

в свете последовавшего вскоре после ее выхода (в Америке «Nobrow» вышла в 2000 году) 11 сентября. Доказавшего, что абсолютные ценности (по крайней мере, для некоторых) все же существуют и за них отдают жизни — свои и чужие.

Стоит ли читать Сибрука в свете всего вышеизложенного? Все же стоит. Потому что, несмотря на все неуклюжие социологические рассуждения, это все-таки не монография, а книга журналистских воспоминаний. И начиная вспоминать, Сибрук забывает о своих концепциях (вплоть до того, что противоречит им) и тепло и талантливо рассказывает о своих встречах с Джорджем Лукасом, Дэвидом Геффеном, Notorious B.I.G. и много кем еще.

«Пустоид»

Ричард Хелл

Если не знать, какую роль сыграл Хелл в возникновении ранней нью-йоркской панк-сцены (один из отцов-основателей легендарной группы Television), то можно легко датировать эту книгу десятилетием раньше: эпохой битников. Фантазийная, причудливая, поэтическая проза, чем-то напоминающая Ричарда Бротигана, перемещенного из лесов северо-запада в мрачный и уголовный Готтем-сити, по улицам которого в ту пору бродили всевозможные отбросы цивилизации от Энди Уорхола до Эдди Лимонова. Но в принципе в этом нет ничего удивительного — именно битническая цельная исповедальная интонация впоследствии расщепилась на пошловато-эзотерическую прозу хиппизма и на кроваво-депрессивный крик панк-авторов.

У Хелла это расщепление еще не завершилось, поэтому читать его гораздо интереснее, чем Тима Роббинса или Лидию Ланч (хотя менее интересно, чем Хэвока, возводящего, как и Хелл, свою родословную к Лотреамону). В каком-то смысле можно даже сказать, что «Пустоид» перекидывает мостик от французских «проклятых поэтов» к наиболее мрачным образчикам современного киберпанка.

По крайней мере, сюрреалистическая история большой любви на фоне апокалипсических городских декораций вроде той, что описана в «Пустоиде», воспроизводится в течение последующих трех десятилетий еще многими и многими авторами, причем степень апокалипсичности и отчаяния будет неуклонно возрастать.

«Пинбол»

Ежи Косински

Как это ни странно, про рок-н-ролл написано не так уж и много романов: пальцев двух рук хватит, чтобы пересчитать. В чем тут дело, сразу и не скажешь — тема вроде живописная, благодатная. Хороших же романов и того меньше. Один из них — «Пинбол» Ежи Косински, поляка, уже в зрелом возрасте перебравшегося в США, чтобы стать там заметным американским писателем и даже президентом Всемирного ПЕН-клуба. Косински — личность сама по себе легендарная и скандальная, аферист, фантазер, враль, плейбой, заметная фигура в богемной нью-йоркской тусовке 1960–1970-х. Он знал не понаслышке многих звезд поп-сцены. Злые языки утверждали, что свои книги Ежи писал не сам, а заказывал литературным неграм. Поднявшийся по этому поводу шум стоил ему карьеры, а в итоге и жизни. Окончил он свои дни в типично панк-роковом стиле: труп с порезанными запястьями, смертельным содержанием алкоголя и барбитурата в крови и пластиковым мешком на голове извлекли из ванной, наполненной теплой водой. Роман «Пинбол» так и не стал рок-мюзиклом, хотя на него имели виды крупнейшие бродвейские продюсеры. А жаль: история рокера Годдара, «звезды без лица», ставшего всемирно популярным исключительно благодаря записям и упорно отказывавшегося раскрыть свое инкогнито, ничем не хуже рассказанной Гастоном Леру сказки про Призрак Оперы, которая мюзиклом таки стала. Даже лучше: в отличие от Призрака, внешность Годдара ничем не обезображена — просто

он с самого начала понял, чем чревата публичная слава, и творит в анонимной обстановке своей студии, а потребность в общении с публикой удовлетворяет, выступая под псевдонимами в маленьких ресторанах и клубах. Герой «Пинбола», бывший классический композитор Патрик Домострой, разочаровавшийся в музыке, в компании черной пианистки-авантюристки Донны идет по следу Годдара и в конце концов «вычисляет» его. Результат плачевен: чуть не гибнет сам Годдар (в 1981 году, когда писался роман, убийство Леннона было еще свежей раной), разбиваются иллюзии и судьбы остальных героев. Книга хороша, одно обидно — не мешало бы переводчику, берясь за работу, ознакомиться получше с терминами. А то смешно читать про «смесительную консоль» там, где речь идет явно о микшерском пульте.

«Разговор с золотой рыбкой: рок-сюита»

Олег Сакмаров

Экзотический бородатый персонаж, похожий на буддийского бонзу, приплясывающий с флейтой в руке, — таким вошел Сакмаров в историю русской музыки. Участник самых разнообразных коллективов — от «Выхода» до «Аквариума», от «Наутилуса» до «Колибри» — мультиинструменталист и душа общества, недавно отважившийся на сольную карьеру, теперь Олег решил продемонстрировать и свои литературные таланты. Без особых претензий он честно снабдил книгу подзаголовком «Стихи и проза музыканта». Кроме текстов песен последних лет, отчасти вошедших в недавно выпущенный альбом «Живой Ссамолет», в «рок-сюиту» вошли эссе, интервью с автором и воспоминания о годах службы в «Аквариуме». Ну и, разумеется, цветные вкладки с фотографиями, неизбежными в книге, написанной человеком, двадцать лет простоявшим на сцене. Впечатление в целом довольно пестрое, но увлекает — как разглядывание экзотического салата, предшествующее его же (салата) поеданию. Как это ни покажется странным ностальгически ориентированному читателю, самая интересная часть книги — самая последняя по времени. Воспоминания о легендарных временах русского рока, к тому же довольно сдержанные, не добавляют ничего нового к нашему представлению о тех годах. А вот забавная шансонная лирика Сакмарова, местами напоминающая избавившегося от избыточной астральности и многоумности Гребенщикова, читается легко и весело, сопровождающие же ее остроумные эссе-комментарии показывают, что, возможно, Сакмарову следовало брать в руки перо почаще, а не только в свободное от гудения в духовые инструменты время.

«199 ступеней. Квинтет “Кураж”»

Мишель Фейбер

Из двух повестей живущего в горной Шотландии и пишущего по-английски голландца Фейбера (вот до каких чудес доводит глобализация!) отношение к музыке имеет только вторая. Зато какое отношение! Наверное, из всего, что понаписано о роли музыканта и музыки в современном цивилизованном обществе, повесть Фейбера подбирается глубже всего к сути вопроса. Камерная, вкрадчивая история о непростых человеческих и творческих отношениях вокального квинтета, волею судеб оказавшегося на две недели в изоляции от внешнего мира в маленьком старинном замке посреди бельгийского леса, превращается в открытый вопрос о смысле искусства в наши дни, о формате и моде, о таланте и бездарности, о продажности и верности идеалам. Начавшаяся на тревожной ноте и заканчивающаяся на ноте трагической, относящаяся непонятно к какому жанру — хоррор? интеллектуальная проза? психологическая повесть? — история квинтета «Кураж» читается как сценарий: очень театральная вещичка. Заодно и полезно протрезвляющая мозги тем, кто считает, что священный мир классики устроен хоть в чем-то иначе, чем мир презренной попсы. Арт-капитализм не щадит никакие ценности, не ведает никакие святыни

и размалывает с одинаковой легкостью что панк-рокера, что симфонического дирижера. Образы его представителей, похожих на чертей-искусителей, навещающих членов квинтета в их лесном уединении, замечательны в своей откровенности и узнаваемости. А само отшельничество становится серьезным испытанием, которое выдерживает не каждая душа и не каждое сердце, потому что искусство требует жертв.

Очень часто — в самом что ни на есть прямом смысле.

«Глен Гульд. Нет, я не эксцентрик!»

Бруно Монсежон

Пианист Глен Гульд — возможно, самая парадоксальная фигура в классической музыке прошлого столетия. Человек, собиравший лучшие залы мира на свои сольные концерты, получавший огромные гонорары — и полностью отказавшийся от концертной деятельности ради полумрака и покоя студий звукозаписи. Гений фортепьяно, характеризовавший себя следующим образом: «Я — канадский писатель и специалист в области коммуникации, в свободное время играющий на фортепьяно». Человек, эксцентричность которого буквально во всем — в еде, одежде, поведении — находила аналогии скорее в мире рок-музыки, чем в классической среде, но который при этом поклонялся строгому искусству Баха с энтузиазмом рьяного сектанта. Книга французского кинодокументалиста Бруно Монсежона не пытается разгадать тайну личности Гульда, но предоставляет обширный материал, в котором музыкант повествует о себе сам: транскрипты интервью на телевидении и радио, ответы на вопросы, отрывки из бесед с Иегуди Менухиным.

«Rock Guide II»

Владимир Василевский

Такие толстые книги — вариант телефонного справочника для меломанов: ложишься в мягкую постель перед сном и быстро засыпаешь в сладких грезах. Еще бы — список длиной

в 22 500 альбомов прочитать-то не каждому времени хватит, не то чтобы прослушать. Но настоящие поклонники не пасуют ни перед какими трудностями. Пусть вас не обманывает римская цифра II в заглавии: речь идет не о сиквеле, а о новом издании, исправленном и дополненном. Первое — под редакцией музыкального критика Артемия Троицкого — вышло в ныне уже доисторическом 1991 году. С тех пор много воды утекло, а групп — распалось, так что без апгрейда нельзя было обойтись никак.

Другой вопрос, что технологический прогресс стремительно вытесняет всяческую справочную литературу с книжных полок в электронное пространство Сети, где ею и пользоваться легче, и публиковать дешевле, и где она (что немаловажно) не загромождает полезной жилплощади. Попадись бы автору этих строк подобный том лет двадцать назад — восторгам бы не было конца. А теперь пятьсот массивных страниц вызывают уважение — и желание положить тяжелый кирпич обратно на полку книжного магазина. Но для кого-то, настроенного на ностальгическую волну, сам процесс листания и чтения, сопровождаемый придыханиями «Ax! Durutti Column… Ax! Dust… Ax! Дилан Боб… Ax! Eagles… Ax! Earth, Wind & Fire… Ax! East of Eden…» превратится в незабываемо сладкое путешествие по волнам собственной меломанской памяти, отравленное только горьким воспоминанием об испорченном горячим чайником диске Japan «Quiet Life» (Hansa 1979).

«Прошу, убей меня!»

Легс Макнил, Джиллиан Маккейн

Аннотация на обложке этой книги из модной «оранжевой» серии «Альтернатива» аттестует ее как «самую лучшую книгу о панк-роке». Это тот редкий случай, когда аннотация не врет или почти не врет. «Почти» — потому что речь идет в основном о нью-йоркской панк-сцене и протопанк-сцене — о Velvet Underground, Stooges, Television, Blondie, New York Dolls —

англичане если и появляются, то исключительно в связи с их американскими приключениями. Из которых самое знаменательное — разумеется, кровавая баня в отеле «Челси», которая для многих стала началом конца панк-рока, а для других — тех, кто до этого никогда ни о каком Сиде Вишесе не слышал, — пиком его дурной славы. Сложенная, как пазл, из крохотных кусочков интервью, обрывков фраз и цитат, книга двух американских журналистов превращается для читателя в увлекательное путешествие по лабиринту имен, названий, событий, концертов, точек, студий, улиц, похожее на компьютерную игру-бродилку, действие которой разворачивается на красочном фоне трех американских десятилетий. Блевота, кровь и сперма льются рекой, алкоголь — литрами, наркотики — килограммами. Короче говоря, «секс, драгс & рокенролл» в лучшем виде. Увлекаясь красочными деталями, двое Маков — Макнил и Маккейн — зачастую, как это свойственно музыкальным журналистам, забывают рассказать о сложном культурном и социальном подтексте, стоявшем за рождением панка. А может, просто предполагают, что интересующийся темой американский читатель и так в курсе. Поэтому для желающих дойти до самой сути «Прошу, убей меня!» мало что даст. Разве что познакомит с тем, как Патти Смит изгнали из школы, обнаружив у нее на парте сборник стихов Рембо, который она даже не успела еще прочитать. Зато для того, чтобы окунуться в быт и досуг Нью-Йорка 1970-х, героинового, кокаинового, гомосексуального, хулиганского, колючего и зубастого, каким мы его знаем по литературным шедеврам самых различных авторов, от Буковски до Лимонова, эта книга действительно незаменима. Еще одно достоинство «Прошу, убей меня!»: мало в какой книге о современной музыке показано, как важна среда, и то, как составляющие ее люди оплодотворяют друг друга (в прямом и переносном смысле). Как говорится — мир тесен, а круг узок. Американский панк вызрел в компании людей, которых вполне можно было усадить за стол на одной, пусть и довольно просторной, кухне. Впрочем, нам ли этого не знать?

«Поэты русского рока: Цой, Науменко, Панов, Федоров, Чистяков, Башаков»

Составитель А. Соя

Вот и вторая книга из замышленного «Азбукой» мегапроекта: в десяти томах представить нам всю, так сказать, литературную составляющую многострадального русского рока. На этот раз под прицелом Питер, однако общее впечатление остается прежним: наряду с текстами, которые, что говорится, и на бумаге торкают (Цой, Майк и до некоторой степени Чистяков), полно и таких, смысл существования которых в отрыве от музыки, мягко говоря, непонятен. Видимо, разделение на тексты литературные, и тем родственные всякой авторской песне и шансону, и тексты вспомогательные, нужные только потому, что по жанру полагается петь какие-то слова, играло в русском роке особую, важную роль, может быть, вроде той, что в роке западном играло разделение между панком и всем остальным. Происхождение уничижительного словечка «говнорок» коренится где-то в этом самом конфликте. Но покуда сосредоточимся на чтении: для меня лично, например, настоящим открытием было, как Цой, начав с весьма интеллектуальной лирики, близкой кругу БГ, сознательно и последовательно работал над собой, пока не упростил тексты и не сделал их доступными совсем другой социальной среде, которая и вознесла «Кино» в пантеон супергрупп.

«Тупой панк-рок для интеллектуалов»

Дмитрий Спирин

Прекрасный образец настоящего DIY — книга рассыпается на странички прямо в руках, место издания неизвестно. А какой еще должна быть книга про группу «Тараканы!»? Именно такой и должна. Главное ведь не упаковка, а месседж. А с месседжем в «Тупом панк-роке» все в порядке: неглупый текст, бодро написанный, к тому же содержит массу баек и уникальных фактов и повествует не только (и не столько) о самих «Тарака-

нах!», сколько об истории московской панк- и хардкор-сцены вообще. А еще о юности группы «Ногу свело!», о роли химических препаратов и алкогольных напитков на заре клубной системы, о первых столкновениях с бритоголовыми, визитах американских панк-эмиссаров и много о чем еще. Написано так занимательно, что рекомендуется даже тем, кто никогда не питал особого интереса к «молотилову» во всех его многообразных формах, а также тем, кому ничего не говорят сотни фамилий и погонял, которыми щедро усыпаны страницы книги.

«Эм-си Че “Vintage“»

Red Fish

Лучшим эпиграфом к этой книге могли бы стать хрестоматийные лермонтовские строки «Скажи-ка, дядя, ведь не даром…» И слово охотливый дядя тут же начинает заливать про золотые деньки русского рок-н-ролла на рубеже перестройки и ваучеризации, путая и перевирая времена и даты, преувеличивая количество выпитого и перетраханного, а внучок, разинув варежку, сидит, слушает и думает: «Да, были люди в дядино время — богатыри, не наше племя…» Общий итог зависит исключительно от того, насколько дядя талантлив как рассказчик. В большинстве случаев мемуары старых рокеров оставляют по себе тоскливо-унылое послевкусие — этакую смесь ароматов плавленого сырка и портвейна «Три топора» во рту на утро после употребления. В лучшем случае получается разухабистое, непритязательное и в меру забавное чтиво. «Vintage», к счастью, относится именно к последней категории. Сюжет этого незамысловатого романа прост, как аккорд Am в первой позиции, — популярный московский рокер Марк Кузнецов бьется об заклад со своим «девочкодругом», что сможет прожить год в провинции, уезжает на Урал, знакомится с персонажами местной тусовки, бухает с джентльменами, трахает дам, попадает в разные пикантные ситуации, включая временное проживание в местном СИЗО. И возвращается обратно в столицу только для того,

чтобы обнаружить, что «девочкодруг» к тому времени спел ему песню «Прощай, детка, детка, прощай!» (А чего другого он, в натуре, ожидал, интересно?) Все это изложено в стиле, смахивающем на бытовые песни Майка Науменко, и обильно пересыпано музыкантскими анекдотами. Читается, соответственно, легко и увлекательно. Настолько легко, что прощаются и многочисленные анахронизмы (журналист, «пишущий в гламурную прессу» в 1991 году; панки, поминающие за стаканом «актрису Уму Турман» в ту же доисторическую эпоху), и фразы, приписываемые различным хорошо знакомым рецензенту историческим персонажам, которые они никогда не могли бы произнести и в состоянии глубочайшей алкогольно-наркотической интоксикации, осложненной обострением маниакально-депрессивного психоза. Ну и что с того, в конце концов? История во все времена пишется вралями, и самые увлекательные мемуары — далеко не самые правдоподобные. Впрочем, на этот счет лучше сказано у бесподобного Умберто Эко в «Баудолино» — но это, разумеется, уже совсем другой коленкор, а если хотите просто приколоться, положив с прицепом на историческую правду, — читайте «Vintage»!

«Разбитая музыка»

Стинг

Этот толстый фолиант — увлекательная автобиография человека, известного широкой публике под именем Стинг. Даже если вы не большой поклонник данного исполнителя, вам будет интересно читать, поскольку книга вышла занятная и весьма поучительная. Нет, здесь нет рецептов, «как стать звездой» быстро и без проблем. Это жизнеописание человека крайне трудолюбивого и целеустремленного. Это история о жизни, о музыке, о любви и о таких банальных вещах, как переезд в большой город, поиск квартиры, создание семьи и т. д. Хотя книга и написана от первого лица, — это скорее описание жизни глазами очевидца, чем гимн во славу себя любимого. Небезынтересно будет узнать, что большую часть детства Стинг провел, помогая

отцу-молочнику. И вставал в пять утра, и бидоны таскал. А самое яркое воспоминание — это новенький велосипед. Что первыми музыкальными экспериментами будущей звезды было битье по клавишам старенького пианино в бабушкиной гостиной. Непростые отношения в семье, первая любовь — все описано в слегка отстраненной, чисто английской манере. Иногда складывается впечатление, что уклад жизни в Британии не менялся последние 200 лет. Разве что когда появляются упоминания о концерте Джими Хендрикса или The Beatles, то вдруг вспоминаешь, что речь идет о 20-м веке. Музыкант не просто описывает свою жизнь, а параллельно рассуждает, взвешивая те или иные события на весах времени, предлагая читателю взглянуть на все своими глазами. Мягко, чисто с джентльменской галантностью описаны отношения со слабым полом — тема всегда щекотливая для людей известных. Для любителей светских хроник и желтой прессы в книге нет абсолютно ничего интересного, разве что история с трупом, который нашли на участке Стинга при строительстве пруда. Для тех же, кому не терпится узнать, каким образом взрослые люди, «консерваторий не кончавшие», становятся музыкантами, — интересного здесь достаточно.

«Дурная мудрость»

Билл Драммонд, Марк Мэннинг

Жанр этой замечательной книги с трудом поддается определению. Первым делом на язык просятся слова «путевой дневник», но в таком случае «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» — тоже путевой дневник. Но начнем с авторов. Для тех, кто не знает: оба персонажа всерьез и надолго занесены в анналы поп-истории — не на те страницы, где Элвис, икону которого герои «Дурной мудрости» везут на Северный полюс, а на те, где провокаторы, трикстеры и хулиганы. Добились они этого еще в конце 1980-х: Драммонд своими эскападами в рамках проектов KLF и The Justified Ancients Of Mu-Mu (самой нашумевшей из которых было публичное сожжение миллиона фунтов

стерлингов), а Мэннинг — участием в пародирующем издержки хэви-металлического гламура Zodiac Mindwarp and the Love Reaction. Вот эти два рок-маргинала в сопровождении турменеджера одного из них и затеяли как-то раз отправиться в то место, где белые медведи трутся спиной о земную ось. Чтобы, как уже упоминалось, доставить туда икону Элвиса и тем самым изменить ход земной истории в сторону мира, дружбы и «жувачки». На полюс, разумеется, трех пьяниц и наркоманов никто непустил, пришлось ограничиться Лапландией. А все, что случилось с ними по дороге (или показалось, что случилось), описано на страницах «Дурной мудрости». Получился этакий сплав яви и нави, где реальность незаметно переходит в порно-хардкор или дарк-комикс, где лирические оды о рок-н-ролльной юности в маленьких английских городках непринужденно мутируют в отвязанный цинизм прожженных шоу-бизнесменов. Книга очень добрая и, не побоимся этого слова, идеалистическая, несмотря (а вернее, парадоксальным образом, благодаря) на ее алкогольно-раблезианскую атмосферу. Главная идея заключается в том, что рок-н-ролл (боже, как чудовищно банально это звучит!) — это образ жизни.

«Фредди Меркьюри»

Питер Фристоун

Это еще одно жизнеописание человека бесспорно великого — Фредди Меркьюри. На этот раз своими откровениями нас осчастливил костюмер группы. Эта книга ознакомитвас в полной мере с тем, какие майки предпочитал певец, что он ел на завтрак, какого цвета халат обычно висел у него в гримерке, а также о тех, кто были его любовниками. Но о любовниках автор пишет вскользь, как бы нехотя, — а о джинсах, бутсах и прочих атрибутах своего ремесла — явно с большим удовольствием. Никаких тайных откровений, описывающих Меркьюри как личность, вы не найдете. Эта книга была бы хороша, выйди она приложением к действительной биографии Фредди.

Отдельным блюдом она смотрится довольно скучно. Хотя если вы большой фанат Меркьюри, то на вашей книжной полке она может занять свое место. Вы вряд ли встретите какие-то факты, что не знали до этого, но некоторые эпизоды могут показаться интересными. В любом случае, книга написана человеком, имевшим непосредственное отношение к звезде и хорошо знавшим ее. Почему Фредди был таким, каким он был, — остается загадкой. Да автор и не пытается «лезть в душу». Некоторые факты, представленные в книге, забавны и интересно описаны (эпизод о знакомстве Меркьюри и Монсератт Кабалье читается легко и захватывающе), тогда как отдельные моменты вообще вызывают недоумение. Сложно представить себе человека, увлекшегося повествованием о том, как в номер Фредди не принесли чаю, а когда все-таки принесли — он оказался в бумажных стаканчиках. «Это было не смешно», — завершает сей пассаж автор. Да уж, действительно несмешно и неинтересно. Увы, тексту еще не повезло и с переводчиком — иногда целые абзацы с трудом поддаются пониманию. Из плюсов: в книге абсолютно отсутствует гламурность, присущая таблоидам. Здесь нет ни претензии на скандал, ни захватывающих душу откровений о личной жизни Фредди. Не остаются без внимания студийные сессии и поездки в гости к различным знаменитостям (Майклу Джексону, например). Трагический финал истории описан просто и без ложного пафоса. Если вам удастся преодолеть скуку первых семидесяти-восьмидесяти страниц, то, привыкнув к костюмерным подробностям и неспешной манере автора излагать свои несложные мысли, а также к постоянным подножкам, расставленным переводчиком, вы, возможно, найдете то интересное, ради чего иногда стоит читать подобные книги.

«Хроника мировой оперы»

Михаил Мугинштейн

Энциклопедии внушают трепет. Размерами, весом, соблазнительной перспективой купить одним махом целый кирпич

знаний и притащить его к себе в норку. «400 лет, 400 опер, 400 интерпретаторов» — оповещает подзаголовок. Оповещает и тут же обманывает — потому что, оказывается, энциклопедия в двух томах, а это всего лишь том первый, но обнаружить это сможет только читатель, наделенный проницательностью Шерлока Холмса и зоркостью Чингачгука. Недостатки, впрочем, на этом практически заканчиваются, все остальное качественно: крепко и просто составленные статьи, содержащие ровно столько информации, сколько нужно неспециалисту, хорошая бумага, обилие иллюстраций и CD-приложение. Иллюстрации в основном представляют сцены из ультрасовременных оперных постановок и наводят на мысль, что если в области музыки опера — жанр сугубо традиционный и консервативный, то в области визуального воплощения дерзновенность оперных режиссеров, европейских и американских, давно оставила за кормой жалкие потуги рок-н-ролла и прочей поп-музыки. По сравнению с иным каким-нибудь «Тангейзером» даже концерт Rammstein — и тот выглядит пионерским утренником.

«Dali: глазами Аманды»

Аманда Лир

Само слово «Дали» уже является маркой, не требующей дополнительного представления. Автор — Аманда Лир — весьма известная фигура во всем мире. При таком альянсе трудно себе представить появление на свет книги унылой и посредственной. Жанр подобной литературы — мемуары. В данном случае это мемуары с фотографиями. Мемуары, написанные красавицей-блондинкой о гениальном художнике, той его части жизни, что он проводил в обществе этой, без сомнения, привлекательной женщины (хотя в народных легендах пол Аманды Лир частенько становился предметом сомнения), о чем они разговаривали и немного об искусстве. Поскольку Аманда Лир и сама имеет некоторое отношение к живописи, о чем она довольно часто упоминает на страницах своих мемуаров, это придает

всему повествованию пикантность и аромат изысканности. О любви в книге мало. Хотя для особо любопытных сообщаем: Сальвадор все-таки признался Аманде в любви в крайне романтичной обстановке. Но в целом их отношения были весьма целомудренны. И даже Гала — законная жена короля сюрреализма — не возражала. Впрочем, обо всем этом вам лучше прочитать самим, из первых рук непосредственной участницы событий. Не проходите мимо, увидев эту книгу на прилавке, особенно ес ли вы идете на день рождения к девушке, увлекающейся искусством и предпочитающей Мураками. Эта изящная книжица продемонстрирует имениннице ваш тонкий вкус и хорошие манеры. Сам Дали был весьма незаурядной личностью, так что чудачеств и забавных моментов в мемуарах более чем достаточно. Из чего становится понятно, почему директорствовавшая в жизни Дали Гала — кстати, уроженка Казани — избавляла его от многих мучительных моментов, беря на себя все тяготы, связанные с бизнесом. Хотя характер у нее, судя по всему, был еще тот. По словам автора, Дали практически никогда не имел наличных, все деньги хранила при себе Гала, заботливо пряча купюры в своей маленькой кожаной сумочке. Несколько глав Гала, как и подобает законной жене, постоянно язвит в отношении Аманды, но чуть позже вдруг сменяет гнев на милость и сама просит «присмотреть за Дали». И Аманда присматривала, благодаря этому она прочла Пруста, а он сделал несколько набросков — и так далее. Правда, по словам Лир, студентки Лондонской Академии искусств, эти наброски были не очень мастерскими. Критично, ничего не скажешь… Фраза Дали — «идеи придумываю для того, чтобы их крали» — могла бы стать девизом многих рекламщиков, а продолжение — «ну и слава богу, это избавляет от их (идей) осуществления» — говорит о том, что от отсутствия идей художник явно не страдал. Жизнелюбию Дали можно только искренне удивляться, а тому, с каким вкусом этот несносный гений двадцатого века прожигал время, отпущенное ему судьбой, остается только позавидовать. Калейдоскоп известных имен, фотографий с носителями

этих самых имен — все это делает книгу увлекательной для чтения на отдыхе. Иногда начинает казаться, что автор специально смешал (или смешала?) этот удивительный коктейль из Феллини, Rolling Stones, The Beatles и т. д. Читайте и узнаете, как создавался «Сатирикон» и почему Аманду Лир не взяли на роль, как Дали писал свои картины и был ли у него талисман. Сама Аманда говорит о себе подчеркнуто уважительно, не забывая о том, что она-то (Аманда Лир) все-таки представитель прогрессивной молодежи, а он (Сальвадор Дали) — буржуа. Но почему-то очень часто начинает казаться, что именно он, сумасброд Дали, и есть представитель всего самого, действительно, прогрессивного. А Аманда Лир с ее увлекательными мемуарами — буржуа.

«Автобиография»

Майлз Дэвис

Майлз Дэвис — великий джазовый музыкант, чье имя давно стало легендой. Автобиография, написанная им, без сомнения, будет оценена любителями джаза и просто любителями читать биографии. О белых людях Дэвис отзывается нелицеприятно, но что поделать — он родился на берегах Миссисипи в начале двадцатого века. Книга написана удивительным языком. Полное ощущение, что вы забрели в маленький прокуренный бар и незнакомый человек, подсев напротив вас со стаканчиком виски, спокойно и непринужденно рассказывает всю свою жизнь, начиная от самого рождения и не упуская ни единого момента. Парадоксально, но факт. Кажется, что на сцену Майлз попал как-то само собой, по крайней мере, так следует из его рассказа. И самой большой проблемой была не музыка, а совсем другие вещи. Уже с первой строчки вам станет понятно, что Майлз абсолютно свой парень. «Знаешь, самое сильное чувство, которое я испытал в жизни, одетым, конечно, — это когда еще в 1944 году я впервые услышал, как Диз (Гиллеспи) и Птица (Чарлз «Птица» Паркер) играли вместе в Сент-Луисе,

штат Миссури». Родители Майлза были людьми небедными, но жили как кошка с собакой. Среди предков Дэвиса были и музыканты, которые играли классическую (!) музыку для увеселения белых плантаторов, пока те не запретили им играть на «инструментах для белых», мотивируя это тем, что «неграм достаточно блюза и спричуэлс». Забавно, не правда ли… А ведь действительно, культура черной Америки ассоциируется с джазом, а не с классической музыкой. Как видите, на это были свои веские причины. Клуб «только для черных», клуб «только для белых» — иногда кажется, что автор пишет про какие-то допотопные времена, но нет, не так давно все это было. И джаз — не такой седенький старикашка, каким его иногда представляют юные поклонники R'n'B и рэпа. Книга — помесь автобиографии с историей джаза, кот рая написана непосредственно очевидцем и участником событий. И в очередной раз становится ясно, как и из всех автобиографий великих музыкантов: одного таланта еще не достаточно, что бы стать великим. Нужно быть еще и трудоголиком — человеком, которому кажется, что он отдыхает, даже когда он работает.

«Как по лезвию»

Александр Башлачев

В истории того периода, который с легкой руки одной звукозаписывающей компании получил условное имя «легенды русского рока», Александр Башлачев всегда занимал особое место. В первую очередь потому, что принадлежал к рок-н-роллу буквально всем своим существом — энергией своих концертных выступлений, огнем поэзии, трагической судьбой — всем, кроме, как это ни парадоксально, музыки. Конечно, большая часть русского рока стоит одной ногой (а то и полутора ногами) в традиции бардов, но именно Башлачев — не БГ, не Шевчук, не Макаревич и не иже с ними — имеет полное право называться тем самым «недостающим звеном» между поколением Высоцкого и «восьмидесятниками». Поэтому и поэзия Башлачева — вещь вполне самодостаточная, возможная и без того, что называется «аудиовизуальным рядом». Одним словом, литература. Издавалась она последний раз давно — еще в конце восьмидесятых, сразу после гибели Саши. Сейчас, как правильно пишет всегда умный и проницательный, хоть и не часто откровенный А. К. Троицкий в предисловии к книге, «совершив чудную "загогулину", российская жизнь вновь вернулась на темные круги своя, и опять нет для нас поэта более важного, чем Александр Башлачев». В первую очередь потому, что «почвенничество» уральско-череповецкого Рембо совсем иного разлива, чем новообретенное православие Кинчева, кокетливый лубочный постмодернизм Гребенщикова или же лукавое резонерское толстовство Шевчука. Строго говоря, если что среди русского рока и было русским — то это Башлачев. Без мозговитых концепций, на думанной стилизации и прочей ереси — прямиком от убогой, яростной и возвышенной жизни плохо освещенной, бездорожной и страшноватой страны. От березовой коры, теплого спирта и бесконечного, как чистый лист формата 1/6 части суши, снега. Такого выплеска энергии этого рода, возможно, больше и не будет никогда, так что у Башлачева есть существенный шанс так и остаться единственным в своем роде хрупким, одухотворенным богатырем на перепутье, русским Арамисом — Алешей Поповичем. Вряд ли возможно представить его сейчас — где-нибудь между группой «Звери» и очередной «Фабрикой». Да, кстати, и не стоит читать пару интервью в конце книги, разве уж если только очень сильно интересуетесь — мы все были такими наивными и глупыми тогда. Примерно как песня «Wind Of Changes» группы The Scorpions.

«Король Чернило II»

Ник Кейв

Не прошло и полгода, как за черной книжицей с черным силуэтом автора последовала красная, с силуэтом, соответственно, красным. Это второй том творений австралийского баши-

бузука, который охватывает более известный широкой публике период — от Your Funeral My Trial до The Boatman's Call, то есть те самые известные широкой публике песни про мертвых девушек (мальчиков, впрочем, тоже). Разумеется, оригинал всегда сильнее копии, и в случае песен перевод — лишь вспомогательное средство, которое никогда не сотрет очарования исходного текста. Зато опять множество рисунков, начертанных мрачным пером антипода, плюс малоизвестные перлы вроде сценария для мультфильма (!) или автобиографического рассказа о том, как Ник дошел до жизни такой, под названием «И Плоть стала Словом». Милый такой сувенир для лиц младшего среднего возраста — именно такие, судя по впечатлениям, преобладали на последних московских концертах Ника Потрошителя.

«31 песня (и 14 альбомов)»

Ник Хорнби

Видный писатель-меломан, работавший некогда в New Yorker и написавший свой роман «Hi-Fi», в частности, о том, как любовь к винилу и полиэфиру чуть было не победила любовь к женщине, любитель покопаться на развалах и распродажах аудиопродукции и составить в подарок друзьям и родственникам самопальные сборники на кассетах, — короче говоря, Ник Хорнби решил поделиться размышлениями о песнях и альбомах, оказавших наибольшее влияние на его жизнь. Вкус у писателя оказался вполне типичным и ожидаемым для британского «восьмидераста» — от диско к рейву через постпанк и грандж. Но размышления его не лишены забавности. Писатель по природе своей, даже говоря на столь узкую тему, как популярная музыка, не может поневоле не задеть всего, что вокруг да около. И вот мы узнаем об истоках любви старушки Британии к американской падчерице, втянувшей ее в конечном итоге в иракские пески, и о том, как с высоты писательского кресла воспринимаются многочисленные нелепости рок/поп-текстов, и о том, почему Брюса Спрингстина все-таки стоит уважать, несмотря на его очевидную выспренность и вульгарность, и о многом другом. Написано не без блеска, хотя с постоянным (и ожидаемым) налетом лондонского пижонского цинизма и типично британской манерой прокладывать толстый-толстый слой иронии между своими истинными мыслями и окружающим миром. Кроме личных вкусов и пристрастий Ник Хорнби иногда делится и общественной болью: так, одна глава, прочувствованная и страстная, посвящена выжимающей скупую меломанскую слезу истории упадка и вымирания маленьких музыкальных магазинчиков в Лондоне (писатель сам на заре своей карьеры работал продавцом-консультантом в одной такой лавчонке). В целом получается ненатужное, элегантное, интеллигентное повествование о себе любимом и мире, которое читается «на раз». И совершенно правильно, что издательство поместило его в своей «метросексуальной» серии, самое ему там и место, потому что музыка в наше время уже не способ принадлежать к секте избранных, а такой же элемент хорошего тона, как парфюм или солнцезащитные очки. Увы, ответа на то, почему так вышло, у Ника Хорнби не найдешь. Но не стоит требовать невозможного от метросексуалов.

«Книга правды»

Алекс Керви

Алекс Керви — человек многогранный, хотя больше известен окружающему миру как переводчик (на его счету «Джанки» Берроуза и «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» Хантера-Томпсона) и отличается активной деятельностью в околоинтеллектуальном сообществе, где в его досье — один из ранних «нарколитературных» скандалов, закончившихся изгнанием Фальковского из «Независимой газеты». Позирующий то как кроулианец, то как скинхед, то как агент галактической разведки, Керви — типичный продукт взорвавшейся андеграундом Москвы 1990-х, певец того же шизового стиля, откуда Гарик Осипов и Дмитрий Пименов. Чего он только не успел!

И в частности, отдать солидный кусок своего воображения музыкальной журналистике. Живя в Англии в середине 1990-х, сей друг Хоума и Уайта не только баловался игрой на басу, но и успел написать много материалов, публиковавшихся в основном в созданном Севой Новгородцевым «О!» — издании забавном, но оказавшемся на тот момент коммерчески несвоевременным. Вот эти материалы и составляют основу «Книги правды» — огромный очерк «От Рединга к Гластонбери» плюс множество заметок, рецензий, отчетов и пр. А к ним добавлены отрывки из мемуаров, предисловия к переводным книгам, статьи по поводу и без повода и «программное интервью» все в том же духе гонзомегаломании. Как к этому психоделическому оливье относиться, сильно зависит от вкуса — кто-то завязнет, а кого-то затянет. Сам способ письма и предметы его — это то самое подполье, контекст которого Керви настойчиво (через переводы и издательскую деятельность) пытается уже много лет переложить на язык родных осин. Получается по меньшей мере забавно, хотя и (в силу того, что большинство текстов написано уже почти десять лет назад) довольно архаично. Впрочем, страна у нас такая странная — когда в таком духе писался «О!», это было преждевременно, а сейчас уже архаично — поди попробуй уловить момент. Независимо от пристрастий, «Книга правды» обречена на то, чтобы войти в историю хотя бы как памятник одному из самых ярких и забавных персонажей московской контркультуры. А памятник в 30 лет (именно столько живет среди нас Алекс в своем нынешнем воплощении) — это вполне себе гонзомегаломания.

«Поп-культура и знаки времени»

Александр Дугин

Платон уподоблял обыденный мир мрачной пещере, где люди закованы в цепи так, что им не повернуть головы и неувидеть ничего, кроме стен прямо перед собой. Там, на стенах, они различают игру теней, которые отбрасывают фигуры людей, двигающихся в глубине пещеры. В своем неведении закованные пленники полагают, что эти тени и есть единственные реальные вещи в мире. Если бы только они смогли повернуть головы, то увидели бы огонь костра и других людей. А если бы несчастным удалось сбросить свои цепи, они, возможно, смогли бы даже добраться до выхода, где их глазам открылся бы великолепный, залитый солнцем мир. В реальности начала 21 века место отверстия в пещере занимает огромный телеэкран, а тени, отбрасываемые им на стены, — это образы поп-культуры. Поэтому со временем философам все чаще и чаще приходится рассуждать не о природе абсолюта или о тайнах сознания, а о Мадонне или Эминеме. Заниматься тем, что на их языке называется экзегезой обыденного, т. е. выискиванием скрытого смысла очевидного. Теперь благодаря Дугину мы имеем возможность узнать, о чем же, сами того неподозревая, поют и подо что приплясывают отечественная попса и рок-н-ролл. В отличие от других известных толкователей пошлого и банального, вроде того же Славоя Жижека, Дугин не прибегает к модному постструктуралистскому мумбо-юмбо, предпочитая вести беседу на языке колдуна и мага, что куда как более уместно. В первой части книги — «Метафизика эстрады» — Александр Гельевич подвергает ироническому восхвалению лопочущих заек Варум, Лель и иже с ними, извлекая метафизические «бездны страшны» из их убогого воркования, во второй — «Музыка смерть», — судя по всему, отдает дань тем, перед кем искренне преклоняется (Летову и Курехину; памяти последнего, посвящена вся книга). Затем немного о театре и телевидении и на закуску чуть-чуть чистой теории (очевидно, для того, чтобы исподтишка затянуть в пучину евразийства неосторожную поклонницу Земфиры). Уровень анализа весьма различается — от вполне академического до психоделического гона в стиле «Ленин был гриб». Я не знаю, является ли мяуканье Кати Лель «антимимоном пневмы, кривлянием обособившегося двойника в зеркале, хрустом скорлуп, воплем Пистис Софии из нижних оборок диаконисы кромешной мглы», как утверждает

Дугин, но это, наверное, единственный подход, который позволяет уважающему себя человеку в здравом уме смириться с существованием песни про «джага-джага». Короче говоря, в начале весело, а в конце чтения становится грустно — типа «Как живем?.. Звери мы, господа!», а потом даже и жутковато. Нет, не так прост этот мир, как кажется, и не зря обкомы и горкомы выискивали 20 лет назад в поп-музыке коварную скрытую пропаганду — есть она там, есть, и спасибо Александру Дугину за то, что он нам об этом напомнил.

«История Фредди Меркьюри»

Мариам Ахундова

История Фредди Меркьюри, рассказанная Ахундовой, не шокирует. Она скорее удивляет и разочаровывает. Авторесса (из самых благих побуждений) навязчиво пытается внушить читателю, что Фредди был практически святой и уж ни в коем случае не гомосексуалист. По словам автора книги, «гомосексуалист способен создать мощное, красивое, талантливое, даже гениальное произведение. Но в нем не будет того, на чем тысячелетиями держится вся человеческая культура. Там нет любви». Спорно, конечно. Любовь — она ведь к половой ориентации не сводится. Трудно не согласиться, что Меркьюри был личностью противоречивой и выдающейся. Трудно оспорить тот факт, что многие после смерти артиста понаписали дурных и глупых книжек о его «жизни». Но, как ни крути, Фредди был тем, кем был, и спал с тем, с кем спал. И на самом деле ничего постыдного в этом нет. В книге Ахундовой много интересных фактов о зороастрийской религии, о формировании группы Queen и, простите за банальность, творческом пути коллектива. Но, к сожалению, написано все это настолько зло и предвзято, что местами просто неприятно читать. Позволю себе процитировать пассаж из текста, выбранный наугад: «Безосновательный отказ британского телевидения демонстрировать видеоклипы Queen только повысил их популярность — и их все равно

показывали по кабельным каналам. Хотя Queen по-прежнему игнорируют власти и они не получают престижных премий — но что им до того! Повсюду поют их песни, а их бешеная популярность и без пошлых премий и орденов заставляет их врагов рыдать по ночам». Таким языком написана, увы, вся книга. За пеленой злобы, к сожалению, теряются действительно интересные факты из биографии Меркьюри. Попытки автора представить певца святым мучеником, павшим жертвой «голубой мафии», достаточно надуманны. Никто и никогда не оспаривал роли Queen и лично Фредди Меркьюри в музыкальной истории. И спал он с мальчиками или с девочками — в историческом контексте это абсолютно неважно. Важно то, что этот неординарный человек внес огромный вклад в музыку, важно то, что и сегодня, когда Меркьюри нет в живых уже 15 лет, армия его слушателей растет и записи расходятся миллионными тиражами.

«Рок на Павелецкой»

Алексей Поликовский

Еще одна попытка придать легенде о русском роке литературную форму: надо отметить, чуть ли не самая удачная. По крайней мере, этот маленький роман (скорее, повесть) превосходит тексты Владимира Рекшана и Алексея Рыбина в первую очередь тем, что схватывает не только портвейно-подвальный быт рок-н-ролльного подполья, но и его внутренний мистический, запредельный дух, надежду вырваться на ту самую «другую сторону», о которой пел Моррисон, советский вариант психоделического восстания. История о группе Final Melody (прототипом, возможно, является «Рубиновая атака» или какая-нибудь подобная группа раннего московского хард-рока), которая играла так, что крышу сносило, а потом распалась, так и не оставив ни одной записи, — архетипичное предание начала 1980-х. Написано местами красиво, с тонким пониманием и знанием времени, хотя базисный сюжет (жур-

налист, обходящий участников группы 20 лет спустя, пытается выведать, не сохранилось ли хоть какой-нибудь завалящей записи) даже штампом назвать язык не поворачивается. Но в тексте есть какое-то обаяние, какая-то искренняя, не сопливая ностальгия, которая позволяет закрыть глаза на условности высокого искусства. Ведь и вправду — хотели улететь на другую сторону Луны! Вопрос только в том, куда попали…

«Open Air»

эМСи ЧЕ

эМСи Че написал солнечную, веселую книгу без претензий, наконец породив тот самый «клубный текст», о необходимости которого так давно говорили все кому не лень. Таким текстом по определению не были ни Стогов, ни Спектор, упорно пытавшиеся стать «русской гламорамой», — не бы ли в силу звериной серьезности и тяжеловесности, доставшейся в наследство от подъездной эпохи. эМСи Че им стал. К тому же пишет он о том, что хорошо знает. Упоминания о связи героя с журналом «ОМ», щедро разбросанные в тексте, отражают соответствующие связи автора. История пронырливого МС, который, невзирая на происки врагов, конкурентов и ревнивого олигарха, организует успешный open air в Сочи, пересыпана диджейскими байками, разбавлена целомудренно-романтическим сексом и спрыснута легкой пенкой глянца. В литературном смысле — не бог весть что, но в этом жанре чувство стиля гораздо важнее громадья идей. А еще важнее позитивная энергетика — под ласковым южным солнцем злых людей нет, и когда под тыц-тыц-тыц прямой хаус-бочки черты ангелов начинают проявляться в таких персонажах романа, как менты, омоновцы и драгдилеры, почему-то — вопреки Станиславскому — начинаешь верить, верить и еще раз верить. Ну и конечно, как всегда у эМСи Че, в центре событий огромная, безграничная, бесконечная, невероятная любовь… к самому себе, даже если речь идет о девушке. Впрочем, нарциссизм этот

настолько ироничен, что даже не раздражает. В конце, разумеется, в соответствии с кондовыми законами развлекательного жанра, враги повержены, конкуренты разорены, божественно прекрасная любимая падает прямо в объятия. И даже милиция выражает благодарность и снимает все необоснованные подозрения в наркоторговле. Автор не настолько прост: чтобы не выглядеть наивным простачком, он тут же показывает читателю фигу, и на последней странице мы понимаем, что и подозрения были обоснованными, и враги на следующий год будут партнерами, а друзья — врагами.

«Butch: дневник артиста»

Елена Погребижская

Дневник слегка недоделанной девушки неопределенного пола — характерного персонажа русского рока козыревской эпохи — относится к тому жанру, который один мой знакомый называет «гламуром пива “Балтика” и сигарет “Уинстон”». Мутный неразбавленный поток девичьего сознания, перечни подаренных плюшевых мишек, рассказы об убогих буднях шоубизнеса, обычно скучные, иногда возвышающиеся до сносной иронии, чересчур частое употребление слова «артист» (слова попсового происхождения, в историческую эпоху русского рока считавшегося оскорблением), навязчивая тема фитнеса и лишнего веса (о, это роковое обаяние Америки!) и т. д. и т. п. Если все это написано для того, чтобы вызвать сочувствие к нынешним рокерам и их нелегкому быту, то дневник Бутч достигает поставленной цели на все сто — не приведи бог жить в подобном инсектарии.

«Занимательная наркология»

Андрей Макаревич

Изящная маленькая книжка, обложка которой воспроизводит хорошо знакомое старшему поколению сочетание цветов и линий — этикетку водки «Московская». И вот уже тема задана:

хотя наркотиков много, книга посвящена в основном национальному — алкоголю. В принципе любой из нас смог бы написать такую же. У кого в нашей стране многопьющих людей не было первой рюмки водки, первого падения с ног, первого алкогольного конфуза и прочих первых радостей? Но немногие смогли бы написать так же. Макаревич талантлив, он блестящий рассказчик и тонкий стилист. Стандартный набор алкогольных анекдотов превращается под его пером в легкое и умеренно философичное чтение. Общее отношение к вопросу — то, что некогда называлось почти позабытым нынче термином «культурпитейство». То есть важно: с кем, когда, как, что и в каких количествах. Зная все это, можно легко проплыть по пьяному морю между Сциллой алкоголизма и Харибдой ханжеского воздержания. Стакан портвейна — настоящий герой «Занимательной наркологии», однако в конце некоторое количество страниц отведено и другим зельям — табаку и гандже. Причем в отношении последней автор честно признается, что не только курил, но и затягивался, хотя кайфа не понял. Тон — сдержанный, разумный, далекий от наркоистерии, с намеком на легалайз, за что Андрею Вадимовичу отдельное спасибо.

«Царство страха»

Хантер С. Томпсон

В последней книге великого и ужасного Хантера Томпсона нет ни строчки о музыке (если не считать упоминания пары песен), однако если взглянуть правде в глаза, то к рок-н-роллу автор имеет больше отношения, чем сотня иных гитаристов. Можно сказать, что он и был ангелом-хранителем той «огромной и прекрасной волны», на гребне которой явились миру такие люди, как он сам, как Кен Кизи, Тимоти Лири, Уильям Берроуз и многие другие — почти все уже покинувшие нас, не в силах больше жить в мире, где Свиньи одерживают уверенную победу. В «Царстве страха» Томпсон, следуя своей излюбленной энергичной гонзо-манере, прокручивает кадры прожитой жизни, предчувствуя — или планируя? — свою скорую смерть (писатель добровольно ушел из жизни 21 февраля 2005 года). Если какой-нибудь его текст можно было бы назвать мемуарами, то это точно «Царство страха», ибо других мы уже не дождемся. Все, что волновало сердце и ум Акулы Ханта, нашло место на страницах этой книги: мотоциклы, демократический конгресс в Чикаго, грязные войны Дяди Сэма во Вьетнаме и на Гренаде (кто теперь помнит эту Гренаду? — а ведь именно там репетировался Афганистан и Ирак), дружба с Джонни Деппом и порнозвездами. Мозаика текстов, интервью, писем, статей, эссе, лирических отступлений, которая в других руках стала бы пошлым сборником журналистских работ, у Хантера Томпсона обретает электрическую энергию романа, искрит, пахнет озоном, как воздух перед торнадо. Эта радиация, присущая лучшим его текстам — «Ангелам Ада», «Поколению свиней», «Страху и ненависти», — есть и в «Царстве», но чувствуется, что силы шторма уже на исходе. Основная интонация книги — по-прежнему бравада, но это горькая бравада человека, чувствующего, что его дело проиграно, друзья и соратники один за другим уходят из жизни и наступает старость. Хантеру Томпсону всегда было душно и тесно в Америке, а в последние годы, которые писатель окрестил Серым Десятилетием, духота становилась невыносимой — наступило Бушное Время. Томпсон ненавидел нытиков, но прочесть это можно только между строк, пробившись сквозь грубоватость и напористость классического американского индивидуалиста, считающего, что он один в силах восстановить справедливость. Последние годы писатель отстаивал свою колорадскую глухомань от натиска корпоративного бизнеса, от пришельцев-нуворишей и от надвигающегося бетона автострад. Но врагов становилось все больше, а здоровья все меньше. Он умер, как герой вестерна — не сдавшись врагу в плен.

«Люди в красках»

Игорь Исаев, Андрей Бартенев

Люди любили раскрашивать свое тело с глубокой древности, компенсируя несправедливость природы, лишившей гомо сапиенс яркого оперенья или пушистой шкурки. Судя по всему, боди-арт появился гораздо раньше одежды. Со временем, однако, люди стали прикрывать тело все тщательнее, а к искусству раскрашивания кожи прибегать реже, в более умеренных количествах и на ограниченной плоскостью лица территории. Так боди-арт выродился в мейк-ап. Однако остались профессии, где древние традиции все еще блюдутся, и рок-н-ролл — одна из них. «Люди в красках» — яркий, красоный альбом, посвященный современному боди-арту. Среди чисто художественных творений и работ для кино и рекламы попадается немало персонажей музыкального мира, у части которых (Kiss, Мэрилин Мэнсон) художественный грим практически заменил лицо. С отечественными примерами дело хуже — со времен умеренно накрашенных в духе «новых романтиков» лиц некоторых рокеров-восьмидесятников появилось мало что нового.

«Депеш Мод»

Сергей Жадан

Вопрос о том, кончились ли на самом деле 1990-е, остается открытым. В литературе, по крайней мере. Потому что в ней что-то на самом деле кончается не в соответствии с календарем, а только когда о том, что кончилось, написали так, как надо. Ощущение потерянного на постсоветской помойке молодого человека пытались изобразить многие — году так в 1997-м каждый второй начинающий писатель в Москве воображал себя местечковым Ирвином Уэлшем. Тем не менее ничего художественного из этого мутного потока бытописания спальных районов так и не родилось. Потребовалось еще пять лет и братская Украина, чтобы достойный текст на конец родился. Сергей Жадан, талантливый и активный украинский поэт, написал

сагу о скитаниях компании бездельников по безликим улицам и кварталам лишенного национальности города-завода Харькова, вроде бы неотличимую на первый взгляд от всяких денежкиных и в то же время со всем другую — в первую очередь, уровнем таланта. Городские анекдоты о бессмысленных пьяных эскападах на футбольных матчах, о дурацких попытках что-нибудь украсть или заработать, сдобренных комической псевдолевой риторикой, травяные байки, грубо склеенные с отрывками из очередной «Поваренной книги анархиста», — все эти поднадоевшие компоненты нового социального романа в «Депеш мод» обращаются в качественно иное варево — густое и безнадежно тоскливое, как дождливое небо над трубами промзоны. Главный герой прозы Жадана — тяжелое молчание, нависшее над лишенным смысла миром, молчание, которое испуганная жизнь тщетно пытается раскачать пьяными криками футбольных фанатов, очередным хитом какого-нибудь попсового «степана галябарды» по радио. Но молчание подобно стеклянному колпаку, под которым бьется в поисках выхода рассказчик вместе со своими случайными приятелями. Трудно писать о депрессии так, чтобы не впасть в нее самому и не вогнать в нее читателя. Жадану это удалось.

«Я введу вас в мир поп»

Артем Троицкий

Новая книга плейбоя и селебрити Артемия Троицкого написана в редчайшем жанре — жанре конспекта. То есть пишут-то в этом жанре миллионы студентов и десятки тысяч преподавателей, но вот только сколько их творений удостаивается чести быть напечатанными типографской краской большим тиражом? А тут мы имеем дело именно с таким случаем. «Я введу вас в мир поп» — запись семинаров по спецкурсу музыкальной журналистики, которые Троицкий с успехом вел в МГУ. А поскольку почти каждый семинар преподаватель оформлял в стилистике ток-шоу, приглашая в гости кого-нибудь из светочей российского шоу-бизнеса, то это еще и собрание уникальных

бесед с Иваном Шаповаловым, Александром Кушниром, Александром Скляром, Михаилом Козыревым и еще десятком-другим прелюбопытнейших личностей, включая Ирину Хакамаду (только идиоты все еще видят какие-то различия между политикой и поп-музыкой). Продукт всех этих академических посиделок получился, как выражаются в Европах, «идеосинкратическим», то есть предвзятым в самом что ни на есть лучшем смысле. Почти с любым мнением и каждой теорией, изложенными Артемием Кивовичем, хочется поспорить, но главного у него не отнимешь — легкости, доступности, впечатляющей эрудиции, окрашенной светской иронией и легким цинизмом, — короче говоря, таланта. Если бы Троицкий писал не низкую журналистику, а высокое «худ-ло», могу поспорить — быть бы ему нашим Бегбедером. Но и в выбранном амплуа он выдерживает уровень: не будет преувеличением сказать, что другим названием этой книги могло бы быть «Все, что вы хотели знать о попе, но боялись спросить». Ни одна тема не остается неосвещенной хотя бы вскользь: авторские права, музыкальное телевидение, пиар, промоутерский бизнес, внешний вид артиста — всему нашлось место. Троицкий, некогда зачинатель поп-журналистики в этой стране, недалек от того, чтобы оказаться и ее могильщиком. Впрочем, трагедия тут видна, только если чересчур серьезно относиться ко всяческим буги-вуги, ведь каждого, у кого дома есть больше тысячи компактов, не раз охватывало желание взять и выбросить их всем скопом на помойку.

«Механический человек»

Чарльз Мэнсон

Из символов протеста Чарльз Мэнсон — наверное, самый востребованный после Че Гевары. Хотя, в отличие от команданте, ответ на вопрос «Протест против чего именно?» в случае Мэнсона затруднителен. Тем не менее факт остается фактом: 35 лет спустя после ареста Мэнсон получает самое большое

количество писем от поклонников среди всех заключенных американской пенитенциарной системы. Однако за кровавыми криминальными подробностями зачастую как-то забывается, что будущее свое он планировал несколько иначе. Он мечтал стать поп-звездой и даже успел записать еще на свободе альбом плюс несколько песен не с кем-нибудь, а с The Beach Boys. Карьера не складывалась, а когда, наконец, пришла кровавая слава, плодами ее из тюремной камеры уже трудновато было воспользоваться. Хотя и в тюрьме Мэнсон умудрился записать два альбома. Притягательность творчества Врага Общества № 1 испытали на себе Guns'N'Roses, The Lemonheads и, разумеется, духовный сын и наследник Чарльза — Мэнсон, который Мэрилин. Вся песенная лирика уместилась в тонкую книжечку, включая жутковатую сказку про вьюрка, рассказанную на досуге добрым дедушкой Чарли (ему ведь, и правда, уже под семьдесят). Самое сильное впечатление производит удивительное сходство поэзии Мэнсона с поэзией Моррисона (несмотря на очевидный интеллектуализм и куда большую эрудицию второго). Очевидно, Zeitgeist — дух времени — действительно существует: Калифорния шестидесятых резонировала на одной весьма определенной волне. Декадентскую книжицу слегка портит точный, но абсолютно не вдохновенный перевод. Впрочем, адекватного переводчика следовало, скорее всего, искать тоже где-нибудь в камере смертников.

«Никто из ниоткуда»

Илья Кормильцев

В первую книгу автора текстов давно уже пребывающей, как и положено легендам, на кладбище истории группы Nautilus Pompilius именно эти тексты, как не трудно догадаться, и вошли. Но, к счастью, не только они — иначе место «Никто из ниоткуда» было бы на книжной полке стареющего фанатика русского рока рядом с обтерханной по краям от частого переклеивания фотографией Виктора Цоя. В отличие от группы,

автор жив и, судя по всему, мыслит себя не только в прошлом или даже в настоящем — где он известен как переводчик и издатель, — но и в гипотетическом литературном будущем. Поэтому в книге кроме документов рок-н-ролльной истории, таких как тексты песен «Нау» и ряда других групп, к которым Кормильцев имел большее или меньшее касательство (Настя, «Урфин Джюс», «Томас»), а также сценария несостоявшейся в связи с распадом СССР кинокартины, замысленной на вершине первой волны популярности «Наутилуса», есть еще стихи, к музыке отношения не имеющие, и мрачновато-готические рассказы, написанные до и после самопотопления моллюска. Предваряет коллаж предисловие Дмитрия Быкова, который настолько изобретательно пытается доказать сверхчеловеческую природу Кормильцева, что и сам в конце пугается. Похоже, это попытка сообщить читателю, что Nautilus Pompilius был только эпизодом в жизни автора. Насколько это получилось, пусть каждый решает для себя сам.

«Хроники: том первый»

Боб Дилан

Этой автобиографии Америка ждала долго и страстно. Несмотря на всю нелепость подобного сравнения, рискнем сказать — так же долго и страстно, как ждала бы Россия автобиографию А. Б. Пугачевой. Ну просто не приходит в голову никакого другого варианта, а все потому, что фигуры, сопоставимой по масштабам с Робертом Циммерманом, у нас — увы! — просто нет (товарища, закричавшего «А Гребенщиков?», попрошу немедленно вывести из зала). И вот дождалась! По крайней мере, первой части. И, похоже, не разочаровалась, судя по восторженным отрывкам из прессы, напечатанным на форзаце. Но это личные проблемы США, нам важнее понять, что Дилан значит для России. К сожалению, практически ничего. А потому, как это со всей очевидностью следует из самого текста мемуаров, плотного, как поэзия их автора, перенасыщенного реалиями до такой степени, что издатели посчитали нужным снабдить книгу комментариями объемом с энциклопедический словарь. Произвольно перемещаясь из года 1959 в год 1987 и обратно, самая скрытная из легенд американской музыки, может, и не раскрывает каких-то своих сокровенных тайн, но зато без лишнего пафоса дает нам понять (вероятно, вовсе не собираясь этого делать), почему Америка — великая страна. При распространившихся сейчас настроениях дешевого антиамериканизма чтение это еще и педагогически полезное. Для того чтобы уследить за этим кипением творческой жизни, требуется очень любить и самого автора, и американскую историю, так что вряд ли эту книгу ждет массовый успех в России. Создавая яркую и многофигурную мозаику встреч, сейшенов, концертов и клубов, Дилан старательно обходит наиболее острые углы — мы так толком и не узнаем, почему в конце 1960-х, будучи фигурой практически политических масштабов и огромного влияния, он резко дистанцировался от молодежной революции и ушел в тень. Немногим яснее становится и сложная матримониальная жизнь «сумрачного гения». Дилан предпочитает писать о своих мимолетных впечатлениях, о летней жаре и осенней свежести, о дорогах Новой Англии и барах дельты Миссисипи, о прочитанных книгах и просмотренных фильмах — обо всем том, из чего на самом деле и состоит жизнь артиста, положив при этом на потенциальную медийную ценность своих прогулок по волне своей памяти. Формат загадочности выдерживается на все сто, по крайней мере, для любителей простых ответов на сложнейшие вопросы. А для тех, кто до сих пор еще воспринимает артиста как живое, мыслящее существо, а не как подопытную крыску из очередного шоу «За стеклом», будет просто приятно увидеть мир его глазами и подивиться, каким образом весь этот поток увлекательных банальностей, из которых состоит жизнь каждого человека, у одних превращается в, скажем, «Hard Rain A-Gonna Fall» или в «Highway 61 Revisited», а у других — нет.

«Электрошок: записки диджея»

Лоран Гарнье, Давид Брен-Ламбер

Лоран Гарнье, диджей-резидент легендарной манчестерской «Гасиенды», четырехкратный обладатель британской Dance Award, вряд ли нуждается в представлении для знатоков, хотя дебют его в качестве пишущего человека способен вызвать определенные подозрения. «Самое бессловесное искусство», в котором оценка «штырит-нештырит» является чуть ли не вершиной вербализации сложных сомато-психологических переживаний, обычно плохо дружит с печатным станком. Даже на среднестатистическом рэйв-флаере словам совсем, прямо скажем, не тесно. И тем не менее книга сложилась. Это история любви человека к неживому звуку, к клубящейся толпе, любви пылкого парижанина к склизкой Англии и много еще каких экзотических видов любви. Это история эволюции и девальвации, взлета и падения танцевальной культуры, ее финансов и ее зависимостей. Издатели не поскупились воспроизвести дизайн французского издания, поэтому книга смотрится крайне выгодно на фоне пуританского дизайна большинства российских книг. Она сама отчасти смахивает на почему-то очень толстый флайер, в котором неожиданно много букв.

«Горбушка»

Андрей Мухин

Гениев в русской литературе традиционно хватало: дефицит существовал всегда на беллетристов. То есть людей, которые модно, увлекательно и ненапряженно умеют изложить захватывающий сюжет с узнаваемыми героями в небезынтересном современнику антураже. И то, что подобных писателей у нас начало, наконец, прибывать, не может нас не радовать. Захватывающий динамичный наркотический нуар на фоне тайной жизни горбушкинского аудио-видео рынка, с убийствами, галлюцинациями и лирическими отступлениями, с грустью по утраченным провинциальным нефтеюганским корням. Немного от Хейли, немного от Кинга, чуть больше от Уэлша и Кузнецова — рецепт очевиден, но «Кровавая Мэри» ведь не становится хуже от того, что мы знаем, как ее делают? Признаюсь честно, я — любитель добротного коммерческого чтива, как и любой здоровый человек. А если мне при этом сообщается минимум забавной и небесполезной для выживания в преступном и бесчеловечном мегаполисе информации, то и того лучше. По крайней мере, в «Горбушке» нет нечеловеческих пиар-амбиций Ревазова, и она пусть менее изобретательна, но более жизненна, чем психоделические псевдодетективы от Кузнецова. На том и успокоимся. Восемьдесят процентов книг на земле написаны лишь для того, что бы как-то скоротать время в общественном транспорте. А если говорить о фоне физиологическом, в старом, позапрошловековом смысле этого фона, то следует сказать, что ничего сопоставимого с романом Мухина о чреве Москвы — в данном случае чреве музыкальном, пиратском, в котором музыка переваривается до состояния простого, засаленного и бездушного товара, не было написано уже черт-те знает сколько лет. Нравы торговцев и покупателей, искусство составления нелицензионных сборников для различных категорий населения, сами категории обитателей московского человечьего зоопарка — все это безмерно увлекательно и поучительно. Афтар, пиши еще.

«“Трави трассу!“ “Сатана! Сатана! Сатана!“»

Тони Уайт

С двумя мини-романами Тони Уайта, человека, прошедшего боевую школу британской музыкальной и просто журналистики, главного редактора Idler, мы сталкиваемся, строго говоря, не в первый раз. Два года назад они уже выходили в издательстве «Ультра. Культура», но тот небольшой тираж стремительно исчез с прилавков магазинов, поэтому для массовой публики — многочисленных поклонников «оранжевой» серии «Альтернатива» эта встреча станет первой. Надо сказать, что британский аван-треш прижился в России чуть ли не лучше, чем на истори-

ческой родине: не секрет, что тиражи романов того же Стюарта Хоума в стране березового ситца намного выше, чем в коварном Альбионе. Чрезмерность и бредовость сюжета в литературе после Пелевина и Проханова вряд ли является столь уж пряным блюдом — это для нас почти свое, почти родное. Поэтому откровенно гиньольный Уайт — самое то. «Экологический» роман «Трави трассу!» хотя и основан на реальных событиях (борьбе автономов и «зеленых» со строительством очередной лондонской кольцевой), но столь же далек от документальности, как гипотетический протокол ДТП, составленный объевшимся психоделиками сержантом ГИБДД. Безумный сюжет, набирая обороты, заканчивается воскрешением древних британских драконов, которые зачищают адским пламенем логово бюрократов из местного ДРСУ, покусившихся на дорогие сердцу бриттов зеленые лужайки. Отточив перо на катастрофах районного масштаба, в следующем романе Уайт решил не мелочиться и размахнулся на полноценный Армагеддон. В уморительном опусе «Сатана! Сатана! Сатана!» на орехи достается всем: и готам, и неохристианским сектантам, и поклонникам «даркушного» металла, а Антихристом оказывается не кто иной… как Фил Коллинз. (Представьте себе русский роман с Филиппом Киркоровым в той же роли.) Воспринимать все это серьезно в цивилизованном обществе нельзя, а вот у нас попавший в руки отдельных лишенных юмора депутатов Уайт уже стал причиной миниистерики в прямом телеэфире.

«Путешествие рок-дилетанта»

Александр Житинский

Книга рок-дилетанта Житинского — не новинка. Скорее всего, это хорошо забытая классика. Учитывая темпы нашего существования, 15 лет — это целая геологическая эпоха, а именно столько времени прошло с момента ее первого издания. К юбилею автор серьезно переписал ее: переделал все части «от автора», разделяющие многочисленные интервью, и снабдил справочным материалом. Без этого «Путешествие» стало бы

герменевтическим текстом, доступным только немногим посвященным. Ну кто теперь помнит такие коллективы, как «Тамбурин», «Нате!» или «Россияне»? Особенно те, кто в 1991 году еще пешком под стол ходили. Попыток написать историю советско-русского рока было немало: некоторые были вполне энциклопедические, другие — скорее мемуарно-тусовочные. Все они страдают известной неполноценностью, во всех — море информации и,как правило, ускользает дух времени. Житинскому тоже не удалось миновать эти рифы, но его полностью извиняет то, что писал он не столько о роке, сколько о себе. О том, с чего вдруг средних лет писатель, дитя совсем иной эпохи, человек умеренно прогрессивных взглядов и пристрастий вдруг зарубился на музыке другого непонятного поколения. О его медленной, постепенной эволюции от аутсайдера к инсайдеру, о вовлечении в опутывающую своей многозначительностью и вселенскими претензиями субкультуру. И именно это измерение делает книгу глубоко интересной и забавной. Плюс к этому крепкие, хорошо сделанные интервью с героями тех лет. Сейчас их читать не то что странно, это явные репортажи с чужой планеты — то ли Татуин, то ли Кин-дза-дза. Проблемы, волновавшие тогда общественное сознание, процентов на восемьдесят не просто потеряли актуальность, нет, они стали тотально непонятны, а поскольку рецензент сам во всем этом жил, то приходится признать, что и сам он тогдашний себе сегодняшнему тотально непонятен. Именно замороженный осколок времени, впечатавшийся в крепкий текст Житинского, словно палеозойская стрекоза в янтарь, заставляет читать про группы забытые и легендарные, про такие оккультные темы, как «должен ли у музыканта быть диплом музыкального училища» или «куда рок ведет молодежь». Увы, пока никто не отважился дать восьмидесятым мало-мальски адекватное воплощение в романе, и нам приходится ограничиваться репортажами — пусть даже такими талантливыми, как книга Житинского. Будем надеяться, что она найдет дорогу не только к ностальгирующим сорока-с-лишним-летним, но и к младшему поколению,

чтобы оно удивлялось, озадачивалось и тщетно пыталось понять, что же в этом портвейне было такого, чтобы пившие его люди гнали такую пургу и башню им клинило на таких странных и мутных темах.

«Куда бы мы ни ехали»

Дуги и Эдди Бримсоны

Книги о футбольном фанатизме в последнее время печатаются одна за другой. Тут и классическая «Фабрика футбола» Джона Кинга, и несколько отечественных текстов на ту же тему. Возможно, всплеск интереса связан с откровенной политизацией фанатской среды в России в последние годы, произошедшей не без помощи специфического футбольного клуба, заседающего в Кремле и на Старой площади. Возможно, это просто случайное совпадение. Тем не менее факт имеет место. Книга двух ветеранов околостадионных стычек выделяется в этом ряду своим подчеркнуто инсайдерским и эмпирическим подходом: никаких социологических теорий, никаких экскурсов в историю футбольного фанатизма, никакой поэзии — сухой перечень фактов и набор баек из жизни. Как зовутся основные «фирмы», какой прикид они носят, с кем враждуют, как организовать дебош дома и на выезде, как отходить с места стычки и т. д. и т. п. Перечисляются «достижения» футбольных хулиганов на родине и за рубежом с подробным разбором самых кровавых и нашумевших эпизодов. Чтение поначалу захватывает, но очень быстро начинает утомлять. Утомит, наверное, даже футбольных фанатов, а если ты предпочитаешь болеть все больше дома, с пивком, то тем более. Интересно, что в глазах общественного мнения спорт был всегда позитивен, а рок-н-ролл по большому счету не избавился от некоторого налета порочности даже сейчас. И тем не менее на каждого Мередита Хантера, убитого «Ангелами ада» в Алтамонте, приходится по паре сотен изувеченных и лишенных жизни жертв Большого Футбола. Право, стоит призадуматься.

«Sex Pistols: подлинная история»

Фред и Джуди Верморел

Sex Pistols — вспышка сверхновой, кратчайшая история успеха длиной в двадцать шесть месяцев. Затем — долгое тление угасающих угольев. Осколки панк-взрыва с разноцветными ирокезами, до сих пор выпрашивающие мелочь у туристов в пешеходных зонах больших городов. Бессмысленно обсуждать теперь, были ли Sex Pistols самой первой панк-группой, были ли они лучшими или просто им повезло с реакцией СМИ. Если человек с улицы говорит «панк», он подразумевает Sex Pistols, и иного не дано. Книга Верморелов была одной из первых монографий о Sex Pistols, появившейся еще в конце 1970-х. Впоследствии она была расширена, распухла в объеме почти в три раза и неоднократно переиздавалась на разных языках. Несмотря на то что и Фред, и Джуди были приятелями Малкольма Макларена и Вивьен Вествуд, а следовательно, непосредственными участниками исторических событий, «Подлинная история» — вовсе не их мемуары, а отрывки из сделанных «по свежим следам» интервью с участниками группы и их друзьями, продюсерами, работниками компаний звукозаписи, вовлеченными в шумный скандал вокруг сингла «Боже, храни королеву!», удачно скомпилированные с кусками из дневника пресс-секретаря группы, школьными аттестатами Роттена и Вишеза, полицейскими протоколами и тому подобными документами эпохи. Из знакомства с этими моментальными снимками эпохи можно сделать один очевидный вывод: подопечные Макларена угодили в эпицентр скандала не по своей воле, обществу, как это частенько случается, был нужен враг, и он был найден путем перемещения шпаны из темной подворотни на экраны телевизоров и первые страницы национальных газет. А славы и денег хотелось в первую очередь не столько самим Sex Pistols, сколько взявшемуся за выполнение социального заказа Макларену. Беспомощность бунтарей с английской булавкой в носу, впрочем, давно ни для кого не тайна. Поэтому

читать «Подлинную историю» следует не ради культурологических выводов и не для того, чтобы пополнить свои знания об истории рок-н-ролла (про музыку как таковую — самих Sex Pistols и их современников — в книге говорится очень мало), а для того, чтобы ощутить запах 1970-х, их пульсацию, их напряжение — все то, ради чего большинство людей, собственно, и читает мемуары. Документальности на этих страницах в избытке, и для того, чтобы насладиться ею, вовсе необязательно любить панк-рок.

«Страна Икс»

Александр Тарасов

Бородатый Тарасов уместно смотрелся бы где-нибудь на сходке олдовых поклонников Grateful Dead. И это обстоятельство отнюдь не случайное. Потому что если кто и несет высоко знамя шестидесятнического отношения к делу революции, так это именно Александр — автор серьезных книг по новейшей истории левого движения и менее серьезных просветительских статей на предмет того, кто такая чегевара и с чем ее едят. И — что в нашем контексте важнее всего — регулярный контрибьютор и соредактор одного из самых оригинальных и самобытных в российской музыкальной журналистике изданий — «Забриски Райдер». Именно оттуда многие статьи и эссе, вошедшие в книгу, тематика которых легко предсказуема для любого тарасоведа: идеалисты и террористы, провокаторы и организаторы революции конца 1960-х и герильи начала 2000-х. Читать увлекательно, легко: минимум дезинформации и максимум информации. В начале книги для затравки немного прозы, но проза — это только по названию. На самом деле это все те же разработки революционной психологии (предавать — не предавать, умирать — не умирать), прикинувшиеся беллетристикой — то антиутопией, то фэнтези, то еще какой-нибудь гламорамой.

«Русский киберпарень»

Вадим Степанцов

Вадим Степанцов, бесспорно, великолепен как литературный затейник и как слагатель куртуазных баллад. А возглавляемый им в качестве Великого магистра орден куртуазных маньеристов, ныне именуемый как орден киберманьеристов, — один из немногих постсоветских литературных проектов, который не навевает уныния, апеллируя лишь к здоровой похоти и животному смеху, облаченными в элегантные ризы умеренного декаданса. К тому же не надо забывать о выдающемся вкладе Степанцова в засорение наших ушей словами популярных песен — от «Короля Оранжевое Лето» до уже изрядно позабытых чукотских ламентаций группы «На-На». И наконец, «Бахыт-Компот», где Степанцов исполняет в качестве фронтмена написанное самим собой для себя самого любимого. Таким образом, массовая культура и Степанцов — почти синонимы. В книге же, тяготеющей по объему к полному собранию сочинений, все пестрое разнообразие Степанцова, несмотря на попытки расцветить страницы множеством уникальных и смешных фото, забавных интервью и манифестов, свелось, в сущности, опять-таки к куртуазно-маньеристическим поэзам, которым — увы! — предписан меньший формат. Элегантная надушенная книжечка в сафьяновом переплете, а не индустриальный томик в стиле «Возьми с собой в дорогу песню». В результате возникает эффект ликера шартрез: рюмочка — это одно дело, а представьте себе адское утро после полутора литров! Утомление наступает уже к тридцатой странице. Хотя кто знает, может, эта книга во все не для чтения подряд, а для гадания: открыл на случайном месте — и жизнь тут же украсилась иронией, ядовитой и страстной.

«Дзен и искусство игры на гитаре»

Филипп Тосе Судо

Если попытаться подыскать для дзена какое-нибудь хлесткое определение, самым точным, на мой взгляд, будет: «Дзен — это

религия повседневности». Потому что храм этого учения можно устроить хоть на кухне, и ни в каком хламе (т. е. предметах культа) оно не нуждается. Поэтому велик соблазн при помощи столь универсального учения разбирать все, что попадет под руку — от игры на бирже до похождений Винни-Пуха. Не менее велик соблазн эти разборы читать — а вдруг узнаешь универсальный рецепт всего? Потому и стала бестселлером книга американца японского происхождения Филиппа Судо, написанная в полном соответствии с рецептами дзен-литературы. Даже название ее позаимствовано у классического в этой области романа Пирсига «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». Впрочем, по пути дзендо, ведущему к чистому му (т. е. к Сияющей Пустоте), Судо продвинулся гораздо дальше предшественника. Если у Пирсига мотоцикл участвует в действии, то у Судо гитара предстает чистым коаном — тем самым «хлопком одной ладони», который, физически отсутствуя в природе, все же становится поводом для медитации и источником просветления. Ведь в дзене нет слова «уметь», а есть только слово «знать». Прочитав эту книгу, вы не научитесь играть даже «цыганочку по-блатному», зато обретете многие другие, не менее полезные умения: терпение, сдержанность, интуитивное понимание вещей, отрешенность от суеты и т. д. А с такими умениями уже ничего не стоит за полтора часа освоить весь репертуар Стива Рэя Воэна. Поскольку японец Судо на самом деле — родившийся в Миннесоте американец Филипп, все повествование снабжено подробными схемами, диаграммами, приличествующими случаю эпиграфами из интервью великих гитаристов (которые интересны сами по себе), словариком и тому подобным справочным аппаратом, необходимым любому уважающему себя пособию по психотренингу. Ну и, разумеется, любимой сердцу нашего читателя японщины здесь хоть отбавляй. Прекрасное чтение! Освоив книгу часа за три в битком набитом вагоне метро, вы почувствуете себя выше, духовнее, чище, примете решение с понедельника перестать читать политблоги в интернете, извиниться перед юзером adolfhitler за то, что назвали его

«фашшыстом», и пить только зеленый чай. Затем обматерите наступившего вам на ногу мужика и, сбивая встречных, побежите к эскалатору, чтобы и дальше жить так, как все мы живем день за днем, — боясь опоздать, психуя, дергаясь, злясь на мобильный телефон за то, что он звонит слишком часто, и за то, что он вообще не звонит. Но в уголке мозга останется спасительная мысль: если совсем припрет — поможет ДЗЕН.

«История кастратов»

Патрик Барбье

Пирсинг, обильные тату и косметические операции, к которым прибегают современные звезды, стремясь соответствовать имиджу, часто вызывают у их поклонников вздохи сострадания. Но ведь еще не так давно (по историческим меркам) для того, чтобы попасть в хит-парад, требовалось пойти на куда более серьезную операцию. О тех, кто на нее решился (хотя решали за будущих звезд обычно родители), — книга французского историка-музыковеда. И не думайте, что если посмотрели «Фаринелли», то уже все про это знаете. Эпоха кастратов продолжалась долго, это целая россыпь имен, судеб, событий. Несколько поколений гениальных композиторов писали свои шедевры, ориентируясь исключительно на голосовые возможности бесполых исполнителей. Откуда брались эти артисты? Как жили? Что думало о них общество? Что по их поводу говорила церковь? Как к ним относился закон? Обо всем этом — в интереснейшей книге Барбье.

«Dyxless»

Сергей Минаев

Мы долго учились: от корявых подражаний Уэлшу и Эллису медленно двигались к связным текстам в духе urban underground. От нелепых описаний мира брендов, которые отличало от гламурной журналистики только наличие нецензурных слов, — к пониманию того, что этот мир пришел к нам все-

рьез и надолго, и отношение к нему вскоре будет определять не просто принадлежность к определенной тусовке, а способность к сопротивлению. Этот путь прокладывали Спектор и Стогов, эМСи Че и Гаррос с Евдокимовым; и даже, в каком-то парадоксальном смысле, — Оксана Робски. Результат налицо: несколько последних книг в духе «нового натурализма» уже нельзя свести к чистому эпигонству с зарубежных образцов. В том числе и эту. Конечно, все необходимые компоненты стиля присутствуют: перечисление мейджор-брендов, кучки кокаина и вечный насморк, зоология корпоративных отношений и кейжуал секс. Но появилось кое-что сверху — и это самое «сверху» как раз то самое, чего недоставало. Образовалась, извините за пошлость, метафизика. От описания страшного мира консюмеризма сделан первый шаг к его пониманию. Впрочем, иначе быть и не могло, если за перо берется известный интернет-публицист. Лежащая в основе книги банальная история элементарного кидалова — не более чем дань романной форме. На самом деле «Duxless» — развернутая колонка обозревателя на информационном портале, или, скорее, ее дайджест за год. И, как ни странно, это именно то, в чем подобный роман нуждается. Хотите действия — смотрите экшн-муви. А мы вам дадим его ровно столько, сколько требуется, чтобы вы помнили, что это происходит с вами. И именно столько, сколько нужно герою романа, чтобы в конце, лежа на мосту, увидеть небо, на которое (пока еще) не поставлен логотип владельца.

«Как убить рок-звезду»

Тиффани де Бартоло

Этот роман американской девушки с итальянской фамилией производит двойственное впечатление, причем в буквальном смысле слова: словно двоится в глазах, оттого что смотришь на расфокусированное изображение, где объект никак не хочет слиться с точкой зрения на него. Потому что объект — это рок-музыка 21 века как она есть — жалкая наследница некогда

великого и ужасного Рок-н-ролла, прогибающаяся перед корпоративными продюсерами, радиоформатом и Муз-ТВ, лижущая задницу юным выскочкам из музыкальных журналов. А точка зрения — повествование юной идиотки с куриными мозгами, которая испортила жизнь двум приличным и талантливым мужикам только потому, что до колик боялась летать воздушным транспортом. И только в самом конце в глазах перестает двоиться, и становится мучительно ясно, что иначе писать о кукольном театре поп-музыки сегодня и нельзя: там, где от героев остались только позы, а от отчаяния настоящих жертв рока — фальшивые самоубийства, лучший повествователь — трогательная и безмозглая кукла. А начинается все традиционно, как в кино. Разочарованная жизнью в американском Урюпинске молодая журналистка Элиза Силлум приезжает брать штурмом Манхэттен. Благодаря брату, играющему в подающем надежды рок-бэнде, она с ходу знакомится с будущей рок-звездой Полом Хадсоном, поломавшись немного для виду, оказывается в его постели, и начинается бурно-слезливая история любви: продюсеры, менеджеры, контракт, дорога к славе. В общем, на этой высокой ноте кино могло бы и закончиться. Но Тиффани де Бартоло изобретательна — в романе тут все только и начинается. Надо ехать на гастроли, раскручивать первый альбом, а Элиза ехать не может, потому что надо летать самолетами «Аэрофлота». И тогда Пол говорит, что бросит карьеру ради своей возлюбленной аэрофобки. Героическая Элиза имитирует уход к любовнику, который на самом деле не любовник, но тоже рок-звезда, Пол в обидках улетает на гастроли один, и там у него много девушек. Элиза в обидках делает из ненастоящего любовника настоящего и т. д. и т. п. Тем временем у Пола все идет наперекосяк: менеджер по фамилии Фельдман, который все время ест драники, — сволочь, продюсер (без фамилии, но тоже из этих) требует радийного формата, альбом не продается, Пол возвращается, убеждается, что Элизу уже танцует другой (положительный и удачливый) рокер, и прыгает

с Бруклинского моста. Весь этот Секс, Драгс (с этим, впрочем, проблемы: герои, все как один, словно пионеры на допросе в ОБОНе, сообщают, что это очень вредно) и Рок-н-ролл в Большом Городе тем не менее следует дочитать до конца, потому что финал романа феерический и совершенно неожиданный, о котором заранее рассказать — значит оказать медвежью услугу и книге, и читателю. Однако, когда восхищение мастеровитостью авторши, которая умудрилась с честью вывернуться из канонического сюжета сопливой мелодрамы, проходит (часов через двенадцать), начинаешь задумываться — а о чем это вообще? Легче всего отделаться дежурными политкорректными фразами, что книга о том, что рок-н-ролл мертв, корпорации рулят, Буш — бяка, Америке кердык, счастья нет и так далее. Но внезапно рождается ужасное подозрение: на самом деле это о том, что из всех описанных в книге персонажей никогда не получилось бы ни одного Хендрикса, Моррисона или Кобейна, даже если бы в мире не осталось ни одного способного им помешать злого Фельдмана. Дорогие американские рокеры, так мы скоро и до белых мышей…

«Подлинная история жизни Чарльза Мэнсона, рассказанная им самим»

Чарльз Мэнсон, Ноэль Эммонс

Немало крови утекло с момента группового убийства в доме режиссера Полански, множество чикатил и асахар посетило наш грешный мир, но Чарльз Мэнсон все равно сохранил свое особое место на темных страницах новейшей истории. Говорят, что он до сих пор остается абсолютным чемпионом американской пенитенциарной системы по количеству писем, получаемых от поклонников. Поэтому выходят все новые и новые книги о нем и о его «Семье», исследования, воспоминания. Но эта книга — особая. Потому что она — единственное высказывание по данному вопросу, сделанное от первого лица. Разумеется, в данном случае встает неизбежный вопрос о правдивости, который получает неизбежный ответ: во всех главах, которые имеют непосредственное отношение к убийствам, Мэнсон не рассказывает и десяти процентов правды. Но это, как ни странно, не имеет ни малейшего значения. Потому что книга интересна совсем другим — как рос монстр, с кем дружил и водил компанию, как проникся сознанием своей миссии. Об этом автору лгать ни к чему, и он предельно откровенен. И из откровенности его вырастает очевидный вывод — Мэнсон был неизбежен, он был нужен Америке. Не в примитивном конспирологическом смысле (как козел отпущения, избранный агентами ФБР для того, чтобы спустить собак на хиппи, новых левых и протестные движения), хотя и этот момент нельзя отрицать, но в смысле метафизическом, в том, который отражен в коэновском «Future» («нация поэтишек, каждый из которых вещает, словно Чарли Мэнсон»). Как символ, который нельзя ни убить, ни выпустить на свободу, — он должен жить, по возможности вечно, в тюремной камере, чтобы пугать им непослушных маленьких детей, отважившихся сдуру поставить под сомнение великую американскую мечту. Судя по тексту мемуаров, Мэнсон сам свою роль прекрасно осознает — и как верный сын родины делает все возможное, чтобы оправдать ожидания читателей.

«Альманах рок-дилетанта»

Александр Житинский

Продолжение «Записок рок-дилетанта», охватывающее тот печальный период, когда классический советский рок уже начинал потихоньку загибаться — и в переносном, и в прямом смысле. Цой, Башлачев, Майк, Гребенщиков, фестивали. «Авторы» — байки, воспоминания, рассказы очевидцев, исповедь свидетеля событий. Массовое переиздание журналистских материалов той эпохи («Альманах» ждал публикации 15 лет) — яркое подтверждение тому, что именно в эту эпоху стало теряться чтото самое главное и начала закладываться основа будущих потрясе-

ний и упадка. Стиль Житинского, как всегда, легок и прозрачен, а подчеркнутая питерская интеллигентность превращает в пир философов даже рокерские пьянки. Прекрасный источник информации по ушедшей под волны, словно Атлантида, эпохе.

«Произвольная космонавтика»

Анатолий Обыденкин

Книга журналиста Анатолия Обыденкина имеет многозначительный подзаголовок «Время колокольчиков, Version 2.0», явно намекающий не только на преемственность от Башлачева к следующему поколению рок-бардов, но и на преемственность «Произвольной космонавтики» от (считавшегося некогда основополагающим) одноименного труда Ильи Смирнова о классическом русском роке. Герои книги — Арбенин («Зимовье зверей»), Сергей Калугин («Оргия праведников»), Александр Непомнящий, Тимур Шаов, Умка — с точки зрения Обыденкина, составляют новый, «бронзовый» век рок-н-ролла по-русски. После того как монстры рока частью вымерли, частью превратились в одиозных деятелей, получающих государственные награды, а младшее поколение вступило на подозрительно поблескивающую в лучах софитов дорожку рокапопса, именно эти, не вписавшиеся в формат авторы-исполнители стали олицетворять то энергетическое и духовное содержание, носителями которого раньше были БГ и Кинчев. Книга состоит из интервью с героями и текстов их песен. Это, безусловно, грамотно сделанная работа крепкого музыкального журналиста, и тем, кто ценит музыкантов, про которых она написана, она будет интересна. Другое дело, концепция автора: похоже, она несколько натянута, и если уж тянуть связь времен от Калугина — Арбенина, то не к Башлачеву, а к рок-кабаре Дидурова. То есть к тому, что можно было бы назвать «авторская песня другими средствами». Потому что камерность и квартирность «бронзовой эпохи» обусловлены не политическими репрессиями и не заговором формата — это то, к чему они сами тяготеют, культивируют, воспитывают в себе и своей публике. Дай им стадион — они не знали бы, что с ним делать. А ведь ревущая толпа в рок-н-ролле — такая же часть именно содержания, а вовсе не формы. Поэтому, при всем уважении к творчеству героев «Произвольной космонавтики», на время колокольчиков они не тянут. Особенно в эпоху рингтонов.

«Радио Fuck»

Герман Садулаев

Питер — место особое. Не Россия и не Европа. Утонченные невские барышни и былинная гопота, какой больше нигде не сыщешь. В общем, как было принято говорить в советской публицистике, — «город контрастов». Садулаев ворвался на литературную сцену сразу с двумя книгами, предельно контрастными между собой. Книгами о двух своих родинах — Чечне и Питере. И если в «Я — чеченец» герой эпически серьезен, как и подобает кавказскому мужчине, рассказывающему о трагедии своего рода, то «Радио Fuck» написан от лица городского циника, одинокого волка, охотника на самок. Короче говоря, одного из тридцатилетних. Тех, о которых сам Садулаев пишет: «Мы родились в 70-е. Когда Мураками уже играл в пинбол и те, кто жил под лозунгом “не верь никому старше тридцати”, сами перешли красную черту и если не умерли от передоза, то постригли свои хайры и, надев строгие костюмы, ушли работать в офисы транснациональных корпораций». Садулаев все время ревниво сравнивает себя со Стоговым, но делает это зря: если Стогов не более чем удачливый журналист-компилятор, то Садулаев — настоящий писатель, изобретательный, легко и непринужденно переходящий от вампирской истории в духе Белоброва — Попова к хиппанско-травяному гону в стиле Дм. Гайдука, от гарландообразной азиатской экзотики к желчному стенд-ап монологу «Дневника террориста». Сообщающий на одной и той же странице 108 имен Солнца из Махабхараты и то, что его революционный метод — давать сосать буржуазкам

немытый пролетарский пенис. И при всем при этом остается самим собой. Кокетничает с читателем напропалую, но не забывает за лирическими отступлениями тянуть куда надо витиеватую нитку сюжета. В чем, кстати, намного превосходит главного импортного кокета. Короче говоря, куда там Стогову… А если знать, что Садулаев — еще и активный в прошлом участник ряда питерских панк-проектов (как текстовик и вокалист), то способностью этого человека к метаморфозам мог бы позавидовать и людоед из «Кота в сапогах». «Радио Fuck» — настоящая, что называется, «современная городская беллетристика». Откровений там, может быть, и не найдете, но получите немалое удовольствие и узнаете в герое если и не себя, то кого-нибудь из своих знакомых. Даже если вы не из Питера — в эпоху глобализации городской фольклор тоже глобален.

«Гиль-гуль»

Елена Некрасова

Метемпсихоз, переселение душ — процесс этот всегда интриговал человечество. Как будто недостаточно страдать одну жизнь — надо вселиться в кого-нибудь и страдать еще. Недаром буддисты считают, что только с окончанием этих хлопотливых переездов из тела в тело наступает полное и окончательное освобождение. В романе Елены Некрасовой вокруг вот этого самого гиль-гуля (все тот же метемпсихоз на иврите) выстраивается нечто местами отдающее современной японской прозой (не будем называть имен), временами — Линор Горалик (русская журналистка и успешная сетевая писательница из окружения Сергея Кузнецова), но в целом очень женское и очень занимательное. Четыре человека: полукровка-китаянка, русский инженер и два гражданина Израиля — сплетаются в сложном комке судеб на фоне культурной революции, быта религиозных экстремистов и народных преданий. Вопрос о том, кто в кого и в каком порядке переселился, остается не вполне разрешенным, но красиво, душевно, местами увлекательно, с массой мелких этнографических подробностей и больших психологических обобщений.

«ЖД»

Дмитрий Быков

Лауреат «нацбеста» этого года Дмитрий Быков разродился очередным романом, в котором явно собрался обобщить все, что наработали постсоветские писатели в жанре антиутопии. Картинка знакомая: в стране идет гражданская война, идет бестолково, герои скитаются, спасая и теряя любимых подобно персонажу романа обожаемого автором Пастернака, все кончается плохо, но при свете луча надежды. Трагедия Родины вызвана вековечной борьбой между партиями хазар и варягов, во время оно завоевавших безответное местное население, которое с тех пор вынуждено скрывать своих святых и жрецов под личиной… бомжей и прочих юродивых. В роман вложен раблезианский заряд иронии, каламбуров, талантливых психоделических фантазий, местами напоминающих ранее неблизких Быкову Проханова или Пепперштейна — короче говоря, читать очень интересно, но… грустно. И вовсе не потому, что начинает, как Отто фон Штирлица в известном анекдоте, «рвать на Родину», а потому что, говоря словами другого литературного героя, «разруха — она в головах». Хотя, конечно, с нашей родиной-уродиной может все что угодно случиться, остается ощущение, что роман в метафорической форме описывает то, что уже произошло с одной из частей ее народонаселения, а именно с гуманитарной интеллигенцией. Неслучайно, согласно версии Быкова, одна из расшифровок аббревиатуры «ЖД» — не оскорбительное название одной распространенной национальности, а «живой дневник», то есть «живой журнал». И действительно — гражданская война в такой совсем не футурологической России будущего больше напоминает стычки и перепалки на просторах Рунета. Там, где окончательно захлебывающиеся в истерике обустройства одной шестой

части суши интеллигенты виртуально обещают отправить друг друга в невиртуальные гулаги в надежде обратить на себя внимание властей. К счастью, существует и другая молодежь — например, та, что читает Rolling Stone, — и хотелось бы надеяться, что она вырвется из порочного круга вечного русского словомудрия и будет жить способом, в романе «ЖД» не описанным, — тем, которым живет изрядная часть человечества, не страдающего диванным мессианизмом.

«Беспокойники города Питера»

Павел Крусанов, Наль Подольский

Люди умирают везде. но в каждом месте они умирают по-особенному. В городе-покойнике, где даже мертвый император скачет по ночам на бронзовом коне, смерть — не уход в мир иной, а избавление тени от сковывающей ее предметности. Тени в Питере вопреки названию шедевра советской киноклассики не исчезают даже в полдень — а уж в полночь они просто царят в городе скрипящих статуй. Поэтому столь весомый коллективный панегирик вечно живых беспокойников можно было создать только в Питере и о питерских. Собрание очерков о великих покойниках Северной столицы вышло представительным — без малого четырнадцать теней. Не все они одинаково знакомы широкой публике — понятно, что рок-н-ролльный пантеон (Курехин, Майк, Цой, Свин, Ордановский) на слуху у каждого, в то время как художники и литераторы — даже такие известные, как Олег Григорьев или Тимур Новиков, — достояние куда менее обширного круга. То ли в силу этого фактора, то ли в силу разницы литературных дарований авторов, но написанная Крусановым рок-часть намного интереснее, чем остальной текст. Яркие портреты, личные воспоминания — не самое здесь главное; главное то, что Крусанов четко ставит вопросы о смысле и роли, о природе волшебства легенды Цоя или Курехина, а на это решаются немногие. А эти вопросы гораздо интереснее, чем многочисленные реляции на тему «выпили мы с Витей (Мишей, Сережей) портвейну». Жаль только, что большинство этих очерков уже публиковалось в других местах и покупать триста страниц ради ста страниц крусановского текста как-то обидно — особенно если ты в гробу видал (простите за невольный каламбур) весь питерский литературный авангард.

«Элеанор Ригби»

Дуглас Коупленд

Новый, десятый роман от певца и кузнеца поколения иксеров, больше похож на сентиментальную сказку вроде «Москва слезам не верит». В жизни сорокалетней старой девы (она и есть как бы та самая одинокая Элинор — написание русского названия на совести издателей — Ригби из битловской баллады) наступает резкий перелом: внезапно у нее обнаруживается вполне взрослый сын, смертельно больной юноша с поэтическим воображением, мелодраматически умирающий на руках у матери, а затем находится и его доселе неизвестный матери отец (пьяная была…), а с ним и семейное счастье. Еще в действии принимают участие комета Хейли-Боппа, отвалившийся от советского спутника кусок ядерного реактора, и немецкий спецназ по борьбе с международными террористами. Одним словом, воображение канадского писателя по-прежнему на высоте, но израсходовано на бесцельно-слюнявую сюрреалистическую мелодраму, единственным выводом которой является вековечная «птица-счастье завтрашнего дня», которая и прилетает в конце, весьма ненатурально звеня крыльями. Это не «Поколение Икс» и тем более не «Подружка в коме» — а всего лишь дежурная поделка мастеровитого беллетриста.

«Я был драгдилером Rolling Stones»

Тони Санчес

Как известно, во вселенной не бывает звезд, не окруженных тучами космической пыли. Точно так же в мире шоу-бизнеса не

бывает звезд без окружения тусовщиков, многие из которых (если не большинство) по совместительству еще и халявщики. Рано или поздно они начинают писать мемуары — чаще бездарные (как в случае вышедших недавно в той же «У-Фактории» воспоминаний костюмера Фредди Меркьюри), реже — интересные. Тони Санчес, молодой человек испанского происхождения, вращавшийся в полукриминальных кругах, прибился к «роллингам» на самых ранних этапах их карьеры и протусовался с ними до 1985 года. После чего завязал с белой смертью и дружбой, прожил до 2000 года и скончался в собственной постели, предварительно успев поделиться с читателями своими воспоминаниями о самой крутой рок-н-ролльной группе мира. Воспоминания (учитывая специфику «должности» Санчеса) могли получиться несколько однообразными, но автор выпутался из ситуации, ловко вплетя свои наркоанекдоты в более широкую панораму реальности — с привлечением газетных статей, интервью и материалов судебных дел. Получился впечатляющий, увлекательный документ эпохи, что называется «с личным отношением». «Роллинги» предстают в нем людьми одаренными, яркими, разносторонними, хотя зачастую и не особенно приятными. Санчес придерживается традиционной линии, изображая Брайана Джонса невинным агнцем, принесенным на алтарь психоделической революции, а Кита Ричардса — суровым мужчиной, настоящим героем рока, не щадящим ни себя, ни других. Строго говоря, новых фактов в этой книге не найти, но читается она тем не менее запоем, поскольку в ней есть та самая достоверность безумной эпохи, которую можно найти, к примеру, у того же Хантера Томпсона. Ну и не обходится без моралите в стиле «богатые тоже плачут» — героин безразличен к социальному статусу жертв. Можно уверенно сказать, что книга Санчеса станет в «популярной роллингиане» важным и необходимым элементом: нет ничего лучше свидетелей-очевидцев, тем более если они драгдилеры.

«Грешники»

Илья Стогов

Илья Стогов всегда был ловок, как и положено настоящему выходцу из среды бульварной прессы, в полном соответствии с заветом его земляка БГ «я беру свое там, где я вижу свое». Стоило только выйти на русском языке книге Макнила и Маккейна «Прошу, убей меня!» («Please Kill Me»), как тут же схватившийся за ноутбук и диктофон Стогов отправился ваять ее отечественный клон. Формально увязанная вокруг истории известнейших клубов Северной столицы (TaMtAm, «Тоннель», «Грибоедов», Decadance и прочие) книга на самом деле вовсе не о них. В коротких отрывках интервью с пестрыми лицами питерской сцены — Гаккелем, Милославским, Гитаркиным, Федором Чистяковым, Горшком и Князем — рассказывается о судьбе младшего (по отношению к «дворникам и сторожам») поколения питерских музыкантов, которое без преувеличения можно было назвать поколением клабберов и наркоманов. Именно по этому поколению пришелся главный удар «лихих 90-х» со всеми их феерическими вывертами и перехлестами. Чтение интересное, страшное, хотя при этом слегка однообразное: «начал заниматься музыкой, попробовал наркотики, подсел, чуть не умер, слез, ни о чем не жалею». Правда, кончается этот физиологический очерк совершенно неожиданно — задушевной проповедью Федора Чистякова о том, кто такие «Свидетели Иеговы» и почему они такие хорошие. Так что остается легкое недоумение: не эта ли религиозная организация заказала Стогову написать «Грешников»?..

«Искусство распада»

Марк Доусон

Быть может, я и ошибаюсь, но, по-моему, полноценного детектива в стиле «нуар» на рок-н-ролльную тематику еще не писали. Если это так, то Марк Доусон со своим романом вступил

на новую и захватывающую территорию. Убивают в романе не то чтобы много, но интересно, а тонкости внутреннего быта мегазвезд в эпоху MTV изложены увлекательно. И хотя почти с самого начала понятно, кто и почему убил, раскрывать сюжет (как это и принято всеми уважающими себя рецензентами детективов) я не стану — потому что прелесть этой книги, как и положено нуар-детективу, не в том, кто убийца, а в том, кому в конце придется ответить по всем счетам. А начинается все, как в хорошем репортаже журнала Rolling Stone: стремительно взлетающая вверх по чартам молодая группа, тяжелая безнадежная молодость, погубленная в провинциальных английских ДК, успех, проблемы с наркотиками… Казалось бы, жить не тужить, проматывать миллионы, заедать шампанское кокаином и жениться на моделях. Но дьявол, как всегда, не дремлет… Нет, черт побери, писать про детективы решительно трудно — почти ничем нельзя поделиться с потенциальным читателем, дабы не испортить ему сладостного предвкушения. Поэтому ограничимся следующей заманчивой сценой. Представьте, что вы — менеджер популярной группы. И вот вы находите рано утром в номере лас-вегасского отеля труп своего солиста в обнимку с трупом совершенно незнакомой вам шлюхи. Ваши действия? Набрать 911? Не делайте глупостей, из этой комбинации можно извлечь массу намного более интересных последствий.

«Корпорация счастья: история российского рейва»

Андрей Хаас

В последнее время жанр «мемуары богемного тусовщика» становится чудовищно популярным у издательств, особенно питерских. Тысячи страниц о том, кто, с кем, где, как, что и в какой позе. У всех этих воспоминаний есть одно удивительное общее свойство: будучи почти фотографически достоверными протоколами эпохи, они ничего о ней не говорят. Очевидно, такова природа жанра: ничуть не удивлюсь, если когда-нибудь обнаружат обрывок папируса следующего содержания: «Я сидел и скучал в тени пирамиды, тут подошли Мерхотеп и Амнерис с кувшином пива и коробкой нубийской хохотун-травы. Говорили о Месопотамии, как у них там все круто за бугром. Амнерис похвасталась, что затусовалась с одним месопотамцем, который притащил из Вавилона кучу модных пластинок и вертушку Technics. Решили, что сделаем клуб в подвале пирамиды. Долго сидели, курили, мечтали о клубе, потом пришли стражники и прогнали нас с Амнерис, а Мерхотепу надавали по почкам и повели в участок». И так далее и тому подобное. «Корпорация счастья» — это семь сотен страниц, посвященных незатейливому быту всех, кто тусовался сначала в питерском клубе «Танц-пол», а впоследствии — в клубе «Туннель». Как относиться к подобному жанру, зависит, конечно, от личных пристрастий, но чтение это — все же на любителя. Хочется совсем другого — духа времени, проникновения в то, что двигало людьми, в механизм истории, а в этом смысле даже традиционно поверхностный Стогов, недавно также разразившийся питерскими клубными мемуарами, дает Хаасу сто очков вперед. Зато у Хааса в отличие от Стогова имеется много наивных черно-белых фотографий, которые демонстрируют всю трогательную подноготную раннего питерского рейва, его беззащитное советское подбрюшье. Сразу становится видно, что заря электронной культуры в этом смысле ничем не отличалась от зари русского рока, столь же провинциально непосредственного в своей визуальной стилистике.

«Кинофестивали»

Андрей Плахов

«В наше время, глядя трансляцию с церемонии закрытия Канн, легко поверить в то, что всемирные смотры целлулоидных грез существовали всегда. Но тем не менее самому старейшему из кинофестивалей нет еще и ста лет: они гораздо моложе современных Олимпийских игр и ненамного старше рок-фестивалей. Но сколько легенд выросло вокруг них за столь недолгое

время! Кинематограф, сознавая свою эфемерность, всегда старался жить на повышенных оборотах и ни в чем себе не отказывать. Обозрению этой пестрой и шумной истории и посвящена яркая, талантливая и удивительно легко написанная книга известного российского кинокритика Андрея Плахова, которому довелось жить и работать в то печальное время кризиса отечественного кино, когда радоваться на международных форумах приходилось в основном чужим успехам. Построенная как подробный обзор нескольких самых известных фестивалей — Канн, Венеции, Берлинале и родного Московского — плюс беглые заметки о ряде фестивалей меньшего значения, довольно объемистая книга читается с беглой легкостью газетного репортажа, не впадая при этом ни в легковесность, ни в самолюбование типа «как-то раз я и Мастрояни». Всему находится достойное место: гламурным анекдотам и серьезным рассуждениям, светской хронике и техническим подробностям, фасонам платьев и гастрономическим воспоминаниям, сюрпризам и скандалам. Временами выстраивается даже нечто вроде романного сюжета, где в качестве главного героя выступает, разумеется, сам кинематограф. И больше всего о мастерстве автора говорит тот факт, что, даже если вы совсем не киноман и вам наплевать, кто и за какую картину получил «Золотого льва» в 1954 году, вы почему-то не можете оторваться от этих преданий старины глубокой. И это несмотря на то, что вы не смотрели фильма, о котором идет речь, да и не собираетесь. Так что если в конце книги и возникает легкая неудовлетворенность, то только оттого, что она раза в два короче, чем хотелось бы — а ведь, согласитесь, это не самая распространенная претензия к книге.

«Открытые файлы»

Владимир Шахрин

Поток рок-мемуаров в этом году, кажется, неиссякаем — словно прорвало плотину коллективной памяти. Несут вспененные воды, впрочем, в основном всякую ерунду: пустые бутылки, окурки, бородатые анекдоты, гастрольные байки и пожелтевшие архивные фото. Это неудивительно: иметь прошлое и вспоминать о нем — две большие разницы. Талант мемуариста не всякому дается. «Открытые файлы», правда, на звание мемуаров и не претендуют — это, что называется, «из записных книжек». Свердловский литератор Андрей Матвеев, получив от Шахрина доступ к его компьютеру, составил коллаж из заметок и почеркушек, написанных Владимиром в самых разных жанрах — от писем в газеты до сценариев новогодних капустников. Ну и на сладкое, как водится, тексты песен того же автора. Получилось чтение легкое, быстрое и ни к чему не обязывающее. Не столько официальная историография (впрочем, таковой — книгой Леонида Порохни «ЧайФStory» — группа обзавелась уже несколько лет назад), сколько семейный альбом. Узнать из него что-нибудь существенное о фронтмене уральских рок-ветеранов, кроме того, что он парень простой и позитивный (а кто этого не знает?), невозможно. И тем не менее, несмотря на полное отсутствие сенсаций, откровений и прозрений, появление «Открытых файлов» скорее радует. Ведь еще каких-то семь-восемь лет тому назад подобного рода опусы выходили на туалетной бумаге в разных невнятных издательствах, а теперь мы завалены грудой увесистых гламурных томиков, посвященных далекому и недалекому прошлому русского рока. Что же касается будущего, вопрос остается открытым: кризис жанра настолько велик, что скоро писать будет уже не о ком. Сложившуюся ситуацию лучше всего описать названием одной композиции Фрэнка Заппы — «Судно прибыло слишком поздно, чтобы спасти тонущую ведьму».

«Четвертая волна»

Илья Стогоff

Плодовитый питерский журналист-литератор на мелочи, как известно, не разменивается: то он объясняет нам в серии популярных брошюр «все про историю вселенной и челове-

чества», то душит потоками мемуаров о своих знакомствах с легендами творческого Петербурга. Продуктивность Стогова такова, что ему впору присвоить почетный титул «Дарьи Донцовой от молодежного нон-фикшна». И вот перед нами первые плоды очередного наполеоновского проекта — две интенсивно желтые (я имею в виду цвет обложки) книжицы из новой амфоровской серии Stogoff's Project. В серии, обозначенной своим «крестным отцом» как «первая в России книжная серия, рассказывающая о том, что происходит прямо сейчас», уже заявлено около десятка книг, в основном о музыке, но также задеты политика и даже фэшн-бизнес. В самой идее нет ничего плохого — напротив, в России до сих пор принято писать популярные книжки о тех явлениях, которые хорошо отлежались и слегка пропитались пылью. Вопрос, как всегда, в качестве воплощения идеи в жизнь. По первым двум книгам серии однозначное впечатление пока составить не удается. «Четвертая волна» — типичный стоговский очерк с легким заказным душком, повествующий об истории ВИА «Психея». Истории у группы пока (в силу крайней молодости) — кот наплакал, поэтому, чтобы раздуть очерк до толщины книги, автору приходится заполнять пустоты, что называется, гонзожурналистикой — или, выражаясь по-русски, писать о себе любимом. О своих возрастных, производственных и материальных проблемах, о грехах туманной юности, о других группах, никакого отношения к «Психее» не имеющих, и т. д. и т. п. Поскольку Стогов — не Хантер Томпсон, интерес все это представляет довольно умеренный, особенно для поклонников «Психеи», относящихся к совсем другой возрастной категории. Так благородная затея — написать о молодой группе в процессе ее становления — под давлением авторских амбиций превращается в очередное невесть что. А жаль. Просто такие книжки нужно писать совсем по-другому (благо, заграничных примеров пруд пруди): там должно быть намного больше о том, какие девочки (или мальчики) нравятся Фео или Киту, и намного меньше о том, почему сорокалетнему журналисту не нравится Гребенщиков. Вторая книга гораздо удачнее — это литературная обработка цикла радиопередач, который Антон Чернин вел на питерском «Нашем радио» в 2003–2005 годах. Темы передач сгруппированы «как бы» вокруг наиболее известных альбомов русских рокеров разных поколений — от «Машины времени» и до Шнура. И хотя о записи самих альбомов как таковой рассказывается не так уж и много (кто интересуется этой темой — тому следует обратиться к фундаментальному труду Кушнира «100 магнитоальбомов русского рока»), зато здесь множество фрагментов уникальных интервью с музыкантами, да и вообще написано легко и популярно, что в данном случае, несомненно, достоинство. Ну и напоследок хотелось бы отметить стильный дизайн серии и обилие фотографических врезок: вне всяких сомнений, книги «о модных вопросах» должны быть именно такими, а не скучными текстовыми кирпичами на плохонькой бумаге, как это часто случается. Трудно пока сказать, каким будет сочетание удач и неудач в амбициозном Stogoff's Project, но в любом случае задачи поставлены правильные — осталось только суметь с ними справиться.

«История "Аквариума". Книга флейтиста»

Дюша Романов

Еще одна книга о легендарных временах, автор которой — увы! — уже давно не с нами — совсем не «история» в строгом смысле этого слова (например, в ней нет ни одного обязательного в этом жанре отчета о записи какого-нибудь альбома). Это скорее собрание лирических фрагментов, отрывочные воспоминания о первых пятнадцати годах жизни группы. Воспоминаний весьма пристрастных — намного меньше о БГ, чем обычно, намного больше — обо всех остальных. Окрашенность личными обидами становится особенно заметной к концу книги, когда дело доходит до обстоятельств распада золотого состава «Аквариума», — да и бог с ним. В конце-то концов, как указано в заглавии, это — «книга флейтиста», а не журналиста, — чело-

века с дудочкой, по определению ранимого, впечатлительного и хрупкого. Зато вспоминать Дюша умел вкусно, красиво, насыщенно. И пусть мы все уже давным-давно знаем из десятков источников и про Тбилисский фестиваль, и про первые московские вылазки Гребенщикова сотоварищи — дело тут не в фактах, а в том, как они поданы. И пусть впечатления о первых заграничных поездках напоминают штампы перестроечной прессы — а разве, глядя правде в глаза, мы не так воспринимали тогда реальность? («Прожженными-то мы стали позже…») Для Романова «Аквариум» был скорее семьей, чем заводом по производству песен, поэтому и общая интонация вышла семейная — все больше о всяких забавных мелочах, нежели о тайнах творчества. Но почему-то кажется, что со временем ценность именно таких мемуаров возрастает, в то время как подробные описания «производственного процесса» интересуют все меньшее и меньшее количество специалистов.

Выбор Ильи Кормильцева. Главные русские книги 2006 года

«Духless»

Сергей Минаев

Усердная бомбардировка российской почвы всякими там бегбедерами после нескольких неудачных попыток наконец завершилась успехом — работники офисов (а также презирающие их гуманитарии) получили в руки текст, где ясно и талантливо показано, что яппитариат везде одинаков, невзирая на все особенности национальной охоты. Рабство и раболепие от звонка до звонка, консюмеристский угар и кокаиновый туман — после. В меру философии, в меру секса, драгса и техно — несмотря на всю вторичность, роман именно этим и безупречен, поскольку какой еще должна быть литература для вторичных людей? Ну и отдельного упоминания заслуживает сопровождавшая опус Минаева рекламная кампания:

тот самый случай, когда package — это, как сами понимаете, и есть message.

«Теплоход “Иосиф Бродский”»

Александр Проханов

Все последние пять лет от романа к роману апокалиптическая мощь прозы Проханова неуклонно нарастала: по сравнению с некоторыми страницами немолодого писателя фантазии бледных юношей, упражняющихся в самых чернушных жанрах музыки, выглядят порою как жалкая старческая немощь. Не подкачала и последняя книга: усадив всю российскую элиту, словно скорпионов в банку, на шикарный теплоход и отправив в плавание по традиционному маршруту из Москвы в Питер, Проханов сделал все возможное, чтобы насытить их существование оргиями, чревоугодием, смертоубийством, интригами и, призвав в помощники великую тень Иосифа Бродского, свести счеты — личные и общественные — с самодовольной гламурной публикой.

«День опричника»

Владимир Сорокин

Этой книги — простой и ясной, как ярмарочный лубок, — от изощренного, как считается, писателя мало кто ждал. Но, видно, довели Сорокина негодяи и разбудили в нем неукротимого и едкого сатирика. Портрет России, обустроенной в соответствии с мечтами отдельных наших, не в меру любящих православную старину, граждан, получился что надо. А изображенная в нем опричная Москва — к сожалению, не настолько уж далекой от Москвы современной: подправить пару-другую штрихов — и мы уже в сорокинском вымысле. В конце концов, один день из жизни работника правоохранительных органов в России всегда одинаков, как его ни зови — опричником или, скажем, следователем прокуратуры. А давить и не пущать у нас, очевидно, в крови.

«Ампир “В”»

Виктор Пелевин

Продержав публику несколько лет на диете из проходных романов и интернет-проектов, великий писатель Нижнего Мира разразился наконец шедевром, которого от него давно ждали. И не беда, что по градусу мировоззренческого пессимизма сия вампирская исповедь оставляет далеко за бортом все прежние (и так далеко не жизнерадостные) конструкции автора. Видать, такое безвременье на дворе, что гложущую душу тоску можно выразить лишь через метафору кровопийства, где человечество выступает в роли не более чем скота, выведенного для доения. Жутковатый мир, но, видимо, таким он стал не без нашего участия, а Пелевин, как и положено великому писателю, выполнил функцию зеркала — только не русской революции, а русского безвременья.

Эссе

Сказка о мальчике, которому до поры до времени везло

1. Миф о Косинском

В одном старомодном и провинциальном городе Восточной Европы в интеллигентной еврейской семье на свет появляется Мальчик. С самого начала он окружен заботой и лаской: Мамочка — пианистка-виртуоз, карьера которой не сложилась исключительно из-за того, что природа оделила ее непомерно большим бюстом, отвлекавшим внимание провинциальной публики от ноктюрнов Шопена и рапсодий Листа, и Папочка — шахматный гроссмейстер и профессор лингвистики, души не чают в своем отпрыске. Но не за горами война. Предчувствуя наступление страшных времен, Папочка и Мамочка отправляют Мальчика в далекую, дикую деревню на краю света. Там Мальчику и суждено провести всю оккупацию.

Он оказывается среди невежественных и жестоких крестьян, ведущих почти животное, первобытное существование, верящих с одинаковой истовостью и ксендзу, и деревенской колдунье. Крестьяне издеваются над Мальчиком, подвергают разнообразным унижениям и не выдают его, так подозрительно смахивающего на цыгана или еврея, немцам, возможно, только потому, что хотят всегда иметь под рукой своего собственного козла отпущения. Мальчик становится свидетелем сцен жестокости, насилия, сексуальных извращений, знакомится со всей темной изнанкой человеческой души. От этих ужасов он ищет спасения в вере, но напрасно: вот он стал уже почти своим, ему доверили прислуживать в костеле, и тут, оступившись, он роняет тяжелый требник. Бог не протягивает руку

помощи — толпа разгневанных прихожан избивает его и швыряет в выгребную яму.

Чудом спасшись из зловонной бездны, Мальчик обнаруживает, что лишился дара речи. Отныне он немой, но немота оборачивается для него спасением, ибо дураков и убогих дикари не трогают. Тем временем Мальчик замечает, что кроме его темных суеверных мучителей в мире есть и другие люди, которые живут настоящей, увлекательной жизнью. Сперва его герои — блистательные эсэсовцы в великолепных черных мундирах, но затем их побеждают и прогоняют прочь еще более яркие и сильные люди, знающие, зачем и ради чего они живут и воюют, — красноармейцы. Он становится сыном полка.

Война кончается, красноармейцы возвращаются на родину, приходит пора и Мальчику вернуться в свой Город. Некоторое время он живет жизнью беспризорника и воришки, общается с отбросами общества. Затем Папочка и Мамочка находят свое потерянное дитя. Но блудный сын оказывается чужим в отчем доме: он не может простить родителям своей оставленности, пережитых мук и страданий, через которые ему пришлось в одиночку пройти.

Он уезжает в горы, увлекается лыжным спортом и зарабатывает на жизнь тем, что становится лыжным инструктором. В один прекрасный зимний день случается чудо: Мальчик падает с высокой скалы, и к нему возвращается голос. Перед ним отворяются закрытые прежде двери — он может учиться, общаться с людьми, делать карьеру.

И вот Мальчик уже Студент, блестящий студент-социолог. Но он по-прежнему не в ладах с окружающим его обществом, только дело теперь не в цвете волос или форме носа, а в убеждениях. Студент-социолог видит, что окружающее его общество больно, что идеи социализма внутренне лживы. Ему не всегда удается скрыть свои взгляды, на него косо смотрят, пытаются даже преследовать, но обожающие Студента профессора покрывают его и отводят от него беду. Благодаря своим академическим успехам Студент получает направление на стажировку в Советский Союз, где еще более убеждается в том, что с коммунизмом ему не по пути.

Отныне он — юный Диссидент, неустанно мечтающий вырваться из советского лагеря в свободный мир, где он сможет беспрепятственно работать и творить. Однако сбежать не так-то просто: чтобы получить доступное обычно только детям партийных боссов направление на учебу в США, необходимо согласие органов, рекомендации академиков… И вот Диссидент решается на отчаянный шаг. Зная, что его благонадежность под сомнением и нужные бумаги вряд ли могут быть получены официальным путем, он фабрикует характеристики от несуществующих академиков и профессоров и от их же имени вступает в оживленную переписку с госбезопасностью. Каждую секунду возможны разоблачение и арест. В воротнике пальто у Диссидента зашита ампула с цианистым калием. Но фортуна снова улыбается ему: бюрократическая машина равнодушно проглатывает подсунутую ей липу. Вскоре он держит в руках паспорт с визой и билет на ту сторону океана.

Диссидент ступает на американскую землю, как ступали многие до него: с 2.80$ в кармане и облаченный в не менее дикую для Нью-Йорка, чем боевое одеяние самурая, ондатровую шубу. Впрочем, он уже не Диссидент, он — молодой Иммигрант. Ибо возвращаться на родину не намерен.

Сперва Иммигрант делает то, ради чего он, собственно, в Америку приехал: посещает лекции в одном американском университете и готовится писать диссертацию. Правда, на деньги, которые выдают ему разные фонды, концы с концами вряд ли сведешь. Приходится пройти всю положенную молодому Иммигранту житейскую школу: он работает сторожем в паркинге, моет машины, разносит пакеты и даже служит личным шофером у чернокожего криминального босса из Гарлема. Попутно он мечтает о богатстве, о славе, о всем том, о чем положено мечтать молодому Иммигранту в Америке.

И тут приходит Любовь. Любовь старше Иммигранта — это уверенная в себе Американская Женщина. Она долго скрывает, кто она такая и чем занимается, но, убедившись в искренности чувств юноши и в серьезности завязавшихся отношений, при-

знается: она вдова Американского Миллионера и, следовательно, сама — Американская Миллионерша!

Отныне у Иммигранта есть все, ему больше не приходится заботиться не только о хлебе насущном, но даже о насущной черной икре. Он летает на личном самолете, плавает на личной яхте, демонстративно паркует свой личный лимузин там, где сторожил чужие. У него есть Любовь и деньги, он вращается в блестящем международном обществе среди тех, у кого нет Великой Американской Мечты, потому что они сами — Великая Американская Мечта.

У бывшего Иммигранта есть все, но ему хочется не только иметь все, но и стать Кем-то. К диссертации возвращаться он уже, правда, не торопится — не те амбиции. Но и быть просто молодым мужем Американской Миллионерши — тоже не вполне прилично. И вот однажды Любовь говорит ему: «Ты столько испытал, столько пережил, твоя жизнь полна чудес и невероятных приключений. Опиши ее, и ты станешь великим Американским Писателем». Он пишет свою первую книгу, книгу публикуют, писатели и критики в восторге. Он стал Американским Писателем, возможно, и не великим, но очень известным.

Он пишет еще книги — все они встречают восторженный отклик. Правда, Любовь его тем временем тяжело заболевает: у нее опухоль мозга. Из-за болезни она не всегда контролирует свое поведение, и ей приходится проводить все больше и больше времени в закрытых клиниках. Врачи не обещают улучшения, в конце концов она сама уговаривает Писателя развестись с ней, чтобы не связывать судьбу с инвалидом.

Но нет худа без добра: теперь он свободен и богат (естественно, Любовь завещала ему все свое состояние), вращается в высшем свете, знаменит — он становится еще и Американским Плейбоем.

Влиятельные друзья хлопают его по плечу, дают советы и рекомендации к Кому Следует: Американского Писателя избирают главой престижной Организации американских писателей. На этом посту он борется за свободу слова, за права творческой

личности, вытаскивает других писателей из тюрем в странах, таких же несвободных, как его родина, первым пожимает им руку на американской земле, гуляет по Нью-Йорку с другим бывшим мальчиком и церковным служкой Каролеком Войтылой и спрашивает, не случалось ли тому хоть однажды уронить требник.

Тем временем готовится внезапная перемена декораций: Враги не дремлют, они выводят из тени Свидетелей, которые были прежде немы. (О, эта немота, она играет роковую роль в его жизни!) Свидетели начинают говорить и обвинять. Они утверждают: «Он никогда не был тем Мальчиком, о котором написано в его книге. Он никогда не был немым лыжным инструктором. Он никогда не был юным Диссидентом».

В мифе все звенья взаимосвязаны, отрицание одного звена ставит под сомнение весь миф. Если Христос не был Сыном Божиим, то Евангелия лишены всякого смысла. Если Геракл не совершал первого подвига, мы не обязаны верить и в остальные одиннадцать.

Когда опровергнуто то, во что люди успели поверить, они начинают сомневаться и в очевидном: если он не тот, за кого себя выдавал, может, он и не Американский Писатель? А может, его не было вовсе? Сомнения же в очевидном, в свою очередь, способны сокрушить это очевидное. И вот одним нью-йоркским вечером его не стало. Он сыграл свою последнюю роль — роль Самоубийцы. Впрочем, у этой роли было одно преимущество: тело, лежащее в ванне с пластиковым мешком на голове и с барбитуратом в желудке; это такой факт, который не взялись оспорить даже самые закоренелые скептики.

2. Факты о Косинском

Ежи Никодем Левинкопф родился в Лодзи 14 июня 1933 года в семье торговца текстилем и домохозяйки. Перед самым началом войны предусмотрительный глава семейства перевез своих домочадцев в тихий провинциальный Сандомир. Там, благодаря связям и изворотливости, он выправил обеспечивающие относительную безопасность документы на польскую фамилию

Косинский. Затем, заметая следы, отправился еще дальше — в маленькую деревушку Дамброва-Жечицки. В ней семья Левинкопфов и провела военные годы.

Благодаря своим талантам и относительной образованности отец легко вписался в местное общество. Немцев в Дамброве не было, и жизни членов семьи реально ни разу ничто не угрожало, хотя скользкие ситуации, когда конспирация трещала по швам, возникали неоднократно. Маленький Ежи дружил со своими деревенскими сверстниками и не испытал ничего и отдаленно похожего на те круги ада, которые он описал позднее в своей книге «Раскрашенная птица». Но это, конечно, только поверхность событий. Трудно предположить, что думал и ощущал мальчик, если ему приходилось постоянно помнить: он должен скрывать свою настоящую фамилию, прошлое своей семьи, называть братом чужого ребенка, которого семья Левинкопф прихватила с собой. А такие вроде бы мелочи, как необходимость таить от других мальчишек явный физический признак своего еврейства… Игры в шпионов нравятся детям, но шесть лет, прожитые в режиме нелегала, не могли не наложить некоторый отпечаток на психику ребенка. Может быть, именно здесь корень потребности взрослого Косинского в постоянном мифологизировании своей биографии, в безудержном фантазировании…

Война заканчивается, и семья возвращается в разоренную Лодзь, где в живых не осталось практически никого из друзей и родственников. Ежи заканчивает школу, поступает в университет на отделение социологии, увлекается фотографией. Он на хорошем счету у преподавателей, пользуется успехом у женщин, действительно занимается лыжным спортом, хотя и не в такой степени, чтобы работать инструктором. И конечно же, как вы уже догадались, о немоте нет и речи. Напротив, слава увлекательного рассказчика и неутомимого шутника (правда, подчас патологически жестокого) бежит за ним по пятам.

Да, у него бывают конфликты с политическими организациями, но вызваны они скорее его чрезмерно острым языком и обычной юношеской фрондой, чем принципиальными расхождениями с существующим режимом. Не раз он оказывается на грани конфликта с университетским истеблишментом, но на шалунишку смотрят сквозь пальцы и не задумываясь посылают на стажировку в Москву — поучиться марксистской науке у Большого Брата.

Однако амбиции юноши не удовлетворяются научной карьерой: он признается ближайшему другу в мечте жизни — уехать в Америку и стать там страшно богатым. Например, женившись на вдове миллионера. Но наиболее легкий путь за океан лежит все-таки через университет. Получить направление оказывается делом относительно несложным — никаких подложных характеристик или игр с госбезопасностью, не говоря уж об ампуле с ядом в воротнике пальто. Значительно более трудным делом оказывается убедить американских социологов в том, что он — именно тот студент, который им нужен. Вот тут приходится идти на некоторый подлог и передергивание карт. Но в конце концов задуманная комбинация удается — 20 декабря 1957 года Косинский высаживается в аэропорту Айдлуайд.

Не с 2.80 $ в кармане, а с пятьюстами — полученными в помощь от дяди, бывшего моряка американского торгового флота. Впрочем, с началом учебы в Колумбийском университете денег действительно начинает постоянно не хватать. Приходится подрабатывать. Что из «университетов» Косинского было правдой, а что вымыслом, разобраться до сих пор не удалось. Как всякий настоящий Мюнхгаузен, Косинский обладал удивительным свойством — он умел доказывать правдивость своих рассказов, когда до этого доходило дело. Очевидно, стигматы способен обрести не только истинно верующий, но и талантливый враль. Так, Ежи рассказывал, что, скрываясь от врагов в детстве, он научился идеально прятаться в любом незнакомом помещении — и действительно, в искусстве этом он достигал практически высот Гудини. Он рассказывал затаившим дыхание слушателям, как крестьянин-садист день изо дня подвешивал его за руки к потолку на кожаных ремнях — и даже врачи подтверждали в один голос, что плечевые суставы его неестест-

венно вывернуты и носят явные следы хронической травмы. Он утверждал, что, работая шофером у черного гангстера в Гарлеме, стал виртуозом в управлении автомобилем и не раз на глазах у восхищенных друзей на полной скорости сдирал бортом машины тонкие книжки, прикрепленные скотчем к борту другой машины, не поцарапав обшивки.

В новом кругу новых людей, которые имели самое приблизительное представление о Европе времен гитлеровской оккупации, да и о Польше вообще, потрясающие воображение почти нереальные рассказы Косинского о событиях его детства и юности моментально стали пользоваться успехом. Можно сказать, что миф о Косинском утвердился и стал его официальной биографией в первые три года жизни в Америке. Проверить рассказчика было трудно: обмен информацией с оставшимися за железным занавесом был скудным, а среди польской эмиграции Косинский тщательно обеспечивал себя соответствующей легендой и старательно уклонялся от контактов с людьми, которые потенциально могли опровергнуть его рассказы.

А друзей он завоевывал себе все больше и больше (и женщин, в обольщении которых и в Америке не знал себе равных), быстро став таким же центром внимания в американской застольной беседе, каким был в беседе польской. С разговорным английским все было в полном порядке, хуже дела обстояли с английским письменным: Косинский не смог повторить подвига своего соотечественника Джозефа Конрада. Слог его навсегда остался слогом иностранца.

Поэтому, когда в 1958 году он начал писать свою первую (пока еще эссеистическую) книгу «Будущее за нами, товарищи!», он вынужден был нанять литобработчика. Значительное участие обработчиков и консультантов, которые придавали окончательную форму произведениям Косинского на протяжении всей его писательской карьеры, сыграло впоследствии (когда разразился скандал) роковую роль. Впрочем, роль не менее роковую сыграла и предыстория первых двух книг писателя — уже упомянутой «Будущее за нами, товарищи!» и ее

продолжения «Третьего пути нет» (1962). Эти произведения, изданные под псевдонимом Джозеф Новак, представляют собой воспоминания о поездках Косинского в СССР — в меру забавные, в меру едкие, с недвусмысленным идеологическим подтекстом. Книги создавались по косвенному заказу ЮСИА, под вывеской которого, как выяснилось позднее, скрывалось ЦРУ, спонсировавшее серию «страноведческих» воспоминаний выходцев из стран коммунистического блока. Интеллектуальная Америка, та значительная ее часть, которая грешила левыми симпатиями, и это припомнила Косинскому в должный момент.

Книги Джозефа Новака принесли Косинскому умеренный успех в интересующихся Восточной Европой кругах, но не принесли больших денег. К тому же не складывалась академическая карьера — вовлеченный во все более и более разрастающийся круг светского общения, Косинский быстро терял интерес к социологическим штудиям, пока полностью не забросил их. Деньги от фондов и гранты он, впрочем, не забывал систематически получать. И тем не менее положение его оставалось достаточно шатким.

И тут внезапно осуществилась давняя юношеская мечта. В 1961 году Косинский знакомится с Мэри Уэйр, вдовой сталелитейного магната из Питсбурга. Вспыхивает бурный роман (на фоне, правда, пары других, не менее бурных), быстро завершающийся браком. С этого момента миф и факт в судьбе Косинского еще плотнее сплетаются друг с другом, хотя он остается верным себе: фантазия его продолжает приукрашивать не только прошлое, но и настоящее. И Мэри оказалась не так богата, как хотелось бы (о личных самолетах уж точно речи не шло), и любовь не столь большой, как она предстала позднее в романах «Смотровой фонарь» и «Свидание вслепую». И знаменитая «опухоль мозга» была заурядным алкоголизмом, который и вынудил Косинских развестись через пять лет. Впрочем, Косинский умел пускать пыль в глаза до такой степени, что даже этот период его биографии, протекавший, в отличие от детских странствий по припятским болотам, у всех на глазах,

утвердился в сознании даже ближайших друзей именно в той форме, которую Косинский пожелал придать ему! Впрочем, главное было достигнуто: Косинский получил американское гражданство, познакомился с кругом сильных мира сего, достиг относительной финансовой независимости. И что важнее всего, за время жизни с Мэри Уэйр он создает (и в 1964 году публикует) свой первый роман «Раскрашенная птица».

Идея придать художественную форму устным рассказам Косинского о пережитом в детстве действительно исходила от женщины, но это была не Уэйр, а приятельница Ежи — польская эмигрантка Мира Михайловская, и случилось это за шесть лет до написания «Раскрашенной птицы», хотя верный своим принципам Косинский позднее рассказал историю зарождения замысла в том виде, в каком она более соответствовала творимому мифу. Нельзя сказать, чтобы Косинский пошел на этот шаг без колебаний (шесть лет выжидания говорят сами за себя). Соблазн был очень велик, но и риск — тоже. Одно дело байки, рассказанные за коктейлем на вечеринке, другое — письменный текст, по которому будут судить об авторе, в том числе у него на родине. До самого момента публикации Косинский предпринимал осторожные попытки настроить мнение — хотя бы критиков — таким образом, чтобы роман не был воспринят в чисто автобиографическом ключе. Но делал он это так уклончиво и двусмысленно, что становится очевидным: Косинский прекрасно понимал — именно автобиографическая подоплека романа сделает его сенсационным.

Одним из свидетельств подобных, не до конца искренних, усилий служит текст своеобразной саморецензии, озаглавленной «По поводу “Раскрашенной птицы”: заметки автора» (отрывки из нее мы предлагаем читателям ниже). Этот текст Косинский напечатал за свой счет в виде брошюры, которую рассылал литературной публике. Все оказалось напрасным. Америка хотела мученика, пострадавшего от обоих великих тоталитарных режимов 20 века, — и она его нашла. «Раскрашенная птица» становится бестселлером, ее сравнивают с «Дневником Анны Франк», автора ставят рядом с Камю и Сартром. Мнение о книге единодушно, ее документальная основа не вызывает ни у кого ни малейших сомнений. Да и какие могут быть сомнения, если даже мать автора пишет восторженное письмо, из которого следует, что судьба маленького Ежи была именно такой, как судьба героя «Раскрашенной птицы»! (Был тут сговор или снова сработала магическая способность Косинского делать небывшее бывшим, так и осталось неизвестным…)

С первого же романа Косинский оказывается в рядах литературной элиты США. Второй его роман «Ступени» (1968) получает награду как лучшая книга года, и каждое последующее сочинение — повесть «Садовник» (1971), романы «Чертово дерево» (1973), «Кокпит» (1975), «Свидание вслепую» (1977), «Страсти господни» (1979) — пользуется восторженным приемом критики и (что еще важнее) любовью читателей.

После развода с Мэри Уэйр в 1966 году Косинский женится на Кики фон Фраунхофер (которая, естественно, в дальнейших текстах Косинского оказывается не меньше чем «баварской баронессой») и продолжает вести вполне благополучную жизнь известного писателя, не переставая, впрочем, ни на миг развивать и обогащать свою мифологию.

Приведем в качестве наглядного примера один нашумевший случай: Косинский возвращается из путешествия по Европе вместе со своим приятелем еще с лодзинских времен — знаменитым кинорежиссером Романом Полянским и группой его друзей. Из Нью-Йорка Полянский отправляется в Лондон, а остальные должны пересесть на рейс до Лос-Анджелеса, чтобы провести уик-энд на вилле Полянского. Авиакомпания теряет багаж Косинского, и он вынужден заночевать у себя дома, чтобы присоединиться к своим спутникам на следующий день. Те улетают в Лос-Анджелес, где их уже поджидает Чарли Мэнсон со своей бандой. Итог: знаменитая кровавая резня. Рука судьбы в очередной раз спасает вечного мученика. Но — как это характерно для нашего мифа! — до сих пор нет убедительных доказательств, действительно ли Косинский собирался в Лос-Анджелес… И к кому…

В 1973 году Косинский становится президентом американского ПЕН-клуба и остается на этом посту два полных срока. Впрочем, здесь его деятельность свободна от всякой мифологии: он действительно добивается больших успехов в поддержке писателей, страдающих от авторитарных режимов, в повышении значимости и престижа ПЕНа.

Карьера Косинского идет по нарастающей: в 1979 году он совершает удачный прорыв на территорию кинематографа. Хол Эшби экранизирует «Садовника», Косинский сам пишет сценарий. Блестящий фильм с Питером Селлерсом в главной роли восторженно принимается всеми, и Ежи становится окончательно своим не только в нью-йоркской богеме, но и в Голливуде. Вскоре самого Косинского приглашают играть роль Григория Зиновьева в историческом полотне Уоррена Битти «Красные», и Косинский неплохо играет — так, что роль его чуть ли не спасает этот тяжеловесный и чересчур идеологически ангажированный опус. Косинского выдвигают на «Оскара» за лучшую роль второго плана; он уступает награду не кому-нибудь, а самому Джеку Николсону… Тем временем выходит его предпоследний роман «Китайский бильярд» (1982). Критика впервые встречает написанное Косинским в штыки: роман многим кажется слишком, выражаясь отечественным сленгом, «попсовым», но он открывает перед Косинским перспективы еще в одной области: ряд известных бродвейских продюсеров усматривают в романе материал для сногсшибательного мюзикла и начинают готовиться к постановке, которой, однако, не суждено было осуществиться…

Колокол пробил именно тогда, когда вроде бы ничто уже не могло угрожать столь прочной карьере: в конце концов, так ли уж важно, что на самом деле было двадцать и тем более сорок лет назад. (Не о преступлениях же против человечества идет речь.) 22 июня 1982 года журнал «Виллидж Войс» напечатал пространную статью, озаглавленную вполне в духе правдинского фельетона: «Ежи Косинский: слова с гнильцой». Косинский знал о готовящейся публикации, он встречался с авторами, которые

пытались добиться от него истины (или того, что они считали истиной), — Косинский остался верен своей политике двусмысленностей и недомолвок. Непосредственным поводом к написанию статьи было сиюминутное политиканство: Косинский занял в тот момент откровенно прорейгановскую, неоконсервативную позицию (в отличие от большинства пишущей братии) и участвовал в работе нескольких ассоциаций и комитетов подобного толка, но настоящие причины, как обычно, лежали глубже. В течение многих лет армия филологов зарабатывала ученые степени на прозе Косинского, вгрызаясь в факты времен оккупации Польши, и в ходе исследований задавалась все более и более обоснованным вопросом: аутентично ли описанное в «Раскрашенной птице»? (Впрочем, в Польше в подлинность рассказа не верили с самого начала, только кто будет прислушиваться к красной пропаганде, которая травит талантливого инакомыслящего?) Работы, выдержанные в этом духе, еще за несколько лет до скандала появлялись в университетских изданиях, но читала их явно не та публика, которая посещала приемы ПЕН-клуба и церемонии вручения «Оскара». Другое дело — «Виллидж Войс»…

Авторы статьи Стоунз и Фермонт-Смит помянули Косинскому все: и военное детство (как же, пил молочко и ел яички, пока другие в Освенциме мерли), и деньги из кассы заведения в Лэнгли, и роман малоизвестного прозаика Тадеуша Доленги-Мостовича «Карьера Никодема Дызмы», сюжет которого оказался подозрительно близок к сюжету «Садовника», ну и, конечно же, армию «литературных негров», поработавших над рукописями Косинского. Скандал всегда скандал, особенно если речь идет о знаменитости. Разоблачения посыпались лавиной, и под сомнение было поставлено все — каждая строчка, каждая деталь биографии.

Возможно, Косинскому и удалось бы выплыть из поднявшейся бури, если бы ему хватило сил сохранять невозмутимость и отмахиваться от нападок с чувством оскорбленного достоинства, — Америка знавала и не такие скандалы. Сил ему не хватило. Скорее всего потому, что он всегда интуитивно боялся чего-то

в этом роде: намеки на этот граничивший с паранойей страх щедро рассыпаны по страницам его романов. Может быть, маленький мальчик из Лодзи так и не отучился пугаться пристальных взглядов и каверзных вопросов незнакомых людей, честный ответ на которые иногда означает разоблачение и смерть...

Последовала затянувшаяся агония, в ходе ее Косинский все больше и больше погрязал в разного рода сомнительных предприятиях и — как это бывает почти всегда — в дрязгах личной жизни. 2 мая 1991 года он окончательно разрешил для себя противоречие между правдой и вымыслом.

Повторим слова самого Косинского: «Совершая самоубийство, человек становится частью истории (в том смысле, что люди могут и даже обязаны говорить о нем «он был»). Он перекладывает ношу своего прошлого на плечи мира, на плечи истории. Но даже в случае саморазрушения тень переживает тело. Актом самоубийства человек обязывает других вспоминать его и судить о нем, обсуждать, каким он был. Это способ жить после смерти» («A propos романа “Ступени”»).

3. Миф — факты — миф

Познакомившись с двойной историей жизни Ежи Косинского, нельзя не заметить, что миф и реальность находятся в ней в хорошо знакомых каждому со школьной скамьи отношениях: лирического героя и автора. Вся особенность состоит в том, что общество (не без откровенного подыгрывания со стороны автора) однозначно отождествило автора с его героем, придав тем самым вымыслу статус документа. В этом смысле, в отличие от многочисленных литературных мифов нового времени, протагонисты которых принимали немалые и вполне сознательные усилия, чтобы натянуть на себя придуманные ими за рабочим столом или рюмкой абсента личины, миф Косинского родился по взаимному согласию. Общество хотело этого мифа даже едва ли не больше, чем сам мифотворец. Впрочем, подобные случаи — не редкость в истории литературы: достаточно вспомнить хрестоматийные свидетельства образованных (по стандартам своего времени) современников Алигьери, которые вполне серьезно утверждали, что от того постоянно пахло адской серой.

Поневоле напрашивается параллель с известным происшествием в уездном городе N, хотя есть одно немаловажное отличие — своего «Юрия Милославского» Косинский все-таки написал. С помощью или без помощи «литературных негров» (а таковая помощь в иную историческую эпоху не бросила особой тени на талант Бальзака или Дюма-отца) он создал около десятка романов, многие из которых стали бестселлерами. Романов, в которых отразились его буйная, порою несколько извращенная фантазия и талант прирожденного рассказчика. Романов, которыми зачитывался в свое время американский мидл-класс. Романов, литературные достоинства которых и сейчас трудно полностью отрицать.

И Косинский (в отличие опять-таки от легкомысленного гоголевского персонажа) прекрасно понимал, чем чревата его игра, тяготился ситуацией, но не мог отказать себе в удовольствии быть захваченным потоком событий. Свидетельства этого столь щедро рассыпаны на страницах его прозы, что теперь, задним числом, просто трудно понять, как никто не смог (не захотел?) вычитать между строк правду об авторе.

Самое показательное произведение в этом смысле — «Садовник»: умственно неполноценный Шанс является в вашингтонский высший свет из абсолютного небытия — всю свою бессознательную жизнь он провел в заточении в особняке деда, скрывшего таким образом плод незаконной связи дочери. Он не умеет почти ничего, не знает о жизни почти ничего, он как попугай повторяет банальные фразы повседневного этикета, выученные с экрана телевизора. И этого достаточно: люди не ждут от ближнего откровений, они хотят всего лишь, чтобы тот соответствовал модели, которая сделает его понятным. В глазах бизнесменов Шанс оказывается бизнесменом, благородной жертвой финансовой депрессии, в глазах политиков — подающим надежды политиком, в глазах шпионов — шпионом, а в женских глазах — неотразимым любовником.

В некоторых сценах «Садовника» Косинский совмещает себя со своим героем до такой степени, что это граничит с саморазоблачением или эксгибиционизмом:

«Низкий лысый человечек припер его к какому-то шкафу, очень колючему и неуютному.

— Я Рональд Стиглер, издательство «Эйдолон букс». Рад познакомиться с вами, сэр.

[…]

— Мне пришла в голову мысль, — сказал Стиглер, прислонившись к стене, — которой я поделился с моими издателями: а неплохо было бы вам написать книгу! Что-нибудь по вашему профилю. Ведь из Белого дома взгляд на вещи совсем другой. И читать вас будут с бóльшим интересом, чем рассуждения какого-нибудь яйцеголового или твердолобого субъекта. Что вы на это скажете?

Ожидая ответа, Стиглер в несколько приемов осушил свой бокал мартини и схватил с подноса у пробегавшего официанта еще один.

— Выпьете со мной? — предложил он Шансу и подмигнул.

— Нет, спасибо. Я не пью.

— Скажу вам честно, я полагаю, что ваша философия может принести стране большую пользу. «Эйдолон букс» со своей стороны готовы взяться за ее пропаганду. Я могу немедленно предложить вам шестизначную сумму авансом в счет авторских, а после его погашения — высокий процент от продаж и отличные условия в случае повторных изданий. Мы можем подписать контракт в течение двух дней и готовы ждать от вас рукописи целый год или даже два.

— Я не умею писать, — сказал Шанс.

Стиглер понимающе улыбнулся:

— Естественно! Кто в наши дни умеет писать?! Никаких проблем! Мы дадим вам в помощь лучших редакторов и литературных секретарей. Я собственноручно не смог бы написать даже открытки моим детям. Ну и что?

— Я и читать не умею, — прибавил Шанс.

— Конечно не умеете! — воскликнул Стиглер. — У кого есть время на книги? Никто не читает — все говорят, слушают, смотрят, глазеют».

Словно ходячее зеркало, Шанс движется по светским салонам, телевизионным студиям и дипломатическим приемам, и каждый находит в нем то, что хотел найти. Косинский бесспорно чувствовал и понимал, в чем состоит один из секретов его успеха и что отличает его миф от творений предшественников, в том числе романа Доленга-Мостовича, плагиатом с которого пытались объявить «Садовника».

Будучи писателем, Косинский отражал созданную о себе легенду в своих же произведениях под видом повествования о третьих лицах, которые более (как в «Садовнике») или менее (как в «Раскрашенной птице» или «Ступенях») дистанцированы от автора. Если вспомнить, что при этом многие ситуации, осуществленные (или придуманные) Косинским в жизни, изначально были почерпнуты из литературы (тот же роман о Никодеме Дызме Косинский прочитал в юности, и очевидцы вспоминают, что Ежи был заворожен совпадением имени главного героя и своего второго имени Никодем, редкого в Польше, и часто говорил об истории Дызмы как об идеальной модели карьеры, которую он хотел бы осуществить), то круг замыкается. Литературный вымысел, разыгранный на подмостках жизни, возвращается на бумагу, становясь вымыслом о вымысле. Игра зеркальных отражений и двойников доводится до абсурда и превращается в дурную бесконечность, как на знаменитом рисунке Эшера, где рука рисовальщика рисует руку, которая в свою очередь рисует руку рисующего…

Отправляясь от факта, Косинский приукрашивает его, делая происшедшим то, что могло бы произойти. Фантазии и страхи мальчика, вынужденного скрывать, кто он такой, в окружении потенциальных врагов, становятся реальными пытками и страданиями героя «Раскрашенной птицы»; надежды и мечты безденежного молодого человека — похождениями богатого бездельника Уэйлена из «Чертова дерева». Впрочем, ничего особенно

необычного в этом нет — ясно до банальности, что на подобной эмоциональной эмпатии держится все здание литературы. И все же никто не предал остракизму Гёте за то, что он не пустил себе пулю в лоб. Правда, никто и не считал его Вертером.

Миф художественной литературы, укорененный в неполном отождествлении автора и его многочисленных alter ego (если отождествление полное, то литература — уже не художественная), является общим местом языка культуры. Риск конфликта возникает только при столкновении литературного мифа с мифом иной (социальной, религиозной или исторической) природы. Именно такая коллизия оказалась роковой для Ежи Косинского, но она же и доказала значимость созданной им Истории Себя («Искусство Себя» — так был озаглавлен в рукописи роман «Ступени»).

Обвинения в адрес писателя в момент скандала 1982 года были разнообразны и разнородны, но только одно из них могло рассчитывать на то, чтобы вызвать подлинное праведное негодование. Косинский не был Мальчиком из «Раскрашенной птицы», а следовательно — не был жертвой холокоста и не имел права говорить от лица настоящих жертв, претендовать в какой-то степени на роль их символа. Миф литературный столкнулся с великими мифами иного рода и дал трещину. Айсберг в который раз оказался прочнее «Титаника».

Надо отметить, что взгляды самого Косинского на этот вопрос никогда не отличались ортодоксальностью: вспоминают, как однажды, еще в начале 1960-х, кто-то в присутствии Косинского взялся попрекать членством в гитлерюгенд корреспондента «Тайм» Фриделя Унгехейера. «Заткнитесь все! — неожиданно взорвался Косинский. — Что вы об этом знаете? Мы оба жертвы».

Образы эсэсовцев и красноармейцев в «Раскрашенной птице» сливаются в глазах Мальчика в почти неразделимое целое, в героическую, квазиэротическую модель для подражания, стоящие же за ними фигуры диктаторов — в тот столь излюбленный Косинским образ «человека без свойств», в которого люди

сами вкладывают свои ожидания, в то, что заменяет Бога в мире умершего Бога. И действительно, если присмотреться (сколь кощунственным на первый взгляд ни покажется подобное утверждение), между Гитлером или Сталиным и Шанси Гардинером нет непреодолимой пропасти. Личности весьма средних интеллектуальных способностей, не высказавшие никаких особенно оригинальных идей, они вместили в себя чаяния «взбунтовавшихся масс», повторили слова, которые массы страстно желали услышать. В понимании этой диалектики (так же, как и сексуальной подоплеки фашизма) Косинский явился одним из пионеров, предвосхитив и фроммовскую концепцию «бегства от свободы», и его же знаменитую сентенцию о том, что фашизм оказался самой яркой и своевременной демонстрацией верности теории психоанализа. Эти (и многие другие) отклонения от ортодоксии расхожего мнения можно было, однако, простить чудом уцелевшей жертве фашизма или попросту постараться не обращать на них внимания. Их нельзя было простить (и очень не хотелось прощать) закоренелому сочинителю. Особенно в Америке.

Особенно — потому что только там, в отличие от Старого Света, человеку толпы волею исторических обстоятельств оказалось легко занять позицию постороннего по отношению к бурям, терзавшим Евразию. (Впрочем, как показывает наш недавний опыт, абстрагироваться от своей вины можно легко и быстро, не отделяя себя океаном от театра действий.)

Уходящий XX век создал еще одну возможность во взаимоотношениях между зеркалом и Калибаном, не предусмотренную автором метафоры. Довольный Калибан смотрится в электронное зеркало, сжимая в лапе пульт дистанционного управления, и гыкает на свое отражение: «Экий урод! Как хорошо, что это не я!» Это уже не реализм и не романтизм, это — массовая культура. Косинский одним из первых в литературе уловил эти свойства телевидения, «самого опасного и распространенного наркотика современности», по словам Теренса Маккены. В телевидении он увидел новое воплощение волновавшей его с детства темы масок и зеркал.

«Подражая людям, которых он видел в телевизоре, Шанс пододвинул к столику свободное кресло и сел. Операторы с камерами неслышно кружили вокруг. Ведущий наклонился к Шансу.

Завороженный пристальным вниманием камер и зрителей, Шанс решил отдаться на волю судьбы. В голове его было пусто, он был напряжен и в то же время чувствовал безразличие к происходящему. Камеры втягивали в себя изображение его тела, фиксировали каждое движение и бесшумно рассылали сигнал по миллионам телеприемников, рассеянных по всему миру — по комнатам, салонам автомобилей и самолетов, каютам кораблей и номерам отелей. На Шанса смотрело сейчас больше людей, чем сам он видел за всю свою жизнь, — людей, которые не были с ним даже знакомы. Люди, которые видели изображение Шанса на экране, не знали о нем ничего; да и откуда, если они никогда прежде с ним не встречались? В телевизоре отражалась только поверхность, камеры снимали изображение с человека, как кожуру, а затем изображение падало в бездну глаз телезрителя и безвозвратно исчезало. Объективы камер уставились на Шанса, как свиные рыла, равнодушно превращая его в картинку, доступную миллионам. Эти миллионы никогда не узнают, что Шанс живой и настоящий, потому что телевизор не передает его мыслей. А он сам никогда не увидит своих зрителей и не узнает, о чем они думают, — они навсегда останутся для него только бесплотной идеей».

Наблюдательность и проницательность вообще присущи Косинскому, как и умение видеть дальше сегодняшнего дня. Он оказался внимательным и безжалостным аналитиком современного человеческого существования.

От многих страниц Косинского становится неуютно, словно кто-то говорит тебе: «И ты сам такой же, и твоя жизнь и дела наполовину выдуманы, ты видишь отражение собственного отвратительного лица в том, кого тебе удобно называть Другим». Впрочем, вряд ли именно это выделило Косинского на фоне современного ему литературного пейзажа — он, очевидно, не самый жестокий да и не самый одаренный из числа подобных аналитиков. Особое положение Косинский достиг способом, выходящим за рамки текста: превратив свою биографию в определенного рода вымысел, он обеспечил себе удобную платформу для бичевания социума (человек, столько выстрадавший, имеет право бичевать), но одновременно подставил себя самого под удар, оказал неоценимую услугу своим будущим ниспровергателям (ибо выстрадал не настолько уж больше многих и многих современников). Как только вымысел был разоблачен, перестали прощать и то, что прощали раньше.

С позиции повседневного опыта взлет Косинского и последовавшее за ним трагическое падение понять нетрудно, но это не закрывает главного вопроса: является ли способ, который использовал Косинский, чтобы придать своим текстам особый смысл и звучание, допустимым литературным приемом, или судить его надо не по художественным, а по этическим или даже юридическим законам? Является ли мистификация подобного размаха если не оправданной, то хотя бы приемлемой?

Ответить на этот вопрос не так-то легко хотя бы потому, что слово «вымысел» может резко менять свои коннотации, переходя из области литературоведения в область социального поведения. И не случайно: можно сказать, что литература (и художественное творчество вообще) — это последнее прибежище, законное «игровое поле» вымысла, признаного социально неприемлемым конвенциональной этикой. Но ограды этой резервации постоянно трещат по швам.

Особенно это заметно в области массовой культуры: родители подростков, регулярно подающие в суд на авторов определенных кинокартин или музыкальных произведений, как на соблазнителей, сподвигнувших их чад на суицид или криминальное поведение (и суды, принимающие решения в пользу истцов), вряд ли знакомы с теорией того же Уайльда, согласно которой литературный герой, подобно Платоновой идее, предшествует своему воплощению в конкретные человеческие типажи. Однако ведут они себя в полном соответствии с этой теорией.

В случае Косинского прототип, персонаж и тот, кто этому персонажу подражает, объединились в одном лице — коллизия, которая не показалась бы нетипичной в романтическую эпоху. Но в современном обществе подобное тождество нарушает негласное табу. Хотя мифология — политическая ли, телевизионная ли — является основным способом бытования общественного сознания, индивиду (даже писателю) вменяется в обязанность относиться к фактам своей жизни так, будто он дает показания под присягой. Конечно же, за тем исключением, когда вымысел надежно обернут в переплет книжного издания.

Пример Косинского убедительно показывает, что за иной вымысел, излишне правдоподобный и пропущенный через собственную жизнь, можно дорого заплатить — достаточно, чтобы миф был похож на действительность больше, чем сама действительность.

В компании тех, кто примеривал на себя свое собственное слово, в нашу эпоху Косинский не одинок: здесь можно помянуть хотя бы Мисиму или Лимонова (тоже, впрочем, не пользующихся нежной любовью институциональной литературы). Особенность Косинского в том, что, уйдя в игру между текстом и жизнью, вымыслом и фактом, он не объявил публично правила игры и не принял подобающей позы. Это неизбежно бросило тень и на саму игру — ведь известно, как мала дистанция между вымыслом и обманом. Но не стоит забывать: всю жизнь Косинский чувствовал себя именно жертвой, а не героем.

Любимым латинским изречением Косинского было «Prodeo larvatus» («Иду вперед, прикрывшись маской»). Его он вынес на свой экслибрис. В принципе, это мог бы сказать о себе любой настоящий художник. Но часто надетую маску не так-то просто носить: она отнимает лицо у надевшего ее, соблазняет общество сорвать ее и наказать самозванца. Вознаграждением оказывается сотворенный миф, который мстит реальности тем, что надолго переживает ее.

1999

Три жизни Габриеле Д’Аннунцио

1

Вот как описывал самого себя (слегка прикрывшись для приличия масками героев) итальянский поэт, прозаик и драматург Габриеле Д’Аннунцио (1863–1938):

«Достигнув осуществления в своей личности тесного слияния искусства и жизни, он открыл на дне своей души источник неиссякаемой гармонии. Он достиг способности беспрерывно поддерживать в своем уме таинственное состояние, рождающее произведение красоты, и мгновенно преображать в идеальные образы мимолетные впечатления своей богатой жизни.

Обладая необычайным даром слова, он умел мгновенно передавать самые неуловимые оттенки ощущений с такой рельефностью и точностью, что иногда только что выраженные им мысли, теряя свою субъективность благодаря удивительному свойству стиля, казались уже не принадлежащими ему… Все слушавшие его в первый раз испытывали двойственное впечатление — восторга и отвращения…» («Пламя»).

Яркая и незаурядная фигура Д’Аннунцио в конце прошлого и начале нынешнего века сияла звездой первой величины на интеллектуальном небосклоне Европы. Его романами зачитывалась культурная элита (в том числе и русская), пьесы его не сходили с театральных подмостков, и трудно найти писателя той эпохи, на которого эстетика и поэтика Д’Аннунцио не оказали влияния.

В период между двумя мировыми войнами значение Д’Аннунцио начинает убывать (хотя остается еще достаточно сильным для того, чтобы итальянские футуристы, с трудом скрывая раздражение, озаглавили один из своих манифестов «Боги

умирают, а Д'Аннунцио все еще жив»), а после падения фашизма почти сходит на нет.

Однако в последнее время об il Poeta (именно так, с большой буквы и с определенным артиклем именовали его в расцвете славы — честь, которую до того оказывали в итальянской культуре исключительно Данте) снова пишутся статьи и монографии. И дело здесь не столько в художественных достоинствах его творчества, которое во многом принадлежит своему времени, сколько в человеческой его судьбе, в прожитой поэтом активной и насыщенной жизни неугомонного новатора, донжуана, скандалиста, солдата и авантюриста. В этой жизни отразилась суматошная эпоха, породившая век, с которым мы вот-вот навсегда расстанемся.

Не будет преувеличением сказать даже, что это была не одна, а целых три жизни — так богаты событиями были прожитые поэтом долгие семьдесят пять лет.

2

Отец Габриеле Д'Аннунцио происходил из богатой и родовитой семьи Рапаньетта-Д'Аннунцио, которая жила в одном из самых провинциальных уголков тогдашней Италии — городе Пескара в Абруццах. Древний этот город, основанный еще в античности, за свою историю не раз переходил из рук в руки. Каждая смена власти сопровождалась кровопролитием, поскольку абруццезцы отличались упрямым и своевольным характером и воинственным нравом. Крестьяне и моряки, они были набожны и суеверны, памятливы на родовую месть, для которой бурная история края давала немало поводов. Волны различных культур, прокатившиеся по этой земле, оставили на ней обильный слой преданий и легенд, в которых языческое причудливо смешалось с христианским, латинское — с германским.

Но ко времени рождения Д'Аннунцио все эти бури были далеко позади и город мирно спал на задворках только что объединившейся Италии. Прошлое сохранилось только в устном фольклоре да давало о себе знать внезапными вспышками вражды между родами и общинами — такими, как древнее соперничество Пескары и стоявшего на другом берегу реки Кастелламаре. В дни церковных праздников горожане со статуей своего святого покровителя направлялись к мосту через реку, где их уже поджидали жители города-соперника с палками и камнями в руках.

(Интересно, что именно Д'Аннунцио почти спустя полвека одержал окончательную победу над кастелламарцами, упросив Муссолини упразднить ненавистный город и сделать его районом родной Пескары.)

В этом заповеднике средневековья, каким была тогда — а в некоторой степени осталась и по сей день — Южная Италия, и появился на свет поэт.

Позже, создавая себе романтизированную биографию в духе то ли Светониевой «Жизни двенадцати цезарей», то ли новелл о знаменитых авантюристах Возрождения, Д'Аннунцио утверждал, что событие это произошло на борту бригантины «Ирена» во время шторма. Но на самом деле появился на свет он при вполне прозаичных обстоятельствах — на суше, в родительском доме.

Социальные барьеры для южных людей не менее существенны, чем для северных, но на юге они часто не имеют столь зримого выражения. Поэтому детство Д'Аннунцио было детством обычного средиземноморского мальчика — ярким, вольным, богатым впечатлениями от общения с самыми разномастными представителями рода человеческого. Родственники и друзья семьи — люди, как правило, небедные и знатные — не исчерпывали круг знакомств юного Габриеле. Никто не препятствовал ему водиться и с уличным людом — старым нищим Паскио, бывшим моряком и даже пиратом, или живописным городским сумасшедшим по прозвищу Цинциннат. Было еще много других, не менее причудливых персонажей, которые русскому читателю не могут не напомнить босяков молодого Горького (большого, кстати, поклонника таланта Д'Аннунцио). От них мальчик набрался историй

и россказней, богатого запаса которых ему хватило на всю писательскую жизнь.

Дома свирепый и жадный до чувственных удовольствий отец («Он ел, как Полифем, и спал, как Полифем», — уже на склоне лет вспоминал о нем знаменитый сын) и тихая, заботливая мать с лицом святой дополняли это собрание типов, которые так и просятся на маньеристское полотно, где все кажется преувеличенным и гротескным — жесты, позы, чувства.

С ранних лет пристрастие к риторике и театральности вошло в плоть и кровь Габриеле и определило его будущий литературный стиль. И стиль жизни тоже. Забегая вперед, надо сказать, что именно эти качества делают произведения Д'Аннунцио (особенно драматические) такими тяжелыми для современного читателя, тем более неитальянца. Невероятные страсти героев, неправдоподобный накал эмоций кажутся порой бредом, родившимся в декадентской опиумокурильне. Но если попытаться войти в мир чрезвычайно впечатлительного ребенка, погрузить себя в атмосферу увиденного им барочного храма, где Христос натуралистично корчится в муках, а святые застыли в позах, напоминающих не столько классический балет, сколько современный брейк-данс, и плачут кровавыми слезами, весь этот нечеловеческий, почти смехотворный трагизм становится понятным. То, что для парижской богемы позднее казалось манящей экзотикой, для Д'Аннунцио было просто воспоминаниями детства.

В десять лет Габриеле впервые испытал чувство, которое позже назвал «spasimo dell'orrore» (нечто вроде «сладкого трепета ужаса»). Способностью испытывать именно такой «spasimo» он чрезвычайно гордился всю жизнь, всячески ее культивировал и развивал. Случилось это так: мальчик полез на крышу своего дома, чтобы снять с нее ласточкино гнездо, но упал и сильно повредил себе руку. Вид хлынувшей из раны крови вызвал у подростка сильнейшее сладострастное возбуждение. Впрочем, дело было, очевидно, во врожденной психической аномалии, а несчастный случай просто разбудил дремавший ре-

флекс. С педантичностью, достойной де Сада или Захер-Мазоха, Д'Аннунцио запечатлевал это свое пристрастие на страницах многих книг. Отрубленные руки, стигматы, кровавые раны кочуют из одного романа в другой, из пьесы в пьесу с навязчивым постоянством. Как и образ мученичества святого Себастьяна, с которым писатель впоследствии начал себя отождествлять. Это и неудивительно: по воспоминаниям многочисленных подруг поэта, «игра в святого Себастьяна» была излюбленным эротическим развлечением Д'Аннунцио. Где бы Габриеле ни жил, там всегда имелись специально предназначенные для этой цели колонна или столб. Но это было гораздо позднее, а пока одиннадцатилетнего Д'Аннунцио отдают в привилегированный колледж Чиконьини.

Какие бы бури ни бушевали в душе мальчика, держать себя в руках он умел. Учителя и соученики вспоминали его как сдержанного, весьма способного ученика, неизменно заканчивавшего класс с отличными отметками, но при этом — юного денди, самого элегантного среди мальчиков, тратившего на духи, перчатки и шарфы почти все присылаемые из дома деньги.

В четырнадцать лет тем не менее успеваемость, а вместе с ней и дисциплина пошатнулись: как это обычно бывает — под воздействием первой влюбленности и проснувшегося интереса к поэзии. Первую любовь звали Клеменца Кокколини: Д'Аннунцио познакомился с ней во Флоренции на каникулах, в семье друзей отца. Вскоре произошла знаменательная история, впоследствии пересказанная взрослым писателем в литературной форме. Юная парочка отправилась в Этрусский музей, где в пустом зале надолго задержалась перед бронзовой статуей химеры.

С юношеской бравадой Д'Аннунцио засунул руку в страшную пасть чудовища и поцарапался (вполне возможно, нарочно) об острые клыки фантастической твари. Возбужденный видом собственной крови, Габриеле набросился на бедную девушку и больно укусил ее в губы. Восторг, испытанный им при этом, стал основой для будущей жизненной программы: никогда

больше он ни в чем не откажет себе, будет потворствовать своим инстинктам, какими бы низменными они ни казались.

(Впрочем, несмотря на все эти романтические концепции, девственность он теряет на следующий год самым заурядным для католического мальчика образом: старший приятель заводит его в паскудный флорентийский бордель).

Пыл ранних любовных переживаний, обильное чтение античных авторов и современных итальянских поэтов приносят поэтические плоды: в шестнадцать лет Д'Аннунцио завершает первый сборник стихотворений и при финансовой поддержке отца издает его тиражом в пятьсот экземпляров. Переполненный гордостью, дебютант дарит и рассылает книжечку всем своим знакомым, в том числе и ректору колледжа.

Здесь его ждет, впрочем, горькое разочарование. Дело в том, что сквозь общие места и патетические штампы позднего итальянского романтизма в духе Кардуччи слишком явно проглядывает необузданный темперамент. Все эти «эфирные перси, на которых проходит вся ночь» и «варварская похоть поцелуев» настораживают педагогов. Собирается административный совет, и дело идет к исключению, но юный талантливый шалопай, в общем-то, симпатичен всем и посему отделывается строгим предупреждением. Резонанс за стенами учебного заведения, однако, вскоре залечивает раны его честолюбия: во всех литературных обозрениях пишут о новом таланте — большинство критиков восхваляют его, хотя кое-кто, понятно, и поругивает.

Д'Аннунцио полон планов: стихи пишутся легко. Не проходит и года, как у него уже готова большая поэтическая книга — «Новая песнь». Она издается как вполне серьезный труд в авторитетном издательстве, но честолюбивому Д'Аннунцио мало уже существующего внимания публики. Он затевает рекламный трюк вполне в духе современной поп-звезды: в день появления книги в продаже одна флорентийская газета получает телеграмму от неизвестного лица. В ней рассказывается о трагической гибели юного поэта во время катания на лошади.

Книга мгновенно раскупается, в то время как автор книги и телеграммы (это, конечно же, сам Д'Аннунцио) жив и здоров. Он даже не удосужился предупредить о мистификации родителей, которые сразу поверили в известие.

Так или иначе, внезапно свалившаяся слава и первый в череде многих и многих скандал, а также многочисленные любовные увлечения не мешают Габриеле окончить с отличием колледж и поступить в Римский университет на отделение литературы и филологии.

(Что касается увлечений: с самого начала вполне в духе романтической поэзии Д'Аннунцио заводит привычку давать всем объектам своей страсти вымышленные имена; выбор имени при этом подчиняется строгой и сложной системе. Некоторые имена давались дважды или трижды — разным особам, в зависимости от сложной игры ассоциаций и правил классификации, размахом своим напоминающей какую-нибудь систему Линнея. В старости Д'Аннунцио отведет под архивы и картотеку собственных любовных приключений — несколько тысяч досье — целую комнату на своей вилле «Витториале».)

К 1881 году Рим был столицей Италии всего только десять лет: сонный во времена папского государства, город превратился в котел, переполненный политиканами, аферистами, предпринимателями и артистической богемой. В этот котел, где кипели страсти, и окунулся юный «дикарь из Абруццо», как его окрестили в литературной среде. Д'Аннунцио быстро сходится со столичной элитой, триумфально переиздает все свои написанные к тому времени поэтические книги, а также первый сборник рассказов и с удовольствием отдается журналистике. Он пишет сразу для нескольких изданий, в основном для разделов светской хроники, в духе скандальном, провокационном, на грани фола, с цинизмом и нахальным юмором, которые нашему современному читателю напомнили бы нечто из московской бульварной прессы новейшего времени. Пишутся и стихи: в римский период Д'Аннунцио перестает сдерживать свою тягу к претенциозно эротическим темам.

Содержание очень часто носит откровенно автобиографический характер, поэтому публикация почти каждой его новой элегии или канцоны заканчивается небольшим скандалом, а иногда — и дуэлью.

В Риме Д'Аннунцио, освободившись от опеки родителей и учителей, наконец получает возможность создать собственный стиль жизни, которому не изменяет на протяжении последующих тридцати лет: сонм порхающих вокруг прелестных созданий, квартиры, заставленные цветами, античными статуями и безделушками, заваленные чудовищными собраниями гобеленов и кружев, пропахшие куреньями и дорогими сортами табака, простыни, пропитанные ароматическими эссенциями, — помесь быта индийского махараджи и фантазий провинциального эстета. Об этом красноречиво говорит опись имущества, составленная как-то раз кредиторами: «Арфа в замшевом чехле, клыки дикого кабана, позолоченная статуэтка Антиноя, алтарные дверцы, два японских фонарика, шкура белого оленя, двадцать два ковра, коллекция старинного оружия, расшитая бисером ширма…» — полный список составил бы пару страниц.

Позже приходит увлечение лошадьми и охотничьими собаками. И долги, бесконечно раскручивающаяся спираль долгов; деньги необходимы, чтобы субсидировать всю эту роскошь, поскольку литературные и журналистские заработки не в состоянии и на десять процентов прикрыть постоянно разрастающуюся финансовую брешь.

Конечно, приходится соблюдать и внешние условности: 28 июля 1883 года в возрасте двадцати лет Д'Аннунцио женится на молодой аристократке Марии ди Галлезе, в браке с которой он формально и прожил всю жизнь. Свадьба играется после бурного романа с бегством девушки от родителей, но Габриеле вскоре теряет интерес к Марии, получившей в его классификации сразу три поэтических имени — Йелла, Марайя и Мариоска. Лет через пять после свадьбы отношения с ди Галлезе полностью прекращаются, но она остается его законной супругой. Впрочем, за недолгую совместную жизнь Габриеле и Мария успевают произвести на свет троих детей.

Необузданный юный эстет вновь погружается в коловращение столичной жизни. Откровенное распутство поэта вскоре дает повод для едкого фельетона, напечатанного неким Карло Маньико в провинциальной газете «Абруццо». К несчастью, это именно та газета, которую читают родители Габриеле и его жена. Разозленный поэт вызывает коллегу по цеху на дуэль и терпит поражение. Д'Аннунцио ранен в голову. Вызванный врач обильно обработал рану модным тогда антисептиком — перхлоратом железа. Эскулап перестарался: от воздействия химиката Д'Аннунцио в двадцать три года становится совершенно лысым. В результате медицинской ошибки и создается образ поэта — такой, каким мы его видим на многочисленных портретах и фотографиях: маленький лысый мужчина с огромным носом и рыбьими глазами навыкат, глазами маньяка или гения.

В 1889 году, ко дню выхода первого романа Д'Аннунцио «Наслаждение», жизнь его выглядит вполне сложившейся, хотя и не во всем уютной: события в этой жизни повторяются с удивительным однообразием — за одним романтическим приключением следует другое, не менее романтическое (сперва художница Барбара Леони, затем неаполитанская аристократка графиня Гравина Ангуисола — от нее у Д'Аннунцио было еще двое детей в дополнение к трем законным, — затем великая итальянская актриса Элеонора Дузе). Каждое увлечение кончается трагическим разрывом. Потребность Д'Аннунцио в роскоши становится все больше и больше, долги же достигают астрономической величины.

И на фоне всех этих жизненных коллизий пишутся книги — одна за другой. Книги, которые составили европейскую славу Д'Аннунцио: «Пескарские рассказы», «Джованни Эпископо», «Невинный», «Непобедимое» и еще многие другие, пьеса «Триумф смерти».

Проза и стихи пользуются неизменным успехом, пьесы чаще проваливаются. Впрочем, стилистически Д'Аннунцио неодно-

роден: если драмы его вполне попадают в русло исканий европейского декаданса рубежа веков, то проза, за редкими исключениями, близка к натурализму.

С начала 1890-х годов благодаря переводам начинается шумная популярность Д'Аннунцио во Франции, не без помощи верной подруги Элеоноры Дузе. Актриса энергично «продвигает» на европейской сцене зрелые пьесы Д'Аннунцио, такие как «Мертвый город» и «Дочь Йорио», написанные Габриеле «под нее», хотя реакция публики и критиков весьма неоднозначна. К этому времени Д'Аннунцио большую часть времени проводит между Венецией и флорентийской виллой «Капончина», где «д'аннунцианский стиль» достигает своего наивысшего выражения во всем: в убранстве, в распорядке жизни, во вьющейся кругом свите слуг и поклонников. В этот период начинают возникать характерные легенды о Д'Аннунцио: Жарро утверждал, что поэт пьет вино из черепа девственницы и носит туфли из человеческой кожи. Маринетти рассказывал, что каждое утро Д'Аннунцио купается в морском прибое нагой, верхом на коне, а на берегу его поджидает Дузе с пурпурной мантией в руках, чтобы накинуть ее на плечи Габриеле после купания. Тогда же впервые прозвучало словечко «д'аннунцианизмы» в приложении к подобным декадентским вывертам.

«Не отказывай себе ни в чем, потворствуй всем своим инстинктам». Это напоминает прозвучавшее полвека спустя из уст Алистера Кроули «Делай что хочешь — один закон». Но «сверхчеловеческое Я» Д'Аннунцио не заглядывало слишком глубоко в темные бездны; страсти его были, невзирая на громкие ницшеанские декларации, достаточно старомодны: женщины, роскошь и тщеславие южанина. Он мог претендовать на звание нового Петрарки или итальянского Вагнера (в смысле значения личности — музыки Д'Аннунцио не писал, хотя отлично играл на скрипке, трубе и фортепьяно), но напоминал больше всего пародию на просвещенного сеньора эпохи Ренессанса. «В сущности, он был человек простой, хотя и с опасными странностями,

но вовсе не полубог, как считали его поклонницы», — подводил итог своим впечатлениям от общения с поэтом Ромен Роллан.

Честолюбие подвигло Д'Аннунцио в 1897 году баллотироваться в парламент от избирательной коллегии города Ортоны. Кандидат выступил с более чем эзотерической программой «политики красоты». «У нас больше нет времени для спокойного сна в тени лавров и миртов. Интеллектуалы, объединив свои силы, должны, исполнившись воинственного духа, выступить на стороне рассудка против варварских орд», — обращался поэт к избирателям.

Тем не менее он был избран. Став депутатом, «политик красоты», естественно, заседаниями откровенно манкировал. Чаще в это время его видели на собачьих бегах, которые стали еще одной его маниакальной страстью.

Начало нового века Д'Аннунцио встречал почти сорокалетним мужчиной. Жизненные обстоятельства его при этом были достаточно печальны: на новых выборах 1900 года депутат от Ортоны потерпел сокрушительное поражение, долгая любовная связь с Дузе закончилась (хотя более трагически для актрисы, чем для Габриеле; последняя стала, по словам одного биографа, «печальной и молчаливой жертвой его безмерного эгоизма»), долговая пропасть углубилась до двух миллионов тогдашних лир (поясним современному читателю: сумму эту можно было приравнять к стоимости пяти тонн серебра), а само имя Д'Аннунцио приобрело в Италии крайне одиозный оттенок. Этому способствовало многое: и скандальный образ жизни поэта, и путаные политические высказывания, колебавшиеся в диапазоне от ультраправых до почти анархических, и становившийся все более манерным и «прециозным» язык его произведений.

И хотя многое из написанного им продолжало пользоваться популярностью, в том числе и из написанного совсем недавно (в особенности драма «Франческа да Римини», которая стала почти обязательной в репертуаре всех известных драматических театров начала века), внутреннее состояние Д'Аннунцио было неустойчивым. Длительные периоды эмоциональной

депрессии и неуверенности в себе стали для него обычными в этот период жизни.

В 1908 году преследуемый кредиторами Д'Аннунцио пошел, в сущности, на мошенничество: некто Джованни Дель Гуццо, итальянский эмигрант, ставший миллионером в Аргентине, предложил организовать для поэта турне по Латинской Америке, в ходе которого Д'Аннунцио выступил бы с публичными лекциями. Под залог будущих прибылей Дель Гуццо взялся урегулировать проблему с долгами поэта. Гонорар предполагался огромный. Аванс Д'Аннунцио взял, но в Латинскую Америку не поехал. Сказав Дель Гуццо, что сперва должен подлечить зубы в Париже, Габриеле отправился во Францию. Вместо недели, обещанной Дель Гуццо, он провел там без малого семь лет.

Явление Д'Аннунцио в Париж было триумфальным. Во Франции он пользовался неизменной популярностью с начала 1990-х годов, и популярность эта не была омрачена теми мелкими дрязгами и пересудами, которые окружали его фигуру на родине. Оставив бедного Дель Гуццо разбираться с латиноамериканским турне и ордой возмущенных кредиторов, Габриеле в компании с новой спутницей жизни, русской по происхождению, Наталией Кросс-Голубевой, окунулся в космополитическую жизнь довоенного Парижа. Интерес к писателю, помимо литературной славы и репутации изысканного сердцееда, подогревался также тем, что Д'Аннунцио в то время стал активным проповедником двух новомодных увлечений: авиации и кинематографа.

Авиация с самого своего зарождения привлекала Габриеле: еще до отъезда во Францию он завязал знакомство с итальянскими авиаторами и не раз совершал полеты вместе с ними. Героем своего последнего написанного в Италии романа «Быть может — да, быть может — нет» он также сделал авиатора, наверное, первым из крупных литераторов обратив внимание на эту новую профессию. Интерес к технике будущего объективно сближал Д'Аннунцио с младшими, чем он, на целое поколение футуристами, хотя Габриеле и не был с ними непосредственно знаком.

(В этом же романе Д'Аннунцио впервые использовал изобретенное им чисто итальянское слово для летательного аппарата «velivolo» — в противоположность интернациональному «аэроплан». Интересно, что в этом он подобен другому поэту — Велимиру Хлебникову, который привнес в русский язык слово «самолет»).

Кинематограф был еще одной неофитской страстью поэта: первый свой контракт на написание сценария Габриеле заключает в 1910 году; как кинодраматург он оказывается фактически пионером среди именитых литераторов того времени. И хотя контракты он редко выполнял (не только в области кино; заключать договоры с издателями на вымышленные или еще не написанные произведения и в особенности получать авансы по этим договорам было для Д'Аннунцио делом привычным), ряд фильмов по его сценариям все же был поставлен, и в первую очередь невероятная для своего времени шестичасовая (!) киноэпопея «Кабирия». В этом псевдоисторическом фильме из жизни Древнего Рима все было задумано и исполнено с типично д'аннунциевским размахом: битвы гладиаторов, египетские пирамиды, «настоящее» извержение Этны… Можно сказать, что голливудские послевоенные колоссы — все эти «Спартаки» и «Бен-Гуры» — просто шли по тропе, за полвека до этого проложенной итальянским гигантоманом.

Такой вот, модный и прогрессивный, писатель стремительно прокладывал себе путь в парижском свете, щедро раздавая направо и налево интервью и обещания и, как уж было заведено, не задумываясь занимая деньги. Особенно сблизился он с кругом Иды Рубинштейн, которая познакомила его, в частности, с Клодом Дебюсси и Бакстом. Плодом этого знакомства стала самая известная работа Д'Аннунцио парижского периода — драма «Мученичество св. Себастьяна». Она была поставлена в 1911 году — с музыкой Дебюсси, декорациями Бакста и Идой Рубинштейн в главной роли. Последнее — женщина, играющая святого Себастьяна, да еще еврейка и лесбиянка —

стоило Д'Аннунцио отношений с Ватиканом. 8 мая 1911 года декретом Священной конгрегации он был отлучен от церкви, а католикам было воспрещено чтение его произведений и посещение постановок его пьес. Конфликт со Святым престолом удалось загладить только спустя двадцать пять лет, уже перед самой смертью Габриеле.

В Париже Д'Аннунцио не изменял ни одной из своих привычек: Голубева вскоре была отправлена в отставку, и жертвою его всепожирающей сексуальности пала сначала, несмотря на свои лесбийские пристрастия, Ида Рубинштейн, а затем и ее подруга, американская художница Ромен Брукс. К тому времени Д'Аннунцио уже окончательно покончил с приличиями: многочисленные любовницы проживали вместе с ним в самых причудливых комбинациях, образуя некое подобие гарема.

В отношениях с женщинами Д'Аннунцио был крайне эгоистичен и далеко не всегда бескорыстен, что не помешало ему остаться в памяти современниц великим любовником. Дело, очевидно, было, как всегда приходится признавать в подобных необъяснимых случаях, в магии. Молодая Айседора Дункан вспоминала о поэте: «Этот лысый, невзрачный карлик в разговоре с женщиной преображался, прежде всего в глазах собеседницы. Он казался ей почти что Аполлоном, потому что умел легко и ненавязчиво дать каждой женщине ощущение того, что она является центром вселенной».

Но, несмотря на все это — на всемирную славу и на любовь прекрасного пола, — любой беспристрастный наблюдатель сказал бы, что жизнь Д'Аннунцио в целом прожита, а карьера — завершена. Казалось бы, что можно было добавить к сделанному и прожитому? В предвоенном 1913 году Габриеле исполнилось пятьдесят лет, писал он все меньше и меньше и основное уже было написано. Для большинства людей требуется какое-то чрезвычайное событие, чтобы в этом возрасте придать своей жизни новое направление. Для Д'Аннунцио таким событием оказалась война. Она оборвала затянувшуюся первую часть романа жизни и начала новую — с чистого листа.

3

Италия должна была вступить в войну на стороне Тройственного союза, однако этого не произошло — помешали общественные настроения.

Движение за разрыв соглашений и продолжение борьбы с австрийской империей, за возвращение Италии всех территорий с итальянским населением существовало уже давно. Ирредентисты («несгибаемые») требовали присоединения к Италии Верхнего Тироля, Венеции-Джулии и всего Адриатического побережья будущей Югославии. В этой борьбе были свои жертвы и свои мученики: в частности, казненный в Триесте Гульемо Обердан, бывший соученик Д'Аннунцио по университету.

Воспитанный в консервативной провинциальной среде, Д'Аннунцио всегда был настроен националистически, но ничуть не больше и не меньше, чем большинство современных ему итальянских интеллектуалов. Время от времени в связи с какими-нибудь событиями он разражался монархо-патриотической одой, иногда высказывался на политические темы, однако говорить о какой-то жесткой позиции поэта в довоенное время не приходится. Даже в период своего депутатства Д'Аннунцио оставался политическим путаником — ничего другого от модного поэта никто, впрочем, и не ждал.

Самым, пожалуй, ангажированным произведением Габриеле (и предвестником будущей борьбы) стала написанная в 1908 году трагедия «Корабль». Этот бравурный опус, посвященный восхвалению былого величия Венецианской республики, уже содержит все характерные для будущего Д'Аннунцио-политика темы: господство над всей Адриатикой, желание увидеть Италию сильной морской державой. Постановка была осуществлена с уже хорошо знакомой нам помпой, рукопись шедевра — торжественно преподнесена городским властям Венеции. Д'Аннунцио восседал в цилиндре и рединготе в гондоле, принадлежавшей потомку знаменитой семьи дожей Фоскари, Пьеро; манускрипт, врученный синдику, был завернут в красное

полотнище с золотым изображением льва святого Марка; синдик вручил Д'Аннунцио ключи от города. В общем, спектакль вышел еще грандиознее, чем постановка пьесы. Тем не менее это был только эпизод в жизни Д'Аннунцио, впрочем, весьма знаменательный в свете будущих событий.

Оказавшись во Франции в начале войны, писатель занимает откровенно проантантовскую позицию. Он посещает фронт, пишет военные корреспонденции для итальянской прессы и американского концерна Хёрста. Ирредентисты и сторонники Антанты в Италии начинают присматриваться к Д'Аннунцио — им нужна крупная фигура, способная стать знаменем их движения. Однако Габриеле долго колеблется, обдумывает ситуацию, да, впрочем, и боится оторваться от привычной жизни во Франции, в небольшом поместье, где он окружен своими наложницами, лошадьми и гончими псами.

Только в 1915 году, когда общественное мнение в Италии полностью созревает для вступления в войну на стороне Антанты, он решается: 3 мая Д'Аннунцио отбывает в Италию. На границе его встречают участники добровольческих итальянских бригад, сражавшихся во Франции и Бельгии под руководством внука Гарибальди — Пеппино. По мере того как поезд движется в сторону Генуи, кортеж становится все более пышным и представительным — к нему присоединяется ряд высших военных чинов, мэры Рима и Неаполя, оппозиционные сенаторы.

В Геную Д'Аннунцио прибывает уже как триумфатор. На площади Кварто, перед огромным количеством народа он произносит знаменательную речь. Король первоначально также собирался присутствовать, но, ознакомившись с текстом речи, передумал. На самом деле решение давно принято: уже подписан секретный Лондонский пакт, по которому Италия отрекается от всех военных обязательств по отношению к бывшим союзникам, однако Виктор Эммануил III считает неразумным раньше времени афишировать уже состоявшееся предательство. Д'Аннунцио, правда, не чинят никаких препятствий, и он проводит собрание с огромным успехом.

Не все положительно воспринимают политический дебют поэта: не только германофилы и сторонники нейтралитета, но и многие поклонники поэта считают его поведение низкопробным фарсом.

Однако что до этого Д'Аннунцио?.. Он купается в лучах всенародной славы, произносит одну речь за другой и с удовольствием примеряет на себя тогу национального трибуна (что, впрочем, не мешает ему в своем обычном стиле оставить в наследство муниципалитету Генуи неоплаченный счет за шикарный номер в гостинице и услуги двух проституток).

Явившись в Рим, Д'Аннунцио вновь разражается серией воинственных речей с балкона дома, у которого постоянно дежурят толпы солдат и столичной молодежи. Как раз в это время он впервые использует приветственный жест легионеров Древнего Рима — тот самый, который позднее возьмет на вооружение Муссолини.

23 мая 1915 года при общем ликовании Италия объявляет войну Австрии. Д'Аннунцио сразу же направляется в действующую армию, в Венецию. В скромном чине капитана, однако с негласными и неписаными привилегиями, которые обеспечены ему благодаря популярности и известности, и, конечно же, определенной дисциплинарной вольности, присущей армиям латинских наций, где герой-капрал зачастую имеет больше власти, чем генерал.

Воюет Д'Аннунцио лихо, хотя, по нашим понятиям, достаточно странно. После боевых экспедиций он возвращается в свой уютный маленький дворец на Большом канале, куда из Франции им было выписано все необходимое для жизни гения: наложницы, борзые, персидские ковры и аррасские гобелены. Быт его был устроеннее, чем быт воевавшего на том же фронте Хемингуэя. Но в бою Габриеле оказывался действительно смельчаком и азартно рисковал собой. Несмотря на свои пятьдесят два года, он записывается сначала во флот, где участвует в вылазках торпедных катеров, а к концу лета переходит в авиацию. Он летает на Триест, на Пулу, на Сплит, сбрасывает бомбы

и прокламации, видит гибель боевых товарищей, при неудачной посадке повреждает себе зрительный нерв и слепнет на один глаз. С этих пор канонический образ поэта дополняется наглазной повязкой.

И все это время Д'Аннунцио пишет, но уже не художественные произведения, а доклады об улучшении положения дел в военной авиации, надгробные речи, репортажи о воздушных боях, секретные записки с проектами безумных военных экспедиций. Впрочем, особое положение Д'Аннунцио и его неподконтрольность делают его чем-то вроде полевого командира современных герилий; некоторые свои идеи он воплощает, не спросившись у начальства. Как ни странно, с успехом, причем отдельные операции навсегда входят в историю войн.

Так, в августе 1918 года он совершает боевой вылет на Вену, ставший первым в истории воздушным налетом на столицу государства-противника и, по существу, рождением дальней бомбардировочной авиации.

(По горячим следам он готовит и налет на Берлин, но тут уж командование жестко блокирует эту выходку в духе камикадзе: из-за нехватки горючего эскадрилья после налета должна была бы приземлиться на вражеской территории.)

Напомним, что на Рождество предыдущего, 1917 года Д'Аннунцио организует и проводит дерзкую ночную вылазку торпедных катеров при поддержке авиации (прожектора на катерах должны были служить навигационными ориентирами для пилотов) на австрийскую военно-морскую базу в Далмации, форт Буккари. И хотя военный эффект от этой акции был равен нулю (боевые корабли на рейде отсутствовали, пришлось ограничиться разбрасыванием бутылок с оскорбительными посланиями в адрес австрияков), театральный эффект превысил всякие ожидания.

Война завершилась 3 ноября 1918 года. Д'Аннунцио закончил ее в звании подполковника, героем в глазах солдат и большинства соотечественников. Прославленный в новом качестве, Д'Аннунцио тем не менее далек от удовлетворенности:

мир не обещает ему ничего интересного. «Чувствую зловоние мирной жизни», — пишет поэт в день заключения перемирия.

Нерастраченный воинственный пыл, однако, недолго остается невостребованным.

В результате сложных политических интриг союзники решают поступить с Италией так, как обычно поступают с бедными родственниками, то есть оставить без обещанного куска пирога. В накаленной обстановке разоренной войной страны это вызывает массовое недовольство, особенно среди вернувшейся с фронтов молодежи. Демобилизованные двадцатилетние, которые умеют только воевать, становятся, так же как в России и Германии, опасной и легковозбудимой революционной силой, способной оказывать давление на власть. Их влияние так велико, что сложившаяся система солдатской демократии даже получает особое название «trincerocrazia» — «власть окопов». Костяк этой жадно прислушивающейся к речам вождей молодежи составляют так называемые «ардити», «пылкие» — ветераны элитных формирований вооруженных сил: гвардии, кавалерии, авиации и флота. Они ищут себе подходящего лидера. Основных претендентов на эту роль двое: молодой и энергичный Бенито Муссолини и наш герой.

Вокруг Д'Аннунцио завязывается борьба с целью перетянуть его на свою сторону. Участвует в ней и партия власти: правительство предлагает поэту звание маршала авиации и пост вице-премьера. Осторожный, когда это необходимо, Габриеле выжидает, присматривается к ситуации. По мере того как становится все более и более ясно, что на версальских переговорах Италию собираются элементарно надуть, в областях с итальянским населением начинаются восстания ирредентистов. 30 октября 1918 года в городе Фиуме (современная хорватская Риека), где восемьдесят процентов населения составляли тогда итальянцы, восстание кончается захватом власти. Восставшие провозглашают республику — с намерением впоследствии присоединиться к Италии. Город для поддержания порядка оккупируют союзники: французы и итальянцы.

Д'Аннунцио пытается определить свою политическую линию. С одной стороны, он начинает прощупывать почву для сближения с Муссолини, который в ту же осень окончательно порывает с социалистами и создает фашистское движение, объединившее значительную часть ветеранов войны. С другой — пытается склонить Пьетро Бадольо к высадке подчиненных тому войск в Далмации, чтобы пересмотреть результаты войны силовыми методами. Бадольо вынужден осадить слишком строптивого подполковника; он приказывает Д'Аннунцио не совать нос куда не следует. В ответ Габриеле подает в отставку, чтобы покончить с двусмысленностью своего положения и обеспечить себе carte blanche.

7 апреля 1919 года делегация Фиуме предлагает «герою моря и неба» занять пост руководителя государства. Габриеле колеблется, ограничиваясь публикациями в газетах пылких памфлетов и произнесением патетических речей на сходках ардити.

Но ситуация продолжает накаляться, подталкивая колеблющегося героя к выбору. 10 июня в итальянской и международной прессе распространяются слухи о существовании заговора под руководством Д'Аннунцио, Муссолини и кузена короля герцога Д'Аосты с целью свержения правительства. Дело пахнет арестом. Загнанный в угол Д'Аннунцио обращается к Виктору Эммануилу III с просьбой о личной аудиенции. Король принимает поэта, выслушивает его заверения в лояльности, но, когда дело доходит до империалистических прожектов Д'Аннунцио, остается непреклонен: «Конституция определяет минимум прав народа и максимум моих прав».

Д'Аннунцио не остается ничего, кроме как пойти ва-банк. Он печатает на страницах еженедельника «Идеа национале» пламенный манифест под названием «Не подчинюсь!» и собирает своих сторонников на площади Капитолия. Выйдя перед ними, он разворачивает знамя, которым был покрыт гроб его боевого товарища Рандаччио, и в течение нескольких часов целует складки знамени, перечисляя при этом названия далматинских городов. Ни полиция, ни войска не решаются помешать сборищу.

Между тем в Версале американский президент Вудро Вильсон вносит предложение: большая часть Далмации должна отойти к новорожденному Королевству сербов, хорватов и словенцев. В Фиуме вспыхивают кровопролитные столкновения между итальянскими частями, поддерживающими ирредентистов, и французами, вставшими на сторону югославян.

Медлить дольше нельзя: представители Фиуме являются в Венецию, куда возвращается из Рима Д'Аннунцио. Они хотят забрать его с собой. В последнем пароксизме нерешительности поэт пытается притвориться больным, но это не помогает. И вот рано утром 11 сентября начинается «поход на Фиуме». Впереди едет Д'Аннунцио в открытом «фиате», засыпанном лепестками роз, за ним следуют пятнадцать грузовиков с ардити. По дороге к колонне присоединяются группы солдат, карабинеров и беженцев из Далмации. В километре от границы их пытается остановить командующий экспедиционным корпусом в Фиуме генерал Патталуга. Д'Аннунцио скидывает шинель и демонстрирует генералу грудь, покрытую боевыми орденами: «Если вы сможете прострелить это, то стреляйте». Патталуга со своими солдатами переходит под командование Д'Аннунцио.

В 11.45 12 сентября 1919 года легионеры без единого выстрела входят в город: их встречают колокольным звоном, приветственным ревом сирен и орудийным салютом со стоящих на рейде военных кораблей. Начинается полуторагодовая история одного из самых странных государств, существовавших в 20 веке, — Регентства Фиуме.

Утомленный путешествием, Д'Аннунцио пытается отоспаться в гостинице, но его будят и сообщают, что он назначен губернатором и военным комендантом города.

(«Comendante» впоследствии станет чем-то вроде почетного звания Д'Аннунцио, все будут обращаться к нему до самой смерти именно так.)

«Кто? Я?» — удивленно переспрашивает Д'Аннунцио, но его уже тащат на балкон, откуда он говорит собравшимся горожанам: «Итальянцы Фиуме! В этом недобром и безумном мире

наш город сегодня — единственный островок свободы. Этот чудесный остров плывет в океане и сияет немеркнущим светом, в то время как все континенты Земли погружены во тьму торгашества и конкуренции. Мы — это горстка просвещенных людей, мистических творцов, которые призваны посеять в мире семена новой силы, что прорастет всходами отчаянных дерзаний и яростных озарений».

Народ в восторге, однако одних красивых слов мало: надо заниматься государственным и военным строительством. Дело, впрочем, облегчает то обстоятельство, что в Фиуме начинают стекаться силы: ардити со всех концов страны, дезертировавшие солдаты и матросы. Правительственные войска, подчиняясь приказам премьера Нитти, занимают позиции вокруг города, но бездействуют, поскольку их симпатии всецело на стороне Д'Аннунцио.

14 сентября адмирал Казануова приказывает боевым кораблям покинуть фиумский порт — капитаны отказываются и переходят на сторону республики. Триумфатор пишет хвастливое письмо Муссолини, который так и не решился присоединиться к «походу на Фиуме»: «Я в равной степени потрясен Вами и итальянским народом… Вы хнычете, в то время как мы боремся… Где Ваши фашисты, Ваши волонтеры, Ваши футуристы? Проснитесь! Проснитесь и устыдитесь… Проколите дырку в Вашем брюхе и спустите жир. Иначе это сделаю я, когда моя власть станет абсолютной». Муссолини не остается ничего другого, кроме как поддержать Д'Аннунцио деньгами и отрядом бойцов, но с этого момента он надолго затаил жгучую зависть к преуспевшему сопернику, смешанную с восхищением. Это чувство еще даст о себе знать позже.

Между тем народ надо было кормить. Д'Аннунцио принимает решение вполне в духе средневекового кондотьера (каковым он, в сущности, и был): боевые корабли Фиуме отправляются бороздить Адриатику, захватывая все повстречавшиеся по пути торговые суда. Так корсарство становится основным источником снабжения «республики красоты» провиантом и товарами

первой необходимости. В пиратское государство начинают стекаться самые удивительные персонажи: поэты, контрабандисты, воры, аферисты, кафешантанные певицы, безумные изобретатели и просто отбросы общества. Всех привлекает аромат абсолютной свободы и беззакония: на улицах Фиуме каждую ночь до утра шумит сюрреалистический карнавал. Хлеба все равно не хватает — для поддержания боевого духа и работоспособности гражданам вместо хлеба щедро раздают кокаин. Сам Д'Аннунцио почти не спит: он пишет декларации и приказы, обращается к толпе с речами несколько раз на дню (и даже по ночам). В этот период он и сам привыкает к кокаину, который останется его пагубной страстью вплоть до самых последних дней жизни.

Д'Аннунцио пишет первый проект конституции. В стихах. Испуганные соратники призывают его не горячиться. Конституцию в прозе пишет премьер вольного города, социалист Де Амбрис, но Габриеле все же добавляет в нее от себя немало курьезных пунктов. В частности, обязательное музыкальное образование для детей, без которого гражданство Фиуме не предоставляется. Также вводится государственный культ муз с сооружением соответствующих храмов.

Революция в Италии заставляет себя ждать. Муссолини, понимающий, что нельзя отдать победу в руки конкурента, удерживает свои отряды от активных действий. Д'Аннунцио, которого неудержимо несет на поле боя, решает заняться пока альтернативной военной кампанией: он пытается сговориться с хорватскими сепаратистами, чтобы отправиться в поход на Загреб с целью «сбросить ненавистное сербское иго». Попутно он не забывает и об искусстве: в Фиуме в качестве министра культуры приглашается знаменитый Артуро Тосканини. Маэстро соглашается, и теперь, кроме кокаина и речей, публику услаждают еще и симфоническими концертами на городской площади.

На должность министра иностранных дел Д'Аннунцио назначает бельгийского поэта-анархиста Леона Кохницкого.

Первым делом министр-анархист обращается с предложением создать Лигу угнетенных Земли. Предложение рассчитано в первую очередь на поддержку Советской России, но Совнарком отвечает крайне осторожной сочувственной телеграммой: кремлевские комиссары чуют, что флибустьерская фиумская вольница больше напоминает контрреволюционный мятеж, чем советскую власть. На предложение откликаются лишь некоторые, не менее экзотические, чем сам Фиуме, формирования: каталонские сепаратисты, вожди крестьянского восстания в Мексике и, зачем-то, египетский хедив.

Тем временем голод и разброд в городе нарастают: несмотря на ряд успешных пиратских рейдов, нехватка многих вещей очень ощущается, особенно после того, как правительственные войска наконец переходят к активной блокаде города. Но, вопреки всему, Д'Аннунцио держится.

В первую очередь потому, что никто его не трогает. Ведь он удобен всем: итальянскому правительству — в качестве жупела для торга с союзниками, союзникам — как противовес требованиям югославян и предлог для пребывания их частей в Далмации, Муссолини — как болячка, отвлекающая силы правительства от его собственного, планомерно подготавливаемого государственного переворота.

Фантазии Д'Аннунцио и его мистико-поэтические эксперименты все больше и больше отдаляют от него поднявших изначально восстание отцов города. Их целью было всего лишь войти в состав Итальянского королевства на правах провинциального города. Поднятый Д'Аннунцио над городом государственный стяг с созвездием Большой Медведицы на пурпурном фоне, окольцованном змеей Уроборос, кусающей собственный хвост, вызывает у них ужас. Окружившие поэта авантюристы (министр финансов имеет три судимости за кражи) им ненавистны. Обывательская мораль их содрогается при виде вереницы дам всех сословий и наций, проходящих через спальню команданте, словно машины на фордовском конвейере. В среде ирредентистов созревает решение устранить Д'Аннунцио

под предлогом того, что он пытается присвоить себе диктаторские полномочия.

Д'Аннунцио, не знающий о том, что творится у него за спиной, продолжает свою буффонаду: 22 сентября он встречает прибывшего в Фиуме изобретателя радиотелеграфа Гульельмо Маркони. Поприветствовав очередной речью «мага пространства» и «покорителя космических энергий», он обращается при помощи мощной радиостанции, установленной на борту маркониевского судна «Электра», с речью «ко всем народам мира». Народы мира остаются вполне равнодушны.

Заговорщики медлят, опасаясь верных Д'Аннунцио легионеров, но 12 ноября необходимость в заговоре отпадает сама по себе. Италия подписывает в Рапалло соглашения, по которым почти вся Далмация, включая Фиуме, отходит к Королевству сербов, хорватов и словенцев. Теперь Фиуме обречен — с Д'Аннунцио нет больше никаких резонов считаться. Коварный Муссолини первым перекидывается на сторону победителей: руки у правительства развязаны. Начинается агония, шикарная агония под звуки оркестра, играющего на городской площади. Кольцо войск, окружающее город, начинает сжиматься, рейд блокируют правительственные крейсеры.

26 декабря 1920 года Д'Аннунцио подает в отставку. 2 января нового, 1921 года после короткой и почти бескровной перестрелки Д'Аннунцио сдает город под гарантии личной безопасности и помилования всех участников фиумской эпопеи. Через пару недель все на том же «фиате», но уже без лепестков роз, в сопровождении шофера и адъютанта он покидает город. Одно из первых в мире государств под руководством поэта заканчивает свое существование.

4

Д'Аннунцио возвращается в Венецию. Он внутренне надломлен и отчетливо ощущает, что его звездный час миновал. Никто не обращает на него внимания. Никто, впрочем, и не пре-

следует. В глазах всей нации, не исключая и правящие круги, он все равно остается героем. Национальное пристрастие итальянцев к «bella figura» оказывается важнее, чем идейные разногласия, к тому же идеи, которыми руководствовался Д'Аннунцио в фиумский период, настолько пестры, что любой мог найти в них что-нибудь приемлемое для себя: и коммунист, и фашист, и анархист, и монархист.

Д'Аннунцио погружается в меланхолическую депрессию. Он отвергает любые предложения, связанные с общественной деятельностью. Все, что ему теперь нужно, — это «приют на берегу моря или озера, далекий от железных дорог, где, укрывшись от верных легионеров и слишком преданных друзей», он сможет в покое окончить свои литературные труды. 30 января 1921 года поэт приобретает на берегу озера Гарда виллу, реквизированную у немецких хозяев, дальних родственников Рихарда Вагнера.

Команданте дает вилле величавое название «Vittoriale degli Italiani» — что-то вроде «Храма победы итальянского народа». Но суждено ей стать не столько храмом, сколько прижизненным мавзолеем для самого Д'Аннунцио.

Начинается осень патриарха: печальная буффонада протянувшейся пятнадцать лет старости.

Тем временем Муссолини стремительно продвигался к власти. Он всегда испытывал перед Д'Аннунцио пиетет с примесью страха — слишком многим он обязан старшему наставнику. Позы, риторика, идеи — все это в той или иной степени усвоено не без влияния Д'Аннунцио. Муссолини принимает решение, достойное Макиавелли, — не отказывать поэту ни в чем, подыгрывать присущей ему мании величия и таким образом постепенно «удушить его бархатной подушкой». Ведь выступать открыто против Д'Аннунцио небезопасно: десятки тысяч ардити и фиумских легионеров по-прежнему считают его своим вождем и готовы идти за ним в огонь и воду.

Сам Д'Аннунцио смотрит на Муссолини сверху вниз, считая его старательным, но посредственным подражателем,

а фашизм — плебейской пародией на свои идеи, что не мешает ему льстить более молодому вождю так же неумеренно, как тот льстит ему.

Но действовать Д'Аннунцио уже не хочет или не может, и, когда Муссолини посещает «Витториале» с тайным визитом, желая узнать отношение команданте к готовящемуся фашистскому перевороту, Д'Аннунцио встает в надмирную позу обитателя башни из слоновой кости. Муссолини это более чем устраивает. Обеспечив нейтралитет ардити, фашисты могут чувствовать себя хозяевами страны.

30 октября 1922 года Муссолини сосредоточивает в своих руках всю полноту власти. Он благодарен Д'Аннунцио за невмешательство и выражает свою благодарность с размахом: государство выкупает «Витториале» и берет на себя все расходы по его содержанию. Указом дуче создается национальный институт для издания полного собрания сочинений Д'Аннунцио, государство приобретает у поэта все архивы, его осыпают целым ливнем новых наград, избирают академиком.

Д'Аннунцио с увлечением втягивается в эту игру. Он решает создать в «Витториале» нечто вроде прижизненного дома-музея. В саду вокруг виллы на постаменты водружаются реликвии: уже известный читателю открытый «фиат» и торпедный катер, участвовавший в нападении на Буккари. Муссолини присылает Д'Аннунцио огромные глыбы, вырезанные из «исторических вершин» — гор, находящихся на территориях, присоединенных к Италии в результате войны. Эти каменюги также находят свое место в саду, окружающем «Витториале». Д'Аннунцио без конца принимает у себя прибывающие с визитами вежливости делегации политиков, писателей и легионеров, проводит по парку и вилле, демонстрируя мемориал в честь своего собственного героического прошлого. Для самых почетных гостей команданте лично производит салют из носового орудия торпедного катера.

Слишком поздно он начинает понимать хитрый замысел «друга Бенито». Со всех сторон Д'Аннунцио окружен согля-

датаями: личный секретарь, водитель, пилот гидросамолета, охрана — сплошь агенты фашистской службы безопасности. Любая безобидная прихоть Д'Аннунцио, любая его просьба — оказать протекцию старым друзьям или наградить кого-нибудь орденом — незамедлительно удовлетворяются. Но на все его попытки вмешаться в политику дуче отвечает вежливыми письмами — и делает все по-своему. Вскоре уже и руководство движением легионеров ускользает из рук Д'Аннунцио; в большинстве своем ардити вливаются в ряды фашистских организаций.

Каждодневная переписка между поэтом и диктатором продолжается почти пять лет: Д'Аннунцио наставляет, угрожает, требует, торгуется; Муссолини улещивает, подкупает, восторгается. К 1927 году неизбежная капитуляция фактически совершается: Д'Аннунцио теряет последние рычаги власти и становится почетным пленником режима.

(В СССР разыгралась в чем-то подобная драма: тою же «бархатной подушкой» в особняке у Никитских ворот Сталин душит Максима Горького. Интересно, учился ли он у Муссолини, или просто все несостоявшиеся поэты отлично знают, как заманить в ловушку поэтов состоявшихся?)

Д'Аннунцио признает поражение: в его письмах уже не встретишь просьб о назначениях министров или указаний, как вести внешнюю политику, — все больше жалкие старческие просьбы о новой медальке к юбилею или сетования на недостатки в работе местной администрации. Начинается деградация — физическая и психическая, — ускоренная неумеренным потреблением кокаина и эфира. Временами Д'Аннунцио снова пробует писать, однако, за исключением пары автобиографических произведений, из-под его пера выходят одни только неоконченные фрагменты.

В последние годы жизни он практически не покидает «Витториале», не принимает посетителей, полностью погрузившись в атмосферу грез и воспоминаний, перечитывая дневники, письма и записные книжки. Болезни все чаще и чаще преследуют его, и вечером 19 сентября 1938 года смерть наконец настигает семидесятипятилетнего поэта.

Впрочем, в одном Д'Аннунцио, несмотря на свои болезни и печали, остается верен себе до конца: последняя дама покинула его спальню за четыре часа до того, как перестало биться его сердце.

Эпилог в вольном стиле

Чем закончить рассказ об этой удивительной жизни? Можно погрузиться в рассуждения о посмертной судьбе наследия Д'Аннунцио, о том, как драматически поменялось отношение к нему после крушения фашизма, о той почти культовой роли, которую стала играть (и играет до сих пор) его фигура в экстремально ориентированных кругах: политических и артистических. Можно углубиться в психологию культуры, в разговор о том, как биографическая легенда порою укрупняет значение автора (напомним еще раз: сейчас непросто сопереживать восторгам современных Д'Аннунцио читателей). Можно, сделав шаг в сторону, полюбоваться кармическими играми истории, проанализировав то, как развивались отношения между Муссолини и Гитлером, — одержавший победу над Д'Аннунцио диктатор сам оказался в шкуре своей жертвы, повстречав более сильного и лишенного поэтических сантиментов «нежного вампира».

Но нам хотелось бы закончить разговор на легкомысленной ноте и сделать несколько полезных для всех выводов из повести чужой жизни:

1) Никогда не говорите: «Мне уже слишком поздно начинать…»

Д'Аннунцио, ставший авиатором в пятьдесят два года, вызывает большее уважение, чем Гайдар, командовавший полком в шестнадцать.

Первому, в отличие от второго, было что терять.

2) Лучший способ написать много книг — придумывать названия и брать под них авансы у издателей. Если не стесняться и действовать с размахом, то можно стать даже классиком.

3) Тщательно проверяйте всех тех, кто хвалит вас и называет учителем. Среди них может оказаться не только ваш Иуда, но и ваш Муссолини.

Второе намного опаснее.

4) Управлять народом ничуть не тяжелее, чем развлекать читателя. И не легче — и в том и в другом случае вам рано или поздно придется смириться с потерей популярности.

Д'Аннунцио был противоречивой личностью во всех смыслах: как писатель, как политический деятель, как гражданин и как частное лицо, поэтому суждения о нем не могут не быть противоречивыми. Некоторые вещи (в частности, изобретение символики и риторики фашизма) ему и сейчас тяжеловато простить.

Однако все же не будем слишком пристрастны к Габриеле Д'Аннунцио. В конце концов, ему удалось прожить насыщенно и увлекательно целых три жизни.

Многим не удается прожить так и одну.

Журнал «Иностранная литература», 1999

Житие святого Адриано

Все больше и больше певцов,
которым трудно поверить.
Все больше и больше поэтов,
которых невозможно понять.
Болтают все больше и больше,
а пишут все хуже и хуже:
место для культуры осталось
лишь на полках библиотек…

Un Uomo Libero

Песня Ивано Фоссати
для последнего альбома
Адриано Челентано

Как говорится, мужчина должен быть слегка красивее обезьяны. Но возможен и другой, гораздо более редкий, но абсолютно неотразимый вариант — когда мужчина выглядит как очень обаятельная обезьяна. А если этот мужчина к тому же — обладатель проникновенного голоса, да еще и гениальный актер в придачу, то не влюбиться в него просто невозможно.

Россия влюбилась в Адриано Челентано на закате брежневской эпохи. Именно в то время, в самом начале восьмидесятых, популярность итальянской эстрады достигла пика — в основном это была эстрада второсортная, та, которую сами итальянцы называют una spaghettata (идиома примерно с тем же смыслом, какой цивилизованный русский вкладывает в слова «гжель» или «расписные матрешки»). Но вместе со всеми I Pooh, Риккардо Фольи, Аль Бано и Роминой Пауэр и прочими, заслуживающими забвения персонажа-

ми, волна италодиско выкинула на российские берега и несколько имен, которые составляют гордость итальянской культуры — Лучо Далла, Matia Bazar и, конечно же, несравненный Челентано.

В те времена, когда глобализация массовой культуры была еще делом хотя и недалекого, но будущего, скудость информации и капризы идеологических таможен частенько приводили к причудливым временным сдвигам — Россия начала любить Челентано тогда, когда Италия пыталась о нем забыть. И если для большинства из поколения автора этой статьи (тех, кому сейчас под сорок) Челентано — это очаровательный герой «Укрощения строптивого» и мелодии Soli и Se il tempo se ne va, звенящие в пряном крымском воздухе над прибрежной танцевальной верандой, для итальянца — до самого недавнего времени — Челентано принадлежал по сути своей «бурному десятилетию», прошедшему под взрывы бомб и кипение политических страстей, то есть — человеком совсем другой эпохи. (Такому восприятию не мешало даже то, что убеждения и вкусы Челентано всегда находились в вопиющем противоречии с любой эпохой; но к этому мы еще вернемся.)

До самого недавнего времени — потому что сейчас Челентано на Апеннинах снова популярен, а вернее — популярен как никогда. Два миллиона копий последнего альбома Esco di rado e parlo ancora meno для шестидесятимиллионной Италии — гигантская цифра, а если учесть тот факт, что половина этого количества была продана по предварительным заявкам еще до того, как вышел альбом, которому не предшествовало никакого сингла, то речь идет о действительно (используя вышедшее ныне из моды прилагательное) всенародной популярности.

На скудном журнальном пространстве трудно детально рассказать о карьере продолжительностью в сорок два года, воплотившейся в сорок четыре киноролли и тридцать четыре альбома. Но все же попробуем напомнить хотя бы основные ее моменты.

Парень с улицы Глюк

Это история жизни одного из нас,
парня, который по случайности
тоже родился на улице Глюк,
в доме на окраине города,
среди спокойных и работящих людей.

Адриано Челентано
Il ragazzo della via Gluck

Герой наш родился в январе 1938 года в пригороде Милана на улице Глюк. Согласно мнению авторитетных астрологических справочников мужчина Козерог, рожденный в год Тигра, обладает следующими качествами: «Рассудительный тигр, который великолепно избегает неприятностей». Родители будущей звезды были одними из тех миллионов южан, которые перед войной, и — в еще больших количествах — после ее окончания, устремились в индустриальные города севера в поисках работы и средств к существованию. Семья Челентано происходила из Апулии, нищей провинции на обочине цивилизации, в которой еще в двадцатые годы такие вещи, как горные разбойники и албанские пираты, были делом вполне нормальным. Коренные жители Пьемонта и Ломбардии любили пришельцев не больше, чем нынешние москвичи — азербайджанцев. Ненавидеть было нетрудно: внешне и в смысле языка южане Италии отличаются от северян не меньше, чем вологодский мужик от кавказского. Аборигены навесили иммигрантам презрительное прозвище terrone: что-то вроде «землячок, брат», произошедшее от обычного среди южан обращения друг к другу (словечко «ара», кстати, имеет тот же самый смысл). Именно поэтому приезжие предпочитали селиться вместе. В одном из таких иммигрантских районов и родился Челентано.

Устроить юношу в жизни взялся дядя, который уже пустил на севере корни и владел часовой мастерской. С двенадцати лет Адриано стал работать у него подмастерьем: ремесло часовщика дорого ему до сих пор — он коллекционирует старин-

ные часы и самостоятельно занимается их реставрацией; коллекцией своей дорожит не менее, чем песнями, которые спел, и кинокартинами, в которых снялся.

Шли пятидесятые — годы, когда рок-н-ролл был еще молод и энергичен: своей витальной энергией вторично после армий Монтгомери покорил приподнимавшуюся из развалин послевоенную Европу. Подвижный, верткий и музыкально одаренный юнец, получивший еще в школе прозвище Molleggiato (Попрыгунчик), не мог остаться в стороне от модного поветрия: он начинает играть и петь сначала в школьном театральном кружке, затем — в дворовой группе. Играет то, что играли тогда все — Чабби Чеккера, Джерри Ли Льюиса — но начинает писать и собственные песни на тексты своего приятеля Микеле дель Прете. (На протяжении следующих двух десятилетий Микеле становится соавтором многих хитов Челентано.)

В то время почти в каждой европейской стране появляются многочисленные подражатели Элвиса Пресли, Бадди Холли и прочих заокеанских звезд. Тони Стилл и Клифф Ричард в Англии, Джонни Холлидей во Франции, Маленький Тони и Бобби Соло в Италии — все они старательно копируют прикиды и ужимки своих учителей. Адриано, с детства наделенный исключительным даром передразнивать, обезьянничать и пародировать, идет тем же путем. С самого начала, однако, его отличает от множества подобных ему клонов что-то свое, особенное — пресловутая итальянская непосредственность с легким налетом пижонства портового бандита, которую сами итальянцы называют menefregismo (звучит весьма похоже на «пофигизм» и также близко и по смыслу).

Днем, когда популярность Челентано перешагнула за пределы улицы Глюк, официально считается 18 мая 1957 года: именно в этот день на первом итальянском фестивале рок-н-ролла певец (в сопровождении группы, состоявшей в основном из школьных приятелей и носившей характерное название «Rocky Boys») одерживает триумфальную победу. На Попрыгунчика сразу же обращают внимание кинопродюсеры: первый фильм под названием

I frenetici (Сумасброды) появляется уже в следующем году. За ним следует еще ряд подобных поделок: «Парни из бара с джукбоксом», «Давай, Джонни, давай!», «Вопли любви», «Крикуны за решеткой» — всех их объединяет один и тот же нехитрый сюжет, хорошо знакомый поклонникам артефактов той эпохи, в частности — по картинам с молодым Элвисом Пресли. По-детски непосредственное копирование Америки вообще было нормой для итальянского коммерческого кинематографа той поры: достаточно вспомнить пресловутые «спагетти-вестерны», но Попрыгунчик, благодаря своему природному обаянию умудряется оживить даже эти эпигонские творения. Но все же подражательности пока гораздо, гораздо больше: даже в своем дебюте в «серьезном» кино — у Феллини в «Дольче вита» — Челентано играет «самого себя», выступая, скорее в качестве «приметы времени», чем актера в собственном смысле этого слова. (Примерно так же Андрей Макаревич «сыграл» в фильме «Афоня»).

Продолжая шутить свои шутки и в жизненной плоскости: практически одновременно с Элвисом Челентано уходит в армию, от которой (как и Элвис) легко мог бы отвертеться, но (как и Элвис) не стал, «чтобы не подавать дурного примера». Правда, в отличие от кумира он находит среди занятий шагистикой и время для музыки: в мае 1961 года отпросившись в очередное увольнение из части* и созвонившись с музыкантами по телефону, он заявляется на главный конкурс итальянской эстрады — фестиваль в Санремо — и в дуэте с Маленьким Тони исполняет песню 24 mila baci (24 000 поцелуев). Они занимают только второе место, но успех песни с лихвой компенсирует потерю гран-при: продажи сорокапятки с ее записью впервые в истории итальянского шоу-бизнеса перешагивают за цифру в миллион экземпляров.

(Надо сказать, что с Санремо — фестивалем, внутренние интриги которого и коммерческая возня вокруг по своей коррумпированности вполне соотносимы с соответствующими фору-

* Верность фактам заставляет нас, правда, уточнить, что разрешение на это «очередное» увольнение дал лично Джулио Андреотти, бывший тогда министром обороны. — *Прим. автора.*

мами нашей родной попсы — Челентано постоянно не везло. Только в 1970 году с пятого захода ему удается выиграть конкурс, после чего певец поклялся, что его нога больше никогда не ступит даже на землю этого курортного городка на Лигурийской Ривьере, не то что на конкурсную сцену. Обида оказалась стойкой. Когда недавно в связи со взлетом популярности, а также для того чтобы помочь раскрутке его нового телевизионного шоу, руководство канала RAI стало уговаривать Адриано выступить на Санремо, артист выдвинул следующие скромные условия: 1) он будет участником 2) ведущим 3) председателем жюри 4) после чего фестиваль навсегда закрывается.

После возвращения в жизни Челентано происходит сразу несколько ключевых событий.

Контракт с фирмой грамзаписи Saar подходит к концу, но, несмотря на обилие предложений, Адриано отказывается связать свою карьеру с какой-либо из известных компаний. Вместо этого он создает собственный лейбл Clan Celentano, бессменным президентом которого до самого недавнего времени становится родной брат Алессандро. С этого момента и по сию пору все новые работы певца выходят под эгидой «Клана». Надо отметить, что долгожительство Clan оказалось беспрецедентным для мира маленьких независимых фирм звукозаписи: появившись в пору, когда такого понятия вообще не существовало, Clan пережил и взлет, и упадок независимых структур, продолжив свое успешное существование во времена засилья прожорливых транснациональных монстров. Когда пару лет назад BMG пообещало только за то, чтобы Clan вступил в ассоциацию с ним при сохранении полной административной автономии, 85 миллиардов лир, предложение не только было с порога отвергнуто, но любимое детище Челентано тут же начало демонстративно скупать права на те фильмы и телепередачи с участием Попрыгунчика, которые ранее принадлежали другим владельцам.

В то же время Челентано знакомится со своей будущей женой, актрисой Клаудией Мори, уже прославившейся к тому времени благодаря участию в таких картинах, как «Рокко и его

братья» и «Содом и Гоморра». Бурный роман, начавшийся на съемках фильма «Странный тип», завершается 14 июля 1964 года романтичным тайным бракосочетанием ночью при свечах в церкви Сан-Франческо ди Гроссето под Миланом. В браке Попрыгунчик оказался таким же крепким орешком, как и во всем остальном: счастливая семейная жизнь, принесшая чете трех отпрысков, длится до сих пор без особых возмущений. Несмотря на отчаянные многолетние усилия репортеров таблоидной прессы и папарацци раскопать хоть что-нибудь в семейном белье Адриано и Клаудии, белье неизменно оказывалось безупречно чистым — если не считать небольшого приключения с Орнеллой Мути во время съемок «Укрощения строптивого» — вполне, впрочем, платонического. Но даже за этот невинный флирт Челентано, по его собственному признанию, просил прощения у супруги на коленях.

Но, если не принимать во внимание этих крупных личных событий, творческая жизнь Адриано катится все по той же хорошо накатанной колее: рок-н-ролл сменяет твист, истории про парня с гитарой из нашего двора — истории про короля танцевальной площадки, но подлинно своего в этом пока что мало. Фильмы с Челентано начала шестидесятых — такие как «Я тебя целую, ты меня целуешь», «Не ищите моряка» и «Танцуем твист» — по-прежнему легковесные комедии «с музыкой». Но Челентано уже тесно в поставленных режиссерами рамках — выход из тупика, как и в случае с фирмой грамзаписи, он ищет в том, за что будет бороться всю дальнейшую жизнь — в полной творческой независимости.

В 1964 году Челентано впервые обретает ее в кино: он снимает как режиссер фильм «Суперограбление в Милане», в котором сам же и играет главную роль. С этой комедии начинается череда блистательных картин, снятых или самим Челентано, или его верными соратниками Серджо Корбуччи и Франко Кастеллано, полностью разделявшими взгляды Адриано на то, каким должен быть комедийный кинематограф. «Серафино», «Юппи-Ду», «Блеф», «Дядюшка Адольф», «Укрощение строптивого», «Бинго-Бонго» — каждый из этих фильмов не прошел незамеченным.

Вслед за независимостью в кино потребовалась и независимость в музыке: Челентано отходит от подражательного рок-н-ролла и обращается к итальянской форме — canzone d'autore. Что это такое? Буквальный перевод означает «авторская песня», и в каком-то самом общем смысле так оно и есть: как и французский «шансонье», русский «автор-исполнитель» или американский «singer-songwriter», исполнитель в этом жанре — кантауторе — поет написанные им самим песни. Но это — чисто внешняя, формальная сторона (и к тому же далеко не всегда соответствует истине). Если отвлечься от формулы «сам пишу — сам пою», современный городской фолк в разных странах звучит совсем по-разному, сплавляя местные напевы и заимствованные приемы в различных комбинациях. Начиная с послевоенных лет, итальянский шансон постоянно амальгамировал в себя родственный шансон французский, затем джаз, блюз, рок, а в самое последнее время и хип-хоп, оставаясь при этом самим собой, сохраняя безошибочно узнаваемые итальянские интонации, нередко чрезмерно сентиментальные на наш циничный вкус, но тут уж ничего не попишешь: таковы вкусы итальянского сердца, которые один из величайших кантауторе Паоло Конте определил как gelato al limon — лимонное мороженное — элегантная кисло-сладкая гамма с неизбежным привкусом ностальгии по детству.

Настоящим кантауторе Челентано так и не стал: хотя среди его песен есть немало собственного сочинения, львиная доля спетого им все же написано другими авторами, знаменитыми кантауторе разных поколений, начиная с Паоло Конте и кончая Ивано Фоссати. Кстати, именно работа с первым оказалась в каком-то смысле пиком творческой карьеры Челентано. Песня Конте Azzurro (Синева), записанная в исполнении Челентано в 1967 году, стала настолько популярна, что превратилась в неофициальный гимн страны — в том же смысле, в котором в России воспринимаются «Подмосковные вечера» или в США «Янки-дудл».

Но успеху Azzurro предшествовала история с песней «Парень с улицы Глюк» — та самая история, которая надолго наложила свой отпечаток на отношение певца к фестивалю в Санремо.

В 1966 году Адриано выставляет на конкурс эту песню, написанную им в паре с неизменным дель Прете, — и жюри не допускает ее даже до первого тура. Слишком уж странными и «непесенными» показались строчки о времени, «когда бетон покроет всю землю и в мире не останется больше ни клочка зеленой травы». Экология тогда еще не вышла на улицы из ученых кабинетов, а будущие активисты «Гринпис» были больше озабочены эскалацией войны в Индокитае — Челентано сильно опередил время. Раздосадованный певец записал песню, и публика, как это часто бывает, оказалась гораздо более продвинутой, чем та шушера, которая обычно ставит барьеры между ней и артистом: побив все рекорды продаж в Италии, «Парень с улицы Глюк» стал самым «покрываемым» произведением итальянской поп-музыки в мире. К настоящему времени кавер-версии этой песни существуют на двадцати двух языках мира.

Независимость от «общего гласа» — пожалуй, источник всех побед и всех огорчений Челентано. И если у широкой публики его оригинальность всегда находила отклик, среди критиков дело обстояло с точностью до наоборот. Потому что Челентано предпочитал идти собственным курсом не только в выборе песен, но и в выборе мнений.

Рай — это белый конь, который никогда не потеет

Я свободный человек, не правый, не левый.
Я свободный человек в этом мире.
Между набожностью и мистицизмом,
небесным и дьявольским,
политически правильным и возможным,
мужским и женским, духом и плотью
я прокладываю свою дорогу в молчании.

Un uomo libero

Италия — страна политизированная настолько же, а скорее, даже куда больше, чем совок в последнее десятилетие. Ничего удивительного: обе нации стартовали в современность поздно

и практически одновременно — еще не прошло и полутора столетий. И ту, и другую в пути надолго задержали диктатуры, имевшие между собой немало общего. Так что, несмотря на проживание в одной из десяти самых развитых стран мира, в ментальности итальянца еще немало архаичного и дремучего — ведь он в большинстве своем горожанин от силы во втором поколении. Политические бури летали над апеннинским сапожком весь прошлый век; последние их отголоски не стихли и до сих пор. Напомним тем, кто родился слишком поздно, чтобы видеть это в новостях: красные бригады, похищение Альдо Моро, взрыв на вокзале в Болонье, взрыв экспресса «Италикус», «Черный порядок», ложа Р-2 и так далее. Италия кипела и клокотала, как просыпающийся вулкан.

В это время Челентано находится на вершине славы. В 1970 году он, наконец, получает давно уже по совести заслуженный гран-при Санремо, исполнив в дуэте с женой очередной шлягер Челентано — Дель Прете Chi non lavora, non fa l'amore (Кто не работает, тот не занимается любовью). Теперь его место на музыкальном Олимпе уже никто не в состоянии оспаривать всерьез. Представителю творческой профессии, артисту, певцу в то время полагалось по определению быть левым и чем левее — тем лучше. Но Челентано, с упорством, унаследованным от дедов, ковырявшихся в сухой апулийской земле, отказывался «ходить как все». Своих крепких (чтобы не сказать «кондовых») католических убеждений он не скрывал никогда, более того — выставлял напоказ. Пока он оставался комиком и рок-н-роллером, это мало кого волновало. Но теперь Адриано стал национальной звездой первой величины, и волновать это стало слишком многих. Поскольку к церкви в Италии относились неравнодушно: или любили, или люто ненавидели.

Церковь в послевоенной Италии во многом играла роль ненавидимого приличными людьми Большого Брата — правда, в отличие от многих других «больших братьев», средствами подавления она не располагала и на все наезды многочисленных левацких задир могла разве что беззубо огрызаться. (Тем приятнее, впрочем, было на нее наезжать.) Защищать церковь и провозглашать простые ценности крестьянской общины панацеей от безумия мира казалось хуже, чем дурным вкусом — почти преступлением. А Челентано делал именно это: более того, не ограничивался заявлениями в интервью, а шел дальше. В большинстве его поздних картин эта позиция — наивная, но честная — пропагандируется порою настолько в лоб, насколько это позволяют рамки комедии.

Отсюда возникшая тогда и сохранившаяся почти до девяностых годов двойственность отношения к Челентано: если простые слушатели не обращают на убеждения артиста особого внимания (а может, даже и симпатизируют им), для элитных критиков и журналистов, всех сплошь щеголяющих своими левыми симпатиями, он превращается в «реакционера», «зазнавшегося миллиардера, талант которого давно исчерпал себя», и еще много чего в том же духе.

Челентано, как мы уже поняли, всегда было свойственно упрямо верить в свою правоту, хотя нельзя сказать, чтобы он не переживал возникшую ситуацию: его цельной натуре отчаянно хотелось быть всеми и во всем понятым. К этому добавились и личные переживания: Адриано тяжело переживал смерть горячо любимой матери. В своей автобиографии, названию которой «Рай — это белый конь, который не потеет никогда» мог бы позавидовать Милорад Павич, он пишет: «Моя мать была огромной горой — когда гора обрушилась, мир сразу оказался крохотным и тесным».

Ни кинематограф, ни эстрада не давали возможности напрямую донести до публики свои мысли — и Челентано все чаще и чаще начинает задумываться о телевидении. Переговоры об авторской передаче с основным государственным каналом RAI Uno начинаются еще в конце семидесятых, но только в 1987 году, когда артист освобождается от всех контрактных обязательств перед кинокомпаниями, Адриано решает окончательно посвятить себя телевидению.

И снова достигает успеха, несмотря на то что перед выходом первого выпуска телевизионного шоу Fantastico 8 скептики предрекают полный провал — для молодежи, по их мнению, Челентано уже никто, гость из прошлого, любимец родителей. Скептики ошибаются в очередной раз: 14 выпусков ток-шоу собирают у телевизоров всю Италию, перекрывая по количеству зрителей финальные матчи футбольного чемпионата. В качестве хозяина ток-шоу Челентано нарушает все каноны и табу жанра — читает аудитории самые настоящие проповеди, ставит в тупик именитых гостей «наивными» вопросами, написав перед камерой мелом на доске слова «Охота — преступление против любви», молчит, предоставив выговариваться в эфире обозленным охотникам, звонящим в студию по «горячей линии». А в одном из выпусков Fantastico совершает беспрецедентный в истории телевидения трюк: просит «всех тех, кому дорог мир, выключить телевизор на две минуты», и в стране одновременно гаснут несколько миллионов телевизоров. Успех, даже успех сенсационный, налицо, тем не менее передача закрывается задолго до завершения контракта в результате банальных политических интриг. (В Италии каналы государственного телевидения традиционно делятся между партиями пропорционально их представительству в парламенте: первый канал получает партия большинства, второй канал — наибольшая оппозиционная партия и так далее. Вытекающий отсюда кавардак нетрудно вообразить.)

Челентано тяжело переживает случившееся — почти на десять лет он исчезает из поля зрения: не записывает дисков, почти не снимается в кино, не дает интервью и концертов. Еще один источник печали: таблоиды, которые наконец получают долгожданную добычу. Безупречность семейной жизни Адриано и Клаудии может вызвать у любого журналиста вполне понятное раздражение: всем известно, что нет ничего скучнее абсолютно положительных героев. Но, как известно, дьяволу и репортерам часто удается отыграться на детях. Так вышло и в нашей истории: из троих чад Челентано только старшая

дочь Розита, которой сейчас тридцать семь, сумела устроить свою жизнь. Она — вполне успешная и известная телевизионная журналистка, ведущая ряда передач. Младшие же — Джакомо и Розалинда — доставили своим родителям немало хлопот и треволнений.

Джакомо, неудачно дебютировав в качестве певца в 1989 году с синглом, с тех пор затаил обиду на отца, который не поддержал его попытки и отказал сыну в контракте с собственным лейблом. С тех пор Джакомо ведет жизнь типичного западноевропейского лузера, сменив за прошедшие годы работы продавца компьютеров, консультанта в музыкальном магазине и даже официанта. В нынешнем году он ненадолго попал в колонки хроники, заявив о «нестерпимом желании» убить прославленного родителя.

Еще проблемнее младшая дочь: сбежав из дома в пятнадцать лет, первые дни вне отчего дома она провела на миланском вокзале, ночуя в компании бродяг и наркоманов. Впутавшись в (и выпутавшись из) нескольких сомнительных историй, она перепробовала себя в качестве скульптора, фотомодели и художника, не добившись успеха ни на одном из поприщ. Взбалмошная и дисфункциональная Розалинда время от времени доставляет немало радости СМИ своими бестолковыми претенциозными высказываниями и сексуальными эксцессами.

В наступивший период личного и творческого кризиса убежищем для Челентано становится его вилла в тихом Гальбиато на озере Комо в сотне километров от Милана. Он ведет типичную жизнь богатого сельского синьора — посещает приходскую церковь, беседует с падре, помогает местным жителям в их проблемах и за пределы имения выезжает исключительно или на отдых в экзотические страны, или в миланский офис фирмы для того, чтобы привести в порядок дела «Клана». В конце концов, разве он не заслужил того, на что имеет право любой пенсионер?

Второе дыхание, или мне уже на все наплевать

Я выхожу из дома редко, а говорю и того меньше,
но это не значит, что я ничего не замечаю.
Я продался жизни от макушки до пят:
жизнь — это танец на вертикальной стене.
Каждый день — это шаг,
каждый неверный шаг — это потерянный день.

Un uomo libero

В строчках этой неоднократно уже цитировавшейся здесь песни Ивано Фоссати, генуэзский кантауторе нарисовал впечатляющий портрет кумира своей молодости таким, каким он его себе представляет — и очевидно, портрет этот недалек от истины. Челентано не был бы Челентано, если бы завершил свою карьеру, тихо и мирно уйдя на покой. Долгое молчание потребовалось всего лишь для того, чтобы собраться с силами и обдумать пройденный путь. В девяносто шестом Челентано прерывает взятый тайм-аут и начинает новый этап своего сорокалетнего марафона.

Катализатором стало знакомство с песенным тандемом Могол — Джанни Белла, песни которых стали основой для нового рывка. Рывка, впрочем, не импульсивного, но тщательно продуманного: клан Челентано начинает массированную атаку с выпуска целой серии релизов, среди которых — альбом ремиксов, сборник лучших песен, несколько концертных компиляций из разных эпох. Затем, в 1998-м, появляется альбом дуэтов с другой величайшей звездой итальянской эстрады — Миной. Челентано неожиданно, без предварительного объявления (сюрпризы, впрочем, всегда были его специальностью) появляется на музыкальной передаче «Каррамба», которую ведет Рафаэлла Карра, и производит эффект разорвавшейся бомбы: Адриано, списанный многими в архив, предстает перед телеаудиторией свежим, энергичным, провокативным, по-прежнему бросающим вызов различным табу. И только после этой артподготовки в 1999 году выходит новый альбом в собственном смысле

этого слова: Io non so parlar d'amore (Я не умею говорить о любви). Челентано возвращается в хит-парады, без усилий потеснив исполнителей новой генерации: возвращается, чтобы уже не покидать их до настоящего времени.

За возвращением в музыку следует возвращение на маленький экран — в октябре того же года RAI демонстрирует четыре выпуска нового телешоу под названием Francamente me ne infischio (Честно говоря, мне давно уже на все плевать). Но название это не назовешь иначе чем проявлением актерского кокетства. Честно говоря, Челентано ни на что не наплевать — напротив, ему до всего есть дело. Снова il Molleggiato собирает у телевизоров всю страну для того, чтобы в присущей только ему манере говорить просто о непростых вещах — политике, экологии, расизме, Балканах, абортах и контрацепции, пересадке органов и много о чем еще. За четыре вечера в гостях у него побывали кроме политиков и журналистов такие люди, как Том Джонс и Дэвид Боуи, Горан Брегович и Эмир Кустурица, Джанни Моранди и Джо Кокер, Компай Сегундо и Ману Чао. Челентано говорит, поет сам, заставляет петь других, устраивая импровизированные дуэты между участниками передачи — например между звездой музыки раи алжирцем Халедом и израильтянкой Ноа, — шутит, пародирует знаменитостей и самого себя, парадоксально перемежая эту феерию безмолвными черно-белыми документальными блоками, в которых жестокий реализм — смертные казни, теракты, война, голод, беженцы. Челентано обращается с просьбой к зрителям не уводить детей от экранов на это время и только перед блоком, посвященным вивисекции, замечает, что, пожалуй, это «будет для детей уже чересчур».

Он, как и раньше, не боится плыть против течения: поддерживает заявление Иоанна Павла II о том, что аборт остается преступлением перед Богом, даже если беременность наступила в результате изнасилования в ходе военных действий и, словно понимая, что проза здесь звучит недостаточно убедительно, создает и исполняет в дуэте с певицей Нада (победи-

тельницей Санремо-98) замечательную песню Il figlio del dolore (Сын боли) — диалог между беременной женщиной и изнасиловавшим ее солдатом.

Впрочем, на этот раз взгляды Челентано (ничуть не изменившиеся за двадцать лет) находят гораздо больше понимания, чем в былые времена — Италия сильно изменилась за то время, которое артист провел в добровольном затворничестве — синтез традиционных ценностей и гуманизма стал знаменем многих политиков нового поколения.

За Io non so parlar d'amore следует вышедший в этом году альбом Esco di rado e parlo ancora meno (Я выхожу из дома редко, а говорю и того меньше), еще сильнее укрепивший позиции «обновленного» Челентано, и новое телевизионное шоу 125 millioni di cazzate. Название этой передачи** стало очередной проказой Челентано и вызовом закоснелым устоям: ведь еще десять лет назад в рекомендациях для работников RAI советовалось не употреблять словосочетание «член парламента», чтобы зрители не подумали чего-нибудь лишнего. Несмотря на возражения (упирались, впрочем, не столько руководители канала, сколько дикторши, которым предстояло объявлять программу передач), вечный проказник настоял на своем, грозя разрывом многомиллионного контракта, передача с «неприличным» названием заняла свое место в программах (прикрытая, правда, стыдливым отточием на месте двух z). И снова успех, и снова скандал: жесткая позиция, занятая певцом против пересадок органов и эвтаназии, вызвала бурю звонков, чуть не обрушившую телефонную сеть страны.

Итак, вернемся к тому, с чего начали: Адриано Челентано нынче популярен в Италии как никогда. (Или как всегда?) Несмотря на это, он остается во многом верен образу жизни

** К сожалению, оно с трудом поддается переводу на русский: поскольку в великом и могучем у слова «х**ня» некоторые проблемы с множественные числом. Но речь идет о 125 миллионах именно этих вот самых. — *Прим. автора.*

«затворника из Гальбиато» — не дает интервью (на презентацию последнего альбома он отправил вместо себя супругу и пародийный клип, в котором певец разыгрывает в своей трактовке ключевые сцены из «Гладиатора» Ридли Скотта), не выступает с концертами (достойной площадкой для себя на настоящий момент он считает только «Ла Скалу», хотя не отказывается в своем любимом стиле, без предупреждения, появляться на сцене на концертах товарищей по искусству), не появляется на тусовках, а об отношении его к перспективе участия в Санремо мы уже говорили выше. И, наверное, является чуть ли не единственным зрячим итальянцем, который не смотрит передачи с участием Адриано Челентано. Чудачество, как известно, присуще гениям.

Настало время поставить точку

Какую, впрочем, точку? Скорее, многоточие…

Шестьдесят три года — еще не возраст, тем более — для страны с одной из самых высоких продолжительностей жизни в мире. Непредсказуемый Адриано еще в состоянии многим нас удивить. Жизнь его на фоне биографий многих актеров и музыкантов нашего времени действительно порою выглядит удивительно благостно: возможно, впрочем, что что-то не в порядке со временем, а не с Челентано. Говоря о нем, поневоле сбиваешься на житийный тон, удивляясь цельности и упорству этого человека, его работоспособности и уверенности в своей правоте. Тем более что сравнить его ни с кем из отечественных деятелей шоу-бизнеса не представляется возможным — не тот калибр.

Ну вот, пожалуй, и все. Рассказать удалось не так уж много, но будем надеяться на то, что этот рассказ поможет обратить на Адриано Челентано внимание тех, кто не был двадцать лет назад на той прибрежной танцевальной веранде, над которой в пряном крымском воздухе звенели мелодии Soli и Se il tempo se ne va…

2001

Москва: опыт урбанистического психоанализа

Москва — слово женского рода. Вот с этого и начнем. Графическое изображение Москвы (вид сверху) напоминает:

1) колбасу ветчинно-рубленую (ж. р.) в разрезе;
2) мишень (ж. р.) для игры в «дартс»;
3) женский половой орган (ж. р.).

Последняя ассоциация особенно важна (впрочем, и первые две — при глубоком анализе — сводятся к третьей).

Это если посмотреть сверху. Вид сбоку обманчиво фаллически: фаллоимитатор высотою в добрых полторы тысячи футов, вибрирующий в метровом и дециметровом диапазоне, сбивает с толку наивных приезжих. В этом и состоит его назначение: так женщины некоторых африканских племен, отправляясь в лес, подвешивают на пояс маленький деревянный членик, дабы сбить с толку сексуально озабоченных духов леса. В другой интерпретации башня — это пристяжной протез, посредством которого Москва, выступающая в активной лесбийской функции, имеет Россию (ж. р.).

Разумеется, начальство, которое летает на самолетах, видит столицу в правильном ракурсе. Кольца — Бульварное и Садовое — идеальная аналогия того, что в анатомии известно под названием labia pudenda major et minor (*лат.* большие и малые срамные губы). Зачем тогда строятся новые кольца? На первый взгляд — какое-то извращение, но это только на первый взгляд. В той же Африке известны подобные косметические операции. Считается, что они делают девушку красивее.

В центре, у самого маленького и заманчивого розового кирпичного колечка, расположен Кремль (м. р.). Это вполне естественно: клитор, он тоже (м. р.). Тот, кто контролирует клитор, контролирует все тело. Плюгавые, лысоватые мужички долго в Кремле не задерживаются, а вот усатые, бровастые или же чубатые мачо зависают там на десятилетия.

Логика подсказывает нам, что рядом с Кремлем должно быть глубокое отверстие: и верно, на эту тему существует немало легенд. То, что мы не видим его сверху, ничего не значит. Мало ли чего мы не видим сверху в нашей засекреченной стране. Вполне возможно, что отверстие это прикрыто гименом, или девственной плевой. Можно подумать, что речь идет о старой деве, но это совсем не обязательно: операции по восстановлению гимена (в том числе многократному) были известны еще повивальным бабкам.

Со всех сторон Москва окружена лесами. В полном соответствии с физиологической нормой, они гуще всего растут с севера, востока и запада — на юге их гораздо меньше. В правильном направлении (сверху вниз) протекают по Москве и жидкости.

Обратимся снова к лингвистике: в смысле морфологии и просодии слово «Москва» полностью изоморфно бытующему в русском языке обозначению женского детородного органа. Единственным исключением является прилагательное «московский» (правильнее было бы «москватый») но это, вероятно, позднее явление. Возможно, древнее смешанное финно-славянское население этого региона употребляло местное слово «москва» наряду с обычным общеславянским термином в выражениях типа «пошел в москву», «накрылся москвой» — отсюда недалеко до превращения этого имени нарицательного в имя собственное, в топоним. И хотя данные современных угро-финских языков не свидетельствуют в пользу этой теории, мы мало что знаем о языке автохтонного населения окско-московского междуречья.

Ранее бытовавшая этимология «москва — топкое, болотистое место» вполне укладывается в нашу схему и нисколько ей не противоречит.

В свете сказанного многие исторические факты получают логическое объяснение. Так, например, становится абсолютно ясным, почему в течение всего существования Москвы овладеть ей пытались исключительно мужчины, причем мужчины с ярко выраженной сексуальной проблематикой (Наполеон, Гитлер, Лукашенко). Также убедительное объяснение получает перенос столицы в Санкт-Петербург: устье Невы привлекательно как вагинальный символ именно для подплывающих с моря кораблей иностранных держав, сверху же оно воспринимается, скорее, как пожирающая их глотка. В этом и состоял коварный замысел Великого Петра.

В свете наших данных возможно и исследование ряда социологических проблем. Известно, что самцам человека свойственно оборонять используемую ими вагину от посягательств других самцов. Поэтому лицам, уже овладевшим Москвой, а особенно ее клиторальной зоной, присущ сильный инстинкт обороны территории. Для целей этой обороны обычно используются наиболее активные самцы, корпоративным символом которых является резиновый муляж мужского достоинства. Этот муляж носится ими обыкновенно притороченным к поясу, а в момент демонстрации агрессии берется в правую руку.

Для города, обладающего столь ярко выраженной женской сущностью, в качестве привлекательного партнера выступает город, обладающий столь же ярко выраженной сущностью мужской. Достаточно бросить беглый взгляд на небоскребы Манхэттена, чтобы понять природу по-женски кокетливого поведения Москвы в отношении Америки: все эти капризы, угрозы, демонстрации эмансипированности и тому подобное.

Хотя академические круги, скорее всего, поморщатся при знакомстве с изложенной нами концепцией, стихия народно-бюрократической речи подсознательно издавна ощущает семантические коннотации слова «Москва». Неслучайно слово «регистрация» так напоминает о регистрации брака, а уж слово «прописка» вообще говорит само за себя.

В этом контексте нетрудно понять и, казалось бы, ничем не оправданное на первый взгляд частое употребление эпитета «красная» по отношению к Москве.

И напоследок, какие наказы и практические советы хотелось бы дать городским властям в свете нашего научного исследования?

Советы эти банальны, их можно почерпнуть в любой энциклопедии для девочек: содержать Москву в чистоте, стараться не застудить ее, не давать ее кому попало. Но и излишней разборчивости не проявлять: Москва — большая, ее на всех хватит.

Ну и, наконец: заменить устаревший герб (который к тому же не раз вызывал нарекания представителей общества охраны рептилий) на изображение гигиенического тампона одной из ведущих мировых фирм-производителей. Полученные же с фирмы рекламные деньги потратить на уход за уникальным природным объектом: городом-москвой.

1999

О происхождении трагедии из акта дефекации

Срать да родить — нельзя погодить.

Русская пословица

Stink awer d'Kerl wie a'Stockfisch.

Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка»

Однажды, в будущность мою абитуриентом, я отправился заниматься физикой на Смоленское кладбище. Пройдя половину пути от общежития химфака на 7-й линии, я почувствовал болезненное, резкое сокращение кишечника, острое, словно удар скальпеля. Сперва я решил не обращать на это внимание, но через несколько шагов спазм повторился с удвоенной силой.

Могу предположить, что причиной этих и последующих спазмов была кулебяка с мойвой, съеденная за час до того в общежитском буфете, хотя трудно поверить, каким количеством вредоносной субстанции должна была нашпиговать крошечную кулебяку некая пергидрольная Локуста или Тоффана из кулинарного цеха, чтобы причинить мне все дальнейшие страдания.

После второго спазма холодный пот залил мое чело, и я понял, что стою перед необходимостью принять решительные меры. В ту пору на Малом проспекте не было кооперативных туалетов (возможно, их нет и сейчас). Простреливаемые насквозь взглядами жильцов колодези дворов и проходные подъезды, в которых двери хлопают с частотой взбесившегося метронома, тоже не обещали спасения.

Можно было, конечно, позвонить в какую-нибудь квартиру (желательно, на первом этаже), но и на это я не смог решиться.

Мне казалось, что прямая кишка одержит надо мной победу именно в тот момент, когда я буду сбивчиво излагать свою проблему открывшему дверь питерскому пролетарию с подлыми, глубоко утопленными бесцветными глазками. К тому же, я был не вполне уверен, что, поднимаясь по ступенькам лестницы, то есть, совершая принципиально иной тип движения, я смогу сохранить контроль над ключевым участком борьбы — ахиллесовой пятой туго сжатого сфинктера, разрываемого противоположно направленными усилиями агонистов.

Оставалось только два примерно равнодлинных пути: до безлюдного кладбища, или же назад — к захлебистому пению общажных унитазов. Я выбрал второе, подчинившись ложному впечатлению, что возвращение всегда легче, чем непройденный путь.

Но возвращение оказалось сплошным кошмаром: все посторонние раздражители — гудок автомобиля, звонок скрипящего на повороте трамвая, инфернальная встречная брюнетка, которую в других обстоятельствах я непременно проводил бы взглядом, — все они приводили меня в бешенство. Мне казалось с полным основанием, что, если я уделю им хоть немного внимания, мускулы мои непоправимо расслабятся.

Через два квартала это раздражение переросло в ненависть ко всему не могущему мне ничем помочь бесполезному человечеству, и с этой ненавистью пришло ощущение трагического одиночества; ведь я был отделен ото всех тем, что происходило во мне, что заставляло смотреть только внутрь, в темную пропасть живого тела; то, что я считал моей душой, уместилось теперь в крохотном пространстве между ягодицами.

На подходе к одиннадцатой линии силы окончательно оставили меня: я прислонился к тускло-серому распределительному шкафу телефонной сети и каталептически застыл. Враг мой, неодушевленный и страшный, собравшись в тугой комок

кипящей ртути, всей своей тяжестью рвался наружу, разрывая острыми коготками нежную слизистую ректума.

Я бы совсем сдался, но небеса переусердствовали в попытках сломить мою волю. Они слишком явственно показали мне свою усмешку, и она прозвучала оскорбительным вызовом, а именно: из-за угла вышедшая жалкая дворовая собачонка, старая дряхлая сука индифферентной масти, зевнула, облизнула дряблую губу, присела и решительно осквернила асфальт у меня на глазах.

Вспышка гнева вернула мне силы. Я продолжил свой страстотерпный путь, стиснув зубы и перестав обращать внимание на все, что спешило и скользило по лживой плоскости Васильевского острова.

Самый короткий путь к общежитию лежал через задний двор.

Там, в стене, была дверца черного хода, которая обычно оставалась открытой до девяти часов вечера, когда вахтер закрывал ее, чтобы обеспечить себе безопасные тылы и полностью захватить стратегические подступы к парадному. Бессознательный, ведомый только дромическим инстинктом, известным среди злоупотребляющих алкоголем лиц под названием «автопилот», я добрался до этой дверцы и коченеющими пальцами вцепился в железную ручку.

Дверь была заперта.

Я не заплакал и не засмеялся — я тихо зарычал. Враг мой в торжестве своем в эту секунду даже ослабил хватку, но я знал, что стоит мне повернуться и попытаться зайти в общежитие со стороны парадного, как он пойдет в последнюю победоносную атаку.

В этот миг я утратил веру в себя и поднял глаза к небу, ожидая, что некая чудотворная сила поднимет меня на каких-нибудь пять метров, к замазанному белилами окошку сортира, откуда доносился грубый мужской смех.

Но небо оставалось холодновато-голубым, наполненным только редеющими облаками и нордическим безразличием.

Спасение, однако, явилось, но было послано хтоническими силами: мимо меня волной электричества скользнул черный кот и скрылся под козырьком узенькой лестнички, ведшей в подвал.

Кот, осторожный и недоверчивый помоечный кот, никогда не метнется от человека в тупик. И я ринулся вслед за котом, опасаясь только одного — как бы отверстие, к которому он стремился, не оказалось для меня слишком узким.

Но дверь в подвал была широко открыта, и там, внизу, в адской темноте, стучали и ухали какие-то невидимые, сверхъестественные насосы. Я шагнул в темноту — сколько мог — и расстегнул ремень. Облегчение было острым, как сладостная и тоскливая опустошенность родильницы, вплоть до каких-то дивных теплых судорог в кончиках пальцев.

В полном соответствии с законами путешествия в подземное царствие и воскресения из мертвых я выходил из подвала с сияющей на лице счастливой улыбкой. Весь тот вечер я был эйфорически радостен и мучился лишь тем, что не мог ни с кем поделиться своим торжеством так, чтобы быть вполне и до конца понятым.

Не правда ли, вам знакома эта история? Нечто подобное случалось и с вами, нечто подобное рассказывали вам, прихохатывая, друзья за бутылкой спиртного в тесной мужской компании. (Справедливости ради, следует предположить, что целый ряд подобных историй заканчивалось поражением мученика — но об этом мученики умалчивают.) Удивительно, как хорошо такие истории запоминаются — наравне с амурными мемуарами, наравне с оторопью отрочества с подлыми потерями… И как откровенно гордятся рассказчики проявленной ими силой воли или обнаруженным хитроумием — все с целью избежать позорного финала.

Мне кажется, что приставучесть к памяти этих архетипических историй связана с тем, что они выпукло представляют некоторую универсальную парадигму трагедии, в которой герой

практически свободен от привходящих мотивов общественной или личной пользы (если не считать маловероятную заботу о чистоте улиц родного города). Если спросить героя-рассказчика, почему он, вместо того чтобы претерпевать столь ужасные телесные муки, не уступил настоятельным потребностям своего тела прямо в том месте, где рок застиг его, он, разумеется, ответит, что подобное было бы стыдно и неприлично, что публичная дефекация осуждается обществом и простительна только дитю или маразмирующему старцу. Но что мешает (допустим, что выбран такой момент, когда женщины отсутствуют) совершить при посторонних мужчинах на улице, то, что совершается в столь же анонимной компании в наиболее примитивных типах общественных туалетов, где отдельные личности не отделены друг от друга даже подобием перегородок?

Конечно же, объяснение рассказчика в данном случае поверхностно, тривиально и представляет собой только мыслительный штамп.

Речь же идет в первую очередь (хотя это так редко осознается) о противостоянии тела с его естественными нуждами, которые являются частными проявлениями космических законов, воспринимаемых как непостижимый рок (сома, тело как часть ко-сомоса, со-телия), организующему и окультуривающему сознанию героической личности. Дефекация все равно будет совершена (она неодолима в принципе), но она будет совершена по правилам, установленным героем (в надлежащем месте при соблюдении ряда ритуальных требований), в результате чего герой счастливо будет пребывать в иллюзии, что он обладает тем, что на самом деле обладает им. Таким образом, победа над дефекацией является только символической заменой победы над высшей и наиболее неодолимой из потребностей тела, над верховным проявлением космического закона — над смертью.

Смерть героя допустима, только если она обставлена тем же рядом условий, в организации которых проявляется воля его личности, что и дефекация; умереть иначе — не что иное, как жидко обкакаться перед лицом вечности. Разумеется, обе победы иллюзорны — смерть все равно остается смертью, дефекация — дефекацией. Но только через эту иллюзорность личность может институировать свое существование.

Один мой знакомый писатель порой гордо заявляет в ответ на телефонный звонок: «Перезвони попозже, я пошел какать».

Этим он желает подчеркнуть, что дефекация для него — такое же дело, как какое-нибудь совещание и заседание. Он принял решение совершить этот акт, назначил время и совершит его по всем правилам — задумчиво восседая на фаянсовой вазе, почитывая газетку. Затем он тщательно очистит задницу пипифаксом, и, как последний штрих, пошебуршит пластмассовым венчиком в чаше, стирая последние предательские следы своей принадлежности к невразумленной вселенной. Он чувствует себя в этот момент богочеловеком или человекобогом, который сделал нечто потому что захотел это сделать. Меня все время мучит соблазн сказать ему в ответ: «Андрей, у меня крайне важное дело, перенеси, пожалуйста, дефекацию на четверг, на двенадцать тридцать пять».

Однако дана еще и другая возможность: рядом с тужащимся героем, симулирующим полное заращение промежности, как тень, следует его неизбежный спутник и оруженосец — шут. Шут дефецирует много и легко, ненавязчиво и открыто, потешая честной народ. Он не изображает из себя Супермена — Повелителя Прямой Кишки, он не навязывает своей воли существованию и тем не менее существует — благодаря смеху.

Говорят, что шут смеется над судьбой, но это неправда.

Над судьбой смеется как раз герой, и смеется крайне неуверенно, потому что чувствует, что хитрость его на этот раз сработала, но кто знает, что будет в следующий раз. Шут смеется вместе с судьбой и поэтому свободен от нее, как от чего-то постороннего. Он повторяет все ее причудливые движения так искусно, что перестает различать, где она, а где он сам.

Из многих шутов-дефекаторов я ограничусь обращением только к образу бравого солдата Швейка: действительно, обкакиваются все герои вокруг Швейка — воинственный

кадет Биглер, вакхический фельдкурат Отто Кац (если бы Гашек продолжил роман и если Гашек был настолько честен, как мне кажется, этой участи не избежал бы и симпатяга Лукаш). Не обкакивается один Швейк, и это естественно, потому что Швейк не может обкакаться: он дефецирует, когда его припирает, несмотря ни на что — даже на визит генерал-инспектора — и дефецирует бодро, с ремнем на шее и прибаутками на устах.

Но для героической личности неприемлемо, с одной стороны, поведение шута, с другой стороны, если у героической личности хотя бы на грамм больше серого вещества, чем у героев Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера, она не может не понимать, что, сколько веревочке ни виться, все равно придет конец — или смерть, или штаны в дерьме. И начинаются поиски выхода из тупика трагедии, сотворенного собственными руками героя.

Вспомним, как жидко обкакался вождь многих народов Агамемнон перед лицом коварной Клитемнестры и подлого Эгисфа. Героическое сознание не могло примириться с подобным концом и породило в лице Ореста ту идею возмездия, которая позже, при скрещении эллинского разума с иудейским, в конце концов, породила христианскую этику.

Другая возможность — не замечать поражения, предреченного вельвой, таскать хладнокровно в кармане кольцо проклятия и ждать смерти, как это делает Сигурд. Но велика ли разница — не замечать свое дерьмо или считать, что его уберет за тебя другой, сделав тем само дерьмо как бы несуществующим? В этом смысле идея человека в боге и сверхчеловека смыкаются, потому что в обоих случаях трагедию не устраняют, с ней плутуют и мошенничают, ей пытаются придать значение, пытаются представить законом то, что по сути является противопоставлением закону, который велит: дыши! дефецируй! умирай! — и велит именно тебе.

Среди завсегдатаев «Сайгона» в семидесятые годы была одна странная личность, безденежная и диковатая видом. Однажды

эта личность побилась об заклад (ставкой был бесплатный кофе в неограниченном количестве — то ли на неделю, то ли на месяц, то ли на год) с другими завсегдатаями этого петербургского кофейного заведения, пристанища странных маргиналов, что навалит кучу собственного свежего дерьма на самой середине Невского, в непосредственной близости от кичащегося белыми лаковыми крагами регулировщика движения.

В назначенный час жюри собралось на тротуаре перед «Сайгоном», чтобы лицезреть выполнение условий пари. Наша личность появилась на другой стороне Невского облаченной в длинную солдатскую шинель, метущую полами мостовую, и со связкой книг в руках. Прямо на островке, где размещался постовой, связка книг тщательно подстроенным образом развязалась и распалась. Человеколюбивый постовой бросился помогать бледному длинноволосому вьюноше укладывать книги. Когда помощь была оказана, постовой вежливо распожался рукой со студентом, повернулся к нему спиной и вернулся к своим обязанностям, а юноша, под долгополой шинелью которого не было надето никакого нижнего белья, продолжил переход тогда еще ленинградской транспортной артерии и культурно-исторического памятника навстречу торжествующему жюри, которое, в отличие от сосредоточенного на управлении колесницами милиционера, уже приметило, что на островке осталась дымящаяся куча свежего человечьего дерьма.

Этот замечательный анекдот возвращает нас к идее шута, обнажая своей откровенной пародийностью всю суть столь дорогих нашей гордыне героических поступков. Не знаю, желал ли автор и исполнитель в данном случае высмеять саму возможность благопристойной дефекации или он думал исключительно о распитии кофе на халяву, но — что сделано, то сделано.

Не равнодушие и не вызов — смех и игра: вот единственное, что можно противопоставить неизбежному, не боясь уронить свое достоинство, потому что достоинства нет, а есть только большее и меньшее хитроумие, с которым можно превратить Рок в увлекательную и занятную игру, в которой не только

повседневная дефекация, но даже сама наша смерть становится одним из неожиданных эффектов и выразительных средств, и все что от нас требуется — это воспользоваться им наиболее удачно (потому что второго случая уже не представится), удивив всех, и в первую очередь себя, конечно же, себя, ибо разве есть еще какой другой зритель, хорошее настроение и веселый гогот которого волнует нас до такой степени?

Но, к сожалению, большинство предпочитает тужиться, сжав зубы, добираясь до ближайшего сортира, или делать на смертном одре вид, что ничего, ровным счетом ничего не происходит. Мне их так жалко, потому что — боюсь — я один из них.

2000

Происхождение стихов

Я стараюсь особенно не задумываться о том, как, почему и зачем я пишу. Но в одном я уверен совершенно твердо: чем хуже текст, тем в большей степени я являюсь его автором.

И я не знаю, к какому разряду духов относится тот, кто пишет за меня: крылат он или рогат. И почему он выбрал именно меня. Возможно, еще совсем маленькие дети, которые видят невидимое, заключают договор, но забывают о нем, когда вырастают. Детство ведь плохо помнимо.

Иногда его можно призвать: влюбленностью, чудесным спасением, растительными и синтетическими ядами. Но иногда он не поддается на эти дешевые приманки.

Но когда он/а/о приходит, ошибиться невозможно. Мягко, но властно, он берет тебя за руку и начинает водить ей. Тебе не надо думать — за тебя думают. Ты — принтер Джека, его корейский стилограф, заряженный черным гелем.

Зачеркнутые слова, рисунки на полях, варианты и разночтения — признаки того, что он отсутствует.

Затем в руках остается страница, и ты перечитываешь ее и перечитываешь, как письмо от друга, которого ты считал мертвым. Сам бы ты не смог так написать.

Со временем научишься врать: с удовольствием будешь отвечать на вопросы о том, как пишешь, откуда приходят слова. Тебе будут с удовольствием верить. В конце концов, им хочется надеяться, что этому можно научиться. Но ты знаешь, что научиться этому нельзя. Еще ни одна ручка не научилась писать сама по себе.

Ты не знаешь, кто приходит к тебе, — откуда тебе знать, как долго он будет еще приходить? Ведь тебе за жизнь пришлось

выбросить немало одноразовых ручек — а если нечто подобное взбредет в голову ему?

Жить, разумеется, можно и без его визитов (ведь многие так живут), но, когда он приходит, ты чувствуешь то, что чувствовала первая мать, зачинавшая этот мир.

Отказаться от этого почти невозможно.

2001

Дети ящера

Впервые то, что они другие, замечаешь классе в шестом. Смотришь товарищу в глаза, в веселые ребячьи глаза, и — на́ тебе! — какая-то белесая пленка выросла, словно плесень, на его блестящих роговицах. И сразу взгляд стал другой: бесчеловечный, тяжелый. Взгляд рептилии. Ящера.

Я ничего не хочу утверждать голословно. Но вот исламские мистики полагают, что за плечами у любого ребенка стоят два ангела — белый и черный. И каждый нашептывает свое. К трем годам ребенок уже выбирает раз и навсегда, каким ухом слушать. Может, и так. А может, прав один британский пророк нью-эйджа, проповедующий, что на заре истории самки человеческие реально совокуплялись с чешуйчатыми пресмыкающимися и кровь рептилий все еще течет в жилах представителей человеческой расы?

Не знаю, не знаю, но чем-то эти странные дети действительно кардинально отличаются от сверстников.

В классической страшилке «Муха» гены насекомого, дремлющие в хромосомах протагониста, пробуждаются к жизни мощным ударом электрического тока — искусственной молнией. Для Детей Ящера триггером, запускающим их тайную программу господства, является слово «Мое».

Обитатели эдемского сада не знали собственности. Запретный плод не был, как предполагают отдельные этнографы, ни психоактивным грибом, ни девственностью собственного чада. Скорее всего, это было обыкновенное яблоко. Сам акт срывания его с дерева, превращения «ничейного» в «чье-то» и был источником грехопадения.

Стопроцентный человек знает, что ничто не принадлежит ему — хотя бы потому, что он смертен. Он не собирает сокро-

вищ там, где ржа истребит их. Стопроцентный ящер этого не ведает: программа присвоения — нелепого, алчного — обусловливает все его действия.

Никто из нас на все сто процентов ни человек, ни ящер. В жилах каждого из нас — смесь кровей. Там, где ящера мало, побеждает человек. Но бывает так, что ящера — больше.

Впервые то, что они другие, замечаешь классе в шестом. В возрасте бар-мицвы и конфирмации. Именно в этот период в стихию детства вторгаются иерархические структуры. Именно в этот период во главе этих структур — местной ячейки комсомола, гитлерюгенда, бойскаутов, христианской молодежи — неизменно оказываются Дети Ящера.

Ты живешь, а они тем временем стяжают. Меняют монетки и марки, торгуют в классе копиями компьютерных игр, ссуживают жвачку под процент.

К окончанию института ты с ними уже почти не встречаешься. Они слишком далеко от тебя. На страницах глянцевых журналов, на экранах телевизоров. Они заняты делом: распределяют потоки ядовитой крови своих пращуров, струящиеся из проколотых коронками буров вен земли. Над ними — символы государственной власти, чешуйчатые орлы, двуглавые и белоголовые, столь похожие на древних птеродактилей. И значки валют, струящиеся по экранам мониторов, — разве это не пляски вихляющего ящерова хвоста?

Мы живем на оккупированной территории. Сказка о юрких млекопитающих, выживших под ногами у чудищ, это — увы! — не легенда прошлых дней, а притча о том, что предстоит нам в будущем. Выживем либо мы, либо они — иного не дано.

А если мы все же проиграем, то самый мрачный и бредовый рассказ Лавкрафта вскоре окажется просто журналистским репортажем, размещенным на последнем человеческом сайте за мгновение до того, как на шею контент-провайдера легла чешуйчатая лапа потомка Дагона.

2005

Входит поручик Ржевский

Итак, свершилось. Впервые в истории русского перформативного искусства премию национального масштаба получило произведение, центральным эпизодом которого является десятиминутный матерный монолог.

Я не намереваюсь заниматься критикой картины режиссера Серебрянникова по пьесе братьев Пресняковых «Изображая жертву». Честно говоря, я этот фильм не смотрел, да и вряд ли буду. Еще в меньшей степени можно ожидать от меня, что я присоединюсь к тому хору возмущенных ревнителей морали и нравственности, который неизбежно зазвучит, когда фильм увидит более широкая публика, чем та кучка рафинированных представителей киноэлиты, что собралась на сочинский «Кинотавр». Речь пойдет совсем про другое — про ту странную печаль, которую я, совсем не ретроград и человек, внесший в качестве переводчика свою лепту в проникновение ядреных слов на книжную страницу, ощутил, узнав о свершившемся. Говоря словами Верлена — откуда бы, право, такая тоска?

Процесс расширения сферы употребления матерной лексики начался в перестройку и продолжался все девяностые годы. Первой сдалась литература — к рубежу тысячелетий отпали практически любые ограничения на использование обсценных слов в русском художественном тексте. Театр и кино сопротивлялись дольше: публичность нарушения нормы (в буквальном смысле — ведь при публике) делало акт трансгрессии более шокирующим, хотя и более в силу этого желанным.

Разумеется, не обходилось без перегибов с одной стороны и без возмущенных голосов — с другой, но в целом полемика развивалась в области социокультурной, иногда — религиозно-

этической. Происходил обычный для модернизирующегося общества процесс эмансипации зон «архаичного сакрального». Да и не была ли вправду предельно ханжеской ситуация, при которой целого актуального слоя речевой практики как бы не существовало для художественной рефлексии? Бесспорно, была. Мат играл роль русского национального «боконизма» из старого романа Воннегута — официально репрессируемой практики, в которой участвует все общество. Разумеется, в процессе эмансипации автоматически вставал вопрос о мере, но этот вопрос встает всегда — в этом смысле избыточное употребление слова «вотще» портит стиль не больше и не меньше, чем злоупотребление словом «х**».

Тот слом, который является причиной моей нынешней печали, произошел только с началом нулевых годов, когда началась политизация вопроса. Вспомним, как она происходила. С одной стороны — акции «Идущих вместе» с собиранием, сожжением и мочением в сортире «растлительных» книг. Галерейные погромы, в которых источником возмущения громящих были не только посягательства на язык религиозной живописи, но и матерные вокабулы на полотнах Тер-Оганьяна. Резкие нападки со стороны партии «классического русского театра» на речевой натурализм «новой драмы». С другой — популярность среди интеллектуальной элиты группы «Ленинград». Скатологический орфоарт графоманов с padonki.org. Заигрывание с обсценным в корпоративной рекламе («Сосу за копейки»). Мегаконтракт на последний альбом рэперов «Кровосток», которому по определению закрыт доступ в радийный эфир — выйдет сплошное пикание вместо музыки. (Хотя и это — только пока. Если найдется смельчак, который получит лицензию на частоту для радио «Мат FM», заверяю вас, в кратчайшие сроки популярность этой станции побьет все рекорды.) Ну и наконец — единодушный восторг критики вокруг (по приватному мнению той же самой критики) откровенно слабого фильма Серебрянникова.

Почему так получилось? Можно свести все к квазиконспирологической гипотезе на тему «выпускания пара в свисток»,

как и в случае оппозиций фа/антифа, геи/хоругвеносцы и прочих столь популярных ныне политтехнологических «войн плохого с худшим». Пусть спорят о матерщине, а не о капитализации «Газпрома». Но это — наивный подход. Речь идет о явлении намного более серьезном и не новом в русской социальной истории: в отсутствие пользующегося доверием качественного, разработанного языка для выражения социального протеста сознание обращается к архаичной энергетике низа. Отсюда «срамные действа» скоморохов, отсюда — матерные частушки времен советских, отсюда — культ едреной матери сегодня.

Когда обесценены все наличные дискурсы — правый, левый, традиционалистский, модернистский, религиозный, атеистический (хоть сами носители дискурсов так, разумеется, не считают, лихорадочно подсчитывая своих виртуальных сторонников), крепкое слово — единственный инструмент, которым можно выразить свое недовольство стагнирующим, обессмысленным социумом.

Дело не в том, кого пускают и кого не пускают на кремлевидение. Пусти кого хочешь — и он не скажет ничего такого, чего бы мы уже не слышали, не знали, чему бы мы смогли внимать без зевоты дольше десяти минут. А вот «Еб твою мать!» сказанное в эфир ведущим «Вестей» вполне может оказаться тем самым безоблачным небом над всей Испанией.

Как ни печально, подобная ситуация не менее опасна, чем причины, ее породившие. На горизонте появляется маленькая, едва различимая фигурка — это лидер новейшего русского протеста. Фигурка приближается, и мы начинаем различать ее знакомые черты. Да, это он! Как всегда, слегка выбрит и до синевы пьян. Наш старый добрый знакомый. Поручик Ржевский собственной персоной, выслужившийся за двести лет до капитана Лебядкина. Его анекдоты вошли в золотой фонд юмориста Трахтенберга. Его стихи про таракана и про прекрасную всадницу — самые посещаемые посты на udaff.com. Он несомненный лидер, потому что говорит на единственном языке, одинаково родном и близком и интеллектуалам, и гопникам. Поэтому

именно он поведет в бой толпу, размахивая надутым кондомом вместо сабли.

Как справедливо отметил зачастую несправедливый Эдуард Лимонов — главная проблема России заключается в ее вечной укорененности в девятнадцатом веке. Бесконечное пережевывание утративших всякую актуальность в эпоху невиданных глобальных вызовов оппозиций. Рано или поздно, в полном соответствии с Гегелем, происходит их снятие, но в формах, которые и не снились автору «Науки логики».

— Сталин был мучитель народа или строитель империи?

— Да мне пох, — отвечает всенародный Ржевский.

— Ленин был бес, а Николай Романов — святой!

— Да пошли они оба нах!

— Россия — Азия или Европа? Или, может, Евразия?

— Азия-Европа, показалась жопа! Давайте лучше выпьем, господа! — радостно восклицает поручик, хватаясь за бутылку «Путинки». — А потом пойдем и оттрахаем всех: черных, белых, либералов, консерваторов, попов, менеджеров, олигархов, ментов, бомжей, коммунистов, монетаристов, гей-славян и геев-неславян, потому что все нас затрахали, господа! Нас все затрахали, а мы их всех оттрахаем… Ха-ха-ха, недурной каламбурчик вышел!

Чтобы русский протест заговорил не языком поручика, а языком если не Тиберия Гракха или Камиля Демулена, то хотя бы протопопа Аввакума, который поднимал срамные слова до уровня Писания, а не низводил Писание до уровня срамных слов, мало показать народу погрызенные мышами архивы философа Ильина. Тут требуется как минимум показать новое небо и новую землю. А иначе нам всем…

Ржевский, молчать!

2006

Дмитрий Быков. Бой Быков

Rolling Stone отправился с писателем Дмитрием Быковым в пельменную, чтобы побеседовать об успехах современной русской литературы, еврейской физиологии и конце света.

Маленькую комнатку в московской редакции «Собеседника» на Новослободской улице Дмитрий Быков заполняет практически целиком — этакий мультипликационный рак-отшельник в ракушке. Впрочем, дело не только в том, что комнатка маленькая, а Быков — большой. Просто есть у него такое свойство заполнять любое пространство — физическое, литературное, телевизионное — собой.

Ведущий программы «Времечко», креативный редактор «Собеседника», обозреватель «Огонька», главный редактор Moulin Rouge, колумнист «Компании», ведущий вечернего шоу на «Сити-FM», автор и редактор еще десятка разных изданий, поэт и прозаик, с завидной регулярностью выкидывающий на полки книжных магазинов кирпичи романов, биографий и сборников эссе.

В этом году Дмитрий Быков стал лауреатом премии «Нацбест» — пожалуй, единственной литературной премии в России, которая хоть как-то соотносится с реальным успехом у читателей. Получил он ее за биографию Пастернака — еще один девятисотстраничный кирпич.

«Как они его сократили, *****! — громогласно вздыхает Быков. — От книжки, можно сказать, почти ничего не осталось». Плодовитость пишущего Быкова — феномен, который в мире музыки можно поставить рядом разве что с каким-нибудь Фрэнком Заппой.

«Это я пишу много? — восклицает Дмитрий с такой силой, что компьютерный монитор чуть не летит со стола на пол. — Да я почти ни **** не пишу! Писать надо намного больше. Вот в биографии Стивенсона Олдингтон сообщает: “В то лето Роберт написал только одну книгу…” А писали ведь тогда руками, безо всяких компьютеров. Я мог бы писать много больше, но тогда меня точно посадят».

Быков делает большой глоток кофе. «Мне нужны стимуляторы! Лучше листья коки! Недавно я побывал в Перу — ездил снимать город ******, который расположен у подножия горы ******. И там впервые попробовал эти листья. Коку жует в Перу вся страна, листьями угощаются друг у друга, как у нас раньше табачком: “Покури-ка моего, мой не хуже твоего”.

Я считаю величайшей ошибкой и несправедливостью то, что листья коки — не кокаин, а просто листья, — считают где-то наркотиком. Это отличный, мягкий, безвредный стимулятор. Как мне думалось в Перу, господи! Какие сюжеты, стихи, какая бодрость физическая! Я бы очень желал легализации листьев коки в России. Насколько я знаю, Эво Моралес (президент Боливии. — Прим. ред.) сейчас над этим работает. Бог ему в помощь! Уезжая, я даже покрыл свое большое тело пакетами с листьями, но в аэропорту испугался и все выкинул».

Через минуту Быков, практически перейдя на крик, вопрошает: «Ты уже прочитал роман?» Речь идет о последней его книге — романе «ЖД», эпосе в тысячу страниц, в котором по просторам раздираемой вялотекущей гражданской войной России носятся летучие отряды варягов и хазар, а бомжи оказываются тайными хранителями истинно русской идеи.

Я хвалю роман, лицо Быкова просветляется, он затихает и становится похож на сытого шмеля. Внезапно, так же неожиданно, как и все, что делает Быков, он бледнеет, несколько съеживается и, перейдя на драматический шепот, сообщает: «Кормильцев, у меня что-то болит в жопе!»

Я молчу, не зная, как следует отнестись к этой информации. «Как ты думаешь, это рак?»

Я успокаиваю Быкова, авторитетно заявляя, что речь может идти максимум о геморрое. «Уф, слава богу, ты меня успокоил! Я очень боюсь смерти. Она совершенно несовместима с моим образом жизни. Смерть — это единственная ситуация, в которой я не буду знать, что делать».

На этой высокой философской ноте нас прерывают — в редакторскую впархивает хорошенькая уральская писательница, заглянувшая к мэтру подарить свою новую книжку.

И вновь Быков преображается: теперь это крупный плотоядный паук, который тянет к барышне сложенные трубочкой жвалы. Когда кокетливая барышня ускользает из наброшенных на нее сетей и улетает, Быков начинает откровенничать: «Я люблю женщин. Бесконечно люблю. Это говорит моя еврейская половинка — плотоядная, сластолюбивая, отвратительно земная. У меня периодически случаются увлечения на стороне, которые жена стоически терпит. Потому что знает: писать я могу только с ней, а это даже важнее секса».

Мы выходим из редакции. Быков помещает тело в жалобно скрипнувшую «семерку» цвета «мурена» и снова превращается в рака-отшельника. Я втискиваюсь в оставшееся пространство на правах планктона. «Я не люблю ездить по Москве, а вот в Крым предпочитаю добираться на машине. Чинить не умею совершенно. Вожу лет одиннадцать. Езжу медленно и по возможности аккуратно. Вообще я ужасно скучный человек. И музыку — Быков указывает рукой в сторону магнитолы — слушаю очень скучную. Французский шансон, польский шансон, Новеллу Матвееву, Михаила Щербакова, Окуджаву — само собой — я его биографию сейчас пишу для «ЖЗЛ» — потом старые советские хиты, хорошую киномузыку в диапазоне от Морриконе до Егикова и классику. Из классики в особенности Бетховена. Вообще я очень люблю оперу — и смотреть, и слушать. Даже Вагнера. Что касается рока, в зарубежном я не разбираюсь, а из отечественного — «Помпилиус» в первую очередь и «Аквариум» во вторую, хотя БГ мне нравится во всех проявлениях. Диана Арбенина ничего себе. Паша Кашин. Правда, за него мне

стыдно! Алексей Паперный и группа «ТАМ». «Пикник» — любимая группа моего сына. А Шевчука я ненавижу. Ненавижу как класс, как тип и как явление. Земфиру тоже. Я же сказал — скучный я человек».

Быков неумолим к себе. Окончательно желая доказать свою невообразимую скучность, он предлагает отправиться в типично советскую пельменную. Там, за белым меламиновым столиком, размахивая водочной рюмкой в воздухе, мы меняемся ролями, и Быков начинает мучить вопросами меня. Больше всего его почему-то интересует, верю ли я в реальную возможность конца света. Заверив Быкова в том, что конец света неизбежен, но случится точно не сегодня, я снова перехватываю инициативу.

«Безумные планы и неосуществимые мечты? Ни того, ни другого — все вполне осуществимо. Купить самокат Segway. Шесть тысяч баксов. Рано или поздно обязательно куплю. Или мотодельтаплан. Съездить в город ***** в Нигерии. Это несложно, всего четыре тысячи баксов плюс опытный проводник. Дом в Крыму, на территории “Артека”. Думаю, что и до этого когда-нибудь дойдет».

За пару дней до нашей встречи президент Путин устроил пресс-конференцию в Интернете. Быков с возмущением вспоминает вопрос о пробуждении Ктулху: «Б****, и какой мудак это придумал! Это доказывает лишь то, что поводом для флешмобства может стать любое сочетание букв, и все будут перемигиваться и хихикать — типа посвященные. Вот слово «жопа» меня почему-то очень смешит. Как и сама жопа. Меня ужасно забавляет все, связанное с жопой, именно поэтому я категорический противник анального секса с женщиной, а секса с мужчиной я не понимаю вообще. Жопа. Ха-ха. Да, жопа. К пробуждению жопы я отношусь с энтузиазмом».

Опубликовано в журнале «Rolling Stone» , № 9 , 2006 г.

Манифесты

Обращение к жителям ЦАО

Друзья! Товарищи! Сограждане! Братья и сестры!

Из всех многочисленных проблем, стоящих в настоящее время перед истинными сынами Центрального административного округа, мне хотелось бы выделить одну особо. Это проблема нелегальной миграции.

Пройдите вечером по Тверской и посмотрите на встречных. Ручаюсь, вам не попадется ни одного лица центральной национальности — хитрые узкие глазки перовцев, крючковатые носы чертановцев, черные, как вакса, от выбросов нефтеперерабатывающего завода лица обитателей Капотни — вот и все, что вам удастся разглядеть в свете фонарей и неона.

Продажные чиновники, окопавшиеся в мэрии, строят все новые и новые подземные переходы под Садовым кольцом, нимало не заботясь о том, какая публика пробирается к нам по этим подземным переходам. А метро? И раньше, пользуясь бесконтрольностью и преступной халатностью властей, наркокурьеры из Беляево беспрепятственно доставляли свое губительное зелье в наш округ, а теперь, после того как оплачиваемые из Лондона радетели прав человека добились того, что милиция в метро лишена права проверять регистрацию, приезжие вообще — не побоюсь этого слова — оборзели. Всеми правдами и неправдами они устраиваются на рабочие места, отнимая их у коренных жителей ЦАО.

Нам, разумеется, возразят, что мы нуждаемся в миграции для того, чтобы обеспечить потребность в гастарбайтерах наших банков, министерств, ресторанов, ночных клубов, казино — всех тех заведений, что традиционно составляют основу экономики нашей Родины. Понятно, что житель Южного

Измайлово потребует за одинаковую работу меньшей платы, чем владелец пентхауза на Остоженке — но разве можно мерить все одной экономикой! Духовное спасение отчизны важнее сиюминутной корысти. Подумайте о том, что несут с собой мигранты — болезни, преступность, растление и терроризм. По сведениям УВД ЦАО, около восьмидесяти процентов преступлений в нашем округе совершаются именно приезжими. Пришельцу с Воробьевых гор, где он еще недавно пас своих коз, наплевать на нашу высокую культуру, на наши театры и музеи, и такие рассадники духовности как Кремль, Государственная Дума и Генеральная прокуратура. Гуляя по Манежной, он мусорит, как скот, разбрасывая по асфальту пивные банки и обертки от гамбургеров. Вам всем памятно то, что случилось после матча Япония — Россия? Худшее ждет нас впереди — пусть Париж послужит нам предостережением.

Явившийся из диких степей Бутово иноземец не хочет мести улицы или разносить почту. Ему подавай место топ-менеджера в компании со смешанным капиталом! Зайдите в любой офис — вы не увидите ни одной старушки из ЦАО. Сытые, наглые мигранты сидят за компьютерами и разговаривают не по-русски по своим — нет, нашим! — мобильным телефонам.

Каждый из них тянет за собой сотни своих друзей и родственников. Пустите одного питерского к себе — и он тут же перетащит за собой полгорода сослуживцев. Что всем им нужно у нас? ГУМ? Петровский пассаж? «Елисеевский»? У них дома есть свои магазины — пусть в них и покупают! У них есть свои рестораны — пусть там и обедают! Простой русский, вроде Аркадия Новикова, не в состоянии прокормить всех нуждающихся.

Разумеется, нельзя подходить с одной меркой ко всем приезжим. Некоторые из них, заслужившие доброе имя честной работой на государственных постах вплоть до самого высшего, должны быть амнистированы. Нам нужны честные, работящие, разделяющие наши убеждения приезжие, будь они хоть тувинцы, хоть татаре, хоть даже — не побоюсь этого слова — евреи. Но это касается, увы, немногих.

Представьте себе печальную участь, ожидающую нас, если мы не остановим мутный поток мигрантов. Так, поселившиеся среди нас тушинцы уже планируют аннексию Патриарших прудов в пользу своей префектуры. Замоскворечье и Мещанская слобода уже давно не наши — над ними возносятся минареты мечетей, и это только начало. Конечно, мы будем подходить дифференцированно к различным регионам — так, двойное гражданство с пиратской республикой Рублевско-Успенского шоссе будет по-прежнему оставаться нашим приоритетом.

Тем не менее я настаиваю на следующих мерах:

1) перекрыть большую часть подземных переходов через Садовое кольцо, оставив среди них один, оборудованный погранично-пропускным пунктом;

2) установить пограничко-пропускные пункты на всех станциях метрополитена, расположенных внутри кольцевой линии;

3) вменить в патриотическую обязанность владельцам автотранспортных средств пересечение наземных переходов типа «зебра» на Садовом кольце на максимальной скорости, независимо от сигнала светофора;

4) ввести допуск в пределы ЦАО только по биометрическим документам, снабженным портретом Дж. Вашингтона, магнитной полосой, компьютерной микрогравировкой, надписями ЖК-краской, меняющими цвет в зависимости от угла освещения, за подписью казначейства США;

5) зарегистрировать меня единственным кандидатом на пост Чрезвычайного и Полномочного Диктатора ЦАО с обеспечением стопроцентной явки на выборы и стопроцентной подачи голосов «ЗА».

Житель ЦАО, единственный кандидат на пост Чрезвычайного и Полномочного Диктатора ЦАО, Верховный Комиссар Евразии, по совместительству главный бухгалтер планируемого пограничко-пропускного пункта «Красные ворота».

2005

Манифест постгуманизма

Великий либерально-гуманистический проект, родившийся в век Просвещения, исчерпан. Возникнув из благородного порыва покончить с давящим всевластием Традиции, он сам стал новой традицией, новой вездесущей ортодоксией, диктующей нам мысли, чувства, поступки, связывающей нас по рукам и ногам миллионами законов и установлений, единственная цель которых — увековечить существующее ныне положение вещей.

Нам объяснили, что исследовать внешний космос слишком дорого, а внутренний — слишком опасно, нас обещали сделать равными Богу, а превратили в занятое изнурительной и бессмысленной суетой стадо потребителей, поклоняющихся «кумирам на час». Более того, выбросив из нашей жизни все, что не может быть измерено Числом, нас пытаются лишить даже той качественной автономии, что присуща любому свободному животному или ребенку, низведя до уровня элементарных частиц.

Тот, кто не хочет мириться с таким положением дел, должен понять одно — возвращаться некуда. Реставрировать Золотой Век невозможно, потому что его никогда не существовало. Двигаться можно только вперед. Вслед за «смертью Бога» должна с неизбежностью наступить «смерть Человека». Переставляя символы прошлого в надежде получить нечто новое, мы обречены бесконечно разыгрывать одну и ту же шахматную партию. Настоящие перемены наступают, когда с доски сбрасываются все фигуры.

Предоставляя слово всем тем, кого хозяева современного дискурса хотели бы исключить из своей игры в бисер, мы ценим в них не столько их идеи, которые зачастую сами принадлежат прошлому, сколько энергию прорыва, метафизический потенциал восстания, являющийся единственным двигателем эволюции. Ибо только за закрытыми дверями есть шанс отыскать выход — все открытые ведут в тупик.

Если мы не хотим исчезнуть с лица земли подобно трилобитам, динозаврам или неандертальцам, мы должны доказать на деле, что умнее их, что мы способны понять собственную ограниченность и упразднить себя, осознанно поднявшись на следующую ступень. Возможно, путь этот чудовищно долог, но начинать его нужно прямо сейчас — времени в нашем распоряжении почти не осталось. Те, кто считает, что все, что нам необходимо, — это всего лишь слегка усовершенствовать наше нынешнее существование, объективно выступают как агенты Смерти, что бы они о себе сами ни думали. Их судьба — задохнуться в отходах собственной жизнедеятельности.

Мы говорим «да» запретным темам и запретным идеям не ради тщеславного желания произвести впечатление на робких и пугливых, но исходя из еще более тщеславного желания быть услышанными теми, кто мечтает, повторив подвиг наших далеких предков, слезть с дерева гуманистической цивилизации и, невзирая на испуганный визг соплеменников, распрямиться и сделать первый неуверенный шаг навстречу Вечности.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСТВО!

31 января 2005 г.

Русский бог в опасности

Братья и сестры!

Последние пятнадцать лет выдались, объективно говоря, нелегкими для нашей страны. Разваливалась промышленность, падала боеспособность армии, деградировали социальная и культурная сферы, катастрофически снижалась рождаемость и росла смертность, путчи сменялись дефолтами, дефолты — терактами. Росла интенсивность внешних угроз — китайской, американской, исламской. Буквально все происходившее внутри и вне страны внушало тревогу и обеспокоенность.

За одно мы были относительно спокойны — за Русского Бога.

Разумеется, за Самого Вседержителя можно быть спокойным всегда — как трансцендентная Сущность он превыше всякой мирской суеты. Но не внушала нам опасений и участь Его проекции в тварном мире — нашей Церкви. Выйдя из эпохи гонений, она росла и крепла: возвращались храмы, открывались новые приходы, монастыри и семинарии. Эти явные признаки оцерковления русской жизни убаюкали нашу бдительность.

Но теперь пора посмотреть правде в глаза и признать: Русский Бог в опасности!

Откуда она исходит?

Самые бдительные и внимательные из вас скажут: «Мы знаем!»

«Наверное, дело в том, — скажут они, — что из шестидесяти с лишним процентов граждан, называющих себя “православными” в опросах, почти сорок процентов заявляют в тех же опросах, что не верят в Бога? В том, что разношерстные секты, инославные и эзотерические, наступают по всем фронтам,

вовлекают в себя десятки и сотни тысяч граждан, приобретают собственность и создают в отдаленных районах целые поселения? В том, что огромное число священников вместо того, чтобы нести Слово Христово, предпочитают идти на поводу у суеверной и агрессивной паствы? В том, что у Церкви до сих пор нет внятных ответов на многие вопросы современности, потому что нет достаточно образованных церковных личностей, способных их сформулировать, а те двое-трое подвижников, которые на это способны, подвергаются чуть ли не осуждению?»

Увы, вы заблуждаетесь!

Да, все эти факты безусловно имеют место, но о них мы будем говорить в нашем узком кругу — не стоит выносить их на телеэкраны. Это только сыграет на руку врагам. Истинная опасность исходит совсем с другой стороны.

Она исходит от писателей и художников, от деятелей искусства и культуры.

И тут вы снова воскликните: «Мы знаем, знаем! Наверное, речь идет о порнобизнесе, в котором не стыдятся принимать участие даже сыновья видных политиков, о телевидении с «Домом-2» и культом насилия в бесконечных криминальных сериалах на госканалах? О сомнительных ток-шоу с сексуальным подтекстом? О трэшевых книжках про Бешеных и Арийских Витязей миллионными тиражами? О бездуховности и культе денег в гламурной прессе? О навязчивой рекламе, воспитывающей потребительство и эгоизм? О низкопробных смехачах с шутками не то что ниже пояса, а ниже уровня моря».

И снова вы заблуждаетесь, братья и сестры…

Нападки на эти явления не вызовут понимания нашей нестойкой в вере паствы, которая от Пасхи до Пасхи живет в мире именно этих реалий и ценностей. Еще меньше понимания такое направление нашей критики вызовет в глазах государства, которое видит в этом мутном потоке, промывающем мозги электората, средство контроля над ним. Да и что греха таить — сама элита в своих вкусах не так уж далеко отстоит от электората и воспримет посягательство, скажем, на Петросяна, хуже,

чем осквернение государственного герба. А ведь симфония между государством и церковью всегда была нашим основным принципом, что в царские, что в советские времена.

Итак, наши истинные враги — совсем другие люди. Те, что пишут и издают книги, которые читает немногочисленный просвещенный слой общества, и создают произведения изобразительного искусства, выставляющиеся в столичных залах и галереях.

«Почему? — изумитесь вы. — Ведь влияние их численно ничтожно, а поклонники их, скорее всего, итак потеряны для нашей проповеди! К тому же доказать их антиправославную направленность очень сложно: язык у них непростой, многосмысленный, философские концепции всякие — пусть уж ими искусствоведы занимаются».

Не беспокойтесь, мои возлюбленные, мы и не будем ничего доказывать — мы будем громогласно заявлять. Желательно в суд или милицию. Мы будем делать это, потому что борьба с этими людьми даст нам столько же эфирного времени и печатной площади, сколько сто православных приютов для брошенных младенцев или тысяча духовно окормляющих бомжей или зеков батюшек. Мы окажемся в центре внимания медиа, наше рвение в деле защиты нравственности будет замечено всей страной.

Те из вас, кто более осведомлен, закономерно спросят, а не напоминает ли это неоднократно осуждаемый нами принцип «Цель оправдывает средства», которым мы всегда попрекали римско-католическое иезуитство? Не пойдем ли мы на поводу у постмодернистской философии с ее «войной симулякров», не разменяем ли благодать на рейтинг?

Вопрос закономерный, однако церковь не может оставаться глуха к веяниям времени, если желает сохранить свое присутствие в информационных потоках. Бог и не такие грехи прощает радеющим к вящей славе Его.

Но кроме рекламной эффективности подобной акции есть и другое немаловажное обстоятельство: ведь большинство этих ультракультур, адмаргинумов и прочих гельманов покушаются не только на авторитет церкви: как правило, они проводят ярко выраженную антигосударственную линию, придерживаются либеральных или даже — упаси Господи! — левых убеждений. Кто знает, не получают ли они средства к существованию от зарубежных врагов Родины… Наше рвение по отношению к этому сомнительному элементу не может остаться незамеченным и неоцененным политическим руководством. А это — путь к той самой симфонии, о которой мы мечтаем, к такому положению вещей, при котором наша организация станет не менее важным инструментом государственной политики, чем спецслужбы или органы правопорядка.

Озабоченный мирянин,
Илья К.

2006

Публицистика

Обезьяна на краю саванны

Слово «Антиглобализм» не каждый сможет выговорить без запинки. Именно поэтому важно понять, что оно значит. Разобраться, кто стоит по разные стороны баррикад, внезапно разделивших цивилизованный мир, пытается Илья Кормильцев.

Сиэтл, Вашингтон, Лондон, Прага, Давос, Ницца. Битые стекла, запах слезоточивого газа, полицейские в костюмах робокопов, словно взятых напрокат в Голливуде.

Демонстранты — пестрое вавилонское столпотворение, все языки и оттенки кожи. В черных прикидах анархистов, хипповатых одеяниях экологов и уж в совсем запредельных убранствах жрецов-друидов и индейских шаманов.

Их противники — унылые и изрядно перепуганные мужчины в пиджачной униформе высшего менеджерского звена, гуськом пробегающие между полицейскими рядами в зал заседаний, где обсуждается нечто зубодробительно скучное, типа «Соглашения о многосторонних инвестициях».

Демонстранты, конечно, симпатичнее. Свободный язык лозунгов, техномузыка, летящая из ревущих звуковых систем, молодая энергия и отвяз. Люди в костюмах — их положено не любить. У них много денег и машин, и они, вероятно, тайные сволочи. Ну, а что касается полиции, так тут вообще без комментариев.

И все же, все же — так ли уж все однозначно в этом противостоянии последних трех лет, получившем название «борьба против глобализации мировой экономики»?

Для начала, что такое вообще эта глобализация?

Как пошутил один видный американский обозреватель, глобализацию начал Магеллан, совершив свое кругосветное путе-

шествие. Впрочем, шутка ли это? Вся история человечества — это движение разделенных реками, горами и морями племен навстречу друг другу. Не всегда с мирными намерениями, но навстречу. Возникновение народов, государств, империй. Этот процесс иногда ускорялся (великое переселение народов, эпоха покорения океанов, нынешние времена), иногда искусственно замедлялся (большая часть двадцатого века, прошедшая в условиях двухполюсного мира), но никогда не менял своего направления на обратное.

Хотя всегда встречал стойкое сопротивление. История человечества началась с большого испуга — обезьяна, спустившаяся с дерева и вышедшая на край саванны, почувствовала себя беззащитной. Слабые клыки и когти да палка-копалка в руках, а кругом огромный, бескрайний мир. Желание залезть обратно на дерево, забиться в дупло, в изолированный мирок своей семьи, страны, веры мучило человека всегда.

Видный придворный хэйанской Японии, лучший поэт своего времени, писавший на китайском (на японском полагалось писать тогда только женщинам), покончил с собой, когда император отправил его послом в Китай. Он боялся ехать в эту ужасную, варварскую страну, на языке которой писал всю жизнь.

Боясь Чуждого, расположенного всегда в будущем и приходящего извне, человек обожествлял Золотой Век, который всегда был в прошлом и всегда на родине, но на родине воображаемой: в Атлантиде, на континенте Му, в России, которую мы потеряли, в Британской империи, над которой никогда не заходит солнце. Такое мышление — источник того компонента в человеческом сознании, которое прозорливый Умберто Эко обозначил как «вечный фашизм». В сущности, это не что иное, как желание залезть обратно на свое дерево. Или, выражаясь шершавым языком психоанализа, в материнскую утробу.

Надо сказать, век ушедший способствовал, как мог, изоляционизму во всех областях человеческой жизни: в экономике, политике, культуре, идеологии. Мир блоков и лагерей оставил за здорово живешь на полях всемирных и локальных сражений более

чем сто миллионов человек — тут поневоле захочется запереть поплотнее двери и никого к себе не пускать. Но, как справедливо заметил Стюарт Хоум, «не пройдет и ста лет, как средний человек будет понимать, чем отличались фашисты от коммунистов, примерно так же, как сейчас он понимает, чем отличались гвельфы от гибеллинов». Но на излете века под почти единодушные бурные аплодисменты разделявшая мир Берлинская стена рухнула. Неолиберальные историки, такие как Френсис Фукуяма, и философы-неогегельянцы, такие как Жан Бодрийяр, заявили торжествующей толпе, что на этом история, в сущности, кончилась. Но как только осела поднятая при падении пыль, на наших глазах начал повторяться расклад миллионолетней давности — испуганная обезьяна, выйдя из дремучих джунглей, обнаружила себя на просторах саванны постиндустриального мира.

Крах двухполюсного мира совпал — и, скорее всего, не случайно — с информационной революцией. «Мировая деревня», предсказанная Маршаллом Маклюэном еще в 1960-е годы, стала реальностью. Туда, куда не успеваешь ты сам, успевает твоя воля, устремившись по оптоволоконному кабелю.

Мир, таким, каким мы его знали, подошел к концу, и многих это пугает. И не зря: в конце концов, беспокойство, терзавшее нашего предка с палкой-копалкой в руке, имело под собой веские основания. Опасения, высказываемые перед лицом грядущего специалистами и интуитивно ощущаемые на уровне вибраций средним человеком, не менее реальны, чем саблезубые тигры и прочие любители обезьяньего мяса, жившие за миллион лет до нашей эры. Но что бы с нами со всеми было, испугайся наш пращур и залезь обратно на дерево? Итак, кто же они — саблезубые тигры наших дней? На роль таковых в учении антиглобалистов претендуют, во-первых, международные торговые и финансовые организации, во-вторых, транснациональные корпорации и, в-третьих, финансовые спекулянты. Список обвинений, предъявляемых им, весьма обширен. Это и бесчисленные проблемы «третьего мира», и «новая бедность» в «мире первом», разрушение экологии в погоне за сверхпри-

былями, искусственное создание (все с той же целью) финансовых кризисов в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и России, провоцирование этнических конфликтов, ведущее к ранее невиданному размаху миграций, которые, в свою очередь, ведут к новым этнокультурным напряжениям. В краткой форме все эти обвинения можно свести к следующему: в мире возникает новая наднациональная элита, стремящаяся к созданию в своих эгоистических интересах мирового правительства, которое, не находясь под демократическим контролем, будет пренебрегать интересами как отдельных наций, так и человечества в целом. На политическом уровне роль главного жупела предсказуемо исполняет США — источник мировой власти, на теоретическом — господствующая в корпоративном мире идеология неолиберализма в редакции нобелевских лауреатов Фридмана и Хайека.

Многие, очень многие из этих обвинений не лишены резона: картины выжигания дождевых лесов действительно ужасают, рабочих «потогонных» фабрик в Индонезии и Малайзии искренне жаль, 1,2 триллиона «безродных» денег, пролетающих ежедневно из конца в конец планеты по проводам под контролем никому не подотчетных личностей, вызывают в возбужденном воображении кошмары в духе фильмов категории «В». Но что-то в апокалиптической риторике обвинителей звучит до боли знакомо. Где-то мы что-то подобное уже слышали.

Наверняка ту нашу гипотетическую обезьяну, о которой мы не раз уже говорили, бессонной и нервной ночью посреди саванны постигло озарение — против нее существует заговор! Саблезубые тигры — это только зримое воплощение враждебной и темной силы. Безымянная обезьяна назвала эту силу «злым духом», апостол Павел — «лукавым Сатаной», Маркс — «капиталом», народ попроще — «жидомасонами», «грязными ниггерами», «отвратительными хуту» или «мерзкими тутси». Или «транснациональной элитой»...

Опасное сближение между правым и левым краем политического спектра в рамках антиглобалистического движения

отмечено многими исследователями. Показательным в этом отношении оказалось, в частности, неожиданное совместное выступление лидера американских правых Пата Бьюкенена (бывшего спичрайтера Рональда Рейгана) и экологического вождя Ральфа Найдера, речи которых звучали чуть ли не в унисон во время декабрьских событий 1999 года в Сиэтле. Левые, традиционно мыслившие в категориях мировой революции и космополитизма, внезапно стали обожателями национальных государств, заступниками мелкого отечественного бизнеса, да и вообще всего отечественного — это ли не парадокс? Но страх перед Чуждым и не до этого доводит: сапатисты в Мексике, поговаривают, имеют множество тайных, но взаимополезных контактов с верхушкой армии и католической церкви. А одна из крупнейших антиглобалистических организаций «Глобальное действие людей» финансируется богатейшим человеком Европы и ярым противником европейской интеграции сэром Голдсмитом...

Но это все к слову. Есть среди антиглобалистов и люди, которые понимают всю неловкость подобного альянса и ищут самостоятельного пути.

Ведь контроль за новыми, возникающими у нас на глазах центрами мировой власти действительно остро необходим. Многие меры, предлагаемые наиболее компетентными участниками движения, такими, как Bankwatch, вполне реалистичны. Например, так называемый «налог Тобина» на спекулятивные финансовые операции, при помощи которого можно погашать задолженность беднейших стран. Понятны и треволнения экологов — любой москвич собственными глазами уже успел заметить небывалое обогащение палитры летних закатов и чудесные метаморфозы климата. Только как бы вместе с водой не выплеснуть и ребенка — ведь на полном серьезе видный американский экологический деятель Дуг Томпкинс предлагает подвергнуть принудительному обезлюживанию обширные области США, дабы канадские гризли беспрепятственно ходили спариваться к гризли американским. О методах обезлюжи-

вания этот друг братьев наших меньших правда предусмотрительно умалчивает...

Но, впрочем, да будут выслушаны обе стороны. Кто они, эти люди, озабоченные изменяющимся у нас на глазах обликом мира?

Первое, что потрясает в движении антиглобализма, — это невиданная пестрота составляющих его личностей и организаций. «Возвращение на улицы», «Шанс 2000», «Раньше, чем завтра», «Черный блок», «Барьер для глобализации», «Черный лес», «Мобилизация ради справедливости», «Классовая война», «Банк Ненависти», «Объединенный фронт людей и животных», «Армия декапитализации планеты» — вот только малая часть айсберга. Какой только ориентации не придерживаются эти общества! И, что является новшеством для протестного движения, они зачастую религиозно окрашены, причем во все возможные цвета — буддизм запросто соседствует с новым язычеством, кибернетическими культами, социалистическим исламом или католицизмом «освобождения» латиноамериканского толка. Отсутствуют, пожалуй, только представители традиционных христианских конфессий да махровые атеисты. Методика действий — от вполне пристойной академической деятельности Bankwatch и Global Watch до боевиков, унаследовавших традиционные левацкие приемы с традиционными бутылками Молотова в руках. Соотношение меняется от региона к региону: в «третьем мире» последних, естественно, больше.

Подобная пестрота ведет к неизбежным последствиям: несмотря на обилие в рядах антиглобалистов высококлассных профессионалов в области естественных наук информатики и модную наукоподобность речей и манифестов, PR в действиях антиглобалистов явно преобладает над программностью. Именно в эффектности и эффективности PR антиглобалисты и одерживают пока наиболее убедительную победу над оппонентами. Ибо только с помощью PR и можно создать иллюзию единства, когда общего врага атакуют с таких неблизких позиций. Как метко выразился все тот же ироничный Стюарт Хоум,

«Маркс, Христос и Сатана объединяются в общей борьбе». При подобном отношении к вопросу, как говорится, «ни одна блоха неплоха: все черненькие и прыгают». Маркс, Бакунин, Хаким Бей, Чомски, Делез, Тимоти Лири — все философы хороши для обличения мирового зла.

Антиглобалистское движение к тому же блистательно усвоило и взяло на вооружение все провокационные приемы, разработанные художественным авангардом — дадаистами, сюрреалистами, Ги Дебором и концептуалистами, а также методы дезинформации и дестабилизации, раньше относившиеся к арсеналу спецслужб. Вход идут такие приемы, как использование множественных имен, выдвижение «подставных» лидеров, уличные спектакли, устрашение врага при помощи нелогичного поведения, символические и ритуальные действия, розыгрыши, «присвоение» информационных структур противника в своих целях. (Одна из самых успешных операций такого рода была произведена на X встрече ООН по вопросам торговли и развития в Бангкоке, когда активисту из троцкистской организации «Милитант» удалось, выдавая себя за американского конгрессмена, впихнуть спичрайтерам премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада тезисы антиглобалистического содержания, которые те по простоте душевной использовали для его речи, немало шокировавшей собравшихся.)

Все это случалось и в 1960-е годы, но никогда не достигало такого размаха. Эта эстетизированность и игровая насыщенность движения, пожалуй, одна из самых привлекательных его сторон, особенно для молодежи и для людей образованных и творческих, в нынешнем мире, где в культурной жизни доминирует корпоративный мейнстрим с его фальсифицированными ценностями. Недаром борьбу антиглобалистов за списание долгов «третьего мира» и противостояние «макдоналдизации» поддерживают такие звезды Голливуда, как Сьюзен Сарандон и Тим Роббинс, и герои рок-музыки, как Боно и Кейт Флинт.

Но и тут риторика иногда побеждает здравый смысл. Не секрет, что «уплощение» современной массовой культуры, тех-

нологической вершиной которого являются японские «идору» (полностью синтезированные в компьютере поп-звезды), во многом связано с лавинообразным увеличением количества потребителей, вкусы которых примитивны, поскольку культурный код западной цивилизации усвоен ими зачастую в первом поколении. Самые одномерные жанры современности (индийское кино и бразильский сериал) — созданы явно безо всякого пособничества со стороны коварных корпораций. Спрос определяет предложение. Если с утра до вечера обязать все радиостанции мира транслировать Coil или Muslimgauze, это приведет не к росту числа поклонников этих исполнителей, а к росту числа слушателей, выключивших радио. Антиглобалисты — первое политическое движение, которое без натяжек можно назвать «партией Интернета». Повсеместно протянутая Паутина играет ключевую роль в координации действий и создании облика антиглобалистических организаций. Так же, как возможность безвизового перемещения, которая позволяет им организовывать свои акции на международном уровне. В этом заключена величайшая ирония: как справедливо отметил видный обозреватель Уолтер Андерсон, «нет ничего более глобального, чем антиглобализм». Ведь без плодов неолиберальной революции он был бы попросту невозможен.

Какое же будущее ждет антиглобализм? Сказать трудно. Пока количество участников антиглобалистических акций возрастает месяц от месяца, приближаясь к таким числам, которых улицы мегаполисов мира не видывали с бурных времен президентства Линдона Джонсона. Антиглобализм в процессе развития уже выдвинул целый ряд харизматических лидеров, таких, как Крис Гримшоу, Эрих Пробстинг, Уолден Белло и многие другие. Куда поведут они свою разношерстную паству? Внутренние противоречия и врожденные опасности антиглобализма велики, как велика и объективная потребность, вызвавшая это движение к жизни. Очевидно, как это всегда было и всегда будет, разброд и раскол рано или поздно неизбежны. Кто-то пойдет конструктивным путем, кто-то свернет в тупик современной разновидности луддитства, причем на этом направлении речи и дела обречены на то, чтобы постепенно приобретать все более и более коричневатый оттенок и националистическое звучание. В конце концов, схожее звучание имен Ральф Найдер и Йорг Хайдер — это не просто ошибка матрицы.

Какой мистической аурой ни окутывай наступающую эпоху трансглобальной цивилизации, экономическая основа ее пока ни на йоту не отступила от принципов капиталистического хозяйства. А капитал — он всего лишь отражение от природы присущего Homo sapiens инстинкта присвоения. Автор этой статьи отличается от Билла Гейтса только размерами собственности, но вряд ли отношением к тому, кто придет и заявит претензии на часть этой собственности в четыре часа ночи. Истинные ответы на проблемы, вставшие перед человечеством, лежат в области морали и религии, а в области этой, как известно, изменения происходят крайне неспешно, а демонстрации и швыряние тортами имеют очень низкую эффективность. Некоторые привычные взгляды на проблемы уже таят в себе скрытую однобокость. Ограничимся одним примером, похожим на притчу: триста лет назад африканский царек продавал в рабство своих соплеменников за бусы и ситец, и виноват в этом был капитализм. Нынче африканский царек присваивает в компании со своей черномазой братвой кредиты Всемирного банка, и виноват опять-таки капитализм. Но не пора ли нам беспристрастно посмотреть и на царька? Не будем забывать: дело все-таки не в том, чтобы выдать по отдельному глобусу каждому государству или даже каждому человеку. Дело в том, чтобы разумно отнестись к единственному наличному на данный момент глобусу. И вина каждого из нас, щедро льющего воду из крана, палящего свет во всем доме почем зря и требующего каждый год новую электронную забаву, хотя и со старой вполне можно жить, ничуть здесь не меньше, чем тех корпораций, которые живо отзываются на наши прихоти.

Мы снова стоим на краю саванны, и то, что в руках у нас теперь не палка-копалка, а мобильный телефон, не столь уж важ-

но. Сумеем ли мы сделать рискованный шаг в пустоту и выйти в космос, где нас, возможно, ждет, как в гениальном романе Артура Кларка, позвавший впервые из леса нашего предка черный обелиск, — вот в чем вопрос. Но идти нужно.

Автор благодарит www.anarh.ru и лично Алексея Цветкова за помощь в подборе информации.

Журнал «ОМ», № 1–2, 2001

Революция

Революции, как известно, бывают разные. Промышленные, научные, технологические, культурные. Но только одна их разновидность за последние триста лет человеческой истории стала той самой Революцией с большой и трескучей буквой «Р» в начале — революция социальная. Именно она приходит на ум большинству жителей земли при упоминании слова revolutio, которое у древних латинян означало всего-то навсего круговорот времен года.

Матерью Революции, какой мы ее знали, была Реформация. До Лютера, как бы ни вольничали отдельные историки с терминами, были бунты, заговоры, перевороты, восстания — все что угодно, но не она, родимая. Дозволение толковать Писание в соответствии со своей совестью привело к восхитительному открытию — идеологий может быть много. И если отыскать среди них единственно верную и внедрить ее в сознание масс, то и общество, соответственно, обустроится наилучшим способом. Тех же, кто окажется не способен к перепрограммированию, придется ограничить в правах, подавить, изгнать или же попросту устранить физически. Такова предельная интенция любой идеологии, не обязательно тоталитарной. В одной сети человеческих компьютеров нет места для одновременного существования двух операционных систем.

Если Реформация была матерью, то Рационализм — отцом. Для того, чтобы пытаться вербально, при помощи словесных конструкций, перепрограммировать социальную сеть, необходимо было поверить в то, что именно разум является ее мастер-контроллером. Под личиной Верховного существа

ли, классового ли сознания, законов ли рынка суверенный разум неизбежно присутствует в любом революционном проекте. Сейчас, после трехсот лет фаустовских усилий по построению республики гомункулусов, приходится признать: светские религии революций споткнулись на том же камне, на котором споткнулись религии традиционные.

Дело даже не в том, что человек способен говорить одно, а думать другое. Дело в том, что человек делает совсем не то, что думает. Древние биологические стратегии имеют безусловный приоритет над такими новшествами, как мысль и слово. Только благодаря этому мы, собственно говоря, до сих пор и существуем. То, что человек способен нарушить фундаментальный код своей программы и броситься, к примеру, на амбразуру пулемета, делает его человеком, но не отменяет кода. Ускользая из-под власти разума, обособившегося в виде идеологии, разумная обезьяна ведет себя крайне пошло, если взирать на это с духовных высот революционного проекта, но весьма эффективно с точки зрения стратегии выживания.

Значит ли это, что революций больше не будет и наступает эпоха циничного разочарования в возможности переустроить на разумных основаниях стадо двуногих эгоистов? Ответ, как ни странно, можно найти у того, кто по праву считается символом и воплощением той самой старомодной Революции с большой буквы «Р» — у Маркса. Определив революционную ситуацию как конфликт между силами производства и контролирующими их отношениями, он оставил нам в наследство еще одну, до конца и в полной мере не использованную возможность — осознанно направлять сами эти силы так, чтобы они формировали определенные отношения.

И тут на авансцену выходят те самые другие революции, о которых было сказано в самом начале. Управление и руководство ими превращается в истинный вызов, приняв который, мы претендуем на контроль над будущим. Кто и с какой целью освоит и применит возможности, которые в перспективе позволят нам изменить фундаментальные коды наших тел, преодолеть ограничения окружающего нас физического мира и изменить его структуру? Битва за престол богов будет жестокой, в сравнении с ней прежние революции и весь их пафос очевидно покажутся детскими играми в словесное колдовство и плясками шаманов, вызывающих дождь ударами в бубен.

2003

No future

Скажите, давно ли вы в последний раз сломя голову мчались в магазин за новым альбомом музыкального коллектива, новым романом оригинального писателя? На просмотр фильма, чтобы именно сейчас, именно в первый день, потому что безумно интересно?

Я вот лично очень давно. Этому можно найти множество объяснений. Культурно-социологическое, например: в прошлое десятилетие постсоветские люди так активно наверстывали упущенное и впитывали непознанное, что наступило естественное пресыщение. Как говорят в таких случаях барышни, тряпок полно, а надеть нечего. В этом есть доля правды, но и только. Впитывание нового подразумевает наличие нового. А ведь стоит только пробежаться глазами по концертно-клубным афишам хоть Москвы, хоть Лондона, как становится ясно: они населены или тенями прошлого (пусть порой и весьма бойкими), или новыми поделками, полезными, понятными и недолговечными, как современная бытовая техника. Судя по всему, новый век начинается с эмоционального и творческого вакуума, созданного черной дырой, что возникла на месте двух повалившихся башен. Другое объяснение, обидно-личное: стареват стал. И опять-таки не вполне удовлетворительное. Слушал я тут недавно, как ведущие одной радиостанции допрашивают на улице старших школьников по поводу какой-то очередной проходной поп-рок-поделки. «Нет, — отвечают подростки, — мы это дерьмо не слушаем, мы настоящую музыку слушаем: Шевчука и Чижа». Кто тут стар, кто молод: я, кто *уже* эту парочку не слушает (а может, даже и никогда не слушал), или те, кто *все еще* ее слушают, — сам черт ногу сломит. Объяснений можно выдумать еще немало, но проще признать очевидное: мы живем

в эпоху вакуума, и это не только очередная национальная особенность — это глобально. Как пел орденоносец Гребенщиков, в полях определенного напряга любые устройства сгорают на раз. А с чем сравнить напряг того поля, которое сейчас нас пронизывает изо дня в день с такой интенсивностью, что впору задуматься, так ли уж были безумны конспирологи, утверждающие, что власти облучают нас какими-то там инфраволнами? С канунами мировых войн? Бросьте, никто, кроме жителей Европы, тогда всерьез не волновался. С ядерными мурашками холодной войны? Сходства больше, но присущий тому времени спортивный дух соревнования слона с китом подпитывал и толкал вперед все — от космических технологий до музыкальных стилей. Настоящий же вакуум никуда никого не подталкивает, он всасывает и аннигилирует. Если в нем умудряется существовать хоть одна частица материи, это уже не вакуум.

Вакуум — это отсутствие Будущего, именно такого, с большой буквы, поскольку у пустоты Будущего нет. То, что в конце 1970-х казалось артистическим позерством панк-рокеров, в нулевые годы стало расхожей банальностью. Будущего нет. И все мы, как один, сиды вишесы, от бомжей и до президентов. Такого отсутствия проектов будущего мир не знавал довольно давно — не возьмусь сказать, насколько давно. Отсутствие мало-мальски внятных проектов Будущего заставляет людей хвататься за настоящее, как утопающий хватается за спасительный плотик. А самое доступное и неотвязное настоящее в наше время — это политика. Возможно, именно поэтому единственные за последнее время три музыкальных проекта, которые вызвали у меня давно забытое желание бегать по знакомым, показывать и обсуждать, используют в качестве первичной материи политику. Я имею в виду проект Алексея Вишни www.polit-techno.ru, шаповаловскую NATO и скачанное из сети творение безвестных шутников — иронический реггей I love Osama. Надо отметить, что ни первое, ни второе, ни третье политической сатирой не является. Сатира — это противопоставление плохого настоящего воображаемому идеалу, который ожидается в Будущем. А Буду-

щего, как мы уже выяснили, нет. «Политтехно» — открытый проект, публикующий на своем пространстве любые миксы, лишь бы они включали голоса ныне действующих политиков, которые знакомы любому слушателю больше, чем голоса подавляющего количества звезд современной попсы. В самых удачных треках «Политтехно» читка блистательного рэпера Жириновского — это все, что угодно но не сообщение о том, насколько плох Жириновский. Наоборот. Владимир Вольфович в этом актуальном диджейском проекте выглядит гораздо убедительнее Владимира Владимировича именно потому, что он даже и не пытается скрывать свою панковскую сущность: это раньше считалось, что есть серьезная политика, а есть демагогия. В панк-эпоху любая политика — это демагогия, потому что заранее известно, что нас позовут в Будущее, которое не наступит никогда. Поэтому «Фабрика звезд» не более чем модель выборов, таких, какими они вскоре станут, если еще не стали. Все несут одну и ту же чушь, поэтому выигрывает тот, кто делает это с большим драйвом и имеет самый прикольный прикид.

Откопанная принципиально не внимающим никакой так называемой «реальности» Шаповаловым челябинская девушка в чадоре (логичнее и экономнее было одеть в чадоры самих «татушек», но зазнавшиеся девицы, видимо, стали воспринимать себя слишком серьезно), поющая что-то никому не понятное на фарси — тоже никакой не протест против чего-либо и не призыв к чему-нибудь. И если *политики довольно* остро отреагировали на затею Шаповалова с концертом 11 сентября в Доме союзов, увидев провокацию там, где наличествует лишь придурковатая панковская отрыжка, то лишь потому, что политики, особенно местечковые, никак не возьмут в толк, что их самих уже давно никто, кроме как в качестве панков, не воспринимает. Ну и наконец, веселые растаманы (вроде бы сербы), сообщающие в своей песенке, что они «любят Осаму больше, чем папу и маму» и что «вступление в террористические организации — лучший способ отправиться на бесплатные вакации», являются пропагандистами террора не больше, чем высокопоставленные сказочники, раскопавшие в сокровищнице «Тысячи и одной ночи» образ седобородого злого старика с кривым ятаганом за поясом. Все это просто панк в самом глубинном значении этого слова. Отрицание отрицания. Истерическое хихиканье твари, угнетенной отсутствием Будущего. Анекдот, рассказанный в предбаннике газовой камеры.

Вся эта эволюция, впрочем, весьма логична. Как давно уже заметил Оскар Уайльд, не искусство подражает жизни, а совсем наоборот. Время запаздывания составляет лет пятнадцать-двадцать.

Идиотский оптимизм 1980-х с падающими берлинско-пинкфлойдовскими стенами и братанием всех и вся под какую-нибудь идиотски-эйфорическую «Wind of Change», где поется о «будущем повсюду, которое веет в воздухе», стал проекцией в жизнь хипповатых 1960-х. Затем жизнь закономерно освоила суицидальную анархию следующего поколения артистов. Груды детских трупиков на наших глазах плавно перекочевали в реальность прямо с обложки альбома какого-нибудь деструктивного коллектива. Можно долго спорить о том, с чем мы имеем дело: с дурным влиянием или метким предвидением, однако спор этот представляет чисто теоретический интерес. Большинство людей волнует совсем другое. Как выжить в эпоху панк-реальности? Какими звуками, словами, картинами и мыслями вдохновляться посреди безбрежного вакуума? Как обнаружить позитив среди разрушенного безжалостной эксплуатацией и пародированием символического пространства, не впадая при этом в средневековые крайности фундаментализма, расизма и тотального озверения?

Не буду врать, ответов на эти вопросы у меня нет. Есть только смутная надежда на то, что они, эти ответы, существуют, и что отсутствие Будущего окажется таким же преходящим миражом, как и конец истории. В конце концов, как любит шутить один мой знакомый: «Конец света не более чем несбыточная мечта человечества».

Журнал «ОМ», № 88, ноябрь 2004 г.

В Париже — пожар, в Москве — паранойя

Пламя, охватившее ашелемы Парижа, многие в Москве восприняли чуть ли не как личную беду. По интенсивности эмоций ряда публицистов, выплеснувшихся на страницы бумажных и сетевых СМИ, можно было решить, что машины горят прямо под окном московской квартиры автора. Конечно, есть соблазн списать это на традиционную духовную близость между двумя столицами, но дело, похоже, не только в ней.

Политическая осень 2005 года оказалось относительно небогата собственными катастрофами и скандалами — поэтому чужие подвернулись весьма кстати, чтобы наконец получить повод высказаться о своем, наболевшем. Увиденный через магический кристалл отечественного сознания французский бунт приобрел столь диковинные черты, что приезжавшие в Москву парижане сначала подолгу не могли уразуметь, о чем идет речь — не случилось ли дома чего-то такого, о чем они еще не слышали.

Общий тон комментариев сводился к следующему: «Вот, доигрались! Вот вам ваша политкорректность! Вот вам ваш мультикультурализм!». С неизменным выводом: «У нас такое невозможно», который тут же сменяется державной озабоченностью: «Разумеется, если будут приняты соответствующие меры». Какие именно, убедительно было разъяснено в предвыборном ролике «Родины» и в речах собравшихся 4 ноября на «Правый марш».

Тема «иммиграции с Юга» не нова, но оголтелость, с которой она муссируется в настоящее время, заставляет испуганно выглянуть в окно и посмотреть, не творится ли за ним чего-ни-

будь небывалого. Может, имеет место невиданный всплеск этнически окрашенной уличной преступности? Или же на Красной площади шумит толпа исламских фундаменталистов? Да вроде нет. И, следовательно, причины надо искать не за окном, а в головах политической братии.

Таких причин находится, по меньшей мере, две, и они тесно связаны между собой.

Первая заключается в том, что за шесть лет правящий режим, несмотря на туго набитые нефтедолларами карманы, так и не сумел разжиться какой-нибудь завалящей позитивной идеологией, любым более-менее привлекательным проектом будущего, выходящим за пределы анекдотического, как арифметическая задачка для первого класса, «удвоения ВВП». В подобной ситуации власть имущие обычно обращаются к идеологии негативной, выстраиваемой вокруг образа врага. Олигарха, атлантиста, исламиста, наркобарона — да хоть инопланетянина — главное, объяснить народу, *с кем* он будет бороться, а *зачем* и *ради чего,* в пылу борьбы, глядишь, забудется.

Нет времени и желания объяснять, что во Франции все совсем не то и совсем не так, как вбивают нам в голову местечковые мудрецы. Это, разумеется, важно, но важнее то, что все совсем не то и не так в России.

Есть ли у нас иммиграция? Бесспорно. Однако пополняет она в основном ряды мелкой торговой буржуазии, а не деклассированных люмпенов на пособии. Закавказская диаспора вошла в пословицу своим богатством, а не нищетой. Есть и классические гастарбайтеры — украинцы, молдаване, таджики. Но предпочитают они (особенно первые две категории) здесь только работать, а деньги тратить дома, где цены пониже и погода получше. Да и не вписываются они в картинку бородатого исламского экстремиста с «коктейлем Молотова» наперевес. Есть еще китайцы, которые со временем могут стать реальной проблемой, но они тоже выглядят, да и ведут себя несколько иначе. Бесспорно, имеются в наличии и исламские экстремисты, да только не они понаехали к нам, а мы сами — к ним,

верхом на бронетехнике. Короче, если смотреть на вещи объективно — куда ни кинь, все клин. Но хочется, хочется бабам, чтобы мужикам было кого бить: белым — черных, красным — коричневых, зеленым — голубых, и вот уже суетятся креативные лакеи, пишут, так, что дым идет из клавиатур. Учат уму-разуму старушку Европу, да и весь белый свет заодно.

Некоторые — как Олег Кашин — дописались до того, что предлагают европейцам осваивать наши пустоши и залежные земли. Предлагают даже берега Охотского моря, как адекватную замену берегам Ла-Манша, что заставляет задуматься: то ли в постсоветской школе из рук вон плохо преподают физическую географию, то ли в лице Олега пропадает гениальный квартирный аферист из тех, что могут впарить клиенту Ново-Косино за Остоженку.

Итак, будьте как мы, упраздните гражданское общество, выпустите шпану наводить порядок на воронежских улицах, наплюйте на суд и закон — и спасетесь. Не тычьте в нас пальцем в Страсбурге, и мы вас научим, как сделать из Парижа Ханкалу.

Ну что ж, в пропаганде нет запретных приемов, и на этом можно было бы успокоиться, если бы не вторая, более серьезная причина. В случае современных элит, паранойя — не тактическое лукавство, а глубинное психологическое расстройство.

Представьте, читатель, что вы зашли в комнату, посредине которой стоит чемоданчик, а в чемоданчике — миллиард американских долларов. И никто вроде не сторожит, не приглядывает — ни одной живой души рядом. Вы хватаете чемоданчик и утекаете с ним, проявляя максимум проворства. Все прошло гладко, но все же трудно представить, что у миллиарда не было хозяина. Проходит небольшое время, и ваше, на голову свалившееся богатство начинает мстить ночными кошмарами, а потом и бредом наяву. Ничего не помогает — ни горные лыжи, ни гольф-клуб, ни покупка нового «бентли» или там «Сибнефти» какой — везде мерещатся преследователи, международные прокуроры с ордером, кади с плеткой в руке, лимоновцы с тортами или архангел с огненным мечом. В воспаленном сознании мелькает спасительная мысль: надо, чтобы они все друг друга перебили, тогда, дай боже, и не доберутся до тебя. И рождаются концепции, организуются демонстрации, передвигаются праздники, рассылаются депеши, пишутся «Открытые письма людям Европы». Это гораздо опаснее, потому что паранойя, в отличие от пропаганды, не знает, где остановиться. К тому же она заразна.

Поэтому нам, истинным хозяевам того самого чемоданчика, стоит подумать о личной гигиене. Иначе подцепим и натворим дел. Ведь именно так — зачитываясь растопчинскими афишками и глядя, как улепетывает от пожара француз, Москву уже однажды спалили.

Портал «Akzia.ru», 6 ноября 2005 г.

Гиперссылка

Кому нужна третья столица?

Когда моя будущая теща узнала от моей будущей жены о моем существовании, она воскликнула: «И откуда он, из Екатеринбурга? Боже мой, это же ужасное место, там одни ссыльные!» Нельзя сказать, чтобы она была совсем не права.

Поэтому я на эту реплику совсем не обиделся. Напротив, она помогла мне в поисках ответа на давно мучавший меня вопрос: почему мой родной город Свердловск-Екатеринбург довольно часто называли «третьей столицей».

Для чего вообще нужна третья столица? Две еще понятно: в конце концов у державного орла две головы. Но третья не предусмотрена. С третьей это будет не орел, а самый настоящий Змей Горыныч.

И почему именно Екатеринбург? Не Нижний, который больше, не Новосибирск, который глубже вдвинут в Азию, и даже не Самара, куда собирались эвакуировать правительство СССР в войну?

Только ли в магии чисел (три богатыря, три товарища, три охотника, три сказочных брата) дело? Имеем ли мы дело в лице третьей уральской столицы, установленной ровнехонько на границе Европы и Азии, с Иванушкой-дурачком, которого старшие братья вытолкали за порог, вручив ему царские косточки в мешке вместо хлеба да соли? И поскольку ничего другого за душою у дурака нет, приходится ему дурить со всей мочи, чтобы обратить на себя внимание общества. Ставить памятники Человеку-Невидимке, клавиатуре QWERTY и группе «The Beatles». Строить самый короткий и самый дорогой в стране метрополитен. Порождать на свет целые поколения странных художников, музыкантов, поэтов, драматургов и политиков. Пугать добрых людей своим неразборчивым выговором, своим ехидным и колючим юмором.

Кстати, по поводу этого самого уральского юмора, жестокого и беспощадного, вспоминается анекдот из жизни свердловчанина Преснякова-старшего. Когда его жена сильно увлеклась детективами и читала их один за другим, он взял за правило быстренько просматривать новую книжку, начатую женой, до конца, а затем писать карандашиком странице так на сороковой «Вдову отравил аптекарь». Такие вот мы негодяи.

Поэтому дело похоже не только в нуждах сказочной симметрии. Дело в том, что в стране, где ссыльных исторически всегда было много, понадобилась и специальная столица — Столица ссыльных, с совсем другими функциями, чем у имперского Питера или торговой Москвы. Место, куда ссылали не только и не столько людей, сколько невостребованные идеи, принципы, образы. Город, превратившийся в заказник всего невостребованного, непонятого, не пришедшегося ко двору — от архитекторов-конструктивистов, благодаря которым крыши домов Екатеринбурга, увиденные сверху, образуют надпись «СССР» и молот с серпом, до опального победителя, маршала Жукова, что устраивал в почетной ссылке октябрьские парады пышнее и красивее, чем в Москве.

Но невостребованное и не сумевшее господствовать всегда превращается в фантасмагорию. Все в нашей ссыльной столице придуманное и фантасмагорическое, начиная от Уральских гор, существующих только на карте, и кончая самыми современными в мире руинами недостроенной телевышки. Екатеринбург погружен в свою собственную призрачную историю, состоящую из фактов, каждый из которых звучит как выдумка, и выдумок, убедительных, как факты.

И в самом деле: ну какой еще город в России может похвастаться тем, что над ним сбили американский самолет? Что редактором городской газеты в нем работал президент Тайваня? Что на главной площади его пятнадцать лет возвышался

совсем голый мужчина с внушительными гениталиями? Список екатеринбургских курьезов можно продолжать до бесконечности — это как разбирать антресоли, на которые лет десять никто не лазил.

В такой среде фантасмагория не может не стать нормой жизни. Однажды наш художник Шабуров (теперь половина «Синих носов») устроил себе похороны в день рождения — по всем правилам, с гробом, с теткой из салона ритуальных услуг, произносившей прощальное слово, с представителями общественности, с плачущими родственниками, с поминками, на которых покойник сидел за столом и пил водку с живыми. А почему бы нет? Ссыльный может себе все позволить, он уже как бы вне общества, и это дает ему небывалую свободу, которой не знают те, кто считают себя «вольными».

Фантомы Екатеринбурга неприметны. Они, как правило, не воплощены в гранит и камень, они живут лишь в сознании его жителей, поэтому невнимательному приезжему город может показаться на первый взгляд банальным, даже заурядным и надо потратить немало усилий, чтобы понять: это потому, что все, что видит в нем твой глаз — ненастоящее.

Все, кроме людей, в головах которых и скрывается подлинный город, непринужденно сочетающий в себе провинциальность и амбициозность, естественность и неуместность, — город, который не устает удивлять даже тех, кто в нем родился и вырос.

Журнал «Большой город», 11 апреля 2006 г.

Нэп.гламур.рф (Реинкарнация Собак)

От редакции: из Лондона к нам пришла телеграмма…

Литература живет, цветет и пахнет, порой нестерпимо. Велика сила слова! Даже такой, казалось бы, легкомысленный роман, как «12 стульев», аж через семьдесят лет после создания выплевывает в мир Божий отвратительных тварей. Со страниц советского романа они влезают в ящики ТВ на удивление Карлсону и на зависть Фрекен Бок. Кривляются, паясничают, стараются показаться живыми и значимыми. За многие годы литературного существования привыкшие к публичности, лезут во все медиадыры, ревниво следят за другими фантомами. Но фантом есть фантом. Поэтому из двух литературных тварей приходится лепить одну телевизионную с возможностью материализации в трехмерном пространстве: Эллочка Людоедочка + Ефимия Собак = Ксения Собчак.

Понятно, почему именно «12 стульев» порождает телетварей. Населенный исключительно тварями, вся сущность которых легко передается карандашной карикатурой, роман является идеальным материалом для клонирования современных медиагероев. Непредназначенные для реальной, неиллюзорной жизни, они радостно скачут по экранам и глянцевым страницам. Вытащенные на рынок как пример для зависти и подражания, они являются мощным инструментом превращения потребителя в карикатурно-иллюзорный электорат, иллюзией живущий, иллюзию жующий, к иллюзии стремящийся.

Распознать медиафантома в общем-то не сложно. У той же Ксюшы Собчак, считающей себя живее всех живых, как у дорогой литературной собаки, — булгаковского Шарика, ясно видны

атавизмы предыдущей реинкарнации. Взяв от Фимы Собак фамилию и культурный багаж из 180 слов (включая богатое слово «гомосексуализм», так необходимое в эпоху либеральных ценностей), от Эллочки она унаследовала соревновательный инстинкт. Эллочка не на жизнь, а на смерть билась с дочкой американского миллиардера Вандербильда, в**бывая в борьбу весь скудный ресурс мужа, инженера Щукина. Измельчавшая характером Ксюша даже не соревнуется, а, безнадежно поскуливая, благоговейно лижет следы правнучки американского миллиардера Конрада Н. Хилтона — Пэрис Хилтон, самоотверженно в**бывыя ресурсы, оставленные папой (по совместительству — крестным отцом Великого Пу). Ксюшу можно понять: Эллочка, по уверению Ильфа и Петрова, была красива («милейший в Московской губернии носик…» и все такое), Ксюшу же вряд ли папа Хилтон взял бы и на конюшню, лошади у него и красивее, и породистее, и умнее, и уж наверняка — настоящие.

Полистав «12 стульев» я удивился сходству описанной эпохи советского НЭПа с современной эРэФией. Даже само выражение «новая экономическая политика» из словаря тех лет, когда появились новые русские. Появились они с той же системой ценностей, что и 70 лет назад: напихать побольше и в рот, и в жопу, лишь бы — в себя. «В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго-амапа, представлялась ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Много чего представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны». Общее тяготение к тому, что Бендер называл «шик модерн», а другой персонаж тех времен «шик блеск», а сейчас именуют «гламуром». Слэнговое «гламур» имеет английский корень gleam, что на русский можно перевести как «блеск». «Жизнь города N была тишайшей (читай — «стабильной»). Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала (блестела), как антрацит…»

Пошлый, отступнический НЭП, чуть не доведший до самоубийства Павла Корчагина (Николая Островского), занял свое место в сатирическом романе и протоколах допросов НКВД.

И это пройдет.

Высохнет нефтяная грязь глянцевых жоп и рыл, рассыплется в лагерную пыль и прах.

Воробьяниновы и Собаки-Собчак скорчатся в карандашные карикатуры, а Остап Бендер, отсидев и встав на путь исправления, переквалифицируется в управдомы.

Только, чтобы история не повторялась в виде фарса, а фарс не становился историей, корчевать придется с корнем и на корню. Каленым железом, на х**…

Содержание

Алексей Цветков. Битник и радикал 7

Проза. Часть I. Ananke

Абсолютное белое 21
Колесница Леонардо 27
Новая лоция 36
Комментарии к новой лоции 40
Ananke 44
Либитина 46
Апология кориандра 50
Исповедь фальшивого ангела 55

Проза. Часть II. Вогульские духи

Торфяные поля 63
Меловое сердечко 68
Шариковая бомба и сержант Оол-доржав 71
Прыжки по крышам сараев 81
Взятие Рейхстага штурмовой бригадой молочных тележек 88
Кто идет за мною следом 98
Голый человек в лесу 101
Витаструктуры 107

Проза. Часть III. Город М

Медальон 113
Черные крылья сыновей ночи 117
Я вижу тебя через щель в заборе 122
Шарики из слоновой кости 125
Барби для Шушанны 132
Слушая шум 136

Кукумария в собственном соку 149
Отец и Федор 170
Проклятие Зямзикова 183
Бог больше не живет в ЖЖ 219
Чтиво 221
Дневник двора-колодца 227

Пьесы

Стада Гериона 233
Заброшенное святилище 238
Собаки-левитанты 244
Взлет и падение города М. 251
Кино 299
Никто из ниоткуда 301
История создания сценария «Никто из ниоткуда» 372

Критика

Ирвин Уэлш — Жан-Жак Руссо химического поколения 377
Поколение икс: последнее поколение 385
Орфей спускается в рок 403
Аромат безумного времени 407
Стюарт Хоум: абсолютно автономный космонавт 409
Вирус по имени «Алексей Цветков» 412
Ренегаты гламура 416
Полный П 423
Владимир Сорокин. Собачье сердце 426
Книги с Ильей Кормильцевым 433

Эссе

Сказка о мальчике, которому до поры до времени везло 515
Три жизни Габриеле Д'Аннунцио 537
Житие святого Адриано 567
Москва: опыт урбанистического психоанализа 584
О происхождении трагедии из акта дефекации 588
Происхождение стихов 597
Дети ящера 599
Входит поручик Ржевский 601
Дмитрий Быков. Бой Быков 605

Манифесты

Обращение к жителям ЦАО 611
Манифест постгуманизма 614
Русский бог в опасности 616

Публицистика

Обезьяна на краю саванны 623
Революция 633
No future 636
В Париже — пожар, в Москве — паранойя 640
Гиперссылка 644
Нэп.гламур.рф (Реинкарнация Собак) 647

Илья Кормильцев

Проза

Продюсеры *Олег Гененфельд, Сергей Силушин* и *Юрий Донцов*
Составители *Станислав Кормильцев,*
Алеся Маньковская и *Дмитрий Карасюк*
Автор предисловия *Алексей Цветков*
Редактор *Анна Филосян*
Дизайн логотипа и обложки
Александра Коротича и *Бэллы Боевой*
Верстка *Евгении Язвенко*
Координаторы проекта *Александр Касьяненко,*
Константин Преображенский и *Владимир Харитонов*
Издатель *Федор Еремеев*
Фотоматериалы из архива *Станислава Кормильцева*

Издатели выражают искреннюю признательность всем,
кто оказал самую разнообразную помощь в создании этой книги:
Алесе Маньковской, Станиславу Кормильцеву, Игнатию Кормильцеву,
Елизавете Савинцевой, Александру Коротичу, Константину
Преображенскому, Бэлле Боевой, Ксении Егоровой, Владимиру Пищаеву,
Надежде Колтышевой, Александру Кушниру, Андрею Матвееву,
Людмиле Телень, Юлии Недосековой, Светлане Плетенко,
а также *Первому Музыкальному Издательству.*

Большое спасибо всем, кто оказал финансовую поддержку изданию
сочинений Ильи Кормильцева, в первую очередь: *Анне Гавриловой,*
И. Н. Залогиной, Артёму Александровичу Карапетяну, Евгению Липецкому,
Михаилу Сергеевичу Молчанову, Павлу Савинову.

18 +

Иллюминатор
S.G.T.R.K. Media-Lab
Кабинетный ученый

Подписано в печать 29.08.2017.
Печать офсетная. Бумага офсетная.

9 785758 401637